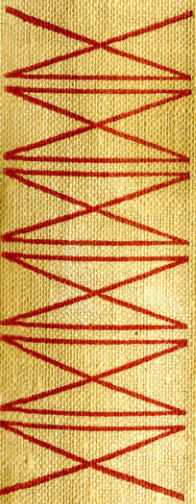


ВЕРА КЕТУНІСКАЯ



4

4

Вера Кетунская



ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

*Собрание сочинений
в четырех томах*



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1980

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

Собрание сочинений

Том 4

ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТОИТ

роман

Части 3-4

ЗДРАВСТВУЙ, МОЛОДОСТЬ!

роман



ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1980

P2
К 37

Оформление художника
В. ВАСИЛЬЕВА

К $\frac{70302-061}{028(01)-80}$ подписное

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1980 г.

**ИНАЧЕ
ЖИТЬ
НЕ СТОИТ**



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПАКАНУНЕ

1

Поезд приходил ночью.

Люба прикорнула на собранных вещах, а три друга стояли у окна, обнявшись, и смотрели, смотрели, смотрели... Дымное небо Донбасса, подрумяненное заревом плавок. Угрюмые холмы терриконов, ночью еще более похожих на вулканы с верхушками набекрень, потому что на их скатах кое-где курятся дымки и, как лава, тлеет уголь. Высоченные трубы заводов, стоящие то кучно, то врассыпную, и сверкающие в темноте стеклянные стены новых цехов — будто океанские пароходы плывут куда-то. Деловая суета товарных станций и нескончаемые составы с углем — одни ждут отправки, другие тяжело громяхают навстречу поезду. Кусочек темной степи, старый-престарый одинокий дуб, неожиданно выступающий оголенными ветвями на фоне далекого зарева, и снова терриконы, и черные переплеты копров, и краны, и трубы, и составы с углем...

Это была их родина со всеми приметамц, близкими сердцу.

— Звезд-то, звезд! — восклицал Липатов. Его не интересовали звезды, что проблескивали между ползучими дымами в небе. Его притягивали теплые красные звездочки на верхушках копров — вон еще одна, и еще, и две сразу, а впереди уже выплывает из мглы новая...

— В гору пошел Донбасс! — растроганно сказал Липатов, и на какой-то миг его сердце сжалось: как посторонний, как заезжий гость, придет он теперь на свою шахту.

— Глядите, ребята, смена идет!

В темноте ночи теплилось множестводвигающихся огоньков, и все они плыли, тесно прибываясь один к другому, сливаясь у входов в шахты, — заступала ночная смена.

...А поезд мчался по донецкой земле, и все новые огоньки двигались в темноте, все новые трубы, терри-

коны и копры возникали на фоне полыхающих зарев.

— Подъезжаем, ребята! Буди Любу, Сашок.

На скупое освещенной платформе было пусто. Два-три носильщика, дежурный с фонарем, почтовики с тележкой. Стоя над чемоданами, друзья вдохнули с детства знакомый кислотоватый запах дыма и угля: «Мы дома! Дома!»

— Поднести багаж, товарищи?

Они обернулись на голос и увидели Маркушу.

— Вот это встреча! Ты откуда взялся, Серега?

Прежде чем Маркуша ответил, они разглядели на нем форменную фуражку и номерную бляху носильщика.

— Да ты что? Да как же это?..

— Во-первых, здравствуйте, — сказал Маркуша, с силой пожимая их руки и немного рисуясь, — во-вторых, чем не работа? Инженеру-коксовику в самый раз. Ну, как вы, хлопцы, со щитом иль на щите? Утвердили проект?

Он говорил торопливо, избегая их расспросов, а между тем привычно снял ремень и перехватил два чемодана.

— Куда прикажете доставить?

Друзья вырывали чемоданы, он цепко держал их. Лицо его подрагивало, и не понять было, от смеха или от скрытого отчаяния.

— Ну, вот что, — сказал наконец Маркуша, — таскать чемоданы — теперь моя профессия и заработок. Возьму с вас по самой высокой цене, потому дома жена и дочурка родилась двадцать три дня назад. Вы куда двигаетесь?

Они двигались на квартиру Липатова — ближайший пункт от вокзала. Там Мордвиновы и Палька подождут утреннего трамвая.

Обогнув вокзал, окунулись в темноту ночи, почувствовали под ногами знакомую круто замешанную грязь немощеной улицы. Липатов привычно свернул на пустырь, сокращая путь к дому, но Маркуша крикнул:

— Э-эй, куда топаешь? Не видишь — парк!

— Па-арк?

В темноте чуть обозначались черные прутьики саженьцев.

— В октябре воскресниками сажали. Месяц озеленения! — оживленно рассказывал Маркуша. — Народищу вышло! С нашего завода около тысячи, да шахтеры, да

школьники, да с вашего института. Сам Чубак руководил. Вдоль шоссе к поселку тоже с обеих сторон по три ряда деревьев. Здорово?!

Шли в обход нового парка. Липатов издали увидел копер своей шахты,— нет, копер не разглядеть было, он увидел красную звезду в том месте, где должна быть вышка.

— Перевыполняют? — выдохнул он и снова ощутил боль расставания с шахтой и зависть к тем, кто уже без него добился победы.

— Третью неделю перевыполняют,— подкинув на плече чемоданы, хвастливо подтвердил Маркуша. — Первый раз перевыполнили — ох и радовались! Потом пошла трясушка: день есть, день нету: как вечер, все глядят, загорелась звезда или не загорелась. Дней десять трепало, а теперь вроде паладилось, пятую ночь без перебоя горит.

— Серега, дай чемоданы-то!

— Иди ты! Я таких десять снесу, только бы... Эх, до чего же муторно ждать да надеяться!

— Не вызывали еще?

— Как не вызывали! Два раза уже... В Москву ездил. Хорошо, ребята снарядили, деньги собрали.

Они вышли на бульвар, откуда до Липатова было рукой подать. Но Маркуша скинул чемоданы с плеча, поставил на скамейку, отер со лба пот. Уличный фонарь осветил его осунувшееся лицо.

— Какие разные люди есть! — удивленно сказал он. — Я раньше как думал? Все одного хотят. По правде, по справедливости. Обвинили кого — разберутся да рассудят, кто чего стоит. А тут... Ну, Исаев — мелкий гад, ему в партии не место, — откинул он своего главного врага. — С ним ясно. Но вот попадаю к партследователю — и коммунист вроде не поддельный, а крутит, вертит, вот это еще проверим, вот такую еще бумажку принеси... А цель у него одна — затянуть, отложить, не решать. Потом к другому попал — хороший парень, свойский, совестливый такой. Когда заговорит, сердце чувствуешь. А начнешь ему доводы свои выкладывать по порядку — спит. Спит! Глаза мутнеют, слипаются... Говоришь, а голос мимо него в стенку. Я предлагаю: отложим, ты устал. А он вздыхает: «Мобилизовали вот на разбор апелляций, днем на своей работе, к вечеру — сюда... Второй месяц урывками сплю. Продолжай, я уже взбодрился». Продолжаю, а у него опять глаза слипаются... Когда обком

не восстановил, он сам вызвал меня, говорит: потерпи, пусть уляжется немного — не назвал, что именно, только рукой покрутил в воздухе, — а потом, говорит, шпарь в Москву, тут с таким делом никто не решит. А почему? Какое такое дело? Ведь суцкая липа! И зачем на Москву переключивать? На месте вроде виднее, и люди меня знают, и печь моя тут.

— Ну а в Москве? В Москве? — с надеждой спросил Палька.

— А в Москве добился я до большого человека в Комиссии партконтроля. Посмотрел он мои бумаги, велел еще характеристику прислать, обещал: «Скоро вызовем...» А тут как раз жена родила. Помчался я домой — улыбаюсь и плачу, плачу и улыбаюсь. Дочурка — во! А жена приболела, тоже ведь переживает. И денег ни шиша. С завода меня уволили, куда пойдешь исключенным с такой формулировочкой? Подался на станцию. Сам Чубак помог оформиться. Хороший он мужик, наш Чубак! Ведь секретарь горкома, положение обязывает, верно? А он меня принял, поговорил со мною так душевно... «Выправится, говорит, это дело. Потерпи, друг, и нервы береги, тебе еще рекорды ставить на своей печи». Я и воспрянул. Таская чемоданы, берегу нервы... Ну, пошли, мне к пятичасовому обратно.

Он не успел взять чемоданы, их уже подхватил и перекинул через плечо Палька.

— Вы ничего не заметили, хлопцы? — лукаво спросил Маркуша.

— А что такое?

— Осмотритесь, черти полосатые! Три месяца погуляли в столице, так наших достижений не замечаете?

Он шагал рядом с товарищами, посмеиваясь, поддразнивая. Шагал мимо прутьиков новых посадок, обходил участки взрытой для ремонта улицы, по-хозяйски притопывал каблуком по новому асфальту на готовых участках.

— Свет-то горит! — воскликнул он наконец. — Вторая очередь ТЭЦ вступила, уж месяц в полночь не отключают света! А вы и не видите, какие мы стали гордые!

Люба вдруг вскрикнула и ткнулась лицом в Сашино плечо.

— Да что ж это? Несправедливо же! За что?

— Ну вот, зачем же сырость разводить? — дрогнувшим голосом пошутил Маркуша. — Пришли вроде?

— Слезами горе не смоешь,— сказал Липатов, нащупывая ключ в условном месте. — Тут покумекать надо... Ох, выпить бы сейчас, а, Серега?

В квартире было до странности чисто,— видно, Аннушка недавно приезжала. Липатов сунулся в буфет — там стояла бутылка водки, возле нее записка: «Нашла, хотела вылить, пожалела. Сопьешься — не вернусь, а с друзьями за успех выпить разрешаю. Бродячая жена».

— Вот кстати! — радовался Липатов. — До чего ж у меня Аннушка хорошая! Учись, Любушка, вот это изю всех жен жена!

В кладовке нашли картошку. Пока варилась картошка, Люба накрыла на стол, заставила всех помыть руки. Маркушу она тоже послала мыть руки — властно, как близкого человека, другого способа уважить его она не нашла.

— За ваш успех мы выпьем,— говорил Маркуша, вытирая руки и улыбаясь. — Но и за мой успех, за мою печь — тоже! Помните, как мне пришивали, что нарушаю режим печи? Так ведь оправдалось! Теперь еще две печи на наш метод перевели! В газете похвалили... понятно, без моей фамилии.

— Кто же там... славу твою присвоил? — со злостью спросил Палька.

— Зачем присвоил? Мои же ребята! Вместе делали. Конечно, бывать на заводе я не мог, разговоры пошли бы, Исаев этот... Они ко мне каждый вечер на вокзал прибегали, между поездами посидим в дежурке, обсудим, план наметим, что и как. А когда успех вышел, всей бригадой притопали, расцеловались, чокнулись. Ну и премию тоже... поделили... Ох, ребятки, ребятки, до чего ж у нас много чудесных людей! Вы не поверите, как я все теперь оценил и сколько у меня даже в моем поганом положении... сколько радости бывает.

Сели за стол. Выпили. Закусили картошкой с солью.

— Ты вот Чубака хвалишь,— мрачно заговорил Палька. — Все его хвалят, хороший мужик и прочее. Так почему ж он, секретарь горкома, не вступится за тебя? Почему же он таких, как Исаев, не прижмет к ногтю? Утешать — это, конечно, очень мило, но он не для того выбран. Хороший, а молчит? Не понимаю.

— Я и сам не все понимаю,— медленно ответил Маркуша.

— И я... — сказал Саша.

Он вспомнил пустую приемную Стадника, молчащие телефоны и секретаршу, неподвижно сидевшую на своем уже ненужном месте, вспомнил трясущиеся руки Бурмина... Что это? Зачем? Как это объяснить другим и самому себе?

— А я так понимаю, братцы, — заговорил Липатов. — Много у нас всякой дряни застряло. Вот их и пропускают через сито. А заодно...

— Лес рубят — щепки летят? — подхватил Маркуша с грустной усмешкой. — Эту поговорку мне человек двадцать говорили. Только быть той летящей щепкой никому не пожелаю.

Он потянулся за бутылкой, налил всем еще водки, залпом выпил.

— Никому не пожелаю, — повторил он и задумался.

И все задумались — об одном и том же и каждый о своем.

Сидели четыре коммуниста и одна комсомолка, сидели, молчали и старались найти ответ.

— А уж если совсем до конца додумать, до самой глубины, — снова заговорил Маркуша, — такое у меня бывает чувство: пусть я щепка, пусть пострадал... лишь бы действительно всю нечисть долой! Ведь вот в приемных этих, в коридорах — каких я только не встречал типов! Каждый клянется, что пострадал зря, что ничего за ним нету... а иной, смотришь, такой озлобленный, такой... ну, понимаете, два месяца, как исключен, а уже говорит с этакой злостью «они», «у них»... Кто из нас про свою партию скажет — «они»? И еще прохвоста встретил — тут же, в коридоре КПК, разглагольствует прямо по всей троцкистской платформе!.. Ну, я его за грудки взял, чуть душу ему не вытряхнул! Разняли нас. И вот я думаю иногда — чтоб этих выкинуть, чтоб от них избавиться — ну пусть мне плохо, к черту меня, что я! Лишь бы их...

Палька открыл рот, чтобы возразить, но промолчал. Я бы так не мог, думал он. Я бы все на свете разнес, защищаясь!

— Зачем тебя-то к черту? — мягко сказал Саша. — Пусть уж эта нечисть к черту катится. Что, нет сил разобратся?..

Маркуша поглядел на часы — шел пятый час, скоро поезд.

Липатов вытащил кошелек, достал несколько червоновцев.

— А ну, ребята, выкладывай по полста.

Собрал деньги, положил Маркуше во внутренний карман. Маркуша стиснул челюсти, молча кивнул — спасибо.

— А с чемоданамц, Серега, кончай. Контора моя пока тут, на днях переберемся на Старую Алексеевку. Приходи завтра к концу дня, приму тебя механиком. Не вскидывайся, я в барыше, мне такого инженера по-доброму никто не даст.

Люба вскочила, быстро поцеловала Липатова в висок и убежала в кухню.

— Но ты понимаешь... — начал Маркуша.

— Понимаю, — сказал Липатов. — Начальник опытной станции я, мне отвечать. Буду по делам в горкоме, согласую с Чубаком. А нет, так... Да что я, не знаю тебя?

Вышли на крыльцо. Вдали полыхало зарево очередной плавки, но зарево казалось бледным в свете занимающейся зари. Где-то прокричал молодой петушок, за ним хрипло прокукарекал старый, и пошли кукарекать, перекликаясь, все остальные петухи.

— Вот теперь ясно — дома! — сказал Липатов, вслушиваясь, в рассветную музыку Донбасса. — А что ж Коксохим молчит?

И как раз в эту минуту загудел могучий гудок Коксохима.

Басовито поддержал его Металлургический.

Заливисто вступил молодой гудок Азотно-тукового.

Словно откликаясь на зов, прокричал на станции паровоз, тонко засвистела маневровая «кукушка» в стороне шахты.

Со звоном пронесся по проспекту первый трамвай.

Загрохотали, подпрыгивая, порожние грузовики.

Захлопали, заскрипели двери.

Зашелестели, застучали шаги ранних пешеходов...

Зарево плавки сникло — или его победил разгорающийся свет зари? Вон как она раскинулась на полнеба, подсвечивая разнообразные дымы, то белые, легкие, то густые, черные, вздымающиеся тут и там из десятков заводских труб. Ну, здравствуй, Донбасс, с добрым утром, родная сторона!

— Серега, может, не надо к поезду? К жене пошел бы...

— Нет. Когда оформлюсь, тогда уж...

Они смотрели, как Маркуша быстро шагает по улице, в обтрепанном пальто, в форменной фуражке посплыщика, чуть скосив натруженные плечи.

— Скорей бы! — сказал Палька. — Уж если такого не восстановят...

— Факт, восстановят! — подтвердил Липатов. — А как он сказал насчет этих прохвостов!..

— «К черту меня!» — задумчиво повторил Саша. Он снова вспомнил Стадника и поверил, что и у Стадника, и у Маркуши все разрешится хорошо. — Может, действительно при такой чистке без перехлестов не обойтись?..

От этой мысли всем стало легче. Но каждый мельком подумал: рассуждать легко, а если бы это коснулось меня?..

Это коснулось Пальки Светова.

Но в первые дни после возвращения Пальке и в голову не приходило, что ему грозит беда, — слишком он был увлечен, да и чувствовал, что самые разные люди поддерживают и одобряют новое дело, от рядовых шахтеров до Чубакова.

Правда, еще уклончивей стал Сонин и притворялся крайне занятым Алферов, но до них ли было сейчас! Приходя в институт, Саша и Палька вербовали работников для опытной станции и договаривались с кафедрами Китаева и Троицкого о совместных научных исследованиях. Нельзя было не почувствовать, что Китаев держится холодновато, чересчур вежливо, как с чужими, но это мало заботило его бывших учеников — злятся старик, ну и пусть злятся, сам виноват!

У Пальки затянулся обмен партийных документов, хотя все коммунисты института уже получили новые партийные билеты.

— Очередь прошла, вот и канцеляя! — успокаивал себя Палька. Теперь, когда проект утвержден, создается опытная станция и Павел Кириллович Светов назначен главным ее инженером, кто станет вспоминать о том, что этот самый Павел Кириллович не вернулся в срок из командировки?

Бывая в институте, Палька всю свою энергию направлял на то, чтобы забрать в штат опытной станции Степу Сверчкова и двух Ленечек: Леню Гармаша и Леню Коротких. Эти старшекурсники решили кончать заочно и писать дипломные работы по подземной газификации.

Для этого им следовало перейти под руководство профессора Китаева, а Китаев заартачился...

Но главные заботы поглощала подготовка к строительству станции. Казалось бы, невелика стройка. Но когда кругом десятки больших и малых строек, без хлопот даже гвоздя не достанешь, за обыкновенной доской приходится гоняться, а получение грузовика или небольшого крана требует недюжинной изворотливости. И в эту же бурную пору подъема и перемен каждый рабочий человек — даже без профессии — нарасхват. А уж мастеров надо ловить, переманивать у соседей, соблазнять высоким заработком или хорошим жильем.

Молодые руководители станции № 3 не могли обещать ни особых заработков, ни жилья, они еще не могли назвать и точного адреса станции, так как участок пласта на Старой Алексеевке оказался неудачным, изрезанным заброшенными выработками, а за новый участок шла борьба.

Приманка у них одна-единственная — новизна и важность задачи. Это был главный козырь — и козырь действовал. Разные люди сходились в квартиру Липатова, ставшую сразу и тесной, и замусоренной, и прокуренной насквозь. Приходили комсомольцы, привлеченные необыкновенностью начинания, разные «перекати-поле», не прижившиеся на других стройках, школьники, заскучавшие за партой, — те скрывали адреса родителей, прибавляли себе год, а то и два. Палька ежедневно произносил перед этими людьми пылкие речи о ликвидации подземного труда и технике будущего коммунистического общества, напирая на то, что поначалу будет трудно. Отбирал тех, у кого загорались глаза.

Липатов бегал с утра до ночи по разным учреждениям, везде у него находились дружки, а где не было, заводились новые. Часто он шел по следам Алымова, побывавшего тут по делам станции № 1; но там, где Алымов брал «басом», Липатов добивался того же дружеского, хитростью, шуточкой.

— Где боком, где скоком, а добудем! — посмеивался он.

Тяжелее всего было переменить участок пласта. Участок был выхлопотан Углегазом в Москве, через наркомат, местные руководители понимали, что участок плохой, но кто отменит решение центра? Липатов посоветовался с дружками и подыскал участок неподалеку от

Азотно-тукового завода: на Азотно-туковом недавно пустили кислородный цех, откуда по трубопроводу можно брать кислород для дутья. Над участком — степь, удобно строиться.

Липатов связался по телефону с Углекислотой. Олесов «болел» с того дня, когда растворился в воздухе на пороге опустевшей приемной Стадника; замещал его Алымов, но и Алымова на месте не оказалось; Колокольников выслушал Липатова и сердито ответил, что надо было думать раньше, не будет наркомат перерешать, для небольшого опыта и такого участка достаточно, «не выдвигайте чрезмерных требований».

Липатов чертыхнулся и решил пойти к Чубакову.

Приемная секретаря горкома была полна, люди стояли и сидели группами, обмениваясь своими заботами и замыслами, — и сколько же тут сталкивалось разнообразнейших людей и интересов! В ожидании все знакомились; выходявшие из кабинета охотно рассказывали, чего добились, за что Чубак «покрыл» и в чем поддержал. Встревоженный толстячок, — видимо, новый работник — допытывался у всех:

— Как с ним держаться? На что напирать?

Начальник одной из строек сперва отмахивался от назойливых вопросов, потом ответил, сверкнув глазами:

— Подбери пузо и напирай на дело, иначе убьет, он такой!

В это время сам Чубаков вышел из кабинета.

— Ого, да тут опять полным-полна коробушка!

Был он молод, хотя и успел повсезвать в гражданскую войну здесь же, в Донбассе. Простоватое выражение лица делало его похожим на рабочего парня, да он и был рабочим парнем, коренные шахтеры помнили его забойщиком и комсомольским заводилой.

— Кто тут ко мне и по каким делам? — спросил Чубак, оглядывая всех и здороваясь со знакомыми.

Выяснив, кто и зачем пришел, он ловко растасовал очередь — кого послал ко второму секретарю, кого — в горсовет:

— Скажи, я послал, пусть решит сегодня же.

Узнав, что Липатов, Мордвинов и Светов пришли по делам подземной газификации, Чубак отложил беседу с ними на конец приема.

— Хочу выкинуть в существо. Погуляйте часок, ребята.

Беседа началась с того, что они объясняли Чубаку свой метод, чертили схемы процесса, показывали протоколы опытов.

— Нерешенного много? — спросил Чубак. — Опыты продолжаете? Институт помогает?

— Да мы сами институтские.

— Ну-ну... Вы Сонина трясите, не жалеете, он дядя осанистый, беспокоиться не любит, верно?

Узнав про историю с пластом, Чубак почесал в затылке, поразмыслил и позвонил начальнику шахтоуправления:

— Давай сделаем так. Составьте акт, запрещающий строить станцию на Старой Алексеевке. Поглядите, что за участок возле Азотно-тукового, и, если подходит, закрепите за опытной станцией, а ребята быстро расположатся там и начнут работы. Письмо с приложением акта отправьте в наркомат. Договорились?

Повесив трубку, он весело пояснил:

— Пока от зама к заму ползет, мы уже тут!

И строго — Липатову:

— Смотри мне, Михайлыч, чтобы в тот же день расположились!

Когда разговор дошел до приема на работу Маркуши, лицо Чубака потускнело, стало старше.

— М-да... — протянул он и начал катать по столу карандаш.

— История с листовкой была при мне, все это обвинение — суцая чепуха, — сказал Саша. — Я написал заверенное свидетельство, оно приложено к апелляции. Маркуша — честный коммунист.

— Надеюсь, что так, — задумчиво произнес Чубак. — Три коксовые печи уже работают по его методу... — Он вынул из внутреннего кармана газетную вырезку. — Вот — хвалят. Только автора не упоминают.

Он перечитал про себя статью и спрятал ее. Сидел с опущенными глазами, мучительно сведя брови.

— Конечно, — сказал он, — преступно держать талантливого инженера носильщиком. Инженер-коммунист — у нас их немного. Он и парень... запальный, как шахтеры говорят.

— Замечательный парень! — подхватил Липатов и припомнил ночной разговор, когда Маркуша сказал: «К черту меня, что я!»

Чубак слушал, лицо его разглаживалось, светлело.

— Ну вот что, хлопцы... Трудно мне решать этот вопрос. Очень трудно. Но действительно получается нелепое разбазаривание сил. Вы в нем уверены? Берите! Ты, Иван Михайлович, единоначальник, да еще всесоюзного подчинения. Имеешь полное право нанимать специалистов по своему разумению. Партийных и беспартийных, так? По Конституции каждый имеет право на труд. Бери его, и пусть работает. Понимаешь?

Он встал, прошелся по кабинету, резко задвигая отодвинутые от стола заседающий стулья.

— А Стадник-то... — вдруг сказал он и посмотрел на трех собеседников расширенными, удивленными глазами. — Арсений-то! Я ведь с ним работал. Он был у нас на шахте парторгом... Ну, ладно! — сам себя оборвал он и сел за стол. — Что там у вас еще? Вижу, целый блокнот исчеркали.

Оставшиеся вопросы он снова решал энергично, с задоринкой. Но тень раздумья и горечи лежала на посуровевшем лице.

Итак, она вернулась туда же, откуда уехала три месяца назад. Крохотная комнатка, отделенная дощатой перегородкой от родительской спальни. Выгоревшие обои, старая кровать под пикейным одеялом, столик и скрипучие стулья.

Теперь их двое: она и Саша. Но Саша до ночи пропадает у Липатова, в институте и еще бог знает где. Приходит усталый, взвинченный. Ласков — и засыпает, как только опустит голову на подушку. Мечтает переехать с Любой «на нашу станцию», но это будет тогда, когда им выделят новый участок, когда им дадут квартиру или построят первый дом.

Люба помогает матери по хозяйству и без конца объясняет любопытным соседкам, что за дела привели Сашу обратно. Люди верят и не верят. Людям странно: выдвинулся из шахтерских детей в ученые, поехал в столицу к знаменитому академику... и вдруг прикатил назад! Что-то не так...

Отец поглощен своими делами — его участок на первом месте, шахта в целом вошла в ритм главным образом потому, что по-новому перестроили работу на откат-

ке, а эта перестройка — идея отца. Кроме того, отцу оказали большой почет — избрали членом горкома партии, Чубак привлек его к проверке работы Донецкугля — отец ходит обследовать, а потом допоздна сидит, скрипит пером, все записывает, не надеясь на память. За вечерним чаем обсуждает с Сашей, удастся ли избежать войны, на вырезанной из газеты карте второй пятилетки отмечает красными звездочками каждый вступивший в строй завод, электростанцию, шахту — индустрия! Почувствуют ее фашисты, если сунутся!.. По-видимому, отец доволен, что опыт подземной газификации начинается и Никита занялся на бурение скважин, по самому Никите он этого не показывает, а девушку его совсем не признает, будто ее и нет на свете.

Никита почти не бывал дома, приходил, когда голод загонял, стараясь не встречаться с отцом; мать торопливо кормила сына и плакала, глядя на его мрачное лицо.

— Губит его эта девка, — говорила она Любе. — Заносчивая, злая! По щекам отхлестала, а он, как собачонка, — за нею!

— Гулящая, — коротко определил отец.

— Ты только не слушай их, — предупредил сестру Никита. — Леля для меня — жена и самый первый человек. Не понимают они ничего, старики. Лелю обидели — до сих пор не простила ни им, ни мне. А я промежду двух огней.

И почему брат не ушел к своей Леле, если она жена и первый человек? Негде жить? Попскать — нашлось бы! Никита ждет, что опытная станция даст им жилье. Но когда это будет? Снял бы какой ни на есть угол и жил бы со своей Лелечкой, раз такая любовь.

— Не соглашается она, — сердито объяснил Никита. — Говорит: ты не красна девица и я не казак, чтоб из дому тебя выкрадывать. Женишься — так женись по форме, чтоб весь поселок слышал и родители признали, как положено. А не решаешься — подожди, может, тебе по своему вкусу невесту найдут... Вот в какое положение они меня ставят!

— Ты бы поговорил по-хорошему.

Никита даже отшатнулся:

— С отцом? Что ты!

Как странно, думала Люба, такой отчаянный парень, а дошло до серьезного — растерялся. Другой бы злился,

скандалил, а Никита перед отцом как мальчик виноватый. Или мы оба такие податливые, мягкосердечные? Вот и я...

Места она себе не находила с того дня, как снова вошла в родительский дом. С горечью примечала: дорогие подружки, что так восторженно провожали ее в Москву, теперь говорят с нею, как с больной. Вернулась назад «ни с чем» — так они понимают. Зато у подружек случилось за три месяца немало перемен, и это уязвляло Любу.

Удивительней всего показалась Катерина. Жалела ее Люба, побежала к ней по приезду, готовясь сочувствовать, помогать. А Катерина вышла к ней какая-то совсем новая — размашистая, деловая, дерзкая, говорит по-мужски сурово, с нажимом, а глаза смеются. Мало того, что в партию вступила, так еще выбрали ее членом шахткома и поручили, как она называет, «соцбыт»: возится с жилищными делами, ссудами, пособиями, бегаёт по общежитиям и землянкам — обследует, кто как живет. Люба украдкой разглядывала ее — раздобрела, живот заметно округлился. Осторожно сказала: «Побережься бы тебе», — но Катерина усмехнулась:

— Кто бережется — себя теряет. А мне, Люба, жить хочется!

И опять заговорила о своем соцбыте, будто и не о чем больше разговаривать. Заторопилась куда-то — проверять заявление о прохудившейся крыше. Проводила Любу до ее калитки, быстро обняла сильной рукой, шепнула, глядя прямо в глаза:

— Ох, Любушка, я сейчас — ну будто на гору взшла.

И запагала по улице, вскинув голову. А Люба глядела вслед и чувствовала себя внизу, далеко-далеко от той горы...

Две подружки-одноклассницы, поступившие откатчицами, участвовали в организации откатки по-новому. Портреты их вывесили у входа в шахту. Там же, где давно висит портрет Кузьмы Ивановича. Слава отца была для Любы привычна, но Ксанка и Настенка... Да нет, и это понятно. Сколько помнила себя Люба, многие люди вокруг приобретали добрую славу, переезжали из Нахаловки в новые дома, учились, вступали в комсомол и в партию, выдвигались на всякие общественные дела. И все это происходило быстро — пятилетки! Когда старики рассказывали о прежнем шахтерском бытье, ей казалось,

что до пятилеток ничего не было, кроме мрака и неподвижности. Правда, были еще революция и гражданская война, но эти события в ее представлении прямо смыкались с пятилетками, с быстрым изменением людей и всей жизни. Вот и у Настеньки, и у Ксанки случилось хорошее. А Люба за это же время ни на шаг не двинулась вперед...

Она заглянула в детский сад, где проработала около двух лет. Сотрудницы ей обрадовались, а дети... дети или не узнали, или уже отвыкли от нее. Девушка, заменившая Любу, играла с ними в какую-то новую игру, и даже Данилка Тишкин подчинился ей точно так же, как раньше подчинился Любе.

— Очень кстати! — сказала заведующая, деликатно скрывая сочувствие. — Зина скоро в декрет, приходи на ее место.

— Что вы! — сказала Люба. — Мы приехали на важнейшую стройку!

И поспешила уйти.

Дома было пусто и тихо. Мать сидела у печки и вязала крошечную кофточку. Люба присела рядом. Помолчали.

— Выстирала я твои блузки, — сказала мать. — Погладь, пока не пересохли.

Так мать побуждала ее хоть чем-нибудь заняться.

После московского электрического старый духовой утюг матери показался тяжел и неудобен. Мелкие складочки никак не давались.

Влетел с улицы Кузька, швырнул книжки на подоконник, остановился возле сестры.

— Скоро у вас стройка-то начнется?

— Скоро. А тебе что?

— Поглядеть охота. И ты туда поедешь?

— Поеду.

— И я поеду... посмотреть. А после седьмого класса работать наймусь.

— Еще двадцать раз передумаешь.

— Нет. — Кузька поразмыслил и с укором сказал: — Как ты рассуждаешь — передумаю! А Саша передумал?

— Так то Саша, — растерянно произнесла Люба и замерла с утюгом на весу над подарком Катерины — украинской рубахой. «Тебе подходит яркая, — сказала Катерина. — Вся твоя судьба будет яркая, счастливая». Да, в те дни подруги завидовали Любе.

— А ты чего такая вареная? — спросил Кузька недоброжелательно. — Или с Сашей поругаться успела?

— Дурак, — отрезала Люба.

Оставшись одна, снова замерла с утыгом в руке. Вареная? Даже Кузьке бросилось в глаза — вареная... Саша придет и заметит. «Любимая — друг. Выше этого нет ничего...» Так сказал Саша. И я сама, сама согласилась вернуться, сама обещала: что бы ни было — с тобой! Трубы... Как они пели, трубы! Тра-та-та-тамм! Тра-та-та-тамм!.. Я испугалась, и все-таки сама решила: что бы ни было, пусть!.. Как же я смею теперь ходить вареной? И вдруг он уже заметил, что я такая?

Когда пришел Саша, Люба выскочила навстречу спящая, в украинской ярко вышитой рубашке.

— Ты уже знаешь, Любушка?

— Что?

— Значит, почувствовала? Ты всегда все чувствуешь. Наши дела идут прекрасно! Получили пласт, тот самый, возле Азотно-тукового! Уже были там, все разметили и обдумали, Липатушка остался рыскать по соседним поселкам, найти хоть немного жилья на первое время, пока не построимся. А я помчался к тебе. Потерпи еще немного, скоро двинемся, вот только найдем что-нибудь приличное...

— Да хоть в барак! Хоть в землячку! — воскликнула Люба, целуя его. — Побелю, покрашу, уют наведу — еще как славно будет!

А часом позднее прибежал Степа Сверчков.

Его круглое, доброе лицо, всегда являвшее готовность улыбнуться, сейчас было покрыто каплями пота и выражало крайнее волнение. Дышал он тяжело — вероятно, бежал от самого трамвайного кольца.

— Я вас всех с утра разыскиваю! — сказал он, зачерпнул воды из ведра и жадно осушил целый ковш.

У Саши напряглись скулы и взгляд насторожился, но голос прозвучал невозмутимо:

— Мы осматривали участок. Пласт превосходный. — И небрежно: — А что случилось?

Степа покосился на Любу.

— Говори, говори, — сказала она.

Где-то далеко грозно пропели трубы. «Тра-та-та-тамм! Тра-та-та-тамм!» А Саша обнял Любу, то ли готовясь поддержать ее, то ли сам ища у нее защиты от чего-то, что надвигалось.

— Черт его знает! — сказал Степа, подчиняясь спокойному тону Саши. — Что-то заваривается, а что — не пойму. Завтра у нас партбюро. Первый вопрос — дело Светова. Я спрашиваю: какое дело? Алферов говорит: он же не обменял партдокументы. И смотрит в сторону — знаешь, как он умеет? А на столе папка «Дело Светова». Я потянулся, а он локтем прижал: на бюро придешь, тогда иознакомишься. И опять — глаза в сторону.

— А что ему могут пришить? Ничего серьезного! — не очень уверенно сказал Саша. — Жаль, Липатушка может не поспеть...

— И еще одна... прямо гадость! — продолжал Степа, брезгливо морщась. — Ленька Гармаш! Вчера у Алферова добрый час сидел... сегодня у Кптаева... потом у Сошина... И вдруг начал заикаться: как это мы институт бросим, дело непроверенное, заочно учиться трудно, а дипломы по такой новой теме — еще неизвестно, выйдут ли. Надо, говорит, взвесить ребята.

Саша остался спокойным.

— А ты думал, чудак, без таких историй обойдется?

Не позволяя себе волноваться, Палька взбежал по институтской лестнице и тут повстречал неожиданных гостей — Колокольникова и Алымова. Каким ветром их занесло сюда? И раз уж они здесь, не могут ли авторитетом Углегаза поднажать насчет жилья, материалов и других потребностей станции № 3?..

— Не порите горячку! — с досадой прервал Колокольников. — Спешка до добра не доводит. Гораздо целесообразней подождать результатов Катенина.

Алымов стоял двумя ступеньками ниже, отвернувшись, и нетерпеливо постукивал ногой. Как будто он не имел никакого отношения к новой опытной станции.

— Как же ждать, когда...

— Мы едем на пуск станции, — опять прервал Колокольников. — И вообще поскромнее, товарищ Светов, поскромнее! — Он чуть кивнул на прощание. — Пойдемте, Константин Павлович, а то не управимся до поезда.

Палька допускал, что люди, торопящиеся на испытание метода, в который они верят, могут быть невнимательны к автору другого метода, ими отрицаемого. Но от их подчеркнутой, беззащитной презрительности

Пальку передернуло, и встреча на лестнице как-то связалась с тем, что ждало его в партбюро.

Да, что-то здесь изменилось. Алферов еле поздоровался, не поднимая глаз от бумаг. Сонин сделал вид, что не заметил вошедшего. Остальные члены партбюро здоровались вежливо, как с посторонним, и торопились отойти. Степа Сверчков сидел один в дальнем углу и оттуда смотрел на Пальку отчаянным, предупреждающим взглядом.

— Произошло что-нибудь? — через силу бодро спросил Палька.

Вопрос повис в наступившей тишине.

— Саша Мордвинов не приходил? — не сдаваясь, спросил Палька.

Перебирая бумаги, Алферов бормотнул что-то насчет закрытого бюро.

— Вы не пустили Сашу?!

И опять этот вопрос повис в тишине, и Палька с тоской ощутил, как уходит бодрость и завладевает им постыдный, нелепый страх... Ерунда какая, чего мне бояться? Я же у себя, среди своих, и ни в чем не виноват, и меня тут знают как облупленного!.. Но страх угнездился глубоко-глубоко, и, уже подчиняясь ему, Палька неуклюже присел на кончик стула.

А затем все произошло ошеломляюще быстро.

— Что ж, сперва отпустим Светова? — начав заседание, сказал Алферов и скороговоркой доложил, что коммунист Светов по недопустимой халатности опоздал к обмену партдокументов, самовольно задержался в Москве, не явившись в срок из командировки, до того не раз проявлял недисциплинированность и анархизм, морально неустойчив настолько, что ради личной выгоды совершил подлог. Собственно говоря, он сам поставил себя вне института и вне партии.

Просто, как бы между прочим, прозвучало короткое слово — исключить.

Что такое? Кого исключить? Да что он, с ума сошел?

— Как вы можете, Василий Онуфьевич?! — вскричал Степа Сверчков. — Не для себя же он! Для большого, нужного дела!

— Не знаю, какими делами можно оправдать подлог, — сухо заметил Алферов. — И мы не о подземной газификации говорим, этому делу мы сочувствуем. Но сейчас мы оцениваем партийный облик человека, претендую-

щего на получение новых партдокументов. Партия нас учит подходить строго и бдительно, отсекают пассивных и неустойчивых. Светов нашего доверия не оправдал. Человеку, морально неустойчивому и недисциплинированному, партия доверять не может.

Партия доверять не может. Мне, Светову, не может доверять? Я не оправдал?.. Подлог! Какой подлог? Вот тогда, когда я подмахнул имя Китаева... Конечно, это было легкомысленно. Но Китаев потом хвастался, что выхлопотал у Лахтина отсрочку для Саши... Да ведь не только в этом меня обвиняют! Халатность... самовольно задержался... поставил себя вне института и вне партии... анархизм, морально неустойчив — это опять о телеграмме... Или действительно та подпись — преступление, подлог?..

Оглушенный, сбитый с толку, он начал объяснять по пунктам, как все произошло — с телеграммой, с командировками... Говорил он запальчиво и сам чувствовал, что скользит по пустякам, тогда как главное не в том. Главное — в коротком выводе: можно доверять или нельзя. Но как доказать, что тебе можно доверять? Что ты пужен партии, а сам без нее не можешь?

В другое время он, наверное, отругался бы. Это ж его товарищи — студенты, преподаватели, директор, — он с ними столько лет жил, работал, думал вместе... Но его замораживало их молчание. И то, что они на него не смотрят. Он говорит, а они молчат и не смотрят на него.

Он кончил, а они все еще молчат...

Преподаватель механики Суслов, крикнув, поднял руку. Палец вспомнил, что всегда дурно учил механику, пропускал занятия, Суслов ругал его. Сейчас он еще добавит...

— Надо бы запросить этот самый Углегаз, — нерешительно сказал Суслов. — Если он занимался доработкой проекта, все-таки это — оправдание. Мы знаем Светова как способного аспиранта. Как же так сразу? Ведь свой парень, шахтерский. У нас на глазах вырос.

Его поддержал студент-третьекурсник, который занимался у Светова в семинаре.

— Быть либералом проще всего, — оборвал его Алферов и всем корпусом повернулся к Сониному: — Ваше мнение?

— Мне очень неприятно, я всегда хорошо относился к Светову, — так начал Сонин. — Но я вынужден сказать

вам, Павел Кириллович: вы честолюбивы и недисциплинированы. С первого дня, что вы увлеклись идеей подземной газификации, вы забросили институт, наплевательски отнеслись к своим аспирантским и партийным обязанностям. Вот мы подсчитали, вы пропустили пять партийных собраний...

— Он же был в Москве! — крикнул Сверчков.

— Да, он самовольно остался в Москве. Мы поступили либерально, не исключив его из аспирантуры сразу же. Необходимости жить в Москве не было никакой. Углегаз не возражал против его отъезда к месту работы. Я должен довести до сведения партийного бюро, что мы беседовали сегодня с руководителями Углегаза.

Он сделал многозначительную паузу и продолжал веско:

— С ответственными руководителями, приехавшими из Москвы! Они справедливо замечают, что полезней была бы постепенность опытов, без разбазаривания государственных средств на создание нескольких станций сразу, но Светов и его товарищи проявили нетерпение и чрезмерную настойчивость. Ради чего вы так спешите, Павел Кириллович? Ради личного успеха? Карьеры? Славы? Нехорошо! Непартийно!

Один из преподавателей, смущаясь, упрекнул Павла Кирилловича в том, что он и его товарищи санивают из института студентов:

— Государство их учило, деньги тратило, а вы приехали и — бац! Давай бросай учебу, тебя ждут слава и инженерская зарплата. Что ж это такое! Анархизм! Развращаете молодежь!

— Гармаш поступил умней других, отказался, — подал реплику Сонин.

— Струсил он! — крикнул Сверчков. — Дайте мне слово!

Он ринулся на защиту Пальки. Но, стараясь отвести нелепые обвинения, он с такой восторженностью говорил о проекте подземной газификации и о Светове, что его речь прозвучала дружеским преувеличением. Когда же он гневно осудил Алферова за то, что тот не разрешил присутствовать Саше Мордвинову, Алферов прервал его утомленным голосом:

— Вот, полюбуйте! Без Мордвинова, оказывается, мы и решить не сумеем. Целое партбюро для них недостаточно авторитетно! — Он покачал головой и вздох-

нул. — Что ж, товарищи, пора закругляться. Как вы знаете, решать будет горком. Но вряд ли мы можем ходатайствовать о выдаче Светову новых партдокументов. Нет, не можем! Не имеем права!

Проголосовали. Пять — за исключение, двое воздержавшихся, один — против. Этот один — Степа Сверчков.

— Понятно, — насмешливо сказал Алферов и отлежничал в сторону дело Светова. — Второй вопрос...

— Нет, подождите! — выкрикнул Палька.

Он только сейчас по-настоящему осознал происшедшее. Стоит открыть и закрыть за собой дверь, как невозможное станет фактом. Но это же нелепость! Этого же не может быть! Он знал каждого из них и понимал, кто и почему голосовал за исключение. Одного смутили слова «подлог», «личная выгода», «карьера», «развращаете молодежь»... Второй всегда присоединяется к большинству, присоединился и сейчас. Третий испугался и робко, еле-еле, но поднял руку... А Сонин? Можно поручиться, что в глубине души он совсем не верит тому, что здесь говорилось, даже тому, что он сам говорил. Он-то, директор института, чего боится?.. Он-то почему во всех трудных случаях ныряет в кусты?..

И вот пять рук поднялись и перечеркнули коммуниста Светова.

Но разве эти пятеро — вся партия?

— Исключить меня вам не удастся! — выкрикнул Палька, вынул из кармана красную книжечку, помаха́л ею и снова спрятал. — Не отдам! Вам самим будет стыдно! А мне уже сейчас стыдно — за вас! За вас! Что вы смеете... именем партии... такое! Я пойду в горком... я...

И, почувствовав, что сейчас разрешится, Палька выскочил из комнаты.

Они шли присыпанной снежком степью напрямик — от института к поселку. Под ногами оседал мокрый снег, позади оставались темные лунки, полные воды. Не время было гулять здесь, ботинки промокли насквозь, зато хорошо дышалось и мысли приходили в порядок.

Вечерний сумрак постепенно сгущался, делая явственнее напряженную жизнь, подступавшую со всех сторон: повсюду загорались огни; по шоссе мчались, сталкивались и расходились, помигивая друг другу, пучки летящего света; то тут, то там искрились паровозы, вытягивая

длинные угольные составы; совсем близко, на Metallургическом, поднялось облако желтого дыма, затрепетали языки огня — на отвал сливали шлак.

Тихо было в степи, прерывист разговор, поэтому так отчетливо возникли и сопровождали трех друзей звуки трудовой жизни, продолжавшейся днем и ночью: шипение пара, лязг металла, громохание поездов, могучий рев шахтного вентилятора.

— Нелепость — да! — заговорил Саша. — Но мне совершенно ясно: когда начинается что-то новое, всегда пахочится куча перестраховщиков, трусов и малOVERов.

— Я, конечно, виноват с этой проклятой подписью, — говорил Палька. — В горькоме я так и скажу. Но ведь это придирка!

— В шахте ничего подобного нет и быть не может! — вслух рассуждал Липатов. — Если чистятся от дряни, так дрянь и вычищают, без подтасовочек. Рабочий видит, кто работает, а кто баклуши бьет, кто для всех, а кто для себя. Послать бы этого Онуфриевича уголек порубать — поглядел бы я, как он там посмел бы человека шельмовать ни за что ни про что. К Чубаку надо идти, он не допустит.

— А с Маркушей? — тоскливо напомнил Палька.

И снова шлц, молчали, думали.

— Сталину написать бы, — совсем тихо сказал Липатов, — все как есть написать: извращают, мол, Иосиф Виссарьонович, самое святое, самое...

Он не докончил — не умел говорить вслух о том, что томит душу, что требует и не находит ответа. Сколько ни думай, никак не поймешь, что же это происходит? Зачем?.. Ведь такие парни, как Павел и Маркуша, — они же первыми пойдут в бой за Советскую власть, за партию! Жизнь отдадут не задумываясь! И зачем их треплют? Ради чего? «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Оно ж так и было! Каждый на себе чувствовал — и все в охотку работали, себя не жалели. Ну, спотыкались иногда, так ведь за что ни возмись, все на своем опыте постигаем, не мудрено и ошибиться. А хотим мы сделать как лучше. Зачем же такие придирки и подозрения?.. Не помогает это, — вредит! Хороших работников зазря треплют. А всякие карьеристы и перестраховщики на этом карьере делают. Раз не нашли виноватых — придумывают их, лишь бы бдительность проявить...

— Сегодня некоторые просто растерялись,— сказал Палька, снова и снова вспоминая, кто и что говорил, как все сидели и смотрели себе под ноги,— а Сонин и Алферов сами пугаются и других запугивают. Но как об этом напишешь?

Ему было не до обобщений. Его до сих пор была дрожь, и до сих пор он не мог взять в толк, что случившееся действительно случилось. Написать?.. Нет, сначала надо пойти к Чубаку, а если не поможет, тогда биться за себя всеми способами, какие только есть! Он мысленно и говорил, и писал, и произносил целые речи в свою защиту, и над всеми доводами звучала главная неоспоримая мысль: я же не хотел ничего, кроме хорошего, и жить иначе как в партии, я не умею, не могу, не хочу! Нет для меня иной жизни!

А Саша старался добраться до самой сути того, что происходит, и мысленно формулировал эту суть, привычно опираясь на недавние слова человека, которому безгранично верил, и все же споря с ним, потому что происходившее удручало Сашу,— что-то делалось неверно, во вред... Да, конечно, мир накануне страшной, быть может самой последней, решающей войны. Все напряжено до крайности. Социализму и фашизму рядом не жить. Фашизм, так или иначе, опирается на всю сволочь, какая есть на земле. Против нас. Против народа. Началось с Испании. Испанию хотят задушить, залить кровью. И взорвать изнутри? Да, «пятая колонна»... Мы не хотим «пятой колонны», мы не допустим ее у себя! Мы обязаны быть очень бдительными. Но зачем же выдумывать обвинения против людей, которые наши от головы до пят? Ведь столько честных коммунистов уже выбили из колеи! Написать?.. Но ведь многие пишут, надеются... Доходят эти письма? *Знает* он о них? Да как же он может не знать, ведь это не единицы, это тысячи! Наверно, ему не так докладывают.

Внезапная мысль ударила его, как ток. Зачем же это делается и почему? А вдруг это не просто ошибки и перехлесты?.. Мысль была так страшна, что и друзьям не скажешь...

— Сейчас работать бы и работать! — простонал Палька.

— Вот и будем работать,— сказал Липатов. — Что ж ты думаешь, руки опустим? И тебя отстоим, и станцию построим.

Саша некоторое время шагал молча рядом с друзьями, потом подтвердил:

— Конечно!

И сам удивился, как такое померещилось.

Смутно белела степь, чавкала вода под ногами. Голые прутьки новых посадок встали на их пути, — они прошли гуськом между молодыми деревцами и вступили на шоссе в том месте, где оно огибало холм с обелиском и взбегало на мост. Все трое придержали шаг перед обелиском, под которым лежал Кирилл Светов с боевыми товарищами. И зашагали дальше, убыстряя шаг. Надежда и вера шагали рядом с ними. И большая, напряженная жизнь окружала их своими энергичными светами и звуками.

2

— Пока нет...

Федя Голь отвечал все тише.

Но ничто не могло оторвать его от методично чередующихся, уже безнадежных работ.

Проба, анализ, запись.

Проба, анализ, запись.

Уже несколько часов никто не подходил к Феде, и только Катенин еще не сдавался — менял режимы дутья, что-то высчитывал, обдумывал, искал...

Теперь он уже не спрашивал результат, видя, что Федя записывает очередной анализ.

Он только смотрел издали, Федя чувствовал его немой вопрос и отвечал все тише:

— Пока нет.

И вот Катенин тоже не выдержал — шагнул за порог. Федя вздохнул, расправил занемевшую спину, подумал: продолжать или прекратить?.. И пошел брать очередную пробу.

Катенин шагнул за порог и остановился. Идти было некуда и незачем. К жене? Нет, только не к жене! Опустелая территория станции, холод и мокрядь южной бесптолковой зимы... На ветру раскачивались, как маятники, фонари — еще вчера они казались Всеволоду Сергеевичу праздничной иллюминацией, он подгонял монтеров, чтобы к торжественному дню вся территория была освещена. И вот они болтаются, как насмешка, отбрасывая на за-

топанную землю качающиеся круги жидкого света,— если долго смотреть на них, подступает тошнота.

И, как насмешка, надпись над скруббером: «Станция ПГУ № 1». Ваня Сидорчук с ребятами сами лазили устанавливать...

Что такое ПГУ?

Это так чудесно звучало — Подземная Газификация Угля. Сейчас это потеряло смысл. Поражение... Горечь... Усталость...

Да. Поражение. Горечь. Усталость.

Сколько еще проб можно брать из упрямства, из трусости перед истиной?

Газа нет. Пора честно сказать себе и людям: газа нет и не будет, пока... Пока что? Пока я не найду свою ошибку? Не найду нового решения? Или пока другие, более удачливые, не добьются того, чего не сумел сделать я?

Что-то неладно в самом решении. Метод взрывов казался таким остроумным и удачным, я так гордился им. Это было *мое*, мое собственное... Но вот те мальчишки отказались от рыхления угля. Они сейчас строят свою опытную станцию. Никакого дробления угля. Химический процесс, подобный подземному пожару. Странная, дикая — но, быть может, правда?..

Нет, вздор. Крупнейшие специалисты говорят, что без предварительного дробления газификации не будет. Граб, Вадецкий, Арон высмеяли проект мальчишек. А Лактин?

Да ведь и он не одобрил, он только сказал, что нужно испытать, что наука не стоит на месте. Но почему же во время спора с мальчишками я вдруг почувствовал, что мой проект *бескрылый*?..

Нет, это нервы. Надо подтянуться. Никогда ничто не получается сразу. Я найду ошибку. Усовершенствую метод...

А взрывы происходят неравномерно; они не обеспечивают того хода подготовки угля, который так красиво выглядел на схеме. Как оно получается — там, в недрах земли? То разгораясь, то замирая, в подземной тесноте мечется пламя. Оно лениво лижет уголь, раздробленный взрывом, и подбирается к следующему патрону. Патрон взрывается, вздыбливая толщу угля, раздирая его на куски. Пламя устремляется по трещинам, заполняет в пустоты, охватывает все новые и новые куски!.. Густой

дым ползет перед ним и устремляется в газоотводную трубу...

Газа нет.

Провал. Горечь поражения. И усталость — до ломоты в висках, до тошноты. Лечь бы...

Опыт начался на рассвете. Первые часы пролетели незаметно. Тогда все верили: еще немного подождать — и победа.

Возбужденный голос Алымова был слышен по всей территории станции. Его длинная фигура появлялась то в компрессорной, то в котельной, то возле насоса, то в центральном посту и в лаборатории. Временами казалось, что он пьян, — лицо горит, движения суматошны, размашисты, речь несвязна.

Рядом с ним выглядел таким сдержанным юный, сосредоточенный до предела Феденька Голь. И Ваня Сидорчук — его широкое курносое лицо, его коренастая фигура в праздничной белой рубашке под замыганным ватником успокаивали...

Комиссия — Вадецкий, Колокольников и местный профессор Китаев — сперва тоже болталась по станции, потом устроилась в закуте, называемом кабинетом начальника. Когда Катенин заглянул туда, Колокольников с апетитом рассказывал анекдот, а Китаев дремал. Вадецкий послушал анекдот, облизнул губы и весело обратился к Катенину:

— Подсаживайтесь к нам, истомившийся именинник!

В три часа комиссия уехала обедать. Алымов остался. Алымов еще надеялся на успех и боялся пропустить решающую пробу.

Федя бесшумно делал анализы. Он работал, как автомат, и волновался, как родной сын об успехе отца... Нет, почему? Для него станция — своя, успех подземной газификации — личный, желанный успех. И для Вани Сидорчука тоже.

Я их обманул. Газа нет.

Было уже семь часов вечера, когда Колокольников, просмотрев журнал анализов, кисло попрощался с Катениным — понимаете, мне обязательно нужно выехать сегодня в Москву, я уже заказал билет...

Когда он заказал билет? По пути в столовую или сразу после обеда? Значит, он и тогда понимал, что опыт не удался. И заспешил в Москву, чтобы форсировать работы на станции № 2. Может быть, продумать свои — нет, ка-

тенинские — ошибки и что-то изменить у себя, что-то предусмотреть...

С Вадецким Катенин прощался, ничего не спрашивая. Конечно, за обедом они сговорились, заказали два билета и уезжают оба. Завтра в Москве узнают о провале Катенина...

— Очень важно собрать подробнейшие данные о ходе опыта, — сказал Вадецкий, тряся руку Катенина и глядя вбок. — Ну, желаю успеха и... терпения!

— Крысы!.. — прошипел им вслед Алымов.

Жена сначала появлялась на станции, расспрашивала и подбадривала, потом увела к себе старичка Китаева пить чай, а потом и Китаев больше не появлялся, и Катя...

В неоклеенной, с некрашеными полами комнате Катя накрыла стол и уставила его закусками, привезенными из Харькова. Маленький, по банкет — так она сказала. Люда была в отчаянии, что не смогла поехать вместе с матерью: заболел Анатолий Викторович. Прислала записку: «Целую тысячу раз и заранее поздравляю моего умного папку...»

Как держалась бы сейчас Люда: терпеливо ждала, как Федя и Ваня Сидорчук? Сбежала бы, как Колокольников и Вадецкий? Нервничала и злилась, как Алымов? Она тоже связывала с моим успехом какие-то свои надежды...

Три часа ночи. Как бы медленно ни развивался процесс...

— Ну что, Феденька, плохо?

— Пока.

— Можно прекратить, Федя. Иди спать.

— Всеволод Сергеевич!..

— Не горюй, Федя. Ничто не выходит сразу. Иди спать: утро вечера мудренее.

Хватило сил произнести это бодро, даже улыбнуться.

Сигнал «Стоп!» вспыхнул сразу во всех концах станции.

Постепенно снижая обороты, затихал компрессор.

Взревев напоследок, покрутился вхолостую и замер насос. Дрогнули и остановились стрелки приборов.

Стало слышно, как посвистывает пар в котельной...

Дверь распахнулась от толчка — на пороге возник Алымов. Бледный до синевы и злой как черт. Нет, синева не от бледности — просто успела подрасти черная

щетина на щеках и подбородке. Он брился вчера вечером, чтобы в торжественный час быть в «форме». Прошло больше суток...

— Значит, провалились? — беспощадно сказал Алымов и, проходя, пнул ногой подвернувшийся табурет.

Федя стиснул кулаки.

— Константин Павлович, в научных экспериментах почти никогда не выходит сразу, и...

— Плевал я на эксперименты! — процедил Алымов и рухнул на стул. — Газ! Газ давайте, а не эксперименты!

Он покачивался, как от боли, и оттого, что цедил сквозь зубы и сжимал голову длинными побелевшими пальцами, казалось, что у него действительно болят зубы или голова.

Катенин подошел и обнял его. Он чувствовал себя бесконечно виноватым перед этим человеком, который так верил в него и столько помогал ему.

— Константин Павлович, не отчаивайтесь. Мы проверим все данные... Позднее можно будет вскрыть забой...

— Да пошло оно к черту, к дьяволу, к... — И, прибавив несколько сильнейших ругательств, Алымов отбросил дружескую руку Катенина, вскочил и устремился к выходу.

Катенин тупо смотрел, прикинув к окну, как мотается под фонарями, то пересекая круги света, то пропадая в полосах мрака, длинная костлявая фигура с болтающимися руками.

Ласковая ладонь осторожно легла на его плечо. Катя?..

— Пойдемте, Всеволод Сергеевич, — прошептал Федя. — Екатерина Павловна ждет вас. И мы голодные, и я, и Ваня Сидорчук. Можно, мы пойдем к вам?

Ваня тоже оказался тут.

— Не убивайтесь, товарищ начальник, — сказал он. — У нас в полку был такой взводный Костромин, так он на физкультуре говорил: «Ребята, больше попыток! Окромя чепухи, с первой попытки ничего не выжмешь. А вот после сотой я тебе доподлинно скажу, чи ты молодцага, чи нет».

Были они в створе с Катей или нет, Катенин не понял, но, когда они пришли все трое, на столе стояло четыре прибора и четыре рюмки.

— Так вот, — сказал Ваня. — За вторую попытку, Всеволод Сергеевич, и чтоб к концу дела все могли сказать:

молодчага! — Он смущенно покосился на Екатерину Павловну. — Вы простите, конечно, я попросту.

Как ни странно, все ели много, незаметно распили бутылку вина, незаметно развеселились. Катенин даже пощучивал по поводу комиссии, только все, что говорил вокруг, и все, что он сам говорил, звучало где-то в отдалении от него, туманно и глухо.

А потом он лег — и сразу провалился в сон.

Уезжая, Алымов не нашел нужным сообщить, что он будет предлагать в Углегазе. И Катенин не знал: продолжать ли опытные работы? Выезжать ли в Москву? Закроют ли финансирование, распустят или оставят штат станции?

— Конечно, нужно продолжать! — говорили работники станции.

— Вам бы съездить в Москву — уточнить, — советовал Сидорчук.

Работа продолжалась — приводили в порядок записи опыта, они могли пригодиться и Катенину, и другим, их могли потребовать для отчета. Федя выписывал все данные старательно, вдумчиво, находил какие-то обнадеживающие симптомы...

— Да, да, надо проверить, — вяло откликнулся Катенин.

— Я все думаю, Всеволод Сергеевич, — однажды сказал Федя, — Углегаз очень плохо объединяет силы. Если бы на месте Колокольниковова был другой, творческий человек! Ведь ряд людей думает, ищет, разрабатывает... Тут же, в Донбассе, начинают строить другую опытную станцию. Так вот, если бы все усилия объединить, если бы организовать обмен мыслями, у одних взять то, у других еще что-то... скорее бы добились, правда?

Катенин быстро обернулся и в упор поглядел на Федю... Да, он так и думает. Никакой задней мысли у него нет. Вероятно, он по-своему прав. Что ему личные мечты Катенина? Для него подземная газификация — это подземная газификация. Катенин ли ее осуществит, или кто-то более удачливый, не все ли равно! А Ваня Сидорчук? «Чи ты молодчага, чи нет...» Ему-то уж совсем безразлично, кто автор. Если молодчагой окажется другой или другие — те мальчишки из Донецка хотя бы, — он будет радоваться их успеху, как радовался бы успеху Катенина. А то и больше. Ведь те мальчишки ему ровесники,

донецкие ребята, земляки... Что ему, молодому, крушение надежд старого инженера, поверившего, что жизнь начинается заново?

Федя продолжал говорить. И Федя, и его голос были далеко, Катенин уже не воспринимал слов. Зато ярко, как наяву, возникли — одно за другим — два воспоминания.

Кабинет Арона, на диване раскрытые справочники, стол завален набросками и подсчетами... Мысль родилась без какого-либо толчка или ассоциации — подземные взрывы! Откуда это? Да нет, ниоткуда — это мое! Мое собственное! То самое решение, которое столько искал! Был ли он когда-нибудь в жизни так счастлив, как в тот момент творческого прозрения?

Концертный зал. ПIANИСТ, играющий одну из лучших сонат, какие существуют. Музыка — и продолжающаяся работа мысли, но работа, вобравшая в себя эту потрясающую музыку, очищенная от всего мелкого, от корысти и честолюбия... Музыка — и вдруг возникшее предчувствие испытаний, и готовность к ним, и высокая чистота помыслов и чувств — взлет, поднимающий человека на подвиг...

— Это будет! — невпопад сказал Катенин Феде и вышел, чтобы в разговоре не потерять живое, неугасшее чувство.

Когда он пришел домой, Катя заговорила осторожно, как говорили с ним теперь все:

— Ты замучился, Сева, мне так хочется, чтобы ты поехал домой и немного отдохнул. И Люда... Знаешь, у меня есть подозрения: может, она все-таки ждет ребенка? Она отшучивается, но мне кажется... Она стала такая раздражительная...

Он отлично понимал подлинный смысл ее слов: мой бедный Сева, успех обманул, но ведь нам и без него было неплохо, вернемся в наш уютный домашний мирок!

Тремя часами раньше он рассердился бы. Сейчас он только усмехнулся про себя: примчалась Катюша праздновать, но праздник не вышел. Казалось, при ней еще досадней переживать провал. А она оказалась нужна, неожиданно нужна совсем для другого. Чтобы я увидел: она примет меня бережными руками в ту, прежнюю жизнь без взлетов и падений, она устроит все так, что я не почувствую ни обиды, ни уколов самолюбия... Да, она

оказалась очень пужна для того, чтобы я увидел, как легко и безболезненно можно отступить... и все-таки не захотел отступать!

— Всеволод Сергеевич, Москва!

Он помчался к телефону, готовясь к самому худшему, потому что звонить могли только два человека — Колокольников или Алымов.

— Здравствуй, дружище! — раздался в трубке негромкий голос Арона. — Надеюсь, ты не расписалась?

— Нет, конечно! — легко ответил Катенин. — Но ты просто молодчага, как у нас тут говорит один славный парнишка, что позволил именно сегодня.

— А я по делу, — сказал Арон, и Катенину отчетливо представилась его умная ироническая улыбка. — Я звонил академику Лахтину. Он сказал: «Ничего удивительного. Первый опыт подземной газификации в истории техники — и вы сразу ждете успеха? Нужно изучить причины неудачи. Нельзя ли добраться до самого очага горения, когда малость остынет, и поглядеть, что там получилось? Это было бы полезно». Ты слышишь?

— Да, да. Хорошо, что есть на свете мудрые люди!

— Недурно. Слушай дальше. Звони Бурмину. Бурмин ругается, но сказал вот что: «Не вздумали бы они посылы вешать! На эту... ну, тут одно словечко не для телефонисток... государственные денежки ухлопаны. Пусть ищут ошибку и работают так, чтобы пар шел».

— Что? Что шло?

— Пар! Петя, Анна, Рафаил. Пар! От тебя, по-видимому.

— А-а... Значит, он тоже за продолжение работ?

— А ты как думал? Держись, Всеволод! До свидания.

Катенин повесил трубку, но медлил выпустить ее, словно через нее продолжало сочиться человеческое тепло.

3

— Привезут кирпич — обязательно проверь по накладным!

— И погляди, добурили там до угля или нет.

— Должны звонить из горкома комсомола насчет субботника — жми всюю, чтоб скорее!

Так говорили Саша и Липатушка, забираясь в кузов грузовика.

— Ладно, езжайте.

Машина торжественно прошла под новенькой вывеской через ворота, стоявшие особняком (для забора еще не подвезли доски), и помчалась по степи, разбрызгивая талый снег. Липатов и Саша привалились к стенке кабины, прячась от ветра, но еще долго прощально махали руками, будто уезжают невесть куда и на сколько.

Палька отвернулся и побрел по пустырю, окаймленному столбами несуществующего забора. Груды бревен, кирпича, труб лежали тут и там. У единственного, наскоро сколоченного барака бухгалтер со странным именем-отчеством — Сигизмунд Антипович — неумело колот дрова: тюк-тюк, тюк-тюк, а чурка целехонька. Над буровой вышкой шелкал на ветру красный флажок, повизгивал на блоке трос. Проходчики вылезали из ямы будущего ствола, щепками счищали с сапог густо налипшую глину, закуривали, покрасневшими руками прикрывая спички... Шабаш.

Друзья сделали все, что могли, сглаживая обидную неловкость: двое поехали на городской партактив, а третий остался, третьего туда не пустят. Всяких разных поручений навдумывали, чтоб чувствовал себя по горло занятым.

Третий месяц тянется канитель. Горком и не подтвердил исключения, и не выдал нового билета. Никак не пробиться было к Чубакову, а когда пробился, Чубаков недовольно сказал:

— Ну что ты на рожон лезешь? От работы тебя не отстранили? Товарищи тебе доверяют? Ну и работай! И напиши нам объяснительную записку по всем пунктам обвинения. Понял? Продумай, посоветуйся. А мы запросим Углегаз, что тобой проделано в Москве. Кому лучше адресовать? В партбюро? Григорию Тарасовичу Рачко? Добре. На днях запросим, а ты не переживай.

— Но как же, когда я...

— Ты парень башковитый, и нечего дурить. Строй свою станцию и всю инженерию подготавливай, чтоб осечки не вышло. И ко мне больше не ходи. Вызовем, когда понадобится.

Легко сказать — работай и не переживай!

Без работы он и жить не смог бы, тут подстегивать не нужно. Только в кутерьме строительства удавалось

на время забывать, какая беда случилась. Но и здесь то одно, то другое напоминало: ты не как все, ты исключенный, тебя лишили доверия... На стройке создается партийная организация, проходчик дядя Алеша записывает коммунистов, а ты сторонись, прячешься, чтобы не объясняться при всех. Приехал инструктор горкома познакомиться с новой стройкой — убегаешь в дальний конец площадки, лишь бы не попасться на глаза. И вот сегодня — актив. Сестра Катеринка, кандидат без году неделя, приглашена особым билетом. А ты уже не актив...

Обида такая, что кричать хочется. А на кого кричать?

С трудом решился пойти в институт — прочитать формулировку страшного решения. Сам себя за шиворот тянул, готовился к тому, что люди будут шарахаться: лишенный доверия... А вышло иначе. Тот самый член бюро, что испугался слова «подлог», остановил Пальку и быстро сказал:

— Не расстраивайтесь, Павел Кириллович, вас конечно же восстановят!

Алферов встретил добродушно и разговаривал тоном человека, сумевшего перекинуть надоедную тяжесть на чужие плечи:

— Тебе очень важно получить хорошую справку из Углегаза, тогда все, наверное, утрясется.

— Так вы бы и запросили справку, прежде чем решать!

— Да не ершишься ты, Светов! Сам должен понимать...

Встречаясь с институтскими людьми, Палька невольно ловил сочувственные взгляды, благожелательные приветствия, ободряющие кивки... И вдруг, поняв это, почувствовал себя униженным, жалким. Будто милостыню собираю... К черту! Кто сочувствует, пусть заступится! Жалости мне не нужно.

Он ушел из института, втянув голову в плечи, глядя себе под ноги... И на лестнице попал в объятия старого лаборанта.

— Павлушенька! — воскликнул Федосенч, обнимая Пальку. — Слыхал про твои неприятности и диву давался: с ума они походили!

— Ничего, Федосенч, утрясется, — сказал Палька, чувствуя какую-то неловкость и еще не осознавая, что его смущает. — Сейчас трудное время... — убежденно

объяснил он. — В партии идет серьезная чистка. Коммунисту — большие требования, больше, чем когда-либо. За каждую ошибку спрашивают, так что...

— Разъяснил, значит, беспартийному дураку! — усмехнулся Федосенч. — Ну что ж, Павлуша, дай тебе бог, чтоб недолго.

«В этом и есть неловкость... Сколько раз я объяснял старому ворчуну, для чего подписка на заем, и почему перебой в снабжении, и как международное положение заставляет нас усиливать темпы... А теперь я должен, *по-партийному* должен объяснить ему и то, что сделали со мной. Чтобы он не роптал на *мою* организацию даже сейчас, даже из-за меня!..»

В памяти прозвучали слова: «Кто из нас скажет про свою партию — они!..»

Слова возникали каждый раз, когда Пальке хотелось роптать, злиться, проклинать кого-то. И сейчас, проводив друзей на собрание, где он имел право быть и куда его не допустят, он снова вспомнил эти слова с отчаянием и недоумением: как же так? Я каждым помыслом свой, почему же я не могу быть среди своих? Куда же мне деваться, если именно там я свой?

Он обошел строительную площадку. Спокойный, руки в карманах, рабочий ватник нараспашку, шапка набекрень. Покурил с проходчиками и ответил на вопросы, когда же будет жилье. Подоспел к приемке кирпича, проверил накладные, уговорил шофера сделать еще один рейс. Прошел к буровой вышке — там еще не пошабашили, вынимали последний керн. Леля Наумова похлопала по нему ладонью:

— Хорош уголек, Павел Кириллович!

На верхней площадке Никита густо смазывал резьбу на штангах. Свесив чубатую голову, закричал:

— Что, начальник, растет хозяйство? Ноги собьешь, пока обегаешь!

— Ничего, у меня ноги молодые, за сутки обойду.

Буровой мастер Карпенко, уже седоусый, но такой подвижный и бойкий, что стариком его никто не считал, подскочил жаловаться: того не подвезли, этого не обеспечили, а насчет жилья последний раз предупреждаю: мои ребята в город мотаться не могут, производительность страдает, а в вашем дворце ночевать — тем более производительности не жди, потому байки да песни, хиханьки да хаханьки, какой уж сон!

— Если три вечера ты сам воздержись от баек, обещаю: дадим жилье вне очереди,— прятая улыбку, пообещал Палька.

— Три вечера? Да хоть десять! Нужны они мне, те байки, как вороне градусник. Я ж для ребят, потому с одного боку жарко, с другого — пробирает, без разговору никак нельзя.

Палька зубоскалил с ним как ни в чем не бывало. И все время чувствовал, что у него это хорошо получается.

Землекопы уже пошабалили и сидели на бревнах тесным кружком, голова к голове, что-то рассматривая. Палька подошел.

— Глядите, вон она, та Гвадалахара,— с сильным придыханием на «г» объяснял молодой землекоп. — Прикрывает Мадрид с востока, чувствует?

— Цельный механизированный корпус вдребезги! — радовался другой парень. — Итальянских фашистов! На машинах! С пушками! Ка-ак дали им по шапке, у Муссолини аж голова заболела.

— А ну, покажь, покажь сюда, где она, та Гвадалахара.

Маленькая карта Испании была испещрена карандашными стрелками и точками и уже обтрепана по краям: наверно, каждый день переходит из рук в руки.

— Сидайте с нами, Павел Кириллович,— сказал парень, только что говоривший о Муссолини. — И скажите хоть вы, почему у нас добровольцев в Испанию не записывают? Разве ж то справедливо? Говорят: молодцы, военной специальности нету, сидите пока дома... А разве я не научился бы?!

Кровь прихлынула к лицу. Сколько раз он сам думал об этом! Думал отчаянно, с тоской: пустили бы в Испанию — там он показал бы, можно ли ему доверять! Но он не смел и заикнуться об этом. Ему сказали бы: «Уладьте сперва партийные дела. Сами понимаете, на помощь испанцам могут поехать только люди безупречные, надежные...» Ненадежный! Даже в бой, даже на смерть не подходил...

От этой муки некуда было деться. Но землекопам он объяснил — толково, убедительно. Строительство социализма в СССР — тоже борьба с фашизмом, сильнейшая и решающая помощь рабочему классу всего мира...

— То понятно,— вздохнул парень,— а все ж таки... хоть разок пальнуть бы по всей фашистской сволочи!
— Еще пальнешь.

Когда он вернулся к бараку, оттуда вышел Маркуша. Официальным тоном, как всегда в последнее время, доложил, что на сегодня работы кончены и он уезжает домой.

Работники стройки редко ездили в город: хоть и недалеко, а времени на поездки уходит много. В бараке соорудили нары в два яруса, кое-как умещались. По вечерам вокруг печурки возникал своеобразный «клуб»: тут и дела обсуждали, и пели, и газеты читали, и развлекались кто во что горазд. Только Маркуша никогда не оставался ночевать.

— Оставайся, Серега,— сказал Палька, пробиваясь через явную отчужденность приятеля. — Я сегодня один. Две койки свободны.

— Спасибо, не стоит. Всего хорошего!

Маркуша поклонился и быстро зашагал к полустанку, что посверкивал вдали первыми вечерними огнями.

Палька проводил его недоброжелательным взглядом. Ну что разыгрывает служаку: «Спасибо, всего хорошего!» Говорит с нами на вы, как с чужими. А меня явно избегает. Струсил, что ли?

Маркуша удалялся, выбирая, куда ставить ноги в разношенных и, наверно, уже промокших сапогах. Бортовик пальто поднят, плечи скошены — одно выше другого. На мокрой равнине, кое-где побеленной снегом, он выглядел маленьким и очень одиноким.

«Да ведь он отстранился ради нас! Ради меня!»

Догадка хлестнула его, будто плетью. Ради меня же! Маркуша несет на себе проклятье той чудовищной формулировки. У него не хватило сил отказаться от хорошо оплачиваемой работы: жена, ребенок, залез в долги... Но когда исключили Светова, он понял, что товарищеская поддержка может обернуться для Пальки дополнительным обвинением...

Смеркалось. Ощутимее стал ветер. Площадка опустела, только Сигизмунд Антипович по-прежнему измочаливал чурку, тюкая вкривь и вкось.

— А ну, давайте топор!

Палька колот по-плотнички — придерживая чурку одной рукой. Толстые чурки распадалась на одинаковые

полешки, дерево звенело и потрескивало. Было приятно, и почему-то подступали слезы.

Жена бухгалтера выскочила из барака, накинув на плечи шубейку. Она была моложе своего Сигизмунда Антиповича, но старалась выглядеть совсем молодой, красилась, завивала кудерьки и невыносимо жеманничала. Появилась эта пара бог весть откуда; знал ли бухгалтер свое бухгалтерское дело, проверить было некому, но о цирке оба супруга говорили с осведомленностью и увлечением. Липатов уверял, что в бухгалтере всё — от Антиповича, только жена — от Сигизмунда.

— Ах, какой вы милый! — восклицала жена, подбирая полешки. — Могу ли я надеяться, что вы зайдете к нам выпить чаю?

Супруги жили в клетушке, именуемой бухгалтерией. Бухгалтер спал на столе, а жена подвешивала на ночь брезентовый гамак, из-за чего молодежь решила, что в прошлом эта дама была воздушной гимнасткой.

Палька отказался от чая и не подсел, как обычно, к компании, окружившей печурку в общей части барака.

— Жду звонка, — объяснил он и закрылся в другой клетушке, где висел телефонный аппарат, работало все начальство, а на ночь ставились две, а то и три раскладушки.

Никакого звонка он не ждал. Глупо думать, что комсомольцы будут звонить во время партийного актива.

О чем там говорят сегодня? Конечно, обо всем — и о добыче, и о заводских делах, но больше всего — о бдительности. Говорят о речи Сталина на недавнем пленуме ЦК. Но как именно поняло ее большинство актива?

Когда Палька впервые читал эту речь, он воспринял только слова о «формальном и бездушно-бюрократическом отношении некоторых наших партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии... к вопросу о восстановлении исключенных...» Эти слова, казалось, были направлены прямо против Алферова и Сонины, так что сегодня же надо бежать и в институт, и в горком, где уже все всё поняли и остается лишь поторопить...

— Ох, не так оно просто! — уверял Липатов, перечитывая речь. — Круто ставится вопрос. Жестко. Кого зазря, а кого не зазря — это еще доказывать и доказывать. Упор тут на что? На политическую беспечность.

На засоренность партийных рядов. На обострение борьбы. На методы выкорчевывания и разгрома.

Палька сам понимал, что именно на это сделан упор в речи Сталина, но твердо знал, что его-то исключили несправедливо, бессмысленно, во вред партийному делу! А значит, именно к нему относятся слова, что «давню пора покончить с этим безобразием...»

Он поставил койку и лег, закинув на стул ноги в начищенных сапогах. За тонкими стенками шла обычная вечерняя жизнь перенаселенного барака, сквозь щели доносились голоса, запахи еды, потрескивание дров в печурке. За дверью Леля Наумова гремела ящиками, устанавливала в кладовке керны.

Засорение рядов... Враги с партбилетами... Почему мы этого не видели? Сталин говорит: увлеклись успехами хозяйственного строительства, успокоились... А враги действуют. Стадник — враг? Но нам он как раз помогал... А может быть, настоящие враги — Колокольников, Вадецкий, Граб? Граб был связан с Промпартней. Колокольников — коммунист. Нет, никакой он не коммунист, он карьерист, стяжатель! Но, может, мы судим слишком поверхностно? Забыли о капиталистическом окружении, о том, что к нам засылают шпионов?.. Шпионы всегда ведут себя безупречно, создают видимость прекрасных работников... Но тогда как же распознать их?..

— Тут как тут! — сказала Леля под дверью и громыхнула ящиком.

Возня, шепот, шелест...

— Пусти, ну!

— Какая строгая!

— Сказано тебе, занимайся.

— Да неохота, — обиженно сказал Никита. — Устал же за цельный день.

— Мало что неохота!

— Не надоело тебе? Дудишь в одну дуду!

За дверью зловещее молчанье. Кажется, снова поспорятся?..

— И буду дудеть! Не нравится — не слушай. Пока не жепился, подумай, стоит ли? До двадцати четырех лет прожил гуленой-гулепушкой, зачем бы теперь хомут надевать?!

Ишь ты какая! Значит, зря боится Кузьменки, что собьет его с толку эта девица?

Никита разозлился всерьез:

— Ты не очень-то о себе воображай. Скажи пожалуйста, какая хозяйка нашлась! Помыкает, как... Мне уйти — раз плюнуть.

— Иди.

Молчание длилось долго, так что Пальке показалось: ушел Никита. Но тут раздался ясный голос Лельки:

— Что ж не уходишь?

— Пожалуйста, могу уйти.

— А ноги приросли? Может, подтолкнуть?

И сразу вслед за этим — возня, сдавленный смех.

— Ну чего лезешь? Я ведь ду... дужу? Или дулю?..

Смех, возня, поцелуй.

Голос Никиты стал мирным, жалобным:

— И чего ты привязалась? Сама небось не учишься, отработала семь, забралась на нары и дрыхнешь.

— Вот дурной! Ты же способный, тебе нужно. И пропускать нельзя. Нельзя, Никитушка! Раз пропустишь, два пропустишь...

— Тебя бы директором техникума, навела бы дисциплину!

— И навела бы.

— А я бы знаешь что с таким директором сделал?

Через стенку и то понятно: обнял, целует.

Девчата в бараке запели тягучими голосами:

Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь...

— Давай подними тот ящик. Осторожно, чертушка!

— Да знаю, не в первый раз. Нашла подсобника!

И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош — и ты поешь:
Сердце! Как хорошо, что ты такое...

Жизнь очень проста. И кажется ясной. И люди как люди, с понятными чувствами и желаниями. Я их понимаю, и они — меня. У каждого — свое, и у всех — одно: труд. Для заработка, для места в жизни и еще для чего-то главного, неизмеримо большего. Ну что такое Лелька? А ведь доброго хочет и Никиту тянет... Значит, есть у нее свое представление о том, как надо жить... И вот эти поющие сейчас девчата, эти землекопы, что волнуются об Испании... Кузьма Иванович говорит: сейчас люди как на дрожжах поднимаются. Эта наша

работа, партийная. И моя тоже. Увлечь, объяснить, чтоб осознали... Могу я жить без этого? Не могу, что хочешь со мной делай — не могу!

«Недисциплинированный и морально неустойчивый...» Да ведь не в одной дисциплине дело. Ну, заносит меня иногда, как с этой проклятой подписью... Но ведь никакой другой жизни я не знаю и знать не хочу, весь я тут. И все, что делаю, — не для себя же — для партии, для людей! Какая ж моральная устойчивость крепче этой? Мальчишкой, ничего не скажешь, всякое бывало: озорник, двоечник, с Никитой на пару... Что меня перевернуло? Буду честен: не сознательность, а самолюбие, желанье доказать другим, что все могу... А потом наука, пятилетка, партия. Сознательность пришла сама собой. Иначе и быть не могло. Куда ж меня теперь оттолкнешь? Это ж как воздух...

Громкий, со вкусом рассказывающий голос Карпенки звучал уже давно, сменив и песню, и любовный шепот за дверью. Голос как-то вдруг дошел до Пальки — и уже не оторваться было:

— Три года шатался неведомо где, истаскался, обтрепался, живот подвело — тут и вспомнил законную жену. Заявляется. А в доме — чистота, подокопник в цветах, на столе камчатная скатерть, а над комодом под стеклом — почетная грамота Матрене Ильинишне. И сама Матрена стоит, словно королева, коса вокруг головы, на жакетке синего шевота — орден Трудового Красного Знамени. Он смотрит — и будто и не она. И Матрена смотрит — больно хорош муженек стал! А все ж таки муж. Любила ведь, не просто так замуж шла. Сердце-то заколонуло, а виду не кажет и шагу к нему не ступит... Застыл он у двери, мерзость свою чувствует, со слезой зовет: «Мотя!» А она усмехается: «Что ж Мотькой да дурой не зовешь? Или за манатками пришел? Так на чердаке они сложены, лезь, бери, мне не нужно». Тут он на колени: «Мотенька, прости!» А она: «Товарищам своим я Мотенька, а тебе — Матрена Ильинишна. Мало я от тебя горя хватила? Мало тумачков заработала? Все волосы повывергал, только-только отрастила!» Он руки ее ловит, в грудь себя колотит. «Клянусь, говорит, все по-иному будет, поразит меня гром, если пальцем трону!» А она отворачивается, чтоб, значит, радость не показать, руки вырывает. «Зачем же, говорит, на небесные явления надеяться, на электрические разряды? Для них ты

величина незаметная. А от меня последний ультиматум: до первого нарушения даю, говорит, тебе два года кандидатского стажу». Как выходцу, значит.

Голоса и смех слились в общий гул. Задрезбезжала крышка: закипел на печке чайник.

Теперь за стенкой располагались пить чай. Теснились. Что-то опрокинулось: звякнула кружка, вскрикнула девушка. И все начали ворчать насчет жилья: доколе мучиться? Не умеют наши начальнички стукнуть кулаком. Привезли бы сюда Чубака, пусть поглядит!

— Молоды они, боятся, — сказал дядя Алеша. — А чего бояться? На каком кресле ни сидит человек — все равно человек же! А Чубака и совсем бояться нечего. Для них он, конечно, большой начальник, а при мне его в комсомол принимали. На «Третьей-бис». Председатель спрашивает биографию, а Чубачок обиделся даже: «Какая у меня биография, когда батьку белые расстреляли, матка от тифа померла, а я в шахту пошел!»

— Письмо надо писать Чубаку, — сказал девичий голос, — так и так, давайте жилье! И всем подписаться!

Некоторое время обсуждали, писать ли и что. Дяди Алеши слышно не было. Неужто он промолчит? Ведь не в том дело, чтоб еще и эту заботу перевалить на Чубака! Или не понимает? И надо встать, вмешаться...

— А еще бы лучше написать Чубаку всем-всем, со всего городу, кто только нуждается в жилье, — заговорил дядя Алеша. — Так и так, дорогой секретарь, сидим сложа ручки и ждем, когда ты нам квартиры с ваннами предоставишь, по квартире на брата. С паровым отоплением.

После удивленного молчания — смех, выкрики. Девичата добавляли: «С мебелью! С балконами! С фикусами!» Кто-то сердился: «Разве мы сложа руки сидим?»

— Материал завозят, а строителей раз-два — и обчелся. Подсобить бы вечерами да между делом, — раздумчиво говорил дядя Алеша. — Себе же скорее построим. Для начала, конечно, без парового отопления и балконов.

— А можно и с балконами! — Это голос Никиты, значит, они с Лелей уже присоединились ко всем. — Я согласен хоть вечерами, хоть ночами!

— Лишь бы семейные комнаты были? — взвился женский задорный голос.

— А конечно! Или ты в старых девках остаться решила?

Кто-то брякнул не без злости:

— В девки ей уже не возвращаться!

Хохот, шум, какое-то движение. Драка? Нет, кажется.

— Перестаньте, ребята, охота вам ссориться! — лениво говорит Леля и заводит песню:

Мой костер в тумане светит...

Поет с надрывом, будто цыганка настоящая. Должно быть, и плечами поводит по-цыгански. И все слушают ее. А завтра, если организовать их, все пойдут строить жилье — вечером, после рабочего келегкого дня, на ветру, на холоду. И будут петь «Мы кузнецы» и «Крутится-вертится...»

Я их люблю. Я люблю вот эту нашу жизнь — нелегкую, на ветру. Никогда раньше я этого не чувствовала так, как сейчас. Я, наверно, был эгоистичен и себялюбив — пока меня не трахнуло. И недисциплинирован — тоже. Думал только о себе, о своем... Нет, разве подземная газификация для себя?.. И все же я не знал, как мне это нужно — чтобы всем и для всех. И для Лельки, и для Никиты, и для дяди Алеши, и для Карпенки с его байками... Значит, что-то верно подметили во мне на партбюро? Нет, дудки! Там же черт знает что пришивали! Подлог?.. Ну, а если бы все повторить — подмахнул бы я телеграмму за Китаева? А вот и подмахнул бы! Но потом не молчал бы, сам бы пошел признался и кулаком стукнул — вот что приходится делать, когда перестраховщики и трусы дело тормозят! Давайте кончать с этим! Так бы я теперь поступил. И дрался. Покорненьким да тихим я никогда не буду. Завтра же прорвусь к Чубаку, хотя бы силой: — «Ты — шахтерский сын, и я — шахтерский сын. Как же ты допускаешь такое безобразие?!»

Ночь пройдет, и спозаранок
В степь далеко, сокол мой...

Голос Лельки рвется в душу. И все слушают, только кружки позвякивают.

А вдруг Чубак скажет: «Ты из всей речи только о себе вычитал? А у нас дела посрочнее твоего». Враги... Может ли быть, что среди людей, которых я знаю, таятся враги — замаскированные, подлые, на все готовые? Нечисть... На нас на всех замахиваются? На нашу

жизнь?.. Мы бьемся, чтоб улучшить ее, а они хотят повернуть вспять?..

Он содрогнулся от пронзившей его мысли: значит, Маркуша прав, пусть к черту меня, лишь бы всю нечисть выместить?!. Если мне оно по-настоящему дорого и необходимо, я должен быть готов пострадать? Перемучиться?.. Нет! Нет! Трижды нет! Бороться надо за себя и за других, чтоб ни одной ошибки... Что мы, слабые? Разобраться не можем?.. И меня не к черту, и Маркушу, и других, кого зря. Бороться, чтоб все было как надо, по правде!

Он встал, чувствуя себя ясным и спокойным. Вспомнил, что не ужинал. Стоит выйти в общий барак — накормят, напоят, развеселят. Карпенко новую байку придумает. Девушки будут верещать: Павел Кириллович, садитесь сюда, Павел Кириллович, домашнего пирожка...

Телефон затрещал оглушительно, как пожарный сигнал.

— Павел? — издалека, сквозь хрипы и завывания, кричал Липатов. — Наша берет! Высылаем машину, будь готов! Приехал Алымов, устроим у тебя, понимаешь? Все очень хорошо, старик!

— Что? Что хорошо?

— Зажгите там костер, что ли, а то машина заплутает! Выше нос, Павлушка!

Слышно было, как старый черт Липатушка хохотнул и шмякнул трубку на рычаг.

Собрание актива длилось уже четвертый час, когда на трибуну вышел Алферов. Слушали его плохо, пока Алферов не решил оживить выступление примерами. Впрочем, и примеры показались малозначительными: одного студента исключили за пассивность, другого — за сокрытие социального происхождения, потом аспиранта — за недисциплинированность, пропуск пяти партсобраний и моральную неустойчивость. Фамилию почти никто не расслышал. Алферов уже подбирался к заранее приготовленной эффектной концовке, когда в середине зала поднялся высокий, очень бледный молодой человек, вскинул руку и отчетливо прокричал:

— Это неправда!

Чубаков потряс колокольчиком, призывая к порядку. В наступившей тишине Саша Мордвинов повторил еще громче:

— Все, что тут сказано об аспиранте Светове, — ложь! Дайте мне слово, и я докажу!

Собрание зашумело. Многие поднимались с мест, чтобы увидеть, кто прервал оратора. Со всех сторон понеслись выкрики: «Дайте ему слово! Пусть выйдет на трибуну!» Некоторые кричали: «А ты кто такой? Что же, целая организация лжет?!»

Чубакову никак не удавалось установить порядок.

Саша упрямо стоял посреди зала, еще сильнее побледнев. Липатов тянул его за рукав, пытаясь усадить.

Алферов тоже продолжал стоять на трибуне, судорожно заглывая воздух, в его голове билась одна всепоглощающая мысль: «Удержаться сейчас, потом будет поздно!»

Он не был ни честолюбив, ни злобен, этот пожилой, седеющий человек с лицом замотанного работяги. Много лет он вполне удовлетворялся канцелярскими должностями, из которых самой крупной была должность заведующего отделом кадров института. Он боготворил порядок — в бумагах ли, в организации дела или в построении праздничной демонстрации. Липатов, совмещавший учебу на старших курсах с работой секретаря институтской партийной организации, ухватился за Алферова как за верного помощника в ведении партийного хозяйства: сбор членских взносов, протоколы, списки... Когда Липатов ушел на шахту и предложил на свое место Алферова, сам Алферов испугался ответственности и сначала отказывался. Он привык жить среди невидимых людей, колдуя над их анкетами — хорошими или плохими, безусловными или сомнительными, — по решающим анкетным графам. В жизни люди не всегда совпадали с анкетными представлениями. Они были сложнее, беспокойней, непонятней. Несоответствие раздражало Алферова. Он умел и даже любил вовремя сообщить по начальству о чьей-либо оплошности или провинности, но совершенно не умел спорить, убеждать, воспитывать. Заменить Липатова он не мог, но он мог повести дело совсем иначе, и он повел его иначе. Пугаясь инициативы, он назубок знал все директивы, передовицы и цитаты, которыми надлежало руководствоваться, и до сих пор ему удавалось не ошибаться. Человек по природе незло-

бивый, он охотно выполнял указания о чуткости к людям, когда получал такие указания. Но, когда он понял, что в данное время требуется очищать организацию от врагов, сомнительных и пассивных, он с привычной тщательностью взялся выискивать врагов, сомнительных и пассивных. К его ужасу, анкеты помогали плохо. Студент, написавший в анкете, что его отец — кустарь, тогда как отец не только плел корзины, но и продавал их в собственной лавочке, — это была мелкая сешка! Дело Светова казалось Алферову более значительным, тут он мог показать свое умение корчевать зло невзирая на лица. Он пережил ряд неприятных минут из-за этого беспокойного аспиранта, но руководило им не раздражение... С тех пор как дело Светова перешло в горком, он даже сочувствовал парню и не стал бы особенно возражать, если бы исключение отменили... Но в данную минуту его уже не интересовал Светов. Теперь решалась не судьба Светова, а судьба самого Алферова. Или он сумеет отвести дерзкий выпад Мордвинова, или он сойдет с этой трибуны навсегда! И кто знает, какие неприятности обрушатся на него самого!..

— Товарищи! — воззвал он с неожиданным ораторским подъемом, и зал прислушался: всем было интересно, как он ответит на обвинение. — Товарищи! Я мог бы пройти мимо этой недостойной выходки, потому что хорошо знаю ее причины. Кто он, этот крикун? Былший аспирант Мордвинов, ближайший дружок исключенного Светова! Тот самый Мордвинов, ради которого Светов подделал подпись профессора Китаева!

По залу прокатился смех, раздались и гневные возгласы.

— Обратите внимание на недисциплинированность этих молодых людей, — еще напористее продолжал Алферов. — Наш институт выдвинул Мордвинова в столичную аспирантуру. Светов поехал с ним проталкивать изобретение, в котором оба участвовали. А затем Мордвинов самовольно бросает аспирантуру, Светов самовольно остается в Москве, даже не подумав об обмене партбилета. Как это назвать, товарищи? Анархизм! Безответственность!

— Позор! Обоих исключить надо! — выкрикивали в зале.

Липатов железной рукой заставил Сашу сесть:

— Молчи, дурень! Только хуже сделал!

— Повторяю, можно бы пройти мимо,— упоенно говорил Алферов. — Мы люди, нам понятны дружеские чувства. Но имеем ли мы право проходить мимо, когда ради дружбы коммунист забывает свой долг? Имейте ли мы право допускать в наших рядах семейственность, кумовство, беспринципность?

Резкий звонок председателя прозвучал неожиданно.

— Ваше время истекло,— бесстрастно сообщил Чубаков.

— Продлить! — крикнул кто-то из зала.

— Я уже кончаю,— сказал Алферов. — Вопрос ясен, выходка Мордвинова только подтвердила полную своевременность и правильность нашего решения. Мы очищали и будем очищать наши ряды от недостойных!

Он сошел с трибуны победителем.

Прения продолжались, недавно разыгравшийся эпизод начал отходить в прошлое, вытесненный другими волнениями. Саша послал записку с просьбой дать слово, но Чубаков, прочитав ее, задумчиво поглядел на Сашу и отрицательно покачал головой. Липатов скользил по залу, присаживаясь то к одному, то к другому,— пошепчется, подмигнет, пересядет и там опять пошепчется, пошутит... Увидав Алымова, неведомо как и почему оказавшегося здесь, Липатов на минуту обомлел, соображая, каких осложнений можно ждать, но в следующую минуту дружелюбно поздоровался, подмигнул и шепнул самым приятельским тоном:

— Новое-то без драки не обходится, а?

Вызывая шипение людей, которым он наступал на ноги, Липатов пробрался к Степе Сверчкову. Нет, не Степа привлек его, а девушка, сидевшая рядом.

Клашу Веснеюк он знал с тех пор, как она девчушкой поступила на шахту ламповщицей, а вскоре стала одним из самых любимых молодежью комсомольских работников. Ни красотой, ни особой веселостью, ни организаторской хваткой Клаша не блистала, она часто бывала и неумелой, и застенчивой. Но она была из тех, про кого говорят, что им «больше всех надо». Увидит чужую беду — места себе не найдет, пока не поможет. Заметит несправедливость — ринется в бой, себя не пожалеет. Затевается общее дело — сразу откликнется и не бросит, пока не выполнили. Именно Клаша первая из работников комсомола заинтересовалась подземной газификацией,

восприняв самое важное и прекрасное в этой идее — уничтожение подземного труда. Именно Клаша обещала Липатову и Степе Сверчкову устроить комсомольские субботники, чтобы проложить дорогу...

Сейчас на ее чистом юном лице застыло выражение безглизости и страдания.

— Что ж это такое? — спросила она, когда Липатов подсел к ней.

— Борьба, Клашенька, борьба за осуществление! — сказал Липатов, хотел развить свою мысль и вдруг замолк, пораженный: слово предоставили Катерине Световой.

Кто мог думать, что Катерина — молодой кандидат партии — решится говорить на таком собрании!

В зале спрашивали: кто такая? Откуда?

Чубаков поощрительно кивнул Катерине: не смущайся, шпаль смелее! На днях на партийном собрании шахты эта молодая женщина, не робея, критиковала руководителей шахты за невнимание к бытовым условиям шахтеров и выдвигала очень серьезные, но вполне выполнимые требования. Тогда-то и позвал ее Чубаков на собрание актива, тогда и уговорил выступить.

Крупная, в широкой развевающейся блузе, Катерина петоропливо взошла на трибуну. В первое мгновение ее ослепил свет, испугало одинокое положение оратора, стоящего над всеми... Она разыскала глазами товарищей со своей шахты — они подбадривающе улыбались.

Все, что она собиралась сказать, было заранее продумано и обсуждено с ними. С этого она и начала. Но после выступления Алферова и мучительного для нее эпизода с Сашей Мордвиновым Катерина уже не могла ограничиться приготовленной речью. Все, что ее терзало и мучило последнее время, разом прихлынуло к сердцу. Исключение Маркуши, потом Пальки... что же это такое? В ясный, правдивый мир, обретенный ею, ворвалась неправда — дикая, нелепая, тревожная. И вот она услышала речь Алферова — и в тягостном недоумении искала ответа: как это возможно, чтобы грамотный, ответственный человек сознательно все перевернул, искажил, обратил против хороших людей то, что их больше всего красит? Катерина твердо знала, что никогда еще ее брат, Саша, Липатушка, Степка Сверчков не были такими хорошими, как в дни творческого увлечения проектом подземной газификации. Вечера, проведенные с ними —

сперва в сарае Кузьменок, потом в институтской лаборатории, — дали ей силу жить по-новому. Почему же посторонний скучный человек убивает лучшее, что она видела?

Скомкав приготовленную речь, Катерина оглянулась на Чубака и неожиданно для всех сказала:

— А я, товарищи, родная сестра того Светова, о котором здесь говорили. И я вам скажу всю правду, как я ее понимаю. То, что придумал Алферов, — это же враки! Враки!

Громкий голос из зала поддержал ее:

— Правильно! Говори все, как есть!

Это крикнул старый шахтер Сверчков, отец Степы. И вслед за тем родной голос Кузьмы Ивановича добавил:

— Слушайте, товарищи, она не соврет!

Старые шахтеры улыбались: ай да дочка выросла у Кирьки Светова! Шахтерская кровушка и у девки называется.

Именно к ним, к старым кадровикам, и обратилась Катерина:

— Товарищи шахтеры, вас тут много, и вы нас знаете: и меня, и брата моего. Как же вышло, что шахтерского парня, аспиранта, коммуниста, ни с того ни с сего превратили в пассив, да еще в морально неустойчивого? Говорят, подпись подделал. Не подделывал он, а подписал телеграмму именем Китаева, потому что приперло вот так, до зарезу, а бюрократы вроде этого Алферова — ни тпру ни ну! Не подпиши он тогда — дело пострадало бы! Не дружок, а большое дело, подземная газификация! И разве профессор Китаев обиделся? Он же потом выхвалялся той телеграммой, будто сам послал! Значит, понял ошибку? Товарищи шахтеры, кто в поселке живет, вы все помните, как Кузьма Иванович Кузьменко свою дочку замуж выдавал за Мордвинова. И знаете, почему настоящей свадьбы не было, не гуляли, как у нас принято! Но знаете ли вы, что и директор института нашел нужным поздравить Мордвинова, и этот самый профессор Китаев без приглашения с букетом приехал? А ведь и директор, и профессор уже знали про ту подпись? И в Москву отправили Светова уже после той подписи. И поздравляли с успехом, когда опыт удачно получился. Все поздравляли, Алферов — первый. В горком товарищу Чубаку звонили хвастаться. Звонили вам, товарищ Чубак?

— А как же! Звонили.

— Ну вот видите! А теперь парня очернили, измывались. За что? Кто разрешил такие фокусы над людьми устраивать? Я только кандидатка, в первичном политкружке занимаюсь, но знаю: неправильно так! И очень прошу: вмешайся, товарищ Чубак, и вы все, товарищи!

Катерине дружно хлопали, когда она осторожно спустилась по ступеням, когда она шла по залу к своему месту в развевающейся блузе, с пылающими щеками. И все именно сейчас заметили, как она красива и как гордо несет свое материнство.

— В самом деле, разобраться надо!

— Похоже, напутали в институте!

Чубаков услышал возгласы и одобрительно кивнул: разберемся!

Собрание шло уже шестой час, ряды начали редеть, но многие захлопали, когда слово получил вновь назначенный главный технолог Коксохимического завода Исаев: успехи его были известны: благодаря новой технологии производительность коксовых печей резко повысилась, об этом писали и в местных газетах, и в центральных.

Исаев рассказывал о достигнутом деловито и скромно, говорил «мы» и щедро называл фамилии отличившихся рабочих.

Чубаков приподнялся и добродушно спросил:

— Кто же все-таки придумал эту новую технологию! Вы уж не скромничайте, назовите имена.

Исаев запнулся, покраснел и быстро сказал:

— Придумал коллектив. Сами коксовики придумали и сделали. Я уже называл фамилии: Федосов, Загребной, Демешко...

Громкий голос из рядов, где сидели коммунисты Коксохима, отчетливо добавил:

— Маркуша!

Исаев нахмурился и покраснел еще гуще. Среди коммунистов Коксохима поднялся шум, люди спорили и переругивались громким шепотом, некоторые таким же шепотом урезонивали спорящих.

— Кто? Кто? — переспросил Чубаков, приставив ладонь к уху.

Тот же голос уточнил:

— Инженер Маркуша, Сергей Петрович.

И тогда Исаев закричал, всем корпусом наваливаясь на трибуну:

— Провокация! Вылазка! — В его голосе появились визгливые нотки, лицо и шея налились кровью. — Стыдно, что у нас нашлись люди, способные прийти на городской актив устраивать провокации. Очевидно, тоже дружки-приятели! Да, я не назвал Маркушу. А с какой стати я выйду прославлять троцкистского последыша? Уместнее сказать о другом, товарищи. Здесь пытались защищать исключенного из партии Светова. А я скажу, что на этой их опытной станции явно засорены кадры, явно неблагополучно с руководством. Мы исключили Маркушу, изгнали с завода. А где он сейчас? Его пригрели Светов и Мордвинов! Да, да! Тут кто-то кричал: неправда! Бросал упрек целой партийной организации. Так пусть этот крикун скажет: может, и с Маркушей неправда? Может, он не у вас? Как видите, товарищи, бдительности у нас все еще не хватает!

Собрание тревожно гудело. Только поверили, что Светова зря обидели, вдруг новый поворот!

Чубаков вскочил, сел, снова вскочил. Глухим голосом сообщил, что приехавший из Москвы руководитель Углегаза товарищ Алымов давно просит слова. Пригласил Алымова на трибуну, а сам пересел с председательского места в сторонку, спустил голову на руки — в зале поняли, что собрание идет к концу, Чубак готовится заключать.

Алымов медленно, будто спотыкаясь, шел к трибуне. Взгромоздился на нее — и трибуна оказалась ему до пояса, длинная костлявая фигура долго покачивалась над ней, и все увидели, что москвич волнуется.

— Сейчас начнет гробить, — пересохшими губами прошептал Липатов.

Но Алымов вытянул руку, указывая в глубь зала:

— Вон там сидит приехавший со мною бывший красноармеец, член партии Иван Сидорчук! Именно он, он, наш скромный боец, поднял и заварил все дело подземной газификации угля!

Это было неожиданно, ново, любопытно. Лица оживились, с них сошло напряжение. Сотни рук аплодировали незнакомому Ивану Сидорчуку.

— Великий Ленин первым отметил громадную важность подземной газификации угля и завещал нам, строителям социализма, осуществить ее! Рядовой боец прочитал Ленина и понял. А некоторые ответственные люди не понимают — или не хотят понять?

Теперь Алымов гремел на весь зал.

— Вы должны узнать, товарищи, что новое дело с первых шагов встретило ожесточенное сопротивление, рождается в бешеной борьбе. Но что это доказывает? Только то, что дело действительно передовое, важное, коммунистическое!

Эта мысль всколыхнула коммунистов. Да, так и есть. Уж они-то, они-то знали, что новое рождается в борьбе!

— Нам трудно, — признавался Алымов. — Старые спецы и притаившиеся в наших рядах враги тормозят, портят, всячески срывают дело. Мы в этом не сразу разобрались.

Липатов и Саша помертвели. Вот сейчас... сейчас и он обрушится...

Но Алымов громовым голосом обличал ныне обезвреженного Стадника, намекнул на то, что его хвостики еще действуют. А люди несведущие, равнодушные вместо помощи суют палки в колеса, травят поодиночке энтузиастов подземной газификации.

Липатов и Саша с изумлением, еще не веря неожиданной поддержке, ждали продолжения. Но Алымов запнулся, вытер платком вспотевший лоб. Рука его прыгала и никак не могла засунуть платок обратно в карман.

— Что ж, я скажу все, что думаю, — зажав платок в кулаке, срывающимся голосом сказал Алымов. — Товарищи! Я только сегодня приехал и не успел проверить, какие страшные преступления нашли у Светова. Но ведь он один из авторов лучшего проекта подземной газификации, которым вправе гордиться ваш Институт угля! В Москве он сидел без денег, потому что дирекция поспешила продлить командировку, но работал Светов дни и ночи, завершая проект. А Мордвинев пожертвовал карьерой ученого ради новой идеи, где успех отнюдь не гарантирован!

Сонин, сидевший в президиуме, приподнялся с перекошенным лицом и крикнул задыхаясь:

— Но вы же сами!.. Мы же вас спрашивали!..

Алымов круто повернулся к нему:

— Никак директор института? Эх вы, руководитель! Мы к вам пришли поговорить, ведь проект ваш, институтский. А что мы слышали? Вы искали не поддержки проекту, а подкрепления в травле, которую повели против Светова! А приезжавший со мной Колокольников — заметьте, автор другого проекта! — ухватился за всю эту историю, чтоб загубить конкурентов! Вы и меня чуть не

запутали, я же не специалист. Но душу партийную надо долго не обманешь!

Снова аплодировал зал, хотя лица напряглись, посуровели: до чего же трудно разобраться, кто прав!

— Тут говорили о каком-то Маркуше, поступившем на опытную станцию,— пренебрежительно сказал Алымов. — Мы такого не утверждали — очевидно, мелкий технический служащий. Как у них с подбором кадров, не знаю, если есть ошибки, выправим. Но одно я уже понял: местные организации пока очень плохо помогают и кадрами, и жильем, и с дорогой от города к строительной площадке!

Клаша Весенюк звонко крикнула с места:

— Комсомол поможет! Субботниками! Уже решили!

— Вот это хорошо! — Алымов вскинул руки ладонями вверх, будто поднимая над собой бесценный груз. — Вот она, товарищи, настоящая социалистическая помощь! Вот он, трудовой комсомольский Донбасс! — Он приложил руки к груди. — От всего сердца прошу вас всех, всех! Вместо вздорных придирок помогите нам покрепче, по-партийному, по-донбассовски!

И он спустился вниз навстречу улыбкам и дружеским обещаниям. Среди всей сложности политической борьбы, разоблачений, споров и мучительных размышлений самым отрадным и непреложным было созидание. И на любую созидательную задачу люди откликались всей душой. Руки, привыкшие к труду, были готовы подсобить во всяком добром начинании.

— Поможем!

— За нами дело не станет!

Саша и Липатов ловили эти выкрики, с восторгом следили за тем, как Алымов пожимает десятки рук, на ходу обрастая помощниками. Вот он перекинулся словом с начальником дорожного строительства, вот подсел к Клаше...

Энергия собрания иссякала. Последних ораторов почти не слушали: все устали. Председатель успокаивал — скоро кончаем, — а сам поглядывал в сторону Чубакова: не прекратить ли прения? Но Чубаков все сидел в углу сцены, опустив голову. Готовится он? Какое странное у него лицо!..

Чубаков не готовился. Во всяком случае, не готовился к выступлению в обычном смысле слова. Он старался

до конца понять и объяснить самому себе то, что должен донести до сознания других.

Крутясь среди множества сложных партийных и хозяйственных проблем, он привык руководствоваться беспощадно четкими определениями и указаниями Сталина, как бы обобщавшими его собственный опыт. Почему же теперь, в такой напряженный момент партийной жизни, он не испытывает облегчения от четкости суровых формул?

Много раз он перечитывал последнюю речь Сталина. Суть ее была в том, что чем победнее развивается социализм, тем ожесточеннее и отчаяннее становятся враги. Чубаков принял этот тезис: раз Сталин говорит — значит, так и есть. Ведь мы, низовые работники, видим отдельные факты и не всегда можем уловить процесс в целом. Но на этот раз Чубаков не находил убедительного подтверждения в собственном опыте. И это пугало его и томило: «Как же я могу руководить, если не ощущаю, не вижу такого главного процесса хотя бы в частностях, в разрозненных наблюдениях?..»

Его наблюдения подсказывали, что партия имеет сейчас огромную поддержку самых широчайших слоев народа, — да и как могло быть иначе, когда социализм одержал столько замечательных побед, когда дела в стране идут все лучше и лучше! Как же может быть, что внутри партии действует столько врагов? Было время, внутрипартийная борьба отражала напор мелкобуржуазной стихии, за троцкистами и правыми стояли определенные классовые группы. А сейчас, когда буржуазия и кулачество ликвидированы, где же почва для активизации враждебных сил? Это было неясно Чубакову...

Остатки разбитых вражеских групп?.. Чубакову немало пришлось бороться со всякими оппозиционерами в тот период, когда они еще сохраняли видимость партийности и цеплялись за свое место в партии, — так было, но их давно выкинули вон. Чубаков знал людей, которых затащило в трясины троцкизма, — как быстро слетала с них партийность, как быстро они озлоблялись и становились врагами всего советского!.. Вот недавно арестовали Таращука — Чубаков помнил его в юности. Таращук был красноречивейшим оратором и безграничным честолюбцем, этакий «наполеончик» городского масштаба! «Наполеончик», видимо, в жажде крупной карьеры сделал ставку на троцкистов, просчитался, начал крутить и

изворачиваться, а кончил самой низкопробной подпольной антисоветчиной. Конец таких, как он, закономерен. Всю свою сознательную жизнь Чубаков боролся с ними и ненавидел их: эти людишки, когда-то считавшиеся коммунистами и изменившие партии, были для Чубакова самым презренным отребьем, чем-то склизким и лично отвратительным... Но так ли их много? И тем более — много ли их удержалось в рядах партии?..

Чубаков знал и таких коммунистов, что по невежеству или неопытности подпали под влияние троцкистской демагогии, но сумели понять свою ошибку, раскаялись и старались ее отработать. Были среди них и двурушники? Вероятно, да. Притаились ли они, чтобы кусать исподтишка? Несомненно, есть и такие. Но может ли их быть много, когда почва выбита у них из-под ног?

Или я чего-то недоглядел? Впал в благодушье?..

Но ведь и время сейчас другое. Когда-то спорили: можно или нельзя построить социализм, можно ли индустриализировать страну без помощи извне... Но теперь вопрос решен самой жизнью! Самые трусливые маловеры — и те видят, кто оказался прав. Сила нашего строя не могла не пересилить демагогию и сомнения: ведь за эти годы наша правота подтвердилась *делами*, пользой для народа, для страны!

Но чего совсем уже не понимал Чубаков: как, почему могли стать врагами люди передовые, активные, никогда не колебавшиеся в сторону от линии партии, такие люди, как Арсений Стадник? Товарищ Арсений — так его звали в шахте. Когда появлялся среди шахтеров этот маленький подвижный человек с пронзительно-яркими глазами, оживлялись даже заядлые нелюдины. В любое дело он вкладывал сердце — в этом нельзя ошибиться. Чубаков учился у Арсения Стадника партийности и умению общаться с людьми... Как же могло случиться, что Стадник оказался врагом. И враг ли он?..

Особенно придирчиво думал он о своем недруге, до недавнего времени работавшем в области, о Гаевом. С Гаевым он много ссорился, главным образом из-за средств на благоустройство города. Благоустройство и озеленение были «коньком» Чубакова, а Гаевой считал, что для них еще не пришло время, и жестко срезал ассигнования. У Гаевого вообще было много недостатков, а Чубаков в запале споров еще преувеличивал их... Но никогда он не сомневался при этом, что Гаевой — ком-

мунист, который душу отдаст за дело партии. Да и почему рабочий, участник гражданской войны, партийный работник, боровшийся за линию партии против всех оппортунистов, какие только были,— почему, ради чего он мог продаться врагам?

При всех режимах, кроме советского, Гаевой был бы эксплуатируемым бедняком, парией. Как понять психологию подобного отступничества от своего класса, своего строя, да еще в годы величайших социалистических побед?

Об этом много думал и этого не мог понять Чубаков.

Допустить, что ни Стадник, ни Гаевой не враги? Что их оклеветали? Но это не единичные случаи. Допустить, что я слеп, наивен, что в партии действительно много притаившихся врагов и перерожденцев? Но откуда они взялись в таком количестве? Как они сформировались такими вопреки своим биографиям, вопреки великой направляющей и воспитывающей силе партии?

И что же делать мне, как руководить этой суровой очистительной работой, не понимая истоков процесса?..

А если в данном случае...

Он испугался обнаженно выступившей мысли и не договорил ее даже самому себе. Он не мог допустить, что он прав, а Сталин не прав. Нет, конечно, он еще не разобрался, недодумал, он, видимо, и впрямь слишком увлекся радостными успехами строительства и потерял классовое чутье...

Но тогда что же ему говорить сегодня, сейчас?..

Шесть часов коллективно думали пятьсот коммунистов. Он чувствовал накал страстей и бремя их раздумий. Он видел, что они хотят в каждом случае решить правильно, но часто не могут разобраться, кто прав. Есть среди них и люди, готовые бездумно выполнять директиву, да еще свести при этом личные счета или заработать личный авторитет... Исаев, похоже, карьерист и проныра, а погубил одного из лучших инженеров-коммунистов Коксохима и на этом пролез в главные технологи. Или Алферов... Казался просто канцеляристом, а теперь проявился таким воинствующим перестраховщиком; как он позировал сегодня и как нечестно наклепал на этих славных ребят!

Так что же я должен делать? Ударить по ним?..

Такой, как Исаев, сразу начнет «катать» заявления — теперь уже на меня. И еще кое-кто обрадуется случаю насолить прижимистому секретарю...

Да что я, трушу? Это же подлая, трусливая мыслишка! Имею ли я право бояться за себя, когда я отвечаю перед партией за все, что тут происходит и решается?

Но, может быть, лучше совсем не останавливаться на частных вопросах, а заняться ими потом, в рабочем порядке? Сделать сейчас общее короткое заключение? И люди устали...

— Кто за то, чтобы прекратить прения? — донеслось до него. — Принято. Заключительное слово имеет товарищ Чубаков.

Пробравшись между стульями к трибуне, Чубаков мысленно утвердился в последнем решении — сделать короткое заключение, не касаясь частных вопросов.

Подыскивая первые слова, он вглядывался в обращенные к нему лица коммунистов, потому что без живого ощущения аудитории вообще не умел говорить. Чего они ждут от него сегодня?

Сердце его дрогнуло и забилось сильнее: страстное ожидание, надежда и доверие тянулись к нему из зала. «Наш Чубак» — так они звали его. И Чубак не смел обмануть их доверие.

— В сложной обстановке беспощадного выкорчевывания действительных врагов коммунисты должны сохранять ясность мысли и классового чутья, — резко сказал он и почувствовал безмолвный, но горячий отклик собрания.

Как всегда, когда он общался с людьми, его собственные мысли становились ясней, четче. Врагов нужно корчевать безжалостно. Но нельзя терять доверие к людям, нельзя бить своих. Моя задача вот здесь, в руководимой мною организации, — не допускать перехлестов и несправедливости.

Уяснив задачу самому себе, он заговорил свободно и откровенно, как говорил всегда, не увиливая от сложного, с полным уважением к товарищам по классу.

Он не обошел ни одного трудного вопроса. Высказал свое мнение о каждом коммунисте, о котором тут говорилось.

— ...Знакомился и я с «делом» Светова. Даже с профессором Китаевым побеседовал. Что сказать вам об этом почтенном старичке? Юлит, крутит, хихикает: да, мол, подписал Светов одну телеграммку, я лично не в обиде, да только, говорят, партбюро предъявило ему какие-то партийные обвинения... Спрашиваю о проекте подземной

газификации: одобряете вы его? Хорош проект? Опять юлит, запинается: с одной стороны, с другой стороны... Нет, товарищи, не отдам я ради него шахтерского выдвиженца коммуниста Светова! Не отдам!

Собрание отозвалось таким одобрением, что у Чубакова дыхание перехватило: понимают же люди, чувствуют, где правда!

— Товарищ Алферов поторопился опельмовать коммуниста Мордвинова, который заступился за Светова. А мне Мордвинов понравился. Смело, по-партийному поступил! Видит, что неверно осудили человека, — встал и сказал. А как же иначе? Как же мы разберемся, кого исключили зря, а кого — не зря, если люди, знающие исключенного, будут трусливо помалкивать?

Из зала кричали: «Правильно!» Но теперь Чубаков заметил и людей настрожившихся, недовольных. Вон Исаев глядит исподлобья, как сыч.

— Товарищ Исаев возмущался, что взяли на опытную станцию инженера Маркушу. А кто создал «дело» Маркуши? Исаев и создал! Создал потому, что Маркуша с товарищами наступали ему на пятки, смело вводили новую технологию на коксовой печи, а технолог Исаев испугался ответственности. Чего он только не приписал Маркуше! А теперь метод Маркуши введет и на других печах, Исаев повышение получил на успехе этого метода! В газетах пишут: под руководством технолога Исаева... Что это такое, товарищи? По-моему, бесстыдство.

— Маркуша — троцкист! — иступленно закричал Исаев. — Вы защищаете троцкиста!

Зал притих.

В президиуме за спиной Чубакова кто-то громко и горестно вздохнул.

Чубаков вынул из кармана брошюрку с речью Сталина, разыскал нужную страницу и начал читать:

— «...Как практически осуществить задачу разгрома и выкорчевывания японо-германских агентов троцкизма? Значит ли это, что надо бить и выкорчевывать не только действительных троцкистов, но и... тех, которые имели когда-то случай пройти по улице, по которой проходил тот или иной троцкист?» И дальше: «Такой огульный подход может только повредить делу борьбы с действительными троцкистскими вредителями и шпионами». Вот как ставит вопрос товарищ Сталин. А как поставил вопрос Исаев? На основе анонимки обвинил Маркушу в

троцкизме только потому, что восемнадцатилетний студент нашел листовку, вместе с товарищами разобрался, что она троцкистская, разорвал ее, да еще плюнул на обрывки.

Исаев втянул голову в плечи, растерянно крикнул:
— Я же только сигнализировал!

— Так ведь и сигнализировать нужно подумавши,— отозвался Чубаков под общее одобрение. — А вы подхватили анонимку, потому что она помогла вам насолить человеку, который вас критиковал за техническую трусость. И партбюро ужаснулось, прочитав анонимку. И мы проштемпелевали ваше решение, тоже ужаснувшись. Но мне лично стыдно, что мы поверили анонимке. Я больше верю товарищам Маркуши: они не побоялись написать свидетельства и подписаться полным именем. Знали, что рискуют партбилетами, а встали за правду. И хорошо сделали.

Когда Чубаков закончил и присел к столу президиума рядом с секретарем Азотно-тукового завода, с которым его связывала давняя дружба, тот встревоженно шепнул:

— Ох, Чубак, открытая душа! Хлебнешь ты горюшка!

Но Чубаков смотрел в зал, откуда приливали к нему волны сочувствия, уважения и душевного тепла. Люди верили своему Чубаку, и Чубак не обманул их. Есть среди них и такие, как Исаев, которым он наступил на мозоль? Ну их к черту, пусть злятся...

Он чувствовал сейчас только физическую усталость и глубокое, ни с чем не сравнимое счастье исполненного партийного долга.

В домике Световых никогда не бывало так тесно и шумно. Все, что нашлось и у Марьи Федотовны, и у Кузьменок, было щедро выставлено на стол. Стульев не хватило, на две табуретки положили гладильную доску, Саша и Люба уместились в обнимку на одном стуле. Разговор шел сбивчивый, на восклицаниях. И над всем царил Алымов — громогласный, с лицом фанатика, с глазами, сверкающими из-под набрякших век.

Катерина молча сидела за столом, положив подбородок на сцепленные пальцы. Она очень устала и не могла есть, только пила и пила горячий чай. Временами она

опускала глаза и, отключившись от всего, что происходило вокруг, прислушивалась к движениям желанного существа, которое энергично толкалось в стенки ее живота. Когда существо переставало толкаться, она с улыбкой поднимала глаза и смотрела на блаженное лицо брата, на Алымова, на бывшего кавалериста Ваню Сидорчука, слушала сбивчивый разговор и заново переживала этот длинный вечер — первое в ее жизни собрание городского партийного актива! — свое выступление и похвалы товарищей, свои сомнения и тревогу, громовое выступление Алымова и удивительную речь Чубака, удивительную и все же ту самую, какую она ждала от него, какую только и мог произнести коммунист-руководитель. И все, что поднимало и радовало ее в этот напряженный, трудный вечер, теперь сливалось для нее в единое понятие правды — большой и главной правды, рождаемой в борьбе. Только не надо робеть, не надо бояться. Мы не смолчали, не испугались — и вот, все вместе — победили...

— Они ж и меня чуть не свернули с дороги, эти Колокольниковы и Олесовы! — возбужденно говорил Алымов. — Совсем было задурили мне голову, но я разобрался в их махинациях! — Он обнял Пальку и через стол улыбнулся Катерине. — А теперь мы будем вместе. Вместе до победы! Теперь я ваш весь, с потрохами! Ух, и двинем же мы!..

Поселком давно завладела ночь. Запоздалые гуляки и те угомонились. Собаки перестали тявкать, забились в свои конуры и дремали, время от времени настораживая ухо, потому что издали, из-за стен и стекол, доносились глухие звуки человеческих голосов.

Всю ночь звучали эти голоса и сияли два окошка, отбрасывая в темноту дымящиеся полосы света.

4

Пришла весна, ветреная, влажная, с непролазной грязью немощеных дорог, с лужами — морем разлитым, с терпкими запахами оживающей степи. Даже в городе, чуть потянет ветром, пахло мокрой землей, преющими прошлогодними травами да подмешанным к этим степным запахам неизбежным донецким дымком.

В один из весенних дней Катерина родила дочку.

Родила в диких болях, от которых туманилось сознание. Опоминаясь ненадолго, Катерина видела большое окно, голубизну ясного неба за ним и верхушку столба, на котором ослепительно сверкали изоляторы. Она прижмуривалась и всем своим существом ощущала: это жизнь, так рождается жизнь... Потом она уже не ощущала ничего, кроме боли, хватала ртом воздух и сдерживала крик, потому что кричать казалось стыдным.

— Ну и девица! — услышала она сквозь полузабытые и не сразу поняла, что это ее девица, что у нее родилась дочка, а не сын. Но тут же ей почудилось, что она и хотела дочку, что это замечательно — дочка! «Володечка, у нас дочка. Твоя дочка».

Ослепительно сверкали изоляторы. Ослепительно сияло небо. И незачем плакать, когда все хорошо, хорошо, хорошо...

Она заснула. И спала целые сутки, неохотно просыпаясь, чтобы поесть, умыться, поглядеть на чужих детей. Дочку не приносили — оказалось, первые сутки кормить нельзя. Вечером Катерина упростила няню принести девочку хоть на минуту. Белый пакетик был крошечным, среди пеленок розовело неосмысленное личико с расплывчатыми чертами, глаза плотно закрыты, чуть видны белесые реснички, губешки сжаты. Никакого сходства нельзя уловить в этом личике. И дыхания не слышно.

— Няня, она не дышит!

— Еще как дышит-то! Здоровущая девка.

В это время здоровущая девка забавно сморщилась и чихнула, как настоящий человек.

— На здоровье, — сказала няня, забирая пакетик. — Ну, чего плачешь-то? Отдыхай пока, еще намаешься с ней.

Няня не понимала: никакие заботы не могут быть в тягость, любая маета будет счастьем. Володечка, я ее буду растить здоровой и хорошей. Я и заочный обязательно кончу: дочка пойдет в школу, и я буду в той же школе учить. Я с нею дружить буду. С кем же мне еще — душа-то в душу! С нею...

Она, с нею, для нее — так думала Катерина. Мальчика назвала бы Владимиром. А дочку как?

Передач и записок приносили много. От мамы, от стариков Кузьменок, от друзей и подруг, от товарищей по компрессорной, из партбюро шахты и даже от Ни-

киты. Палька написал в записке: «Привет маленькой Светланке от дяди». Светланке?.. Почему он так решил? Когда принесли кормить, Катерина вгляделась в личико дочери и подумала: пожалуй, действительно Светлана. Светлана Светова? Светлана Кузьменко? Она не знала, разрешат ли зарегистрировать ребенка на фамилию Вовы. Может, если пойти вместе с Кузьмой Иванопечем, удастся?..

На третий день принесли цветы и конверт при них. В конверте была записка на плотной глянцево-карточке: «С почтительным восхищением целую Вашу руку. Алымов».

Катерина долго разглядывала колючий почерк; крупную прописную букву в слове «Вашу» — от нее веяло этим самым почтением; размашистую отчетливую надпись — в ней проступала властная самоуверенность.

Цветы были нездешние, незнакомые Катерине. Откуда он раздобыл их, напористый человек?

Она сунула конверт в тумбочку и вернулась мыслями к дочке. Она не хотела думать об этом человеке.

Он часто останавливался у них во время своих поездок в Донбасс. Марья Федотовна благоговела перед Алымовым — для матери он был большой начальник, выручивший из беды ее сына.

Катерину он стеснял. В последний месяц беременности ей хотелось покоя, а приезды Алымова вносили беспокойство, шум, суетолюку. Катерина радовалась, что с помощью Алымова дела на стройке «завертятся», но, когда он бывал в доме, ей казалось, что и в доме все вертится.

Алымов обращался к ней с трогательной почтительностью. Иногда она ловила его взгляд, сверкающий восхищением, и это ее смущало. Она чувствовала себя неловкой, движения становились скованными. Ну чего он, в самом деле? Нашел время...

Люба часто приходила вместе с Сашей, но Любу Алымов просто не замечал, жена и жена, здравствуйте — до свидания. А Катерину просил:

— Посидите с нами, Катерина Киприловна, посветите нам.

Посветите...

Началось это с крупного спора, возникшего во второй проезд Алымова.

На опытной станции Катерина вот уже третий месяц предпринимались разнообразные попытки добиться

успеха. Катенин и его помощники проявляли упорство и энергию. В одном из опытов им удалось получить горючий газ неплохого состава, но газ шел недолго, быстро теряя качество. Это доказывало, что подземная газификация угля возможна, но ясно было, что верное решение пока не найдено; из заложенных в пласт патронов взорвалось не больше четверти, да и те никакого эффекта не дали.

В Углегазе утратили интерес к опытам Катенина и к нему самому. Он познал всю горечь пренебрежения. Ему урезывали смету, штаты, снабжение. Ему не дали денег на вскрытие подземного генератора, то есть отняли возможность изучить, что же происходило под землей...

Прилетев из Москвы, Алымов вскользь сообщил об этом, добавив, что Олесев наводит экономню, а Колокольников поглощен подготовкой опытов на подмосковной станции, созданной по проекту Вадецкого — Колокольникова с «вариациями» Граба.

Палька и Липатов выслушали Алымова и завели разговор о собственных делах, но Саша поморщился и сказал:

— Неправильно с ним поступают. Нелено.

Разгорелся спор. Саша считал, что вскрытие первого подземного генератора даст поучительные для всех данные, а самого Катенина нужно привлечь к участию и в других опытах. Пальке совсем не хотелось вмешательства Катенина в работу станции № 3, он оберегал сложившийся коллектив...

Катерина прислушивалась к спору и вникала, что кроется за словами каждого. Саша думает о пользе дела — и непримиримо откидывает все прочее. Палька ревнует. А что Алымов? Алымов попросту утратил интерес к человеку, на которого недавно возлагал надежды.

— Почему вы о самом Катенине не подумаете? — спросила она, и спорящие удивленно воззрились на нее, так как обычно она не вмешивалась в их беседы.

— Что значит о Катенине? — огрызнулся Палька.

— А то значит, — гневно сказала Катерина, — что человек изобретал, мучался. Ему же обидно. Почему вы так легко отсекаете его? Почему не подумаете, как облегчить ему неудачу?

В тот вечер, прощаясь с Катериной, Алымов неожиданно поцеловал ее руку:

— За благородство ваше.

Вспоминая, Катерина видела в слове «ваше» большую прописную букву.

Вторично Катерина вмешалась, когда речь зашла о Маркуше.

Палька давно получил партийный билет и как будто успел забыть о перенесенных мучениях, а дело Маркуши не сдвинулось. Ходили слухи, что Исаев написал жалобу в Москву, что у самого Чубака большие неприятности... Облегчая друзьям нелегкое решение, Маркуша подал заявление об уходе с работы и решил поступить печником в горжилстрой.

— Все-таки печи, хоть и не коксовые, — угрюмо шутил он.

Алымов открыто радовался заявлению Маркуши:

— Какой бы он там ни был, виноватый или нет, а дело важней. Затаскают из-за него... Отпустите — и всем легче.

Липатов томился. Его пугала возможность новых неприятностей, но было жаль товарища, да и механика найти нелегко.

Саша при разговоре не присутствовал, однако было известно, что он против ухода Маркуши. Палька сидел, обхватив голову руками, взъерошив волосы, и молчал. Катерина знала, что сам он Маркушу ни за что не отпустил бы, но сейчас ему трудно настаивать, ответственность падет не на него, а на Липатова.

И вдруг Алымов спросил:

— А вы что скажете, Катерина Кирилловна?

Все трое уставились на нее, как на судью. А как она могла судить? Отвечать не ей.

— Ребенок у него... — проронила она с тоской, но тут же поняла, что и не в этом дело, а в них самих, в их совести, в том, как они завтра посмотрят в глаза друг другу. — Сами потом глаза отводить будете, — сурово сказала она. — Вы же знаете, что вины за ним нет. Сами написали и припечатали, ответственности не испугались. Что ж теперь отступать с полдороги!

Вопрос разрешился хитростью Липатова — поразмыслив, он написал на заявлении Маркуши: «Задержать до подыскания нового механика». Затем поехал в горком и попросил квалифицированного механика-коммуниста вместо Маркуши. Инспектор горкома покряхтел, записал в блокнот заявку и обещал поискать. Оба понимали, что квалифицированные механики без работы не ходят.

— Прямой напорется, кривой пройдет,— посмеивался Липатов.— Пусть хоть Исаев явится, скажу: сам ищу, и заявка в горкоме; если у тебя механик свободный болтается, давай!

Палька веселился: прямо или криво, но Маркуше отсрочка, а там, наверно, и решится его дело. Алымов поглядел на задумавшуюся Катерину.

— А вы, Катерина Кирилловна, хотели бы только прямо, любой ценой прямо?

— Я хочу, чтоб не нужно было... криво.

Палька пошел проводить Липатова. Алымов сидел напротив Катерины и пристально смотрел на нее.

— А я ведь боюсь вас, Катерина Кирилловна,— его длинные пожелтевшие от табака пальцы нервно мяли скатерть,— каждый шаг прикидываю, как вам покажется.

Вошла Марья Федотовна, собрала посуду. Катерина хотела воспользоваться этим и ускользнуть вслед за матерью.

— Куда же вы? — воскликнул Алымов, вскакивая. — Побудьте со мной. Гляжу на вас и думаю: откуда вы взялись тут такая? Сколько встречал женщин... всегда был сильнее, власть свою над ними чувствовал. А вы только глаза вскинете — и хочется быть кротким, как теленок.

Позднее Катерина сообразила, что можно было отшутиться: «Теленка из вас все равно не получится», — а тогда растерялась, как девчонка, — глаз не поднять, руки девать некуда.

— Я пойду,— пробормотала она, не двигаясь с места.

— Устали? — заботливо спросил он, и на его красивом, немолодом, с набрякшими веками лице появилось несвойственное ему выражение бережности и ласки. — Ну идите, спите.

Ничего плохого в этом не было. Но почему казалось, что и бережностью своей он вторгается в ее жизнь, где все уже решено? Не в нем дело, что ей этот заезжий пожилой человек! Но слова его поднимают сумятицу в душе и ожидание чего-то, что еще может случиться.

Вечерняя смена стекалась к шахте, когда Кузьминшна проехала через весь поселок на старенькой бричке, обычно возившей шахтное начальство в город. Шах-

теры приветствовали ее, она кланялась направо и налево, прижимая к себе объемистый узел, и все понимали — торжественный день у Кузьменок, бабушка едет за внучкой.

Перед тем Кузьминична поссорила с Марьей Федотовной — ничего-то она не понимала, прости господи, индюшка и есты! Хотела непременно сама псехать, а что толку от нее? И помощи никакой, и вида никакого — едет мать за безмужней дочкой... Не объяснять же ей, что и бричку нарочно выхлопотали, и Кузьма Иванович будет ждать у шахты, и весь их проезд по поселку — утверждение родства, чести семьи, чести Катерины.

Катерина, видимо, поняла. Не захотела надеть старое пальтишко, в каком на рассвете пошла в родильный дом, затребовала свое новое пальто, сшитое в талию, и нарядную косынку, шелковые чулки и туфли на каблучках. Когда она вышла на улицу, стройная, как тополек, — казалось, вернулась пора ее девчества, надежд, счастливого ожидания. Только поступь была новая, степенная — мать идет. Подобно свите королевы, шли за нею няни в белых халатах, одна несла вещи, другая — сверток с ребенком.

Кузьминична думала, что заплачет, увидав внучку, но так торжествен был выход Катерины, что для печали не нашлось места. Обнялись, сели в бричку. Няня вручила ребенка Кузьминичне, Кузьминична напомнила вознице — не торопись! Ехали медленно, чтобы все видели: Кузьменки влучку везут.

Возле шахты бричка оказалась в потоке людей, выходявших после смены. Кузьма Иванович, отмывшийся в бане, приодетый, стоял под часами, как было условлено. Бричка останвилась. Кузьма Иванович встал на подножку и расцеловал Катерину, заскорузлой, в черных крапинках ладонью припал к свертку... потом влез на облучок рядом с возницей, и они тронулись под приветственные выкрики шахтеров.

— С прибылью! — кричали шахтеры. — С новым Кузьменком!

Кузьминична глядела во все стороны, собирая улыбки и приветствия, и держала внучку на вытянутых руках.

Только в доме Световых, положив ребенка на кровать и откинув пеленку с его лица, она будто очнулась и поняла, что Вовы нет и дочка его будет расти в чужом доме, а она сама — пришлая бабушка с шаткими

правами... И она заплакала — горе осталось горем. Но ребенок проснулся, заверещал тоненьким голоском, и Кузьминишна подбежала к втучке, плача и смеясь:

— Ну что, родненькая моя? Чем тебе угодить?

Катерина позволила бабушкам завладеть ребенком. Все равно она тут главная, незаменимая. Пока не пришел час кормления, села в столовой с Кузьмой Ивановичем, и, как она ни была переполнена материнскими чувствами, оказалось, что и ко всему остальному не утратила интереса, все ей мило, обо всем хочется знать: и о своих товарищах из компрессорной, и о делах на шахте, и о Никите, и о том, что нового в городе.

Примчался Палька, покрутил Катерину по комнате:

— Да ты стала красавицей, не будь ты моя сестра, влюбился бы! А ну, покажи виновницу торжества!

Палька был приподнято-счастливый, шумный. На племянницу поглядел с любопытством, но без всякого понимания. Он подтрунивал над Катериной, а она над ним, они опять были в веселом и озорном ладу, как раньше. Кузьминишна ценила шутку, но сегодня их веселость немного корчилась. Зато Марья Федотовна не могла радоваться:

— Слава богу, Катериночка совсем прежняя!

Прибежали Люба с Сашей. Палька и Саша вскоре ушли по делам, а Люба захотела поглядеть, как целенают ребенка.

Катерина села кормить — уже не просто дочку, а Светланку, семья одобрила имя. Словно почувствовав, что ее хотят рассмотреть честь честью, Светланка широко раскрыла глазенки, тускло-синие, окруженные редкими белесыми ресничками.

Сосала деловито, чуть захлебываясь. Выпростала крохотную ручонку из пеленок и начала водить ею по материнской груди.

— Глазки Вовины, — прошептала Люба.

— Говорят, у поворожденных у всех синие, настоящий цвет потом появляется, — также шепотом сказала Катерина.

— А я помню Вову таким — ну, вылитый она Вова, — уверяла Кузьминишна. — У меня карточка есть, сама увидишь.

— Правда?!

Ей хотелось, чтобы это было правдой, чтобы в младенческих чертах ожил Вова. Странно, с рождением дочки

память о любимом не разгорелась, а будто гасла. Само по себе требовательное, хваткое, очень жизненное существо лежало на ее руках и напоминало только о самом себе. Все в нем было чудесно и неповторимо, все только начиналось. И мысли тянулись за ним — не в прошлое, а в будущее. Она старалась восстановить облик Вовы, но возникали отдельные черточки — застенчивая полуулыбка, какую он встречал ее, подрагивание губ в минуту ссор, упрямый наклон головы, коричневая родинка на веке... Черточки мелькали и таяли, таяли... Растают, а совсем близко, наяву — розовое личико, окаймленное белой пленкой, смешные реснички, то взлетающие, то сонно опускающиеся на тускло-синие глаза; глаза пристально смотрят куда-то и еще ничего не научились примечать, узнавать. Что они видят? Уже есть у них какое-то свое выражение. Почему они вдруг поворачиваются — на звук, на свет? Ручонка выпросталась — зачем? Что она пытается найти, схватить? Живое чудо. Земное, осязаемое. Перед ним прошлое — сон. И то, что вдруг потрясло осенью, признание Игоря, женская тревога — тоже сон. И глянцевиная карточка с колючей, напористой надписью — тоже. Забыла ее в тумбочке — и хорошо.

К вечеру началось паломничество поздравителей. Катерина уже не могла встречать, разговаривать, провожать — ноги подгибались. Выходила ненадолго, показывала дочку — и опять скрывалась. Мать, старики Кузьменки и Люба всех принимали, отвечали на расспросы, угощали кого чаем, а кого и водочкой.

Под конец пришли Степа Сверчков с Клашей Весенок. Что они часто бывают вдвоем, все знали, но приход Клаши к Световым был неожидан — жила Клаша не в поселке, а в городе, знакомы не были, Катерину впервые увидела на собрании. Видимо, и сама Клаша ощущала неловкость — краснела, оглядывалась, никак не могла включиться в разговор. Она принесла подарок новорожденной — маленькую серебряную ложку.

— Эту ложечку когда-то мне «на зубок» подарили, — розовея, сказала она. — Мама говорит, она счастливая.

— Чего ж ты счастливую передариваешь? — лукаво спросила Кузьминишна. — Или в своем счастье уверена?

Клаша пуще покраснела и покачала головой.

— Нет, не уверена, — просто ответила она. — Мне хотелось что-нибудь нужное, хорошее — для вас. — И она просительно улыбнулась Катерине.

— Как это не уверена? — простодушно вскричал Сверчок. — Ты же у нас!.. Да все тебя!.. цепят!

Клаша дружески дернула Сверчка за волосы и подошла к Катерине:

— Можно мне... хоть одним глазком?..

Светланка спала. Катерина вытянулась на кровати около нее, а Клаша присела рядом. Что нужно этой милой девушке? Будто хочет спросить о чем-то, но не решается.

— Я Степу с детства знаю, вместе коз пасли. Хороший парень!

— Мой лучший друг,— заявила Клаша, но не ухватилась за эту тему, а начала шепотом рассказывать, как помогали комсомольцы строить дорогу от города к опытной станции, как теперь решили взять шефство над подземной газификацией.

— А у вашего брата все уже в порядке? — спросила она. — Мужественный он человек!

Она похвалила выступление Катерины, смелость Мордвинова, энергию Алымова и его умение говорить зажательно.

— Вот я не умею. Про себя все-все высказываю, а выйду — во рту пересыхает и слова куда-то улечучиваются.

— А я не боюсь.

— У вас семья такая — смелая.

— А ты не смелая? Про тебя говорят, Клаша, что ты из всех наших комсомолок самая боевая.

— Ну какая я боевая!

Разговор шепотом над спящей Светланкой сближал их. И Катерина решилась заговорить с этой почти незнакомой девушкой о том, о чем весь день не смела заговорить с Кузьмой Ивановичем.

— Мы с Вовой не были зарегистрированы. А мне хочется, чтоб Светланку записали на его фамилию. Как думаешь, можно?

— Ну конечно! Не все ли равно, зарегистрированы или нет! По-моему, когда двое любят...

Она высказывала свои взгляды на любовь с категоричностью девочки, еще ничего не пережившей, но все обдумавшей.

— Ты не беспокойся,— незаметно перейдя на ты, говорила Клаша,— я все беру на себя. Завтра же найду в загс и договорюсь, а вечером забегу к тебе, хорошо?

За стеной усилились голоса, пришел еще кто-то. Кляша подскочила:

— Мне пора!

Прежде чем она собралась, в комнату ввалился Никита, с примятыми шапкой, спутанными волосами, с застенчивой полуулыбкой на повзрослевшем лице.

Увидав незнакомую девушку, он на минуту запнулся, но тут же приосанился и заговорил развязнее, чем следовало в данном случае. Катерина знала у Никиты способность рисоваться и не любила ее. И Кляше не понравилось, она торопливо распрощалась.

— Значит, я теперь дядя? — своим, естественным голосом сказал Никита, когда Кляша ушла. — Что за девушка? Никогда не видал ее.

— Невеста Сверчка, — сухо ответила Катерина. — А у тебя сразу хвост трубой, непутевая душа!

— Да уж теперь путевая, — со вздохом ответил Никита. — Поджало меня, Катериночка, сам себя не узнаю.

— Женился — или как?

— Да где женишься-то? К родителям... сама знаешь. У нее — чуть придешь, хозяйка гремит у двери ухватами. На стройке — общий барак, нары в два этажа, теснотища. Как бездомные, словом перекинуться негде, не то что...

Он присел на стул, свесив голову.

— Может, мне поговорить с твоими?..

— Не-ет. Не поможет.

— Ну, приведи ко мне свою Лелю.

— Не пойдет она. Обижена очень. Ведь чего она мне, кроме хорошего, сделала? А ее...

Губы знакомо дрогнули, как у Вовы. И в это время закричала Светланка. Катерина начала перепеленывать ее.

— Скажи пожалуйста! — пробормотал Никита над ухом Катерины. — Все как надо, даже ноготки.

Голенький, барахтающийся на кровати ребенок, его ножки с настоящими ноготками задели какую-то струну в душе Никиты, и струна откликнулась изумленным звуком. Никогда-то он не понимал, какая может быть прелесть в таких вот котятках. Когда Лелька однажды сказала: «Хочу, чтоб все по-хорошему, чтоб муж, и дом, и дети», — он согласился, раз Лельке это нужно, но при слове «дети» ничто не шевельнулось в нем, ни представления, ни чувства. А они, оказывается, вон какие забавные.

— Подержи-ка! — приказала Катерина, запеленав дочку и передавая Никите тугой конвертик.

Пока она взбивала тюфячок, Никита напряженно держал ребенка. «Дочка Вовы... Племянница... И у меня когда-нибудь родится такое... Занятно!»

— Константин Павлович приехал! — благоговейно сообщила мать. — Выйди, Катериночка.

— Устала я. Разве что на минутку.

Катерина помедлила у зеркала. Закрутила косы вокруг головы. Потуже стянула пояс домашнего халатика и сама себе понравилась: опять стройная, тонкая в талии, красивая. Не вошла, а вплыла в столовую навстречу сверкающим глазкам Алымова. Приняла поздравления. Отказалась принести дочку: заснула, в другой раз покажу. О чем-то спросила, невнимательно выслушала ответ и ушла тем же легким скольльзящим шагом.

Оставшись одна с дочкой, усмехнулась: влюбился дядька. Каждый шаг прикидывает: как мне покажется? Ну и пусть, а то больно злой да скорый! И чего я робела? Он сам по себе, мы сами по себе, верно, доченька? Нам на всех дядек наплевать.

Дело было совсем новое, но уже образовались вокруг него поколения: Алымов, Катенин и Федя Голь были поколением старшим, накопившим некоторый опыт, а у молодых руководителей станции № 3 появилась своя молодежь: Степа Сверчков, Леня Коротких и Клаша Весененок с ее комсомольцами.

По настоянию Алымова в Институте угля возобновились исследования по подземной газификации, в группу научных работников включили и Федю Голь, так как предстояло обобщать опыт обеих опытных станций. Официальным руководителем группы был назначен профессор Китаев, но с первых дней работы фактическим руководителем стал Саша Мордвинов. Никто его не назначал и не выбирал, так случилось потому, что Саша оказался самым сведущим участником группы. Он не пытался оттеснить Китаева, Китаев сам говорил всякий раз, когда возникали спорные вопросы или требовалось организовать новый опыт:

— Вы уж займитесь, Александр Васильевич... Мне не разорваться, голубчик, прошу вас, вникните, что там у них...

Единственным «инородным телом» в группе был Федя Голь, но Саша с первого дня постарался стереть всякие разграничения между институтской молодежью и Федей:

— Неважно, чей проект и кто на какой станции работает. Дело общее, опыт каждого нужен всем.

Если бы Саша мог, он включил бы в группу и Леню Гармаша. Что с того, что Ленежка Длинный шатнулся в трудную минуту! Он талантлив, так пусть отрабатывает вину. Но Леня Гармаш упорно обходил их лабораторию и старался не встречаться с прежними друзьями. Однажды Саша остановил его в коридоре:

— Знаешь, Леня, ошибка, вовремя не исправленная, разрастается.

Леня вспыхнул и сказал сквозь зубы:

— Не чувствую себя виноватым.

— Вот как! — сказал Саша и пошел дальше.

Леня Гармаш втянул голову в плечи и укрылся в пустой аудитории, где не перед кем было притвориться равнодушным. Из всех институтских работников он больше всех уважал Мордвинова и своего руководителя профессора Троицкого. Совсем недавно он первым из студентов поверил в подземную газификацию и увлек ею лучшего своего друга — Леню Коротких. Как они мечтали об успехе, лежа на соседних койках в большой комнате институтского общежития, среди спящих товарищей! Будущее рисовалось им интересным, огромным! А потом... Зачинатели всего дела задержались в Москве, вокруг имени Светова пошли неприятные разговоры. Затем стало ясно: Светова исключат. И в это же время Лене предстояло решать, идти ли на опытную станцию. Сонин и Алферов убеждали не рисковать своей научной карьерой. Леня Коротких и Степа Сверчков сознательно шли на любой риск, Леня Гармаш испугался... До окончания института остался всего год, потом ему была обещана аспирантура при кафедре Троицкого, — как же бросаться наобум в полную неизвестность?.. Во всяком случае, надо переждать...

Когда он сообщил своему руководителю, что решил пока не уходить ради проблематичного дела, Троицкий сказал:

— Что ж, э-э-э... каждый поступает сообразно характеру и силам... э-э-э... силам духа.

И тогда же лопнула дружба с Леной Коротких. С первого курса спали рядом и рядом сидели на лекциях, вместе ходили в столовку и в кино... а тут Леня Коротких подошел и сказал, глядя в сторону:

— Мы на субботу сговаривались в кино, так ты не трудись насчет билетов: отменяется.

А вечером соседняя койка оказалась пустой: Леня Коротких перебрался в другую комнату. В другой этаж. И в столовке садился не на обычное место, а в противоположном конце зала.

И вот Леня совсем один. Попроситься в группу? Но Коротких с его неумемной принципиальностью не захочет работать вместе. Да и как посмотрят другие? «Ошибка, вовремя не исправленная; разрастается»?.. Значит, надо прийти и покаяться, попросить прощения? А они будут коситься и учить уму-разуму?.. Но, главное, кто знает, как еще все сложится? Светова восстановили, а Маркушу нет. Алферов сказал, что это им «бокком выйдет»... Ходит слух, что и у Чубакова неприятности из-за Маркуши...

Потомившись немного, Леня решил, что поступил разумно. И продолжал сторониться бывших друзей, хотя ревниво следил за тем, как они увлеченно работают, как часто они выезжают из института то на станцию Катенина, где началось-таки вскрытие подземного газогенератора, то на станцию № 3, где закладывалась опытная панель...

На станции № 3 наступила страдная пора. Липатов целиком ушел в дела строительные и снабженческие, Светов уточнял проект, не прибегая к помощи проектировщиков из треста: ежедневно возникали то мелкие, то крупные технические вопросы. Мордвинов с помощью институтской группы создавал искусственный угольный пласт.

На краю строительной площадки выкопали широкую десятиметровую траншею. Копали все, кто мог, — как высвободится время, хватают лопату и бегут подсобить. Получился глубокий ров. В этот ров навезли угля, засыпали его угольной пылью, утрамбовали ручными трамбовками, залили горячим пёком. Установили трубы для дутья и газоотвода, соединили их каналом, заготовили горючие материалы для розжига: розжигом ведали Степа Сверчков и Леня Коротких; они перепробовали множество комбинаций, чтобы разжечь уголь побыстрее и

получше. Пласт закрыли кладкой из огнеупорного кирпича, засыпали землей и опять как следует утрамбовали. Между основными трубами установили две контрольные — брать пробы.

Это была модель, очень похожая на будущий подземный генератор. Тут начиналось освоение процесса, тут решалась вся «химия» подземной газификации: состав дутья и давление, наилучшие температуры и количество подаваемого воздуха, обогащенного разными дозами кислорода. Все испытывалось по многу раз и в различных сочетаниях. Люди ходили, перемазанные углем и машинным маслом, взмокшие от напряжения, озабоченные всякими неурядицами, но высокая романтика первооткрывательства реяла над ними.

Для одних любая работа на станции ощутимо приближала осуществление выношенной, разработанной в цифрах и деталях мечты. Для других, недавно приобщившихся, все происходившее было увлекательной новью. Многие догадывались, почему зачастила на строительную площадку Клаша Весненок, но что привлекало комсомольцев из шахт, из школ, с заводов? Почему приезжали будущие коксовики, медики, педагоги, после учебного дня зайцем добираясь сюда на поезде или на попутном грузовике, топая по мокрой степи в не ахти каких ботинках, чтобы попотеть два-три часа на грубой физической работе? Что заставляло их прокладывать дорогу, на себе вывозить землю для создания водохранилища или таскать кирпичи для дома, где жить не им?! Они пели «Вперед же по солнечным реям», «Шахту номер три» и песню про Джима — подкипера с английской шхуны, поднявшего красный флаг на мачте; и когда их старательно-громкие голоса выводили:

Есть Союз, свободная страна!
Всем примером служит она! —

они пели про себя, про все прекрасное, что есть и будет, и подземная газификация, еще не очень понятная им, входила в их будущее. Каким оно рисовалось юношескому воображению? Светлые здания, которым больше подошло бы называться чертогами, незакатное солнце, неясные контуры чудесных автоматических машин еще неведомых конструкций, — нет, не отдельных машин, а целых цехов, где человек только управляет блестящими рычагами и кнопками, следя за производством по

умнейшим приборам с вибрирующими стрелками!.. Города-сады без дыма и копоти, где живут физически и духовно прекрасные люди в удобных легких одеждах... Какие-то непостижимые уму сверхскоростные самолеты, за несколько часов пересекающие океаны и континенты, и маленькие индивидуальные самолетки, простые, как велосипед, взлетающие и садящиеся без разбега, хоть на крышу... Юношеское воображение причудливо сливало воедино материалы политзанятий, образы будущего из любых стихов и пьес Маяковского, научную фантастику и собственные мечты. А в основе держалось вполне житейское, трезвое понимание донецких ребят: ликвидация подземного труда — хорошо!

В один из дней, когда в модели начался процесс и над газоотводной трубкой стойко горела газовая свеча, приехал Алымов и привез с собой Катенина, пожелавшего поглядеть опытную модель.

Рабочий день кончался, и, как всегда в дни опытов, вокруг модели сновали любопытные; на лесах двухэтажного дома, который строили вечерами, сверхурочно, люди нет-нет да и отвлекались, чтобы поглядеть на пылающий факел. Еще не стемнело, пламя казалось бесцветным, но оно было, было! — и люди не могли отвести глаз.

Липатов приветливо, как подобает начальнику, поздоровался с гостем, но тотчас ускользнул, ссылаясь на «очередную хворобу» на буровых.

В дощатой будке, где стояли приборы, Саша Мордвинов колдовал над пробами, а Федя Голь аккуратно записывал в тетрадку очередной анализ.

— Давно пора, Всеволод Сергеевич, — сказал Саша и с удовольствием показал записи: — Неплохо? Данные весьма устойчивые.

— Вот уже сутки почти без колебаний: и калорийность, и состав! — восторженно добавил Федя.

Он явно призывал Катенина порадоваться: еще недавно они так тщетно ждали подобного результата! И вот он достигнут... Так ли уж важно, чья тут идея, чья удача?

Катенин впился в тетрадку записей. Придирчиво расспрашивал, как закладывали уголь; действительно ли создана имитация целика или уголь все-таки разрыхлен? Какое дутье? Кислород... Мне не пришло в голову обогатить дутье кислородом... Может, именно в этом все дело? Да, но горит целик! Нарочно заливали пёком и трамбо-

вали, чтобы создать подобие целика. Значит, интересная, но дикая мысль этих «вихрастых» о горении цикла верна?

— Здравствуйте, Всеволод Сергеевич!

Ваня Сидорчук прибежал приветствовать гостя. Совесть у него чиста, ему и в голову не приходит, что он «перебежал» из одного лагеря в другой: на станции № 1 проходческие работы кончились, а тут начались, вот он и перешел. Ему тоже хотелось, чтобы Катенин порадовался удачному опыту.

— Федя, ты показал анализы?

Конечно, они уже на ты. И с Мордвиновым Ваня разговаривает по-приятельски. Пожалуй, они однолетки. И, что еще существеннее, шахтерские дети, родились и сформировались в одной среде, принадлежат к одному классу. Родство во всем... А я?

Впервые за много дней почувствовал Катенин бремя своего возраста. И то, что он чужой среди этой напористой, дружной молодежи. Но как же случилось, что у него, квалифицированного, опытного инженера, носителя духовной и технической культуры многих поколений, у него не вышло, а у них вышло?

— Я считаю целесообразным объединить все усилия,— говорил Саша, не желая замечать угрюмости Катенина,— полезно устраивать обмен мыслями, совместное изучение результатов. Нас, например, очень интересует, что покажут ваши вскрышные работы. А вы могли бы принять участие в научных разработках института.

Так... Значит, они хотят сунуть нос в мои ошибки, чтобы не повторить их у себя. Они это называют объединением усилий...

— Я еще не махнул рукой на свой метод,— с кривой улыбкой сказал Катенин,— и надеюсь с некоторыми поправками возобновить опыты. Так что посоревнуемся.

После общего короткого молчания Саша уточнил:

— Соревнование без сотрудничества? Ну что ж, как хотите.

И все занялись своим делом.

— Константин Павлович, вы остаетесь или едете? — чувствуя свое унижение, через силу бодро спросил Катенин. — Я бы хотел двинуться в город. Приехала жена и ждет в гостинице.

— Попробуем сбавить давление! — деловитоскомандовал Саша.

— Есть сбавить! — весело откликнулся Федя.

— Поезжайте и верните сюда машину,— неохотно разрешил Алымов.

Когда Катенин вышел из будки, уже начало смеркаться и столб пламени, бьющего из трубы, как бы увеличился и налился силой. Пламя приобрело цвет сизо-голубой, с прорывающимися розовыми и желтыми языками.

Катенин зашагал через площадку к машине. Вокруг все было знакомо: буровые вышки, котлованы, еще не обшитый остов градирни, лежащие на земле широкие трубы, ожидающие монтажа... Все было похожее и в чем-то совсем другое.

Шофер сердито сказал, что гонять машину взад-вперед — никакого горючего не хватит, и побежал пререкаться с Алымовым. Катенин прислонился к машине, лицом к степи, чтобы не видеть чужую и враждебную — да, враждебную ему! — стройку. Все, что держало его эти недели, — самовнушение. Мечты об успехе нового опыта — самообман. В глубине души он понял еще осенью, на обсуждении проекта этих «вихрастых», что они бьют его по всем статьям. Но тогда еще теплилась надежда: а вдруг?..

В ворота вкатил нагруженный кирпичом грузовик. Из кабины выскочила девчушка с доверчиво распахнутыми глазами. Какая-то своя радость так переполняла ее, что она готова была излить ее на все и всех, включая и нахохлившуюся фигуру Катенина.

— По-видимому, приехал Алымов! — весело сказала девчушка. — Кто-нибудь сейчас уезжает?

— Уезжаю только я, — желчно сказал Катенин.

— Ой, простите! — воскликнула девчушка, чему-то засмеялась и вприпрыжку побежала по площадке, радуясь всему, что попадалось на пути: попалась доска — перепрыгнула через доску, подвернулась труба — примерилась, перепрыгнуть или нет, и обежала ее...

Проводив взглядом это жизнерадостное создание, Катенин еще сильнее нахохлился. Люда!.. Боль все время жгла в нем. Обвинять Люду в том, что музыканта из нее не получится, что нет в ней ни подлинной любви к искусству, ни трудолюбия? Но мы с Катей сами выдумали, что она талант. Да и в этом ли дело! Упрекнуть ее, что она выскочила замуж, потому что захотела пококотничать в новой роли? Что не любила и не любит Анатолия Викторовича? Мы, мы виноваты, тряслись над нею, баловали, внушили ей, что она особенная. Но цинизм... откуда

цинизм?! Кате что-то показалось, уже собрались быть бабушкой и дедушкой... «Люда, мне пора готовиться в деды?» — «Фу, папка! Этого не хватало!» — «Что ты говоришь, девочка? Ты вышла замуж, это всегда может случиться, п...» — «Ох, папун, до чего ж ты наивный. Когда не хотят, это и не случается. Очень мне нужно закабалиться!» — «Но...» — «Никаких «но»! И вообще, если я захотела иметь мужа, это еще не значит, что я собираюсь быть настоящей женой! Здорово сказано, а?» — Она расхохоталась и убежала, забарабанила на рояле какую-то тарабарщину...

Теперь он знал точно, как поступила бы Люда в ту ночь, когда опыт не удался: она не сумела бы скрыть досаду и раздражение. В последнее время у нее часто проскальзывала насмешливая снисходительность к отцу: эх ты, замахнулся высоко и не дотянулся, сиди уж дома!.. Предвкушала шумный успех, славу, деньги, почетный переезд в столицу — и обманулась.

— Садитесь, поехали, — сказал шофер, неохотно включая мотор. — Горючего всего ничего, а кто с этим считается!

Он рванул на предельной скорости, машину подкидывало, кренило набок, заносило. Огоньки полустанка остались сбоку, а впереди возникли огни шахтерских поселков, красные звездочки, словно псевдисппе в сумрачном небе, а еще дальше — полоса света, отраженная облаками, — город. И в этом городе гостиница, номерок со скудным убранством, и в нем Катя. Родная, все без слов понимающая. «Видишь, как хорошо, что я привезла термос, — скажет она. — Буфет уже закрыт, а у меня горячий чай, сейчас я тебя напою». Потом бросит между прочим: «Все-таки очень хочется домой!» Настаивать не будет, это на случай, если пора ответить: «Что ж, если хочешь, поедем...»

В дощатой будке издали заметили появление Клаши Весненок — ее ждали уже три дня. Сверчок нервничал, и все это чувствовали. Леня Коротких подал сигнал к розыгрышу:

— Же-ни-хи, товсь!

— Сверчок, поправь галстук, — сказал Федя.

Клаша не сразу пришла в будку, и Леня Коротких, заняв позицию у окошка, торжественно сообщал:

— Влезла на леса и разговаривает с ребятами... Любуется факелом... Заглянула в компрессорную...

Саша невинным голосом спросил:

— Кого-то она ищет, кажется?

— Да ну вас, право! Выдумали! — бормотал Сверчок, хотя видно было, что розыгрыш ему приятен, и радостно, что такое выдумали, а может, и не выдумали, а заметили?..

— Вот и я! — воскликнула Кляша, появляясь в будке. — Ох, ребята, до чего здорово горит! Я от самого шоссе увидела! Липатушка, кирпич привезли, трехтонку. А ты чего не заходил в горком, Степа? Товарищи, у меня новости! Помните, мы видели возле балки три недостроенных дома? Так вот, строила железная дорога под общежитие своего училища, но училище перевели куда-то и стройку законсервировали. И если хорошенько нажать...

Она смолкла, не договорив. За дверью раздались сердитые голоса, и в будку ворвался Палька Светов.

— Маялись, маялись, так и не вытащили! — сказал он, не обращая внимания на Кляшу. — Михайлыч, надо звонить в контору бурения, какого черта!

В тот день на буровой заклинило штангу, и Палька с Маркушей несколько часов помогали выбивать ее. Палька был грязен и зол. И все же ему следовало заметить дорогую гостью.

— Поздоровайся, вахлак, — сказал Липатов.

Палька рассеянно поглядел — с кем?

— А, здравствуй! — кинул он в сторону Кляши и продолжал говорить о негодных штангах и необходимости срочно получить новые.

Кляша покраснела до корней волос — стало очень заметно, какие у нее светлые, прямо-таки льняные волосы.

— Дай-ка журнал! — оборвав возмущенную речь, потребовал Палька у Феди, прочитал последние записи, удовлетворенно хмыкнул и направился к двери. — Ну, я из них душу вытрясу, я им...

Последние угрозы прозвучали уже за дверью. Он окликнул кого-то во дворе, два голоса зазвучали наперебой и стали удаляться.

— Так что там с домами? — не своим голосом спросил Сверчок. — Может быть, действительно...

И не смог продолжать.

Клаша стояла у стены, закусив губу, глаза полны слез.

Стало слышно, как жужжит компрессор, как на разгрузке машины постукивают и шаркают один о другой кирпичи.

— В самом деле, все штанги старые, перекошенные,— заговорил Саша с искусственным оживлением.

— Светов целый день провозился с вами, можно разозлиться,— сказал Федя.

— А с домами было бы здорово,— подал голос Лея.— Если достроить эти три дома...

Никто не смотрел на Клашу.

— Только отдаст ли железная дорога? У них знаете какое ведомство, не подступись!

— Да уж, они и горькому не очень подчиняются.

— А все-таки нужно попробовать! — звенящим голосом сказала Клаша и потянулась за тетрадкой, которую смотрел Палька. — Степа, что это значит: хорошие анализы, да?

Сверчок, кажется, и не поднял вопроса. Федя ринется на выручку, начал рассказывать, сколько в газе горючих и почему это важно. Он объяснял подробней, чем нужно. Клаша кивала головой. Потом она снова упрекнула Сверчка, что он не заходил, прислушалась, выгружают ли кирпич или кончили, и заторопилась к машине, чтобы уехать на ней.

— Пойдем, проводишь,— сказала она.

Сверчок довел ее до машины и проверил, поднимается ли боковое стекло, потому что к ночи похолодало. Они поболтали о том, о сем, пока кончалась разгрузка. Клаша была ласкова, как всегда, но это уже не имело значения.

5

«Катерина родила дочку — и расцвела». Куда ей еще то расцветать? Шахтерская мадонна. Почему-то боялся — умрет родами. Какие глупости лезут в голову! Все женщины рожают, с чего бы молодая да здоровая умерла? «С собой потащите рожать или как?» Злилась. А теперь, наверно, и не вспомнит...

Светлострой. Странно: Катерина Светова, Светлострой. Написать ей? Нет. Точка.

Аннушка пишет, что у отца большие неприятности, по выводам комиссии из управления пришел резкий приказ. Матвей Денисович возмутился и написал ответ — еще более резкий. У отца не хватает гибкости в отношениях с людьми. Идеалист и фантазер. Игорь написал ему о своем назначении, отец коротко поздравил и не удержался от правоучения: «Хочу видеть тебя, сын, человеком большой, умной души. Кажется мне, что до этого тебе многого не хватает». О-ох, моралист! Старые большевики бывают удивительно наивны. «Умная душа!» Чего только не выдумают!.. А вся суть в том, что я должен приходить в восторг от его сногшибательных идей!

Такие мысли сопровождали Игоря в поезде. А потом их будто смело ветром: все отношения прошлого стали незначительными, сегодняшнее было крупно и ярко.

Светлострой.

Игорь никогда не видал такой реки — прозрачной, студеной, быстрой, а в узкостях — бешеной, с глубокими воронками водоворотов между острых камней.

Он никогда не видал таких дремучих лесов с устрашающими буреломами, будто космическое тело врезалось в чащу, все круша на пути. А тишина в лесу! За десяток верст слышно, как пыхтит паровоз и поют рельсы под вагонами на подъездной ветке.

Игорь никогда не работал в таких интересных геологических и гидрологических условиях, ему не случалось бывать в такой глухомани. На буровую, расположенную в полутора километрах от стройки, нужно было добираться часа два, карабкаясь по крутизне, сползая по ненадежным тропкам, пробитым по краю обрыва над бешено мчащейся водой, — оборвешься и пиши пропало. А самые обрывы — готовый геологический разрез, все пласты пород обнажены, читай по ним историю земли, изучай напластования веков.

Но главное: никогда еще не участвовал Игорь в работах такого размаха, не видал такого большого строительства.

Как инженер-гидротехник, он, конечно, понимал техническую сторону дела, но по-человечески с трудом усваивал, как люди умудрились обуздать эту реку, отвоевать у нее громадный котлован. Мимо стенок котлована с ревом мчится вспененная вода, а внутри, как в раковине, копошатся сотни людей с лопатами, кирками и тачками;

тут же взрезают грунт и подхватывают его ковшами экскаваторы...

В котловане сталкивались две техники — примитивная, дедовская, с лопатами и тачками, и новая, порожденная социалистическими пятилетками.

Новой еще не хватало. Не хватало обученных кадров — экскаваторы простаивали, механизмы ломались, — но все-таки в ежедневных сводках победные цифры выемки грунта или замесов бетона порождались машинами, а не ручным трудом. Кустарные методы Волховстроя отходили в прошлое благодаря той же Волховской ГЭС, и Уралмашу, и другим созданиям первых лет строительства.

Игорь любил заходить на бетонный завод, примостившийся на крутом берегу среди замшелых валунов, обкатанных доисторическими подвижками ледников.

На бетонном царили голосистые девчата. Под грохот и шипение бетономешалок они бойко перекрикивались между собой и истощенно ругались с шоферами, когда те пытались продвинуть без очереди свои громоздкие машины, заляпанные бетоном. Игорю нравилось серое, грубое месиво бетона, нравилось, как оседают грузовики под тяжестью бадей, как они срываются с места и сразу, подпрыгивая на колдобинах, что есть мочи мчатся к плотине...

Все годы учебы Игорь слышал о социалистическом соревновании и сам участвовал в соревновании между курсами и группами, но в институте показатели были шаткие и не особенно волновали студентов, так что и самое понятие постепенно сделалось для Игоря чем-то обычным и малоинтересным. Здесь же самый воздух, казалось, был насыщен азартным, бодрящим духом соревнования: больше бетона, больше рейсов машин, больше вынутого грунта за сутки, за смену, за час! Участок с участком, бригада с бригадой — все соревновались, стараясь перекрыть все нормы, сжать все сроки. Кумачовые плакаты с призывами: «Помни, к 15 мая мы обязались...», красные доски с показателями лучших бригад и портреты героев дня, переходящие знамена и флажки победителей, развевающиеся на опалубке, на кранах, на грузовиках и просто на длинных шестах над рабочим местом бригады, — все это было весело, броско. Труд — самый тяжелый и самый рискованный — становился праздничным, не средством к жизни, а самой жизнью. Строители

зарабатывали сдельно, но разве только о зарработке они тревожились, когда приходили в ярость от любой задержки?!

Иногда Игорю хотелось самому сесть за баранку грузовика, чтобы делать рекордное количество рейсов,— в его работе такой конкретности не было. Еще чаще ему хотелось участвовать в монтаже подвесной дороги, по которой скоро поплывут бадьи с бетоном: ему нравился и остроумный ее проект, и опасная, геройская работа молодых монтажников, с форсом выполнявших на высоте, над рекой, почти акробатические номера.

Притягивало Игоря и головное сооружение, где не по дням, а по часам нарастала высота бетонного массива. Здесь верховодили бывалые мастера, которые укладывали бетон на Днепре и на Свири, а кое-кто и на Волховстрое. Когда на стройку приехал Юрасов, или, как здесь говорили, «сам Юрасов», перед ним робели не только начальники участков, но и другой «сам» — Луганов, начальник Светлостроя. И Юрасов, видимо, считал это в порядке вещей. Но со старыми мастерами он встречался, как с лучшими друзьями, расспрашивал их о женах и детях, и они его расспрашивали о жене и детях и вспоминали былые дела да случаи и общих товарищей. А сопровождающее Юрасова начальство терпеливо ждало в стороне.

Игорь впервые столкнулся с людьми из новообразованного пятилетками племени профессионалов-гидростроителей и жадно знакомился с ними, заводил дружбу и со сверстниками, и со стариками, по крупицам собирал еще нигде не записанный опыт: он мечтал, что сам скоро развернется тут вовсю.

Приучаясь не поддаваться страху высоты, Игорь забирался на опалубку и заставлял себя смотреть вниз, на трудовую кутерьму в котловане, на головокружительную игру водных струй в несущемся мимо потоке, а потом замороженным взглядом будущего строителя охватывал панораму в целом.

Вдоль крутого скалистого берега петляла дорога, по ней одна за другой бесстрашно мчались — подъем, поворот, спуск — машины с песком и гравием.

На желтом обрыве песчаного карьера методично двигалась стрела экскаватора — вниз, вверх, вбок... Еще дальше пылил каменный карьер и злобеще грохотала камнедробилка. Иногда в стороне каменного карьера взлетала

ракета, а затем раздавался взрыв. Эхо повторяло его раз пять, затихая далеко в горах.

Другой, более пологий берег был весь, сколько видит глаз, захвачен стройкой.

На километры тянулись склады — новое оборудование в ящиках и навалом, под брезентом и без него; за плотным забором, с часовым на вышке,— горючее; а там, где забор, и вся земля, и дорога на выезде покрыты серой пылью,— цемент...

За непримечательной мешаниной старых рыбацких домишек, временных бараков и землянок — светлый порядок первых кварталов соцгорода, растущие стены в опояске лесов, нарядное с колоннами здание Управления, похожие на скворечники коттеджи с остроконечными крышами — поселок ИТР, поблескивающие стеклянные крыши мастерских и Ремзавода, а за ними — подъездные пути железнодорожной ветки с дымками паровозов, с теплушками и платформами, стоящими под разгрузкой, с дощатым баракom временного вокзала, на котором на днях появилась ослепительная вывеска с гордым названием «Светлоград».

Игорь видел не только то, что уже есть, но и то, что будет спустя несколько лет. С листов ватмана, припшпеленных на стене в Управлении, он переносил сюда дугообразную красавицу плотину с венчающим ее Дворцом Света — турбинным залом, вытянутые в длину ступени шлюзов и головные ворота, возле которых станет стоящий маяк. Маяк будет перемигиваться с другим, у истока водохранилища, а между ними будет лежать море, обливаемая волнами вот эти скалы, что сейчас высоко над водой, и намывая песчаные пляжи на радость постоянным жителям Светлограда. Широкая лестница, нелепо сбегаящая от дома с колоннами в тесноту бараков и землянок, прижмется к будущей гранитной набережной. Бараки, сараи, землянки придется снести. Эта полоса уйдет под воду, а дома соцгорода приблизятся к берегу моря и, пожалуй, в ясные дни будут отражаться в воде...

По белым столбикам, установленным изыскателями, Игорь точно определял границы моря и чувствовал себя причастным к его созданию, хотя столбики были вбиты до него.

— Удобная у вас профессия! — многозначительно говорила Тоська. — За вами все водичкой зальет и песочком затаянет, поди знай, чего вы где накуролесили.

Тоська жила в центре молодого города, рядом с универмагом и недостроенным Дворцом культуры, по в собственном домишке, уцелевшем от рыбацкого поселка. Парадную комнату она отдала изыскателям под контору, во второй жила сама и в углу, отделенном занавеской, сдавала койку.

У нее и поселился Игорь.

Звали ее Таньсей, но всей стройке она была известна как Речная Тоська. Она беззлобно и лениво отругивалась, если к ней слишком настойчиво приставали, своей завлекательностью бравировала, недотроги из себя не корчила, а над ревнивыми женами смеялась во всеуслышание:

— Которые имеют мужей, пусть те и караулят свое добро, а я чужих мужиков жалеть не обязана!

Впрочем, даже в тесноте стройки, где все на виду, особых сплетен про нее не ходило.

В ее независимых повадках сквозило чувство собственного достоинства женщины, привыкшей рассчитывать на себя. С детства Тоська рыбачила — с отцом, потом с мужем. Кто был ее муж и куда девался, никто точно не знал. Когда началось строительство, Тоська панялась к изыскателям водомерщицей.

Три раза в сутки в любую погоду она отправлялась на верткой лодчонке к своему водомерному посту измерять уровень и температуру воды, а один раз в день вывозила на середину реки техника-гидролога с вертушкой для измерения расхода воды и скорости течения. В резиновых сапогах и потертом колушке, она гребла сильно и точно, не боялась ни ветра, ни течения.

Когда кто-нибудь из тех, кто сох по ней, предлагал помочь, она поводила плечом и лениво отвечала:

— Это ж не гулянка, а работа, на что ты мне там пужен?

У нее было чистое румяное лицо рыбачки и ровные, очень красивые зубы—в сказках такие сравнивают с жемчугом. Тоська знала, что зубы красят ее, и улыбалась во весь рот, предоставляя людям любоваться или завидовать — кому что хочется. Одевалась она очень тщательно, подчеркивая все, что стоит подчеркнуть, не жалея времени на стирку и глажку. Волосы подолгу расчесывала, крутила на руке, рассматривала в зеркале, а потом укладывала так, чтобы пробор — как ниточка, и волосок к волоску.

Игорю нравилось, что она такая чистенькая, что она смела и ловка в работе. И ей сразу приглянулся новый постоялец. Они сошлись без мудрствований и были довольны друг другом. Тоська искусно скрывала их отношения, и это Игоря устраивало. Обедал он в столовой, но завтраки и ужины Тоська стряпала сама и очень любила посидеть с Игорем за столом, где она хозяйка, и вести неторопливый разговор.

— Чаевничаем, как всамделишные супруги, — посмеивалась она. — Смотри не привыкни, еще обкручу!

Обычно Тоська держалась шутливо, по-товарищески, но случались у нее порывы какой-то испуганной нежности. Это льстило Игорю, хотя сама Тоська потом издевалась над собой:

— Бабу как ни ломай, бабья дурь нет-нет да пробьется.

Иногда он ревниво размышлял: кто был у Тоськи до него? Она скрывает их связь, наверно, скрывала и прежде... Но он не расспрашивал ее, дорожа ни к чему не обязывающей непринужденностью отношений и не желая углублять их.

Впрочем, Тоська не занимала большого места в жизни Игоря. Главным интересом и страстью, главным содержанием всей его духовной жизни была работа: ее масштабы, ее возможности, самостоятельность действий, которую он получил по праву и постепенно расширял. Его назначили заместителем начальника отдела изысканий: отдел изучал все особенности реки и геологию района, искал «инертные» стройматериалы и уточнял границы водохранилища. Отделом руководил немолодой гидролог Николай Иванович Перчиков, человек в высшей степени корректный и доброжелательный. Он один называл Тоську Тапсней Михайловной, со всеми говорил на вы, даже с самыми юными студентами-практикантами, и невероятно страдал оттого, что начальник строительства Луганов был грубоват, а когда хвалил или сердился, говорил «ты» даже пожилым людям. Игорь подозревал, а новые знакомцы из числа руководителей участков подтвердили, что Николая Ивановича он чаще ругал, чем хвалил: более противоположные характеры трудно было подыскать.

Николай Иванович со щедростью опытного специалиста объяснил Игорю все особенности здешней работы

и с ходу переложил на него контроль над всеми точками изысканий.

Была у изыскателей лодка с подвесным мотором. Николай Иванович изредка выезжал на ней к работникам прибрежных точек, но задерживаться там не любил. Вечерами Игорь видел его гуляющим с двумя маленькими мальчиками, однажды заметил, как он выходил из магазина с переполненной сетчатой сумкой. Семьянин-обыватель? Бесспорно. Знающий специалист? Тоже бесспорно. Службист «от сих до сих»? Похоже. Чувствовалось, что изыскатели Николая Ивановича любят — то ли из жалости к доброму, вежливому человеку, то ли потому, что с ним удобно.

Игорь сразу повел себя придирчиво-требовательно, но никто не обижался, — видимо, соскучились по деловому порядку.

Лодка с подвесным мотором перешла в собственность Игоря. Он научился лихо мчаться против течения, вздымая буруны, скользить по стремнине вниз, проскакивать между камнями.

Большинство изыскателей жило на стройке и тратило уйму времени, чтобы добраться к месту работ. Молодые ребята по своей инициативе пристраивались на случайные ночлеги или брали с собой палатку, но это была кустарщина; инструмент, продукты, все изыскательское хозяйство тащили на себе.

Игорь помотался по окрестностям, определил зоны работ и подыскал у рыбаков временное жилье — базу для каждой зоны. Составил план снабжения и переброски работников, сам доставлял все необходимое на моторной лодке или на лошадях — вьюками.

Николай Иванович не без досады одобрил это новшество. Игорь позвал его посмотреть базы — Николай Иванович поехал, но к концу рабочего дня заторопился обратно, застенчиво объяснив: «Семья ждет», — и больше не выезжал.

Все складывалось хорошо: можно проявлять самостоятельность без помех. Вот только понедельник...

У начальника Светлостроя по понедельникам собиравлись «большие оперативки» с руководителями всех участков и служб... и на этих оперативках изыскателей представлял Николай Иванович. Луганов проводил совещания напористо, с юмором и беспощадной суровостью; расска-

звали, что порою там бывают «спектакли», подробности которых разносятся по всему строительству.

Николай Иванович ходил туда неохотно, докладывал слишком длинно, так что Луганов не раз обрывал его. Игорю до смерти хотелось присутствовать на оперативках, он с первого дня влюбился в Луганова: бывший матрос, красногвардеец, рабфаковец, кончал институт заочно, работая на стройках. Прямой, грубый, веселый, организатор, каких мало, Луганов выдвигался быстро и к тридцати пяти годам приобрел всеююзную известность.

Иногда Игорю мерещилось, что его собственный путь будет таким же, и он невольно подражал Луганову, говорил с людьми грубее и насмешливей, чем обычно. Впрочем, многие инженеры бессознательно делали то же самое.

Работу изыскателей задерживали плохое снабжение оборудованием и медлительность ремонта. Мастерские и Ремзавод были перегружены заказами ведущих объектов стройки, от изыскателей открепивались. К середине лета создалось бедственное положение у буровиков: колонковые трубы выбывали из строя, новых не подвезли; нужно было поднять из скважин старые трубы и сделать новую нарезку, но никто за это не брался. Николай Иванович тщетно околачивал пороги разных отделов.

Порасспросив новых приятелей, Игорь узнал, что мастер нужного ему цеха — москвич и завязанный театрал. Игорь целый вечер болтал с ним о московских театрах, рассказывал были и небывлицы об актерах, а потом поприятельски договорился о нарезке труб. Трубы подвезли ночью и обошлось без формальностей. Работа пошла бойко, как говорил Игорь, «на факторе личной заинтересованности»: он приплачивал токарям из своего кармана.

Вместе с мастером-театралом Игорь стоял возле токарей, когда в мастерских поднялась суматоха.

Прежде чем Игорь догадался исчезнуть, на пороге появилась громадная медведеобразная фигура Луганова. За ним в мастерскую ввалилась целая свита разных начальников.

Игорь застыл от страха: ему казалось, что наваленные на полу трубы занимают все помещение, что они прямо-таки лезут в глаза.

— У меня механизмы стоят, понимаешь ты это? — зычным голосом говорил Луганов, шагая по мастерской. — «Деррики» сколько времени мусолишь? — Он наткнулся

взглядом на трубы, остановился, разглядывая их, как двоквину: — А это що це таке?

Мастер, занкаясь, пробормотал, что изыскатели попросили... работенки на часок...

— Вот, пожалуйста! — Луганов взял за плечо начальника мастерских и пригнул его носом к трубам. — Полюбуйся! Твои порядочки! План побоку, а частные заказики — милости просим? Все трубы выбросить вон немедленно!

Игоря он не заметил или принял за одного из работников мастерской. Гроза могла пройти мимо. Но Игорю были нужны эти трубы, а Луганов ему правился решительно всем — и внешностью, и грозвыми раскатами голоса, и даже решением — выбросить вон немедленно. Судьба впервые свела Игоря с Лугановым лицом к лицу — это был случай заявить о себе. Когда-то выпадет другой?!

— Товарищ Луганов, это неправильно! — отчеканил Игорь, шагнув вперед. — На оперативках вы ругаете изыскателей за темпы, когда требовать — мы ваши, а когда дело доходит до помощи — мы чужие, мы частники. Неправильно!

— Глядите, какой обличитель нашелся! — весело изумился Луганов и смерил Игоря с головы до ног. — Ты кто такой?

— Заместитель начальника отдела изысканий инженер Митрофанов!

Получилось почтительно, но с вызовом.

— А почему я тебя не видел?

— Недавно прибыл, товарищ Луганов. Стараюсь привести оборудование в образцовый порядок, а темпы ускорить. Прошу разрешения закончить нарезку труб, иначе бурение станет.

— А в план ввести — лень? Нарушать план — легче?

— Разрешите говорить начистоту? — спросил Игорь и, чувствуя себя на счастливом подъеме, тут же выпалил: — Стройка новая, товарищ начальник, а бюрократизма старого немало. Пока пробьешься в планы, собственный план к черту завалишь.

Сопровождающие загудели было, но Луганов расхохотался:

— Вот как молодежь честит нас! Значит, говоришь, стройка новая, а бюрократизм старый? Начальнички, это ж по вашему адресу! И что ему наши механизмы, когда

у него буровые стапуг? Ладно, царень, пусть эти твои штуки дорежут, черт с тобой, а то еще и меня в бюрократы запишешь. А к оперативке составь мне, удалец, толковую заявку, и все-таки будем планировать, как господом-богом установлено, иначе вы мне полный ералаш устроите. Это все твои трубы? Ну-у, ловкач же ты!

И он крупными шагами пошел дальше.

Это была победа.

И это было начало популярности: в последующие дни история с трубами возвращалась к Игорю разукрашенной лестными подробностями.

Николай Иванович порадовался тому, что трубы отремонтируют, но стычку Игоря с начальником воспринял боязливо: чего доброго, рассердится Луганов!

Заявку составили обстоятельно, с запросом. Игорь мечтал понести ее сам, но Николай Иванович сказал:

— Что ж, попробую доложить. Только не возлагайте особых надежд. Сколько раз я эти вопросы ставил — все зря!

После оперативки Николай Иванович кисло сообщил, что заявку передали на рассмотрение аппарата, а это гроб с музыкой. В тот же день приятели рассказали Игорю, что Николай Иванович мямлил, а Луганов перебил его доклад вопросом: откуда у вас взялся молодец-удалец, что меня бюрократом окрестил?

Игорь не знал, как это понять. Обиделся Луганов? Или с удовольствием заметил энергичного работника?

Мысль возникла неожиданно: «Он меня выдвинет, если поймет, что я работаю лучше и оперативней Николая Ивановича!»

Игорь отогнал соблазнительную мысль: «Молод, первый год работаю, у Николая Ивановича опыт, стаж...» Но мысль засела в мозгу. Все чаще раздумывал Игорь, как бы он перестроил работу, если бы получил полную свободу действий.

Говорить об этом ни с кем нельзя было. За ужином он попробовал кое-что рассказать Тоське, — конечно, не обмолвившись о мечте заменить Николая Ивановича. Тоська восхищалась, какой он умный, потом обняла его теплой рукой:

— Ты скажи Николаю Ивановичу, он согласится. — И соблазнительно потянулась: — Спать пора!

Встала и сквозь смеженные ресницы поглядела, куда он направится — к ней или в свой угол за занавеску.

Недели через две, поднимаясь вверх по реке на одну из точек, Игорь увидел впереди катер Луганова. Катер был гордостью начальника Светлостроя — вместительный, безукоризненных обтекаемых форм, сверкающий ослепительной белизной.

Вот он, случай напомнить о себе!

Жалкий подвесной моторчик никогда еще не выдерживал такой нагрузки. Рискуя налететь на подводный камень, Игорь мчался вдоль берега, где встречное течение не так сильно.

Расстояние между лодкой и катером быстро уменьшалось, Игорь разглядел, что в катере целая компания, а ведет его сам Луганов; моторист, изогнувшись, стоит рядом с ним, готовый в любое мгновение перехватить рулевое колесо.

Луганов шел по стремнине, приближаясь к опасному ущелью, где река суживалась и где нужно опасаться водоворотов. Игорь прикинул: если не обгоню до ущелья, весь выигрыш времени будет потерян, а там придется пыхтеть на стремнине, Луганов уйдет далеко вперед. Надо сейчас, сейчас!

Мотор взревел, задыхаясь от предельного напряжения. Совсем близко от корпуса лодки промелькнул колючий подводный камень — налетишь, тут тебе и конец. Но лодка догнала катер и пошла в трех метрах сбоку.

На катере заметили Игоря и что-то кричали ему, вероятно предупреждая об опасности.

Луганов не поворачивал головы: ущелье надвигалось — нужно следить в оба.

Срезать нос катеру и вырваться вперед — сию минуту, иначе поздно...

Игорь рванул лодку на стремнину, срезая нос катеру. Луганов невольно отвернул, чтобы не протаранить лодку: самоубийца там, что ли, или круглый идиот?

Проскочив вперед, Игорь сбавил скорость. Моторчик мирно затарахтел в нескольких метрах от катера, вынужденного идти следом. Сзади доносились отборные ругательства — зычный голос Луганова перекрывал тарактенные мотора и шум реки.

Игорю хотелось оглянуться, но оглядываться нельзя было: вошли в ущелье.

Здесь Игорь обычно побаивался: скалы гулко отражали каждый звук, сумрачно блестяли коварные, завывающиеся струи, управление лодкой требовало силы и точности. Но сегодня он забыл всякий страх, его переполняло ощущение удачи и ожидание чего-то решающего.

Сразу за выходом из ущелья была маленькая уютная заводь с песчаной отмелью, а повыше ее, над предельной отметкой наводков, стояла хибарка, где теперь жили гидрологи и ночевали рабочие ближайшей буровой вышки. Гидрологов не видно было, но за хибаркой клубился низкий дым.

Игорь ткнул лодку в песок, выскочил на отмель и оглянулся — белый катер входил в заводь.

Сердце выстукивало торжественную дробь. Игорь помахал рукой и крикнул:

— Глубина меньше метра, осторожно!

— Вот это кто! — Луганов уже передал руль и стоял на носу, веселый медведь с озорными глазами. — Выдрать тебя охота. За уши твои ослиные!

— Тогда прыгайте в воду! — откликнулся Игорь.

Луганов, не раздумывая, прыгнул: видно бывшего матроса, хоть и отяжелел с годами. Под его грузным телом вода взвилась фонтаном брызг. Игорь подал руку.

— Лихач ты и нахал, вот что! — сказал Луганов, вытирая лицо. — На кой дьявол ты перся? Жить надоело? Не отверни я...

— Я ж видел, что это вы, — сказал Игорь. — Бывший моряк, неужели не сумеете отвернуть?

Гидрологи выбежали из-за хибары и стояли, удивленные обилием гостей.

— Здесь одна из моих баз, Федор Тихонович. — Теперь, когда знакомство упрочилось, Игорь впервые назвал Луганова по имени-отчеству. — А перся я проверить работу гидропоста.

— Пожалуйте к нам, — робея, сказал один из гидрологов. — Мы как раз уху варим. Там и дымок — комарья меньше.

Луганов первым вскарабкался наверх, за ним Игорь. Остальные сидели в катере, не зная, что им делать. Не заглядывая в хибару, Луганов заторопился под клубящийся дымок, так как комарье сразу налетело на его влажные лицо и шею.

Над очагом булькала в котелке уха. Пахло сильно и вкусно — рыбой, печеной картошкой и дымком.

— Ишь ты, до чего пахнет, гадюка! — вздохнул Луганов и, приняв решение, зычно скомапдовал своим спутникам: — Езжайте на карьер без меня! Сомов, распорядись там, как надо. На обратном заедете!

И гидрологам:

— Объем я вас, изыскатели, плакала ваша уха, да и картошка тоже.

Игорь попросил разрешения выслушать доклады подчиненных.

— Валяй. Твоя епархия.

Гидрологи докладывали четко, подыгрывая Игорю. Игорь был придирчивей и строже обычного. Луганов прислушивался и палкой подгребал к картошке горячую золу.

Потом Луганов поинтересовался, как живут изыскатели и как делают промеры в ущелье. Видно было, что он оценил их труд на этом опасном участке.

Спросил, сколько человек здесь ночует, заглянул в хибару — ну и дворец! Его рассердило, что в хибаре нет кроватей, что постели убогие, одеяла рваные. Неужели нельзя завезти сюда все, что нужно?

— Привожу все, что могу достать и завезти один на своей лодке, — сказал Игорь. — Раньше у гидрологов и керосина не было, продукты раз в две недели привозили. Один промеры делает с риском утонуть, а другой в городе продукты достает, а потом выгребает на веслах против течения.

— Сейчас мы не жалуемся, — опять подыграли гидрологи. — Игорь Матвеевич нас и снабжает, и навещает почти каждый день.

Все, что нужно, дошло до Луганова, можно было заняться ухой и печеной картошкой.

Уху хлебали, не отвлекаясь, со вкусом. Когда котелок опустел, а на табурете, заменявшем стол, появилась обугленная, потрескавшаяся картошка, Игорь выложил свои соображения, что и как изменить в работе отряда.

— Дельно, — сказал Луганов, надломил картофелину и с удовольствием присыпал ее дымящуюся, коричневую по краям мякоть крупной солью. — Дельно соображаешь, — повторил он. — Ах, вкусна, бисова дочь? Что, хлопцы, едали вы харч вкусней печеной картошки?

Когда вернулся катер, Луганов велел мотористу достать «заветную корзину, начальственное НЗ». В корзине оказалось немало всякой снеди, хватило бы на ужин десятерым. Луганов поколебался, потом оставил и флягу.

— Пейте на здоровье, молодцы. Ну, Митрофанов, едешь ты? Может, взять тебя на буксир?

— Люблю идти ведущим, Федор Тихонович. А сейчас поеду на другие точки. До темноты успею.

Уже с катера Луганов предупредил:

— Смотри, ведущий, в потемках не вздумай возвращаться! Ты с этим ущельем не шути, понял?

Когда белоснежный катер удалился, один из гидрологов похвалил:

— Хороший мужик.

А второй сказал:

— То, что вы придумали, очень верно. Николай Иванович одобряет?

Что я наделал? — ахнул Игорь. Получилось в обход непосредственного начальника. Если дойдет до него, обидится... Да, но если поделиться с ним своими планами, Перчиков нехотя скажет: «Подумаю, посоветуюсь», — и все застрянет. А если он и перестроит систему работ, кто узнает, чья тут идея? Скажут: «Молодец Перчиков, тихий, а как заворачивает!»

Нет, все вышло удачно.

— Одобрить легко, провести труднее, — неопределенно ответил Игорь. — Что ж, ребята, попробуем начальственное НЗ?

Он не поехал на другие точки.

Подоспели буровики, все вместе распили фляжку начальника копыяка.

Начинало темнеть, когда слегка охмелевший Игорь вывел лодку из заводи.

Ущелье казалось теперь еще уже — темная, гулкая труба. «Ты с этим ущельем не шути» — так сказал Луганов? А мы пошутим. Полный вперед!

Течение всосало лодку в темную трубу. Черные скалы мелькали совсем близко и уносились назад.

Вот лодку крутануло на причудливом зигзаге главной струи... Игорь на миг потерял управление, лодку повернуло боком... Протрезвев от страха, Игорь вцепился в руль, навалился на него — ему кое-как удалось вывести лодку на курс.

Ущелье кончилось — и снова хмельной восторг завладел им, он ощутил себя удачливым и бесстрашным, его ждало исполнение всех желаний...

Луганов выдвигнет его, он любит молодых, дерзких, умеющих работать. Николаю Ивановичу пора на покой, а мне — начинать! Вот впереди сияет тысячей звезд Светлострой. Мое начало. Моя судьба. Светова — Светлострой.

Эх, Катерина, никогда бы ты не пожалела, если бы пошла со мной! А впрочем, что мне она?

На причале стояла Тоська. Скажи пожалуйста, встречать вышла. Значит, волновалась о милome?

— Сумасшедший, в такую тьму ущельем! Жаль, не искупался, второй раз не понесло бы! — отчитывала она, замыкая лодку на замок. — Да ты выпивши? Иди в дом, там тебе письмо.

Все еще хмельной, Игорь взбежал по обрыву и путаницей дворов и проулков добрался до дому. Письмо лежало на столе.

Игорек, у нас большие неприятности. Папу сняли с работы и отозвали в распоряжение отдела кадров. Очень это глупо, потому что экспедиция через два месяца заканчивается, кому же подводить итоги, как не ему? Кажется, здесь еще будет какой-то разбор на коллегии. Я волнуюсь, потому что отец устал, задерган. Напиши ему поласковой, ему сейчас нужна любовь.

Целую тебя. *Мама.*

Ему нужна любовь... Отец возник перед ним так ясно, будто стоял по ту сторону стола. Не такой, каким он был в последнее время, — рассеянный, обуреваемый глупыми фантазиями, сосредоточенно-мрачный... Нет, отец вспомнился прежним — дочерна загорелый и обветренный, с крутыми плечами, с охрипшим на всех ветрах голосом — отец-герой, молодец молодцом.

Того Митрофанова никто не снял бы. Тот Митрофанов сам скрутил бы любого недруга.

Жалея отца и обдумывая, как написать ему посердечней, Игорь все-таки осудил его — сам виноват. Я предупредил его. Он, как Николай Иванович, стал немного «не от мира сего». А в сем мире нужно быть начеку. Брать и держать свое.

Матвей Денисович сдавал дела Аннушке Липатовой...

Аннушка не плакала только потому, что не могла позволить себе женскую слабость. Липатов не раз уверял, что в глубине души она плакса, но ее удерживает чувство партийной и геологической ответственности.

— Не расстраивайся, Аннушка, — утешал Матвей Денисович. — Трудно тебе придется, так ведь всего два месяца осталось.

— Меня злит несправедливость, — тихо отвечала Аннушка.

Проще всего было бы отказаться от обязанностей начальника, но Аннушка понимала, что новому человеку не завершить в срок работу экспедиции, пострадает и дело, и коллектив.

Ужасно было то, что в последнюю встречу она клятвенно обещала мужу приехать не позже августа, рассчитывая всю «писанину» делать дома. Готовясь возобновить семейную жизнь, Аннушка съездила в Ростов к дочке и наконец-то позволила себе разругаться с тетей Соней, замучившей девочку своей системой воспитания. После ссоры пришлось забрать бледенькую счастливую Иришку с собой. «Система» тети Соии привела к тому, что Иришка возненавидела хорошие манеры, музыку и английский язык, вызывающе говорила на жаргоне ростовских мальчишек, посылась по степи с репейниками в косицах, помогала лаборантке паковать пробы и не хотела ни в какую школу. Необходимо было заняться ею серьезно. И вот все полетело кувырком!

Несмотря на огорчения, Аннушка принимала дела обстоятельно. Свои собственные журналы работ она просматривала заново, глазами руководителя, и ругала себя, когда находила огрехи; все имущество экспедиции считала нужным осмотреть и пощупать, денежные документы проверить все до единого...

Матвей Денисович не сердился, он знал, что она попросту трусит, хотя никогда не признается в этом.

Аннушка попросила его сделать остановку в Донецке, поговорить с Липатовым и как-нибудь примирить его с печальной новостью о последней (которой по счету!) задержке. Матвей Денисович охотно согласился: спешить было некуда, хотелось собраться с мыслями до возвращения в Москву, повидаться со старым другом Кузьмичем, узнать, как там Леля...

И вот подписан акт.

Собраны вещи.

Сторожев лично выводит «рыдван моей бабушки», перешедший к нему по наследству от Игоря.

Весь коллектив вышел провожать. Люди огорчены, молча жмут руку, молча заглядывают в глаза.

— Ну, товарищи, чтоб в срок и как следует!

Рыдван заводится, как новенький. Высунув голову в окно машины, Матвей Денисович в последний раз оглядывает людей, с которыми проработал больше года.

Они стоят неподвижно, все до единого. Он видит их лица и вдруг понимает — вот она, награда, вот высшая оценка.

Липатушка встретил его на вокзале.

— Это совершенно невозможно! — закричал он, прежде чем поздороваться. — Они сошли с ума! Вы должны объяснить! Она завалит дело и загубит ребенка!

Он совсем не воспринял в письмах жены другую сторону дела — что Матвея Денисовича сняли с работы. Он был в отчаянии — опять ни жены, ни дочери, подразнили и отняли!

— Вы в Москву? — спрашивал он, забывая, что по поручению жены сам бронировал Матвею Денисовичу билет. — Докажите им, что она просто не справится, что это какая-то чушь — женщину с ребенком... при ее хрупком здоровье...

— Так ведь меня сняли, — усмехнулся Матвей Денисович. — Какой же у меня теперь голос?

Липатов ошеломленно смолк и не сразу сообразил, как выпутаться из неловкого положения.

— А пошлите их к чертовой бабушке! — наконец решил он. — Не расстраивайтесь, приедете и на месте отобьетесь.

— А я и не расстраиваюсь, — сказал Матвей Денисович.

И снова Липатов не знал — расспрашивать ли, что случилось, или не касаться неприятного случая совсем.

— Человеку трудно, когда у него жить нечем, а у меня жить есть чем, — сам заговорил Матвей Денисович.

— Вы пока в резерв?

— Я не о ставке, — усмехнулся Матвей Денисович. — Меня и жена прокормит. Я ведь не феодал, жене работать не мешаю. — И он скосил глаза на смущенного Липатова.

Уже в трамвае по пути к Кузьменкам Липатов хмуро сказал:

— Между прочим, феодал из меня не получается.

Кузьмы Ивановича не застали — он работал в утро. Кузьминична нянчила внучку у Световых.

Дома был только Никита, он сидел на веранде и мрачно зубрил физику — началась сессия.

Распрощавшись с Липатовым, который теперь волновался, справится ли Аннушка и не подведут ли ее сотрудники, Матвей Денисович подсел к Никите и только тут узнал, как сложились у него и у Лельки дела. С недоумением и гневом присматривался Матвей Денисович к парню: посерьезнел как будто, буровому мастерству не зря учили, не изменил профессии, даже, кажется, гордится ею. В техникум поступил. Это все как надо. К тому и вели.

Но что же он патворил с Лелькой? Как же он не сумел переубедить родителей? И что же это за безответственность — вызывал, просил, а потом — в кусты!..

Никита сидел, опустив голову, чуб свесился на глаза, губы надуты. Обветренные, потрескавшиеся пальцы верхового усиленно мяли край учебника физики.

— Пощади физику, она не виновата. А вот ты...

— Я Лелю ничем не обидел, — мрачно сказал Никита.

— Так женись и живите как люди. Неужто выхода не найти?

— А как? Вот построят на станции жилье, попросим комнату...

— А если не дадут? Там небось не вы одни?

Никита растерянно вскинул глаза:

— Как «не дадут»?..

И еще ниже склонил чубатую голову, должно быть впервые задумавшись над тем, что же делать, если комнаты не дадут. И Матвей Денисович задумался над тем же. Озорничать умел, а вот жить... Жил при маме с папой, потом, в экспедиции, опять-таки не сам по себе, на готовом... А тут самому нужно.

— Ну вот что. Езжай за Лелей и немедленно приведи сюда, скажи — Матвей Денисович требует.

Никиту как ветром сдуло с веранды.

Вот ведь как бывает! — думал Матвей Денисович, рассеянно мочаля тот же учебник физики. Четыре хороших человека, а понять друг друга не могут. И почему я решил, что при мне поймут? Вмешался, старый дурень, а захочет ли Кузьма моего вмешательства? И Кузьмин-

нишна — мало ли горюшка онахватила с Никитой! Почему я верю этому шалопая? И Лельке — почему я так уверен в ней?..

Прибежала Кузьминишна, ахнула, увидав неожиданного гостя, захлопотала.

Пришел с работы Кузьма Иванович. Обнялись, пригладелись друг к другу и промолчали, потому что каждый заметил — постарел приятель! — а говорить такое неприятно.

Пособедали, выпили по рюмочке. И только тогда Матвей Денисович сказал:

— А я надеялся, мне навстречу молодая невестка выбежит. Как же вы такую славную девушку упустили?

— Уж до того славная, до сих пор не опомнились, — сказал Кузьма Иванович.

И снова удивился Матвей Денисович, как по-разному можно воспринять одного и того же человека. Он слушал рассказ Кузьминишны, узнавал Лелькин характер и совершенно не узнавал ту счастливую девушку, что уезжала от него к жениху. Он столько хорошего наговорил ей о стариках Кузьменках, она настроилась принять их всей душой. Что же случилось в тот день?

Кузьминишна рассказывала нечто несусветное, Кузьма Иванович коротко заключил:

— Барышнѣшка, да еще беспутная.

— Слушаю вас — ну, будто не о ней. Ничего-то вы в ней не увидели!

Кузьминишна готова была поверить чему-то иному, доброму, она истомилась тревогой, что Никита уйдет навсегда из родного дома. Но Кузьма Иванович фыркнул:

— Еще как разглядели! Напоила допьяна, привела и бросила в грязь — невеста! Тьфу!

— Бросить со зла — это она может, — улыбнулся Матвей Денисович. — Вот только не пойму, почему ж она теперь его не свихнула? С чего это он теперь не пьет, работать научился, физику зубрит?... Или ей наперекор? — И нахмурился: — Как хотите, вызвал я ее сюда. Чтоб такая золотая девчонка да пропадала из-за вашего шалопая? Увезу! Сирота круглая, с детства беды нахлебалась, мы ее, как дочку, растили... Увезу!

Кузьминишна обмерла. Как-то по-новому все повернулось, вроде и жалко уже. И Никиту жалко — если увезет девушку этот бирюк — а он, видать, нравный, — что с Никитой станется?..

Кузьма Иванович ожесточенно сосал трубку. Не любил он менять свои мнения и решения. Да и с чего бы? Хороший человек Митрофанов, щедрая душа, так ведь он не видал, как она Никитку по щекам своей дурацкой шляпчонкой хлестала, как она пьяного кинула в грязь и еще запела хулиганскую частушку...

Появление Никиты напугало всех троих — вроде и не решено ничего, поговорить бы еще без спешки...

Оставив калитку настежь, Никита быстро прошел по дорожке к дому, распахнул дверь, остановился на пороге.

— Привез...

Поглядел на отца, на мать и вдруг улыбнулся доверчиво, жалобно.

Мать прижала руки к груди и шагнула к мужу. Испуг, надежда, мольба — все слилось в этом молчаливом движении.

Кузьма Иванович выколотил трубку и начал вминать в нее новую порцию табаку.

— Чего же она не заходит? — как ни в чем не бывало спросил Матвей Денисович и решительно пошел за калитку.

Лелька приехала в рабочей одежде, простоволосая — Никита сорвал ее с буровой. Конечно, она могла бы забежать домой переодеться, но вспомнила, как старательно наряжалась в прошлый раз и каким унижением все кончилось. Не будет она прихорашиваться ради них! Не к ним, а к Митрофанову едет, а Митрофанов и в рабочем не осудит.

Только у самого дома поняла Лелька, что едет она все-таки «к ним», и пошла за Матвеем Денисовичем, как приговоренная. Будто сквозь туман, увидела знакомую комнату, испуганное лицо Никиткиной матери и отвернувшегося отца.

— Вот она, моя Леля Наумова, — весело возгласил Матвей Денисович. — Ну-ка, покажись, лучший коллектор, какая стала? Слышал, ты и здесь на добром счету. Молодец!

От похвалы, высказанной «при них», Лелька приободрилась. Уже без гнева, но с опаской поклонилась. Старики разглядывали ее — та или не та?

Стоит оробевшая простая девочка, вроде и не барышня и не распутница, вроде и на человека похожа. А за нею Никита, сын. Обхватил плечи руками, стоит, ждет.

— Здравствуйте,— через силу выговорил Кузьма Иванович. — Нехорошо у нас вышло тогда. А ссориться нам ни к чему. Мы Никите родители, и вы не чужая. Значит, надо сговориться.

Лелька вскинула глаза — как? Слово — неясное, поди знай, как нужно сговариваться!

В устремленном на нее сумрачном взгляде вдруг затеплился какой-то огонек, губы дрогнули...

Не умела Лелька ни сговариваться, ни объявляться, но сердце ее отозвалось на знакомую, кузьменковскую, затаенную полуулыбку, и сразу нахлынуло все, что она пережила за эти месяцы,— любовь и надежды, обида и гнев и жалость к себе... Вот этот старый насупившийся человек с Никиткиной улыбкой может разрубить все, что запуталось, и тогда она будет любить его, покорно и благодарно любить, и слушаться,— да, да, и слушаться!..

Кузьма Иванович протянул большую, в черных крапичках руку. Лелька вложила в нее онемевшие пальцы и — неожиданно для самой себя — припала к этой руке, зарылась лицом в сморщенную ткань рубашки на сгибе локтя и заплакала.

— Ой, да что ты, доченька! — воскликнула над ее ухом Кузьминишна, и теплая материнская рука коснулась ее спины.

«Доченька»... Теперь Лелька редела в голос, всхлипывая и цепко ухватившись за руку Кузьмы Ивановича.

Он чувствовал, как намокает от ее слез рубашка на сгибе локтя, как беспомощно цепляются за него вздрагивающие пальцы. Прижмурив глаза, он погладил эти пальцы.

Никита стоял в двух шагах, все так же обхватив плечи руками.

— Выпей водички, доченька,— бормотала Кузьминишна, сама глотая слезы. — Да из-за чего ты, родненькая! Ведь не звери мы. Ну, вышло неладно, так ведь не навек...

А Лелька все редела.

— Леля, перестань! — прикрикнул Матвей Денисович и оторвал ее от Кузьмы Ивановича. — Хватит, дурешка. Нос распухнет — какая из тебя невеста?

Она улыбнулась, шморгнула носом, поискала в кармане платок, не нашла. Матвей Денисович сам вытер ей глаза и нос, подтолкнул к Кузьминишне.

Кузьминишна повела ее на кухню. Лелька залпом выпила ковшик воды, ополоснула лицо.

— Какая ты нервная, девонька, — сказала Кузьминишна. — Разве можно так!

— Я не нервная, — шепотом сказала Лелька и прямо поглядела в глаза Кузьминишны. — Беременная я. Второй месяц.

Допоздна сидели они на веранде, не зажигая огня, — два старых друга.

В доме суетились — устраивали на жительство молодых, что-то втаскивали наверх, что-то спускали по узкой лесенке.

Друзья сидели у раскрытого окна веранды. К ним поднимались запахи маттиолы, табаков, нагретой земли. Их мягко освещала луна. Когда луна скрывалась за облако, вокруг темнело, и на рамы окна, на листья и на лица друзей падали блеклые отсветы дальнего зарева — Металлургический выдавал плавку.

Уже все было переговорено о Лельке, о Никите, об Игоре. И дошло до своего, до личного.

— Другим я этого не скажу, Кузьма, а тебе скажу. Наговорили на меня лишнего, но сняли правильно. Никакой я сейчас не начальник.

— Клевещешь на себя, Матвей.

— Нет, не клеветчу. Знаешь, что делается с человеком, когда засела в голове какая-то мысль — и сверлит, сверлит?

— Знаю.

— Вот это и произошло со мной... И я не хочу — понимаешь? — не хочу себя обуздывать. Обуздаю — тогда не успеть мне. Годы не позволят. И самое смешное, Кузьма, что никогда мне не увидеть свою мечту исполненной. Не увидеть! Вот Кузька твой, быть может, успеет, Галлинка успеет. А я — нет. Не хватит мне годов. Дальнего прицела идея, очень дальнего.

— А необходимая?

— Необходимая! Совершенно необходимая — для наших потомков. Накопит страна промышленной мощи, вскроет свои недра, разовьет производственные силы — и станет ей тесно в нынешних географических рамках. И понадобятся большие, прямо-таки гигантские работы по коренному изменению природы. И вот тогда какой-нибудь будущий Госплан вспомнит чудака Митрофанова: товарищи дорогие, Митрофанов-то все подготовил, смотрите-ка, все, до деталей, — бери и пользуйся!

Луна проплыла за дом, теперь ее лучи падали на веранду через дверь, освещали лысую голову Матвея Денисовича и лежали, как ладони, на его сутулых плечах, а Кузьма Иванович был весь в тени, только красной плоской попыхивала трубка.

И в доме все затихло, одни молодые еще не спали, шептались наверху на порожке балкончика.

— ...Ты только подумай, Кузьма, что такое социализм в действии. Сейчас нам у-ух как трудно, мы бьемся, срываемся — и все-таки перевыполняем пятилетки! Пере-вы-пол-ня-ем! А ведь это всего лишь разбег. Что такое новый завод? Толчок, чтобы завтра гораздо быстрее поднялось еще три! Индустрия растет не в простой, а в возрастающей, геометрической прогрессии. Вот Игорь сейчас на стройке гидростанции. Что такое Светлоградская ГЭС? Производство электроэнергии? Нет, много шире! Индустриализация целого края! Заводы, рудники, железная дорога, приток населения... Вокруг каждой новой точки растет всякая всячина. И все быстрее, быстрее! А теперь загляни на десяток лет вперед, на два десятка, на три... Каков будет уровень?

— Силен ты мечтать, Матвей. Но правильно. Вспомнишь, как первую шахту пустили... Первая социалистическая — шуму было! А потом пошло. Удивляться перестали. В газете мелкой строчкой: пустили шахту такую-то... А поначалу на целую страницу гремели. Но скажи, Матвей, ты что ж — всю силу на эту мечту положишь?

— Думаешь, не стоит того?

— Стоит, если взвесить. Да трудно в одиночку.

— Мне бы только разработать, хоть вчера.

— Знаешь, Матвей, у нас так складывается, что если гурьбой, коллективом — все одолеешь. А пойдешь один — ну кто ты есть для людей? Ни тыла, ни флангов. Мои задумки против твоих, конечно, мелочь, усовершенствование в пределах шахты... А только любую задумку я двигаю вместе с людьми. Как в наступлении полагается: тылы обеспечить, фланги укрепить, ударную группу — вперед.

— Хитер! Видно, не зря мы воевали — обучился.

— Зачем же зря? Опыт!

Наверху, на балкончике, заговорил Никита — ни Матвей Денисович, ни родной отец не знали, что его голос может звучать так ласково:

— Спать пора, Лелик. Или ты всю ночь сидеть собираешься?

Лелька ответила — тоже будто и не ее голос:

— Жалко уходить. Гляди, как та крыша блестит. А небо... Никогда не видела такого неба.

Кузьма Иванович улыбнулся, тяжело поднялся:

— Пойдем в хату, Матвей, этот опыт нам уже не пригодится.

Матвей Денисович уснул в ту ночь с легкой душой, а когда проснулся, дом уже опустел, только Кузьминина караулила гостя да Кузька держал самовар наготове.

Кузька и поехал проводить Матвея Денисовича на поезд.

Пока пустой в этот час трамвайчик резво бежал мимо шахты, мимо чубаковского парка и новых домов, вдоль шоссе, обсаженного молодыми, победно зелеными деревцами, к городу, Матвей Денисович успел рассказать Кузьке, как живет Галинка и как она мечтает работать вместе с Матвеем Денисовичем, когда вырастет.

— Это реки поворачивать? — равнодушно спросил Кузька.

Потом он задал много разных «почему» и «как это», но чувствовалось, что затея с реками представляет для него интерес чисто технический — одна из многих задач, существующих на свете. А душу его волнует подземная газификация угля. Трамвайчик постепенно наполнялся пассажирами. Пока он медленно полз по городу, Кузька подробнее рассказывал Матвею Денисовичу обо всех событиях на опытной станции.

Соседи прислушивались, какие такие серьезные дела волнуют паренька, а Кузька, замечая это, говорил все обстоятельней и популярней — для непосвященных. И для каждого уха повторял то, что его привлекало всего сильнее: подземного труда не будет! Нажал кнопку — и весь процесс идет под землей без людей!

— Агитируешь, Кузька?

— А конечно!

Вот оно как! Паренек тоже понимает, что идея сильна тогда, когда овладеет массами! Идею надо пускать вширь, вширь! Чтоб она напоминала о себе то в газетной статье, то в научно-фантастическом романе, то в лекции географа или экономиста, то запросто, в мальчишеском разговоре...

— Галинке привет передать?

— Можно.

Кувькина улыбающаяся физиономия мелькнула за оконным стеклом и отлетела назад. Вокзал и станционные пути отлетели назад...

Завтра — Москва...

Ничто неприятное, что может там случиться, не занимало мыслей. Что значат мелкие неприятности, когда человеку есть что делать и хочется делать!

6

Наступила осень.

Дороги раскисли, а на опытную станцию № 3 потопом шли грузы. Лили нудные дожди, а монтажные работы только разворачивались, приходилось под дождем тянуть и сваривать трубопроводы, устанавливать головки скважин. Близилась холода — а с жильем было плохо, новый барак был забит до отказа, большинство рабочих по-прежнему не имели крова.

Липатов совершенно замотался. Подрядчики подводили со сроками, находя сотни причин, в том числе и отсутствие жилья. Поставщики тоже подводили, находя еще больше причин. Отгруженное оборудование застревало в пути, и нужно было разыскивать его на линии, а когда оно наконец прибывало, железная дорога требовала немедленной разгрузки, но не хватало грузчпков и автомашин, приходилось платить штрафы за простой вагонов. Как правило, прибывало не то оборудование, которого больше всего ждали, а то, для которого еще не приготовили крыши, и начинались мучепня — куда сгрузить, чем укрыть...

Такое уж было время — беспокойное, напряженное. Фашистская Германия усиливалась и собирала огромные армии. Гитлер не скрывал своих воинственных планов — на Восток, против коммунизма! Угроза войны стала непосредственной. Медлить было нельзя: скорей, скорей преодолеть вековую техническую отсталость, скорей, скорей создать могучую социалистическую индустрию! Сроки решали все. Планы были напряженнейшими. Каждая стройка, каждый завод и железная дорога, каждый станок работали и должны были работать на полную мощность...

Хотя ни Липатов, ни тысячи других работников страны в общем-то не тревожились предчувствиями назревающей войны, а жили заботами текущего дня, — они повсе-

дневно испытывали на себе все напряжение предвоенного времени.

Замызганный костюм болтался на Липатове, как снятый с чужого плеча. Глаза ввалились, голос осип от ругани. Если бы еще удавалось отдохнуть как следует! Если б у него был нормальный семейный дом, где можно поест горячего, после всей беготни и перебранок поболтать с женой и дочкой и хоть на часок забыть, что существуют на свете фонды, лимиты, товарные ставции, подрядчики и поставщики!..

Жены не было — жена сама была начальник, замотанный и озабоченный.

Дочка... Дочки тоже не было. С началом учебного года Иришку пристроили под надзор Кузьминишны. Она бегала в школу вместе с Кузькой, а возвращалась одна, потому что во втором классе занятия кончались раньше, чем в Кузькином седьмом; Липатов беспокоился — ей приходилось пересекать железную дорогу. Кузьминишна успокаивала:

— Мои все бегали — и ничего. Посмотрит направо, посмотрит налево — и перебежит.

Иришка именно так и делала: направо, налево — и бегом!

Что с нею произошло в семье Кузьменок, не могли понять ни Липатов, ни Аннушка. У тети Соли, считавшейся педагогическим гением, Иришка всему сопротивлялась, капризничала, плохо ела и плохо училась. Здесь она с полуслова понимала, чего от нее требуют, и подчинялась. По субботам она сама приносила дневник Кузьме Ивановичу, гордилась четверками и пятерками, горестно замрала из-за тройки, плакала, если случалась двойка, — а между тем Кузьма Иванович никогда не отчитывал ее, только говорил: «Полный порядок!» или «Подкачала!»

Когда Липатов сказал, что скоро приедет мама и они будут жить дома, Иришка поскуичнела и прошептала:

— А я хочу здесь.

Аннушка наезжала на денек, на два, присматривалась к жизни дочери и пугалась: я так не сумею.

На мужа она глядела виновато, торопилась что-то наладить в его холостяцком быту, ахала, что на нем лица нет, — и думала об экспедиции. Порывисто ласкала Иришку — и думала об экспедиции. У нее настало решающее время — анализ изысканий и выводы. Анализ подтверж-

дал, что решение Митрофанова об изменении будущего русла правильно. Проектировщики хвалили Митрофанова и Аннушку, Аннушка радовалась за себя, а еще больше за Матвея Денисовича. Собиралась в Москву докладывать результаты экспедиции: «Уж я там все выскажу!»

Этим она жила.

Липатов сочувствовал ей, но сочувствие не меняло горького факта — опять ни жены, ни дочери.

В сутолоке и тревогах он не сразу осознал, что в дружном коллективе станции появились трещины. И где? В его основном ядре! Да еще по вине Саши Мордвинова, — Саши, который так умел всех объединить!

Поначалу никто не обращал внимания на то, что заместитель директора по научно-исследовательской работе Мордвинов все реже бывает на опытной модели, что он как-то отстранился от текущих работ. Потом это стало бросаться в глаза, особенно с тех пор, как Саша с Любой переехали в новый барак. Казалось бы, круглые сутки на станции, так жми вовсю! А Саша привез в свою комнатку пропасть книг, обложился ими и сидел взаперти с утра до ночи. Люба ходила на цыпочках, никого не впускала, да и сама боялась зайти в собственную комнату: Саша работает...

На опытной модели исследования вели Сверчков, Федя Голь и Леня Коротких. Когда они пытались затащить к себе Мордвинова, тот говорил:

— План работы ясен — делайте. Вы же прекрасно справляетесь. А в теоретических обоснованиях у нас кругом белые пятна. Хочу кое-что подработать.

Первым возмутился Палька Светов. В сложных случаях опытники все чаще звали его вместо Саши. Палька и рад бы сутки напролет проводить на модели, но у него было по горло своих инженерных дел. Он пошел к Саше.

— Ой, Павлик, он даже не слышит, когда с ним заговоришь, — шепотом сообщила Люба. — Обедать звала — не пошел. Принесла в судочке, он ест, а глядит в книгу.

Вечером, прихватив на помощь Липатова, Палька решил всерьез объясниться с Сашей.

Вид у Саши был сосредоточенно-отсутствующий. И встретил он друзей, как досадную помеху.

Палька заглянул в книги, разложенные по столу. У-у-у, в какие теоретические дебри Саша забрался! И какое отношение эти дебри имеют к сегодняшним исследованиям?

— Сегодня — отдаленное, завтра — близкое, — сказал Саша.

— Ну, теорией мы успеем заняться после пуска станции!

— Нет, — коротко возразил Саша, — не успеем.

Липатов недовольно просматривал названия книг. Химия, химия, химия! Капитальный труд академика Лахтина... Ученые записки его института... Может быть, Саша мечтает вернуться к Лахтину и занимается, чтоб не отстать?..

— Никак ты в другие ворота смотришь, а, Саша?

Саша бережно сложил потревоженные друзьями книги.

— Ворота у нас одни, но открыть их гораздо трудней, чем вы думаете.

Это «вы» задело обоих друзей — Саша как бы отделил себя от них.

— Конечно, где уж нам, — проворчал Липатов.

Вероятно, они бы поспорили и договорились до общей точки зрения, если б Саша мог в эту минуту разговаривать. Но он не умел и не любил отвлекаться от своих размышлений.

— Не приставайте, братцы, — мирно сказал он. — Обсудим как-нибудь потом.

Раньше друзья понимали такие слова и не обижались. Но тогда не было строящейся опытной станции! Тогда они не были так перегружены и ни за что не отвечали вместе!..

Люба, бродившая возле двери, первой услышала раздраженные голоса.

Затем услышали и в соседних комнатах, и на кухне, а немного погодя и на улице — проходившие мимо окон работницы станции останавливались в недоумении, услышав, как они кричат друг на друга...

Длительная дружба создает привычку говорить все, что приходит на ум, не выбирая выражений. Эта привычка сейчас и действовала, подогреваемая раздражением усталости.

— Надо быть круглыми идиотами, чтобы не понять!..

— В конце концов, как директор, я имею право требовать!..

— Легче всего уткнуться в книги, пока другие...

— Знаете что? Идите к черту!

В середине спора Люба ворвалась в комнату.

— Мальчики, вы с ума сошли! Как вам не стыдно!

Но было уже поздно. Палька убежал, хлопнув дверью. Липатов сказал директорским тоном:

— И все же я тебя попрошу заниматься как следует своими прямыми обязанностями.

Когда он ушел, Саша ошеломленно постоял посреди комнаты и сказал:

— Хоть ты-то не плачь. Они просто не понимают.

Ссора томила всех троих. Она бы закончилась быстро, если бы Саша выполнил требование друзей. Но Саша продолжал сидеть затворником над книгами и почти не появлялся возле опытной модели. Федя Голь деликатно объяснял:

— В нем есть одержимость ученого. С этим надо считаться.

А Липатов чертыхался — всему свое время. Одержимость одержимостью, а работать кому?

И тогда же он заметил новую, быстро расширяющуюся трещину, на этот раз между Световым и Алымовым.

В те дни Палька выискивал повсюду, добывал и осваивал различные приборы и устройства для дистанционного управления процессом подземной газификации. Без телеавтоматики нельзя было и думать о регулировании процесса. Молодое советское приборостроение еще только набирало силу, приходилось закупать за границей или добывать в различных организациях приборы иностранных фирм. У Алымова был какой-то особый нюх — он находил нужные приборы в самых неожиданных местах и с бою вырывал их у таких организаций, где, казалось бы, нет никаких надежд что-либо выпросить. Так он неведомыми способами раздобыл, чуть ли не похитил маленький прибор — газоанализатор «Моно».

У Пальки дух захватило, когда он увидел его: стоит себе миниатюрный, изящный шкафчик, под стеклом юркие самописцы выводят кривые — и каждую минуту можно получать отдельный анализ газа: уголекислота, водород, сумма горючих...

Ссора с Сашей моментально забылась.

— Позовите поскорей Александра Васильевича, — задыхаясь от восторга, бросил он, но не выдержал и побежал сам, с порога крикнул: — Саша! Саша! Ты только посмотри!..

Они вместе как бы приросли к чудесному прибору. Они вместе переживали чистую радость, которую испытывают инженеры при виде хорошо придуманной и сде-

лапной вещи. Они переглядывались, полностью понимая друг друга.

— Умница! — нежно приговаривал Палька, разглядывая детали прибора. — Красавец! Ты погляди, Сашок, как здорово!..

Народу набилось полная компания, но все держались в стороне, не мешая друзьям разглядывать прибор... и мириться. Но вот появился Алымов и с ходу вклинился между друзьями. Ему не терпелось похвастаться тем, как он добывал это маленькое чудо. Ничего не понимая в нем, он пытался что-то показывать и объяснять — ликующим, чересчур громким голосом.

— Да, да, да, — соглашался Липатов, прищипывая себя поток его похвальбы и ничуть не досадуя, потому что человек, сумевший раздобыть такой прибор, имел право не только хвастаться, но и глупости пороть.

Саша вежливо слушал.

И вдруг раздался разъяренный голос Пальки:

— Константин Павлович, не говорите о том, чего не понимаете. Вас слушают инженеры.

Прежде чем Алымов воспринял этот окрик, Палька стремительно вышел.

Через час Липатов разыскал его на дальней буровой. Палька стоял рядом с Никитой на вышке и помогал свинчивать штанги.

— Ну-ка, спускайся! — крикнул Липатов.

— Не могу! — ответил Палька, как будто Никита без него не обошелся бы.

Липатов ругнулся и сам полез наверх. Ветер, мало замечавшийся внизу, на вышке подхватил полы его пальто и чуть не сорвал кепку.

— Остываешь? — добродушно спросил Липатов, понимая, что Пальку нужно укротить, прежде чем заставить извиниться перед Алымовым.

— Люблю поразмяться, — так же добродушно ответил Палька и вместе с Липатовым подошел к краю площадки. — Красота какая!

Липатов понимал, что Палька отводит ему глаза, но, чтобы добиться своей цели, был готов и постоять на ветру, и полюбоваться красотами. Он ухватился для верности за грубо приколоченную доску, поглядел и удивился — в самом деле, до чего ж отсюда далеко видно и до чего красиво! Снизу Азотно-тукового завода и не разглядишь — только домишки его поселка, а отсюда отчетливо видны

вытянувшиеся в длинный ряд здания цехов и стройка второй очереди завода — стены в лесах, краны, розовые штабеля кирпича, спущенные туда-сюда грузовики... Ветер распластал над ними три пушистых хвоста от заводских высоченных труб — два темно-серых, дымных и один огненно-желтый, лисий. Посмотришь в другую сторону — простирается с детства знакомая степь, перерезанная Дубовой балкой с редкими зелеными пятнами еще не пожелтевших дубов, а за степью смутно виднеются крыши поселка Челюскинцев, окруженных золотисто-желтой листвою садов.

Отсюда, издали, два сросшихся террикона шахты и черная машина Коксохимического завода с его четырьмя трубами казались еще более грозными, нависающими над поселком. Слева, в дальней дали, угадывались очертания Донецка.

— Да, красотища! — согласился Липатов и сбоку поглядел на Пальку. — Пожалуй, скоро наши газопроводы станут неотъемлемой частью пейзажа?

— Конечно! — И Палька с удовольствием оглянулся на раскинувшиеся позади них готовые и строящиеся здания станции, на черные нити газопроводов, будто расчертившие на квадраты желто-бурую степь.

— И вот как раз теперь, когда все на мази, — тем же тоном продолжал Липатов, — мы начнем по глупости ссориться! Обижать людей и разминывать большое дело на глупые дразги.

Палька дернулся, но промолчал, недовольно сжав губы.

— Подумаешь, знаний ему не хватает! Но прибор-то раздобыл он! И помогает нам, как никто другой. Наконец, он и тебя выручил из беды — или забыл?

— Ах, вот что! — со злостью выговорил Палька. — Выручил, а теперь мне платить по векселю? Сестрой... торговать.

Он отвернулся, скула подрагивала.

— Не дури, Павел. Ну что ты болтаешь? Она, слава богу, не маленькая, и ты ей не прикажешь и не помешаешь.

Палька упрямо пригнул голову.

— А вот я его выгоню. Выгоню к черту! Не могу я смотреть, как... Бабник паршивый! Его приняла как человека, а он...

— Врешь! — гаркнул Липатов. — Не выгонишь! Дура

ты; ей-богу! И чего взъелся? Имеешь красивую сестру, так терпи, что мужики заглядываются. И ведь ничего между ними нету, разве не видно!

Липатову самому не очень нравилось внимание Алымова к Катерине — не той среды человек, не того возраста, не того характера... Но Липатов умел извлекать выгоду для дела даже из влюбленности Алымова.

Он радовался, что Алымов все чаще наезжает из Москвы и еще энергичней помогает, стараясь отличиться так, чтобы Катерина Кирилловна узнала.

— Ты, Павел, возьми себя в руки, — сказал он и сжал побелевшие от напряжения пальцы друга. — Ко всему нужен подход. Скажем, появился новый фактор — любовь. Так надо превратить любовь в деловую энергию!

— Ну, знаешь... — пробормотал Палька, хотя на его лице промелькнула улыбка.

— Ты только скажи ему пару мирных слов. Он же к тебе всей душой. А там... Вот увидишь, я из него искры высекаю буду, да еще с помощью Катерины!

Палька видел: Липатов высекает искры.

Создать на базе станции № 3 научно-исследовательский институт — это придумал Саша. Сперва идея показалась совершенно нерсальной. Конечно, в будущем институт необходим, но пока до такого роскошества дело не дошло. Липатов первым сообразил, что «под идею» можно получить дополнительные деньги, жилье, кадры инженеров, лабораторное оборудование...

Шепнув несколько слов Катерине, Липатов при ней заговорил с Алымовым о создании НИИ.

Катерина заинтересовалась.

Липатов начал увлеченно объяснять ей, какой должен быть институт и чем он будет заниматься.

— Хорошая мысль, правда, Константин Павлович?

Так спросила Катерина — и Алымов загорелся, потребовал письменные соображения и помчался в Москву добиваться небольших ассигнований на ближайший год.

Меньше всего Алымов занимался жилищными делами. Он с беленой энергией торопил пуск станции, а как живут люди и удобно ли им — попросту не замечал.

Липатов нарочно заговорил об этом у Световых. Не Алымову, а Катерине пожаловался, как плохо устроены

работники станции, как трудно семейным, сколько людей переболело...

Катерина вскинула глаза:

— Константин Павлович, неужели вы ничего не можете сделать?

И Алымов завертелся в нужную сторону.

Палька сам не понимал толком, почему его раздражает влюбленность Алымова. Мать прямо-таки захлебывалась от восторга: конфет привез огромную коробку! Светланочке пять погремушек подарил, московских! Цветы на самолете доставил, целую корзинку, каждый стебель в мокрый мох обернут!

Палька отворачивался от цветов и не попробовал конфеты.

Недоброжелательно следил за Катериной — ишь как похорошела и повеселела! Щеки горят, глаза горят, голос какой-то особый, со звоночками. Обновки шьет одну за другой... И что нашла в нем? Веки как тряпки, нависают на глаза. Закуривает — руки прыгают. Концы пальцев желты от табака. И весь пропах табачищем. Резкий, неуравновешенный, чуть что — кричит. На Катерину смотрит как кот на сало. Надо думать, женщин у него было видимо-невидимо...

Ничего плохого о нем не скажешь — ну, сперва был противником, так не он один! Зато как только разобрался, помогает всюду. Характер бешеный? Так характер пока на пользу делу...

И все-таки Пальку передергивало, когда в их доме появлялся Алымов — свежесбритый, с белым подворотничком на гимнастерке военного образца.

Что угодно, но не мог он вынести мысли о близости сестры с этим человеком!

Катерина понимала, почему не заходит Кузьма Иванович в дни, когда гостит Алымов, почему у Кузьминичины растерянное и огорченное лицо, — тут ничего не поделаешь. Но молчаливая злоба брата ее смущала. Ему-то что не по душе?

Однажды, уже в октябре, когда зарядили дожди, Алымов не приехал в назначенный день, а Палька был тут как тут. Поужинал и устроился в своей комнате, где теперь повсюду попадались вещи Алымова: книги, бритвы, мыльница, резиновые сапоги...

Катерина, не спрашиваясь, вошла и села напротив Пальки.

За окном лил и лил дождь, сбивая с деревьев последние листья.

— Тополь облетает,— сказала Катерина.

— Да. Он позже всех, кажется.

— На яблоньках тоже долго держатся... Павел, что ты думаешь об Алымове?

Черт бы побрал дурацкое положение брата при взрослой сестре!

— В данной ситуации важнее, что думаешь ты.

Катерина не приняла шутливого тона.

— Меня как-то Леля спросила о родителях Никиты, хорошие ли они. Я тогда... Ну, в общем, теперь я спрашиваю: хороший он человек или нет?

Палька нехотя вытягивал слова:

— Он умный. Очень энергичный.

— Я не о том.

— Вот, право, как я могу ручаться?..

Из степи порывами налетал ветер. Бросал в стекло дождевые струи и постукивал по нему черной тополиной веткой. На ветке мотался одинокий лист.

— Опять дороги развезет.

— Люба говорила, в бараках крыши протекают.

— Починили вчера... Слушай, Катерина, это не мое дело, но он же вдвое старше тебя. Знаешь, сколько ему? Больше сорока.

— А я сама стала взрослая-превзрослая.

— Ты уверена, что он не жепат?

— Почему же? У него жена и сын, он мне рассказывал. Только они живут врозь. Уже три года. Это вторая жена. С первой он разошелся в молодости.

— Так я и думал! И что же он тебе предлагает? Стать третьей?

Катерина взвилась с места — покраснела, ноздри раздуваются.

— Ничего не предлагает. Понимаешь ты, не смеет ничего предлагать!

— Закипел кипяток! Садись, не распыляйся. Чего ж ты тогда выспрашиваешь?

— Понять хочу.

— Просто так — из любопытства?

— Нет, не просто так.

Она подошла к окну и поглядела, приблизив к стеклу лицо, — лютяся, лютяся, искрясь на свету, нескончаемые струи. И откуда столько воды?

Присела на подоконник, подтянула стул, чтоб поставить ноги, и тотчас вспомнила день, когда вот так же сидела и вела с братом серьезный разговор... Шла на подвиг. Думала, этим закроется от жизни! Нет, она ни о чем не жалеет. Есть Светланка. Даже подумать страшно, что ее могло бы не быть. Но жизнь есть жизнь... Год назад казалось, что можно прожить памятью. Нельзя.

— Способен ты понять, Палька, что мне интересно? Он старше, умней, опытней. Что я такое? Поселковая девчонка. Один человек сказал — шахтерская мадонна.

— Игорь?

— Игорь... Что я видела? Дальше Ростова не бывала. Компрессорная, поселок, эта хата — все. Понимаешь, мало мне. Тесно. Вот когда в партию вступала, некоторые удивлялись — родить должна, до того ли! А я — всего хочу. Во мне силы много. На том собрании — помнишь? — я ж крылья ощутила. А когда Чубак говорил, для меня это было... ну, самая-самая высота.

— А при чем тут Алымов?

— Ты бы видел, как он тогда... почти как Чубак. Рукой потрясает, гремит...

Она засмеялась.

— Гремучий он. Есть у вас в химии такая гремучая смесь?

— Она, между прочим, взрывается.

— Ага. И он тоже. И вот когда я чувствую, что могу его поворачивать как хочу... Злющий, а я поверну — и он добрый. Нет, ты не поймешь!

Палька подошел к ней, взял ее за плечи.

— Катерина, не выходи за него.

Она упрямо повела плечом. Не выходить?.. И он не предлагал, и сама не думала — выходить. Но что делать, если ей интересно и жутко, — каждый день заново испытываешь свою власть над ним, и радуешься, и даже злорадуешься порой, и вдруг обмираешь от странного ощущения, что сама — в его власти.

Недобро усмехнувшись, Катерина бросила:

— Я и не собираюсь, с чего ты взял?

Стряхнула с плеч его руки, пошла к двери, остановилась.

— Ты мне так и не ответил. Хороший он человек?

— Не думаю.

Она постояла, глядя перед собою, кивнула и вышла.

А назавтра приехал Алымов, и Палька снова увидел ее оживленнее, услышал ее особый голос — со звоночками.

Весь вечер он сидел за столом как прикованный, ни на минуту не оставляя их. Ему почти хотелось, чтоб сестра попробовала избавиться от него — уж он бы ее проучил! Он бы наплевал на все и шуганул этого старого бабника так, что его сапоги и мыльницы полетели бы через забор!

Но Катерине, кажется, и брат не мешал, и Алымов был не так уж нужен.

Она опять завела разговор о жилье:

— Зима надвигается, неужели вы так зимовать будете?

Ушла кормить Светланку и не вернулась.

Алымов курил, зажигая одну папиросу от другой.

— Поедем с утра к вашему Чубаку, — тоном приказа сказал он. — Поставим вопрос ребром.

Пальке хотелось нагрубить Алымову... Но как грубить, если он собрался ставить вопрос ребром?

Скрипнув зубами от злости, Палька начал обсуждать с Алымовым, что и как говорить Чубаку.

Чубак сказал:

— Родить вам жилье не могу. Добром взять негде. Ищите и захватывайте, я поддержу. — Он лукаво поглядел на Алымова и Светова. — Неужели мне вам подсказывать, где и какое ведомство что-то не использует? Может, Клаша Веснеюк что-нибудь вам посоветует?

Намек был ясен. Три дома, не достроенных железнодорожникам, давно привлекали их внимание — близко, стены под крышей, осталось поставить перегородки, навесить двери, настелить полы. Если бы их отдали добром!..

Переговоры с железнодорожниками велись долго и ни к чему не привели.

Управление дороги не хотело продавать «коробки», надеясь со временем добиться ассигнований на их достройку.

От Чубака пошли в горком комсомола. Клаша покраснела и обрадовалась: в последнее время она мало бывала на опытной станции. Что-то в ней появилось новое: хмурит белесые бровки, строго сжимает губы, а губы розовые, пухлые.

— Материалы и средства вы найдете? — спросила Клаша, обращаясь к Алымову. — Важно все подготовить сразу. А достроить комсомол вам поможет.

Пальку забавлял ее деловитый, «ответственный» тон — сидит в кабинете с телефоном, руководящее лицо!

Завылый телефон. Клаша выслушала кого-то и отчитала за плохую посещаемость. Потом пришли два паренька, Клаша и их отчитала за отсутствие комсомольской инициативы. Только они ушли, она вспомнила еще что-то, сама побежала за ними и в коридоре отчитала дополнительно. Палька отметил, что ноги у нее маленькие и очень симпатичные.

— Вот что, товарищ Светов, — придав пухлым губам строгое выражение, сказала Клаша. — Мне сейчас некогда, а вечером я к вам зайду, и мы обсудим весь план.

— Слушаюсь, товарищ начальник!

— А вы, товарищ Алымов, выясните с материалами и деньгами. Хорошо бы достать готовые двери и рамы.

— Можно подумать, Клашенька, что ты специалист по захвату чужих домов.

— Если бы ты раньше посоветовался, товарищ Светов, эти дома были бы уже ваши, — авторитетно заявила Клаша и снова покраснела.

Почему покраснела, Палька не понял.

Когда он предупредил Катерину, что придет Клаша и надо угостить ее чем-нибудь вкусным, Катерина усмехнулась.

— Угостить догадаемся. А вот ты, дурачок, догадайся потом проводить ее.

— До самого города? Или можно до трамвая?

— Знаешь, Палька, если бы такой парень проводил меня только до трамвая, я бы с ним и говорить не стала, с невежей.

Деловитую строгость ответственного комсомольского работника Клаша оставила в горькоме. Пришла милая, застенчивая девушка в белой блузочке, в туфельках на каблучках, в красном берете с хвостиком на макушке. Этой девушке полагалось помочь — снять пальто, подать стул, что Палька и проделал.

Но когда началось обсуждение плана, Клаша оказалась изобретательным «домокрадом». За день она успела придумать много ухищрений, обеспечивающих скрытность работ: в темноте подвезти стройматериалы и сложить их так, чтобы не видно было со стороны разъезда: работы

начать все сразу и потолковей; окна, обращенные к разъезду, забить фанерой, чтоб с проходящих поездов ничего не заметили железнодорожники. Стеклить в последнюю очередь и тут же привезти жильцов со всем имуществом: если кто и хватится, дом будет заселен — поди-ка высели!

Катерина наблюдала — не только у Пальки, но и у Липатушки и Алымова пробилося детское озорство. А Клашенька-то рада! Эх, Палька, слепой или глупый?

С трудом уловив, о чем тут стовариваются, Марья Федотвна испугалась:

— Ой, дорогие, что-то вы недоброе затеяли!

— Нет, доброе! — раньше всех ответила Клаша. — Очень даже доброе. Людям жить негде, а они — как собака на сене. Я это где хочешь скажу!

И вперила взгляд в стену — нет, в воображаемого обвинителя, взгляд убежденный и серьезный, — должно быть, мысленно уже спорила и утверждала свое. Палька с удовольствием наблюдал за нею, и вдруг к нему пришло слово, определившее Клашу: надежная. Она — надежная...

Обсуждение продолжалось, а Палька все смотрел на нее и думал — надежная, ни в чем не подведет, ни крутить, ни лукавить не станет. На такой жениться — не прогадаешь... И сам над собой посмеялся — шшь какие мысли в голову лезут! Оно бы, может, и неплохо — остепениться, да тут, кажется, Степка Сверчок дорогу перебежал?..

Провожать пошли Палька с Липатовым. Липатов жил недалеко от Клаши. У трамвая Клаша сказала:

— Спасибо, дальше не нужно. Иван Михайлович меня доведет.

— А если я вежливый и хочу проводить?

Клаша вздернула носик:

— Из вежливости? Вы предложили, этого вполне достаточно.

Вот оно как! С гонором девчужка!..

На ближайшую неделю все дела были отброшены — шла подготовка к захвату домов. Бухгалтер Сигизмунд Антипович проявил неожиданную изворотливость и подвел непредвиденные расходы под какую-то «растяжимую» статью сметы. Алымову удалось бешеным нажимом получить деньги в банке и выхватить под носом у других организаций целый вагон досок.

В мастерской опытной станции все, кто умел столярничать, делали рамы и двери.

Липатов всеми правдами и неправдами раздобыл несколько ящиков стекла. Обои купили «нефондовые», за наличный расчет — деньги собрали в складчину, у кого сколько есть. Для оплаты рабочих нашли еще одну растяжимую статью. Клаша подобрала комсомольцев различных строительных специальностей, в целях конспирации не сообщив им, где придется работать.

Всю неделю Палька часто встречался с нею. Они ездили добывать железные кровати и столы в каком-то общежитии, где у Клаши были друзья.

Клаша взяла Пальку «для храбрости», когда пошла к начальнику Автотранса просить на воскресенье машины «для комсомольской экскурсии», — Палька быстро разобрался, что начальник влюблен в Клашу, и с удовольствием наблюдал, как лукавая девчонка за одно спасибо получила десять автомашин.

Всю неделю он исправно провожал ее до дому. Они разговаривали о чем придется. Под беретом с хвостиком на макушке скрывался пронзительный ум и много юношеской романтики, которая хорошо уживалась с неизблемыми принципами комсомольской активистки, судившей обо всем с забавной уверенностью. Клаша твердо знала, что правильно, а что неправильно, как поступать в одном случае, а как в другом, что общественно полезно и с чем нужно бороться. Кажется, года четыре назад Палька знал так же твердо. Единственное, чего Клаша не знала, — как не краснеть и не смущаться, но это нравилось Пальке, пожалуй, больше всего. Разговаривая с нею, он узнавал самого себя недавнего и все лучшее, что сохранилось в нем и в пережитых испытаниях окрепло, а в Клаше еще только созревало. Он чувствовал себя много старше ее и в то же время вспоминал, что ему всего двадцать три года.

Однажды, когда они весь день не виделись, Палька нашел какое-то дело и забежал к ней домой. Она выскочила на стук в летнем полинялом платице, из которого явно выросла, с венчком в руках, в спортивных тапочках.

— Ой! — вскрикнула она и залилась краской.

— Я забыл тебе сказать...

Он объяснял причину, которая привела его, а сам смотрел во все глаза, так она была сейчас мила и женственна.

— Что же мы стоим в коридоре? Ты заходи. Я сейчас...

— Пожалуйста, не вздумай переодеваться. Это платье тебе идет.

— Правда?

— Погляди в зеркало, увидишь сама.

Она не стала глядеть в зеркало.

Комнатка была крохотная, очень похожая на нее — девичьи пустячки соседствовали с учеными книжками. Клаша посадила гостя на единственный стул, а сама чем-то занялась за его спиной — Палька скосил глаз и понял, что она всовывает ноги в туфли на каблучках. Затем она подошла и пристроилась на кровати, став на коленки и положив локти на спинку кровати.

— Ты всегда так принимаешь гостей — на коленках?

— Какпе у меня гости, я ведь и сама дома не бываю.

— А Сверчок?

— Что Сверчок? — сердито спросила Клаша и соскочила с кровати. — Почему, если парень и девушка дружат...

— Не буду! — подняв руки, сдался Палька. — Только не читай мне лекций о дружбе и товариществе, я их сам читал. И с успехом. Многих убедил. Перестали ухаживать за девушками, всё перевели на дружбу.

— И ты перестал?

— Конечно! Раз и навсегда.

Теперь она стояла у стола, сбоку от него. Он старался не разглядывать ее, но все-таки заметил, как из коротких рукавчиков мило выступают тонкие девичьи руки, как узкое платице нежно облегает грудь, — так и тянет дотронуться... Он испугался этого желания и больше уже не смотрел, но в душе радостно отдавался ее сердитый возглас: «Что Сверчок?» Может, и правда — ни при чем он тут?..

Затем начались веселые, сумасшедшие дни. Весь коллектив опытной станции настлал полы, приколачивал доски, носил, оклеивал, стеклил. Комсомольцы презжачи вечерами и с ходу включались в авральную работу. Уже в ночь с субботы на воскресенье в некоторых комнатах праздновалось новоселье, в то время как другие комнаты существовали только на плане. На рассвете начался новый аврал — завершающий.

Все осмелели: воскресенье — начальство отдыхает, а случайные прохожие если и увидят, то не поймут, что происходит.

Под вечер Палька поехал вместе с Клашей за кроватями и столами. Они стояли в кузове грузовика и хохотали, представляя себе, что поднимется в управлении дороги, когда там узнают.

На обратном пути кузов был битком набит, и с ними увязался Алымов. Алымова они посадили к шоферу, а сами пристроились на краешке перевернутого стола. Над ними скрещивались, как шип, железные ножки кроватей, им в бока упирались колючие сетки. Какая-то особо упрямая сетка то и дело наезжала сзади. И все эти беспокойные вещи скрипели, дребезжали, стонали и хихикали.

Машина мчалась, встряхивая свой груз, одушевленный и неодушевленный. Ветер, которому полагалось обтекать машину, почему-то завихрялся вопреки всем законам, задувая в стобку, и в спины, и в лицо. Того и гляди, сдует. Было естественно придержать Клашу и защитить ее от сетки, наезжающей сзади.

Она взглянула на него доверчиво-радостно и устроилась так, чтобы ему было удобней держать ее. На юру, на ветру он ощутил под рукой живое тепло и притянул ее к себе настойчивей. Она сидела, слегка прикрыв глаза, будто и не замечая. Девичьи уловки. Если бы ей не нравилось, отодвинулась бы. Игорь как-то сказал: большинство из них говорит «ах», когда все уже кончено. Что бы сделал Игорь? Нет, она славная девчужка. Игорь — циник или напускает на себя. Она мне нравится. Очень нравится. И все последнее время она сама подстраивает встречи. А на Сверчка и не смотрит. Может, выдумали насчет Сверчка? Какая тоненькая, вся в руке помещается.

Его рука скользнула выше и коснулась ее груди.

Он не сразу понял, что произошло. Оттолкнула его Клаша или сама рванулась от него, но они оба чуть не слетели с машины. Потревоженная сетка наехала на них.

— Так и шлепнуться недолго, — проворчал Палька, отпихивая сетку.

И вдруг увидел, что Клаша плачет.

Грузовик по-прежнему мчался, встряхивая свой беспокойный груз, а Клаша стояла, держась за ножку стола, и плакала.

— Ну что ты, Клаша? Я ж ничего такого...

Он видел, как по ее щеке скатываются одна за другой слезы — пробежит слеза, повисит на скуле и сорвется, а за нею поспекает следующая.

Напуганный и раздосадованный, он бормотал какие-то жалкие слова. Много месяцев спустя он сообразил, что вместо всего этого вздора нужно было сказать одно слово, которое все извинило бы. В эту минуту такого слова не нашлось.

Клаша повернулась к нему, и он увидел ее глаза — не глаза, а две огромные лучезарные слезищи.

— Почему вы, парни, считаете, что все можно? Вот так...

За скрежетом и шумом он не сразу уловил, что она добавила, потом понял: ни с того ни с сего. Невольно улыбнулся:

— Почему ни с того ни с сего?

— Думаешь, простая девушка, шахтерка, так можно?

И тут он понял, что она знает о нем больше, чем ему хотелось.

— Если бы вместо меня была какая-нибудь ученая, столичная, ты бы никогда не посмел...

Ответ дался ему легко, не вызвав ни боли, ни досады:

— Хочешь, я тебе выдам секрет? Ученые да столичные очень любят, когда их обнимают, как самых простых!

Клаша не выдержала, улыбнулась.

И тут они совсем некстати приехали.

Она уже не сердилась как будто, но, когда кончилась вселая суматоха заселения домов, уехала вместе со Степой Сверчковым.

А затем разразились события, которые надолго выветрили мысли о Клаше Весенок.

Управление дороги не только передало иск в прокуратуру, но и подняло партийное дело, обвинив Липатова в антиобщественных поступках, пережитках капитализма и насаждении во всеренном ему коллективе антисоциалистических нравов, «что выразилось...».

На бюро горкома Липатов выдвинул встречное обвинение в антисоциалистическом замораживании средств, пережитках капитализма — сами не пользуются и другим не дают, а кроме того — в бюрократическом нежелании решить вопрос в интересах дела, «что выразилось...».

Чубак нашел мудрое решение: пусть управление дороги сдаст, а Углегаз возьмет в аренду года на три эти дома, с условием достройки на взаимоприемлемых условиях. Липатову за самоуправство поставить на вид без занесения в личное дело. Управлению дороги в лице товарища такогото указать на неправильность длительного замораживания средств. Дело о выселении жплцов прекратить.

— Электричество подводи, — подмигивая, сказал Чубак после заседания, — заехал я на днях вечером ново-

серов поздравить, а они при свечках да керосиновых лампах... Несоволидно!

Управленцы обжаловали решение горкома в обкоме, дело перешло в Комиссию партийного контроля...

Прокуратура вела дознание не только по захвату домов, но и по всем расходам, связанным с достройкой. «Растяжимые» статьи сметы оказались роковыми — теперь привлекали не только Липатова, но и бухгалтера. И вдруг выяснилось, что милейший Сигизмунд Антипович — бывший жонглер, утративший «координацию движений» и какими-то сложными путями попавший на финансовую работу. Весь коллектив хохотал, но Липатову приходилось отвечать и за прием кадров «без должной проверки».

Алымов, формально ни за что не отвечавший, проявил новые качества — во всех инстанциях выдвигал множество возражений и вопросов, требовал подробнейших расследований и вызова десятков свидетелей.

— Дело надо затягивать, тогда оно помрет естественной смертью.

И дело действительно из острого, грозного постепенно превращалось в нечто безысходно-тягучее...

В эти же дни из Москвы пришли важные вести: опыты по методу Колокольникова — Вадецкого газа не дали. Профессор Граб на обсуждении результатов отказался от собственных «вариацний», а заодно и от самой идеи:

— Я давно предполагал, что практически эта интересная задача невыполнима.

Вадецкий вяло поспорил с ним, но неделю спустя на коллегии наркомата выступил с погромной речью, обвинив Углегаз в разбазаривании государственных средств на дорогостоящие опыты по теоретически не обоснованным проектам. Профессор Граб заявил, что торопиться с выводами не стоит, но:

— ...Я лично не склонен заниматься дальше этой проблемой, у меня просто не хватает времени.

Так неудача одного из проектов поставила под угрозу все дело.

Алымов слетал в Москву и вернулся растерянным: не только о создании научно-исследовательского института, но и об ассигнованиях на расширение работы опытной станции говорить бесполезно. Олесов напуган, Колокольников зол как черт и отказывается выслушивать, не то что решать! А Вадецкий открыто перешел в стан врагов подземной газификации угля...

— Давайте вечерком соберемся и обдумаем, как действовать,— сказал Саша.

— Да что тут обдумывать,— сердито возразил Палька,— работать надо!

В тоне, каким это было сказано, чувствовался отзвук недавней ссоры. Нужно засучить рукава и делать дело, а не сидеть над книгами и не заниматься зряшными разговорами!

Саша продолжал настаивать.

— Ладно,— примирительно сказал Липатов,— обсуждать так обсуждать. Соберемся в восемь.

К концу дня на одной из буровых вышел из строя турбобур — забарахлил редуктор, пришлось поднимать турбобур на-гора, разбирать его и ремонтировать. Не только механик Маркуша, но и Светов и Липатов толклись возле турбобура, чтобы с утра возобновить бурение. Около восьми Липатов вспомнил о том, что решили собраться.

— А, подумаешь! — отмахнулся Палька. — Тут дело поважней.

Ровно в восемь Саша сам пришел за ними.

— Далось тебе! — раздраженно огрызнулся Палька.

Однако пошли заседать. Алымов ждал их, он недовольно посмотрел на часы — четверть девятого. Вероятно, торопился к Катерине.

— Общее положение обсуждать вроде беспечно,— сказал он. — Обсудим, что и как форсировать здесь?

— Нет! — возразил Саша. — Именно общее положение!

На него смотрели как на чудака. Второй месяц не допросишься его, оторвался от всех дел, и вдруг — пожалуйста!..

— Плоды просвещения,— насмешливо проворчал Палька.

— Поднабрался мыслей, это верно,— беззлобно отшутился Саша и сразу посерьезнел — видно было, что он хорошо продумал то, что хочет сказать; но тем более страшными были его слова:

— Ограничиться ускорением работ — полумера. Именно сегодня надо переходить в решительное наступление по всему фронту. В Углегазе растерянность? Но для нас все случившееся — уже победа. Произошло то, что мы предвидели: методы, основанные на механическом воспроизведении газогенератора, провалились один за другим. Слово за химией. Наше решение — единственно верное.

Будущее покажет многие несовершенства нашего проекта, но все дальнейшие разработки пойдут от него...

— Вот и нужно пустить станцию и доказать! — перебил Алымов.

Саша поморщился.

— Это само собой, но ждать результата нельзя. Осень! Утверждаются годовые планы и сметы. Мы должны уже сегодня потребовать расширения опытных работ в новом году. А значит, более крупных ассигнований. Это — первое требование. Второе — через наркоматы договориться, чтобы один из донецких заводов, лучше всего Азотно-туковый или Коксохим, принял наш газ под котел. Иного способа доказать реальность подземной газификации я не вижу. Да и зачем пускать газ на ветер, когда можно употребить его с пользой?

Эти решительные требования из уст человека, далекого от повседневных забот строительства, всем показались неуместными.

— Так-таки требовать всего сразу и немедленно? — усмехнулся Липатов. — Сидел — в книжки глядел, а потом, пожалуйста, подавай ему развернутое наступление!

Саша улыбнулся смущенно и немного виновато.

— Знаю, товарищи, не помогал. Но иначе нельзя было. За эти недели я подработал некоторые наши проблемы и установил кое-что интересное. Думаю, теперь Вадецкому будет трудно спорить с нами. Я вас ознакомлю на днях... Но все же моя работа — кустарщина... Чем дальше в лес, тем больше дров. Возникает множество специальных проблем. Кустарничать тут невозможно. Если мы буквально завтра не добьемся НИИ, мы затормозим дело сразу же после успеха. Создание НИИ — третье неотложное требование.

— Но как ты себе представляешь — требовать?! — вскричал Алымов. — Кому и где? Что ты предлагаешь конкретно?

— Ринуться в бой. Ехать всем вместе в Москву, дойти до наркома, до ЦК, до самого Сталина — и добиться.

Давно уже не проявлял Саша такой непреклонной настойчивости. Его настойчивость начала действовать. Конечно, требования важнейшие. Но не забегает ли Саша вперед? Ведь до пуска станции осталось два-три месяца.

— Если будем ждать пуска — потеряем год, — упорствовал Саша, — и не только год — кадры.

— Какже еще кадры?

— Того же Вадецкого, Граба, Катенина. Работников других станций. Если мы допустим спад энергии в Углегазе, люди рассеются кто куда.

— Так то ж не люди, а палки в колеса — твои Вадецкие! — рыдающим голосом вскричал Липатов.

Всем казалось дико: зачем насильно удерживать людей, которые не помогали, а мешали? Наивные рассуждения без учета реальных фактов!..

Саша встал, как-то особенно светло, без обиды вглядываясь в насупленные лица друзей. И заговорил с редкой для него взволнованностью, и обращение само собою пришло теплое, юношеское, возрождавшее давнюю дружескую близость:

— Очень большое дело, ребята. Получим газ — и дело станет государственным, всесоюзным. Нам его развивать. А что мы одни? Всех, кто хоть как-то причастен, пора собирать, втягивать... Мы в своем котле варимся — наш проект, наша станция. А надо выходить за пределы. Успех у нас будет? Будет! И мы должны оказаться на высоте.

В доме Световых собрались провожать Сашу, Пальку и Алымова — Липатов оставался руководить предпусковыми работами. После того как приняли решение ехать в Москву для «развернутого наступления», разногласия забылись. Все были возбуждены предстоящей борьбой, поэтому никто не обратил внимания на приход Кузьмы Ивановича — раздвинулись, дали место за столом и продолжали говорить о своих делах. Только Катерина встревожилась — избегает Кузьмич Алымова, без серьезного повода не пришел бы.

— Д-да, так вот... — протянул Кузьма Иванович, старческими пальцами уминая в трубке табак. — Был в горкоме — нет больше Чубака. Сняли. Одни говорят — отозван, другие — самое плохое.

И не то вздохнул, не то всхлипнул.

7

И снова било вверх стойкое голубое пламя, слегка подкрашенное желтыми и красноватыми струйками.

Оно ничем не напоминало скромный язычок огня, полтора года назад вспыхнувший над тонкой трубкой,

торчавшей из смешной кустарной печки в сарае Кузьменок. И недавно пылавший над опытной моделью факел оно напоминало не больше, чем взрослый — ребенка.

Оно было вознесено высоко-высоко в темное мартовское небо двадцатипятиметровой трубой, которую так и называли — свеча. Свеча была внушительная, богатырская. Трепет восторга охватил всех, всех, кто тут был, вплоть до заезжих шоферов, когда после долгих ожиданий на конце свечи вспыхнуло и утвердилось пышное пламя, осветив всю территорию станции колеблющимся голубым светом.

Несколько часов назад на глубине 130 метров электрической искрой разожгли огонь. Право включить рубильник предоставили Ване Сидорчуку. Ваня сделал это просто, даже слишком просто, без торжественности: двинул рукоятку от себя и отошел. Но с этой минуты он уже никого не видел и не слышал. Закинул голову — да так и простоял, пока не завился над трубой легкий сизый дымок.

Внутри трубы время от времени раздавались хлопки, потрескивания. Словно кто-то там ворочался, распрямлялся и сердился — тесно. Когда хлопки и потрескивания усиливались, некоторые из присутствующих отходили подальше. Ваня стоял неподвижно и вслушивался в живой голос той самой газификации...

Но вот у подножия трубы завалили просмоленную паклю, уложенную в банку. Запевелился тросик, повизгивая на блоке, и потянул пылающую банку вверх, на трубу. Все выше... выше... вот уже у самой верхушки...

Громко ахнула труба. Взметнула могучий язык, будто лизнувший темное небо. Язык вытянулся, потом опал, заколебался — и вот оформилось и утвердилось ровное пышное пламя.

И тогда Ваня Сидорчук бросился к трубе и обнял ее, прижался к ней заолодевшей щекой, сморгнул слезу.

Потрясая длинными руками, от которых металась длиннющая тень, Алымов раскатистым голосом перекрыл радостный гомон:

— Великой победе техники — ура! Ура! Ура!

Первое «ура» подхватили кто как, не в лад, второе и третье — слитно, во всю мощь голосов. В колеблющемся свете факела люди подкидывали шапки и кепки, обнимались, плясали, хлопали в ладоши. Все это походило на фантастический праздник огнепоклонников. Фанта-

стическими, незнакомыми выступали из мглы светлая махина градирни и поблескивающая башня скруббера, будто подбоченившаяся причудливо изогнутыми трубами. Все стекла, какие были вокруг, включились в праздник — в каждом пылала маленькая свеча.

Светов, Мордвинов и Липатов стояли рядом, плечом к плечу. Им тоже хотелось кричать «ура», обнимать друг друга и всех, кто трудился вместе с ними. Но они не могли двинуться, не могли издать ни звука. Только стоять рядом, плечом к плечу, и смотреть, смотреть завороченными глазами на ровное сильное пламя, рвущееся в высоту!

— Видите красноватые языки? Метан.

Это были первые слова. Их произнес Саша.

Липатов уважительно пригляделся к этим красноватым струям, а Палька и не слышал, кажется...

К ним подошел секретарь горкома партии Тетерин, сменивший Чубака. К новому руководителю в городе привыкали медленно, придирчиво оценивая каждое слово и каждый поступок. И Тетерин, до отъезда на учебу работавший здесь же, в Донецке, чувствовал себя на новом посту неуверенно, чуть что — подозрительно настроивался. Много лет он уважал Чубака, а теперь выходило — должен распознавать и искоренять «чубаковщину». Его глаз партийного работника обнаруживал добрые следы деятельности Чубака, но мог ли он верить им, если Чубак оказался врагом? Не склонен ли он к беспечности и увлечению успехами?.. Вот и с этой опытной станцией! Ему сразу понравился самый замысел — обойтись без подземного труда, но с первого дня работы ему прожужжали уши, что «эти молодцы» — авантюристы и самоуправцы, что коллектив засорен не заслуживающими доверия людьми, которых покрывал Чубак, что «делами» опытной станции уже занимались и Комиссия партийного контроля, и прокуратура, да Чубак прикрыл... Впервые приехав на станцию № 3, Тетерин обвел взглядом раскинутые по обширной площади сооружения и уходящие вдаль трубопроводы:

— И такое строительство — всего лишь для опыта?!

Руководители станции давали объяснения. Был тут и Светов, восстановленный в партии «усилиями Чубака», как говорил Алферов, «заносчивый юнец и анархист». Светов казался дельным и увлеченным парнем, по

Тетерин недоверчиво выслушивал все, что ему рассказывали, не торопясь соглашаться или возражать.

— Подождем, что покажет опыт.

Сегодня он тоже не торопился радоваться — ходил по станции, прислушиваясь, о чем говорят люди, и стараясь отделаться от неотступно ходившего за ним Алымова, так как Алымов слишком явно его «обрабатывал». Праздничная и взволнованная атмосфера, царившая вокруг, затягивала Тетерина и без обработки Алымова. Когда банка с горячей паклей поползла вверх, чтобы запалить свечу, Тетерин с горячей надеждой следил за нею и мысленно поторапливал: «Да ну же, скорей!» — не только потому, что успех сам по себе был бы прекрасен, но и потому, что он означал бы: все, что ему пагаваривали, неверно, люди тут делают стоящее дело, и нужно их поддержать, а не бороться с ними...

Газ вспыхнул — и будто гора с плеч! Уже не скрывая своей радости, Тетерин подошел поздравить руководителей опыта с победой.

— А говорили, не будет у вас газа! — Он укоризненно покачал головой кому-то, кого здесь не было. — Ну, молодцы! Бо-оль-шое дело начали! Как думаете... доживем до того дня, когда новых шахт больше закладывать не будут, а вот эту штуку... заместо?..

— Рассчитываем дожить, — сказал Саша. — Но для этого надо всю развернуть опыты и научные исследо...

Алымов, как таран, врезался в их разговор:

— Ну-с, можно рапортовать товарищу Сталину! Я уже набросал черновик! — Прыгающими от возбуждения пальцами он совал Тетерину лист бумаги, исписанный колючим почерком. — Отредактируем, подпишем — и на телеграф!

Тетерин прищурился, обдумывая.

— Скажите по совести, товарищи: мы уже вправе рапортовать товарищу Сталину?

— Конечно, вправе! — сказал Липатов.

— Не раньше, чем авторитетная комиссия запротоколирует ход процесса и анализы, — строго сказал Саша.

— А по мне, так и вчера можно было! — воскликнул Светов и, увидев Маркушу, закричал во все горло: — Маркуша! Сергей Петрович! Иди сюда!

Маркуша подошел, с достоинством поклонился Тетерину, по очереди обнял и поцеловал друзей. И всем было

приятно видеть, как человек распрямился и будто разгладился.

— Это и есть Маркуша? — спросил Тетерин и протянул руку. — Тогда поздравляю с двумя победами сразу.

После длительных проволочек Маркушу наконец восстановили в партии. Завтра Тетерину предстояло вернуть ему партийный билет.

— Думаю, что пора возвращаться и на свою печь?

— Печь от меня не уйдет, — проговорил Маркуша и повернулся лицом к пылающему факелу, отбросившему синие отсветы на его впалые щеки. — Повременю. Тут докончить надо. — И он стремительно пошел прочь, к группе слесарей и монтажников — к людям, с которыми перебедевал эти долгие тяжелые месяцы.

Тетерин проводил его задумчивым взглядом. Вот и еще один человек, о котором он наслышался и худого, и хорошего... и которому хочется доверять, потому что Маркуша затеял на Коксохима полезные перемены и сейчас крайне нужен на заводе...

— Где же ваша авторитетная комиссия? — встряхиваясь, спросил он.

— Из Углегаза никто не соизволил приехать, если не считать Алымова, — не без яду сообщил Липатов. — Видно, не ждали успеха. Передоверили Катенину и местным профессорам.

И тут все впервые увидели, как сердится новый секретарь горкома. Чубак, бывало, ругался на чем свет стоит. А Тетерин промолчал, только весь потемнел, губы сжались в полоску, и на скулах вздулись желваки.

— Профессоров у нас хватит! — воскликнул Алымов. — Тут почитай что весь институт! Сейчас же составим комиссию! А кто не приехал — тем хуже для них, не подпишут рапорт!

— Подписать — это не штука, — мрачно сказал Тетерин. — Но... Товарищ Липатов, позвони дежурному горкома, пусть закажет через час прямой провод. Я их пошевелю! Я их сюда всех вытребую, маловеров!..

Пока Липатов звонил, начали составлять комиссию. Оказалось, не только Троицкий и Китаев, но и Сонин и Алферов тут, из института примчалась целая делегация в крытом грузовике.

Увидав знакомый фургон, Палька на минуту замер — давняя тоска прихлынула к сердцу. Сквозь колеблющийся свет факела проступила посеребренная луною

степь и голубое лицо женщины со странным выражением не то ласки, не то насмешки. Лицо тут же растаяло, исчезла степь в лунном серебре, и не было ни того счастья, ни той боли...

Стойким надежным пламенем пылал в высоте горячий газ, извлеченный прямо из целины угольного пласта. Рядом стояли люди, сделавшие это чудо своими руками. Товарищи. Соучастники победы. В дружной толпе победителей он был одним из многих. И его главная радость состояла в том, чтобы делить победу с ними — и отсечь тех, кто ни при чем.

Он позволил себе расцеловаться с профессором Троичким, холодно поклониться профессору Китаеву и отвернуться от Алферова и Сонины — этим двум, облеченным партийной ответственностью и недостойным ее, он не прощал ничего.

Предоставив Алымову хлопотать о составлении нужных бумаг, Палька ускользнул от формальностей и столкнулся лицом к лицу с человеком, которого никак не ждал увидеть здесь.

Взволнованный, с жалкой, заискивающей улыбкой, к нему рванулся Ленья Гармаш. Ленья Гармаш, струсивший в тяжелые дни...

— Павел Кириллович! Такой успех, такой успех! — восклицал Гармаш, протягивая руки. — Вот мы и дождались желанного дня!

Протянутые руки повисли в воздухе.

— Мы? — спросил Палька и, как мальчишка, пронзительно свистнул в лицо Лени, в его русалочки неверные глаза.

Шагая по замусоренной, еще не приведенной в порядок территории станции, Палька по-мальчишески подкидывал ногой щепки и осколки кирпича, на ходу пожимал десятки рук, с кем-то обнимался, кого-то целовал и снова шагал — веселый, усталый, счастливый до одури.

Час был поздний, но толпа не расходилась, было похоже на праздничное гулянье — кругом народ, звучат оживленные голоса, смех, а то и песня. В центре шумной группы молодежи Ваня Сидорчук «христосуется» со всеми девушками по очереди, девушки взвизгивают, но, видимо, ничуть не возражают...

Мелькнула в толпе гордо посаженная голова в венце кос — сестра, Катерина. Все последнее время она ходила

мрачная, злая, что ни скажи — идет наперекор. А сегодня — веселая, улыбочивая, шагает в обнимку, по одну сторону — Люба, по другую, в ярко-синем берете... это кто же такая? Он пробился к ним, и навстречу ему из-под нового беретика засветилось, засияло милое лицо Клаши Весненок. Какая же она умница, что пришла! И как могло случиться, что он так давно не видел ее и даже не вспоминал... долгие недели! Целые месяцы?!

— Девушки, принимаю поздравления и поцелую!

Они поцеловали его — все три. Клаша густо покраснела и еле дотронулась губами до его щеки.

— Так не годится, Клашенька, разве это поздравление!

Он полушутя обнял ее и поцеловал в губы, ощутил трогательную робость ответного поцелуя — и на какое-то время забыл обо всем остальном.

И вдруг увидел окаменевшее лицо Степы Сверчка.

Минуту они испытующе и недобро смотрели друг на друга.

— С праздником, Степа! — опомнившись, сказал Палька, обнял Степу и троекратно крепко поцеловал. — Все в порядке, дружище.

И пошел дальше, не позволив себе оглянуться на Клашу.

С комиссией все было улажено, договорено. В конторе станции коллективно редактировали рапорт Сталину.

Саша вышел из прокуренной комнаты на воздух.

Где-то тут бродила Люба, но где? Да и не мог он сейчас говорить с Любой о том, что его томило. Люба радовалась возвращению в Москву. Любе уже мерещилась московская просторная комната, театры, Сокольники, где они так и не побывали, она верила, что снова возьмется за учебу... Он винил не ее, а себя. Не помог, а сбил с толку. Поселил в бараке и не позаботился о том, чтобы у нее был хотя бы уголок для занятий. Она самоотверженно помогала на стройке всем, чем могла: наводила порядок в столовой и общежитии, бралась и за лопату, и за метлу. Защищала мужа, когда ребята злились на него...

Не мог он теперь обрушить на нее новые тревоги.

Когда он уезжал в Москву три месяца назад, чтобы ринуться в бой, он и подумать не мог, что так все обернется.

Они ринулись в бой. Первая схватка произошла на техническом совете Углегаза, где они с Палькой доложили результаты опытов на крупной модели. Их доклады имели успех. Олесов прямо расцвел, да и Колокольников подобрел — на других опытных станциях удач не было, станция № 3 могла выручить... Но когда докладчики изложили свои планы и требования, поднялся шум. Колокольников язвительно напомнил о скромности. Вадецкий выступил с раздраженно-злостной речью: искусственно создали благоприятные условия, выдают результаты за открытие и хотят, чтобы все перед ними расступились! Вы из настоящего целика дайте газ, тогда посмотрим!

— Могу предсказать, что после пуска станции у вас будут взрывы, — вещал Вадецкий, — выход газа окажется перавпомерным, а процесс — неуправляемым!

Поддержал Вадецкого и Катенин, правда более мягко: дело новое, трудное, нельзя торопиться. Цильштейн снова доказывал неосуществимость газификации без дробления угля и высмеивал «самообольщения наших молодых друзей...»

И тут Саша, для удобства поднявшись с места и обращая то к одному, то к другому, вступил в теоретический спор со всеми. Палька слушал, приоткрыв рот, — Саша бил противников на их ученом языке, против каждого их довода выставляя свой контрдовод — обоснованный, продуманный. Так вот для чего он просидел эти месяцы над книгами и расчетами!

После долгого, временами резкого спора удалось провести нужные решения, хотя сформулировали их туманней, чем хотелось.

Затем шли бои у Бурмина и у Клинского, заменившего Стадника, затем — на коллегии наркомата, в планирующих и финансовых органах. Клинский сперва очаровал всех — вежливый, внимательный, с обезоруживающей улыбкой; потом — вызвал досаду, потом — привел в ярость. Он не жалел времени, чтобы разобраться в вопросе. Но как раз тогда, когда казалось, что он разобрался и может принять решение, Клинский скучнел, замыкался и говорил невыразительным голосом:

— Подумать надо, товарищи. Взвесить. Мы еще к этому вернемся.

Палька фыркал:

— Ты лицо его запомнил? Я так не помню ни глаз, ни носа. Вежливая туманность.

Бурмин, как всегда, ругался, а то хохотал:

— Ишь торопыги! Им подавай все сразу!

В общем-то он их поддерживал, но спуску не давал:

— Добреньких ищите? А вы убеждайте, кладите противников на обе лопатки, тогда и победите. Работа упористых любит.

Деньги на расширение опытов в наступающем году получили. Попробовали договориться о том, чтобы после пуска станции подвести газ на один из донецких заводов, но тут их и слушать не стали: забегаете вперед! После долгих споров удалось провести решение о создании научно-исследовательского института, но в последней инстанции Колокольников сумел доказать, что институт нужно создать не в Донецке, «не на базе мало-значительной опытной станции», а в Москве, «на базе квалифицированнейших научных кадров столицы»...

И вот накануне отъезда Сашу вызвал Бурмин.

— Навоевался? Выдохся?

— Нет, не выдохся.

— Вот и хорошо. Надумал я... Делать — так делать до конца. Пойдешь директором НИИ и одновременно — заместителем директора Углегаза по научно-исследовательской работе.

Саша мигом ухватил смысл предложения. Ничего не скажешь, разумно. Сейчас Углегаз — вроде стороннего и не очень-то доброжелательного наблюдателя. Надо его завоевывать изнутри. Если отказаться, назначат какого-нибудь Вадецкого или в лучшем случае Катенина... Разве они обеспечат правильное развитие исследований? НИИ может стать не опорой, а помехой, научной трясиной, в которой захлебнется живая мысль.

— Чего молчишь? Соглашайся, вам же на пользу.

Саша медлил. Делу — на пользу, это ясно. А мне...

Он будто увидел перед собою умное старческое лицо Лахтина, будто услышал негромкий голос: «Как только сможете, я приму вас... если сам к тому времени *буду*...» До сих пор всё еще мечталось: пройдет несколько недель или месяцев, и можно будет напомнить об этом обещании, сказать: «Я свое выполнил, я уже могу, не предав дело и товарищей...» Нет, далеко то время, когда можно будет так сказать! Работы у нас — на годы... И мое

сегодняшнее «да» или «нет» — выбор на всю жизнь... Люба обрадуется возвращению в Москву. А мне предстоит борьба в одиночку с недругами и маловеерами. Колокольников будет очень зол, Вадецкий и Граб тоже... Съедят? Не дамся.

— Согласен, Петр Власович.

Хотелось добавить: только поддержите. Не добавил. Когда станция № 3 начнет выдавать газ, само дело подержит.

— Одно неперемное условие, Петр Власович: до пуска нашей станции не перееду. Пока — главное там.

...И вот станция пущена. По стойкости и цвету пламени и без анализов видно, что газ неплох и выдается равномерно. Но как же далеко до промышленной газификации! Сколько впереди исследований, опытов, поисков — и сколько борьбы!

Ребята будут изучать, совершенствовать, пробовать так и этак, отрабатывать детали... А мне — уезжать. Именно теперь, когда мы снова так хорошо понимаем друг друга и научились ценить свою дружбу... Уехать от них и крутиться там одному. С одного боку — Колокольников, с другого — Вадецкий, или Граб, или Цильштейн, или Катенин с его грошковым самолюбием и нежеланием сотрудничать... Все это надо преодолеть. Людей вернуть и завоевать. Отбивая наскоки, доказывая, убеждая каждого в отдельности и всех вместе, — вывести дело на государственный простор.

И я сумею! Должен суметь. Пусть совсем один...

— Вот ты где, Сашенька!

Почему она всегда чувствует, что нужна? Нету, нету, и вдруг появляется в нужную минуту. Приникла к его плечу и одним глазком поглядывает, какой он. И осторожно, как бы невзначай, спрашивает:

— Ты что один стоишь?

Обнял, пошутил — как же один, когда нас двое? А первым побуждением было ответить: привыкаю. Нет, даже в шутку не стоит пугать Любу предстоящими трудностями. И рассказывать ей о всяких Вадецких. Любе хочется, чтобы все было хорошо и правильно. В жизни так не получается, всегда есть какие-то наслоения, примеси. Но зачем ей-то тревожиться? У него хватит сил — самому. Да и какое одиночество, если Люба рядом?..

— Ты чего вздрагиваешь? Озябла?

— Переволновалась. Я сейчас поставлю чай. И у меня еще кое-что припасено. Ты ребят позовешь?

Она и это поняла — что сегодня он никак не может без них.

В тесной клетушке конторы кипели страсти. Впрочем, по виду все было деловито, обсуждался как будто чисто юридический, формальный вопрос: чьи подписи должны стоять под рапортом Сталину. Тетерин выписывал фамилии на отдельной бумажке. Хотя фамилия Алымова (а за нею и Мордвинова, как нового руководителя НИИ) уже значилась в списке сразу после Тетерина, Алымов тяжело придавил кулаком чистовик рапорта, подчеркивая, что не допустит перемен, — а между тем Сонин мягко, но настойчиво доказывал, что гораздо больше прав «у руководителей Института угля».

— Проект наш, институтский, и это гораздо важнее, чем... А вашего НИИ еще и нет, одно название...

Профессор Китаев, молча высидевший в уголке все время, пока рапорт редактировали, теперь тоже возвысил еле слышимый голосок:

— Я не для себя, я не честолюбив, товарищи, но в качестве научного руководителя проекта... как-никак именно моя кафедра...

— Один с сошкой, семеро с ложкой, — бурчал Липатов, сердито поглядывая в окно: куда это запропастились Саша и Палька, когда тут такое...

Тетерин решительно отодвинул кулак Алымова и подтянул к себе рапорт:

— Хватит, товарищи! Добавлю директора института Соенна и начальника опытной станции Липатова. Пять подписей — в самый раз.

Но тут взвился Липатов:

— А Светов?!

Тетерин поморщился, он предпочитал, чтобы фамилии Светова на рапорте не было — что там ни говори, человека недавно исключили, толки ходят разные, лучше обойтись без него...

— Подпись главного инженера совсем не обязательна...

— Ну конечно, зачем уж Светов, когда столько желающих! — закричал Липатов, багровея. — Давайте уж

и Сонина, и Китаева, можно и еще поискать, кто нам палки в колеса ставил!

— Тише, тише! — поднял руку Тетерин. — Чего раскричался? Никто же не против Светова, только подписей многовато. Или?..

— Вот именно — или! — задохнулся от гнева Липатов. — Такой малый пустяк — автор проекта!

— Ну, впишем и Светова. — Тетерин набело переписал фамилии в конце рапорта. — Успокоился?

Потеряв всякий интерес к дальнейшей процедуре, как только увидел свою подпись на подобающем месте — вторым от начала, Алымов выскользнул из конторы и разыскал в поредевшей толпе Катерину.

— Разрешите отвезти вас домой, Катерина Кирилловна. Уже поздно.

Взял ее под руку — и стремительно повел к машине.

За ними все так же пылало пламя, отбрасывая широкий круг света, перед ними вытягивались их тени — все длиннее, длиннее, вот уже головы канули в темноту за пределами круга.

— Поехали? — спросил из темноты шофер, которого Катерина побанвала, потому что у него всегда кончался бензин.

Сегодня шофер был щедр и весел.

У машины стояла черная нахохлившаяся фигура.

— Константин Павлович, вы в город? Захватите меня, пожалуйста, я, понимаете ли, не предупредил жену, что задержусь...

Когда он приехал сюда — Катенин? Где пробыл весь вечер, никому не попадаясь на глаза?..

Алымов в бешенстве повернулся спиной к Катенину, но пальцы Катерины слегка сжали его локоть, он перхнулся и процедил:

— Садитесь впереди.

Катерина откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Как сквозь сон слышала она рокот мотора и удивленный голос шофера:

— Скажи пожалуйста, вышло! А я, грешным делом, не верил, думал — чепуха, не будет уголь за здорово живешь гореть под землей. И что же, так и будет теперь — «гори, гори ясно»?

Алымов не ответил. Пришлось отвечать Катенину. Он объяснял что и как сдавленным голосом, но добросовестно.

Катерина понимала, что творится в душе у этого малознакомого человека, которого она однажды защитила. Надо бы заговорить с ним, сказать дружеское слово. Но она ничего не могла придумать. Она очень устала от долгого стояния на ногах, от волнений и счастья этого вечера, оттого, что рядом Алымов, и оттого, что дома нет Светланки.

Вот уже неделя, как она отняла Светланку от груди. Кузьменковская бабушка забрала девочку к себе, пока не отвыкнет. Без Светланки в доме стало пусто и тревожно. Ночами Катерине не спалось, ей чудилось, что она слышит Светланкин плач и голодное кряхтение... Все правильно, ребенок должен отвыкнуть от материнской груди, забыть. Так всегда делают. Но матери как забыть? Неотрывная близость с дочкой оборвалась. Что-то трогательное, утешающее ушло из жизни. И, как назло, приехал Алымов, еще более взвинченный, чем обычно. И не было спасительной возможности укрыться возле Светланки — единственного прибежища, где можно спрятаться от всего тяжелого и непонятного, что замутило жизнь... Свободна — и незащищена перед чем-то негаданным, надвигающимся помимо ее воли.

Из угла машины она поглядывала на Алымова — сидит выпрямившись и дышит громко, торжественно, раздувая ноздри.

А впереди безжизненно покачивается на опущенных плечах голова Катерина, тускло и уже с досадой звучит его голос:

— Да нет, почему же. Скважины бурят по пласту...

— Какая ночь! — воскликнул Алымов и схватил руку Катерины. — Если б мне посулили сто лет жизни, но без нее — я бы отказался!

Его длинные, цепкие пальцы то ласкали, то стискивали до боли ее руку, и тут уже ничего нельзя поделать — такая ночь выдалась, такое настроение породила.

Подъехали к гостинице. Катерин впервые оглянулся:

— Спасибо, что подвезли. До свидания.

— До свидания, — буркнул Алымов.

Кажется, он уже не помнил, кого подвез. Ему не было дела до этого человека. Как только за Катериным захлопнулась дверца, Алымов заговорил вполголоса, чтобы не слышал шофер, но с бурной торопливостью, — вероятно, всю дорогу копил и с трудом удерживал слова.

— Это — мое торжество, Катерина, мое! И со мною вы! Вы всегда должны быть со мной! Ныне, присно и во веки веков. Вы мне нужны, вы сами не понимаете, как вы мне нужны! Я знаю, я старше вас, хуже вас. Вы меня боитесь иногда, ведь правда, я чувствую — боитесь! Я не скрываю, я недобрый, я скверный человек, Катерина! Но вы меня потрясли, нет, — не то слово, вы меня перетряхнули всего, я стал совсем другим, я становлюсь добрей, чище, я буду таким, каким вы хотите, чтоб я был!

Катерина слушала не дыша, ей казалось, что и сердце остановилось в ожидании.

— Вы не можете отказать мне! Это судьба! Рок! Вам смешно, да? Несовременно звучит — судьба, рок... Но я верю, они свели нас! На том собрании... ах, как трудно было выступать в защиту вашего несправедливо обвиненного брата! Трусость шептала: не надо, наживешь неприятностей, ты здесь посторонний, молчи... Но судьба подняла меня и бросила на трибуну, и только это свело нас, только это дало мне право подойти к вам! Я хочу целовать пол, по которому вы ступаете. Я буду носить вас на руках, снимать обувь с ваших ног и молиться на вас. Да! Да! Молиться!

Она жадно слушала этот полубред. Она владела этим взрослым, диковатым человеком. В ее власти — вернуть его по-своему, сделать великодушным и справедливым...

— Останови! — вдруг крикнул Алымов и распахнул дверцу.

Взвыли тормоза.

Алымов почти вытащил Катерину из машины и бегом увлек ее по склону холма. Сбоку блеснула речка, выступили светлые перила моста...

Он не обратил внимания на темный силуэт обелиска, венчающего холм. Он ничего не знал, он понятия не имел ни о Кирилле Светове, ни о ней. Даже о ней! Он никогда и не спрашивал ее ни о чем.

— Смотрите, Катерина! Смотрите! — самоуверенно выкрикивал он, как будто он был тут своим, а она — чужая.

Катерина могла бы, закрыв глаза, перечислить все огни и огонечки, что видны отсюда ночью. Обелиск и мост считались границей между городом и поселком, до моста в хорошие вечера доходили поселковые парочки, а крутой бережок считали своим все влюбленные. Кате-

рина была здесь с Вовой дня за три до его гибели, в траве трещали сотни кузнечиков, Вова сказал:

— Самодеятельный оркестр! Знаешь, что они пиликают? Послушай: «Мы кузнецы, и дух наш молод...»

И ей тоже показалось, что она слышит «Мы кузнецы...»

Много месяцев она не вспоминала Вову так отчетливо — лицо, голос, руки. Упасть бы на холодную, как могила, землю, завывать по-бабьи...

Она споткнулась. Алымов обнял ее за плечи и повернул лицом в ту сторону, где всегда была голая степь, черная мгла без единого огонька.

И сегодня мгла была черна, но в этой мгле ясным огнем пылала торжественная свеча подземного газа, преобразованная расстоянием в обыкновенную домашнюю свечу. Она стояла посреди равнины, как на столе. Вокруг ее ровного, вытянутого вверх пламени кольхалось радужное кольцо света.

— Этого торжества я ждал два года, — как в горячке, говорил Алымов, прижимая к себе Катерину. — Я мотался, как бездомный пес, не имел ни тепла, ни покоя, дрался, спорил, шел напролом, подставлял голову под все удары. И вот он — факел моего торжества! Он мой! И вы — моя, нас свела сама судьба, это наша победа, наш святой, незабываемый праздник!

Они снова сели в машину, и он держал ее в объятиях, целовал ее склоненную голову и шептал горячечные слова, каких никто никогда не говорил ей.

Дом был темен.

Катерина нащупала над дверью проволоку, просунула ее в щель и откинула крючок. Они вошли в коридорчик, разделявший их комнаты. Катерина повернула выключатель и зажмурилась — не от света, а потому, что стало жутко и стыдно. Чужой, немолодой, непонятный человек стоял рядом, уже чем-то близкий, чем-то связанный с нею. Надо уйти, а ноги не идут.

Она заставила себя шагнуть, но в тот же миг Алымов упал на колени и прижался лицом к ее ногам.

— Дайте мне молиться на вас, Катерина. Я не могу без вас. Вы не можете оттолкнуть меня.

— Встаньте. Ну, встаньте.

Было трудно называть его, как прежде, по имени и отчеству, и неизвестно, как назвать иначе. Мягко отстранила его, бросилась в свою комнату. Остановилась у

пустой детской кровати, подержалась за холодные прутья. Прислушалась — за стеной тяжело, с присвистом дышит мать. А в коридорчике — тишина. Светлая полоска под дверью исчезла.

Сердце билось гулко, сильными толчками.

Не зажигая света, проскользнула на кухню, долго умывалась, прижимая мокрые ладони к щекам, к глазам. Вернулась. Постояла у двери, пугаясь того, что сейчас сделает, но зная, что изменить уже ничего не может.

— Катерина, я жду вас, — совсем тихо позвал Алымов.

Наверное, он тоже стоял у двери, их разделял узкий коридорчик, три шага.

В доме было тихо и темно.

— Катерина, я жду вас.

Она рывком распахнула дверь, вытянула руку, как слепая, и сделала эти три шага.

8

...Я совсем не один. Почему мне представлялось, что я тут буду совсем один? Вот чепуха-то! Уже полгода... да, шесть месяцев и четыре дня я в Москве — и сколько нашлось сторонников!

Саша размахисто шагал по улице Горького, шурясь от вечернего солнца. На всех углах торговали цветами — с лотков, из корзин и прямо с рук. И все продавщицы нацеливались на Сашу:

— Молодой человек, купите цветочков!

— Молодой человек, букет для барышни!

Вид у него такой счастливый, что ли?

Купил охапку осенних астр. Половину — Любушке, половину возьмем в гостиницу — Катерине. Хорошо, что Алымов привез ее. Если они поженятся, у Любы будет в Москве подруга. Но главная радость нынешнего вечера не в Катерине, а в Пальке и Липатушке. Люба говорит: когда приезжает один из дружков, я знаю по тебе — ты становишься благодостный.

На этот раз в Москве оба друга. Четыре дня виделись с утра до вечера, а поговорить толком не пришлось. Первое всесоюзное совещание по подземной газификации угля — это была идея Саши, он его готовил, он его проводил. Собрались не только инженеры опытных стан-

ций, но и много научных работников. Саша все эти месяцы привлекал к решению отдельных проблем то один, то другой научно-исследовательский институт, а к совещанию подсчитал и удивился — сколько разных людей уже втянуто! Собственный НИИ Углегаза еще слабоват: денег в общелк, штаты крохотные, помещения нет — лаборатории разбросаны по всему городу и оснащены случайными, устаревшими приборами. В своем НИИ Саша чувствовал себя не директором и не научным руководителем, а борцом, добытчиком, таранной силой для разрешения преград.

Это его не смущало, усталости он не чувствовал — что бы ни было, дело растет, развивается. Полгода он терпеливо налаживал опытные работы, осторожно, стараясь не задевать самолюбий, подталкивал работников других станций к объединению усилий, от разочарований и апатии после неудач незаметно приводил их к сознанию причастности к общему большому труду.

И вот — первые итоги.

Совещание признало метод донецкой станции (его теперь называли бесшахтным методом) основой для всех дальнейших разработок. Палька Светов — молодчага! — сделал блестящий доклад о полугодовой работе станции № 3. Когда он сообщил, что началась прокладка газопровода под котел Азотно-тукового завода, академик Лахтин зааплодировал — и весь зал подхватил. И еще раз аплодировали все, когда Палька сказал, что пора испытать бесшахтный метод в разных условиях — на горизонтальных и наклонных пластах, на каменных и бурых углях. Саша видел, что и Катенин, и Вадецкий, и Граб хлопают в ладоши — не очень увлеченно, но все же...

Это был успех. Однако ощущение счастья вызывалось не только успехом, и Саша по своей привычке анализировать и все уяснять до конца добирался до глубинных причин.

Мучительный 1937 год остался позади. Последний Пленум ЦК осудил перегибы минувшего года. Саша верил, что с этим покончено, что все станет на свои места. От этого легче дышится, веселее работается. Вторая пятилетка выполнена досрочно — в четыре года три месяца. Началась третья пятилетка — рост по всем отраслям хозяйства, захватывающие перспективы! Снова главный тонус жизни — созидание.

Вспоминая, какую борьбу они выдержали, Саша понимал, что порой они все — энтузиасты подземной газификации — висели на волоске, что они трудились и побеждали *вопреки* обстановке, которая вокруг них сложилась. Дело Пальки. Дело Маркуши. Арест Стадника, потом Чубака. Любая ошибка, любая заминка — и тебя берут на подозрение: не враг ли ты?.. А мы стискивали зубы — и работали, работали. Все преодолели — и победили. Теперь наши усилия вливаются в русло общего развития и нарастающей энергии творчества. Тогда — захлестывало, вот-вот потопит. Теперь — будто подхватывает и поднимает на доброй волне.

Но почему не возвращается Стадник? Почему нет Чубака?

Может ли быть, что они... Нет, не может быть. Ну, Стадника знал меньше, ручаться трудно. Хотя... есть же такие человеческие черты и проявления, которые не обманывают! Но уж насчет нашего Чубака!.. Да спроси кого хочешь в Донецке — на глазах вырос, на глазах жил и работал. До сих пор оговариваются — чубаковский парк, чубаковские дома...

Нет, они вернутся! Там пересмотрят ошибочные дела, разберутся, вернут их. Говорят, Чубака обвинили в поддержке Маркуши. Но Маркуша-то восстановлен! Конечно, они вернутся!..

Так думал Саша, вольно шагая вверх по улице Горького и размахивая связкой астр, как свежим веником. Затем его мысли вернулись к закончившемуся только что совещанию, потому что именно там он осознал что-то новое в самом себе — и это новое радовало.

Липатушка вчера сказал: ты, Сашок, всегда был — голова, а теперь вылупился из скорлупы — деятель!

Да, председательствовал замнаркома Клинский попеременно с Бурминым, суетился Олесов, но фактически всем ходом совещания руководил Саша и чувствовал, что это у него получается, что его покинула мальчишеская робость перед авторитетами, что он порой умеет подсказать авторитетам тему выступления или убедить их взять на разработку ту или иную проблему... Но главное — он научился мыслить шире и государственней, чем прежде.

Вылупился из скорлупы? Что ж, пожалуй, мы были несколько замкнуты в своей скорлупе. Наш метод, наша станция. Мы как рассуждали? Придумали, испытали — значит, давай внедряй, кто медлит — тот бюрократ, ни-

чего не понимает. Конечно, их немало, бюрократов. И непонимающих тоже. Но есть попросту трезвые руководители, вроде Бурмина, умеющие охватить целое — народное хозяйство. Да еще в его развитии и преобразовании. Да еще с учетом многообразных потребностей страны. Да еще — с учетом всех особенностей международной обстановки... Конечно, мы жели всеми событиями страны и мира — пятилетки, оборона страны, героическая борьба испанского народа, угрожающий рост фашизма в Германии и Италии... Но большие события были для нас — вне нашего дела. А теперь я ощутил государственный масштаб. Пособничество фашизму со стороны Америки или Англии, какая-нибудь воинственная речь Гитлера — и я чувствую, как это отражается на моих делах практически, повседневно: напряженнее сроки, труднее дают деньги и фондовые материалы, откладываются заказы на приборы, жестче решают наши вопросы в общем плане обеспечения страны топливом.

Люди, охватывающие целое — государство, торопиться не могут, хотя направляют самый стремительный рост, какого не знал мир. Им подавай гарантию, чтобы не было осечек и перебоев, чтобы экономическая целесообразность была доказана. И мы должны соразмерять свои планы и желания со всем этим — с государственными задачами и заботами.

Палька рассердился, услышав такое рассуждение: — Сашка, обрастаешь начальственным жирком.

Ничего начальственного во мне нет, ну его к черту! Без масштабов, координаций и учетов того и этого намного легче, в своей скорлупе — легче. Но я уже не могу и не хочу — в скорлупе...

А в общем, золотые дружки мои тут, совещание кончилось, и уж сегодня вечером никакой я не деятель и не директор НИИ, и не зам, и никто. Просто — Саша, один из трех «не разлей водой». Хорошо бы избежать большого сборища, а пойти втроем по Москве, как ходили в Донецке. Говорить о чем вздумается, захочется — подурачаться, а не захочется — помолчать, никто не обидится. Вот славно было бы!

Нет, вечер прошел не так, как мечталось Саше. А все из-за того, что у Липатушки было чересчур веселое настроение!

Используя свободный день, Липатов с утра носился по делам жены и не без обходных маневров добился того, что Аннушку перевели в Донецк старшим геологом конторы буровых работ. В наркомате он повстречал Игоря, прилетевшего в командировку из Светлограда, и попросился к Митрофановым обедать, где на радостях изрядно выпил. Выпив, захотел продолжить гульбу, но Игорь уже условился о встрече с Труниным и Александровым; Липатов потребовал, чтобы Игорь привел в гостиницу и приятелей, после чего позвонил Рачко — похвастался своим успехом и пригласил Григория Тарасовича «спрыснуть» его. Накупив на все оставшиеся деньги вина и закусок, Липатов кое-как дотащил свои покупки до гостиницы и у лифта столкнулся с Катениными — отцом и дочерью.

Липатов недолюбливал Катенина, зато дочь его нашел хорошенькой.

— Заходите вечером ко мне. Будет весело!

Всеволод Сергеевич хотел уклониться от приглашения, но Люда всего на недельку вырвалась в Москву и жаждала развлечений.

— Придем непременно, — сказала она и уточнила час.

Свалив покупки на диван, Липатов улегся вздремнуть, да и проспал сладким сном, пока его не разбудили друзья. Вслед за ними пришел Рачко, затем — Алымов с Катериной. Кроме Липатушки, все понимали, что соединять Рачко с Алымовым не стоило — они не очень-то ладили. Увидав Алымова, Григорий Тарасович помрачнел, насупился, но Липатов сразу нашел выход: пока другие наладят ужин, враскоры выпить «по первой».

Делать нечего — Саша и Палька занялись открыванием бутылок и банок, а Люба засуетилась, расставляя закуски, и украдкой шепнула Катерине, что нужно припрятать две-три бутылки водки, а то Липатушка переберет. Катерина спрятала две бутылки в ванной, но от прочих хлопот отстранилась, села за стол и оперлась подбородком на сложенные руки.

Алымов бродил по комнате, натываясь на стулья, и восторженно вспоминал разные подробности закончившегося вчера совещания. Он жил ощущением победы и не мог говорить ни о чем другом. Размахивая длинными руками над головами Липатова и Рачко, он высмеивал Вадецкого — хамелеон! А Колокольников! — можно подумать, что он никогда не ставил нам палки в колеса!

Алымов не злобствовал, он смеялся — Саша впервые услышал его громкий, почти добродушный смех. Оттого ли в нем меньше злобы и желчи, что пришла победа? Или оттого, что тут сидит Катерина? Он говорит и поглядывает на нее, смеется и поглядывает на нее, а потом подойдет и как бы невзначай положит руку на ее плечо или поправит выбившуюся из ее косы прядку.

А Катерина за последние месяцы похудела и повзрослела — ничего в ней не осталось от прежней поселковой дивчины. Движения медлительны, плавны, на губах теплится улыбка, обращенная не к людям, окружающим ее, и даже не к Алымову, а к чему-то происходящему в ней самой. Люба шепнула Саше, что Катерина польщена любовью Алымова и своим влиянием на него.

— И что ж, она — любит его?

— По-моему, да. Она какая-то... упоенная.

Да, взрослая и упоенная, до чего верное слово подыскала Люба! Видимо, этот человек и в любви неистов... Что ж, может, оно и к лучшему для обоих. Алымову обещали квартиру в новом доме. Катерина переедет к нему. А дочка? Она ведь не оставит дочку. Старикам Кузьменко — новый удар. А Катерина? Найдет ли она в Алымове отца для Светланки? Кто знает!..

Как только все уселись за стол, почувствовалось, что не стоило соединять не только Рачко с Алымовым, но и Алымова и Катерину с Палькой. Липатов запоздало понял это и решил все притушить выпивкой. Саша только пригубливал, он не любил пить, зато Палька, против обыкновения, приналег на водку. К общему удивлению, и Катерина залпом выпила рюмку, потом вторую. Алымов подсел к ней и обнял ее.

— Она у меня пьянчужка, — сказал он ласково, — только давай!

— Очень жаль, что у вас она стала пить! — с бешенством выкрикнул Палька и отодвинул от сестры рюмку. — Не дури.

— Скажи пожалуйста, учитель какой! — усмехнулась Катерина.

Она уже немного опьянела, но рука ее крепко сжала локоть Алымова — промолчи, не ссорься. Алымов промолчал, только губы побелели и задергались.

И в эту минуту ввалились еще трое гостей — Липатов не сразу сообразил, кто они такие, эти шумные молодые люди, он забыл о своем приглашении. А Палька

устремился им навстречу, ему все эти дни хотелось повидать и Трунина, и Александрова, и особенно — Игоря.

Игорь громко приветствовал его, но вдруг густо покраснел и будто загнулся у двери: он смотрел на сидевшую за столом женщину и на немолодого, некрасивого человека, обнимавшего ее. Палька оглянулся на сестру — Катерина натянуто улыбалась.

Липатов начал шумно знакомить незнакомых. Почуял ли что-то Алымов или ему хотелось похвастаться, но, пожимая руку Игорю, он сказал:

— Знакомьтесь — моя жена.

Игорь церемонно склонил голову. Жена! «У меня этого никогда не будет», — а потом, не прошло и двух лет — муж. Старый урод, плотоядный, при людях лапает...

— Да ведь они знакомы! — простодушно воскликнул Липатов и прикусил язык.

Но Люба подхватила как ни в чем не бывало:

— Конечно, знакомы. Вы приезжали к нам с отцом из экспедиции. Помнишь, Катерина?

Липатов только крикнул — до чего ловки женщины! Еще не родился тот, кто их перехитрит. Но Катерина не хотела хитрить.

— Мы и потом встречались, — сказала она. — Я рада видеть вас, Игорь Матвеевич. Я не знала, что вы в Москве.

В настроении собравшихся возникли два течения. Палька и Липатов, включив в свою компанию Трунина и Александрова, хотели веселиться — выпал такой вечер, пусть уж дым коромыслом! Второе течение образовалось вокруг Катерины — медленное, тихое, но с подводными камнями. Сама Катерина молчала, говорил Игорь. Он рассказывал о Светлострое, о лодке с подвесным мотором, которую назвал своей верной подружкой, — при этом он вызывающе посмотрел на Катерину, а Катерина опустила глаза. Алымов все заметил и начал мотаться по комнате, как маятник, что доводило Рачко до нервной дрожи.

Сашу заинтересовало, как используют молодых инженеров на стройке. Игорь ответил, что с первых дней руководит всеми изысканиями по будущему водохранилищу, а в ближайшие недели получит полную самостоятельность, он приехал в связи с одним своим предложением, если оно пройдет, его назначат...

— Сперва пусть назначат, а потом и хвастайтесь! — каркающим голосом прервал Алымов.

Игорь насмешливо улыбнулся и поднял рюмку:

— Простите, я делюсь надеждами со старыми друзьями, а не с вами. За встречу, друзья!

И он залпом выпил.

— Желаю вам удачи! — сказала Катерина и тоже выпила. И поглядела на Алымова — перестань, ну что ты злишься?

Приход Катениных на время рассеял назревавшую ссору. Люда сразу затараторила с непринужденностью хорошенькой женщины, уверенной, что новое платье ей к лицу, а любая ее болтовня — мила. Пока новых гостей усаживали и наделяли штрафными рюмками, Катерина подошла к Алымову, желая успокоить его. Никто не слышал ее тихих слов, зато все услышали грубый окрик Алымова:

— Последи за собой, а меня воспитывать хватит! Надоело!

Палька рванулся из-за стола, но Саша властно удержал его — не вмешивайся, не заводи скандала.

В наступившей тишине раздался голосок Люды:

— Константин Павлович, идите сюда, мы с вами так давно не виделись!

Она усадила Алымова рядом с собой; будто не замечая его мрачного лица и дергающихся губ, щебетала и улыбалась ему, как лучшему другу.

Катерина постояла в стороне от всех, медленно подошла к столу, собрала пустые бутылки, принесла из ванной непочатые.

Два человека следили за нею — ее брат и Игорь. Держится превосходно, но глаза померкли. Ни разу не поглядела на Алымова, но чувствуется — видит каждое его движение, слышит каждое слово. Любит?..

Расплескивая водку, Палька налил себе и ей:

— Выпьем, сестренка?

— А вот теперь уж пить ни к чему, — с трезвой усмешкой сказала Катерина и села, уткнув подбородок в стиснутые кулаки.

Люда царила за столом, кокетничая напропалую со всеми мужчинами одновременно. Катерина видела, что и Алымов оживился, а у Липатушки помасленели глазки — этот готов! Она видела, что Люда и хороша, и одета с таким столичным изяществом, какого не знала Катерина, и умеет быть веселой, занятой в компании, чего

Катерина никогда не умела. А Игорь посматривает то на Люду, то на нее, на Катерину,— сравнивает?

Игорь невольно сравнивал. Люда ему не понравилась, но рядом с Людой Катерина казалась тяжелой, провинциальной. И подумать только, что он так наивно поверил ее решимости быть «как камень», мучился, вытравливал ее из памяти и все-таки помнил ее как лучшую из женщин!.. А она — как все... Что ее толкнуло замуж за этого грубияна? В столицу захотелось? А приехала — и потускнела. Старого мужа да еще караулить приходится! Нет больше шахтерской мадонны. Жаль...

Но только он подумал это, Катерина встала и громко сказала брату:

— Не могу так долго за столом сидеть, привычки нет. У нас в Донбассе уже вторые сны видят.

С достоинством отвесила прощальный поклон и вышла из комнаты — не вышла, выплыла неторопливой поступью. Мадонна...

Алымов проводил ее испуганным взглядом и, недокончив разговора с Людой, опрокинув стул, побежал за Катериной.

— Вот оно как! — с удовольствием отметил Палька и хватил рюмку водки.

— Так! Так! — злобно выдохнул захмелевший Рачко. — А вот зачем ты допустил!.. Зачем ты ее отдал этому!.. Этому!..

Палька махнул рукой и хотел налить себе еще, но Саша отнял у него бутылку. Люба, страдая, смотрела на Сашу, — и для чего только пришли сюда? Одни неприятности...

Неприятностей не замечал, а может, не хотел замечать Липатов. Он громко требовал — петь! петь! Игорь поддержал его и попытался вспомнить песню, которую полюбил в Донецке.

— Любушка, ты же знаешь ее, запевай, — сказал Саша.

Люба запела. За ее чистым голосом было легко следовать. Когда голоса окрепли и пошли в лад, Саша наклонился к самому уху Рачко:

— Григорий Тарасович, выйди за мной в коридор.

Люде вздумалось танцевать. Не было музыки. Александров предложил танцевать под пение. Попробовали,

но толку не вышло. Вспомнили, что Липатов купил радиоприемник, тут же распаковали его, Александров и Палька наладили подобие антенны и заполнили комнату воем, свистом и грохотом своего путешествия в эфире,— как всегда у радиолюбителей, музыка, что ловилась, их не утраввала, а музыки, которой им хотелось, не было; но тем упорнее и самоотверженней они искали, не щадя своих и чужих ушей.

Катенин сидел вместе со всеми, по один. Чувствовал себя старым и никому не нужным. Зачем он здесь? Победители веселятся, победители и их друзья. А он кто? Их победа — его поражение. Он выступил на совещании с дружеским признашем «удачи на первом этапе, позволяющей надеяться...». Иначе он не мог, было бы неблагородно, мелко. Да и нет у него отступления теперь! Вернуться на старую должность? Его место уже занято. А как показаться сослуживцам, знакомым? — неудачник после провала! Но и здесь он чужой. Мордвинов сегодня предложил перейти его заместителем в НИИ. Обещал выхлопотать квартиру. Ставка неплохая, больше прежней, харьковской. Жить в Москве... Люда мечтает — папа, я буду приезжать к тебе! И Катя сказала — в Москве так интересно! Но этот парень даже не моргнул, предлагая место своего заместителя. Сколько ему — двадцать пять? Двадцать восемь? Старому, опытному инженеру... «От щедрот своих» решил пристроить неудачника!..

— Людмила, я пойду спать. А ты?

— Что ты, папка, так рано!

Закрывая за собой дверь, он с обидой понял, что никто не замечает его ухода.

В середине длинного коридора, там, где он расширялся, образуя маленькую гостиную, в двух глубоких креслах сидели Рачко и Мордвинов. Рачко навалился грудью на разделявший их столик и что-то говорил с нажимом, с энергичной жестикуляцией. Саша слушал, прикусив губу, и встретил Катенина таким мрачным взглядом, что Катенин заспешил прочь.

Люба заскучала без своего Сашеньки и вышла поискать его. Саша встретил ее тем же мрачным взглядом, обращенным сквозь нее в пространство,— смотрит в упор и не замечает.

Она медленно побрела обратно.

— И почему у вас всех возникает что-нибудь ужасно серьезное даже в часы, когда решили повеселиться? — со вздохом спросила она и подсела к Игорю. — Все — одержимые. Вы — тоже?

— Да. — Он придвинулся к ней и потребовал: — Расскажите, зачем она вышла замуж. И что это за тип.

Палька и Женя Трунин подошли к окну покурить и задержали за собой тяжелую штору — стало прохладней, тише, и как-то сразу выветрилось опыянение.

С высоты десятого этажа им открылась вытянутая в длину площадь: по площади между белыми пунктирами пешеходных троп в разных направлениях спешили люди, очень забавные в необычном ракурсе — укороченные, будто сплюснутые. Прямо напротив окна горела большая красная буква «М» — вход в метро, а вправо от нее, за витиеватыми башенками Исторического музея, в темном небе алела пятиконечная звезда — одна из пяти недавно установленных кремлевских звезд. Эта звезда так соразмерно венчала Спасскую башню, что не казалась ни большой, ни тяжелой, но и Палька, и Женя Трунин знали, что весит она около тонны, что между ее остриями три метра семьдесят пять сантиметров и что это была сложная задача — найти форму стекла, рассчитать прочность, систему освещения, смены ламп, охлаждения... Они с полным знанием дела поговорили об этом, гордясь хорошей работой незнакомых инженеров и любуясь тем, как светло и торжественно сияет звезда в московском небе.

Слева от станции метро, под старинной церквушкой и домами с узкими окошками, каких уже давным-давно не строят, тянулась старая кирпично-красная стена. Между ее тяжелыми зубцами в незапамятные времена, наверно, помещались воины с пиццалиями. Ни Палька, ни коренной москвич Трунин не знали, как называется стена, и очень смутно представляли себе, что такое пиццали, с кем и когда воевали тут их далекие предки...

Стена упиралась в гостиницу «Метрополь», возле «Метрополя» дежурили роскошные лимузины «Интуриста», а под стеной была установлена бензиновая колонка, вокруг нее кружились, подъезжая и отъезжая, разномастные автомобили. Три электрифицированные надписи то вспыхивали, то гасли высоко над площадью, призывая хранить деньги в сберкассе, пользоваться самолета-

ми Аэрофлота и лучшим видом городского транспорта — такси.

— Целая программа жизни! — сказал Трунин, щелчком отправляя за окно окурок и следя, как он летит красным огоньком. — Послушаюсь и стану чертовски благоустроенным: с полочки — прямо в сберкассу, на работу — в такси, в отпуск — самолетом.

— Много ты тогда накопишь в сберкассе!

— Я бы тут запалил совсем другие надписи: «Помни, что жизнь прекрасна!», «Влюбленные, берегите свою любовь!»

— А я бы завернул такую: «Жизнь коротка, не теряй ни минуты зря!»

— Жизнь длинная, — задумчиво сказал Трунин и сел с ногами на подоконник, подтянув колени руками, чтоб не задеть Пальку. — Если не будет войны, жить нам еще долго.

— Если учесть все, что хочется сделать?!

— А ты знаешь все, что тебе хочется сделать?

— Конечно!

— Что же?

Палька ответил, ни на минуту не задумавшись:

— Распространить подземную газификацию на все угольные месторождения. Получить хороший технологический газ, годный для замены кокса в металлургии, — без этого нельзя целиком покончить с подземным трудом.

— А замена кокса в металлургии возможна? — усомнился Трунин.

— Почему же нет? Ведь не сам кокс восстанавливает железные руды, а СО и Н₂, так? Окись углерода и водород извлекаются из кокса, превращаемого в газ. Эти компоненты газа забирают кислород из руды, освобождая железо. Так почему бы не подавать в доменные готовый газ нужного состава? Мы на днях начнем опыты получения технологического газа.

— Счастливый ты человек!

— Ага! Но почему ты подумал об этом?

— Я вот не знаю, чего хочу — на всю-то жизнь! И очень боюсь ошибиться.

Помолчав, Трунин проронил еле слышно:

— Я сегодня поругался со стариком... ну, с Русаковским.

Сердце Пальки замерло на миг — так оно отзывалось на эту фамилию.

— Из-за чего? — спросил Палька, удерживая другой вопрос.

— Да все из-за того — что делать. Чтоб не ошибиться.

Трунин не объяснил подробнее, задумался. Ответы реклам пробегали по его пухлому лицу. Палька не удержал вопроса:

— Как они... как Татьяна Николаевна?

— Превосходно, — равнодушно ответил Трунин.

— Мальчишники бывают по-прежнему?

— Мальчишники? — рассеянно переспросил Трунин. — А, мальчишники! Те — иногда. А наши... Пони-маешь, мы ведь все-таки склонили старика на свою сторону. ОРАТ — помнишь? Олег Русаковский, Александр, Трунин. Старик долго сопротивлялся. Не хотел ввязываться в промышленность, в практические дела. Есть у него этакая олимпийская недоступность! Ну, втянули. Даже не мы. Сама обстановка — пятилетки, оборона страны, Гитлер. Что такое алюминий для авиации, да и не только для авиации, понятно. А наш метод — огромное увеличение и ускорение производства алюминия. Он это понял. И до чего же мы славно работали! Каждый вечер, вчетвером, иногда до ночи...

— Вчетвером?

— Да, с Татьяной Николаевной. Мы ее прозвали богиней вдохновения — не без подхалимства, конечно. Она здорово помогала. Чертежник, регистратор, библиограф. И ночью такие ужины закатывала!

— Что же, заинтересовалась алюминием? — натужным голосом спросил Палька.

— Да нет! Когда мы закончили, она сказала: придумайте еще что-нибудь, Иленок, что вам стоит!

— С алюминием — Илька придумал?

— Он. Такая уж у него голова. Русаковский говорит: чудесный сплав сосредоточенности и непостоянства. Хорошо сказано?

За тяжелой шторой нашли наконец танцевальную музыку, зашаркали подошвами. Ночной холод приник к щекам, сочился за воротники рубашек.

— Ты мне скажи, Павел. Вот ты — был аспирантом. Наука, теория и все такое. Не жалеешь ты, что ушел от всего этого в свою газификацию?

— Это ж мое! Как я могу жалеть! И потом — тут и наука, и техника, и все вместе.

Лицо Трунина было до странности серьезно.

— Зовут меня на внедрение нашего проекта. Главным инженером. Полгода продвигали свою идею, дрались, теперь — осуществлять! Это ж такое дело! А старику кажется — измена науке, разбрасываетесь, нет настоящей целеустремленности.

— А тебе хочется пойти?

— Очень.

— Что ж ты, не можешь уйти без его согласия?

Трунин покачал головой и надолго умолк. За шторой кончили танцевать, Липатов и Игорь что-то напевали — нестройно, хрипло. У самой шторы зазвучали два голоса, мужской и женский. Женский принадлежал дочке Катенька, в мужском Палька с удивлением узнал Алымова. Значит, Алымов вернулся?

— Мне так хотелось увидеть! — сказала Люда.

— Представьте себе — ночь. Южная черная ночь — и в темноте сверкающий голубой факел! Все голубое, как при луне. Только лучше, потому что сделано человеком! Вы понимаете?

Так говорил Алымов, и Палька слушал его возбужденный рассказ, как собственный, только более связный и поэтичный, у самого Пальки так не получилось бы. За эти слова, за это волнение он разом простил Алымову все прошлые и будущие грехи.

— В университете я учился средне, — заговорил Трунин, — чуть не бросил, хотел ехать в Арктику. А потом — Русаковский. Учитель с большой буквы. Я ему обязан всем, что во мне есть. И обидеть его... Однако холодно. Выпить, что ли?

Палька придержал Трунина за локоть. Ему было страшно важно понять:

— Значит, Русаковский — действительно большой человек?

Трунин удивленно вскинул брови, отчего лицо его стало еще более круглым. Ответил не он, а Илька Александров, проскользнувший к ним под штору.

— А кто сомневается? Только он у нас Рыцарь Железная Рука. — И без перехода спросил: — Что такое камча?

Ни Палька, ни Женя Трунин не знали, что такое камча. Технический термин какой-нибудь?

— Узколобые ученые крысы — вот вы кто! Послушайте!

Давайте бросим пеший быт,
Пусть быт копытами звенит,
И, как на утре наших дней,
Давайте сядем на коней.

— Та-та-та-та-та та та-та-ми... Тут забыл... и —

Проверив, крепки ль стремяна,
Взмахнем камчой над конским глазом —
В полет скакун сорвется разом.
И ну чесать то вверх, то вниз...

— Так это термин конных кочевников, какая разница, — сказал Трунин, зевая. — Ты собираешься заняться конным спортом? Записался в манеж?

— Жалкий, приземленный толстяк! Ты не способен понять ничего, что не химия и не техника. Я читаю для Павла, понял?

В камнях, над гривой не дыша,
Прошепчешь: «Ну, прощай, душа!»
И — нет кампей, лишь плеск в ушах,
Как птичья плески в камышах.
А ты забыл, что хмур и сед
И что тебе не двадцать лет,
Что ты писал когда-то книги,
Что были годы, как вериги,
Заботы, женщины, дела. —
Ты помнишь только удила,
Коня намыленного бок,
И комья глины из-под ног,
И снежных высей бахрому
Навстречу лету твоему.

— Это не Багрицкий, — убежденно сказал Трунин. — Кто твой новый бог?

— Тихонов, — ответил Александров и перевесился через подоконник. — Смотрите, ребята, топают лысый без шляпы. В университете, когда шел дождь, мы вспоминали сорок лысых. Всех профессоров переберем — но почему-то натягивали только тридцать девять. И дождь не переставал.

Палька усмехнулся, досадуя про себя. Рядом с этим парнем, похожим то на фабзайчонка, то на мыслителя, он всегда чувствовал себя причастным к новому для него, высокоинтеллектуальному миру и ждал откровений — будь то научные догадки или, как на этот раз, стихи. То, что прочел Александров, взволновало его. Собственная жизнь обрела образ, отлетали в прошлое.

«заботы, женщины, дела» — оставалось захватывающее чувство движения... И вдруг — сорок лысин! Как он может?

— А что, ребята, если мы вовсе не на главном направлении? — вдруг сказал Александров, откидывая волосы со лба. — Алюминий, газификация угля или нефти... А может быть, наш век будет веком совсем новых металлов и сплавов? Веком энергии расщепленного атома?

— Чего, чего?

— Какой еще энергии?..

— Расщепленного атома. Теоретически это возможно. И вот я думаю — вдруг все, над чем мы бьемся, — детство совсем новой эры?

— Ну тебя к черту! — проворчал Трунин. — Новая эра не приходит сама, она рождается из того, что сделано. Без химии никуда не скакнешь даже на твоём скакуне, который с камчой. Ты сам-то знаешь, что такое камча?

— Думал поглядеть в словарь — да бог с ним! Мне нравится это слово. Кам-ча. Мы не знаем кучи чудесных вещей.

Палька уже не слушал. Голова его окончательно протрезвела. Может ли быть, что какой-то стремительный рывок науки откроет новую энергию, которая сбросит со счетов человечества энергию, рождаемую углем и газом?

— Ничего подобного! — с горячностью заявил он. — Уголь не будут сжигать в топках, это уж точно, это — вчерашний день. Но только потому, что мы извлечем его в виде газа. А без производных угля ты в химии не обойдёшься, какие ни делай сплавы.

— Павел — самый счастливый парень из всех, какие мне попадались, — сказал Трунин. — Это и Татьяна Николаевна говорила нам, помнишь, Илька?

— Что говорила?

Удивительно, от этого имени до сих пор бросало в жар.

Ответил Александров:

— Говорила, что ты счастливый, потому что веришь, мечтаешь и осуществляешь.

Трунин соскочил с подоконника.

— Как вспомню, что вдрызг поругался с ним!..

Он раздвинул штору.

— Дождались! Одни пустые бутылки!

Перебрав бутылки, он нашел на дне одной из них немного вина. Палька разлил поровну, с отвращением выпил. Она все поняла. И сказала, что он счастливый. Это хорошо, что она не воображает, будто он ходит несчастным...

Ему стало грустно и захотелось остаться одному, лечь и немедленно уснуть, уснуть, пока не полезли в голову ненужные мысли. Липатушка привалился к углу дивана и похрапывает. Алымов продолжает обольщать красотку пылкими речами. Спит Катерина — или ждет его? А Саши нет. И Рачко смылся. И вообще пора разбежаться кто куда... Неужели может быть, что наука, открыв какую-то новую энергию, просто перечеркнет уголь и нефть как не нужные? И человечество оставит несметные богатства лежать в недрах без движения? Нет, вздор, вздор, вздор! Чем дальше идет прогресс, тем стремительней растет потребность в энергии. Будут расти скорости, температуры, а это все — топливо, энергия. Богатства недр будут использоваться все полнее и целесообразней. Газификация — одна из этих целесообразных форм. И я счастливый. Да! Верю, мечтаю и осуществляю. Скажи пожалуйста, какая догадливая!..

Дверь распахнулась от толчка, грохнув ручкой об стену.

На пороге остановился Саша. Бледный до синевы.

— Сашенька, ты что? Тебе нехорошо?

Саша отстранил Любу и пошел к Пальке, по пути обходя Алымова так, как обходят колючую проволоку.

— Уже поздно! — громко сказал он, досадуя, что здесь столько посторонних, ненужных ему людей. — Палька, ты...

Он не закончил. Палька стоял перед ним взъерошенный, галстук набоку, улыбка пьяненькая. Сказать ему — такому? Отложить на завтра? Саша представил себе, как он завтра расскажет, и Палька разъярится, и что из этого может выйти — для него самого, для дела, для Катерины, для всех...

— ...ты не забыл, что нам с утра в наркомат? — после паузы закончил Саша и повернулся к гостям. — По домам, товарищи, по домам. Пора и честь знать!

Это было невежливо. Гости потянулись к вешалке. Люда кокетничала в дверях, не торопясь уходить. Алымов ждал ее за дверью.

— Мы вас проводим, Людмила Всеволодовна, — заявил Палька, делая вид, что не замечает Алымова. — Игорь, пойдем, сдадим дочку папе.

— Чудесно! До свидания, Константин Павлович! — со смехом сказала Люда и взяла под ручку своих провожатых.

Алымов глядел им вслед, прикуривая одну папиросу от другой.

Александров и Трунин одевались, с удивлением поглядывая на Сашу Мордвинова. Что это с ним? И Люба остолбенела — никогда еще не был Саша вот таким: споткнулся о стул, поддал ногой бутылку, опрокинул рюмку. Невверными шагами пошел к двери, заплетающимся голосом позвал:

— Кош... Константин... Павлович... на минутку!

И когда Алымов шагнул через порог, пьяно выкрикнул:

— Обижать Катерину!.. Не позволю!

И с размаху ударил Алымова по щеке.

Лицо Алымова задергалось, как в припадке. Он поднял побелевшие от напряжения кулаки. Но кулаки опустились, не ударив.

— Не обижал... и не могу... обидеть, — еле слышно произнес Алымов и почти побежал по коридору — к Катерине.

— Что же это, Сашенька! — повиснув на руке мужа, бормотала Люба. — Он ведь ничего плохого... Разве ж так можно!

Трунин вбивал ноги в галоши, ни на кого не глядя, ему было противно — подрались, как в кабаке. Но Илька Александров как ни в чем не бывало подошел к Саше, понятливо заглянул в глаза и спросил с искренней заинтересованностью:

— Что, действительно стоило дать ему?

И встретил ясный, совершенно трезвый взгляд и доверительный ответ:

— Просто необходимо было!

Когда Саша вызвал Григория Тарасовича в коридор, тот был настолько хмелен, что Саша заколебался — стоит ли сейчас поднимать разговор. Но ждать он уже не мог.

— Выкладывайте напрямки — что вы имеете против Алымова?

Рачко отшатнулся.

— Э, нет! О ком другом — об этом не буду.

Они помолчали. Саша наблюдал, как Григорий Тарасович быстро трезвеет. Вот блеснули глаза. Вот в раздумье сошлись к переносице брови... Торопить его не нужно.

— Верю я тебе, Саша, — после раздумья сказал Григорий Тарасович и вдруг с силой дернул себя за растрепанные, пронизанные сединой волосы. — Трус я! Жизнь прожил как надо, фронты прошел — не трусил, а теперь...

Он долго молчал, потом спросил:

— Знаешь, зачем он тогда к вам на партактив помчался? Думаешь, отстаивать Светова? Спасать вас от разгрома?

— Но он именно это и сделал.

— Знаю. Но ехал он — топить вас. Да, да! Топить! Из партии исключать, капитал на этом наживать!

— Но тогда зачем же...

— А он человек бешеный, импульсивный. Ясной цели у него нет, если не считать одной, которая от честолюбия, от желания во что бы то ни стало добиться успеха, славы, власти. Ставил он ставку на Катенина — не вышло. Перекинулся на Вадецкого — Колокольникова, думал — эти вытянут! А вы ему были как бельмо в глазу. Помчался он на расправу с вами, перед отъездом ко мне заскочил: вот, мол, твои подшефные каковы, с трюккистами пугаются, Светов уже разоблачен, другим тоже не долго осталось! А в Донецке понюхал-понюхал — нет, что-то не то. Есть у вас такой дядька, Чубак фамилия?

Саша кивнул.

— К нему забежал, проинформировался. Получилось — вроде и не потопят, и в успех верят. А на собрании сидел, слушал... Ну вот как хочешь — нюхом своим собачьим учуял, что к вам примазаться стоит! А уж раз ставка поставлена — ну, тут он землю роет! Темперамент, демагогия, напористость — этого у него не отнимешь.

Саша взвесил мысленно: ладно, честолюбив, о карьере своей заботится — но дело-то он делает!

— А пусть его мечтает о славе, — добродушно сказал он. — Мы тоже от славы не откажемся, а поделиться можем.

— Да, да, конечно,— забормотал Рачко, то ли снова пьянея, то ли притворяясь пьяным; именно в эту минуту, наблюдая Григория Тарасовича, Саша впервые подумал, что бывает выгодно показаться пьяным. Рачко не высказал главного. Бойтся?

— Григорий Тарасович! Или вы мне доверлете, или кончим разговор.

— Какой скорый! Если хочешь знать, я тебе сперва тоже не доверял. Вот когда ты сюда начальством приехал.

— Почему?

— Посчитал, что ты разменный козырь в руках Алымова.

— Не понимаю.

— А ты многого не понимаешь. Думал ты, отчего... со Стадником такое случилось? — Рачко понизил голос до шепота: — Стадник понимал Алымова — ну, насквозь, как рентгеном просвечивал. И Алымов это знал. Пока Стадник над ним сидел, Алымову ходу не было. А есть такой способ — доносы, намеки, убийственная реплика в подходящий момент... и еще доносик, и еще. Ну — вся гамма подлости! Понимаешь, Саша, вся! И нет Стадника.

Глотнув воздуха, Рачко продолжал еще тише:

— По роду службы имею соприкосновение со всякой перепиской. Так вот, кое-что видел сам. Этими глазами читал, этими руками держал. И на Стадника, и на Олесова, и на Бурмина... Но с Бурминым ему не удалось, у Бурмина заручка большая и характер не тот. Бурмин сам придавить может. Алымов с Бурминым — коса на камень. Бурмин, видимо, знает, что Алымов на него капал, да только разделаться с ним не может...

— Почему?

— Если Алымова тронуть — он такое развернет со своим бешеным темпераментом, что и заручка не поможет. Знаешь, один донос — могут не поверить, а сто доносов в разные места...

В эту минуту мимо них прошел Катенин. Саша видел его как сквозь туман, — он ослеп от гнева и отвращения.

— Также — бывший разменный козырь! — усмехнулся Рачко. — Прикрываясь Катениным, Алымов пер прямо в директора. Случись у Катенина удача — как по маслу прошел бы. Если б не Бурмин, он давно свалил бы

Олесова. Когда тебя назначили, Олесов так и понял: Алымов подтягивает своих.

— А я все думал — почему Олесов так сухо встретил.

— Олесов — мужик превосходный, да слаб стал. Возраст, ранения, сердце. И — дружба со Стадником... О ней знают. Уже тягали его, и так при случае кольнут... Вот и скис.

Теперь в коридоре мелькнула Люба. Она уже скрылась, когда Саша осознал, что только что видел ее, и тепло надежного, своего счастья на минуту согрело его — сейчас это счастье расширилось необычайно, оно включало не только любовь, но и верных друзей, и здоровую чистоту среды, взрастившей их, и весь большой, желанный мир, в котором существовали творчество, труд, общие цели и мечты, бескорыстие, честность и честь — и не могли существовать Алымовы.

— А Катерина!..

— Похоже, женщина она замечательная?

— Как змея вполз!

— А между прочим — любит он ее.

— К черту такую любовь! Задушить его хочется! Или дать в морду хотя бы!

— А потом что?

— А потом скажу — так и так. Чтоб все знали.

Григорий Тарасович поник в кресле. Глаза прикрыты, дышит тяжело. Хмель скрутил? Или — тоска?

— Вот я сказал тебе — трусом стал, — проговорил он, не открывая глаз. — Неправда! Не трус я и не размазня. Сто раз казнил, сто раз решался... Да что сделаешь-то?! Вот я читал эти его... документы. «Считаю своим партийным долгом сигнализировать о том, что...» Ночью вскочу — душит! Пойти, крикнуть людям — берегитесь, клеветник! А как идти?.. Стадник-то — в тюрьме! Выслушают меня, скажут: позвольте, какая ж это клевета? Разоблачил врага народа! Выполнил долг!.. Вот и молчу, здороваюсь с ним за руку, если не удается избежать рукопожатия, за одним столом сижу... У-у-у!

— Не могу я так. Не буду!

Рачко открыл глаза — печальные, ласковые, умные:

— Держаться надо, Саша. Не давать сволочи избивать нас поодиночке. Кто же дело-то поведет? Алымовы? Колокольниковы? Это ж — наросты. Поганые грибы. А есть народ, есть большевики — не для карьеры своей большевики, а для коммунизма на земле. Держаться!

И знамя свое... Знаешь, нес я как-то знамя. Не в бою, просто на демонстрации Седьмого ноября. Вручили мне, обещали смену — и забыли. Холодище, а я без перчаток. Ветер как-то сбоку бьет, ну — валит с ног и знамя валит. А я несу. Мыслишка вертится — свернуть бы знамя, чтобы не парусило. А вот — не могу, что ты скажешь, не могу свернуть его! Не кусок бархата на древке — знамя!.. Так кто же его понесет, Саша, кроме честных большевиков? Кто?

— Это я понимаю. Но ведь под этим знаменем не имеет права болтаться... накипь. И должны стоять такие люди, как Стадник, как Чубаков. Вот вы спросили — есть ли у нас такой Чубак. А он... был! Нету! Почему?!

— Не знаю, Саша.

— Вот тридцать седьмой год... Враги — это понятно. Классовая борьба, засылка шпионов, подготовка к войне. Его агентуру надо выловить. Понимаю. Но вот — свои? Те, кого — зря?

— Знаешь, Александр Васильевич, тут или с ума сойти, или — не ломать голову над тем, что ты ни знать, ни решить не можешь.

Рачко встал, крепко сжал Сашины руки.

— Я пойду. А ты, Саша... Ну-ка, постой на месте и сосчитай до двухсот. Почувствуешь, что мало, — до трехсот. А потом иди и не делай глупостей.

В тот самый вечер, когда Саша, притворившись пьяным, дал пощечину Алымову, в пересыльной тюрьме по пути на север встретились Стадник и Чубаков.

На маленьком, будто сжавшемся в комок лице Стадника еще пронзительней сияли глаза-фары. На минуту эти глаза заволокло слезами — но только на минуту. Обняв давнего друга и выученика, Стадник сказал прежним, напористым голосом:

— Лучшие люди встречаются на одном маршруте!

И обшарил Чубака зорким взглядом. Все тот же! Только залегли по краям губ резкие морщины да на ежике стриженных волос поблескивают седины. Но широкие плечи развернуты, как всегда, держится прямо, губы по-прежнему улыбочивы.

— С кем ты тут? Знакомцы есть?

— Как не быть, — усмехнулся Чубак. — Помнишь Гаевого? Бюрократ такой из облизполкома, враждовал

я с ним из-за смет... Так вот Гаевой. И Суровцев с нами, ты должен знать его — старый чекист. Такой длинный. И еще Мятлев, крестничек мой, директор химзавода, которого мы вечно прорабатывали за самостоятельность. Как видишь, общество что надо! А с тобой?

— Со мной Зыбин из нашего наркомата. Знаешь? Недавно попал, прямо с вокзала, из-за границы возвращался. До сих пор не опомнился. Первое время все охал, что у него путевка в Кисловодск, — понимаешь, путевка с первого октября пропадает! А парень славный. Еще Василь Васильич, был у нас консультантом, ученый-экономист. А так — всякого народу много, и всё люди.

— Тебе сколько припаяли?

— Десять. А тебе?

— Десять. Лет.

Чубаков как бы точкой отделил одно слово от другого. Взгляды встретились и подтвердили — лет. И лета представились обним во всей их протяженности — триста шестьдесят пять умножить на десять плюс три високосных — итого три тысячи шестьсот пятьдесят три дня.

Стадник прикинул эти десять к своим годам — мне будет пятьдесят четыре... если выживу.

Чубаков тоже прикинул — мне будет сорок два. Без «если». Он верил, что все перенесет и — вернется. Да не через десять лет — раньше. Но и один год, даже один месяц казались ему чудовищной растратой жизненной энергии. С этим нельзя освоиться. С этим не надо смиряться!

Ночью, когда тюрьма затихла и только храп нарушал тишину, они кое-как собрались вместе — на тесных нарах, голова к голове, — семь знакомцев, семь товарищей по беде, семь коммунистов.

Подтянутый, даже здесь сохраняющий осанку и аккуратность, экономист Василь Васильич криво усмехнулся:

— Совещание партийного актива.

— Да! — воскликнул Чубак и, снизив голос, подтвердил: — Да! Если хотите, именно этого нам не хватает!

— Ох, перестань! — взмолился Гаевой.

— Видали? — насмешливо вздохнул Чубак. — Ну словно приговорили меня к нему — там житья не давал, и здесь — на тебе, Гаевой!

С тех пор как они встретились на этапе, два давних недруга, — оба почувствовали, что все их разногласия и споры — только штрихи бесконечно милой жизни, и отраднo, что можно повспоминать о них, а иногда заспо-

рить вновь: своевременно или еще не по карману освещать улицы всю ночь, как будто и теперь это зависело от них. Они прибились друг к другу, как два земляка, и полюбили друг друга — Чубак подозревал, что он и раньше любил Гаевого, хотя считал, что терпеть его не может: Гаевой был для него той противоположностью, которая помогает отшлифовать собственный характер. В их прежней жизни Гаевой был сановит, неповоротлив, с раздражением оборонялся от делового темперамента Чубака и был до крайности скуп, — к его чести, скуп в трате государственных денег, а личные щедро расходовал на обильную пищу и прочие блага. Теперь его солидное брюшко обвисло, вместо трех розовых подбородков под неряшливой щетиной морщилась дряблая кожа. Поначалу он совершенно пал духом. Чубак встряхнул его и уже не отпускал.

— Ну что ты, дурной? — сказал он и силой поднял голову товарища. — Нас во враги записали, но мы-то какие были, такие и есть! Или не так?

Никто не ответил. В полумраке белели лица, слышалось взволнованное дыхание. Лишенные всего, что им было дорого и привычно, в тягостных, унижительных условиях, в которых так легко потерять человеческий облик и человеческое сознание, эти люди ощутили себя по-прежнему коммунистами, членами великой организации, связанными даже здесь той же ответственностью, теми же законами самоконтроля и дисциплины. Казалось бы, нелепо, дико до смешного... Но никому из семи это уже не казалось нелепым и смешным, хотя и диковатым, — но ведь и все, что с ними произошло, было дико!

— Расскажи-ка, Виктор, что на свете делается, — попросил Стадник.

Зыбину все еще казалось, что происшедшее с ним — дурной сон, вот-вот развеется. Опытный пропагандист, он сам делал доклады о ликвидации вражеской агентуры и притаившихся двурушников, сам не раз ахал, какие видные люди разоблачены, — и, пожалуй, только в двух-трех случаях, когда речь шла о хорошо знакомых, сомневался: да враги ли они, может — ошибка? В первое время он парохался от других заключенных, не желая смешиваться со всякой дрянью. Потом он встретился с Василь Васильевичем, потом со Стадником... Теперь он был сбит с толку, измучен недоуменными мыслями, растерян.

— Рассказать — о чем? — вяло откликнулся он.

— Да обо всем! — воскликнул Чубак. — Что в стране делается. Чем люди живы. С пятилеткой как? В Москве что?

Зыбин несколько минут молчал, вглядываясь в лица товарищей. Да так ли? Действительно ли они хотят именно такого рассказа?.. О том, как началась третья пятилетка, и о том, как выглядят рубиновые звезды, установленные на башнях Кремля, и как Шукин у вахтанговцев великолепно сыграл Ленина в «Человеке с ружьем», и что по последним подсчетам четыре пятых всей промышленной продукции страны дают заводы и фабрики, построенные за годы двух пятилеток, а на полях работает около пятисот тысяч тракторов?..

Он начал неуверенно, боясь, что кто-нибудь из слушателей, хотя бы Гаевой, со стоном воскликнет: «Да нам-то теперь что за радость!» Но именно Гаевой вдруг оживился:

— Да ну? На всех башнях? И что же, большие эти звезды? Видны издалека? И как они освещаются — изнутри?

Постепенно Зыбин увлекся, и его горячий шепот слушали жадно и задавали все новые и новые вопросы. Мрачная камера перестала существовать, семь советских людей, семь коммунистов жили трудами и думами Родины.

— Пятьсот тысяч тракторов... — мечтательно повторил Суровцев. — А ведь я слушал Ленина, когда он говорил о ста тысячах тракторов как о мечте, пока недостижимой!.. Как далеко мы ушли!.. Ну а с колхозами как?

Бывший комиссар, а затем чекист из соратников Дзержинского, он был арестован раньше других — и теперь поторапливал Зыбина, задавал уточняющие вопросы и сердился, если Зыбин не умел ответить. Можно было уловить, что он со страстью проверяет, прощупывает — все ли там, на воле, в порядке, а если что-то не ладится — те ли меры принимаются, какие нужны. Мятлев, сатанея от досады и гнева, бессознательно искал подтверждений, что без них все стало трудней. А Суровцев, похоже, даже удовлетворение испытывал оттого, что жизнь страны и без них не остановилась, идет на подъем.

Японская провокация на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан, взбудоражила его.

— Чувствуете, товарищи? Разведка боем! К войне это. Ну а в Европе что? Гитлер, Муссолини что?

Зыбин пробыл две недели в Париже. Как там?

— Марианна прикрыла глаза, чтоб не видеть страшного. Ни фашизма, ни надвигающейся войны, ни позора «невмешательства». Кажется, так и живут с закрытыми глазами.

Суровцева не устраивали общие оценки, он хотел фактов. Это правда, что Чемберлен и Даладьё ездили в Мюнхен на свидание с Гитлером и Муссолини? А что французские коммунисты? Народный фронт? А как дела в Испании?

— Разгромили республиканцев...

Долго подавленно молчали. Каждый из них и все вместе, советский народ, много месяцев жили тревогами, надеждами и страданиями героического народа Испании. Победы республиканцев были их победами, поражения — их поражениями и болью.

Чубак вспомнил, как осаждали горком юноши и девушки, мечтавшие сражаться за свободу Испании, как восхищались пламенной Долорес Ибаррури, как пели испанские песни...

— Теперь фашизм ринется дальше, — жестко определил Суровцев. — Ну а в Германии не были?

Как ни странно, Зыбин растроганно улыбнулся:

— Шли мы обратно Кильским каналом. Идем под советским флагом, с берегов на нас глаза пялят. И вот проходим мимо судна какого-то немецкого. Матросы смотрят. И вдруг один люк приоткрывается и оттуда выглядывает такой чумазый парень, кочегар, наверно, — оглянулся и быстро вскинул кулак над головой: «Рот фронт!» И сразу захлопнул люк...

Улыбка сбежала с лица Зыбина:

— А уж их фашистские молодчики!.. Стоят — молодые, наглые. Дать бы им волю, они бы наш красный флаг в клочья изорвали, по мордам видно. Пусти таких молодчиков действовать — натворят дел!..

— А они готовятся...

— Я однажды поймал речь Гитлера, — заговорил Мятлев, — по-немецки я немного кумекаю, кое-что понял. Кликушество, конечно, но, между прочим, опасное, зажигательное. Для самых низменных чувств. Он орет, а

слушатели его так вопят и топают, аж радио дребезжит! Ну, послушал я, выключил с отвращением и сел работать. Доклад на хозактиве готовил. Конечно, взялся за Сталина — речь перед хозяйственниками, «Шесть условий». И так я его оценил! Спокойно, продуманно...

Мятлев говорил — и вдруг недоуменно смолк. И шесть человек, дышавших рядом с ним так напряженно, что он чувствовал на лице их дыхание, — подумали об одном и том же...

— Умирать буду — не пойму! — простонал Гаевой. — В голове не укладывается! Почему? Для чего? Как это — с нами-то!..

— Тишшш!..

И все покосились на дверной глазок.

Кто-то из окружающих вскрикнул во сне. Люди спали тяжело, ища забвения, но и во сне к ним приходила их беда.

— Если бы понять, легче было бы, а то я и на воле извелся, — зашептал Чубак. — Вижу — своих бьем. Стараюсь спасти то одного, то другого... Кручусь, путаюсь... Вот ты, Мятлев, говоришь — «спокойно, продуманно»... Я его речь «О мерах ликвидации двурушников» сто раз перечитывал — не находил подтверждения в жизни! Бешеное обострение классовой борьбы внутри страны, враги с партбилетами... Где? — Он горько усмехнулся. — А это, оказывается, мы. Мы, которых партия годы и годы учила работать, мыслить, бороться... Учила по-ленински решать и отвечать.

— Странно, — еле слышно проронил Стадник и подтянулся еще ближе к товарищам, но все-таки не решился назвать имени. — Он говорил, что идет борьба на уничтожение. Призывал к бдительности. Как же он сам не увидел, что под этой маркой происходит избивание, уничтожение самых опытных кадров партии!

— Ты думаешь, он не понимает? — выдохнул Мятлев. Теперь голоса чуть шелестели:

— Не мог же он...

— Докладывают ему подтасованные дела...

— Но ведь должен же он видеть! Была бы одиночная ошибка или подтасовка, можно не заметить. А ведь тут самый цвет партии!..

И снова замолчали. Думали. Томились непониманием и страхом, самым большим и благородным страхом — не за себя, за свою партию.

Суровцев сказал очень тихо, но отчетливо:

— Если он не видит и не знает,—какой же это руководитель? А если видит и знает...

Он не закончил, только скрипнул зубами.

— Так что же это?! Что же?!

И снова молчали, стиснув зубы, чтобы не закричать.

Первым заговорил Стадник:

— Я иногда думаю — потерял он доверие к людям. Вспомните, какой напор начался после смерти Ильича. И троцкисты, и зиновьевцы, и бухаринцы, и Промпартия, и всякие недобитки. Одни тянули вправо, другие — влево, но все — против ленинизма. Он боролся, разоблачал их...

Суровцев холодно уточнил:

— А теперь мерещится то, чего нет?

Опять кто-то жалобно всхлипнул во сне, кто-то пробормотал ругательство. А семь бодрствующих молчали и слышали тревожные удары собственных сердец.

— И как мы не заметили этого процесса,— прерывисто зашептал Суровцев,— постепенно оно шло — замена чекистских кадров, отказ от традиций Дзержинского... Ведь как со мной получилось? Пошел к новому начальнику: не понимаю, мол, заводим дела на коммунистов, на партийный актив. По-моему, говорю, это перегибы. Мы же коммунисты. А он заорал: «Идиот! Нового этапа не понимаете! Живете устарелыми понятиями! Мы, во-первых, чекисты, а уж потом, между прочим, коммунисты, так вопрос стоит, а отсюда и выводы». Ну, схватился я с ним! Я коммунист не между прочим, говорю, я за это с пятнадцати лет боролся, в тюрьмах сидел. И в Чека пошел по приказу партии, и сам Дзержинский меня учил, что такое настоящий чекист, но он таких слов — «между прочим» — не говорил, он бы за такие слова выгнал вон. А этот гад поднялся и тихим голосом: «А я вас — вон. Поняли?» Назавтра приказ — в отставку. А на мое место — этакого молодого из ранних...

— Знаю, Тукова, — подтвердил Чубак. — Он меня допрашивал прямо-таки с наслаждением — дескать, был моим партийным начальством, а теперь у меня в руках, что хочу, то и делаю!

— И меня Туков, — вскрикнул Мятлев, — гнида такая.

— А вы что смотрели? — истерически заговорил Василь Васильич. — Ну я — рядовой научный работник. А вы-то как просмотрели, вы-то что ж, не видели?

— Видели,— мрачно сказал Чубак,— да только все мы задним умом крепки. Ведь доверяли! И потом, мил человек, они ж и действительных гадов брали. Троцкистов, вредителей. Вот хотя бы...

Он повел глазами в дальний угол камеры.

— Вон, белобрысый, Анопов фамилия. Из гадов гад. Я б таких стрелял, не то что...

Они смотрели в тот угол, на белобрысого спящего человека с розовым, во сне наивно-добродушным лицом. Никто не шевельнулся, но все семь мысленно отодвинулись подальше.

— На сколько он?

— На десять.

— Да что ж это такое? — в ярости простонал Гаевой. — И почему я должен рядом с ним?! И что же нам теперь?..

— А ну, дружок, давай без истерик,— остановил его Чубак,— худо нам. Очень худо. Но не может оно не раскрыться! Есть партия, есть народ. Понимай так: попали в диверсию. И надо продержаться. Выстоять.

— Но ведь сажали-то нас свои! Свои!

— Нет, не свои,— отчеканил Суровцев. — Вот эти, кто нас терзал, фальшивки стряпал. Самые из самых — враги. Голоса снова чуть шелестели:

— Но маска-то у них советская?

— Попробуй разоблачи их отсюда!

— И ведь подумать — на воле не знают!

Суровцев тихо проронил:

— А дети?

Теперь и дыхания не слышно было. Каждый видел свое, своих — самых дорогих. Тех, которые должны верить, не могут не верить, но... Что они думают? Как понимают? И дети... Как они найдут объяснение позору, случившемуся с отцом? Какими людьми вырастут, если будут знать, что отца сгубили ни за что? А если поверят, что отец — враг, как жить самому?..

— Не могут они не понять,— со слезами в голосе сказал Зыбин, говоря «они», но думая только об одной женщине, которая ждала его в Кисловодске первого октября — и не дождалась. — Не могут они поверить, что мы сволочи, враги!

— А ты не верил, когда других касалось? — со злостью перебил Василь Васильич, и вся сдержанность интеллигента покинула его. — В лучшем случае утеша-

лись: лес рубят — щепки летят. Так вот, мы и есть те щепки — груды щепок на свалке!

— Тишш-ше ты...

— Плевать.

— А как дела пошли! — вдруг тихо заговорил Мятлев. — Год от году лучше! Начинали — ведь не умели ничего. Посадили меня красным директором, я ж бухгалтер как огня боялся, инженер заговорит со мной о технике — холодею. А научились хозяйствовать! Разобрались во всем и так разворачиваться начали! Взять мой завод. Два новых корпуса начал строить. Автоматику... Дворец культуры заложил. На этот год план — почти вдвое...

Он протяжно вздохнул, зашептал с тоской:

— Проверите, братцы, тоскую о нем, как о человеке. Ночью снится и снится. И все тот же сон. Будто иду по заводу с какой-то авторитетной комиссией и выкладываю свои самые заветные планы, о которых пока и не заикался. А они все записывают и говорят: обязательно, немедленно, завтра же подайте докладную — утвердим. А я радуюсь, и удивляюсь, и где-то в глубине сознания понимаю, что это — сон, а хватаюсь за него, чтоб не проснуться.

Слышно было, как он заглатывает слезы.

— Напортчат там без меня!

— Психуешь, дорогой, — сжав его плечо, сказал Чубак. — Какие ж мы с тобой работники, если без нас все развалится? Вот пришел на мое место Тетерин. Знаю я его. Сам и посылал на парткурсы при ЦК. Дельный парень.

Он говорил спокойно, рассудительно. А боль резанула по сердцу: на черта мне, что он — дельный! Люди избрали меня, сотни дел начаты мною, «наш Чубак» — так они меня называли, они любили меня — и я их любил и растил, они мне нужны — и я им нужен, нужен!

Он подавил готовый сорваться крик и с силой сказал:

— Народ могуч. Так могуч, что и это выдюжит. Мы же с тобой такие пласты подняли! Сотни тысяч воспитали. Вспомни, вспомни, каких людей мы год за годом в партию принимали. Ленинский призыв, ударники, стхановцы, интеллигенция из рабочих и крестьян, плоть от плоти... Неужто ж они не сумеют!

— Есть такая воинская команда, — вставил Суровцев, — сомкнуть ряды!

— Сомкнут! — прошептал Гаевой и заплакал. — Сомкнут! А нас и не вспомнят...

— Врешь! И в делах, и в людях — наше есть. Имена сотрутся, а за каждым осталось сделанное.

— А мы тут пока — сдохнем?

На это нечего было ответить. Но Суровцев сказал с присущей ему аскетической отрешенностью:

— Мы — это только мы. А вот сколько еще передышка продлится? Ведь войной уже пахнет...

Глубокое молчание сковало всех. Привычная опасность, которую они ощущали то сильнее, то слабее всю свою сознательную жизнь, эта опасность встала перед ними — близкая, грозная, они увидели ее предательское начало. Дети своего века, сызмала бойцы революционного фронта, они привыкли к мысли о том, что капитализм не уйдет без боя с исторической арены, что он может снова попробовать сокрушить первую страну социализма. Каждый на своем посту, они хранили боевую готовность, точно зная, что и как делать, если грянет час, — а потому и не подпускали к сердцу страха. Теперь, отринутые от своей партии и своего народа, сорванные с боевых постов, они почувствовали свое горькое бессилие и ужаснулись.

Мятлев пролепетал совсем по-детски:

— Что ж, нас и воевать не пустят?

— Мы же «враги», «опасные элементы», — с издевкой напомнил Гаевой.

Его остановил холодный голос Суровцева:

— А ты не злишь. Может, это и пытаются сделать — смять нас, превратить в озлобленное ничтожество, в тресбуху, уже ни на что не годную.

— Что?! — вскрикнул Чубак, подсакивая.

— Тишш-ше...

Гаевой приподнялся и сказал с неожиданной у него силой:

— В тресбуху?! А вот не будет этого! Почувствую, что сволочью становлюсь, — сам себя!

Он сдвинул себе горло, потом провел ладонями по лицу, словно смывая воображаемую грязь.

— Когда начнешь становиться сволочью, поздно будет, — прозвучал иронический голос Стадника.

И тотчас откликнулся Суровцев:

— С партбилетом быть коммунистом легче, а ты вот теперь сумей остаться им.

Прошло много времени, прежде чем раздался внятный шепот Чубака:

— Верить нужно, товарищи. Верить в партию. В народ. Остальное от нас пока не зависит. А вот кем мы выйдем отсюда — отщепенцами, моральными уродами или большевиками? Это зависит от нас. Это теперь — наша партийная работа.

Так он сказал, и товарищи потянулись к нему, как всегда тянулись к нему люди, потому что он продолжал жить и видел — даже в нынешнем унижении и бездействии, — что нужно делать.

В то же утро, когда на безрадостном рассвете семь товарищей по беде, бодрствовавшие почти всю ночь, очнулись от окрика: «Вста-вай! Становись!», — в то же утро Светов проснулся в номере гостиницы «Москва» и, сонно улыбаясь, поглядел в окно.

В рассветных лучах розовели стекла нового Телеграфа. В небе над ним висел тонюсенький рожок молодого месяца.

Палька до хруста в костях потянулся и решил, что спать в такое утро глупо, он сейчас же вскочит и побежит на улицу, пройдет через Красную площадь и постоит у Мавзолея Ленина, выйдет на Москву-реку и пройдет по набережной, а может, свернет в какой-нибудь незнакомый переулок и заговорит с первой встречной девушкой: «Здравствуйте, очень здорово, что мы встретились. Доброе утро!» Она удивится, распахнет свои глазницы, сияющие, как у Клаши Весненок, — кто такой? Почему?

Он вскочил и проделал самые трудные гимнастические упражнения. Принял холодный душ. Ух, до чего здорово! На опытной станции нужно устроить душ во всех домах. Обязательно! Как ребята выкрикивали, сами не веря в возможность такой роскоши, — с ваннами, с балконами! А мы возьмем и сделаем: балконы, цветы, кафельные плитки, ванны — или хотя бы душ.

Прогуляюсь, а потом позавтракаем и пойдем в наркомат. Теперь договориться по всем вопросам будет нетрудно — после успеха совещания! Теперь и Бурмин станет покладистей, и осторожный Клинский осмелеет. Хорошо! Вернусь в Донецк — ох и заверну на полный разворот!

Оттого, что дела складывались хорошо и он сам был так счастливо настроен, мысли обо всем трудном и неясном, мешавшем полноте счастья, стали по-новому отчетливы и жестки. Все, что я сам накрутил, — вздор, нелепый вздор! Хватит болтаться неприкайным, хватит цепенеть, когда произносят ту фамилию, — что мне до нее! Есть Клаша. Мне нужна Клаша — не на час, на жизнь. И нечего играть в благородство — это же фальшь, вздор, никому не нужные тонкости. При чем тут Степа, если Клаша любит меня, думает обо мне, — а она любит, и думает, и ждет, и Степе не легче оттого, что я благодарничаю. Я так и скажу: не обижайся, Сверчок, ты же видишь сам... И женюсь. Прямо с поезда пойду в горком комсомола, всех вытолкаю и скажу: вот и я, Клашенька, к тебе и за тобой!.. А она покраснеет-покраснеет, до самых корней ее белесых волосиков, это у нее так мило получается...

Натягивая пальто, Палька вышел в коридор.

Дверь номера, где жил Липатушка, была раскрыта настежь.

— ...на ближайший самолет! Очень срочно! — кричал Алымов.

Липатов сидел на кровати — босой, в нижней рубашке, кое-как заправленной в брюки.

Гаша стоял рядом с Алымовым, глядя ему в рот и стараясь понять, что ему отвечают.

Увидав Пальку, он глазами показал на стол, где белел листок телеграммы:

Произошло несчастье погиб инженер Голь ранены
Сверчков и Кузьменко тчк Выезжайте немедленно тчк

Маркуша

9

Катерина дежурила около Никиты и Степы Сверčkова.

Обожженные руки Никиты уложены поверх одеяла двумя белыми куклами, они ноют днем и ночью. А Степу и не видно, все лицо забинтовано — при взрыве ему запоронило глаза угольной пылью, ослепило пламенем... Навсегда? Или зрение спасут? Это выяснится позднее, в Одессе, у знаменитого Филатова.

Катерина поила обоих из чайничка, кормила с ложечки, рассказывала им о Москве и читала вслух. Никите было легче, чем Степе, но Никита все время скулил и чертыхался. Только вечером, когда приходила Лелька, он веселел, ласково смотрел на ее подурневшее, в желтых пятнах, расплывшееся лицо и шепотом обсуждал с нею свои семейные дела.

Старики Кузьменки уговаривали Лельку уйти с работы, чтоб ухаживать за Никитой и не переутомляться перед родами, но Лелька стала расчетлива:

— Что вы, декретный отпуск терять? Зарплату терять? Еще когда Никитка на работу пойдет!

Удивительно вышло с Лелькой. Ведь как невзлюбили ее старики, в дом не пускали, а теперь души не чают.

И Лелька прилепилась к семье Кузьменок: придет с работы — сразу хватается то за мытье полов, то за стирку, воды принесет, мусор вынесет, посуду перемоеет. Только и слышится в доме «Мама, как вы скажете?», «Папа, как вам лучше?..»

В больницу она прибегает прямо с работы, с порога тревожно спрашивает: «Что Никита?» Переведет дух и входит к нему с веселым видом; ласкает, утешает, но и журит:

— Чего хнычешь? Все цело, а боль пройдет. Ты же герой, ну и держись героем!

Герой?.. Катерина часто думает об этом. Казалось, наплевать ему на все, был бы заработок, чтоб жить в свое удовольствие. А тут, в страшную минуту, когда убило Федю Голь и ранило Сверчка, именно Никита рванулся к месту взрыва и перекрыл дутье, спасая станцию. В «Донецкой правде» так и написали: «Рискуя собой, молодой бурильщик Никита Кузьменко героически...»

Вот о Степе ничего не написали — Степа отвечал за опыт, за технику безопасности, Степа и Федя Голь. Но Федя погиб. Силой взрыва отбросило его прочь от скважины, рваный кусок металла ударил вдогонку — в голову... Степе обожгло и запорошило лицо, а Феде — нет, он лежал в гробу как живой.

Его мама, прилетевшая из Москвы, совсем еще молодая и очень на него похожая, сидела у гроба и все повторяла безнадежно: «Мальчик мой, мальчик мой...»

Маму устроили жить у Кузьменок. Кузьминишна ухаживала за нею и вместе с нею плакала. И у Кузьминой,

и у Катерины раскрылась затянувшаяся было рана — вместе с Федей они снова оплакивали Вову...

Наверно, не так томилась бы Катерина, не вернулось бы с такой силой прежнее горе, если бы Алымов был рядом. Почему он не приехал? Почему именно сейчас его нет?..

За последние месяцы Катерина оторвалась от всего, чем дорожила раньше. Жила будто в опьянении — и не давала себе трезветь. Алымов увез ее в Крым, к морю. Катерина впервые увидела море. Как во сне — дом обвит глициниями; засыпая, слышишь плеск волн. Сад — розовый питомник, целые плантации роз. От их аромата кружилась голова. И рядом Константин. «Дай мне помолиться на тебя...» Потом Москва. Две комнаты с ванной, называется: полулюкс. Каждый вечер — театр или прогулка по Москве. Придешь усталая, а Константин усаживает в кресло: «Дай я сниму твои туфли, ноженьки-то набегались...» Никогда с нею не было ничего подобного.

А в эти дни — без него, возле чужого горя — опомнилась, вернулась на землю. Родной поселок, родные люди, привычные отношения и заботы... Горе снова сблизило ее с Кузьменками, Никита снова стал братишкой. И Степа Сверчков — приятель детства, поселковый дружок — ближе родного...

У Степы — адские боли. Каждые два-три дня его оперируют — вынимают из глаз кусочки угля. Хирург говорит — Сверчков поразительно вынослив. Когда его навещают, он еще и шутит: «Райская жизнь, вкусное прямо в рот кладут, только глотай!» Ничего не видит, а все улавливает.

— Мама, зачем плачешь? Я ж вижу.

— Чего мнешься, Павел? Неприятности меня ждут, да?

Катерина знает, что неприятности от Степы отвели, Палька все взял на себя, как главный инженер. Степе этого не сказали, он взбунтовался бы.

Степа радовался посетителям, меньше всех — Пальке. И Катерина догадывалась почему. Вот и теперь Клаша Весенюк ежедневно навещает Степу, а сама поглядывает на дверь. По странному совпадению она приходит в те часы, когда бывает в больнице Светов. И Степа все понимает. Однажды Палька не пришел, Клаша все то-

милась и на дверь поглядывала. Степа не мог видеть этого, но вдруг сказал:

— Павел сегодня не придет, на станции партсобрание. Ты иди, Клашенька, мне поспать хочется.

Спал он или нет? Когда Катерина подошла поправить одеяло, он движением руки попросил ее наклониться и прошептал:

— Она ж его любит. Скажи ты этому дураку.

— Что ты выдумываешь, Степа!

— Ах, перестань. Глупо же! Скажи им. Скажи. Пусть.

Нет уж, решила Катерина, чему быть, того не миновать, но я в этом деле не помощник.

Сидя возле Сверчка, Катерина думала, думала. Как раскрывается в беде душевное богатство человека! Был Степка и Степка, как-то не принимали всерьез ни его самого, ни его любовь. А он — вон какой! И Маркуша — сразу после взрыва принял на себя обязанности руководителя станции, они вдвоем с Леней Коротких работали день и ночь, не считались, кому что поручено, не боялись ответственности. Саша, Липатушка и Палька изучают причины взрыва, налаживают процесс — и тоже не боятся ни риска, ни ответственности. Когда снова подавали кислород (а он и вызвал взрыв), Палька стоял один на том самом месте, где стояли в минуту взрыва Федя и Сверчок. И все знали — иначе он не может.

Катерина понимала брата, понимала его товарищей — иначе они не могут. Из всех близких ей людей она не понимала одного, ставшего самым близким, — Алымова. Что же он-то за человек? И почему он не приехал?

В то утро они собирались второпях, все были взволнованы, Алымов не отходил от телефона, добывал билеты на самолет, кого-то вызывал, кому-то угрожал.

Катерина была уверена, что он летит с ними, только перед отъездом в аэропорт выяснилось — остается. Крепко обняв ее, он сказал срывающимся голосом:

— Не скучай и не забывай, слышишь? Сейчас такая минута, когда все решиться может! Все!

Она не поняла, что именно.

В самолете спросила у Саши, почему не поехал Алымов.

— Дипломатия — кто кого съест, — неожиданно грубо ответил Саша и отвернулся.

Катерина вспоминала все, что случайно слышала от Алымова и от брата, вспоминала странную сцену в гостинице между Алымовым и Олесовым: было очень рано, часов семь утра, все сбились в номере Липатова, туда же примчался Олесов, оповещенный о телеграмме. Люба плакала: Никшта тяжело ранен — может быть, умирает... Катерина успокаивала Любу как умела, когда до ее слуха дошел раздраженный крик Алымова:

— Тогда и я не поеду! Вы меня не проведете!

Олесов был очень бледен, он сказал задыхаясь:

— Следовало ждать.

— Будет вам! — вмешался Липатов. — Константин Павлович, полчаса прошло, звоните в Аэрофлот.

Что означала перепалка между директором Углегаза и его заместителем? В чем Олесов хотел «провести» Алымова? Чего «следовало ждать»?

По отрывистым замечаниям Алымова Катерина знала, что он не любит директора и хочет, чтоб Олесова сняли. Палька тоже не раз говорил, что Олесов — тюфяк, «и вашим, и нашим». Вероятно, Константин мечтал стать директором Углегаза. Катерина понимала это желание: ведь не только в том причина, что он честолюбив, — ему хочется более смелых действий, более решительной борьбы за расширение работ. Но может ли быть, что Алымов намерен воспользоваться несчастьем, чтобы добиться своего?..

Все последние месяцы она не давала себе задумываться. Не хотела задумываться и спасалась от невеселых мыслей возле Алымова. Люба сказала: «Ты какая-то упоенная». Да, она упивалась этой любовью. Не будь такой разницы в возрасте, все, наверно, сложилось бы проще, естественней, она не чувствовала бы себя с Алымовым стесненно, как с чужим. Не будь он таким нервным и — часто — злым, они сумели бы дружить, откровенней делиться всем... Но об этом Катерина тоже не хотела думать, так же как не хотела заглядывать в будущее.

Пальку волновало, что у Алымова в Москве семья. Катерина отмахивалась и от этого. Ведь разошлись давно, какое ей дело? Сыну он помогает, и хорошо. Когда она переедет в Москву, нужно будет познакомиться с сыном. Если переедет...

Ни мама, ни Кузьменки не хотели отдавать ей дочку. Кузьминишна прямо бухнула: «С этим идиолом? Не от-

пущу!» Константин привозил множество игрушек, но раздражался, если Катерина при нем возплась с дочкой. Уехать без Светланки? Ни за что!

В первые недели их близости Катерине казалось, что Алымов становится добрей, мягче. Он уступал ей. Старался не ругаться при ней... Наконец в тот недобрый вечер он закричал и на нее! Правда, он приревновал... Приревновав, наивпо старался возбудить ее ревность, любезничая с дочкой Катенина. А потом, ночью, целовал ей ноги и бормотал, как в бреду: «Я тебя никогда не обижу, никогда, никогда!»

Но все-таки и ей он крикнул:

— Хватит воспитывать, надоело!

Значит, и с нею он может быть груб?..

Катерина удивлялась самой себе — как легко она согласилась бросить работу, стоило Алымову попросить! Как будто выхватила у жизни передышку... Разом кинула все, как в сон окунулась, — Крым, потом Москва...

Ничего не сказав Алымову, она все же договорилась на шахте, что уходит временно, — где-то в подсознании ощущала, что ничто в жизни не переменится и она не сошла с выбранной дороги, а только повременила, переводя дух. Урывками, кое-как продолжала заниматься делами в шахткоме и готовилась к экзаменам в заочном институте. Но прежней увлеченности не было.

Теперь, впервые за много недель раздумывая о самой себе, Катерина поняла: когда Кузьмич сообщил об аресте Чубака, в ней надломилось что-то важное. Она потеряла уверенность и ясность. Надо было до конца разобраться в мучительном и непонятном, а она прижмурилась, отстранила тяжелые мысли, с головой погрузилась в бабьи чувства...

И вот спустя полгода вернулась в привычную жизнь и не нашла ни в ней, ни в самой себе того, что так жарко грело раньше. Старательно, как виноватая, возится с дочкой, дежурит возле Никиты и Сверчка, зубрит политэкономию, разбирает заявления о жилье, о ссудах — и не знает, что будет завтра, что за человек ворвался в ее жизнь, на горе или на радость, и почему этого человека нет сейчас рядом, и как ей снова обрести ясность, без которой она не может быть сама собой.

Это продолжалось всего несколько минут. Он истощенно заорал на Липатова, сунувшегося было к нему, и остался один у головки скважины. Положил ладони на штурвал, в последний раз искоса поглядел на товарищей, сгрудившихся поодаль, на окно пульта управления, где белым пятном виднелось лицо Саши, а затем перевел глаза на приборы и еще мгновение помедлил, решая, какой глаз прикрыть и сохранить в случае...

Именно сейчас он совершенно отчетливо увидел, как все произошло в тот раз. Конечно, Федя Голь и Степа учитывали, что на совещании идут разговоры о перспективах дела, и хотели поддержать нас вестью о возможности получения технологического газа, который мог бы заменить кокс в металлургии.

Опыт намечалось провести после совещания. Федя Голь со Сверчком решили не ждать. Все было продумано и как будто рассчитано. Повышенная концентрация кислорода, задутая в зону высших температур, то есть в район газоотводящей скважины, создаст процесс, при котором газ будет насыщен водородом и окисью углерода и почти избавлен от метана. Вероятно, Федя и Сверчок подумали о возможностях взрыва, но ведь дутье с меньшей концентрацией кислорода подавалось много раз, было уже установлено, что в подземном процессе образуются водяные пары от испарения подземных вод, а они делают газ менее взрывоопасным, — ну, получают хлопки, их бывало много, их перестали бояться...

Вот так же, как сейчас он сам, Сверчок подошел к головке скважины и взялся за штурвал. Рядом стоял Федя. Переговариваясь с Федей, Степа начал крутить штурвал влево... Может быть, он сказал: «То-то наши обрадуются!» или «Сразу же пошлем телеграмму»...

Только что произвели реверсию. Газ пошел через другую скважину, а в эту ринулась под давлением струя воздуха, обогащенного кислородом. Восемьдесят процентов кислорода — такой концентрации еще никогда не пробовали! В раскаленной до полутора тысяч градусов подземной зоне процесс соединения кислорода с горючими компонентами газа — окисью углерода, водородом и метаном — произошел в какую-то тысячную долю секунды...

Вся сила взрыва припала на головку скважины — под землей деться некуда. Фонтан горящего газа, смешанного с еще не сгоревшими кусочками угля, ринулся

вверх, сорвал и откинул на десятки метров головку, разрывая металл, как картон... Дунул в лицо Сверчка, отшвырнул на несколько метров Федю... И пошел полыхать, разбрасывая огненные брызги, закидывая горящие уголья на крыши зданий и за колючую проволоку, ограждавшую бочки с бензином и смазочными маслами.

Палька отчетливо увидел все это и даже физически ощутил силу рванувшейся из-под земли струи, злобный, обжигающий удар по глазам, по лицу...

Прикрыв один глаз (он так и не вспомнил потом, который), он сжал руками штурвал и начал крутить его влево.

Задвижка медленно открылась, пропуская в трубу водяной пар. Слышно было, как он там шипит и словно приговаривает, пришептывая: «Расчищаю, очищаю...»

Палька отключил пар и включил кислородное дутье. Осторожно. Сперва обычную концентрацию — двадцать пять процентов, потом — с каждой минутой — увеличивая содержание кислорода.

Одним глазом он все время видел показания прибора:

Шестьдесят пять...

Семьдесят...

Семьдесят пять...

Восемьдесят!

Саша прав — теоретически взрыв не исключается, поскольку пироксернистые соединения могли образоваться на стенках труб, упасть в нижнюю часть скважины, загореться в воздухе...

Все дело в том, что с газом нужно обращаться деликатно. Не на ты, а на вы.

Прислушался — ровное гудение.

— Хорош! — крикнул он и медленно пошел прочь, мельком заметив, что ноги стали ватными, а лоб и шея — в поту.

— Вот в чем и была ошибка, — сказал он Липатову. — Надо сперва продувать паром и затем подавать дутье постепенно.

Они пошли к Саше, на пульт управления, и занялись показателями процесса, не считая нужным возвращаться к тому, что пережили.

— А Никита — молодец! — в середине обсуждения сказал Палька. Теперь ему ясно представилось, как из группы растерявшихся людей выбежал Никита, как он

пробежал мимо убитого Феди Голь, мимо ослепшего Сверчкова, пригнув голову под огненными брызгами. Как он глотнул воздуха побольше, бросился в огонь, схватился голыми руками за нагревшийся штурвал и начал крутить его вправо, вправо, вправо, перекрывая дутье...

— Ого, вот это показатели! — воскликнул Саша, не отрывавший глаз от самописцев.

Палька кинул взгляд на показания, улыбнулся и притянул к себе графин.

Стакан куда-то запропастился, он начал пить из горлышка. Вода стекала по подбородку, горлышко было неудобное. Но он выпил всю воду, сколько ее было.

— Схожу к ребятам, расскажу, — вслух подумал он. — Сверчок обрадуется.

Больница всегда внушала ему страх, а теперь — больше, чем обычно. Белая безглазая мумия, лежавшая на одной из коек, заставляла его содрогаться от ужаса и жалости.

Выдержка Сверчка, его оживленный голос были непостижимы. Палька не знал, как держаться с ним, — проявлять сочувствие или делать вид, что все в порядке.

Инстинктом он выбрал лучшее — докладывал обо всем, что происходило на опытной станции. Никиту это не интересовало. Работает станция, и ладно, только взрывов больше не устраивайте. А Сверчку нужно было знать все. Палька отчитывался перед ним, как перед дотошным начальством, по всем показателям. Сверчок имел на это право. И Палька заставлял себя приходиться ежедневно.

Здесь он встречался с Клашей.

Решение, принятое ранним утром в Москве, оказалось легкомысленным и несбыточным. Но именно потому, что теперь об этом и думать было стыдно, мысли о Клаше стали неудержимы, они всегда были с ним, тревожа и мучая, и нужны были все силы, чтобы держаться, держаться...

Поняв, в какие часы бывает Клаша, он переменял час, но и Клаша переменяла — так уж выходило, что они сталкивались у постели Сверчка. В такие минуты Сверчок держался еще веселей — до ужаса. Палька спешил уйти, оставить Клашу с ним вдвоем. Но Сверчок говорил дребезжащим голосом:

— Ну, чего спешишь? Я теперь провожатый плохой. Будь другом, проводи Клашеньку, ведь темнеет уже!

Откуда он знал, что темнеет?

— Я еще не собираюсь уходить, Степа,— говорила Клаша,— чего ты меня торопишь?

— Сейчас начнутся вечерние процедуры, тебя выгонят.

Они уходили вдвоем и шли по сумеречным улицам, сохраняя между собою дистанцию в добрый метр. Они говорили о Сверчке, обсуждали, поможет ли ему Филатов.

И однажды Клаша сказала, опустив голову:

— Если он ослепнет, я его не оставлю.

После этого они долго молчали. Наконец Палька спросил самым безразличным тоном, на какой был способен:

— У вас все уже было решено?

— Нет,— быстро ответила Клаша. — И не могло быть решено. Я сказала — *если*.

— Степа не тот парень, чтоб принять жертву.

— Он никогда не почувствует жертвы. И с ним всякая девушка... Он такой хороший!..

— Да,— подтвердил Палька.

Они подошли к ее дому. Несколько метров от угла до ее двери были самыми трудными. Палька заставлял себя не замедлять шаги, не топтаться на месте, а дружелюбно попрощаться и уйти. Обычно это удавалось, но сегодня, чтобы отвлечься от того разговора, он начал рассказывать ей о московских друзьях, о стихах поэта Тихонова...

— Я знаю их,— сказала Клаша. — «А ты забыл, что хмур и сед и что тебе не двадцать лет...»

И тогда он сказал:

— Но нам-то двадцать! Давай прогуляемся немного.

— Мне еще к семинару готовиться,— ответила Клаша,— и прошла мимо дома, припоминая разные стихи, и произнесла две изумительные строчки:

Так мужество по-новому встает,
Когда к нему приходит испытанье.

Рассказать бы ей, как он недавно стоял один возле скважины, положив руки на штурвал и зная, что держит в руке жизнь или смерть... Нет, получится похвальба.

Они еще долго бродили по тихим улицам, открывая все новые совпадения вкусов и мыслей.

Прощаясь, он спросил:

— Ты когда завтра придешь?

— Как всегда. А ты?

— И я.

Но на следующий день он не увидел Клашу. Сверчок как бы между прочим сообщил, что она приходила днем и читала вслух.

Палька вышел с ощущением пустоты. Прошел мимо ее дома — в окне не было света. Занята вечером? Нет, не захотела. Из-за Степы. Но это же невозможно! После вчерашнего вечера он твердо знал, что это невозможно.

Подходя к своей калитке, он услышал в палисаднике два детских голоса — ломкий, захлебывающийся голос Кузьки и другой, звонкий, с замираниями.

— ...А оно ка-ак ахнет! Ка-ак рванет из-под земли! Всю надстройку на полкилометра кинуло!

— А он?

— А он кинулся прямо в огонь, хватя за рычаг — и отключил дутье. Руки — как нет их, все скрозь прожжены!

— А иначе все взорвалось бы?

— Все!

Звонкий голосок сказал с непреклонной убежденностью:

— Он самый замечательный, я еще тогда видела.

Палька узнал этот непреклонный голосок. Но откуда она — здесь?

Две фигурки поднялись ему навстречу со скамьи.

— Здравствуйте, Павел Кириллович, — тоном воспитанной девочки произнесла Галя Русаковская и вытянула из кармана маленький душистый конверт. — Мама при-слала.

— Ничего не понимаю. Откуда вы здесь взялись?

— А мы с папой. На защиту и консультации.

— И ты на защиту и консультации? Тебе, по-моему, в школу ходить полагается. — Палька разглядывал конверт и принюхивался к запаху знакомых духов. — И надолго вы сюда?

— На пять дней. А меня взяли, потому что бабушка со мной не может справиться.

— Похоже. А ну, Кузь, проводи эту девицу до трамвая!

Галя чинно попрощалась, как полагается образцовой девочке, но выбралась из палисадника по-своему: не в калитку, а через нее. Судя по удаляющимся голосам, к трамваю они не спешили.

Павел Кириллович! Мне нужно вас видеть! Буду ждать в сквере возле театра от восьми до половины девятого. Надеюсь, вы меня узнаете?

Т. Н.

Было без четверти восемь. Если удачно попасть на трамвай, можно поспеть до половины девятого... Но зачем?

Приехала на пять дней, заскучала возле ученого мужа и вздумала возобновить старый флирт? Дудки! В сквере возле театра нас не будет. Можете злиться сколько угодно, а мы займемся делом. Где у меня старый учебник сопромата?..

Сегодня утром Маркуша предложил ставить на головках скважин заглушки. Как это говорил профессор-сопроматчик: «При приложении усилия рвется там, где тонко»? Маркуша сказал: «Значит, давай сами создадим это «тонко»; пусть рвется там, где нам выгодно. На верху головки поставим тонкую заглушку из менее прочного материала, скажем, из алюминия или дюрала».

Палька разыскал потертый учебник, нашел таблицы сопротивления материалов. Сопротивление на разрыв у алюминия намного меньше, чем у железа...

Он припомнил, как студентами они испытывали на разрыв на специальном прессе разные материалы. Зажатый в кулаках столбик металла недвижим, а стрелки подскакивают выше, выше, выше и — трак!

Он думал именно об этом, но перед глазами вдруг возникла женщина в черном облегающем пальто, в маленькой шляпке, открывающей волнистые рыжие волосы. Такая, какой она была однажды на московской улице, — небрежно простилась и вошла в трамвай, даже взгляда не бросила. А теперь ходит, ждет.

— Павлуша, ужинать!

Мать сунулась в дверь, он огрызнулся:

— Ты же видишь, я работаю. Сколько раз просил — не сбивай!

Половина девятого. Она ходит по круговой дорожке, прикидываясь, что никого не ждет. Каблучки стобиками, при каждом шаге пристукивают. Ну и пусть ходит, пристукивает.

Занятно, как все улечувивается! Год назад помчался бы опроретью...

Четверть десятого. До чего душно в комнате!

Он вышел на крыльцо, закурил, понаблюдал, как из-за копра вылезает скошенная набок луна. Совсем недавно, ранним утром в Москве, над Телеграфом, висел тоюсюенький бледный рожок. А теперь вон она какая! Еще один-два дня, и округлится совсем, как в ту давнюю ночь в степи...

Когда он вернулся в комнату, было без двадцати трех десять. Даже если бежать бегом к трамваю и от трамвая; доберешься до сквера в одиннадцатом часу. Она давным-давно ушла. Готовит супругу ужин, от злости бренчит посудой.

Ночь холодная, а в комнате нечем дышать.

Он нажал на разбухшие створки окна и распахнул их — прямо в темноту, пронизанную косыми полосами лунного света. И в этом свете увидел ее, как живую, — голубоватая от луны, стоит за калиткой и улыбается. Почудится же такое!

Но она не собиралась исчезать. Она открыла калитку, нащупав рукой щеколду, и зашагала к нему сквозь полосы лунного света, заложив руки в карманы широкого светлого пальто, пригнув голову в светлой шапочке, похожей на шлем.

— Почему вы не пришли? — спросила она так, будто они виделись вчера или сегодня днем. — Я ждала вас больше часу. Дайте же руку! — Она запросто перебралась через подоконник. — У вас такое лицо, словно я спустилась к вам с луны по веревочной лестнице.

У нее был очень деловой вид — в шлеме, руки в карманах. А он никогда еще не терял дара речи так безнадёжно, никогда не был так неуклюж.

Татьяна Николаевна сама прикрыла створку окна, села у стола, свободно положив ногу на ногу.

— Так почему же вы не пришли?

Из всех возможных ответов он выбрал самый пелёпый:

— Я все равно, вероятно, не успел бы.

— Допустим! Так вот, милый, безукоризненно вежливый Палька Светов! Известно вам — или неизвестно, — что послезавтра к вам приезжает разгременная комиссия наркомата?

— Н-нет.

— Приезжает. Насколько я поняла, отвратительная по составу и по цели. Олега Владимировича тоже включили, узнав, что он будет в Донецке.

Это было настолько серьезно, что он сразу забыл смущение.

— Вы не слышали, Татьяна Николаевна, кто там еще?

— Слыхала и постаралась запомнить: кроме Олега Владимировича, там профессора Вадецкий и Цильштейн, инженер Катенин — его взяли как специалиста по технике безопасности. Здесь к ним подключаются местные профессора. Во главе — новый замнаркома Клинский.

— Так. А цель?

— Как я поняла, они хотят сменить руководство станции и отдать вас под суд в связи с этой... с этим несчастием.

— Судить и надо, — грустно сказал он. — Федю Голь уже никто не вернет. А Сверчков... если он останется слепым — разве я сам себе прощу?

Татьяна Николаевна встала и погладила его по волосам.

— Этого можно было избежать?

— Нет. То есть... Теперь-то мы знаем, что нужно сперва продувать паром. На днях я повторил ту же операцию, и все сошло хорошо.

— Повторили?

— А что было делать? Когда идет опыт, без риска нельзя.

— Вы... сами?!

— Что же, по-вашему, рабочего послать, а самому спрятаться? Новую прививку врачи испытывают на себе. Иной раз и помирают.

Она снова провела рукой по его волосам, навертела на палец и подергала ту прядь, что всегда выбивалась на висок.

— Мне пора. Выходить будем через окно?

Перелезая через подоконник, она не забыла показать свои красивые ноги. И пошла впереди него, руки в карманах. Луна посверкивала в ее волосах.

Она снова была — ненаглядная. Ненаглядная, которая пришла к нему сама.

Он придержал калитку.

— Скажите... почему вы пришли? Я поступил как последний хам, вы прождали час — и пришли. Почему?

На ее голубоватом лице промелькнуло знакомое выражение не то ласки, не то насмешки.

— Я бываю легкомысленной... но я ненавижу под-

дость. Я подумала, что за сутки вы как-то подготовитесь. И если нужно подсказать Олегу Владимировичу...

— Пусть будет объективен и честен, вот и весь подсказ!

— Честности его учить не надо. Но бывает, что нужно понять какие-то хитрые ходы и неизвестные обстоятельства...

Нет, он и теперь не хотел ни в чем зависеть от ее мужа, какие бы ни грозили хитрые ходы.

Он отпустил калитку — и она быстро зашагала по улице. Ему всегда нравилась ее легкая, летящая походка. Он позволил себе поглядеть ей вслед, потом догнал и взял под руку. Ему хотелось сказать ей, что она хорошая, лучше, чем он думал, но вместо этого не без насмешливости спросил:

— Говорят, вы увлеклись производством алюминия?

— О-о, нисколько! Меня увлекает другое. Должно быть, во мне пропадает творец чего-то... хотела бы я знать — чего!

— Так узнайте, найдите, схватите! На кой черт пропадать?!

— Это не так просто. — Она помедлила и продолжила другим, кокетливо-беспечным тоном, который он ненавидел: — Вы понятия не имеете, как очаровательно... и как ужасно быть женщиной!

— Ничего подобного! Это зависит от...

Но она не захотела узнать, что от чего зависит. Она заговорила об Александрове и Трунине, передала от них приветы.

— Что Женя... поладил с вашим супругом? Ушел на завод?

— Ох, нет! Ссорятся, мирятся и снова ссорятся.

— На кой дьявол задерживать человека, если его тянет?

Она нашла нужным заступиться за супруга:

— Он считает Женю талантливым. И очень любит его.

— Те, кого Олег Владимирович любит, должны отказаться от собственной жизни?

— О-о-о!

— А что, в самом деле! Вот вы, например...

Она резко отстранилась. В неверном свете луны не разобрать было выражения лица — гнев? Или горечь? Или обида?

— Что вы знаете о жизни? Да еще женской! — воскликнула она и пошла дальше, на ходу роняя отрывистые фразы: — Когда мы очень молоды, мы хотим всего-всего!.. А потом вдруг покажется, что все-все — в одном человеке. Сами отказываемся от всего остального!.. Добровольно — значит, наиболее прочно!.. А если эта жизнь еще и легка, и счастлива!.. И все же все-все не вмещается!.. Никак!.. Конечно, просто рассуждать, когда двадцать лет и ничем не связан!.. — Она вдруг оборвала речь и деловито пригляделась, есть ли на кольце трамвай, и заторопилась. — Вы бы поддержали под локоток, мои каблукки не приспособлены к таким дорогам. — Она еще что-то болтала и снова подшучивала, но его уже не мог обмануть этот прежний, обманный голос.

У гостиницы он потянул к себе ее руку:

— Дайте поцелую. Вы сегодня заслужили.

Она промолчала, только поглядела, широко раскрыв глаза.

В ту минуту, когда он поднес ее руку к губам, он увидел Клашу.

Клаша шла в группе комсомольцев, зажав под мышкой учебники. Наверно, с семинара. Она заметила две фигуры на широких ступенях гостиницы, — еще бы, полный свет, как на выставке! — запнулась и встретилась взглядом с Палькой. Палька отпустил руку Татьяны Николаевны, так и не поцеловав ее. Клаша отвела взгляд и быстро прошла мимо, в нескольких шагах от злосчастных ступеней.

— До свидания! Спасибо!

Он умчался прежде, чем Татьяна Николаевна ответила. Пробежал по улице, надеясь догнать Клашу, но Клаша куда-то исчезла. Поискать? Добежать до ее дома? Но как объяснить ей — и позволит ли она объяснять? У нее бывает этакое замкнутое лицо и авторитетный голосок: «Мне совершенно неинтересно, кому и почему ты целуешь руки, это — твое личное дело».

Новость насчет комиссии неизмеримо важней и срочней всяких объяснений, кому целовал, зачем целовал... До того ли сейчас!

Он побежал к театру — там иногда удавалось подхватить «левака». Как назло, ни одного. До опытной станции — девять километров. Можно дотопать за час.

Он купил в киоске две черствые булочки и, на ходу утоляя здоровый голод человека, оставшегося без ужина, развил максимальную пешеходную скорость.

Всеволоду Сергеевичу Катенину очень не хотелось ехать в Довецк. В поспешности и нарочитости создания такой большой и грозной комиссии было что-то стыдное. Колокольников вызвал Мордвинова в Москву, не предупредив его, что он разминется с комиссией! Алымов неожиданно для всех полетел в Кузбасс, где инженеры одной из шахт сами провели какой-то опыт подземной газификации. Видимо, дни «вихрастых» сочтены? Хорошо бы не участвовать в последнем акте...

Но в поезде, где он заодно с профессорами попал в международный вагон, Всеволод Сергеевич сразу успокоился. Грозный Клинский оказался культурным, деликатным человеком, он был взволнован главным образом «смертоубийственной неосторожностью» молодых руководителей станции № 3. Вадецкий отдавал должное молодежи, но считал, что на данном этапе во главе должны стоять более квалифицированные, зрелые работники. Олесов соглашался с ним. Арон... Арон за последний год постарел, как-то увял и был углублен в свои раздумья.

Вечером, закрыв купе, Арон вдруг сказал:

— Говорят, есть тысячи способов быть подлецом и только один способ быть честным.

Настольная лампа оранжевым светом освещала его постаревшее лицо и отражалась в больших потускневших глазах.

— Арон... ты думаешь?

— Я не о том. Тут задача ясная — разберемся и решим по справедливости. Я о себе.

— У тебя что-либо неладно?

На вокзале Арона провожала жена, они простились очень ласково. Всеволод Сергеевич еще порадовался — слава богу!

— У меня как раз все ладно, до предела честно и ладно, — проговорил Арон и закурил, чего раньше, кажется, не делал. — Вот ты, Всеволод, осуждал меня. Я и сам осуждал себя... Но я... я ее любил. С нею я чувствовал жизнь. Биение жизни. Ты знаешь это состояние, когда все напряжено и все прекрасно? Может, это невероятно, я старше на восемнадцать лет, но она тоже... лю-

била. Любила и потому соглашалась на всю мучительность тайных отношений.

— Тогда... почему же?

— Все из-за того единственного способа!

Он надолго умолк, потом заговорил приглушенно, в шуме поезда Катенин еле слышал его:

— Она была моей аспиранткой, вот в чем ужас. Будь уверен, я относился не менее требовательно. Но я видел, что сплетни выются, выются вокруг нее. Страдает всегда женщина, а разница возраста... Ну, выходило, что она из корысти, потому что я — профессор. Если бы я мог все сломать и жениться на ней... Но этого я не мог...

— А потом — тридцать седьмой год. Я тебе не говорил, но долгое время я был на краю... Тут все припутали — и ее в том числе. Разврат. Злоупотребление своим положением... ну, повторять противно. Биографию перекопали всю. Даже то, что я был прописан лакеем твоего отца, и то поставили в вину, — лакей!.. Ждал ареста. До сих пор не понимаю, как выскочил из этого.

И вот однажды ночью — трезвон на парадной. Надо сказать, жена все понимала. Мы никогда не говорили об этом, но я часто давал советы... Без объяснений — хотел бы, чтоб мальчики поступили на работу и учились в вечернем; в библиотеке я дорожу только специальными книгами — и так далее. Она говорила — хорошо. И вот тут, когда затрезвонили... Она обняла меня и сказала: «Арон, я всегда буду ждать, и ты не тревожься, мальчики вырастут как надо». Перед тем я получил большую премию и положил в сберкассу на ее имя. Раньше мы всегда все тратили, а тут... И вот, под трезвон на парадной, она вдруг говорит: «Арон, если нужно кому-то помочь — скажи, я буду помогать». Понимаешь?!

Он оперся локтями на стол и прикрыл руками лицо.

— Что ж это было — звонок?

— А-а... дурацкая телеграмма: «Днями выезжаю поезд сообщу отдельно дядя Ося». Если б он мне попался в ту минуту, дядя Ося, я б его придушил. Но с той ночи... В общем, понимаешь, друг всей жизни — это друг всей жизни. И мучить человека, который... Вот я и обрубил.

Катенин осторожно спросил:

— И совсем не встречаетесь?

— Нет. Она защитила диссертацию и уехала. Очень тяжело было. Молодая. Я же ей тоже жизнь переломал.

Стараясь утешить друга, Катенин сказал, что в молодости такие раны залечиваются быстро, жизнь возьмет свое. Арон вскинулся, будто его ударили.

— Вот этого я и боюсь. Как представлю себе... И выскочил в коридор.

Решающее заседание комиссии всем запомнилось по-разному. Липатов помнил, что он отбивался, «как тигр», и ловко «ущучил» Вадецкого, сказав с убийственным сарказмом:

— Звание — штука почтенная, но ведь бывает и так, что у молодых получается дело, а у знаменитых профессоров — пшик.

Павел Светов больше всего запомнил душевное напряжение, какого ему стоило вести себя рассудительно, как на чисто научной дискуссии. Саши не было — пришлось заменить Сашу. Сыпал формулами. Сопоставлял теоретические возможности несчастных случаев в подземной газификации с такими же возможностями аварий и жертв в шахтах. И продолжал гнуть свое, хотя понимал, что все предрешено и Клинский ведет обсуждение к одному выводу — пусть молодежь разрабатывает дальнейшие проблемы в НИИ, а на станции нужны иные руководители. Станцию решили отнять...

Станцию — отнять!..

Вот почему Вадецкий так пламенно восхваляет перспективы опытных работ, так восторженно говорит о предстоящем снабжении Азотно-тукового завода подземным газом! Именно сейчас, когда станция превращается в опытно-промышленную и перспективы расширяются, — именно сейчас решили воспользоваться несчастным случаем и отнять станцию у ее создателей!

Палька угадывал, кого прочат в руководители. Недаром так уважительно обращаются к Катенину, подчеркивая его инженерный опыт и длительный стаж работы по технике безопасности. Недаром Китаев привез с собой на обследование станции Леню Гармаша и не устает нахваливать его.

Оказывается, и Русаковский прекрасного мнения о новоиспеченном аспиранте, взявшем темой диссертации проблему подземной газификации.

— Он ведь, кажется, один из ваших соавторов? — добавил Русаковский.

Палька с досадой вспомнил предложение Татьяны Николаевны — подсказать. Если бы он подсказал насчет этого дрянного молодца!..

И вдруг Русаковский безмятежно спросил:

— Я не понимаю, почему из-за одной аварии столько шума? Я прошу директора станции ответить: была ли тут преступная небрежность или — ошибка, вполне возможная в экспериментальных работах? Повторили этот опыт или нет? А если повторили, кто именно провел опасный эксперимент? Кто стоял у штурвала?

Палька вспыхнул.

Липатов, сдерживая торжество, ответил. Когда он назвал фамилию — Светов, все посмотрели на Светова с уважением, а профессор Цильштейн сказал:

— Вот видите! Это поступок настоящего работника науки!

Встал и пожал руку Светова.

Русаковский запомнил именно это торжество молодого человека. Он задал свой вопрос потому, что Татьяна вчера сказала: говорят, Светов сам повторил опыт, рискуя жизнью; узнай, пожалуйста, так ли это. А минута запомнилась потому, что по каким-то неуловимым приметам он понял, что Светов сам рассказал ей, — а она скрыла их встречу.

Испытывая горькое удовлетворение оттого, что стал выше ревности, Русаковский потерял интерес к заседанию и незаметно покинул его. За обедом он весело сказал жене:

— Я, кажется, помог сегодня твоему хахалю.

Она шутливо поправила: «Бывшему!», начала расспрашивать, как все было, и пожалела, что он не дождался решения.

— Ты так заинтересована?

— Очень! Они же творческие ребята, а против них выставили целую артиллерийскую батарею профессоров.

Она была права — целая батарея профессоров должна была своим авторитетом отнять у них станцию № 3. В предварительных разговорах профессор Китаев со вздохом признался, что Светов всегда был необуздан и крайне неосторожен, у него все взрывалось и лопалось. Конечно, ему нужно предоставить работу в Углегазе, а на его месте при таком опытном директоре, как Всеволод Сергеевич,

окажется ценным один из соавторов проекта, серьезный и вдумчивый Гармаш.

Китаеву льстило участие в комиссии, возглавляемой замнаркома. Китаев был в восторге оттого, что его коллегу хватил припадок люмбаго и Троицкого на заседании не будет. Еще лучше было то, что Вадецкий взял на себя роль главного обвинителя, оставалось только поддакивать.

Но вышло так, что заседание запомнилось Китаеву сценой, разыграншейся под конец. Слово представили Катенину, уже знавшему о предстоящем назначении. Все ждали, что Катенин выступит авторитетно, а он мямлил, делал массу оговорок и, в общем, не находил в аварии состава преступления. Клинский начал сбивать его резкими вопросами. И в это время в комнату, стуча палкой, ввалился профессор Троицкий.

— Прошу извинить, — сказал он, скинув зимнее пальто и оставшись в домашней фуфайке, поверх которой были намотаны два шарфа, заколотых булавками. — Прошу извинить за опоздание и... э-э-э... диковинный вид. Прослышал, что в этой заварухе могут пострадать невинные люди, вот и притащился. Здешних руководителей знаю и цену, обстоятельства взрыва изучил. Своим суждением готов поделиться... э-э-э... если уважаемая комиссия найдет нужным выслушать.

Затем профессора схватил припадок боли. Но прежде чем уехать, Троицкий потребовал, чтобы его мнение записали в протокол.

— Категорически! — диктовал он, держась за поясницу. — Возражаю! Против снятия! Ценных работников! Доказавших! Свое уменье! Ну и... все, что из этого следует.

От двери он уничтожающе оглядел Китаева:

— А вам, Иван Иванович, совестно! В вашем возрасте... э-э-э... пора и о душе подумать. А вдруг все-таки он существует — ад? Ведь поджариваться вам... э-э-э... на горячей сковороде!

Засмеялся вместе со всеми, вскрикнул от боли — и уехал.

Китаев хихикал — шутник! Но именно шутка Троицкого отпечаталась в его памяти — и потому, что она поставила его в смешное положение, и потому, что он отнюдь не был твердым атеистом и в глубине души осталась саднящая царапина, — а вдруг?..

Эта же сцена запомнилась Клинскому — не только своей необычностью, сбившей привычный ход заседания. Клинский вдруг заподозрил, что его самостоятельное решение, которое он вынес на авторитетную комиссию только для проформы, — что это его решение не так уж самостоятельно. Он припомнил, как разные люди — Вадецкий, Колокольников, Олесов — исподволь подводили его к этому решению... Он почувствовал себя игрушкой в чужих и, возможно, корыстных руках — и разозлился.

— Хотел бы я знать, что тут происходит? — гневно спросил он. — Товарищ Олесов, может, вы объясните?

Олесов глотал воздух, подыскивая подходящие слова. Его самого убедили, что так будет лучше, и он дал себя убедить, потому что смерть инженера Голь испугала его. Но никакой уверенности у него не было, а происходящее ему смутно не нравилось.

— Разрешите, я объясню, — раздался голос Цильштейна.

Арон неторопливо поднялся и невольно взглянул на Катенина. Два дня они вместе изучали положение дел на станции, причины аварии и последующий удачный опыт с получением технологического газа. Два дня они поглядывали друг на друга все более вопросительно. Иногда Катенин оживлялся — вот это нужно делать иначе, вот тут я бы добился того-то... Арон понимал, что Всеволоду не хочется идти в заместители одного из молодых, что его увлекает размах предстоящих работ и он надеется внести что-то свое, новое, — есть же у него и знания, и опыт! Но бесспорно и то, что здешние парни — молодцы, и отстранить их от родного дела — несправедливо.

Готовясь выступить, Арон сам себе внушал, что организационное решение — дело Олесова и Клинского, а дело ученых — сформулировать научно-техническую сторону вопроса. Но чем больше он слушал выступающих, тем яснее понимал, что никого тут не волнует научно-техническая сторона, все упирается в организационный вопрос: кому вести дальше вот это перспективное дело.

— Мне кажется, происходит не очень красивая игра, — сказал Арон и от возбуждения помолодел, стал прежним стремительным Ароном. — Под разговоры об аварии кое-кто пытается отобрать станцию у тех, кто

ее сотворил. Отодвинуть авторов в тень. Я против. Я никогда не замараю свое имя участием в подобной сделке. Я за то, чтобы сказать честно: их метод оказался верным, а наши возражения — неверными.

Несколько часов спустя они снова сидели вдвоем в купе международного вагона. Настольная лампа озаряла оранжевым светом помолодевшее лицо Арона и угрюмое, поскучевшее лицо Катенина. Выпили чаю. Выпили вина. Беседа никак не налаживалась. Арону не хотелось выясняться по поводу того, что он помог провалить подстроенное решение, — получилось бы, что он в чем-то виноват, а чувствовал он себя правым и счастливым оттого, что ради дружбы ничем не поступился. Да и разве друг выигрывает, воспользовавшись чужой подлостью?

А Катенин снова и снова переживал сегодняшнее заседание, особенно три момента его: момент, когда выяснилось, что Светов повторил опасный опыт, и Арон пожал его руку; появление профессора Троицкого; речь Арона. Теперь Катенин отдал себе отчет в том, что давно чувствовал, — молодые победили, ему остается помогать им — или отойти. Но раз так, это он должен был встать и пожать руку Светова — он сам! Автор другого, провалившегося метода. Старый инженер, проживший жизнь честно и чистоплотно.

— Выпьем еще по рюмочке? — спросил Арон.

— Выпьем.

— Ты что... сердишься?

— Нет, почему же.

Нужно было ответить прямо, как есть. Высказать все, что мучает. Это же Арон. Старый друг. Глупо, но сегодня между ними пролегла трещинка. Зряшная трещинка. Высказать все — и ее не станет. Я же сержусь только на самого себя...

Пауза затянулась. Арон пристально взглянул на сгорбившегося, угрюмого человека, сидевшего напротив него, и недоброжелательно поморщился:

— Ну что ж. Буду устраиваться спать.

— Пожалуй, пора.

Арон подтянулся на руках и тяжело перекинул полное тело на верхний диван. Перевел дух, преодолевал одышку. Повозился, устраиваясь, — и потушил верхнюю лампочку.

Игорь впервые летел на самолете. Это была всего лишь «уточка», самолетик почтовой, или, как его окрестили на стройке, «подвязанной», авиации: злые языки уверяли, что крылья подвязаны бечевками. «Уточка» доставляла на строительство почту, дефицитные детали и разных начальников — тех, кто решался вверить жизнь старенькому самолету и молодому летчику. Сам Луганов летал и в областной центр, и на узловую станцию, если там скапливались грузы, но своим работникам разрешал полеты редко — скупился. Игорь впервые получил эту привилегию и упивался ею.

Открытая кабина была загружена приборами, так что Игорь торчал наверху подобно радиомачте и принимал грудью удары ветра. Пальцы судорожно впивались в борта, особенно при крутых виражах, а летчик, знаменитый на Светлострое двадцатилетний Васька, любил крутые виражи, бреющий полет и всякие фокусы, подтверждающие его мастерство и бесстрашие. Он боготворил Чкалова и Молокова, сокрушался, что не поспел ни к спасению челюскинцев, ни к полетам на Северный полюс, ни в Испанию. Летать с Васькой было опасно — и доставляло наслаждение еще более острое, чем моторная лодка.

Игорь с Васькой совершил полет, окрашенный романтикой, — определяясь по карте на незнакомом маршруте, они искали в тайге геологическую экспедицию и сели на разбитую дорогу, чуть не перевернувшись. В связи с реорганизацией центрального управления эту экспедицию передавали в ведение геологоразведки. Конечно, работники экспедиции волновались — какие будут оклады, какой объем работ, все ли окажутся при деле. Игорь случайно узнал об этом, доложил свой план Луганову и полетел переманивать на Светлострой работников, а заодно, если удастся, разжиться кое-каким оборудованием. Луганов благословил: подписывай любые ручательства и обещания, а там разберемся — и выдал из личного фонда ящик с коньяком. Этот коньяк и красноречивые рассказы о Светлострое помогли Игорю заполучить два новеньких потенциометра и дейсовский нивелир последнего выпуска под немыслимую расписку, где было сказано: «Во временное пользование в связи с необходимостью ремонта в мастерских Светлостройка». Потенциометры ему достались заодно с молодым расторопным геофизиком, нивелир —

вместе с опытным топографом. К ним прибавились четыре техника и два буровых мастера. Приборы лежали на дне кабины, люди находились в пути.

Игорь чувствовал себя джек-лондоновским отчаянным парнем, который нигде не пропадет. Весело сознавать, что через тайгу, на лошадях, спешат люди, полные надежд и доверия к тебе, твои будущие подчиненные. А ты, сделав дело, летишь самолетом, ты такой, что некогда плестись по земле, твои темпы — авиация! Летишь — и знаешь, что приказ о назначении руководителем отдела изысканий лежит в сейфе начальника Светлостроя, ты уже видел этот приказ, Луганов показал его и объяснил посмеиваясь:

— Пока не подписываю, вдруг Васька тебя угробит. Вернешься с удачей — считай себя шишкой всестроительного значения.

И вот Игорь возвращался с удачей, привыкая к тому, что он — шишка всестроительного значения.

Приметы ранней весны были очень заметны сверху. В горах полно снегу, а на полях — проплешины бурой земли, по всем распадкам, по всем канавам переливается, играет на солнце талая вода, речки вздулись. Во дворах МТС тракторы, возле них копошатся люди, — скоро посевная. Дороги — месиво мокрой глины, тут и там видишь — застрял грузовик, под буксующие колеса летят жерди, ветки и целые деревца...

Васька озорничает — снизится и промчится над самой дорогой, над головой бедолаги. Оглянувшись, Игорь видит, как бедолага грозит кулаком. Хорошо! Ветер режет лицо, пальцы и в двойных перчатках заоченели, порой страшновато, — но зато скорость, скорость и блаженство озорного риска!

Васька вывел самолет к реке Светлой. Как поднялась вода! Вот базовая хибарка — недавно стояла высоко над берегом, приходилось карабкаться к ней, а теперь вода подступила к порогу. Водомерщик Калистратов отвязывает лодку, отправляется на замеры... Игорь помахал рукой. Узнал Калистратов?.. «Ого, — подумает он, если узнал, — нашему-то Игорю Матвейчу какой почет!» Обрадуются люди моему назначению? Конечно! Видят же, кто работает.

Самолет тряхнуло над ущельем, а затем раскрылась панорама Светлостроя. В возбужденную полетом душу Игоря ударила несравненная ее красота. Сверху люди и

машины кажутся совсем маленькими, а все, что ими сделано, выглядит огромным, потрясающим. Среди гор и лесов вырос целый город, захлестнув оба берега, река перегороджена, стиснута, бежит по совсем узкому руслу, злится, плюется — а подчиняется. И над нею — ну да, конечно! — над нею по черным шнурам тросов скользят, покачиваясь, бабьи с бетоном. Подвесная дорога вступила в строй!

Задыхаясь от гордости — и от ветра, — Игорь смотрел на свое строительство. Пусть его труд пока не воплотился в видимые создания — скажем, в гладь водохранилища, — все равно это его строительство, его душа, его судьба — Светлострой, родина света и жизни. Да, мы создаем свет, а значит, и новую жизнь, мы — новые люди, люди творческих дерзаний, от нас начинается будущее страны...

Так думал Игорь, пока Васька делал круги над стройкой, пугая бетонщиц ревом мотора. Бетонщицы что-то кричали, — наверно, ругали Ваську. Шоферы выглядывали из кабин, экскаваторщики выглядывали из кабин, дети глазели из окон школы, приплюснув носы к стеклам. Должно быть, и Луганов глянул из окна кабинета — ага, прилетел молодец!

Вот и Тоська на своей лодчонке. Техник запустил вертушку, а Тоська удерживает лодку на стрелке. Заслонилась от солнца ладонью, смотрит — прилетел ее милый. Заждалась?

Тоська заждалась. А Игорь только к вечеру добрался до дому. Тоська кинулась к нему на шею и заплакала.

— Ты что, глупыха?

— Изныла вся... Милый ты мой, касатик мой!..

Плакала, и целовала, и смеялась.

— Я уж думала, угробил тебя Васька, лихач проклятый!

Все у нее было приготовлено — ужин, и водочка, и самовар с песнями. И все осталось на столе — забыли.

А на следующий день началось непонятное.

Приказ был вывешен с утра. Многие люди поздравляли Игоря, но при этом как-то конфузились. Спрашивали: а куда же теперь Николай Иванович? Игорь пожимал плечами: а мне какое дело! Он торжествовал. Николай Иванович один возражал против его поездки — неумеренная щепетильность! «Это не государственный подход. Переманивать работников — все равно что переключать из одного кармана в другой». Так рассуждал Николай

Иванович. Вчера, увидав потенциометры, Николай Иванович залюбовался ими, а потом сказал:

— Ваше счастье, что Луганов любит подобные методы, а то я закатил бы вам выговор. С предупреждением.

Ну-ка, что он скажет сегодня?

Николай Иванович очищал ящики стола от ненужных бумаг. Руки дрожали, лицо то бледнело, то багровело. Выглядел он до странности ошарашенным, растерянным. И чего он не в меру расстроился? Опытного инженера без работы не оставят, еще сманивать будут!

— Николай Иванович, мне очень неприятно, если...

— Не будем об этом, Игорь Матвеевич. Я бы хотел сегодня же сдать дела.

Сдачу дел он проводил деликатно, но весьма нудно. Игорь был несколько уязвлен тем, что Николай Иванович обстоятельно записал в акте, какие работы и в какие сроки были проделаны при нем. Получилось внушительно — хоть премию давай! Не собирается ли он с помощью этого акта обжаловать увольнение?

Николай Иванович, видимо, угадал мысль Игоря и усмехнулся:

— Не беспокойтесь, я воевать не собираюсь. — Он продолжил, не глядя на Игоря: — Поработаете — узнаете, что на стройках бывает два этапа. Начальный, когда все утрясается, скрипит и не клеится — тут высоких темпов не дашь. Потом все отладится — и начинается разворот. Вам повезло. Вы прибыли ко второму этапу, миновав первый. — Он пожевал губами. — Ну-ка, пересчитаем кубометры...

Проканителелились допоздна. Тоська несколько раз приносила им чай, с особой лаской угощая Николая Ивановича. Когда Игорь освободился, Тоська уже спала, занавеска была старательно задернута. Игорь не стал ломать голову, из-за чего Тоська дуется, улегся на свою койку и тотчас уснул.

Только на рассвете, проснувшись от стука двери (Тоська пошла делать утренние замеры), он понял, что вчерашний день оставил неприятный осадок. Что-то досадное, тревожащее возникло вокруг него. Люди, которых он считал приятелями, почему-то хмурились. Изыскатели излишне подчеркивали свое расположение к снятому начальнику. Чем он так подкупил их? Ничего не скажешь,

работал неплохо — для условий начального этапа стройки. Но инициативы, молодой энергии явно не хватало. Разве не видят люди, что Митрофанов внес в работу горячность и выдумку, что он делал для них то, чего не умел сделать Перчиков!

Ну, ничего. Уедет Николай Иванович — все наладится.

Чтобы не томиться в ожидании, Игорь отправился на моторке по всем базам. Трое суток разъездов и встреч с людьми оттеснили неприятные впечатления. На дальних точках Игоря ценили, его назначение приняли как должное, но и тут заботливо спрашивали: а что Николай Иванович? Куда он едет? А с семьей как же? И всем хотелось проводить бывшего начальника.

Подавляя досаду, Игорь взял с собой — провожать — только двух техников, работавших с Николаем Ивановичем еще на Днепрострое.

Предоставив желающим таскать чемоданы, Игорь явился на станцию за пятнадцать минут до отхода поезда. У единственного классного вагона, прицепленного к длинному составу платформ, толпилось множество людей. Кроме изыскателей, тут были и заместители Луганова, и начальники разных отделов и участков, и почему-то много бетонщиц. С чего бы это? Вне рабочей обстановки боевые девчата выглядели смиренными, на Игоря и не смотрели — а уж они ли не заигрывали с ним!

Протиснувшись сквозь толпу, Игорь увидел Николая Ивановича — затурканного, с потным лицом, и двух маленьких мальчиков в матросских бескозырках рядом с ним, и рыхлую женщину, сидящую на раскидном стуле. Жена, что ли? Ну и ну!

— Не знаю, право, — говорил Николай Иванович. — Пока отвезу их к матери, в Калугу, там все же есть кому позаботиться... — Он увидел Игоря и гордо выпрямился, не dokonчив. И все молчали, с угрюмым интересом поглядывая на Игоря.

— Что ж, пора садиться, — сказал Николай Иванович.

То, что произошло в последующие минуты, навсегда врезалось в память Игоря. Рыхлая женщина, сидевшая на стуле, положила руки на чьи-то плечи, ее подняли и начали медленно, с предосторожностями вносить в вагон. Когда ее кое-как подняли на площадку, она обернулась,

прощально улыбаясь. Игорь впервые увидел ее лицо — нездорово белое, напряженное, бесконечно грустное и — славное, хорошее лицо.

— Прощайте, девушки! — крикнула она и помахала одними пальцами, так как рука опиралась на чужое плечо.

— До свидания, Вера Семеновна! Счастливого пути, Вера Семеновна! Пишите! Не забывайте! — кричали бетонщицы, глотая слезы.

Вокруг Игоря тревожно переговаривались:

— А на пересадках как же?

— Провожатых двое едут, посадят. А уж дальше...

— До Калуги три пересадки...

— Носильщиков придется.

— Кто мог думать! Сколько сделали люди, и вдруг — пожалуйте вон!

— Подкопались под него.

Женский голос гневно бросил:

— Совести нет! Ну как он теперь с таким-то грузом?

Николай Иванович торопливо совал всем без разбору руку лодочкой — отсутствующий, погруженный в свою тревогу. Кто-то посадил детей. Проплыл над головами раздвижной стул.

Дежурный дал сигнал отправления.

Николай Иванович стоял на площадке и вяло махал рукой.

Среди людей, шагавших рядом с вагоном, Игорь заметил Тоську — заплаканные глаза, скорбные губы.

Постепенно отставая, он не смешался с толпой, уходившей тропочкой через пути, через горы шлака, а побрел к пассажирскому выходу, которым никто не пользовался, так как пока за ним была незастроенная площадь.

Ослепительная вывеска просияла над его головой — «Светлоград».

С площади открывались кварталы соцгорода и леса строящегося Дворца культуры. Реки не видно, только скалистый склон того берега, исчерканный витками дорог. Там, где должна быть река, скользят в воздухе бадьи: одни, полные бетоном, плывут тяжело — трос прогибается, другие легко бегут обратно. А по берегу тут и там белеют столбики — горизонт будущего водохранилища. Светлострой! Моя жизнь, моя веселая судьба — Светлострой! Что же случилось? Как же это случилось?!

В конторе было пусто. Ни один человек не зашел с проводов.

Тоська мыла под в своей комнате. И когда успела? Все сдвинуто с мест, стулья громоздятся вверх ножками на столе и кроватях. Ни сесть, ни лечь. Высоко подоткнув юбку и переступая босыми ногами по мокрому полу, Тоська рьяно скребла доски голиком.

— Ух ты, какой аврал! — добродушно сказал Игорь.

Тоська еще более рьяно заработала руками.

— Тося, что с ней такое... с женой Николая Ивановича?

Тоська помедлила. С затаенной злостью ответила — будто официальную справку дала:

— Вера Семеновна была техником по бетону. Еще на Днепрострое. И здесь с первого дня. В паводок бетонировали — кто скорей, вода или бетон. Оступилась, упала. И вот — ноги. Отнялись у нее ноги. Второй год.

В новом освещении всплыли в памяти когда-то раздражавшие картинки: Николай Иванович гуляет с двумя детишками... Николай Иванович выходит из магазина с полной сеткой...

— Я не знал.

— Все знали, один ты не знал! — сказала Тоська и выплеснула ему под ноги воду из ведра.

— Чего ты злишься? Я не виноват, если Луганов решил...

Тоська отжала тряпку так круто, что она побелела на сгибах. Распрямила занемевшую спину. Оглядела Игоря, будто впервые видит. И вдруг закричала:

— Передо мной-то не прикидывайся, я-то уж знаю, как ты охорашивался! Я такой, я сякой, у меня планы, силушка по жилушкам! А Луганову что, бегемоту, он любит горяченьких!

Стараясь утихомирить ее, Игорь сказал шутливо:

— А ты не любишь?

Тоська в сердцах отшвырнула тряпку. Согнув руку в запястье, откинула со лба прядки волос. Гневно зашептала:

— Ну и любила, потому что дура. Да разве я дура?.. Ведь кого сгубил, чертов кот! Такого человека! Мало тебе было! На ставку его польстил? На должность-звание? А подумал ты, куда он теперь денется с безногой женой да с малыми детьми? Вспомнил ты, как

он тебя учил-наставлял, когда ты сюда желторотым прибыл? Я помню! Через дверь слушала — вот, думаю, добрая душа! При таком начальнике любой студентиха в два счета в люди выйдет. А ты его же и подсел!

— Знаешь, ври, да знай меру. Подсел! С ума ты сошла, что ли? И откуда я знал, что у него с женой такое несчастье? Говорила ты мне?

— А ты спрашивал?

Игорю хотелось хлопнуть дверью, уйти раз и навсегда. Дура! Но что-то мешало ему. Если уж Тоська так думает... Нет, это просто ужасно, что даже Тоська...

А Тоська как с цепи сорвалась. Расставив ноги и крепко упираясь босыми пятками в мокрый пол, подбоченясь, гневно сверкая глазами, она так и сыпала, так и сыпала:

— Людей-то — замечаешь? О людях — интересуешься? Вот ты со мной спишь, а что ты обо мне знаешь? Фамилию мою — и ту навряд слышал! Веселая да покладистая, полез обнимать — по рукам не шлепнула, еще и прижалась? А какая у меня жизнь была — спросил? Кто ее вытоптал, кто распрямил? Тебе и неинтересно. Сыт, обогрет, обласкан — и ладно. А в душу мою заглянул хоть раз, какая она — эта самая душа в теле? Тело-то сладко, а душа, может, горше полыни? А? Ни к чему тебе? С бумажками сотенными разбежался, кот поганый, ну и чист!

Еще и это припомнила. Случилось однажды — приболела Тоська, еле ходила. Игоря к себе не подпускала. Он встревожился:

— Да что у тебя, Тося? Может — доктора нужно?

— Что, что! — усмехнулась Тоська. — Будто не знаешь, кобелек, что у баб бывает, когда с вашим братом спугаются!

Потом еще и так посмеялась:

— Зря не обкрутила тебя по такому случаю. Неплохое было б дите от тебя, кучерявенькое, культурное.

Он мучился тогда, не знал, как вручить ей денег: ведь аборт чего-то стоил, и немало стоил, аборт запрещены...

— Ах ты, чистоплюйчик! — воскликнула Тоська, поняв его намеки. — Откупиться от греха захотел? Так ведь я бабочка вольная, на аркане в постель не затащишь, сама выбираю, кого хочу, сама и выпутываюсь.

Ты бы лучше цветков нарвал, когда по базам своим шатаешься, или шампанского деми-сек — какое оно, и не пробовала. В субботу принеси, слышишь? Деми-секу! Гуляет в субботу Тоська, конец великому посту!

Они славно повеселились в ту субботу. Ни одного упрека не слышал он от Тоськи. И денег не взяла. А теперь припомнила: с сотенными бумажками... кот поганый... Ну и язычок!

— Хватит! — прикрикнул он, рассердившись. — Намолола, наорала. Давай-ка домывай пол да освободи мне постель!

— Освобожу! — буркнула Тоська и подняла тряпку. — Сегодня освобожу, а вообще-то... квартирку похлопочите. Начальник теперь! Что вам — в углу-то!..

Как это понимать — отставка?

Хлопнув дверью, он выскочил из дому.

Кругом люди: кто гуляет, кто на крылечке сидит, кто по делу торонится. Людей много, а видеть никого не хочется.

У берега поскрипывала, покачиваясь, лодчонка с подвесным мотором, верная подруга.

Отомкнул замок, бросил в корму цепь, оттолкнулся...

Тихо шла лодка по вечерней реке, стрекоча мотором. Сумрачно сияла вода, вбирая блеклые краски закатного неба. Расходясь от носа лодки, широко разбегались волны, с шипением и всплесками ударяя в берега. Впереди пугающе темнело ущелье. Позади мрачно серела бетонная махина головного сооружения, зловещими пиками утыкались в небо черные стрелы кранов. Светлострой... Новые люди... Что же произошло, как же это вышло так нехорошо?

Пронзило воспоминание о рассказе приятеля: на оперативке Николай Иванович докладывал ход изысканий. Луганов прервал:

— Ваш заместитель доложил мне проект перестройки работ. Хвалю. Поддержу.

Николай Иванович замаялся, так как не знал, о чем речь.

— Способны вы провести всю эту историю? — напирал Луганов. — Тогда действуйте поэнергичней.

Николай Иванович молчал.

— Да проснитесь вы! — закричал Луганов. — Вот, ей-богу, рыба кровь!

Когда Игорь вернулся из Москвы, Николай Иванович сухо заметил ему, что не следует действовать через голову своего начальника.

Игорь сказал:

— Это был частный разговор у костра.

А это была — подлость. Как ни верти — подлость.

Темнела река, закручивая струи воронками. Низко нависало небо. Без цели моталась по реке лодчонка с подвесным мотором. И сотни горьких мыслей, клочковатых воспоминаний давили голову. Хоть плачь, хоть кричи. Слез не было, и крика не получилось, слово сорвалось с губ совсем тихо, жалобно: папа!

Он повторил про себя — папа!

Но тысячи верст между ними. Отчуждение — между ними. И нельзя помчаться к нему, чтобы припасть к родной руке, и ничего не суметь — в письме. Нужно — самому.

11

Как оно приходит — возмужание?

Ты уже вырос как будто, раздались плечи, поглубел голос, ты кое-чему научился, с тобой уже считаются всерьез, как с работником, но тебе еще в диковинку уважение взрослых и забавно, если тебя величают по имени-отчеству. Еще подводят самолюбие и беспечность, еще не умеешь ни взвесить, ни проконтролировать самого себя, и никто не догадывается, как часто ты спотыкаешься и как больно бьет тебя по носу жизнь. Ты считал лучшими свойствами человека мужество и неподкупное благородство. Как же случилось, что вдруг, опомнившись, ты обнаружил, что тебе изменило благородство, а мужество оказалось незатейливым позерством?.. Ты проверяешь себя еще и еще, все тревожней, все смущенней. Сколько нелепых поступков, мелких побуждений! Решений всего два: или прикрыть глаза на то, что обнаружил, и жить как придется, как поведут желания и страсти, — или взять себя за шиворот и судить самого себя жестче, чем судишь других.

Ты выбираешь второе. Ты учишься руководить — нет, не людьми, самим собой; это трудней. Среди соблазнов и увлечений ты прислушиваешься к голосу разума и совести. У тебя не было недостатка в идеях и принципах,

но они порой существовали сами по себе, а поступал ты так, как подскажет минута; и вот ты продираешься к сочетанию идей и воплощения, принципов и поступков...

Двадцать шесть лет. Еще чуть-чуть мальчишка, уже совсем мужчина. Все силы развились, и ничто не потускнело. Мир еще нов и влекущ, но ты уже определился в нем.

Это — зрелость?

Игорь стоял у окна вагона и с немного выспренней многозначительностью обдумывал жизнь и самого себя. Это помогало смирять нетерпение, — он подъезжал к Москве.

Какими прелестными показались ему подмосковные округлые холмы, неспешно струящиеся речушки в зеленых берегах под задумчивыми ивушками, деревни — такие зеленые, что домов почти не видно, только заросли кустов, ветви яблонь с желтеющими плодами да крыши, возносящие в небо торчки антенн. Поля раздольны — на одних желтеет стерня, другие только что вспаханы, и даже издали чувствуется, как сочна земля.

Нет ничего блаженней возвращения домой. Наверно, через две недели, подъезжая к Светлограду, тоже будешь радоваться — место, где ты как следует поработал, становится родным, и ревниво хочешь участвовать во всем, что там будет. Если бы сейчас предложили на выбор — Светлоград или Москва, ответил бы не задумываясь: Светлоград! И все-таки нет ничего милее московских неровных улиц и улочек, суматошных трамваев и роскошных залов метро, пестрой московской толпы, где певучий московский говор перемежается сотнями говоров и языков. Нет ничего милее дома в кривом переулке, где на осипший от времени звонок выбежит мама, где в дверях кабинета, заваленного книгами, покажется отцовская сутуловатая фигура в домашней куртке...

Они казались неизменными — и переулок, и дом с облупившейся штукатуркой, и запах табака, тянущийся из отцовского кабинета, и уж, конечно, неизменны мама и отец. А вот он изменился. Почувствуют они перемену в нем? Отец — почувствует?

Отец скажет: валяй рассказывай. О делах изыскательских — тут отец поймет с полуслова. Что-то одобрит, в чем-то осудит или предостережет. А вот о том, главном... «Папа, я узнал простую истину, что каждый работник — человек со своей жизнью». Звучит наивно —

подумаешь, открытие! Отец говорил об этом не раз. И Аннушка Липатова. Но в том-то и дело, что мало знать, нужно ощутить изнутри. Я не ощущал. Наука далась не легко. А потом оказалось, что это не так уж трудно, самому приятней. «Папа, я перевел Калистратова с дальней точки в Светлоград, потому что у него жена вот-вот родит, она молодая и боится». Нет, об этом не стоит, отец скажет — правильно, но чем тут хвастаться? «Папа, трех парней, которые готовятся в техникум, я свел с разных буровых на одну, чтобы они могли заниматься вместе». Тоже ничего особенного. С Калистратовым были кое-какие сложности, а тут обычная переброска. Но ведь не в ней главное. Главное — я сам узнал о том, что жена Калистратова нервничает, а те парни учатся. Раньше меня уважали, подчинялись мне, — а о своем, о личном не рассказывали. Даже Тоська...

О Тоське определено нельзя — ни с мамой, ни с отцом. Для мамы все женщины, что появляются в жизни сына, — это «такне женщины», способные окрутить, а то и заразить болезнями, которые она брезгливо называет по-латыни. Мамины разговоры на эту тему — сплошная профилактика. С папой... нет, и с папой все еще чувствуешь себя мальчишкой, которому нужно притворяться, что он не курит, не пьет и чурается женщин. Папа сам поглядывал на Лельку Наумову с нежностью, это уж точно. Но рассказать ему о Речной Тоське?..

Три недели Игорь спал на раскидушке в конторе. Тоська первая пришла к нему. Ничего не простив, не требуя покаяний, — пришла, поманила. Он хотел объясниться, она лениво улыбнулась:

— Не надо. Ты же не злой, глупый еще. Я ж понимаю.

Были дни в их возродившейся близости, когда он решил, что честность требует женитьбы. Заговорил об этом с Тоськой. Она растрогалась, а потом сказала:

— Дурость все, Игорек! Дурость! И я тебе не жена, и ты мне не муж.

Может, она ждала, что он будет спорить, просить? Кажется, нет, не ждала.

Однажды он простудился, захворал. Тоська часами сидела возле него. И как-то ночью, когда он лежал ослабевший и смиренный, начала рассказывать о себе:

— Знаешь, как дурушки молодые влюбляются? Так и я. Только и свету в окошке — Фролушка! Красивый он

был. Ну и я — ничего. Кто ни поглядит — парочка! Поженились, я думала — не бывает лучшего счастья у людей. Он на меня дышит, я на него. Рыбачим — вместе, домой — вместе. А только запахло мне, дура, в голову — пусть станет инженером по рыбному делу. Приезжал к нам один такой. Интересно все объяснял. Понравилось. Размечталась. Он говорит — давай вместе. А тут сыночек родился. Куда с ребенком ехать? Уговорила я его — жизнь большая, мы свое возьмем, только выучись! Уехал. Далеко уехал, в Астрахань. Первый год писал, и я писала, деньги посылала, на каникулы ждала. И вдруг пишет — летняя практика на Каспийском море, не отпускают. Могло так быть, как думаешь?

Помолчала, сама себе ответила:

— Хотел бы — нашел бы время. Да разве я тогда понимала! А на второй год, в октябре, заболел сыночек. Дифтерит. И как его, маленького, скрутило... У нас ни врача, ни фельдшера. А Фролушка мой задыхается, задыхается у меня на глазах. Схватила я его, закутала — и в лодку... все равно спасения нет — или в город добраться, или здесь похоронить. Всю ночь гребла. Погляжу, жив ли, и опять гребу. А один раз поглядела — кончается...

Она рассказывала, как закричала над ним, как пустила лодку обратно по течению — пусть бросит на камни, потопит, все легче, чем остаться жить. Так ведь не потопило! А большой Фрол не вернулся. Ждала-ждала, потом запросила его институт, ответили: выехал на работу в район Азовского моря...

Рассказывала она с подробностями, взволнованно дыша, заново переживая обиду. А заключила с усмешкой:

— Вот тогда я и узнала цену вашему брату. Без вас — скучно, а только любви ни один не стоит. Так, забавы ради...

Чувство, которое возникло у Игоря в последнее время, тоже было ново, — он жалел ее. Подчеркивает Тося, что оба — вольны, сняла с него всякую ответственность — а он ее ощущает...

Спросить бы отца — как он рассудит. Да не спросишь такое.

В переулке снесли два деревянных дома, возводили каменный, многоэтажный. Дом, где он родился и жил,

оштукатурили заново. Но лестница была старая, запущенная. Звонок звонил так же слабо. Открыла мама.

Она вскрикнула и обняла его точно так, как ему представлялось, а затем сказала своим деловым, «депутатским» голосом:

— В командировку? Надолго? Зря не телеграфировал, я назначила на вечер заседание, которое могла отложить.

Потом она установила, что у нее есть два часа с четвертью, и снова превратилась в маму как таковую, — заставила принять душ, начала хлопотать на кухне. Конечно, в доме не нашлось ничего, кроме сосисок и пирожных, — такая уж она хозяйка. Но сосиски были московские, поджаренные мамой, и пирожные были московские, и напротив сидела мама в темном свободном платье — докторском, под халат.

— Ты изменился, да?

Так спросила мама.

— Очень.

— Надеюсь, к лучшему?

— По-моему, да.

— Постепенно разберемся.

И все. Мамино золотое качество — не докучать распросами.

— Знаешь, мама, наш Луганов так же, как ты, любит говорить «разберемся». Мы с ним весной умыкнули из одной экспедиции несколько работников, нивелир и два потенциометра. Он сказал: разберемся. И до сих пор разбираемся.

Мама-депутат сдержанно улыбнулась и спросила: как?

— Крутили, отговаривались, а недавно сообщили, что приборы сломались, пришлете счет — оплатим, а на большее не рассчитывайте.

Машины глаза смеялись, но затем вступила в строй старая большевичка Митрофанова, которая считала, что нужно бороться за честные права и такой порядок, при котором... И обе мамы, прищурив близорукие глаза, спросили:

— Это и есть твое изменение к лучшему?

— Нет, я сперва умыкнул, а потом стал меняться. И знаешь почему? Краденый геофизик оказался порядочной дрянью.

— Так тебе и надо! Он не перебежит еще куда-нибудь с этими... потенциографами?

— Потенциометрами. Может и перебежать.

Было чудесно, что мама не ахала и не тревожилась, а говорила с ним как с равным. Было чудесно смотреть на ее круглое розовое лицо с мелкими морщинками у глаз, на ее коротко стриженные седые волосы — седина не старила ее, а украшала.

— Папа скоро придет?

— Нет.

По краткости ответа ясно, что мама чем-то недовольна.

— Что он делает? Работает?

— Он работает, но не служит, — точно ответила мама. — Числится в резерве. Ему предлагали экспедицию на Север — отказался. Просился в район Тургайского плато — не послали.

— Неприятности... кончились?

— Ты же знаешь папу — молчал, молчал... — Мама очень похоже изобразила упрямо молчащего папу. — А потом взорвался — да как пошел резать правду-матку! Говорит, стер в порошок этого Сорокина. Ну, не знаю...

— И чем же он занят?

— Все тем же. — Мама пристально поглядела в глаза Игорю и веско сказала: — Все нужно, сынок. И твоя кипучка, и мои «дышите — не дышите», и его большие замыслы. Мне не нравилось, когда ты судил узко.

Припечатала — и не стала развивать мысль. Умному понятно.

— Так где ж все-таки папа?

Мама поглядела на часики и сказала, что сейчас папа делает доклад студентам географического факультета.

— Это в порядке чего же?

— В порядке личной инициативы, — сказала мама. — Множество докладов в самых различных аудиториях. Знаешь, у Маркса — идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Он сейчас очень в форме.

— Та-ак... А оттуда он — куда?

Мама презрительно дернула губами и сообщила, что сегодня — день рождения этой... Татьяны Николаевны и папа пойдет «на весь этот шум».

— Сколько же ей лет?

— Не знаю. Говорит, что тридцать пять.

— А ты по-прежнему не любишь ее и к ним не ходишь?

— Я люблю Русаковского, когда он один. А ходить нужно только туда, куда хочется. На иное жаль терять время.

Это говорила старая большевичка. Она сердилась и, наверно, весьма преувеличенно представляла себе «весь этот шум», создаваемый Русаковской, но справедливости ради тут же объяснила:

— Он колебался, идти ли. Я сама его послала. Тем более что у меня заседание. Ему полезно встряхнуться, — добавила доктор Митрофанова. — Он слишком безотрывно работает. Как я понимаю, ты побежишь туда, как только я уйду, — насмешливо предположила мама.

— Это идея! Но сперва я провожу тебя на заседание.

После бивачных условий Светлограда, работы с утра до ночи и общества Речной Тоськи было особенно приятно попасть в среду интеллигентную, блестящую и веселую, увидеть нарядных женщин, — вернее, нарядную женщину, потому что тут, как всегда, безраздельно царила Татьяна Николаевна, две пожилые родственницы в счет не шли.

Татьяна Николаевна была в восторге от появления Игоря, — видимо, не хватало молодежи. Женя Трунин все-таки уехал на Алюминиевый комбинат.

— А Илья Александров здесь?

Татьяна Николаевна с притворной веселостью сказала, что Илюша отбилась от рук, целые вечера играет в теннис — новое увлечение! Приедет попозже.

Игоря уже не интересовало, будет ли Илья, — в открытую дверь он заметил отца — отец что-то оживленно говорил и казался помолодевшим, посвежевшим, таким Игорь его не видел давно.

Встреча вышла еще лучше, чем он представлял себе. Отец, не стесняясь, обнял его, и расцеловал, и похвастал перед гостями:

— Вот какой сын вымахал! Строитель Светлоградской ГЭС!

И уже не отходил от Игоря.

По случаю дня рождения стол был парадно накрыт, а столовая уставлена цветами — в корзинах, в горшках, в вазах. Татьяну Николаевну посадили на возвышение, украшенное розами, — она была очень хороша среди роз, но уверяла, что муж придумал это нарочно, так как при каждом движении ее подстерегают шипы. Русаковский казался очень влюбленным. Большинство гостей — тоже.

И только два человека были заняты друг другом — отец и сын. Они и сели рядом, на конце стола, и при всех тостах чокались за что-то свое. Никаких объяснений между ними не было, объяснения оказались ненуж-

ными. Почему узнал отец, что сын много пережил и продумал? Какими путями он дошел до понимания того, в чем сын не признался? Только он сказал:

— Вот теперь можем выпить за отца и сына. — Чокнулся и лукаво спросил: — А святой дух не завелся?

— Святой — нет, — ответил Игорь.

Отец поперхнулся от смеха и с мамиными интонациями сказал:

— Разберемся!

Галья Русаковская — в кружевном платье, с громадным красным бантом — сидела по другую сторону от Матвея Денисовича и старательно потчевала обих.

— Выпьем за Галинку, пап? За то, чтобы гидротехник Русаковская повернула на юг те реки, которые не успеешь повернуть ты!

Произнеся тост, Игорь испугался слов «не успеешь», — но Матвей Денисович уловил в этом тосте другое, неизмеримо более важное для него, выпил до дна, а потом нашел под столом и крепко пожал руку сына.

Звонок возвестил о приходе запоздавшего гостя.

— Это Илюша! — воскликнула Татьяна Николаевна, радуясь, что ее свита укомплектована полностью.

Действительно, за дверью мелькнул Илья Александров, но перед собою он пропустил в комнату высокую тоненькую девушку, одетую по-спортивному ловко.

— Прошу внимания! — провозгласил Илья. — Витя Сарычева. Кандидат физических наук. Теннисистка-перворазрядница. Привел, потому что отдельно от нее я уже не человек.

Первое, что заметил Игорь, было быстрое изменение в лице Татьяны Николаевны — внезапный гнев, минутное смятение, а затем чарующая улыбка. Вторым впечатлением Игоря было то, что девица, без которой Илья Александров уже не человек, некрасива и к тому же слишком высока и худа. Девица и Илья в четыре руки преподнесли Татьяне Николаевне небольшую, слегка потрепанную книжку.

— О, это библиографическая редкость! — воскликнул Русаковский.

— Сейчас мы вас усадим, — сказала Татьяна Николаевна, высматривая, куда приткнуться прибор.

Все засуетились, сдвигая стулья. Илья со своей Витей оказались рядом с Игорем. Илья смотрел на нее с такой восторженной преданностью, что Игорю начало

казаться, что теннисистка и кандидат наук не так уж дурна, как сперва показалась. Мужская стрижка идет к ее узкому лицу. В глазах и улыбке — много ума. Спортивный стиль выбран с толком. Нет, она — ничего.

Матвей Денисович осведомился, по какой теме защитила столь юная девушка кандидатскую диссертацию. За столом притихли, всех интересовало то же самое. Витя Сарычева понятливо блеснула глазами, но ответила уклончиво:

— Тема специальная, чисто теоретическая.

— О-о! — протянула Татьяна Николаевна. — Вы боитесь, что мы не поймем?

— Нет, — быстро откликнулась девушка и метнула в ее сторону взгляд, похожий на удар шпаги. — Я просто вспомнила, как после защиты ко мне подошел один почетный профессор, поздравил меня и спросил: «А теперь признайтесь, милая девушка, неужели вы все это сами написали?»

Переждав, чтобы затих общий смех, Татьяна Николаевна с милой улыбкой сказала, что вопрос даже лестен, потому что для всякой девушки обаяние молодости в общем-то ценнее, чем признание больших научных знаний, недаром наша гостья кроме теоретических исследований увлекается изящным спортом. Пилюля была подана в нежнейшей упаковке, но это была все же пилюля.

— Обаяние молодости иногда отступает перед опытом зрелых лет, — немедленно ответила Витя Сарычева. — К тому же я занимаюсь атомами, а они такие маленькие, что прекрасно помещаются рядом со всем прочим.

— Два — ноль в вашу пользу! — воскликнул Игорь.

Теперь он находил девушку очаровательной. Тонкое, своеобразное лицо. И остра — палец в рот не клади! Даже страшновато опростоволоситься перед нею. Вероятно, это почувствовала и Татьяна Николаевна. Игорь видел, что она взбешена и потеряла уверенность. Но нет, она не сдалась. Она сделала лучшее, что можно было:

— Прошу тост! В этом доме давно ценят Илюшу Александрова. Сегодня мы принимаем в дом и в сердце его подругу. Так выпьем за талант, за молодость, за счастье!

— Ах, умна! — шепнул Матвей Денисович сыну.

— И хороша! — добавил Игорь, возбужденный стремительным поединком двух женщин и уколами мужской зависти; он даже не вспомнил Речную Тоську, он поду-

мал о том, что вот и Илька нашел свое, а он — один, и нет женщины, которую он мог бы показать друзьям, любясь ею и гордясь.

Удивительно, как отец сегодня понимал его!

— Когда есть молодость, талант шлифуется трудом, а счастье... счастье приходит само, и обычно не с той стороны, откуда ждешь. — Он улыбнулся Ильке и Вите Сарычевой, но говорил для Игоря. — Займешься спортом ради спорта, а оно вдруг выгянет из-за ракетки.

Игорь ласково присматривался к отцу — что сделало его, немолодого, обремененного всякими неприятностями, таким счастливым? И что такое счастье? Для Ильки оно сейчас — синоним любви. Но счастье шире и протяженнее, чем любовь. Пройдет начальное упоение — и любви окажется мало. Так в чем же оно? В ладу с самим собой? В полном удовлетворении тем, что делаешь? Не в достигнутом результате — за одной целью тутчас возникает другая... Вероятно, счастье — в процессе полного использования своих умственных и душевных сил ради того, что тебе дорого? Но тогда, значит, я счастлив, хотя и не думал об этом?

Позднее, возвращаясь домой пешком, чтобы проветриться, Игорь спросил:

— Папа, когда ты чувствовал себя всего счастливей?

Отец ответил после короткого раздумья:

— Много раз. И каждый раз по-иному.

— А самое-самое большое счастье — когда было?

Отец долго не отвечал, шел медленно, слегка закинув голову. Ищет в памяти? Или вопрошает звезды, которыми сегодня полным-полно открытое небо?

— Тебе покажется странным — от человека в пятьдесят пять лет, — проговорил он и повернул к Игорю энергически напряженное лицо, — но мне почему-то представляется, что самое-самое еще впереди.

Все началось с того, что в центральных газетах появились — одна за другой — статьи об успехах подземной газификации угля.

Кто мог думать, что статьи накличут беду? Им радовались ими гордились. Липатов уже привык принимать журналистов и фотографов, не растерялся и перед кино-

хроникой — надел чистую рубашку, повязал галстук и вполне правдоподобно поразговаривал с Ваней Сидорчуком у головки скважины, не обращая внимания на лучи прожекторов и жужжание киноаппарата.

Дело развивалось. Уже заложили опытно-промышленную станцию в Кузбассе, где нашлись свои энтузиасты подземной газификации. Началось строительство станции в Подмоскowie — там, где не так давно провели опыт по методу Вадецкого — Колокольникова. Проектировались новые станции. Наиболее пылкие энтузиасты утверждали, что пройдет лет пять, в крайнем случае — десять, и новых шахт строить не будут.

Уверенность в успехе преобразовала людей. Олесов, про которого Липатов говорил, что он жметя, мнетя, переминаетя и лучше удавитя, чем сам примет решение, — Олесов прямо-таки землю рыл — его доброе внимание ощущали все работники. Он уже не глядел в рот Вадецкому и позволял себе повышать голос на Колокольникова, если тот затягивал срочные решения.

Впрочем, и Колокольников изменился. Барственной холодности поубавилось, заинтересованность техническими проблемами, возникавшими в практике, проявлялась все чаще. Теперь и он позволял себе за глаза ругнуть Вадецкого «злыдней» и «другом на час».

Алымов был еще напористей и громогласней, чем раньше; его глазки неистово сверкали из-под набрякших век, ноздри раздувались. Он дышал воздухом удачи и счастливых предчувствий. В Донецке он бывал теперь реже, в его обращении с Катериной пробивались властные нотки. А Катерина будто и не замечала этого или ей нравилось — кто знает! Когда приезжал Алымов, она бросала и дочку, и любые дела, у нее был вид человека, спешащего впрок наглотаться радости.

— Все не как у людей, — вздыхала мать, — муж он тебе или не муж?

Катерина отвечала заносчиво:

— А какая вам разница — кто?

Однажды она вдруг задумчиво сказала брату:

— Если ты переедешь под Москву, может, и мне с тобой поехать? Я бы в компрессорной могла работать.

Палька так удивился, что не ответил. Впрочем, она и не ждала ответа.

Опытных работников не хватало, одному из руководителей станции № 3 предлагали перебраться в Подмоскowie,

вье. Палька считал, что ехать должен Липатов — там идет строительство, у Липатова по этой части больше опыта.

Липатов говорил: «Нема дураков». Он заявлял: «Предложи мне в Кремль — и то не поеду!» Он кричал: «За столько лет впервые семья в сборе, да чтобы я опять бобылем мотался?!»

Да, впервые за много лет Аннушка была рядом. Ее светлоглазое, дочерна загорелое лицо и фигурка в выцветшем комбинезоне постоянно мелькали на станции № 3 в тех местах, где закладывали новые скважины, а контора буровых работ теперь всегда отпускала доброкачественные штанги.

Липатову доставляло огромное удовольствие говорить людям «мне пора домой», «меня ждет жена»...

На самом деле не все было так гладко, как он старался показать. Аннушка пыталась — и не умела наладить жизнь семьи. «Захолостячилась я, что ли?» — виновато вздыхала она, с досадой замечая, что хозяйство расплывается в ее неопытных руках, что всех домашних дел не переделать, как ни старайся, а дочка не слушается и глядит в сторону. Осенью Иришка устроила настоящий бунт, отказавшись перейти в другую школу, — были и слезы, и крики, и умильные просьбы, а кончилось тем, что Иришка осталась в поселковой школе, ездила туда трамваем, а из школы забегала к Кузьменкам и норовила заночевать. Липатов сердился, Аннушка огорчалась и нередко мчалась вечером в поселок Челюскинцев — за дочкой.

Всю неделю жизнь шла кувырком, зато в субботу начинался семейный аврал. Липатов занимался хозяйственными заготовками, Аннушка повязывалась передником и с подчеркнутой домовитостью стряпала всякие кушанья и пекла пироги — их потом хватало до среды. Иришка быстро усвоила, что за примерное поведение в субботу и воскресенье ей простятся грехи во все другие дни недели, являлась домой прямо из школы, убирала квартиру и лихо мыла пол, всеми ухватками подражая Лельке. Она умела подластиться к отцу и выпросить всякие поблажки. Утром она будила отца, водя теплой ладошкой по его колючей щеке:

— Ежику надо бриться!

Липатов таял от блаженства и покорно брился, а дочка подавала ему теплую воду и протираала бритву, ме-

жду делом обеспечивая деньги на кино — себе и Кузьке, а то и еще кому-нибудь из поселковых приятелей.

С понедельника все опять шло кувырком, но до середины недели Липатову хватало субботних и воскресных ощущений. Ему казалось, что вот-вот все наладится. Срываться куда-то на новое место? Дудки! Пусть Палька едет, ему что! — собрал чемодан и готов.

Палька не говорил ни да, ни нет. Он понимал, как интересно и важно испытывать метод на бурых углях Подмосковского бассейна, но ему было жаль покидать донецкую станцию — теперь, когда она начала выдавать промышленный газ, когда идут исследования, двигающие вперед всю проблему подземной газификации. На новой станции придется заниматься строительством и наладкой, то есть в известной мере повторением пройденного.

— Я могу приезжать консультировать их, — сказал он Олесову, а потом сам удивился: ишь ты, какой важный стал, соглашаюсь консультировать!

И все же порой хотелось все бросить и уехать куда глаза глядят, потому что здесь, в Донецке, было трудно встречаться и еще труднее — не встречаться с Клашей Весненок.

Перед тем как Степу увезли в Одессу, Степа сам заговорил о Клаше и высказал то же, что думал Палька, — бесполезно глушить любовь ради чего бы то ни было.

Если бы Палька мог честно взглянуть в глаза товарищу, разговор шел бы иначе. Но перед ним был человек с повязкой на глазах, с бескровными, мучительно сжатыми губами. С этим человеком, быть может обреченным на вечный мрак, Палька не мог говорить начистоту.

— Мудришь, дружище, — сказал он, — ты не так понимаешь наши отношения. Мы с Клашей приятели, но и только. Так что езжай и скорей поправляйся.

Поверил Степа? Может, и поверил.

Из Одессы сведения поступали неясные. Сверчкова-мама была не очень-то грамотна и легко впадала в панику. В общем, она сообщала, что Филатов надеется восстановить зрение Степы, но ничего не обещает, а операции мучительно... Иногда приходили короткие писульки от самого Степы. Из нацарапанных вслепую каракулей следовало заключить, что все идет прекрасно, Одесса — чудесный город, а Степа скучает без подземной газифи-

кации. В конце письма он передавал приветы всем товарищам — и Клаше. Ей он не писал совсем. Значит, все-таки не поверил?.. Клаша продолжала каждую неделю писать ему длинные письма — крупными буквами, чтоб разобрала мама.

Пальку Светова избегала.

Долгое время Палька считал, что виной всему — та встреча у гостиницы, тот пажонский поцелуй руки! Конечно, Клаша и слушать не захотела, когда он попытался объяснить ей.

— Мне это совершенно неинтересно.

Среди других истин, известных Клаше абсолютно точно, была и та, что целование руки — буржуазный и даже феодальный пережиток. Палька тоже считал, что это пережиток, и не мог допустить, чтобы Клаша истолковала в позорном для него смысле тот несчастный поцелуй.

— Липатушка, будь другом, найди способ объяснить Клаше, что сделала для нас Русаковская, — так он решил выкрутиться из трудного положения.

Липатов согласился неохотно. Как и все, он считал, что Клаша связана со Степой, а значит — печего заглядывать на других. Он все же рассказал Клаше, как было дело. Оказалось, Клаше это интересно. Палька сразу почувствовал, что она перестала дуться на него. Но избегать — не перестала.

Они подолгу совсем не виделись. Чтобы не оказаться вечером возле ее дома, он оставался ночевать на станции. Так удавалось протянуть семь дней, десять дней, иногда — две недели. И наступал вечер, когда ноги сами вели его на ту улицу.

— Клаша, здравствуй! — восклицал он, подкараулив ее.

— Откуда ты взялся? — розовея, удивлялась Клаша.

Они проходили мимо ее дома и бродили взад-вперед, выбирая безлюдные улочки. Они так долго ждали встречи, что теперь могли говорить о чем угодно, лишь бы встреча длилась и длилась. Палька каждый раз открывал в ней что-то новое — и даже ее недостатки казались ему чудесными. Выяснилось, что она нетерпима и порой несправедлива к своим недругам — одного из них, весельчака Кольку Бурцева, она считала вместилищем всех пороков; Палька знал этого парня и понимал, что Клаша преувеличивает, но слушал с наслаждением — в ее не-

справедливости было столько страсти и потребности видеть людей прекрасными! И снова к нему пришло определяющее слово «надежная». Надежная — не на час, на всю жизнь...

Выяснилось, что у нее кремень, а не характер. Однажды, споря и с нею, и с самим собой, он высказал мысль, что считаться с предвзятым мнением окружающих и ради этого подавлять себя — недостойно. Клаша подумала и твердо сказала:

— Я никогда не считаюсь с мнением неправильным.

Значит, общее убеждение в том, что ее и Степу связывала любовь, — правильно? Палька насупился. Клаша поняла и, покраснев, быстро добавила:

— Но с совестью считаться необходимо.

В другой раз они заговорили о фашизме и о возможности войны — опасность войны, то грозно приближаясь, то отдаляясь, все время нависала над страной. Немного рисуясь, Палька спросил, будет ли она тревожиться о нем, если он пойдет воевать.

— А я сама буду на фронте, — сказала Клаша.

Когда позднее она прочла ему строки Светлова:

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели,—

он мысленно видел именно ее...

Лучшие минуты их редких встреч были связаны со стихами. Все то, что они не позволяли себе сказать друг другу, говорили за них стихи. Можно было подумать, что поэты, сговорившись, писали для них двоих.

Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся,—
Хорошо с любимой в поле затеряться,—

читала Клаша, и это они мчались на тройке, хотя никогда не видали троек, и он ее придерживал рукой в узких санках, и они терялись в снежном поле — совсем терялись, для всех и ото всех...

Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

И это было о них, о поколении самоотверженных, к которому они оба принадлежали всеми помыслами, свя-

то веря, что новые счастливые поколения примут из их загрузевших рук все, что ими создано.

Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой...

Эти строки были непосредственно о них — о ней. Кляше показалось, что не она, а он произнес эти слова — ей в упрек, и она не дочитала стихотворения, потому что дальше шли строчки, которые требовали от нее: встань рядом с любимым и не расставайся! Правда, в тех стихах речь шла о военной грозе, но Кляша подумала: если б грянул такой час, их ничто не разлучило бы, кроме смерти. Сейчас — сложнее.

— Что же ты замолчала?

— Забыла... Нет, вру. Думаю.

— О чем?

— Бывает, что граница все-таки есть и ее не перейти.

Он был не из робких, а перед нею робел. Перед путаницей их отношений и обязательств совести — робел. Но сейчас подошла минута, когда можно заговорить о том, о чем они так долго молчали.

— Хочешь не хочешь, а границы никакой нет. Ты — любимая.

Несколько минут — а может, секунд — они были очень счастливы, потом Кляша положила ладонь на его рукав и еле слышно произнесла:

— Я давно хочу сказать тебе. Ты здоровый и удачливый, во всем удачливый. И я — в общем, у меня тоже все хорошо. А у него плохо. И он надеялся... я сама виновата, что он надеялся, мы так дружили, я совсем не знала, какая она — любовь. А теперь я не могу подбавлять ему горя. Ты больше не приходи, Павлик. Не приходи. Пойми — нехорошо.

Сколько бы он ни сопротивлялся в душе ее требованию, сколько бы он ни убеждал себя, что их разлука не принесет Степе ни любви, ни облегчения, — он сам не мог подбавлять горя Сверчку.

«Уехать! — решал он. — Уехать, сменить обстановку, закрутиться в новых заботах!»

Он еще не дал согласия на отъезд, когда разразилась беда.

Вот уже два месяца шла перебранка между Липатовым и начальником шахты, — разработка пласта подходила все ближе к станции, переступая границу участка, отведенного для подземной газификации. Липатов требовал, чтобы шахта прекратила проходку. Руководители шахты упирались, потому что как раз на этом направлении добыча угля росла день ото дня... Липатову было трудно ссориться с ними. Все — дружки-приятели. Участок, вклинивающийся в запретную зону, — его бывший участок, где и сейчас работает Кузьма Иванович.

Он попробовал уговорить Кузьму Ивановича — уйди добром.

— Да ты что, Михайлыч? — огрызнулся старик. — Или позабыл, что такое план? Заграбастали этакий мощный пласт и в ус не дуют!

— Так ведь опасно, Кузьмич!

— А ты погляди, где мы, а где ваши примуса — больше ста сажен. Породы там крепкие, не пропустят.

Стыдясь нетоварищеского поступка, Липатов все-таки позвонил в угольный трест и добился, что трест запретил шахте переступать границу размежевки. Начальник шахты в тот же день отругал Липатова по телефону:

— Экой ты сутяга оказался! Зарезать нас хочешь?

Приказ на то и приказ, чтоб его выполняли. Но Ваня Сидорчук, друживший с маркшейдерами шахты, разузнал и сообщил Липатову, что шахта продолжает «гнать добычу» из запретной зоны и до конца квартала — то есть еще две недели — свертывать там работы не собирается.

— Эх, надо бы дать сигнал в трест...

— Вообще-то говоря — надо бы...

Оба — шахтеры, они понимали, что их «сигнал» может сорвать шахте перевыполнение плана и получение премий.

— Пожалуй, за две недели слишком близко не пойдут?

— Напишу-ка я им бумаженцию с протестом, а там — как хотят, — решил Липатов.

Он составил для проформы солидную «бумаженцию» и вручил ее секретарше: свезите! Секретаршей работала жена Сигизмунда Антиповича, бывшего жонглера, сумевшего все-таки доказать, что когда-то, до работы в цирке, он окончил бухгалтерские курсы. Его бывшая партнерша писала плохо и все делала невпопад, но зато жила при

станции и соглашалась на маленькую зарплату, да еще и возила бумажки в город, так как любила заодно побродить по магазинам.

— У меня текут боты,— интимным шепотом сказала она Липатову и поглядела за окно — с утра лил дождь. — Я псеуду завтра, хорошо?

Дня через три из Москвы позвонил Олесов и таинственным голосом сообщил, что «некоторые представители» заинтересовались советскими работами по подземной газификации угля и сам — слышишь, Иван Михайлович! — сам товарищ Сталин обещал предоставить им возможность посетить донецкую станцию! Нужно срочно подготовиться к приему важных гостей и поглядеть, можно ли обеспечить в Донецке «дипломатический комфорта».

Недавно был заключен договор о ненападении между СССР и Германней. Липатов с большим скрипом принимал этот договор — он предпочел бы дать Гитлеру по морде.

— Западные соседи? — хмуро спросил он.

— Видимо.

— И что же, будем все им рассказывать и показывать?

— А ты в меру, Иван Михайлович, в меру!

— Это я могу: они мне пять слов не договорят, а я им — десять. Нехай едут... Но, значит, сам о нас знает?!

— Как видишь! — Голос Олесова вибрировал от возбуждения. — Уж постарайся, Иван Михайлович! Если все обойдется лучшим образом, нас так поддержат, так поощрят!..

— Это уж само собой,— сказал Липатов, взвешивая в уме, какие выгоды можно извлечь, если Сталин будет доволен...

— А когда они приедут?

— Дело за нами. Мне поручено доложить, когда мы подготовимся. Так что ты, Иван Михайлович, ради бога, форсируй!

Не успел Липатов повесить трубку, как раздался новый звонок. Главный инженер Донецкугля кричал не своим голосом:

— Ваш газ проник в шахту! На смежном с вами участке! Девять человек отравлено! Отключите свои скважины или что там у вас! Безобразия! Под суд пойдете!

Спорить в такую минуту не имело смысла. Побелев, Липатов приказал разыскать Светова, Коротких и Маркушу. Он не мог решиться один, хотя решение было ясно — прекратить процесс и залить пограничные скважины жидкой глиной, чтобы закупорить все трещины. Другого выхода не было, а этот означал — закрыть станцию на неопределенный срок и прекратить подачу газа на Азотно-туковый завод.

Они сидели вчетвером — руководители станции — и думали, понимая, что ничего иного надумать не могут...

Спокойнее всех был Светов, обычно самый горячий и несдержанный. Еще до того как Липатов изложил единственно возможное решение, он мысленно решил то же — и с этой минуты как бы омертвел. Убийство самого дорогого, что у него было, уже совершилось. Оставались формальности.

— Я предупрежу Азотно-туковый, им нужно подготовиться, — сказал он и начал звонить на завод.

Трое слушали, как он лишенным выражения голосом сообщил директору завода о случившемся. Трое слушали, как директор ругался и грозил жаловаться.

— Ну вот, — сказал Палька, вешая трубку.

Леня Коротких, отвернувшись, спросил, где взять помпу, глину и все, что нужно для заливки скважин.

Новый звонок заставил их подскочить: что еще?!

Звонил начальник шахты.

— Иван Михайлович, предпринимаешь ты что-нибудь? Газ распространяется по штрекам. Вывели на-гора всю смену! Как друга прошу тебя...

Липатов дал себе волю — отругался, а затем спросил, кто пострадал и в каком они состоянии.

— Двое умерли, не приходя в сознание. Семь человек очень плохи, в том числе Кузьма Иванович.

— Кузьменко? — ахнул Липатов.

— Кузьменко. Прощу тебя, Михайлыч, действуй!

— Действуйте! — сказал Липатов, не глядя на товарищей. — А я позвоню в Москву... Ох, боже ж мой! — Он вспомнил недавний разговор с Олесовым, совсем было выскочивший из памяти. — Ну, заварится каша!

Москву долго не давали. Липатов перевел заказ на срочный, потом на «молнию», но и «молния» оказалась медлительной.

Вбежал Ваня Сидорчук — его обычно румяное лицо побледнело.

— Иван Михайлович, что же это? Закрываем?

Липатов только рукой махнул: уйди ты со своей тоской, и без тебя муторно!

Не отходя от телефона, Липатов прислушивался к нарастающей тишине — отключили дутье... затих компрессор... с шипением вырвался на волю пар...

Под рукой затрезвонил телефон.

— Соединяю с Москвой!

Оживленный басок Олесова восхищенно воскликнул:

— Иван Михайлыч! Уже?! Ну, герой!

Липатов начал докладывать. То ли его голос был плохо слышен, то ли новость было трудно воспринять, — Олесов не понимал, требовал повторить, потом вскрикнул:

— Закрывать?! Да это же!.. Да ты понимаешь?!

И вдруг все смолкло в аппарате.

— Алло! Алло! — надрывался Липатов, остервенело дую в трубку.

— Не кричите, абсент отошел от аппарата, — сердито вмешалась телефонистка и сама начала кричать: «Алло!»

— У аппарата Лидия Осиповна, — неожиданно ударил в ухо голос московской секретарши. — Бога ради, что случилось? Дмитрию Степановичу плохо.

— Пусть подойдет немедленно, черт вас дер! — заорал Липатов. — Немедленно!

— У него сердечный припадок, вызвали неотложную помощь, — тихо, а потому очень убедительно сказала Лидия Осиповна, — могу позвать Алымова или Мордвинова.

— Зовите Мордвинова!

Саша выслушал сообщение и несколько секунд медлил с ответом. Оба думали об одном и том же: мало того, что закроется на несколько недель или месяцев станция! — Сталин обещал показать станцию иностранным дипломатам, а теперь придется сообщить, что показывать нечего... Крупная удача может превратиться в катастрофу.

— И все-таки надо закрывать, — сказал Саша. — Ты уже распорядился? Отключили?

— Да.

— Заваливаете глиной?

— Да.

— Новые скважины где будете закладывать?

— Видимо, на северо-востоке, там нет соседей.

— Хорошо. Приказ о прекращении процесса пришлю письменно, чтоб на вас потом всех собак не вешали.

— Олесов... подпишет?

Саша только чуть-чуть запнулся.

— Подписывать придется мне. Его увозят в больницу.

— Та-ак.

— Ничего. Ответим. Мы же правы? И сердца у нас покрепче.

— Сашенька, скажи Любе... пострадал ее отец.

Саша снова чуть-чуть запнулся.

— Серьезно?

— Отравление газом.

— Понимаю... Ей нужно выехать?

— По-моему, да.

Спустя час, когда они, стиснув челюсти, наблюдали, как помпа нагоняет в скважину подземного генератора жидкую глину, прибежала секретарша — вызывает Москва!

Они помчались к телефону. Липатов схватил трубку. Палька приник к ней ухом сбоку — и тут же отшатнулся от громового голоса Алымова.

— Вы сошли с ума! — кричал Алымов. — О закрытии станции не может быть и речи! Виновата шахта, а не мы! Идите в горком, в Донецкуголь, добивайтесь разрешения продолжать! Самоубийцы вы или кто?!

Трясаясь от злости, Липатов тихо сказал:

— Я, например, не самоубийца, а коммунист. И шахтер. Рисковать жизнями сотен шахтеров...

— А ты понимаешь, чем ты рискуешь сейчас? Тут же головы полетят, и твоя, и моя! Ты отдаешь себе отчет, кто заинтересовался?!

Отставив трубку, Липатов и Палька вдвоем слушали, как все яростнее ругается Алымов. Должно быть, и телефонистка слушала, женский голос сердито вмешался:

— Разъединяю. Выражения по телефону запрещены.

Липатов повесил трубку и произнес несколько запрещенных выражений. Потом они снова пошли смотреть, как пожарная помпа равнодушно и споро накачивает глину в скважину.

Ваня Сидорчук стоял возле скважины и плакал. Не стыдясь, не вытирая слез.

— Павлушка, съездил бы в больницу, — сказал Липатов.

Палька повернулся и пошел. Машины не было, он пошел напрямик через степь к Донецку. Самоубийцы?.. Алымов боится неприятностей, а самоубийство — вот оно, в этой помпе, которая качает, качает жидкую глину...

У больницы стояла толпа. Родственники, товарищи. Палька прошел сквозь толпу, ни о чем не спрашивая. По лицу струился пот — крупный, как слезы: он бежал всю дорогу.

У справочного окошка толпились люди. Палька проскочил лестницу и остановил знакомого врача.

— Плохо, — сказал врач, — что же тут может быть хорошего!

— К вам привезли мастера Кузьменко, Кузьму Ивановича...

— Знаю я Кузьму Ивановича, — морщась, сказал врач. — Сын его лежал с ожогами. А теперь... Ну, что я могу сказать так, сразу? — вдруг закричал он Пальке и людям, уже набежавшим снизу и окружившим их плотным кольцом. — Тяжелое отравление. Жизнь в опасности. Ближайшие сутки покажут. И не стойте вы все тут! Нельзя!

Врач торопливо пошел наверх, а Палька повернулся, чтобы уйти, и оказался лицом к лицу с десятком возбужденных и недобрых людей.

— То ж один из них! Светов! — выдохнула старая женщина с растрепанными волосами, свисавшими из-под платка. — Отравитель! — гневным шепотом выкрикнула она. — Сколько людей загубил, а еще пришел слезы наши смотреть?!

— Совести нет! — закричала другая, молодая, наступая на Пальку. — Наобещали, нахвастались, а сами что?!

От стыда и волнения потеряв дар речи, Палька стоял в кольце разъяренных людей. Объяснить им, что не он виноват? Что виноваты те самые шахтеры, тот самый мастер Кузьменко?.. Но они лежат при смерти...

Старуха рванула его за рукав:

— Вон отсюда, пока не вбили!

Так и не сказав ничего, Палька вырвался из кольца, выбежал во двор, заполненный толпой, пригнул голову и прошел сквозь толпу, ожидая, что и тут начнется тот же ужас.

Его не узнали.

Он вскочил в трамвай и встал на площадке, спиной к людям, лицом к холодному осеннему ветру.

За его спиной говорили все о том же...

Он соскочил и зашагав к дому, все так же пригнув голову, чтобы его не узнали. Остановился — вот он, родной дом, где можно укрыться ото всех. А наискосок — дом Кузьменко, где новое лютое горе...

Он свернул к Кузьменкам, наткнулся на Лельку, спросил: дома?

— Только пришла, — испуганно сказала Лелька.

Он вошел в дом и увидел бледную и как будто спойную Кузьминишну — она разматывала теплый платок, стоя у вешалки. Он помог ей снять платок и пальто, помог сесть и только тогда, опустившись на пол возле нее, положил голову на ее колени и разрыдался, как мальчик.

13

События начали развиваться стремительно.

На станцию № 3 прибыли почти одновременно инспектор горного надзора и следователь прокуратуры.

Появилась комиссия горкома партии.

Стало известно, что умер еще один из пострадавших.

Из наркомата за подписью Бурмина пришел грозный приказ — немедленно выслать «подробную документацию, подтверждающую наличие предупреждений о грозящем сопркосновении...»

Из обкома партии затребовали у Липатова и у начальника шахты кальку с утвержденными границами размежевки и справки о фактическом положении угольных выработок — с одной стороны и скважин подземного газогенератора — с другой.

Стало известно, что Кузьму Ивановича отходили, но у него сдают легкие и сердце.

Клинский запросил телеграфом, нельзя ли отложить на неделю закрытие станции, принимая во внимание особые обстоятельства... Липатов ответил: нельзя, процесс уже остановлен, — и тогда пришла вторая телеграмма Клинского: немедленно со всеми документами выехать в Москву для доклада правительственной комиссии.

Очевидно, подготовка к визиту иностранных дипломатов была уже начата, и теперь все боялись сообщить «наверх» о том, что визит невозможен, а главное — искали виноватых, чтоб было на кого свалить...

В довершение всего выяснилось, что написанная Липатевым «бумаженция» преспокойно лежит в сумочке секретарши. Секретарша, рыдая, объяснила, что шел дождь и она спрятала бумагу в ридикюль, чтобы отвезти завтра, а потом забыла, а потом подумала, что уже не нужно... Все предшествующие предупреждения делались устно, а в нынешней накалившейся обстановке было мало охотников записываться в свидетели.

Липатов подбирал материалы для доклада, когда на станции появился человек в штатском пальто и щегольских высоких сапогах. Удостоверясь, что перед ним Липатов Иван Михайлович, директор станции, он вручил повестку: в 22.00 явиться к майору госбезопасности Тукову.

Такой же вызов на 23.00 получил Светов Павел Кириллович, главный инженер, и на 0.30 — Маркуша Сергей Петрович, главный механик.

Беда сближает людей и оттесняет личные чувства. В эти дни не только Алымов, но и Колокольников проявлял кипучую энергию. Вся спесь слетела с этого барина. Он уже не считался, чьи тут проекты, чья слава под ударом, он знал, что спросят и с него, как с главного инженера треста, и неутомимо подбирал доказательства, что сделано много и сделано хорошо. Пожалуй, теперь он был даже энергичней, чем Алымов,— Алымов как-то растерялся, метался попусту, часами пропадал неизвестно где, а потом объяснял, что «ищет ходы» к людям, ведущим расследование. Саша считал, что «ходы» не помогут, но и не спорил с ним — каждый делает то, что может. В эти дни он особенно оценил Рачко: не шумит человек, а материалы подобраны и систематизированы, к ним написана недлинная, но четкая пояснительная записка, кто ни возьми — все главное поймет.

Поначалу Саша нервничал меньше всех — нетрудно доказать, что руководители донецкой станции не виноваты в случившемся, а последующее закрытие станции было неизбежно. Но потом он понял, что никого, в общем-то, и не интересуют причины аварии,— все думали о том, как примут «наверху» необходимость отмены дипломатического визита и что может грозить тем, кто будет признан виноватым. Конечно, теперь за границей

поднимется шум — мол, хвастались подземной газификацией, а она оказалась блефом!

Чувствовалось, что расследование из сферы наркомата перешло в другие, более жесткие руки, приобрело не столько техническое, сколько политическое звучание. Говорили, что создана комиссия по указанию самого Сталина, но члены комиссии не были объявлены и в тресте не появлялись. Зато Клинский и Бурмин по три раза на дню первыми голосами требовали разные сведения. Работников Углегаза по очереди вызывали в наркомат, где их придирчиво допрашивали незнакомые люди, которых раньше в наркомате не видели. По их вопросам Саша понял, что готовится обвинение против работников подземной газификации в целом — снова припомнили прошлогодний взрыв и еще более давние «дела» Светова и Маркуши; как бы вскользь уточняли отношение к Углегазу Стадника и Чубакова... Саша угадывал, что на руках у спрашивающих есть какие-то заявления, может и анонимные, где хорошо известные авторам факты ложно истолкованы.

— Вас кто-то злостно запутывает, — сказал Саша. — Я протестую против того, что сюда притягивают старые, давно выясненные дела.

Ему отвечали вежливо и холодно: мы расследуем все, проверяем все факты, а ваше дело — отвечать на вопросы.

В эти тяжелые дни Саше позвонил профессор Граб: — Александр Васильевич, у нас тут возникли некоторые занятые соображения, прошу вас приехать в институт.

В одной из его лабораторий разрабатывалась частная научная проблема, не очень-то интересовавшая Сашу даже в обычное время, а теперь и подавно. Саша попытался отклонить приглашение.

— Нет уж, извольте приехать, — желчно сказал Граб. — Работу включили в план по вашему настоянию, у нас есть обязательства и сроки. Вы нам нужны сегодня же.

Что ж, думал Саша по дороге в институт, жизнь продолжается. Не могут замереть все дела оттого, что наша станция закрыта, а нам плохо. Исследования идут и будут развиваться, даже если нас снимут и осудят. И это — главное, чего мы добились. Подземную газификацию уже не закроешь. Не закроешь!

В первоклассно оборудованной лаборатории Саша ощутил любимую, до мелочей знакомую атмосферу по-

вседневного научного труда. Не разберешь, кто тут исследует огромную проблему, быть может открывающую новые пути в мировой науке, а кто уточняет давно известную истину,— здесь мысль детализирована и самое важное открытие находит выражение в том, подскочит или закачается стрелка прибора, поползет вверх или вниз столбик ртути в термометре, замутится или по-новому окрасится состав в колбе... Здесь особенно ощущаешь, что наука — это и черновой труд, что без труда в науке ничего не достигнешь.

В лабораториях Сашу всегда охватывало желание работать самому — вот так же, как эти старшие и младшие научные сотрудники, работать сосредоточенно, ничем не отвлекаясь, не зная административных хлопот и неприятностей. Хотелось подойти к каждому незнакомому прибору — потрогать, разобраться в его системе, испытать в действии его простой и хитрый механизм...

— Профессор вас ждет.

Саша пробирался через зал, с любопытством глазами по сторонам. Сегодня тут было много народу, над каждым столом, над каждым прибором склонялись два-три человека. Студенты? Ну конечно, первокурсников привели знакомиться с лабораторией. Они шепчутся за спиной гостя, и Сашу веселит мысль, что он для них — значительная персона, заказчик, руководитель НИИ Углегаза — таинственного института по таинственной проблеме. Они, конечно, не представляют себе, какой пока крошечный, бедный институт и как тяжело сейчас «персоне»!

В кабинете за стеклянной перегородкой восседал профессор Граб, еще более сухой и скучающий, чем всегда.

— Дима, останьтесь, — бросил он молодому человеку, который привел Сашу. И без лишних слов перешел к делу: — Я вас пригласил, Александр Васильевич, потому что нам показалось интересным...

Он сжато, но выпукло обрисовал ход проделанных опытов.

— Дима, принесите ленты записей.

Молодой человек вышел, а Граб продолжал тем же тоном, без всякого перехода:

— Вчера меня вызвали на Лубянку. Техническая экспертиза. Я не защищал вас и не чернил, можете верить моей порядочности. Но смысл вопросов и записей ясен... Да нет, Дима, не эти. Первые ленты, помните, с колебаниями температур? — Молодой человек снова вы-

шел. — Вам хотят инкриминировать вредительство. Как я понял, делом интересуется сам Берия. Кроме меня вызвали Вадецкого, а он может... Вот теперь то, что нужно! — воскликнул он, принимая у сотрудника ленты с показаниями самописца. — Смотрите...

Обсуждение было недолгим. Саша благодарил за интересную разработку проблемы, Дима почтительно слушал. Когда молодой человек хотел выйти, Граб удержал его:

— Вы проводите нашего гостя, Дима!

Впрочем, и сам профессор проводил Сашу через лабораторию, а у двери, прощаясь, вернул в официально вежливую фразу:

— Я вам ничего не говорил.

Саша ушел потрясенным — не тем, что сообщил Граб, об этом он догадывался сам. Его потрясло благородство «глазетового гроба» — еще сегодня утром ни за что не поверил бы, что Граб способен на такое! Значит, я плохо разбираюсь в людях? Значит, если бы я был внимателен и доверчив, я сумел бы гораздо лучше привлечь к нам того же Граба?.. Мимо скольких людей проходим, не замечая или не умея распознать? Вот и еще один урок...

И сразу мелькнула горькая мысль: может, никого уже не придется привлекать...

Люба дважды звонила из Донецка. По ее голосу было понятно, что отец очень плох, но Люба говорила сдержанно, стараясь успокоить Сашу.

— Папа предлагает дать письменное показание. Заверенное. Что Липатов предупреждал об опасности. Саша, организовать это? Может оно иметь значение?

Оно не только имело значение, оно могло спасти их всех, это показание! Саша заставил себя ответить:

— Сейчас главное — его здоровье. Если он в состоянии и это не повредит ему... Как мама?

Люба что-то сказала. Саша не расслышал, переспросил, Люба повторила сквозь слезы:

— Окаменела. Понимаешь? Как неживая. Сашенька, тебе очень плохо одному?

— Пожалуйста, не думай обо мне. Пробудь дома столько, сколько нужно. У нас все в порядке.

— Да?! Правда!

Через день приехал Липатов, а с ним неожиданно вернулась Люба.

— Папе — лучше?

— Не знаю... Нет... Он написал показание. Вот. Завременное. Он сам сказал, чтоб я ехала...

Она прижалась к Саше, ее глаза были полны слез.

— Любушка, ты навоображала всякие страхи?

— Ничего подобного! — Она смахнула слезы, улыбнулась... — Наоборот, я убеждена, что кончится хорошо.

Когда Люба ушла, он набросился на Липатова — запугали ее? Наболтали?

— А про нас теперь только немые не болтают, — сказал Липатов. — Ничего ей не сделается, если поволнуется. Хорошо, если плакать не придется.

Он рассказал: Туков вызывает почти ежедневно, ведет следствие пристрастно, выискивая все, что может «закопать» их. Палька на него накричал: «Вы поставлены защищать меня, оберегать наш труд, а вы что делаете?» Туков отрезал: «А может быть, не вас, а — от вас?» Когда Липатов сообщил, что выезжает в Москву, Туков произнес: «Ну-ну!» с таким видом, будто хотел сказать: погуляй напоследок.

— Гробокопатель он! Представь себе, даже историю с переменной пласта пытается использовать! Даже за Сигизмунда Антиповича зацепился — почему принял циркача да какая причина была у его мадамы задержать бумагу с предупреждением.

К возмущению Алымова, Липатов посмеивался, а когда Алымов истерически заметил, что смеяться нечего, любое обвинение, как бы вздорно оно ни было, ухудшает их положение, Липатов пожал плечами:

— Когда тонешь, уже неважно, сколько над тобой метров воды, шесть или три.

— Попробуем выплыть, — сказал Саша.

Они возлагали надежды на доклад в наркомате, но доклад был принят как-то формально, чувствовалось, что судьба их решается не здесь.

После доклада Бурмин поманил к себе Сашу и Липатова.

— Сегодня же езжай назад, — приказал он Липатову. — Жми вовсю, чтоб задуть новые скважины как можно скорей. Понял? А ты... — Он ласково, с жалостью поглядел на Сашу: — А ты, сынок, готовься, трепки не миновать... — Он выругался для облегчения души и закончил с обычной грубостью: — На кой ты сунулся подписывать приказ о закрытии станции? Первый зам — Алымов, пуцай и подписывал бы. Выскочил поперед батьки!

Наутро стало известно, что у Колокольникова разыгралась печенка и он лег в клинику на исследование.

Алымова чуть не хватил удар.

— Трус! Симулянт! Крыса!

Накричавшись, он куда-то исчез и появился уже в самом конце рабочего дня. Как бы между прочим, с кривой усмешкой проронил, что его смачивают в Заполярье на очень интересную новостройку.

— Обеспечивает себе отступление на заранее подготовленные позиции, — шепнул Рачко и сплюнул.

И вот позвонил Бурмин:

— Завтра весь день не отлучайтесь с места, ты и Алымов. Ни на минуту. Могут вызвать.

По тому, как он это произнес, Саша понял, к кому их могут вызвать, и холодок страха и восторга ознобом прошел по спине.

Саша никогда не видел Сталина, но, как и все вокруг, привык считать, что все происходящее в стране определяется Сталиным, от него исходит и от него зависит. Со стен классов и аудиторий, с плакатов и витрин на Сашу неотступно смотрели зоркие глаза розовощекого, черноусого человека в военной тужурке. Этот официально-красивый, повторенный в тысячах копий образ сопровождал его повсюду и порой раздражал, потому что, чем бездарнее был копиист, тем приглаженней и розовой был этот лик и тем меньше соответствовал Сашиному представлению. Множество раз слышал Саша здравцы и восхваления Сталина, восторженно рукоплескал им, а порою и морщился, потому что не любил вранья: Китаев неизменно заканчивал свою вводную лекцию словами о том, что развитие советской химии связано с основополагающими указаниями товарища Сталина, а Саша знал, что таких указаний не было, иначе химики знали бы их наизусть. Он сказал об этом Китаеву, Иван Иванович скороговоркой пробормотал: «Не мной заведено, не мне менять, а кашу маслом не испортишь».

Изучая марксизм и историю партии, Саша не раз задумывался над марксистскими положениями о роли личности в истории. Он внимательно прочел недавно вышедший Краткий курс истории партии, который, по слухам, написал или, во всяком случае, редактировал Сталин. Там тоже было сказано, что не герои делают историю, а исто-

рия делает героев, что не герои создают народ, а народ создает героев и двигает историю вперед... Зачем же мы приписываем все, что творит весь народ и вся партия, в заслугу одному человеку? Ему это не нужно, он и так велик, а для воспитания чувства ответственности за общее дело это — вредно.

Так иногда размышлял Саша наедине с самим собой. Эти размышления не уменьшали его восхищения Сталиным, а заставляли досадовать на слишком усердных восхвалителей. У него было свое, глубоко интимное представление об этом человеке, сложившееся из собственных ощущений при чтении логически отточенных сталинских речей, из рассказов шахтеров, побывавших на совещании стахановцев в Кремле, из отдельных черточек и слов, тронувших Сашу за сердце. Он создал себе образ человека прямого, строгого и работающего, человека, который всегда ищет новое, никогда не останавливается на достигнутом и умеет глядеть вперед, любовно растит самых рядовых людей — трактористок и звеньевых, шахтеров и кузнецов, летчиков и полярников... Доброе, поощряющее слово этого человека казалось ему высшей из возможных наград..

И вот он ехал в Кремль, к Сталину.

Ехал — и замечал, как дрожат большие коричневые руки Бурмина, как мертвенно-бледен Алымов. И с тяжелым недоумением осознал, что его самого тоже пронзывает страх, он словно виноват в чем-то и ждет суда.

Утром он предупредил Любу, что может задержаться, но больше ничего не сказал, чтоб не волновать ее. Теперь он старался запомнить все, что видел в Кремле, — вход, где так тщательно проверяют документы и вглядываются в твое лицо, сверяясь с фотокарточкой; кремлевский двор со знаменитой царь-пушкой и чугунным ядром возле нее; боковую узкую улочку, по которой они шли, — Бурмин, понизив голос до шепота, сказал, что здесь жил Ленин... Все это он разглядывал и старался запомнить, чтобы рассказать Любе, и вдруг поймал себя на дикой мысли, что может больше не увидеть ее...

Что за бред! Глупый бред, нелепая трусость! Это все породили нервная обстановка расследования, и ласковые слова Бурмина: «А ты готовься, сынок, трепки не миновать», и уход Колокольникова в больницу, и истерическая взвинченность Алымова — он весь день писал нескончаемое письмо Катерине и говорил со всеми тоном человека, делающего устное завещание, И еще — предупрежд-

депие профессора Граба. И то, что все последние дни Клинский отказывался принять и даже поговорить по телефону. И — тишина в Углегазе. Странная тишина оттого, что никто не приходит и не звонит, а сотрудники разговаривают вполголоса, как в комнате умирающего.

Жизнь или смерть? Во всяком случае, судьба дела и каждого из нас. «Быть или не быть?»

От волнения он не видел — и потом не мог вспомнить, — как они входили в комнату заседаний и какая она, эта комната. За длинным столом сидели люди, как всегда сидят на заседаниях, переговариваясь или проматривая бумаги, — многих из них Саша знал по портретам. Сталина не было.

Кто-то сказал: «Садитесь!» — и Саша сел. Почему-то он заметил и запомнил слегка покачивающуюся, присобранную белую занавеску на окне и синий табачный дым, вьющийся в струе воздуха.

— Давайте. Пять минут, — сказал тот же голос. И Клинский — он сидел наискосок от Саши, — Клинский подобострастно вытянул голову на тоненькой шее (Саша не замечал раньше, что у него такая тоненькая шея) и начал докладывать.

И вдруг Саша увидел Сталина.

Он стоял в стороне, в тени между двух окон, и чиркнул спичкой, закуривая. Потом он сделал несколько коротких шажков и остановился у стола.

Клинский продолжал говорить, и Саша смутно понимал, что он с непонятной старательностью искажает все факты, но сосредоточиться на слушании Саша не мог: сейчас для него существовал только Сталин.

Он был ниже ростом, чем его изображали на фотографиях и картинах. На темно-бронзовой коже вмятинами — следы оспы, в черных волосах — заметная проседь. А усы без проседи, густые, прикрывают рот. И брови — черные, с властным изломом. От уголков глаз бегут вверх, к вискам, мелкие морщины, какие образуются у людей, часто прищуривающихся. Он и сейчас щурился, попыхая тружкой.

Оттого, что он был старше и обыденней, чем его изображали, он показался Саше очень близким. Но в эту минуту Сталин недоброжелательно взглянул на Сашу и сказал гневно, с сильным акцентом:

— Как же вы? Такое великое дело вам доверили, а вы... обгадили его.

Жесткие складки обозначились возле его рта.

В полной тишине Саша услышал громовой стук собственного сердца. На миг и Сталин, и все вокруг расплылось в тумане, потом из тумана выплыла присобранная белая занавеска, потом он увидел лица, все до одного обращенные к Сталину, снова увидел по-домашнему ссутулившуюся фигуру Сталина и за его локтем — чей-то ледяной взгляд, через стекла пенсне устремленный на него, на Сашу.

Клинский продолжал докладывать, еще больше вытянув шею. Теперь он не боялся быть резким. Ненадежно. Экономически не оправдывается. Дорогостоящие сомнительные опыты. Авантюризм. Надо сказать прямо — обманули доверие партии и правительства...

Жесткие складки все глубже прорезали лицо Сталина. Вот он взял какой-то лист бумаги, — наверно, проект решения...

Сидевший за ним человек с ледяным взглядом выдвинул вперед маленькую лысую голову с холеным лицом и негромко сказал:

— И кадры у них странно подобраны, Иосиф Виссарионович. Вот...

Теперь Саша узнал его — Берия.

Берия открыл папку и начал быстро перекидывать листки:

— Светов — исключался за подлог. Маркуша — исключался как троцкист. Липатов — дважды привлекался прокуратурой и Комиссией партийного контроля. Мордвинов — самовольно бросил аспирантуру, хлопотал за троцкиста. Что думали работники наркомата, подбирая кадры Углегаза?

Побагровев, Бурмин срывающимся голосом объяснил, что эти товарищи — авторы проекта, поэтому пришлось...

Сталин снова поглядел на Сашу — острым, беспощадным взглядом — и сказал презрительно:

— Проекты есть, учреждение есть, рапорты товарищу Сталину посылали, вот только газификации нет.

До этой минуты Саша был в состоянии оцепенения и какой-то детской уверенности, что все должно повернуться по-иному, что Сталин сам все поймет и выправит. Но, увидав этот беспощадный взгляд и услышав презрительные слова, Саша понял: это — конец. И оттого, что это был конец и хуже того, что случилось, уже ничего не

могло быть, оцепенение прошло, и страх исчез. Поднявшись, Саша сказал высоким сильным голосом:

— Товарищ Сталин, вас вводят в заблуждение! Все совсем не так!

И остался стоять, глядя в лицо Сталину отчаянными и бесстрашными глазами.

— Даже совсем не так? — насмешливо переспросил Сталин и развел руками. — Что ж, послушаем, как оно на самом деле. Говорите, товарищ... — Ему шепотом подсказали, и он повторил: — Говорите, товарищ Мордвинов.

Это была одна из высших точек Сашиной жизни. Бывают такие высшие точки, когда все силы напряжены и все на подъеме, когда ум работает ярко, слова приходят точные и вся энергия характера сосредоточена на одной цели.

Он опровергал заключение Клинского — пункт за пунктом, они, оказывается, отпечатались в памяти все до единого. Он говорил сжато и, как ему казалось, очень убедительно. Но Сталин вдруг перебил его, еще сильнее прищурясь:

— Значит, вы отвергаете все замечания? Совершенно не признаете никакой критики?

Они столкнулись взглядами. Силы были неравны. Сталину достаточно было сказать одно слово, чтобы все рухнуло. И он, кажется, готов был произнести это слово. А что мог Саша? Но он верил в силу правоты и на пределе нервного напряжения, без подготовки выпалил то, что давно чувствовал, но ни разу не сформулировал даже для самого себя:

— Критику я признаю, товарищ Сталин, но есть критика ради того, чтобы помочь и двинуть дело вперед, и есть критика ради того, чтобы угробить. А гробить это дело нельзя!

Тишина. Ох, какая настала тишина!..

Сталин весь окутался дымом трубки, потом ладонью как бы рассек дым и медленно сказал:

— Да, дело гробить нельзя. Но ведь это вы его угробили, именно поэтому мы и вынуждены сегодня заниматься вами.

Снова стало очень тихо, и в этой тишине Саша, словно откуда-то издалека, с ужасом услышал собственный дерзкий голос:

— Авария произошла не по нашей вине. Пусть нам не мешают — через месяц-полтора мы задуем новые скважины и опять дадим газ.

— Через месяц-полтора? — Сталин резко повернулся к Клинскому: — Это верно? Существует такая возможность — в короткий срок возобновить работу станции? Так, чтобы ее можно было показать без стыда?

У Клинского прыгали губы. Саша не столько услышал, сколько угадал ответ:

— Постараемся... Если вы признаете целесообразным...

— Так почему же вы не доложили нам о такой возможности? Сосредоточили все внимание на недостатках?..

Клинский пробормотал тоскливо:

— Но ведь вы... я имел прямую установку...

— Установкой товарища Сталина прикрыться хотите? — раздраженно прервал Сталин, рукой отмахнул табачный дым, а вместе с ним и помертвевшего Клинского, и вдруг обратился к Саше с какой-то новой, доброжелательно-веселой интонацией:

— Очевидно, доклад надо отнести к критике гробовой. Так, может, вы сами, в порядке полезной критики, доложите нам, что же у вас все-таки плохо и что не решено?

Пожалуй, никогда еще Саша не излагал так четко и то, что уже достигнуто, и то, что не решено, никогда не определял так логично внутренние трудности, которые можно преодолеть только опытами и исследованиями, и трудности внешние, которые нужно устранить с их пути. Он говорил — и видел, как смягчаются жесткие складки на лице Сталина, чувствовал, как будто переламывается весь ход заседания, как исчезает предубежденность.

Сталин слушал, посасывая погасшую трубку, потом подошел к карте угольных месторождений и поманил к себе Сашу:

— Покажите, где вы предлагаете построить новые станции.

Спокойно, как к любому другому заинтересованному собеседнику, Саша шагнул к нему и карандашом поставил несколько точек на карте; и тут же объяснил, сколько неразведанного их ждет на разных углях и разных пластах и как важно провести опыты в различных

условиях. Вспомнив утверждение Клинского о том, что подземный газ дорог и поэтому подземная газификация экономически не оправдывается, Саша начал доказывать, что стоимость газа на маленькой опытной станции... Не дослушав, Сталин обернулся к участникам заседания:

— Так вообще нельзя рассуждать. Подземная газификация угля имеет для нас не только экономическое, но и большое социальное значение. Это — возможность ликвидации тяжелого подземного труда.

Округлым движением руки с зажатой в ней трубкой Сталин как бы вызвал притихшего докладчика:

— Какую экономику вы имеете в виду, товарищ Клинский? Есть экономика бакалейного лавочника, и есть экономика государственная. Я стою за экономику государственную. Мы должны смотреть вперед и думать о проблеме кадров для шахт. В Соединенных Штатах Америки миллионы безработных, там вопрос о кадрах решается легко. А у нас благосостояние народа растет и будет расти с каждым годом. Безработицы у нас давно нет, а нехватка рабочих рук становится острой. Вот этот вопрос кадров для угольной промышленности мы должны учитывать при решении вопросов подземной газификации. Газ пока обходится дорого? Пусть товарищи нам докажут, что дело реальное, возможное, а уж мы сумеем создать новую отрасль промышленности и удешевить подземный газ. Так обстоит дело с экономикой. Не правы товарищи, которые не понимают этого, не понимают социального значения задачи.

Саша мельком увидел, что Клинский совсем вобрал голову в плечи, тоненькой шеи уже не было, никакой шеи не было.

Сталин подошел к столу и одним пальцем брезгливо отодвинул бумагу, которую просматривал несколько минут назад. Чья-то услужливая рука убрала ее совсем.

— Снимать, арестовывать хотели,— как бы про себя сказал Сталин.— А выходит, помогать надо. По-деловому помогать новому делу.— Он чиркнул спичкой и раскурил трубку.— Еще кто-либо хочет сказать?

Бурмин несмело приподнял руку — вроде и просит слова, вроде и не просит.

— Теперь уж молчи, раньше надо было,— сказал Сталин, и большая коричневая рука Бурмина стыдливо спряталась под стол.

— Так будем решать, товарищи? Видимо, надо в трехдневный срок подготовить документ, как и чем помочь Углегазу...

Саша все еще стоял у карты. Стараясь не шуметь, он на цыпочках прошел к своему месту, сел — и вдруг почувствовал себя обессиленным, выпотрошенным, будто в эти несколько минут израсходовал всего себя. Как сквозь сон, доносились до него деловые голоса:

— Обеспечить финансирование...

— Очень важно испытать на бурных углях Подмосквового бассейна...

— Организовать в вузах подготовку кадров...

— ...а главное, всячески ускорить работы.

В этот деловой лад врезался громкий, страстный голос:

— С таким директором, как Олесов, не очень-то ускорись!

Саша вскинулся и увидел бледное лицо Алымова, трепещущее вдохновением и надеждой.

— Директора и сменить можно, — весело сказал Сталин, — в Углегазе, видимо, хватает энергичных, настойчивых людей!

И он улыбнулся Алымову.

Вышли вчетвером: Бурмин, Клинский, Алымов и Саша.

— Ну, счастлив твой бог! — отдуваясь, сказал Бурмин. — Понравился ты!

— Феноменальное везение! — нервно подергиваясь, поддержал Клинский. — Кто мог предвидеть, что так обернется? Ведь установки были прямо противоположные!.. Прямо противоположные!..

О чем они? — удивился Саша. Как они могут — об этом — такими словами? Понравился... везение... обернулось... Разве могло решиться иначе?..

И вдруг из всей массы впечатлений память выделила те страшные, но как-то буднично прозвучавшие слова: «Снимать, арестовывать хотели...» Значит, это нам действительно грозило! Вот какими были эти «прямо противоположные установки!» И все было подготовлено к тому? Проект решения уже лежал на столе, справки на каждого — в папке у Берии. Сталин уже произнес свои презрительно-гневные слова. И если бы смелость

отчаяния не подняла его, Сашу, на спор... если бы он испугался и промолчал, как Алымов и Бурмин...

— Д-да, это победа! — говорил рядом с ним Бурмин, тяжело дыша оттого, что ему трудно было нести свое массивное тело. — Теперь можете рассчитывать на самую широкую помощь. Теперь...

Горькие мысли сразу отлетели, — нет, Саша отстранил их: потом додумаю, потом... Ведь победа! Как бы там ни было — победа! Вся тяжесть последних недель — позади. Победа!

И уже не хотелось слушать ни рассуждений Бурмина, ни жалких оправданий Клинского, ни захлебывающегося голоса Алымова, запомнившего только последние слова и улыбку Сталина, которой он придавал какое-то особое значение.

Упоительно дышалось. Кажется, никогда в жизни Саша не дышал так глубоко, полной грудью, и воздух еще никогда не был так свеж и чист.

Светлая ширь Манежной площади лежала перед ним, осиянная двойными рядами огней — каждый фонарь повторялся, отражаясь на мокром асфальте. Десятки автомобилей скатывались по спускам Исторического проезда и улицы Горького, десятки автомобилей шли им наперерез, то устремляясь вперед, то замирая у перекрестка, и все их бессчетные огоньки двоились в отражениях, и на их мокрых капотах преломлялись беглые отсветы.

Оказывается, моросило. Каждая ворсинка на пальто поблескивала крохотной капелькой.

Как хорошо! А ты и не видишь, Любушка, как сегодня хорошо! Я тебя вытащу на улицу и покажу тебе, как славно все блестит, мы с тобой давно не замечали ничего такого...

— До завтра, товарищи! — крикнул он и побежал за троллейбусом.

Всю дорогу он мысленно рассказывал Любе все, что произошло сегодня. А вышло так, что он и позвонить не успел, она распахнула дверь и выдохнула: «Что?» Он торопливо сказал: «Все прекрасно!», — и Люба тут же ткнулась лицом в его мокрое пальто и разрыдалась так, что он долго успокаивал ее, поил водой, подшучивал над ее страхами, опять успокаивал и думал про себя: откуда она узнала? Я же ничего не сказал ей, а она знала...

В те самые дни, когда в Москве ждали решения — быть или не быть, на Донецкой опытной станции дела шли все хуже. Подрядные организации, напуганные угрозой полного закрытия станции, под разными предлогами сворачивали работы и отзывали своих людей. Контора бурения, несмотря на возражения Аннушки Липатовой, отказалась бурить новые скважины до получения полного расчета по прежним работам. Обследования на месте и вызовы к следователю затуркали руководителей и создали нервное настроение у всех работников станции. В довершение несчастий — банк закрыл счет.

Проводив Липатова в Москву на невеселый доклад, Палька вернулся на станцию — и тут на него навалились разом все неприятности.

Еще на подходе его поймал буровой мастер Карпенко:

— Павел Кириллович, как же с девятой и одиннадцатой скважинами? То ж зеленая чепуха — пробурено до сорока метров, и вдруг — псу под хвост?! Вы б поговорили с начальством, чи есть у них мозги, чи нет?

Маркуша выбежал встречать на крылечко барака:

— Насосы прибыли! Надо немедленно выгружать и перевозить, а то штраф заплатим!

Леня Коротких выглянул из лаборатории:

— Звонили из ЦЛ — пора вносить очередной аванс.

Секретарша, за последнее время преисполненная чувства ответственности, раскрыла блокнотик «для памяти».

— Первое: завтра к девяти вас вызывает майор Тукков... Ой, Павел Кириллович, у меня колени дрожат... Второе: звонили из больницы, просят вас зайти к Кузьменко Кузьме Ивановичу. Сказали — обязательно, больной нервничает.

Сигизмунд Антипович вошел бочком и доложил злобещим шепотом:

— Финансирование нам закрыли. Я уж не говорю о других потребностях, но первого числа мы не сможем выдать зарплату... Вы не думайте, Павел Кириллович, что касается меня и моей жены, мы вас не оставим... но как быть с людьми?

Липатושка умел как-то выкручиваться. Палька не умел. И откуда взять деньги хотя бы на получение

долгожданных насосов? И на зарплату? Кто теперь поможет, когда... И еще этот вызов к Тукову!..

Он удрал ото всех сразу и спустился в новый ствол к проходчикам, к дяде Алеше, — дядя Алеша был на станции секретарем партийной организации.

— Подпирает, Павлуша? — спросил он. — А ну, посторонись, голушь, зашибут!

Мимо Пальки пошла вверх бадья с углем — выбрали уголь из канала, соединяющего новые скважины.

— Дядя Алеша, соберите коммунистов. Я должен сообщить положение.

— Это можно. А ну, берегись!

Пустая бадья, раскачиваясь, летела назад.

Коммунисты собрались через полчаса. Их было немного — девять человек. Палька — десятый. Он рассказал им, ничего не утаивая, как бедственно положение станции. Что они могли подсказать, эти девять человек? Кроме Маркуши и Лени Коротких, все — рядовые рабочие: проходчики, машинист компрессора, монтер, слесари-монтажники... Чем они могут помочь, когда и начальство бессильно, когда все решается в Москве?

Они и не подсказывали. Они решили только одно — выстоять, продержаться!

— Вешать нос не будем, — сказал Ваня Сидорчук. — Выход найти надо, а раз надо, то и найдется, — верно, товарищи? Наши ж люди, понимают!

— Ты езжай, Павел Кириллович, раз Кузьма Иванович призывает, — сказал дядя Алеша. — А завтра... ну и завтра не дрейфь, ты ж не виноватый. О станции не беспокойся — развалить ее не дадим.

— Да, но насосы... — вздохнул Маркуша.

— Тю! Сами выгрузим, подумаешь, эка дело! — сказал машинист. — А грузовики... пошукать надо — может, и с грузовиками чего придумаем, знают же нас, неужто не поверят?

Это было напвно — кто поверит в долг предприятию с закрытым счетом, находящемуся под следствием? Но Палька ушел богаче, чем пришел, — он был не один, у него была немногословная, но безоговорочная поддержка девяти человек, нет, не девяти человек — организации.

Только у больницы, где он не был с того злосчастного дня, Палька понял, как мучительно снова войти в это здание — мучительней даже завтрашнего разговора с Туковым. Там, у Тукова, он спорил, отбивался, чувство-

вал себя правым. Здесь, перед отравленными газом людьми, их женами и родственниками, он невольно чувствовал себя виноватым.

Тех женщин не было. Врач, что тогда закричал на него, теперь встретил приветливо:

— Старик очень вас ждет. Но предупреждаю: пять минут, и не давайте ему много говорить.

Затем врач сказал, что состояние больного тяжелое, началась пневмония (Палька не знал, что это такое, и онемел от страха), кроме того, есть явления силикоза (об этой шахтерской болезни Палька знал с детства и внутренне охнул), а кроме того что вы хотите, возраста...

Кузьма Иванович лежал на высоко поднятых 'подушках и сперва показался здоровым, даже посвежевшим, только позднее Палька сообразил, что яркий румянец на запавших щеках и лучистый блеск глаз — от сильного жара.

— А-а, Павлуша! Видишь, как скрутило меня, — заговорил он не своим, жидким голосом. — И винить некого. Ты Любушку видал? Я полное показание написал, печатью припечатали. Она повезла в Москву. Говорила тебе?

— Говорила. Спасибо вам, Кузьма Иванович.

— Это за что же? Что свою вину на вас не перекинул? — Он зорко глянул на Пальку и заторопился высказать все, что надумал. — Тягают вас? Так вот. Не выгораживай. Благородство не разводи, понял? Я виноват. Я! Начальник шахты приказывал размежевку не нарушать, и Липатов просил... Моя вина! Единственный виновник — я!

Он говорил возбужденно, даже радостно — и Палька вдруг понял, что он уже чувствует близкий свой конец, а потому берет всю вину на себя и рад этому простому выходу.

— Ведь в шахте что самое главное? — продолжал он. — Не горячиться! Не забывать, где ты и где она. Это мне, еще мальчишке... еще Харламий учил меня: «Не забывай об ей, и она тебя не обидит». А я забыл. Вот она и наказала.

Палька все время помнил: пять минут, и не давайте ему говорить... Но как не дать? И что скажешь?

— Простился я с Любушкой, не увижу больше, — пробормотал Кузьма Иванович, прикрывая замутившиеся глаза. — А Вова ходит... И Катенька... Ты ее не

помнишь, Катеньку. Славная такая девочка. Все дети у нас русые, а она темненькая... А главное — Ксюша! Не привыкла она... без меня. Пусть Леля с ней. Леля... Она сумеет.

Бредит? Или все уже путается в его голове? Давясь слезами, Палька сжал горячую сухую руку с темными пульсирующими венами.

— Не мучьте себя, Кузьма Иванович. Доктор говорит — поправитесь вы, еще молодцом будете.

— Даже молодцом? — усмехнулся Кузьма Иванович и, приоткрыв один глаз, оглядел Пальку. — Ну что ж. Раз доктор сказал... Ты это брось! — вдруг недовольно прикрикнул он. — Брось! И слушай, что я скажу.

Глаз снова закрылся.

Кузьма Иванович продолжал шевелить губами, — может, думал, что говорит вслух? Палька склонил голову к самым его губам, но ничего не услышал, кроме рвущегося вместе с дыханием хрипа воспаленных, забытых угольной пылью легких.

— Не отступайте! — резко сказал Кузьма Иванович и открыл снова заблестевшие глаза. — Не отступай, слышишь? Святое дело у вас в руках... для людей... Святое! Не отступайте! Я все напсад... И печатью припечатали... Должно оказать...

— Вы все еще здесь! — Рядом возникла фигура в белом халате. — Вам же сказали: не больше пяти минут.

— Уже все. — Кузьма Иванович чуть приподнял для пожатия бессильную руку. — Иди, сынок, Ксюшу... Ксюшу не забывай.

Из больницы Палька послушно отправился к Кузьминичне. В трамвае было нестерпимо — что-то подкатывало к горлу и душило, душило. Он выскочил на первой остановке и пошел пешком. И заметил, какая уже глубокая, безрадостная осень — на черных мокрых сучьях болтаются одинокие потускневшие листки, на земле — сплошная масса пожухлых, затоптанных листьев, не шуршащих, а чавкающих под ногами. Бурные пустыри. В облетевшем парке — пусто. И даже здесь, на воле, что-то душило и давило... А-а, это сырость пригибает к земле лисий хвост азота. Гадость какая! Надо найти способ избавления от этого лисьего хвоста... Найти способ? Тут и со своими хворобами не нашел способа управиться. Насосы. Зарплата. И еще в 9.00 — Туков...

Мост. Обелск.

Где-то там, в черной глубине земли, зарыт Кирилл Светов. Отец...

Палька совсем не помнил отца. Катерина немного помнила, хотя ее детские воспоминания давно смешались с тем, что ей потом рассказывали об отце, а помнили его многие: Кирилл Светов жил на виду, на людях. Палька с малых лет знал, что у всех мальчишек отцы как отцы, а у него — герой, похоронен под обелиском, и гордился этим. А вот сейчас впервыехватила за сердце тоска по живому, незнакомому... Какой он был? Говорят, большой, всегда веселый, озорной, шумный... А вот что он думал один на один с самим собой? Чем он жил? Чего хотел? Тогда пели: «...и, как один, умрем в борьбе за это!» Он хотел, чтобы весь земной шар принадлежал тем, кто трудится. И умер за это. Я тоже мог бы. В бою. Ну а так, в жизни, — будь он на моем месте, что бы он сказал сегодня Кузьмичу? Промолчал бы, как я, или закричал бы: врешь, не клепай на себя! И тем разъяренным женщинам на больничной лестнице — что бы он сказал в ответ? Нашел бы он какие-то верные, доходчивые слова? И с Туковым... Как он говорил бы завтра с Туковым? Может, схватил бы его за грудки и тряханул как следует — не темни, гад, сам ведь не веришь, а накручиваешь!..

Ну и я скажу Тукову это самое. Не темни!..

А вот Кузьминишне... Что я скажу сейчас Кузьминишне?

Он ничего не сказал. Не нужно было ничего говорить.

Кузьминишна сидела за столом и с ложки кормила младшего внука. Матвейка баловался и уворачивался от ложки. Рядом Светлана, как старшая и рассудительная внучка, сама уписывала за обе щеки такую же кашу. В открытую дверь видна Лелька — стоит у стола в бывшей Любимой комнате и гладит белье, а белье возле нее — груда. Наверно, опять берется по вечерам стирать и гладить чужим людям. С тех пор как у нее родился Матвейка, она хватается за любой заработок. А теперь, когда заболел Кузьма Иванович, особенно.

— Вы со станции, Павел Кириллович? — Лелька убежала к нему с утюгом в руке. — Никиту не видали?

Оказалось, после работы Лелька поспешила домой — белье пересохнет, а Никита остался на собрание. И вот его нет и нет,

— Да какое собрание? Нет у нас собрания.

— Может, он еще куда зашел? — поспешила вырвать сына Кузьминишна. — Он хотел насчет кровельного железа похлопотать...

— Знаю я его хлопоты! — сердито блеснув глазами, бросила Лелька, вернулась к белью и уже оттуда, наглаживая очередную вещь, весело крикнула Пальке: — Его на поводке водить нужно, гулену несчастную! И этот баловник такой же, весь в батьку!

Матвейка действительно был весь в батьку — даже в младенческой его улыбке было что-то кузьменковское.

Знакомый голос сказал за дверью:

— Придет твой Никита, никуда не денется.

Палька с удивлением заглянул в ту комнату — Катерина сидела с ногами на кровати, плотно завернувшись в вязаный платок, руки сложены. Мрачная.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего.

— Да ты что — такая?

— А чего мне веселиться?

В те дни, когда разразилось несчастье, Катерина была спокойней и решительней всех. Она без промедления вернулась на работу в свою компрессорную, а Светланку перевела жить к «кузьменковской бабушке», грозно цыкнув на родную мать, когда та запротестовала.

— Вам бы только охать и переживать, — сказала она тогда. — Кузьминишне дело нужно, руки занять нужно...

Палька подсел к сестре и тихонько, чтоб не услыхала Кузьминишна, рассказал о Кузьме Ивановиче. Катерина слушала рассеянно. И вдруг спросила дрогнувшим голосом:

— Почему от него ничего нет?

Палька понял, что она все время думала об Алымове.

— Некогда ему сейчас писать. Вот уляжется все...

— Очень мне нужно, чтоб он писал! — страстно воскликнула Катерина. — Не понимаешь ты ничего. Ведь он сумасшедший! Сумасшедший! Саша — разумный, сдержанный, а Костя напролом пойдет, он же себя не пожалет, он же наговорит такого, что...

Первый раз он слышал, что сестра называет Алымова так ласково — Костя. И только в эту минуту поверил, что раздражавшие его отношения Катерины с Алымовым глубже, чем он думал, что она любит.

Они долго сидели в этот вечер у Кузьменок. Уже уложили детей. Поужинали, попили чаю. Кузьминишна подремывала над вязаньем, то и дело вздрагивая и прислушиваясь — не идет ли загулявший сын. Лелька как вихрь носилась по дому — перемыла посуду, убрала ее; догладила, сложила и увязала в узел белье; постелила постели, собрала ужин для Никиты... На ходу и между делом она ворчала и чертыхалась, грозилась расчитаться с Никиткой так, как он еще и не подозревает, — и все-таки ощущалось, что она в этом доме самый счастливый человек.

В полночь ввалился Никита — грязный, перемазанный, то ли подвыпивший, то ли просто веселый. Он виновато зыркнул глазом на мать, погасил улыбку, но оживление так и просилось наружу.

— Ишь красавец! — обрадованно закричала Лелька. — Улицу мордой подметал? Руки тебе не отдавили, пока домой шел?

— Цыц, дуреха, детей разбудишь! Приготовь-ка помыться. Работали мы.

— Ра-бо-тали?

Никита основательно помылся и сменил рубаху, прежде чем войти в комнату.

— Ты бы поглядел, Павел, что на станции делается! — сказал он, набрасываясь на еду. — Освещение как в праздник. Возы, мажары, тачки. И Сигизмунд под зонтиком! — Он расхохотался и снова виновато зыркнул глазом на мать. — Подогрей-ка самовар, Леля, горячего хочется.

— Нет, ты погоди. — Палька положил руку на самовар, будто самовар был необходим ему, чтобы понять. — Какие возы? Что делается?

— А вот то, — удовлетворенно сказал Никита. — Полный субботник! Гонят уголь на-гора. Сигизмунд со своей гимнасткой продают его населению. За наличные. А мы с Маркушей выгужали насасы.

После того как Палька уехал в больницу, коммунисты еще поговорили между собой, а потом Ваня Сидорчук пошел по всем участкам станции беседовать с людьми. Беседовали и другие, но у Вани было то преимущество, что он никогда о себе не рассказывал, а уж

если решил заговорить — значит, душа горит, значит, нужно выскнуть.

Он ходил и рассказывал людям, как служил в армии, и как наткнулся на ту самую статью Владимира Ильича Ленина, и как послали кавалеристы запрос — что делается по ленинской статье. Он рассказывал, как обрадовался по возвращении домой, услышав, что есть в Донбассе станция подземной газификации, и начал работать у Катенина, но там ничего не вышло... Он говорил о том, сколько борьбы выдержали молодые донецкие химики со своим проектом и как им все же удалось получить газ, а вот теперь все дело под угрозой — и только из-за того, что закрыли счет и нет денег, а если бы рабочие подождали и немного поработали в долг...

Когда начали скликать на собрание, все уже были подготовлены к принятию жесткого решения — работать без зарплаты.

— Перетерпим! — первым закричал тот молодой землекоп, что когда-то добивался отправки в Испанию. — Ремешки подтянем, раз нужно! В гости ходить будем!

— К теще на блины! — подхватил другой. — По друзьям-приятелям!

— Семейным подсобить придется, — сказал один из проходчиков. — А так что ж, ведь не закрываться же. Тем более утрясется все. Должно утрястись.

Решение приняли без споров, как будто оно не сулило каждому всяких лишений. Так же просто решили — самым сильным парням поехать на выгрузку насосов. Но где взять деньги?.. Думали, гадали. Оттого, что ни Липатова, ни Светова тут не было и все знали, что начальникам сейчас приходится туго, особое настроение царило на этом недлинном собрании — мы *сами!* Сами собрались и хотим помочь.

Выступление Сигизмунда Антиповича было для всех неожиданно — старого циркача никто не принимал всерьез, над ним и его кокетливой супругой посмеивались. Смехом встретили и первые его слова:

— А я предлагаю, товарищи, продать уголь.

Смех рассердил Сигизмунда Антиповича.

— Что тут смешного?! — срывающимся голосом выкрикнул он. — Зачем у нас валяется без пользы уголь? Только территорию портит! — Люди прислушались — еще недоверчиво, с усмешками, но прислушались, а Сигизмунд Антипович продолжал: — У нас до революции был

случай, когда мы прогорели. Цирк шапито, с места на место переезжали, всякого навидались, а тут — прогорели. Совсем. Вы этого не поймете, вы безработицы не знаете... а куда мы тогда разбрестись могли? Кому мы нужны были — сами-то по себе? А у нас в труппе дрессированные животные — собачки, морские свинки, две белые крысы...

Кто-то из молодежи засмеялся, на него зашикали.

— Их кормить нужно. А денег ни шиша. Так мы по дворам, по базарам пошли — фокусы всякие... Акробаты... Клоун прямо на базаре выступал... И мы с женой — целый день свой лучший номер с бутылками исполняли...

Опять кто-то из молодежи неуверенно засмеялся — и смолк.

— Так почему же теперь не помочь своей социалистической станции?! — с неожиданным пафосом воскликнул Сигизмунд Антипович. — Объявить по соседним поселкам — продаются излишки угля. По дешевой цене. Отбою от покупателей не будет! А зачем он нам, этот уголь? И территорию очистим. И насосы перевезем.

— Товарищи, да он же дело говорит!

— Ай да Сигизмунд!

— Это уже не Сигизмунд, а Антипович! Смекалистый мужик!

— Угольку подбавить надо! Кто хочет проходчикам помогать? Записывайся!

— Товарищи! Товарищи! Кто пойдет объявить по поселкам? У кого там знакомые есть?

— Всем работать вечер! Субботник объявляй, дядя Алеша!

Так родился этот необычный субботник. Машинисты и землекопы спустились в ствол подсоблять проходчикам, а возле навала угля, спасаясь от морозящего дождичка, сидели под зонтом Сигизмунд Антипович с супругой; она держала зонт, он аккуратно записывал в ведомость количество отпускаемого угля, пересчитывал рубли и десятки, складывал их по порядку в железный ящик. А в ворота тянулась очередь телег и тачек за дешевым — дешевле, чем на складе, — углем...

Липатов вернулся из Москвы с мрачноватой формулой — «еще потрепыхаемся, как та муха на липучке», — но не успел он поделиться с друзьями невеселыми

московскими впечатлениями, как позвонил Саша и восторженно, но не очень понятно сообщил, что победа полная, в самом главном месте! Потом позвонил Рачко и рассказал все подробности, какие можно было передать по телефону, и посулил широкую помощь.

Липатов начал названивать в банк и в подрядные организации, а Палька поспешил сообщить о победе тем, кто не растерялся в дни беды. Он ходил от одного участка до другого, поздравлял, принимал поздравления и бежал дальше.

Наконец на станции не осталось ни одного человека, который не знал бы счастливой новости.

Мстительно усмехаясь, Палька позвонил Тукову.

Туков помолчал минуту, потом быстро сказал:

— Рад за вас. Есть документ?

— Если вам нужен документ — запросите сами! — сказал Палька и, не прощаясь, дал отбой.

Кому сообщить еще?

Он взялся за телефонную трубку — и отпустил ее.

— Я съезжу к Кузьмичу, ладно, Липатушка? Все равно работать... ну, не могу я сегодня работать!

По пути в больницу он свернул к зданию, где помещался горком комсомола. Так просто было бы подняться на второй этаж, открыть четвертую дверь справа и увидеть...

Постоял — и пошел в больницу. «Не надо» — так она сказала. «Нельзя» — она в этом уверена.

К Кузьме Ивановичу не хотели пускать:

— Ему очень плохо.

— Ему станет лучше, честное слово!

Палька приготовился увидеть что-то страшное, а Кузьма Иванович выглядел почти так же, как в прошлый раз, даже спокойней и легче дышал. Но когда он поднял глаза на подошедшего вплотную человека, Палька содрогнулся, таким отрешенным был его взгляд.

— Зашел? Садись, — проговорил тусклый голос.

Пробиваясь через эту пугающую отрешенность, Палька начал рассказывать. Слушал старик — или нет? Все тот же невидящий, чуждый всему взгляд устремлен куда-то мимо Пальки. Но вот что-то затеплилось в глазах, судорогой прошло по лицу.

— Повтори, — произнесли губы.

Палька повторил с еще более радостными интонациями.

— Жаль... — еле слышно сказал Кузьма Иванович. — Жаль...

Мучительное недоумение возникло в его глазах вместо недавней отрешенности. Будто он никак не мог освоиться с тем, что его жертва уже не нужна, а жить — нет сил.

— Иди, Павлуша... — Он слегка махнул пальцами. — Иди.

В той внутренней работе, что началась, он не хотел ни участников, ни свидетелей.

В вестибюле больницы Палька подошел к автомату. Если найдется в кармане гривенник, позвоню. Гривенник нашелся.

— Весенок слушает.

Этот ее авторитетно-ответственный голосок! Он уже не раз звонил только для того, чтобы услышать его — и, помолчав, повесить трубку.

— Клаша, это Павел. Мне нужно рассказать тебе большую новость.

Она не может отказаться от встречи, раз у него большая новость!

— Павлик! — воскликнула она. — Поздравляю, Павлик! Я уже все знаю, мне звонил Леня. Замечательно!

Если б этот Леня подвернулся сейчас под руку, было бы здорово дать ему трубкой по башке.

— Значит, ты рада за нас? — упавшим голосом спросил он.

— Ну еще бы! Я всегда верила, что кончится хорошо.

— И я тоже.

— Да.

— Что ты сейчас делаешь?

Она не ответила. Кажется, он слышал ее напряженное дыхание.

— Тебе не пора кончать работу?

Она все еще медлила. Потом твердо сказала:

— Работу я кончила. Я пишу письмо Степе. Надо же ему сообщить такую новость.

Теперь молчал он.

— Что ему передать?

— Привет. И поздравление. Ну, до свидания!

— До свидания!

Такой получился разговор...

Катерина была дома. Она сидела одна и читала длиннее письмо.

— Победа? — первую воскликнула она еще до того, как он открыл рот, — видно, и после того разговора что-то победное в лице сохранилось.

— ...И ты понимаешь, все уже было гробово, все подавлены, молчат... И вдруг встает Саша и говорит: неправда, все не так, вам наврали!

— Саша? — бледнея, переспросила Катерина.

Затем она отвернулась, вложила длинное письмо в конверт и сунула в ящик комода.

— Конечно, Саша! — Он вдруг понял, быстро поправился: — Да неважно кто, важно, что нас поддержали, что теперь можно...

— Да, конечно, — сказала Катерина.

После этого дня прошло еще пять. Ликование сменилось ожиданием. Что-то долго не было ощутимых результатов победы — даже финансирование еще не открыли, уж нет ли там какой-нибудь осечки?

На шестой день пришла телеграмма.

Финансирование открыто тчк Примите меры полному развороту работ тчк Липатову или Светову выехать Москву обсуждение перспектив и потребностей тчк Директор Углегаза

Алымов

Алымов — директор?

Интересно, что там произошло с Олесовым? И какие перемены в аппарате? Останется ли Колокольников? И что значит — обсуждение перспектив и потребностей? Это и есть — начало широкой помощи?

Палька был в восторге от того, что Липатов не может ехать, так как нужно подкрутить все, что тут запустили и приостановили.

Катерина отнеслась к новому известию непонятно — и обрадовалась как будто, и стала колючей.

— Поедем вместе, сестренка! Собирайся, а? Сделаем приятный сюрприз новому директору.

— Разве новый директор меня вызывает?

— Ну, в данном случае директор, кажется, ты?

Она холодно улыбнулась и сказала:

— Кажется, да. Но ведь я на работе.

Снег выпадал — и таял. Выпадал — и таял. Ветры носились над донецкой землей, то ледяные, пронизывающие до костей, то теплые, сырые, от которых по телу шел озноб.

Катерина носила кирпичи по дощатой сходне на растущую стену новой компрессорной. Она взялась за такую грубую работу со злости на себя и на весь свет: прогуляла семь месяцев, а вместо нее приняли другого машиниста, теперь ее кидают из смены в смену — то подменить больного, то поработать за отпускника или за товарища, занятого на общественном деле. В нынешнем ее душевном состоянии налаженная, четкая работа могла ускользнуть, всякая бестолочь была нестерпима.

В отделе кадров ей сказали:

— Поработай на стройке компрессорной, тогда поставим тебя на любой новый компрессор, сама выбирать будешь.

В первые дни — да что дни! — в первые недели спина болела так, что утром не разогнуться.

Движения грубы и однообразны — опустили носилки, наложили из штабеля кирпичей, разом подняли носилки, перехватив в ладонях поудобней, и пошли — в лад, размеренным шагом. Ноги привычно нащупывают ребрышки сходни. Когда идешь с грузом, доски прогибаются, когда сбегашь налегке обратно — еле ощутимо пружинят.

— Ну куда спешишь, скаженная? — ворчит напарница. — Надорваться хочешь?

Спешить ей некуда, но приятно чувствовать, как напрягается, горит, дышит на ветру ее молодое, здоровое тело. Опустив носилки возле каменщиков, она успевает распрямить спину и увидеть сверху знакомый двор шахты и свою старую компрессорную, где ей бывало так легко на сердце, вход в нарядную, где всегда входят-выходят знакомые люди и где она встречала когда-то Вову... Копер, два сросшихся в основаниях террикона, здание шахтоуправления, возле которого останавливаются грузовики, ожидающие нарядов, а то и легковые из города. Она успевает увидеть, как по склону одного из терриконов ползет вагонетка — ползет, доползла, задрагла хвост и опрокинула на вершине склона дымящуюся породу... Почему здесь, на воле, среди привычных

картин знакомого труда, она ощущает в себе неведомое буйство сил, и радость жизни — пусть со стыдом и горечью пополам, и все-таки — надежду, надежду вопреки всем и всему?!

И тут самая пора хватать носилки, и бежать вниз, и брать груз потяжелей, и расходовать, расходовать немую, непрошеную силу...

Бригадир каменщиков, тридцатилетний женатый богатырь, дуреет и запинается, когда она подходит. Парни помолже после неудачных попыток поухаживать пялят на нее глаза и величают царевной-недотрогой. Пропали они все пропадом! Был один-единственный — он никогда не обидел и другим не дал бы обидеть. Второго такого нет. Кому я доверилась, дура? Уж если я Игоря прогнала... А Игорь, наверно, не лучше других. Разлетай с кудрями! Нет, никого мне не надо.

В старой компрессорной о ней знали все, она была — своя. Здесь, на стройке, народ пришлый, она для них — чужая, и она не старается сблизиться с людьми, ей легче, что они ничего о ней не знают и не могут судачить.

Дома — хуже.

Еще по дороге к дому, вступая в поселок Челюскинцев, она томится желанием склонить голову, опустить глаза, проскочить незамеченной. Нет, она не позволяет себе ничего подобного, она идет по середине улицы, смотрит людям в глаза, останавливается перекинуться словом, задирает шутками самых отъявленных сплетниц. Ей не приходится заблуждаться на их счет, она знает, что они усиленно чешут языки: «А на что она надеяться могла?», «В столице и получше есть!», «С чего бы нос задирать?», «А долговязый-то и думать об ней забыл...»

Самое противное, что всё — правда.

Дома — мать с невыносимым выраженным сострадания. Катерина пыталась скрыть правду, отговаривалась тем, что Алымов очень занят, ведь директор теперь! Но вышло так, что пришлось сказать.

Это случилось вскоре после того последнего письма. Письмо пришло во время обеда, Катерина распечатала и начала читать, в тарелке стыл борщ, а Катерина читала: «...я боролся с собой, я старался стать достойным Вас...», «...я понял, что надо расстаться, пока Вы не связали свою жизнь с моей...», «...я клянусь себя за то, что не могу дать Вам всего, что Вы заслуживаете...».

— Какие новости? — спросил Палька, подставляя тарелку для добавки.

Катерина налила ему и съела свой борщ, достала из кастрюли и разделила мясо. Кажется, она и мяса поела, и вынесла посуду на кухню. Потом прибежала от «кузьменковской бабушки» Светланка. Катерина обещала ей книжку с картинками: пришлось почитать книжку. Единственную слабость позволила себе Катерина — оставила Светланку дома и взяла ее к себе в постель, прижалась к маленькому сонному человечку, да так и заснула — глухим каменным сном.

А дня через три, придя с работы домой, она застала Светланку во дворе. Было мокро, грязно, Светланка всунула ноги в большие алымовские сапожищи и с хохотом топала по лужам — веселый котик в сапогах из детской сказки. Марья Федотовна была тут же и любовалась внучкой.

— Это что такое? — гневно спросила Катерина.

— Папины сапоги! — торжественно прокричала Светланка. — Я — папа!

Марья Федотовна густо покраснела. Это она потихоньку приучала внучку называть Алымова папой.

Катерина метнула на мать испепеляющий взгляд, рывком выхватила Светланку из сапожищ, шлепнула ее и унесла в дом. Светланка заревела, мать кинулась вырывать из лужи сапоги.

— Какая гадость! — кричала Катерина позднее, когда девочку увели к Кузьменкам. — Кто вас просил вмешиваться не в свое дело? Один у нее отец был и будет!

— Она сама... — лопотала испуганная мать. — Ты пойми, девочке хочется... Он привозит ей игрушки...

Катерина перестала кричать. Игрушки! Вот именно — игрушки. Это он может. Всех купил игрушками. Меня — первую. За что кричу на маму?

— Не сердитесь, — сдерживаясь, сказала она, — только постарайтесь, мамо, чтоб она навсегда забыла этого дядю с игрушками. И сами забудьте. Мы разошлись.

Она хотела беспощадно добавить — он меня бросил, но увидела несчастное лицо матери, пожалела ее и сказала:

— Не плачьте, мамо, так лучше для всех.

Мать, конечно, пересказала разговор Пальке. Брат и без того хмурился, избегая упоминаний об Алымове, — особенно после недавней поездки в Москву. Сначала

Катерина решила, что Алымов, став директором, перегнул в проявлении власти. Теперь она услышала раздраженный ответ Пальки:

— Ну и слава богу. Я никогда в это все... не верил.

Его слова жгли Катерину. Он не верил. Должно быть, и Саша, и Липатушка, и Люба не верили... чему? Серьезности его любви? Его намерений? А я... верила? Я не позволяла себе думать, что будет дальше, но как можно было не поверить в его любовь? И как забыть о ней теперь, если память, как нарочно, подсовывает все лучшее, все, что волновало и трогало?.. Ту комнату на берегу моря и окно, распахнутое навстречу лунному блеску моря, запахам водорослей и цветов, его руки, его голос, такой необычный для него, — ведь нельзя же выдумать такую нежность, и страсть, и покорность во всем!

Куда ж это все ушло? Что же он за человек, если все так быстро разгорелось и — сгорело?..

Закрывшись от всех, она снова и снова пыталась разобраться в нем, перечитывала по многу раз все те же два письма — последнее и предпоследнее, написанное в ожидании вызова в Кремль. В тот день он исписал мелким, невнятным почерком шесть страниц. Длинное, путаное, отчаянное письмо: «Видно, надо искать свою судьбу на новом поприще...», «Нас свела победа, как же ты согласишься на меня сраженного?..», «Громко тикают и тикают надо мной часы, может быть отсчитывая мои последние минуты...»

Как странно! Я думала, он ринется напролом, не жалея себя, а ринулся Саша. Было ли у Саши в тот день такое же отчаянное настроение? Позволил ли он себе... Нет, он не мог впасть в панику. И он не мог думать только о себе — «искать на новом поприще...»

Она зло засмеялась, сличив два письма.

В первом, отчаянном: «Поедешь ли ты со мной в неизвестность — быть может, на черную работу и нужду?»

Во втором, прощальном: «...Клянусь тебе за то, что не могу дать Вам всего, что Вы заслуживаете». Вот как! Именно теперь — не может...

Что же с ним случилось за месяц, прошедший между двумя письмами?

Смирив гордость, она спросила брата:

— Что с ним стряслось, с Алымовым?

Палька помолчал, потом покрутил пальцем вокруг головы:

— Головокружение от успехов. Административный восторг!

— А еще?

— А что еще? Хватит и этого.

Он шагнул к ней и положил руку на ее непокорное плечо:

— Перечеркни, сестренка. К черту!

— Я уже давно... к черту.

Нет, ничего еще не было перечеркнуто. Сколько ни глуши себя тяжелой работой — от правды не спрячешься, ее-то не заглушишь. Поиграл — и отбросил, как надоевшую вещь.

Палька много раз собирался — и не мог рассказать Катерине о том, что было в Москве.

Как бы ни раздражала его связь сестры с Алымовым, в прочность которой он не верил, — Алымов все же был их сторонником и соратником, его назначение директором Палька воспринял так же, как Липатов: «Наша взяла! Лучше свой Алымов, чем неизвестно кто».

В Углегазе царило нервическое ожидание перемен. Лидия Осиповна сидела на своем посту с непроницаемым лицом, но, когда раздавался звонок из кабинета, вздрагивала всем телом.

Рачко приводил в порядок дела. На всеобъемлющий вопрос Светова: «Ну как тут у вас?» — он фальшиво пропел: «Нынче в море качка!» — а потом тихо сказал, что, по-видимому, доживает в Углегазе последние дни.

— Почему, Григорий Тарасович?! Как это может быть, когда вы...

— Да нет, Павел, ты не так понял! — с иронией перебил Рачко. — Партсекретарей не выгоняют со службы, если хотят от них избавиться... партсекретарей выдвигают. Вы-дви-гают! Как ценных работников — на более самостоятельную работу... куда-нибудь подальше.

— Но почему?.. Ведь вы?!

Рачко пригляделся к Светову — действительно парень не знает ни о том ночном разговоре с Мордвиновым, ни о той пощечине? Да, не знает. Ну и хорошо. Молодец Саша, не болтлив.

— Иди к Алымову, он тебя ждет, — сдержанно сказал Рачко. — Добивайся всего, что нужно станции. Помощь идет немалая — нам отпускают средства на

расширение работ, решено проектировать большую опытно-промышленную станцию в Сибири, нашему НИИ дали наконец помещение и приличные штаты научных сотрудников, есть надежда получить новые приборы...

— Так ведь это здорово!

— Конечно, здорово, — согласился Рачко, — но и то здорово, когда человек умудряется из одной улыбки и шутливой реплики сварганить себе директорский пост!

Поначалу, встретившись с Алымовым, Палька подумал, что Григорий Тарасович не сумел сработаться с новым директором и дал волю недобрым чувствам. Алымов был в празднично-возбужденном настроении, его огненная энергия, казалось, не знала преград, раскаты его голоса доносились до самых дальних комнат Углегаза. Он прямо набросился на Светова, — чем вам помочь? Все сделаю! Все вырву зубами! Запрашивай с походом, не стесняйся, сейчас такая ситуация!..

Пальке только того и нужно было. Он завертелся в хлопотах, все время чувствуя напористую поддержку Алымова. Приборы... Заказ на трубы... Штаты... Ситуация оказалась действительно подходящей.

Сашу удавалось видеть редко — институт переезжал в новое помещение. Саша был задумчив и замкнут, обсуждать назначение Алымова не захотел, только сказал:

— Нам его недостатки и достоинства известны — значит, надо удерживать его от опрометчивости и направлять его энергию на пользу дела.

Люба расспрашивала о Катерине, вскользь обронила:

— Не пара они... Неужто она не понимает!

Палька и сам думал так же, но в отношении друзей к Алымову проскальзывала непонятная ему предубежденность. Он напрямик спросил: в чем дело?

— Приглядишься, — коротко посоветовал Саша.

Палька стал приглядываться. Впрочем, особой догадливости не потребовалось, у Алымова все рвалось наружу. Нежданный взлет карьеры разжег его честолюбие — он жаждал до конца использовать счастливую ситуацию, искал известности и похвал, упорно добивался, ссылаясь на перспективы Углегаза, своего утверждения членом коллегии наркомата, добыл персональную машину и вот-вот должен был получить квартиру, выхлопотал увеличенные ставки руководящим работникам, — и все это не из корысти, а для престижа: его потребности были невелики, бытовые удобства его не занимали.

Когда Пальке случилось вместе с ним поехать на новой машине и Алымов небрежно уселся на обитое ковром сиденье, Палька увидел, как победно раздуваются его ноздри и сверкают глаза, с какой блаженной гордостью он едет на *своей* машине в потоке других начальственных машин, а потом, у входа в наркомат, бросает шофера: «Жди здесь...»

Черт с ним, пусть тешится, думал Палька. Это не так уж страшно. Хуже другое....

Поверил ли Алымов, что его выдвинул не случай, а личные качества? Во всяком случае, он день ото дня все более властно командовал, все меньше советовался, вмешивался и в решение чисто технических вопросов, причем нередко попадал впросак. Молодые инженеры проектного и технического отделов, фыркая, рассказывали анекдоты про его невежество.

Палька присутствовал на нескольких заседаниях, и на каждом Алымов произносил руководящие речи, безапелляционно высказывая свою точку зрения. Когда он говорил нелепости, Колокольников деликатно поправлял его, обрамляя поправку рассуждениями о том, что теперь, когда руководство в твердых руках... в данное время, когда дело ведется с такой энергией и умением...

Казалось, Алымов первым делом постарается освободиться от Колокольникова — этот человек достаточно ставил им палки в колеса. Но нет, Колокольников удержался, теперь он был работающ, скромн, старался стать необходимым новому директору.

Упорные слухи о предстоящих переменах будоражили весь аппарат. Палька не очень прислушивался — в таких случаях всегда болтают! Но затем слухи стали уж очень определенными — якобы приказ уже заготовлен и даже согласован в инстанциях: Рачко — в Кузбасс, Мордвинова — директором Подмосковной станции, а в НИИ на его место — Катенина. По этому поводу молодежь как-то загадочно переглядывалась. Палька ничего не понял, но пришел в ярость и помчался к Саше — ты слышал?

— Слышал, — ответил Саша, — только не будет этого. Поедем к Алымову, будешь свидетелем. Но, пожалуйста, в разговор не вступай.

Алымов встретил их с подчеркнутым радушием и первый заговорил о намечаемых переменах: «Я как раз собирался выяснить вашу точку зрения», «Я уверен, что вы поймете мои намерения...» Получалось, что эти

перемены — чуть ли не благодеяние, знак особого доверия — «ключевые позиции будут в ваших руках», «само собою разумеется, Александр Васильевич, что вы по-прежнему будете числиться одним из моих заместителей и по званию, и по окладу...»

Саша слушал, не перебивая. Палька терпел, помня его просьбу, и старался понять, чего хочет Алымов. Показать свою власть? Убрать подальше человека более умного и знающего, чем он, то есть возможного соперника?..

Когда Алымов выговорился, Саша сказал негромко и очень спокойно:

— Вы хотите отправить Григория Тарасовича в Кузбасс. Но там и свой неплохой коллектив создается. А вам без Рачко будет трудно, Константин Павлович. Он здесь с первого дня, все и всех знает, у него в руках все нити...

— Обойдусь! — сверкнув глазами, рявкнул Алымов. — А нити будут здесь! Здесь! — И он стиснул большой костлявый кулак.

— Если вы попытаете подменить аппарат и все взять на себя, вы провалитесь, — тем же дружелюбным тоном возразил Саша, — а проваливаться вы не имеете права.

Алымов раскрыл рот — и промолчал.

— Вот вы задумали менять руководителя НИИ. Ради чего?

— Да что ты, Александр Васильевич! — вскричал Алымов. — Я думал усилить Подмосковную! А в НИИ, в конце концов, справится и Катенин, если им руководить...

— А кто будет руководить им? — не удержался Палька.

— Я! — снова рявкнул Алымов. — Я! Колокольников, наконец...

— Ну, Колокольникова мы с вами знаем!

Саша осторожно придержал Пальку за рукав.

— Вы энергичный организатор, Константин Павлович, но знаний для руководства научно-исследовательской работой у вас нет, — жестко сказал он, — а сейчас главное — обосновать и теоретически разработать процессы газификации. Недооценка теории нам обойдется чересчур дорого. Я на это не соглашусь и буду с этим бороться, — он взглянул Алымову в глаза, — всеми доступными мне средствами.

Алымов вскочил и начал мотаться по комнате, спотыкаясь о края толстого ковра.

Саша тоже встал, побледнев.

— Вы ведь знаете, Константин Павлович, я не боюсь драки.

Алымов круто остановился. Лицо его задергалось, в глазах сверкнуло бешенство.

Палька замер, чувствуя, что есть в этой схватке двух характеров что-то, чего он не понимает — или не знает.

И вдруг лицо Алымова преобразилось, он всплеснул руками и раскатиисто засмеялся — да что это, чуть не поссорились! — он привлек обоих друзей на диван и сел между ними:

— Вот что, дорогие, давайте напрямик! Советуйте, подсказывайте, если чем недовольны — ругайте в бога, в душу! Мы с вами главные борцы! Как же мы можем ссориться!

Во время последующего откровенного разговора Алымов то вспыхивал, то смирял себя, то злился, то с громким смехом каялся: виноват, есть такое дело! — и вдруг бросил многозначительные слова:

— Не думай, Павел Кириллович, что я дурак и не видел, что тебе не нравилось. Так вот, больше ничто нас ссорить не будет.

Как это понимать? Палька чувствовал, что услышал нечто важное — не для себя, для сестры. Но почему Алымов, обращаясь к нему, смотрит на Сашу, говорит как бы для Саши?

Алымов вдруг обхватил голову руками, закачался, как в припадке.

— Да, да, да, что я такое? — забормотал он. — Немолодой, грубый, неуравновешенный...

Он казался искренним и несчастным, Палька даже пожалел его, а Саша сказал без всякой мягкости:

— Вот и хорошо. Что ж, Константин Павлович, давайте подумаем о координации научных и опытных работ...

В последующие дни Алымов был сговорчив и прост, как раньше. Разговоров о переменах больше не было.

Палька уже готовился уезжать, когда стало известно, что Алымов решил воспользоваться присутствием в Москве руководителей станций и устроить дружеский банкет: отпраздновать победу и развитие дела — такая была мотивировка.

Накануне банкета Лидия Осиповна шепотом попросила внести пятьдесят рублей на банкет. Палька чертыхнулся, но внес.

— Ивана Михайловича телеграммой вызвали, — шепнула Лидия Осиповна и пошла дальше — собирать деньги.

Вызвали — ради банкета? И все же было приятно, что Липатушка не забыт.

Банкет состоялся в особом зале гостиницы. Официанты сновали вокруг заставленных закусками и бутылками столов; в своих черных костюмах и галстуках бабочкой они выглядели весьма торжественно — графы среди простецких гостей. Им под стать была, пожалуй, только Люда Катенина — в очень открытом шелестящем платье до полу, вызывающая и возбужденная. Она сидела рядом с Алымовым и держалась хозяйкой банкета. Когда она чокалась с Алымовым, как-то особенно улыбаясь ему, а он скашивал глаза на ее открытые плечи и грудь, Пальке делалось стыдно и жарко.

— Что сие значит? — спросил быстро захмелевший Липатов.

— Не знаю. — Палька с болью вспомнил, как волновалась Катерина за Алымова: «Он же сумасшедший, себя не пожалеет!» — и как она впервые сказала об Алымове: «Костя»...

— По-моему, рассказывать об этом не стоит.

— Не стоит, — неуверенно согласился Палька.

Тостов было много — за победу и за того, кто дал нам эту победу. За развитие подземной газификации. За энтузиастов. За нового директора. Последний тост провозгласил Колокольников, вкрадчиво улыбаясь Алымову и Люде Катениной, а Люда, привстав, заглянула в глаза Алымову и что-то сказала. Алымов радостно вспыхнул и, усаживая, обнял ее голые плечи.

Вадецкий, хихикая, рассказывал соседям по столу, как однажды перед мировой войной по случайному стечению обстоятельств попал в этом же зале на купеческий банкет и как резвились купчики, — он как будто и не намекал ни на что, но слушатели хохотали, косясь на Алымова.

— Братцы, давайте смоемся, а? — с тоской предложил Саша.

Но в это время Алымов поднял бокал за авторов метода газификации, сказал о каждом сердечные слова и пошел чокаться и целоваться с ними.

Палька встать-то встал, а сесть уже не мог, его повело куда-то в сторону. Опьянение навалилось сразу. Потом он смутно припоминал, что бродил по залу, с кем-то целовался, с кем-то спорил, пытался полить шампанским пальму и допытывался у официантов, так ли гуляли купчихи...

Последнее, что он видел перед тем, как его увезли домой, была страшная сцена у вешалки. Катенин вырывал у дочери шубку и выкрикивал сдавленным голосом: — Прощу тебя, Люда! Заклинаю тебя, Люда!

Жена Катенина перехватывала его руки и шептала: — Всеволод, не здесь, Всеволод, на тебя смотрят...

А он все тянул к себе шубку и выкрикивал свою мольбу.

Хорошенькое лицо Люды было искажено досадой. Потом оно исчезло, и шубка исчезла, а возле вешалки одиноко стоял Катенин и всхлипывал, зажимая рот полосатым шарфом.

Остаток ночи Катенин просидел у себя в прихожей.

— Оставь меня, Катя, — говорил он, когда жена, кутаясь в халат, выходила к нему. — Если можешь спать, спи.

Она ложилась и снова вставала — такое невозможно было терпеть: сидит, как пришел, в пальто, шарф свешивается на пол, шапка в руках.

— Сева, это же бессмысленно — ждать. Неужели ты думаешь, что она среди ночи придет домой? Где бы она ни была...

— Оставь меня, Катя.

Она вздыхала и ложилась в постель, задремывала и снова вскакивала.

— Всеволод, уже светает.

Да, светало.

С улицы глухо доносились звуки начинающегося движения.

Где-то хлопнула дверь, застучали каблучки... Люда?! Нет. Кто-то, пристукивая каблучками, сбегает по лестнице.

Он уже не ждал Люду. Да он с самого начала не ждал ее. Он сидел, отупев от горя, и думал о ней и о себе, о крахе всего, что ему было дорого... Его коробило, когда он вспоминал, как Алымов пьяно бормотал ему в ухо:

— Держитесь за меня, Всеволод Сергеевич, я вас в большие люди выведу!

Он и тогда не хотел доверять этому человеку, которому, было время, так слепо подчинялся...

Он много пил на этом дурацком банкете, но хмель давно выветрился. Никогда еще не судил он так трезво, как сегодня, и никогда не понимал свою дочь так ясно.

Они приехали неожиданно — Люда и ее муж. Полк Анатолия Викторовича переводили из-под Харькова в пограничную область, майор привез Люду пожить у родителей, пока он все устроит на новом месте.

— Когда мы с мамой ехали в Донбасс, — сказал Катенин, — мы даже не знали, где остановимся. Вместе приехали и вместе все наладили.

— Это было так весело! — сказала Екатерина Павловна. — Помнишь того старичка, как он боялся, что от моей спиртовки загорится дом?..

Они улыбались милым воспоминаниям своей юности, а Люда покраснела пятнами:

— Вы забываете, что я пианистка! Не ты ли требовал, папа, чтобы я ни на один день не прекращала заниматься?!

— Конечно, с инструментом сразу не устроишь, — виновато сказал Анатолий Викторович, — но меня заверили, что для клуба привезут пианино...

— Пиа-ни-но?! Мне нужен концертный рояль, а не пианино, я не тапер для вашего клуба!

Катенин никогда не видел дочь такой раздраженной, он старался смягчить и загладить ее резкость, ему было стыдно перед майором. Но тогда он еще обманывал самого себя: музыка для нее — главное. Вскоре он сумел выяснить, что она давно не работает по-настоящему.

Накануне отъезда Анатолия Викторовича зашел разговор о сгущающейся предвоенной обстановке.

— Вы считаете возможным, что, несмотря на договор, придется воевать?

Майор был серьезен и задумчив.

— Трудно сказать. Но поскольку Гитлер открыто заявляет, что его цель — уничтожение коммунизма... думаю, воевать придется. Договор — только отсрочка.

— Вот видишь, Толя, что может быть, — раздался голосок Люды, — а хочешь везти меня на границу! Я просто боюсь!..

— Люда, что ты говоришь!

Это воскликнула мать. Катя, всегда готовая следовать за мужем повсюду, куда бы его ни забросила судьба.

Анатолий Викторович внимательно смотрел на Люду. Ни виноватости, ни робости в нем уже не чувствовалось. Но голос звучал по-прежнему мягко:

— Знаешь, детка, если начнется война, все привычные представления отступят и жить придется по другим меркам. А война страшна для всех — и для военных тоже.

— Ну, это ваша профессия, — сказала Люда.

Он грустно усмехнулся:

— Профессия? Вряд ли в такой войне обойдется профессиональными военными. Под угрозой будет поставлено все. Все. И коснется она — всех.

— Но будет же тыл? — возразила Люда.

Катенин терпел вплоть до отъезда Анатолия Викторовича. Гнев прорвался на следующий день, когда Люда начала прочно располагаться в родительской квартире.

— Папочка, я узнала, можно взять рояль напрокат.

— Не стоит, — жестко сказал Всеволод Сергеевич, — ты ведь скоро уедешь.

— Не думаешь ли ты, что я себя закопаю на этой границе?

— Думаю, что поедешь к мужу.

Она плакала и кричала с неприкрытой злостью:

— С какой стати? Почему я должна жертвовать собой? Жить в каком-то захолустном гарнизоне! Я не привыкла, мне неудобно! Если он хочет жить со мной, пусть готовится к академии, переводится в Москву! У меня своя жизнь!..

— Ты поедешь! — гаркнул Катенин так, как он и не умел никогда. — Ты поедешь, иначе ты мне не дочь!

У Люды случались мгновенные переходы от злости к улыбке.

— Папка, ты просто влюблен в моего Толю! Мужская солидарность! А еще сердился, когда я вышла замуж! Конечно, я поеду, но хоть немного погулять в Москве можно?..

Он был напвен и глуп, ничего не понял даже тогда, когда Люда забежала поздравить Алымова с назначением. Алымов был польщен и проводил Люду домой.

Катенину было приятно такое внимание. Он обрадовался, когда Алымов заговорил с ним о возможном назначении директором НИИ...

Однажды вечером Люда со смехом рассказала:

— Представьте, я сегодня выступала авторитетным советчиком при выборе новой квартиры! Алымов просил меня помочь, ему дали четыре адреса на выбор. Это было так забавно! Он ничего в этом не понимает, он мне сказал: выбирайте так, как выбирали бы для себя. И уж я развернулась! — Она изобразила, как она там разворачивалась: — Константин Павлович, здесь нехороший вид из окон, одни трубы! А тут прелестно, в этой нише можно поставить кровать, здесь поместится рояль...

— Зачем ему рояль?

— Конечно, незачем, хотя он обожает музыку. Но ведь я выбирала как будто для себя. Это была очень веселая игра!

В другой раз она вытащила Алымова на концерт. Они были четвером. Екатерина Павловна первая заметила, что Люда напропалую кокетничает с Алымовым и всячески льстит ему...

— А конечно! — со смехом призналась Люда. — Люблю задурять головы! А он самолюбив и честолюбив, он прямо мурлыкает, когда им восхищаешься. Но знаешь, мама, он — настоящий мужчина, он далеко пойдет!

Ночью родители решили ускорить ее отъезд к мужу. Когда они заговорили об этом, Люда загадочно улыбнулась:

— Мой супруг еще не приготовил для меня дворца. С роялем пока ничего не выходит. Неужели вы хотите меня выгнать раньше, чем призовет супруг?

Она старательно ухаживала за отцом. Катенин таял оттого, что Люда делает ему бутерброды и подает домашние туфли. А она просто выгадывала время, чтобы поступить по-своему.

И вот она сделала решительный, точно рассчитанный шаг.

Утренний свет просочился в переднюю. Катя уже готовила завтрак, запах кофе распространился по квартире.

Катенин скинул пальто и шарф, пошел в ванную, долго освежался холодной водой, потом встал на пороге кухни.

— Катя, у этого подлеца есть жена и сын. Кроме того, к нему приезжала из Донецка другая... жена. Я ее

видел. Совсем молодая. Я сейчас пойду и скажу ему, что он — подлец.

— Выпей кофе, — сказала Катя и сняла с конфорки кофейник. — Я не буду тебя удерживать, Сева... но мужчины редко могут устоять, если женщина сама...

— Вешается на шею? — грубо закончил Катенин. — Но ей двадцать, а ему сорок, и надо быть мерзавцем...

— Скажи ему, если считаешь нужным. Но ты знаешь, чем это тебе грозит?

— Знаю.

— Может, лучше пойти мне? Я мать...

— Я не буду прятаться ни за чью спину, когда речь идет о чести моей дочери!

Он устремился в Углегаз, всю дорогу подогреваясь повторением своих доводов и упреков.

У входа стояла длинная черная машина — ЗИС-101. Машина нового директора. Положив локоток на спущенное стекло, в ней сидела Люда, беспечно выглядывая из пушистого воротника шубки.

— Папуныка! — окликнула она Катенина. — С добрым утром!

Ее глаза смеялись и предупреждали — так и будет, не вздумай вмешиваться.

— Что ты здесь делаешь? — угрюмо спросил Катенин, досадуя на присутствие шофера.

— Жду Константина Павловича, он был так мил, что заехал за мной и просил помочь ему выбрать мебель.

Заехал за нею — куда? Или это говорится для шофера?

— А-а, Всеволод Сергеевич! Доброе утро, дорогой!

Алымов приветствовал его как ни в чем не бывало.

— Очень хорошо, что я вас встретил. Надеюсь, вы не волнувались? Я проводил Людмилу Всеволодовну...

— Он завез меня к подруге, — вставила Люда, нагло глядя на отца смеющимися глазами.

Алымов взялся за ручку дверцы.

— Очень хорошо, что я вас встретил, — повторил он. — Зайдите сейчас же к Колокольникову, мы вам даем очень срочное, очень ответственное поручение.

Это был приказ начальника, на него полагалось ответить: слушаюсь. Катенин промолчал, мучительно собирая силы для того, чтобы как-то достойно прервать унижительную для него сцену.

— Я на вас рассчитываю, не теряйте время,— сказал Алымов и пригнулся, влезая в машину.

Машина плавно взяла с места и умчалась.

— Как спалось, Всеволод Сергеевич? — приветствовал его Колокольников. — Голова не болит после вчерашнего?

— Алымов сказал мне...

— Ах, вы уже видели его?! — Он невольно покосился на окно, окно выходило в переулочек, туда, где только что стояла длинная машина. Можно было поручиться, что Колокольников с удовольствием наблюдал всю сцену. — Так вот, дорогой Всеволод Сергеевич, вам придется сегодня же выехать в Сибирь. В связи с намечаемой промышленной станцией надо квалифицированным оком осмотреть место и договориться с угольщиками. Билет вам уже заказан, в бухгалтерии подготовлены деньги. Самое главное, на что вам следует обратить внимание...

Колокольников говорил безостановочно, давая Катенину справиться с собой. Похоже, он был преисполнен сочувствия...

Одна фраза вертелась в мозгу Катенина: «Никуда не поеду, прежде чем не выясню!..» Он так и не произнес ее. Чувствуя себя глубоко несчастным, записал главные пункты поручения и выслушал напутственные пожелания Колокольникова...

Затем он получил у Лидии Осиповны командировочные документы, а в бухгалтерии — деньги и билет в мягкий вагон. Даже отметил не без удовольствия — мягкий. При Олесове ему оплачивали только жесткий.

Все были предупредительны, как никогда. Уже знают? И жалеют? А кое-кто, быть может, и завидует?..

— Счастливого пути, Всеволод Сергеевич!

— Удачной поездки, Всеволод Сергеевич!

Презирая себя, он пожимал чьи-то руки, кого-то благодарил, кому-то улыбался — и торопился уйти, чтобы никого не видеть и чтобы его никто не видел.

Катерина стеклила окна — высоченные и широченные, прямо-таки необъятные окна будущей компрессорной. Ей нравилось тонкое позванивание стекол, вязкая податливость замазки, и сама себе она нравилась, когда стояла на стремянке, ловкая и умелая, в комбине зоне,

облегавшем ее похудевшую, снова будто девичью фигуру.

Ей нравился ее будущий цех — весь сквозной, пронизанный светом, ее веселили ящики с оборудованием — они ежедневно прибывают и ждут своего часа под брезентом. Скоро начнется монтаж, и Катерина перейдет в бригаду монтажников, и сама будет участвовать в установке и наладке своего нового, гораздо более совершенного компрессора, и будет учиться вечерами на курсах: ведь на этих машинах много новой автоматике...

Ночью ныли плечи и руки, потому что весь день приходилось работать вытянутыми или поднятыми руками, но спалось крепко. Оттого ли, что уже пахло весной, или оттого, что время брало свое и появилась в жизни перспектива, — горькие мысли приходили реже и не удерживались, а за работой, на стремянке, хотелось петь. Когда она пела, все, кто был поблизости, слушали и смотрели на нее — и это веселило.

Однажды целое утро не работали: не было стекла. Когда грузовик наконец прибыл, вся бригада побежала выгружать.

Осторожно принимая тяжелый ящик со стеклом, Катерина увидела — к управлению подкатила знакомая «эмка», которой когда-то пользовался Алымов, бывая в Донецке. Из машины вылез начальник шахты, а за ним... — Катерина чуть не выронила ящик, — Алымов!..

Удержав ящик, Катерина стояла и смотрела на Алымова. Он стал неуловимо другим. Спокойней? Удовлетворенней? Что-то солидное появилось в его движениях, в том, как он выпрямился и переложил из одной руки в другую портфель, как скользнул взглядом по рабочим, выгружающим ящики, и, не заметив Катерину, зашагал вперед начальника шахты в управление.

— Чего стойшь? Пошли!

Осторожно ступая, Катерина отнесла ящик в цех и вернулась за следующим. «Эмка» все еще стояла, а возле «эмки» прогуливалась женщина в пушистой шубке и такой же пушистой шапочке. Она с любопытством поглядывала кругом и, пригибаясь к окну, о чем-то спрашивала шофера.

И вдруг Катерина узнала ее.

Уронив руки и забывая принять очередной ящик, она стояла и смотрела на Люду Катенину... Может ли это быть?.. Обозналась я?.. Или — та самая?..

— Замечталась, Катерина? Давай бери!

Ящик за ящиком.

Ящик за ящиком.

«Эмка», все еще стояла. И женщина в шубке прогуливалась взад-вперед, бережно ступая по глинистой земле своими блестящими ботами.

— Все! Перекур!

Катерина не села отдыхать, она взобралась на стремянку, будто подготавливая рабочее место.

Она видела, как вышел Алымов — начальник шахты провожал московского гостя до машины.

Алымов посадил женщину в шубке под локоть и сам, согнувшись пополам, влез за нею в машину.

В ту самую машину, где он бормотал когда-то: судьба, рок, вы должны быть со мной ныне, присно и во веки веков... Вы меня потрясли, Катерина, я буду таким, каким вы хотите, чтобы я был...

А потом: хватит воспитывать, надоело.

А потом — скользнул взглядом и не узнал.

Что он нашептывал вот этой, в шубке?

Она кое-как доработала до конца смены. Ругала себя, а слезы душили. Шла домой поселковыми улочками и в каждом встречном взгляде читала: а твой-то долговзый приехал с новой зазнобой, о тебе и думать забыл!

У калитки ее дома стояла та самая «эмка».

Он?!

За соседними заборами и калитками торчали любопытные.

Вскинув голову, Катерина медленно подошла к «эмке» и поздоровалась с шофером — тем же самым...

— За сапогами прислалл, — сказал шофер, с любопытством глядя на Катерину. — К вашей мамаше.

Невероятных усилий стоило Катерине ответить:

— Давно пора, сейчас найду их, там и другие вещи остались.

Пожалел сапоги и пригнал за ними шофера... Как просто!

Мать трясущимися руками собирала алымовские вещи.

Светланка была тут же, хватала то мыльницу, то бритву.

— Оставь, Светочка, порежешься, — сказала Катерина и толково, одну к одной, сложила и упаковала вещи Алымова. Подумала — и всунула в пакет брошку, подаренную им в Москве.

Отстранив мать, сама вышла за калитку:

— Вот, передайте Константину Павловичу.

Шоферу, видимо, до смерти хотелось что-нибудь разузнать.

— Чего ж сами не повидаетесь?

— А зачем? — улыбнулась Катерина. — Мы теперь комнату не сдаем, самим тесно. Да и Константину Павловичу в гостинице удобней.

Она пошла к дому, спиной чувствуя любопытные взгляды и не позволяя себе ни заторопиться, ни опустить голову.

16

В начале весны приехал Степа Сверчков.

Жалость прямо-таки пронзила Пальку, когда он увидел, как Степа шагает по двору, для верности опираясь на палку, когда он увидел лицо Степы — в тонких рубцах и розовых пятнах от ожогов. Он уже знал, что у Степы осталось десять процентов зрения, что есть надежда на улучшение, хотя возможны и осложнения. Он со страхом взглянул в эти глаза, но они были совсем прежние, веселые и добрые Степины глаза, которые слегка по-суровели и насторожились при виде Павла Светова, — но тут болезнь была ни при чем.

Клаша появилась на станции в конце рабочего дня. Палька не вышел к ней, он смотрел из окна, как они шагают под ручку и как Степа, дурачась от избытка хорошего настроения, крутит и подкидывает свою суковатую палку.

Павел позвонил в Москву, дал наконец согласие перейти главным инженером на Подмосковную станцию и рекомендовал на свое место Сверчкова.

На следующий день он начал сдавать дела, вернее — знакомить Степу с новшествами, появившимися в его отсутствие, и с результатами опытов. Во время этой совместной работы чувство жалости проходило — Степа был дотошно внимателен и рвался к работе с жадностью человека, много месяцев томившегося по больницам.

— Я бы там пропал с тоски, если бы не море, — сказал Степа. — Знаешь, Павел, когда в душе какая-либо муть, нужно море. Возле него все в ясность приходит..

Я еще не мог смотреть, только слушал, слушал... Море — великий философ! — дурашливо закончил он и вернулся к делам.

Клаша приезжала почти ежедневно.

Она вела себя по-дружески просто и ласково, казалось — всей душой обращена к Степе, ни на кого другого и не смотрит, на Пальку — меньше чем на кого бы то ни было: здравствуй-прощай — и все. А Степа был с нею раздражителен, порою даже резок. Пальку передергивало, когда он слышал, как Степа грубит Клаше. Почему она позволяет?.. Если бы ей захотелось порвать с ним — он дает ей десятки поводов. Значит, не хочет?..

Сверчковы затеяли ремонт в своем домике, заново оклеили лучшую комнату и купили в городском универсаме платяной шкаф с зеркальной дверцей. Когда шкаф проплыл в кузове грузовика по улицам поселка, из всех окон, ото всех калиток смотрели вслед.

— Никкак Сверчковы сына женят?

— Из города деваха, но, кажется, ничего.

— Дай-то бог, парень золотой.

— За такого кто ни выйди — не прогадает.

До Пальки доходили и эти разговоры, и перестуки молотка в доме Сверчковых, и даже запах масляной краски, которой старуха Сверчкова красила двери и окна, — Сверчковы жили за два дома от Световых.

Только товарищи на станции избегали говорить о возможной свадьбе, и сам Степа не сказал ни слова. Когда старый и новый главные инженеры занимались сдачей-приемкой дел, мимо них ходили пугливо, будто сидят вдвоем не давние приятели и сотрудники, а двое опасно больных.

Говорили они только о деле, но иногда Палька ловил на себе очень внимательный взгляд. Может быть, оттого, что зрение ослабело, глаза так напряженно-пристальные? Теперь Палька видел, что они совсем не прежние, не открытые навстречу тебе, а что-то затаившие или чего-то ждущие. И сам Степа не был уже прежним добродушно-покладистым хлопцем. Что он там понял, слушая море, — кто знает! Что бы ни было, рядом со Степой жалость казалась нелепой... а без жалости к нему Пальке нечем было держаться самому.

История с Ленею Гармашом показала ему Степу с новой, неизвестной стороны.

У Липатова как раз собрались инженеры опытной станции, когда позвонил Сонин. После первых его слов Липатов шутливо округлил глаза и знаком показал товарищам, что происходит весьма интересное. Голос Сони на рокотал в трубке на предельно убедительных нотах.

— Значит, институт рекомендует нам товарища Гармаша?! — нарочно повторил Липатов и подмигнул. — А почему Гармаш не приходит наниматься сам?

Все слушали, как снова зарокотал голос Сони, можно было разобрать и обрывки фраз: «он ведь один из авторов проекта...», «пора помириться...», «он специализируется на ваших проблемах...».

— Валерий Семенович, всё это так, но почему он не приходит мириться сам? Или вы соломку подстилаете, чтоб дите не ушиблось?

Снова пророкотал голос Сони.

— Даже главным инженером? Вот так, сразу? И опять-таки, Валерий Семенович, пусть приезжает сам. Такая у меня привычка — когда нанимаю работника, люблю ему в глаза заглянуть.

— Симптом показательный! — презрительно бросил Палька. — Беглецы возвращаются, почуяв успех!

Липатов расхохотался:

— Ах, хорош! Нашкодил, а теперь скулит и хвостом виляет. Что, ребята, шуганем его — или как?

Леня Коротких считал, что нужно «все высказать и послать к дьяволу!». Видно, нелегко дался ему разрыв с закадычным другом. Палька гадливо морщился: Гармашу на станции делать нечего, надо было сразу сказать, что главный инженер уже назначен!

И вот тут заговорил Сверчков:

— А по-моему, мы не частная артель, а новая отрасль государственной промышленности. Если работник подходит по деловым качествам, а Гармаш — человек талантливый, — мало ли что нам не нравится! Будем его обламывать — но на работе, в коллективе. Я бы его взял руководить научно-исследовательским отделом, поскольку это мое место освобождается.

— Степа, ты прямо Спиноза! — воскликнул Липатов.

А Палька подумал: так решил бы и Саша. Я не знал, что Степа может быть таким... И тотчас мелькнула догадка: а Клаша знала. Клаша знает, что он такой — умный, добрый, широко мыслящий. И ценит это. И — любит?

— Дайте мне договориться с ним, — сказал Степа. — НИИ — моя компетенция.

Липатов глянул на него хитрущим глазом:

— Раз компетенция — пусть будет так.

Когда приехал Гармаш, все были в сборе. В полном молчании Леня признавался в том, что струсил и отступил, долго мучился, а теперь хочет исправить... что давно понял, как ему дорого дело подземной газификации...

Он возмужал и посolidнел за последние годы, Ленечка Длинный! Но его миловидное лицо все так же вспыхивало девичьим румянцем, а русалочьи глаза расстрелянно метались.

— Примем к сведению, — сухо заключил Липатов. — Работники нам нужны, дело растет! То, что мы можем вам предложить, — это компетенция главного инженера, так что я вмешиваться не буду. Степан Дмитриевич, прошу!

Палька еще увидел, как у Лени передернулось и покраснело лицо, потом уткнулся в бумаги, чтоб не мешать Степе. Степа начал разговор весьма резко:

— Уходил ты от нас, сжигая все мосты. Сжег?

— Сжег...

— Так строй их!

Леня пробормотал:

— Я для того и пришел. Но — как?

— Так, как строят. Опора за опорой, ферма за фермой. Трудом. — Степа выждал немного и заговорил буднично: — Так вот, в твои функции будет входить...

После того, как Леня Гармаш заполнил анкету и написал заявление, его проводили подчеркнуто дружелюбно: раз приняли в коллектив, на прошлом — точка.

Все уже собрались домой, когда Палька в окно увидел Клашу — она стояла во дворе и разговаривала с комсомольцами. И Степа увидел ее. Оба замерли у вешалки, каждый стеснялся опередить другого.

— Совсем забыл! Я ж в Москву хотел позвонить! — И Палька подсел к телефону, спиной к окну.

Степа потоптался на месте, оделся и быстро вышел.

Палька снял руку с телефонной трубки.

Липатов вздохнул прямо-таки со стоном:

— Уж ехал бы ты скорей, Павлуша, раз такое дело...

— Да. Надо... Закажи мне билет на завтрашний ночной...

— Это мы сейчас сварганим! А то, ей-богу, уж и я психовать начал.

Утром он вручил Пальке билет. На скорый московский, отходящий из Донецка в 19.35. Еще раньше, чем думал Палька, — обычно они ездили ночным, 0.50. Тогда оставалось бы еще часов пятнадцать, теперь — меньше десяти...

И сразу все окружающее и самый воздух наполнились Клашей. Станки в механической мастерской вызвали: «Вес-не-нок! Вес-не-нок!» — а пар в котельной тихоноcko шептал: «Клаша, Клаша...» Все следы во дворе казались следами ее маленьких ног. Грузовики, въезжающие в ворота, хранили за стеклами ее ускользающий облик. Телефоны откликались ее голосом.

С этой минуты — первой минуты из оставшихся... да, из оставшихся пятисот тридцати минут — он начал ее терять, терять, терять. Безвозвратно терять.

— Ну что ж, Павлуша, давай подписывать сдачу-приемку.

Он вздрогнул от осторожно-ласкового голоса Степы и понял, что таким же осторожно-ласковым голосом говорила с самим Степой Клаша, именно поэтому Степа раздражался и грубил.

Они подошли к столу, где лежал акт. Служебная формальность не имела для них никакого смысла — ни в их деловой дружбе, где лжи быть не могло, ни в личных отношениях, где все держалось на недомолвках и где уже ничто не могло помочь, кроме скорого московского, отходящего в 19.35.

Степа, не глядя, подписал акт.

Палька тоже подписал, и впервые открыто посмотрел в глаза Степы, и увидел в них отражение своей боли — или какой-то другой, еще более тягостной.

Он положил ладонь на руку Степы и придавил ее к столу.

— Удачи тебе, Степка. Теперь увидимся только в Москве, если какое совещание...

— Что ж ты, и домой не приедешь?

— Теперь мой дом под Москвой.

— Все-таки здесь у тебя мать. Сестра. Да и... все. Палька посмотрел на него в упор и сказал:

— Нет. Не приеду.

Степа вдруг сорвался с места. На нем лица не было.

— Ты куда?

Степа посмотрел на часы, поднося их почти к самым глазам, и жалость снова потрясла Пальку, и он еще раз повторил себе: я делаю правильно! Правильно!

— Мне в двенадцать к глазнику, — ответил Степа и подошел к вешалке. Он очень долго надевал пальто. Очень долго расправлял кепку.

— Вот что, — сказал он, уже держась за дверную ручку. — За дружбу спасибо, а в жертвах не нуждаюсь. То, что вы... глупо!

Он постоял, раскачивая дверь.

— Вы все не понимаете. Бывает, человек заглянет в такую черноту... в вечную черноту. После этого появляется... внутреннее зрение. Его не обманешь. И не нужно.

Палька встал. Он готов был сказать: да, не нужно! Я ее люблю, и она... Но в это время Степа вспомнил о своей палке и потянулся за нею, но не просто взял ее, а пошарил в углу, нащупывая ее. И Палька удержал готовые сорваться слова.

— Так что имей в виду... — сказал Степа в дверях.

Вот он идет по двору, по колдобинам разбитой грузовиками дороги — медленно, палкой проверяя путь.

До поезда осталось чetyреста двадцать минут. Но они уже не нужны. Все правильно. Теперь пробежать по цехам, со всеми попрощаться... заехать домой и сунуть в чемодан самое необходимое на первое время... попрощаться с Катериной и мамой, с Кузьменками...

Знает ли Клаша, что я уезжаю?

Неоткуда ей узнать.

Может быть, позвонить и попрощаться? «До свидания, Клаша». Нет. «Прощай, Клаша, я больше не приеду и хочу тебе сказать, что...» Что я могу ей сказать? Нельзя. Не нужно. Уеду — узнает. Погрустит — и выйдет за Степу.

Она так решила — значит, хочет этого. Она с детства любила его. Он золотой парень. Он не дает жалеть себя. С ним нельзя не быть счастливой, он золотой парень. Золотой парень...

На вокзале собрались все работники опытной станции, кроме вечерней смены. Последним прибежал Ленья Коротких, хотя он был дежурным инженером: оказывается, пришел Сверчков и отпустил его. А сам — не захотел проводить? Ничего. Он мой друг, и я его друг, так и будет, проводил или нет, неважно.

Подкатил поезд — он стоял тут двенадцать минут. Начали прощаться.

Заплакала Марья Федотовна, стыдливо отворачивая лицо.

Невыносимо острил Липатушка.

Катерина обняла брата, шепнула:

— Ты все-таки пиши хоть изредка.

Жалкое, потерянное выражение мелькнуло на ее лице. Одна остается сестренка! Он растроганно поцеловал Катерину — и через ее плечо увидел Клашу.

Клаша бежала вдоль вагонов, прорезаясь сквозь толпы провожающих. Платок отлетел назад, волосы отлетели назад...

Она с разбегу остановилась перед ним, быстро и громко дыша. Бежала, а в лице — ни кровинки.

— Я только сейчас узнала! — Она не замечала никого, кроме одного человека, уезжающего через несколько минут. — Я не думала, что уже сегодня. Трамвая, как назло, не было. Меня подкинула коксохимовская полуторка...

Громоподобно ударил вокзальный колокол.

Зашипел паровоз, выпуская пар.

Все отступили куда-то, на всей платформе была только она, Клаша.

— Я весь день хотел позвонить. А потом подумал, что...

Еще два раза ударил колокол — прямо в сердце.

— Граждане, кто едет, занимайте места!

Они стояли, оцепенев.

— Он тебе напишет, Клаша, — сказал Липатов и засопел носом. — Напишет! Напишет!

За спиной Пальки толчком сдвинулись колеса. Скрежетнули по рельсам и пошли неторопливо кружиться.

— Садись, Павлушенька, садись! — прокричал голос матери.

Клаша сделала какое-то непонятное движение к нему — и еле слышно сказала:

— Прощай, Павлик. Я...

Колеса заторопились. За спиной проходили окна и площадки, заполненные людьми, что-то кричащими, машущими...

— Она тебе напишет! Напишет! — в самое ухо кричал Липатов.

В конце поезда возник просвет — проходил предпоследний вагон... Последний...

Палька так и не сказал ни слова. Липатов подтолкнул его, он вскочил на тормозную площадку и под ругань железнодорожника с флажком повис на поручне, глядя на уплывающую в сумрак перрона Клашу.

Много рук машут, а ее руки — опущены.

Вот уже видно только белое пятно ее лица и эти две опущенные руки.

— Невеста, что ли? — устав ругаться, спросил железнодорожник и скатал флажок.

«Не-вес-та, не-вес-та, чу-жа-я не-вес-та!» — тупо выговаривали колеса, пока он пробирался по составу в свой вагон.

«Она тебе напишет! Напишет! Напишет!» — пришептывая, долбили колеса, когда он лег на полку лицом к стене, чтобы с ним не заговорили попутчики.

Напишет — что?

Он мысленно писал весь вечер. Отполированные спицами желтые доски тряслись перед самыми его глазами, на одной из них под краской выступал темный срез сучка с выпавшей сердцевинкой. Слова приходили сами и легко складывались вместе, складывались убедительно, нежно, неоспоримо.

Ночью, когда попутчики утомнились, он попробовал записать хоть часть того, что слагалось весь вечер. Писал, рвал, опять писал...

Харьков.

Серое утро, серый, скучный вокзал. И прямо перед окном вагона на тусклой стене — серебристые крылья. Аэрофлот. «Пользуйтесь самолетами Гражданского воздушного флота!»

Чуть в стороне надпись: «Почта. Телеграф. Телефон».

Он схватил чемодан и выскочил на перрон.

— Дайте мне Аэрофлот!

Да, самолет на Донецк будет. В 17.00. Билет стоит..

Он пересчитал деньги — отпускные, подъемные, зарплата — должно хватить на все.

— Девушка, вызовите Донецк, коммутатор горкома, тридцать четыре.

— В течение двух часов, гражданин. Будете ждать?

— Двух часов?!

— Берите молнию. Нормальный тариф два рубля во семьдесят копеек, молния — четырнадцать рублей за минуту.

Он кинул деньги в окошечко:

— Молнию! Две минуты! Коммутатор горкома, тридцать четыре, товарища Весненок!

— Как?

— Вес-не-нок... — Нужно быть дурой, чтобы не уловить сразу такую изумительную фамилию! — Вес-не-нок!

Пока телефонистка выкликнула промежуточные станции, он схватил телеграфный бланк и, не раздумывая, послал телеграмму Липатову:

Вылетаю обратно закажи два билета Москву ближайший поезд помощи Клаше встречай аэродроме

Павел

— Молодой человек! Донецк отвечает! Вторая кабина.

Он вскочил в душную кабину и сквозь черную раковину услышал, увидел, ощутил Клашу. Ее милый голос был ясен, будто они обо всем сговорились давным-давно. Ее пальцы с короткими круглыми ноготками сжимали трубку. Ее лицо было потрясающе светлым, таким он видел его только раз, когда она прочитала стихи о какой-то границе, а он сказал — хочешь не хочешь, границы никакой нет, ты — любимая...

— Клаша, я вылетаю за тобой в семнадцать ноль-ноль. Самолетом! Липатов возьмет билеты, а ты скорей бери расчет и собирайся. Мы сегодня уже уедем вместе!

— Хорошо, — сказала Клаша.

— Две минуты кончаются, — сказала телефонистка.

— Найди Липатова, он тебе поможет! — крикнул он уже в гулкую пустоту междугородных пространств.

Клаше не нужна была никакая помощь. Вместо того чтобы задерживать ее, секретарь горкома комсомола сказал: «Ну, слава богу!» И сам пошел с нею в бухгалтерию, чтобы для нее нашли деньги, и сказал: «Ну смотри, чтоб была самая счастливая на свете!» Соседка дала чемодан, и вещи улеглись в нем ни свободно, ни тесно. Липатов поймал ее по телефону как раз перед тем, как она убежала из горкома, и сообщил, что на сегодня есть только два боковых жестких, брать или не брать, и она ответила: «Какая разница, конечно, брать».

В аэропорту ей сказали, что самолет будет в 6.30, если не опоздает. Самолет не опоздал ни на минуту.

Липатов ждал у выхода с машиной, он не пошел на поле встречать: он бывал очень умным, Липатушка!

Палька первым показался из самолета и в два прыжка соскочил по лесенке еще до того, как ее толком установили. Он подбежал к Клаше и крепко прижал к груди ее голову, и они постояли так, ничего не говоря. Они стояли на самом проходе, но пассажиры и встречающие обходили их двумя деликатными потоками.

— Молодой человек, это ваш чемодан остался в сетке?

Это был его чемодан. Они взяли его и понесли, вдвоем держась за потрепанную ручку.

— Поезд отходит через час, — флегматично сообщил Липатов. — Куда денемся?

— На вокзал!

Они молчали всю дорогу, сидя рядом на заднем диване и не глядя на укоризненный затылок Липатова.

— На завтра можно было взять мягкие, — говорил Липатов, тяготясь молчанием за своей спиной. — Я за всяческое сумасшествие, раз такое дело, но обедать все-таки нужно. Ты небось и не ел ничего со вчера. А ты, Клаша, ела?

Клаша сказала, что, кажется, ела.

— Аннушка приглашала заехать пообедать, если успеем. И как-никак спрыснуть полагается.

— Мы еще спрыснем, старик! — пообещал Палька.

Они никуда не хотели заезжать: они боялись опоздать на поезд.

На вокзал приехала только Катерина — маме решили пока не говорить, чтоб избежать ахов и охов.

— Катериночка, вы объясните всем... — попросила Клаша, и свет в ее лице ненадолго замутился.

— Я уже всем сказала, — энергично ответила Катерина. — Леня и Степа поздравляют вас, говорят — правильно.

— Да?!

— Да, — подтвердила Катерина, — правильно.

Весело поторопил колокол: дон-и-и!

Потом еще веселее: донн! донн!

Они стояли рядом на площадке и рассеянно махали руками, глядя друг на друга.

Их места были сбоку, койки раскидывались поперек окна, одна над другой. Поезд шел с юга, постельного белья не было, Пальке удалось улесть проводницу и получить для Клаши тюфяк.

В шуме вагона, сидя по двум сторонам откидного столика, они ошеломленно молчали. Мимо них ходили туда-сюда неугомонные пассажиры. В том отделении, что помещалось против них, трое парней играли в карты на перевернутом чемодане, а четвертый пассажир, седой и чем-то недовольный, лежал на верхней полке и осуждающе смотрел на парочку, молчавшую возле окна так, будто они давно наскучили друг другу.

А они сидели, все еще ошеломленные своей решительностью и быстротой, с какой все произошло.

— Ты со вчера не ел, — вдруг прошептала Клаша. — У нас есть пирожки.

Это был солидный пакет, сунутый им на дорогу Липатовым. В пакете оказалось десятка два довольно черствых пирожков с капустой, — вероятно, остатки Аннушкиной субботней стряпни.

Они ели пирожок за пирожком, подхватывая в ладонь крошки, и смеялись тому, что они, оказывается, страшно голодные, а пирожки все же вкусные, и они едут, едут, едут...

Заговорили они только ночью, когда Клаша улеглась внизу, прикрытая его одеялом, а он наверху, на жесткой полке, под пальто. Вагон кидало из стороны в сторону, вокруг раздавались храпы, мимо них проходили железнодорожники с фонарями, странные блики прыгали по стенам и полкам от свечи, догоравшей в фонаре над дверью.

Неудобно вывернув плечи, упираясь виском в стекло, Палька заглянул в щель между окном и полкой.

— Клаша! Ты не спишь?

— Нет.

— Я тебя немного вижу. Щеку и висок. Подвинься к стене, чтобы я тебя видел.

Она подвинулась. Странное у нее было лицо в этих качающихся отсветах — незнакомое и очень родное.

— Просунь ко мне руку.

Она приподнялась и просунула пальцы, он подержал их в своих и поцеловал. Оказалось, никакой это не пережиток, если рука — ее.

— Это правда, что ты тут?

— Правда. А это правда, что ты тут? И это твой нос торчит в щели?

— Правда. Симпатичный нос?

— Хвастун! Очень симпатичный.

— Клаша, я тебя люблю.

— И я.

— Нет, ты скажи само слово.

Недовольный человек с верхней полки завертелся и что-то проворчал. Они помолчали, ожидая, чтоб он уснул.

— Павлик!

— Я смотрю на тебя.

— Знаешь, вчера на вокзале... нет, уже позавчера... я прибежала и вдруг подумала: если он скажет — прыгай и уедем, я прыгну. Ты это понял?

— Нет, я думал, что ты... Нет, я ничего не думал. Я тебя терял, понимаешь? Терял и терял... За это всю остальную жизнь я не отпущу тебя ни на шаг.

— Хорошо. А в Москве мы куда денемся?

— Понятия не имею.

— Вот Саша и Люба удивятся!

Недовольный человек приподнялся и пробурчал:

— Кончите вы шептаться когда-нибудь? Второй час!

Клаша тихонько засмеялась. В качающихся отсветах поблескивали ее глаза и чуть белели зубы.

— Клаша!

— Что?

— Ничего. Хотел услышать тебя. Это здорово, что я тебя увез! И ты приготовься, теперь так и будет — куда я, туда и ты. Не улыбайся, я серьезно.

— И я серьезно. А что, на вашей Подмосковной станции тоже — поле и больше ничего?

— Наверно. Не знаю. Но что-нибудь мне там приготовили, я же все-таки главный инженер и авторитетная фигура. Это ты меня недооцениваешь.

— Я дооцениваю. Очень.

— То-то!

— А что я там буду делать, на вашей станции?

— Слушай, я скажу совсем тихо: любить меня.

Он сказал совсем тихо, но сердитый сосед именно в эту минуту взорвался и посоветовал ездить в отдельном купе, в международном вагоне.

— Учтем,— сказал Палька.

— Сидели бы дома и миловались, раз не терпится,— не унимался сосед.

Вероятно, он был очень обижен жизнью и ни с кем не миловался уже давным-давно, а может быть,— никогда.

— Мы и едем к себе домой,— сказала Клаша.

В ее ответе не было ни насмешки, ни желания поспорить, только счастье. Такое полное счастье, что и до сердитого соседа дошло его умиротворяющее дыхание.

— Ну и поспите пока. Скорее доедете.

Он заворочался, охнул и уже не им, а себе сказал:

— А мне вот не уснуть. Духотища!

Клаша подскочила, как на пружинке.

— Товарищ, а товарищ! Там, над вашей головой, вентилятор. Вы дерните веревочку, он и откроется.

Ворчун дернул веревочку. Вытянул жилистую шею, подышал холодным воздухом, слегка шевелившим его седые волосы. Свесил голову, пригляделся к Клаше и спросил:

— Муж?

И тут произошло самое удивительное, чудесное, невероятное. Клаша улыбнулась ворчуну и без запинки ответила:

— Муж.

ДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ

День был обычный, он ничем не выделялся из череды других дней, люди заполняли его тем, чем они жили повседневно, и если потом этот день вспоминался по-особому и все события, мысли, поступки и чувства того дня приобрели завораживающую значительность, то лишь потому, что он надолго стал последним днем их мирной жизни. Но в тот солнечный день, в тот теплый вечер конца недели они об этом не знали и даже подумать не могли, что истекают последние часы привычного бытия, что с завтрашнего утра придется в долгой кровавой борьбе отстаивать свое право жить так, как они хотят и любят жить, что в этой борьбе одни падут мертвыми, другие потеряют любимых, что не будет среди них ни одного — без жертв и утрат, что души их пройдут через огонь нечеловеческих испытаний...

В тот день в небе не было ни единого облачка.

...С утра испытывали новый способ сбойки скважин. Павел наволновался и нажарился на солнцепеке. Только он успел выкупаться на запруде и пообедать, как дежурная телефонистка сообщила: звонили из Тулы, к вам идут гости.

— Кто такие?..

— Просили сказать — неизвестные гости.

Клаша испуганно оглядела свое незатейливое хозяйство и спросила: может, что-нибудь испечь? Стряпала она неумело, и вид у нее был как на экзамене, причем экзаменатором оказывался Павел. Она смотрела на него робкими, сияющими глазами и говорила с ним слегка задыхающимся от радости голосом, будто он только вчера ее привез. А ему казалось, что Клаша была с ним всегда...

— Никакой возни! — решил он. — Пойдем навстречу, кто бы они ни были.

Гадая, что за чудачки тащатся пешком, когда есть автобус, они неторопливо шагали по траве — ярчайше-

зеленой и сочной, усеянной белыми крапинками ромашек и синими — васильков. Клаша то и дело наклонялась, срывая цветы, а Павел с непроходящей гордостью оглядывал все, что было вокруг, потому что на сухом языке техники это место называлось подземным генератором.

Раздольное поле, недавно принадлежавшее соседнему колхозу, было разрезано на широкие полосы линиями массивных труб: по одним подавалось дутье, по другим выходил газ. От этих магистральных труб, дробя полосу на квадраты, разбегались трубы потоньше — к скважинам. Скважины обозначались рядами черных головок с приборами контроля и ручным штурвальной колесом, — когда-то возле такого колеса Павел пережил минуты огромного душевного подъема, страха и торжества... Они стояли в ряд, как на параде, а глубоко под ними, в раскаленном до 1500° забое, шел процесс превращения угля в газ. Это было уже привычно — и к этому все же нельзя было привыкнуть...

— Ой, Павлич, опять коровы забрались!

Да, колхозные коровы невозмутимо щипали траву возле самых труб, отмахиваясь хвостами от их легкого гула, который принимали, вероятно, за жужжание неведомых насекомых.

— Пускай... Знаешь, Клаша, пройдут годы, уголь выгазуются, мы перейдем на новые участки, а эту землю вернем колхозу, и очень скоро никто не поверит, что тут было предприятие, имевшее дело с углем. Почему вот эту сторону дела не замечают всякие-разные Вадецкие?..

— Потому что не хотят замечать, — твердым голосом сказала Клаша, взобралась на трубу и пошла по ней, притворяясь, что высматривает гостей, — на самом деле она боялась коров.

Павел следил, как она ловко идет по трубе своими детскими ножками в носочках и сандалиях, и продолжал мысленный спор с противниками. Ну, ладно, отстанимся от главного — что тут нет подземного, опасного и тяжелого труда. Допустим, что этого недостаточно. Но когда шахта вырабатывается, все, что построено внутри, — пропадает, капиталовложения списываются. А у нас девяносто пять процентов капиталовложений — надземные, все легко переносится на новые участки. И за нами остается непотревоженная, цветущая земля, нет угольный пыли и уродливых черных отвалов пустой породы. Действительно, не хотят замечать!..

Он усмехнулся, сообразив, что ни Вадецкий, ни другие скептики не были на опытных станциях — ни в Донецке, ни здесь. Вот Лахтин приезжал, не поверил на слово. Поглядев в лаборатории анализы газа, пожевал губами и спросил: «Где у вас скважина?» Ему говорят: это далеко, и туда не подъехать. «Ведите!» Повели под руки. Пришел. «Отверните!» Понюхал, вытащил из кармашка собственную пипетку, взял пробу. «А теперь — в лабораторию!» Лаборантку отодвинул, сам сделал анализ. «Гм... действительно. Вот теперь — верю!» А ведь ему восемьдесят семь!

— Павлик! Смотри, кто это?

Два человека — мужчина и женщина — шли по полю, взявшись за руки и размахивая ими в такт шагам. Остановились... он потянул ее к себе... поцеловал!.. Она оттолкнула его, оглядываясь.

— Илья Александров! Витя!

Павел побежал к ним навстречу, довольный, — они давно обещали нагряться, эти непутевые молодожены, и все не ехали.

— К вашему сведению, вы целуетесь прямо над огневым забоем.

Витя изумленно посмотрела себе под ноги:

— Как странно, что под таким деревенским полем бушует пламя!

— Хо-хо! Если б оно бушевало, мы бы получали один дым. Это означало бы, что мы не умеем управлять процессом. А мы уже год бесперебойно даем газ двум заводам.

Витя улыбнулась:

— Показывайте ваше чудо, только не агитируйте, мы и так готовы восторгаться. Мы сегодня счастливые и легкомысленные. Клаша, вы спуститесь или нам лезть на трубу?

Клаша спрыгнула, прижимая к себе охапку цветов.

— Символично! — воскликнул Илья. — Женщина и цветы над огневым забоем!

— Я тут и не такую символику разведу, — сказала Клаша, — эти трубы всю зиму горячие, даже в мороз под ними травка. Начальники как хотят, а я поставлю парниковые рамы и буду выращивать овощи и розы! У меня уже есть энтузиасты!

— Вы оба из породы одержимых, — решил Александров, — недаром одна... один человек сказал про Пабла,

что он счастливый парень: верит, мечтает и осуществляет.

Он загнулся, подумав, что при Клаше не стоит упоминать того человека, но Павел сам сказал:

— Русаковская? Что ж, она права. По-моему, иначе и жить не стоит.

Илька задумчиво вскинул глаза, но промолчал.

Он охотно знакомился со станцией и порой увлекался: узнав, что строится цех, в котором из газа будут вырабатывать серу и гипосульфит, он начал доказывать, что нужно построить собственную кислородную станцию, а при ней наладить производство аргона и ксенона. Затем он снова задумался и уже не слушал ничего.

— Илья, ты мозгуешь что-то новое?

— Так, кое-что, — с блуждающей улыбкой ответил Илька, — вроде небольшого переворота в мировом масштабе.

Павел постеснялся расспрашивать: в таких случаях человек сам решает, когда и кому рассказать.

— Это я его сбила с толку, — весело призналась Витя, — но я и сама бросила тему на середине. Лето есть лето!

— Мы с нею — шатучие! — подхватил Илька и обнял Витю. — Будем до осени шататься по стране — без маршрута, куда потянет. И ни о чем не думать.

Так он говорил, так он хотел бы поступить, но мысль возвращала его в лабораторию, где он последние недели возился с выделением аргона из различных пород, дотягивая работу до отпуска, потому что братья за что-либо новое не пмело смысла.

Процесс был однообразен и уже наскучил. Прodelывая в сотый раз одно и то же, он задумался: как происходит естественный процесс образования аргона в недрах земли? Миллионы — нет! — миллиарды лет тянется этот процесс.

Он посмотрел кривые распространения элементов. Точка, соответствующая аргону, резко выскакивала вверх. Крутой пик. Почему?

Стоило ему задать себе этот вопрос, как все остальное перестало существовать. Почему? Откуда этот крутой пик?

Он старался представить себе медлительную работу, совершающуюся в земных глубинах. Аргон образуется главным образом при распаде калия-40. Чем длительней

был процесс распада калия в какой-либо породе, тем больше аргона в нем содержится. Но тогда?!

Догадка поразила его своей простотой. Тогда, значит, по содержанию калия и аргона можно установить возраст породы!

До сих пор мы его определяли только геологически — по условиям залегания, по остаткам фауны, характерной для такого-то периода истории Земли. Способ — приближительный; для очень древних пород вообще непригодный... А тут — можно совершенно точно определить возраст любой породы — и самой древней, и относительно молодой. Сколько на единицу калия-40 приходится аргона? — вот что потребуется узнать для того, чтобы определить возраст Земли и даже возраст метеоритов — загадочных посланцев космоса... Но это еще не все! Если в образованиях такого-то возраста найдены нефть или уголь, можно рассчитывать, что и в других местах в одновозрастных породах они также могут быть... Черт возьми, я, кажется, попал на что-то стоящее!..

Как ему не хватало «старика»! Или хотя бы Женьки Трунина! Конечно, тот добился своего и переворачивает производство алюминия... чудесно! Но будь он здесь, педантичный и высокоорганизованный Женя Трунин, мы бы вместе засели за экспериментальную проверку, — а потом вместе накатали бы статью. Одному — лень. И жарко. И есть Витя...

— ...или, скажем, в методе сбойки скважин! — дошел до него голос Светова. — Работы еще уйма! Уйма!

Конечно, в сходной ситуации этот целеустремленный парень отказался бы от всех соблазнов, какие есть на свете, — уж он бы, не откладывая, засел за разработку!.. А я не засел. Рюкзаки за спину, взял Витю за руку — и потопали. За два месяца мир не перевернется без аргонного метода!..

— Слушайте, друзья! А что, если нам пойти вон к той роще и разжечь костер, рассказывать страшные истории, читать стихи и печь в золе картошку? Клаша, в вашем целеустремленном доме картошка найдется? И вы оба способны на целый вечер, а то и на целую ночь забыть, что существует газификация, сбойка скважин и все прочее?

— Способны!

Так и провели они этот вечер и всю тихую, теплую ночь до рассвета...

За пять минут до отхода курьерского поезда Москва — Сочи выяснилось, что нет Иришки. Все время была тут, сидела на чемоданах, и вдруг — исчезла.

Возбужденный боями у билетной кассы, Липатов закричал, что сойдет с ума, распустили ребенка и вообще — семьи нет! Аннушка, чуть не плача, металась по перрону и спрашивала всех подряд — не видали девочку в красной кофточке?..

— Вот она, ваша красная кофточка, — сказал высоченный дядя в тюбетейке и тапочках, гулявший вдоль поезда.

Иришка стояла у последнего вагона и смотрела, как с шумом и гамом грузится в вагон компания молодежи, видимо альпинистов или туристов. Аннушка стгоряча поддала ей как следует и за руку потащила к своему вагону. Не успели войти в купе, как поезд тронулся.

— Многообещающее начало, — сказал Липатов, отворачиваясь от задумчивого, отнюдь не виноватого лица дочери. — Если она еще раз выкинет что-либо подобное...

Когда он сердился, он говорил об Иришке в третьем лице и возлагал всю ответственность на Аннушку.

Дядя в тюбетейке оказался соседом по купе. Иришка внимательно оглядела его и спросила:

— А зачем у вас тюбетейка? От лысины?

Высокий дядя расхохотался, хотя и покраснел. Липатов прошипел над ухом Аннушки, что вот они — плоды воспитания, ребенок не имеет никаких понятий...

— Знаешь что, Ванюша, — кротко сказала Аннушка, — ты едешь отдыхать, и я еду отдыхать, так что давай без нервов.

И Ванюша притих.

А Иришка, сидя напротив высокого дяди, спрашивала:

— Это провода телеграфные? А зачем провода, когда можно передавать по радио?

— А почему, когда хочется пить, можно пососать камешек — и пить расхочется?

— Как вы думаете, если альпинист упадет и разобьется, он — герой или просто так?

Липатов изредка говорил с верхней полки:

— Не приставай к дяде с дурацкими вопросами.

— Я и не пристаю, — откликнулась Иришка, — мы разговариваем.

Дядя в тюбетейке отвечал охотно, потом менее охотно, потом совсем кратко: «Не знаю. Возможно. По-моему, да». Наконец он решил поспать, наверно для того, чтоб отвязаться от Иришки.

Липатов уже похрапывал. Иришка смотрела в окно, подперев голову кулачками. Аннушка вытянулась на скамье и скинула туфли, но не спала, а думала. Что-то у меня не получается, что-то я упустила... На работе во всем поспеваю, а дома — нет. И мать из меня — никакая... Ее бесконечные вопросы оттого, что умишко — пылливый, а мы ею мало занимаемся... Но теперь впереди целый месяц, я займусь ею... займусь...

Аннушка не заснула, она только чуть-чуть задремала, а когда открыла глаза — Иришки не было. Она вскочила, похолодев от страха...

Все сбились с ног, прежде чем Иришка нашлась в том вагоне, где ехала компания альпинистов. Альпинисты рассказывали ей о ледорубах, о лавинах, о правилах восхождения на веревке. Они заступились за нее, когда набежал разъяренный Липатов, и сообщили, что она просятся с ними в горы.

Слушая долгое и гневное нравоучение, Иришка смотрела на отца немигающими глазами и вдруг сказала:

— А если я плохая, пусть я и поеду с ними.

Дядя в тюбетейке прыснул в подушку, потом начал уверять Липатова, что все мы в таком возрасте были не ахти какие послушные, она еще маленькая.

— Блошка — невеличка, да спать не даст, — буркнул Липатов.

— Спать? Да-а... А вы помните историю о гадком утенке?

Иришка уже уснула, дядя в тюбетейке тоже уснул, а Липатов и Аннушка все поглядывали на своего мирно спящего утенка, и каждый по-своему со страхом родительским обдумывал, что же в ней таится, в этой непоседе, и может ли быть, что у них, ничем не замечательных, — подрастает лебеденок?

Липатов решил: что ж, все может быть! — но тем более Аннушке пора оставить работу и заняться дочерью. Аннушка же убеждала себя: чепуха, случайные слова случайного попутчика! Обыкновенная, немного безнадзорная девочка... самая обыкновенная девочка... но и сквозь дрему ей мерещились два размашистых белых крыла.

В этот день у Митрофановых ждали приезда Игоря и собирали в путь Матвея Денисовича — завтра он уезжал наконец в район Тургая.

Четыре года он гнул свое, не отступая, не смущаясь насмешками. Выступал везде, где только хотели выслушать его, писал статьи, упрямо ходил из редакции в редакцию, пока не находил такую, где соглашались напечатать. После того как две его статьи появились в молодежных журналах, он получал множество писем — и отвечал на каждое, будь то письмо раздраженного скептика или восторженного мальчишки, — так он вербовал сторонников. За границей его успели объявить сумасшедшим, а его проект — «вершинной коммунистического прожекторства». Его вызвал нарком и недовольно спросил:

— Кто вам разрешил выступать с неутвержденными проектами?

— К сожалению, я выступаю как частное лицо, — сказал Матвей Денисович и перешел в наступление: — А вот знаете ли вы, что сейчас идут изыскания для железной дороги как раз там, где по моему проекту — зона возможного затопления? Построят дорогу, — а потом придется переносить ее. Как же я могу молчать?!

— Экой вы настырный! — сказал нарком.

Он продолжал писать, докладывать, требовать... Но с каждым днем все яснее чувствовал, что не может человек — в одиночку, не должен — в одиночку. И оттого, что приходилось все же действовать одному, временами охватывала усталость, чувствовался груз лет...

И вдруг все чудесно изменилось. Всесоюзная партийная конференция приняла решение о разработке перспективного плана строительства на пятнадцать лет. И почти сразу же Матвея Денисовича вызвал к себе Юрасов.

Никогда еще не видал он Юрасова таким, как в этот раз, — оживленным, деятельно-счастливым, открытым...

— Дошло дело и до нашего дальнего загляда! Создаем специальную проектную группу! Конечно, пятнадцать лет для нас с вами маловато, не так ли? Мы замахнулись на столетие! Но... — Он сделал паузу. — Приглашаю вас в эту группу старшим проектировщиком по проблеме, которую мы условно назовем... ну, скажем, Обь — Енисей — Каспий. Пока что выделю вам всего двух сотрудников и очень мало денег, но буду как бы не

замечать, что ваши разработки выходят далеко за пределы ближайшего пятнадцатилетия...

Прощаясь, он вдруг положил руку на плечо Матвея Денисовича.

— Вот бы придумала наука какое-то продление жизни... еще на нашем веку. Не отказались бы?..

С этого дня Матвей Денисович не чувствовал ни усталости, ни груза лет. Он уже не один, его идеи нужны! Средств на самостоятельные экспедиции не хватает, но можно вклиниваться в чужие. И вот он включен в состав комплексной экспедиции Академии наук, направляющейся в обширный район Тургайского плато — в эту малоразведанную страну сокровищ... в эту пустынную страну, которую и не освоишь, пока не будет решена — крупно, с размахом — проблема воды...

То ли он уже отвык от кочевой жизни, то ли слишком волновался, но сборы получались суматошные — что-то забывал, чего-то не мог найти. И Зинаиде Григорьевне все казалось, что она не уложила самого нужного, без чего Матвею будет неудобно... Или уже стареем оба? Нет, нет, просто отвыкли!

Но вот приехал Игорь, она ахнула и слегка испугалась: ничего юношеского не осталось в нем, — мужчина! Взрослый, погрубевший, обветренный, плечи раздались, голос басистый... Вот он и вырос, Игорек! А мы рядом с ним — старики, никуда от этого не денешься...

— У меня перед глазами плещется водохранилище, — растроганно сказал басистый голос, — плещется и плещется. Ты поймешь, папа, — готовил, строил, и вот... Паводок нынче бешеный, вода как пошла! Затопило дорогу, по которой мы еще вчера разобранные дома вывозили, потом фундаменты под воду ушли, только мусор крутится на волнах... Стою, и плакать хочется. Всю ночь торчал на плотине, оторваться не мог. Ты чего улыбаешься?

— Рад, — коротко ответил отец.

Когда после обеда сын устроился у телефона, родители поняли — все! Свою долю они получили сполна. Сейчас созвонится с кем-нибудь, убедит и вернется под утро.

Игорь положил перед глазами записную книжку и начал названивать друзьям, Зинаида Григорьевна называла это — «созвонить всех, от Авдеевича до Ярышклина». Но что-то у него не получалось. У Александрова

ответили, что «они за городом», — они? Значит, Илья женился! Трунин на Волхове. Русаковские в Севастополе. Институтские дружки кто где, один случайно оказался в Москве, но... «свидание, Игорек! Созвонимся завтра!» Мордвинова нет дома, Люба сама не знает, куда он девался...

— Первый тур закончен, — сказала мама, мимоходом курчая его кудри, — настает пора «добрых душ»?

— Нет, — сказал Игорь, но от телефона не отошел.

Записная книжка все еще лежала перед ним. Мать видела, как Игорь заглянул в нее, взял было трубку... и решительно отвел руку.

— А что, если уважаемые родители и уважаемый сын проведут вечер втроем, никуда не разбегаясь?

Так сказал Игорь, пряча записную книжку.

— Зинушка, где у нас «гостевая»? — ликующим голосом закричал Матвей Денисович и сам же вытащил бутылку из книжного шкафа.

Затем они сидели втроем, и отец с сыном разговаривали о реках и водохранилищах, о паводках и гидростанциях — двое мужчин, двое товарищей по профессии. А Зинаида Григорьевна радовалась, что оба тут и ладят между собой, и немного тревожилась: уж не влюблен ли Игорь? Кому он хотел позвонить — и не позвонил?

— Жениться не надумал еще? — спросила она, улучив минуту.

— Я?!

— Ты, — смешливо щурясь, подтвердила мать, — или все еще... «в плену веселых заблуждений»?

Так она называла его увлечения.

— Кажется, нет, — серьезно ответил Игорь.

Он и сам не понимал, почему его так задела последняя встреча с Речной Тоськой. Получив комнату в новом доме, он бывал у Тоськи все реже, их отношения сошли на нет постепенно, без драм. Потом начался скоропалительный роман с красоткой, которая приехала навестить мужа, но быстро отдала предпочтение Игорю. Муж узнал, произошли неприятные объяснения, красотка поспешила уехать, но украдкой передала Игорю листок с московским телефоном.

Игорь был очень занят, шли последние работы по очистке dna водохранилища. Рубили деревья, разбирали рыбацкие домишки, причалы, склады... И тут он увидел Тоську и своего техника Милешкина — они дружно гру-

зили потемневшие бревна и доски на баржу: Тоська переносила свой дом на водомерный пост Милешкина.

Из женского лукавства она подошла проститься:

— Что ж, будьте здоровеньки, Игорь Матвееч.

Его бесила мысль, что она будет с этим увальнем такую же, какой бывала с ним. Но он все-таки пожелал ей счастья.

— А как же! — сказала Тоська и доверительно шепнула: — Хозяйство разведу, детей нарожаю кучу! Чужие гнезда разорять — ума не надо. Свое попробую свить.

И пошла, покачивая бедрами, довольная тем, что последнее слово осталось за нею.

Тогда он постарался забыть ее слова. В пути готовился позвонить по тому телефону, продолжить приключение. А не позвонил. Не захотелось.

— ...и мы совсем не торопимся в бабушки и дедушки, — рассудительно говорила мама, — но хочется увидеть, как определилась жизнь сына. Это совершенно естественное желание...

Что такое — мама уговаривает жениться? Или ведет глубокую разведку?

— Мапочка, не на ком! — сказал он полушутя-полусерьезно. — За всю жизнь я один раз подумал о женитьбе... но, представь себе, получил отказ. Не пугайся, это было давно, она вышла замуж... но — никому другому не удалось подбить меня на столь опрометчивый поступок.

Мама растерянно молчала — не понимала, как могла та девушка предпочесть кого-то другого.

Отец покашлял, покряхтел и ушел к себе. Вернулся он с потрепанным конвертом:

— Вот, письмо от Липатовой. Может, тебе интересно будет.

Письмо было давнее, новости тоже давние... Чего ради отец разыскивал его?

«...Катерина работает теперь на стройке. Что у них случилось с Алымовым, не знаю, но они разошлись, чему я очень рада, потому что он дурной человек. Она переживает, замкнулась, но время возьмет свое...»

Перечитывая эти строчки, он старался вспомнить лицо Катерины, замкнутое, гордое лицо, и этот ее взгляд — как с дальнего-дальнего берега. Лицо почти забылось. Но сердце вдруг застучало, тревожно и радостно застучало сердце, будто не было ни той обиды, ни доводов разума, ни четырех лет вдали от нее.

Он опомнился, увидав две пары настороженных глаз. Мама прямо-таки потрясена, видно, я был хорош! А папа... он, оказывается, все знал?

— Ничего интересного, — небрежно сказал Игорь, возвращая письмо. — Что мне хочется, так это поглядеть, как поживает наша речка в новом русле. Может, заверну туда по пути в Крым...

Папа, вопреки своим склонностям, пробормотал, что речка как речка, смотреть нечего, а мама метнула на отца сердитый взгляд — вот, наделал дел! Кто тебя просил вытаскивать старое письмо?!

Катерина вернулась из Ростова и вышла работать в ночную смену. Она устала от зубрежки и экзаменационных волнений, а еще больше оттого, что Светлана далеко, а ясности нет ни в чем...

Товарищи из обеих смен все до единого подходили узнать, как она сдала экзамены, спрашивали: значит, еще полгода — и прости-прощай, товарищ учитель?

— Не знаю, — отвечала она. — Там видно будет.

Когда со всеми было переговорено, она осталась одна возле своего красавца компрессора, превосходного мощного компрессора ленинградской марки, которым она гордилась так, будто сама его спроектировала и сработала. Чисто, тихо и очень светло было в новой компрессорной. За громадными окнами, которые она когда-то стеклила, чернела ночь, прорезанная рядами огней: два ряда обозначали откатку, один, избегающий вверх, — скиповую дорожку на отвал. В пестром свете ночных огней видно было, как ползут наверх тележки — ползут, ползут, вползают, задирают хвост и вываливают на вершине террикона свой бесполезный груз.

Следя за приборами и прислушиваясь к ровному, мягкому гулу компрессора, Катерина не спеша думала обо всем, что составляло ее жизнь, обо всем, что еще никак не решено. Сколько усилий стоило учиться в заочном институте! Многие однокурсники смалодушествовали и бросили учебу. Она пропустила год, — тогда, с Алымовым, — но не позволила себе сдать. Пробные уроки прошли хорошо, ее хвалили, и она сама чувствовала, что у нее получается...

Но вот она вошла в этот зал, построенный ею самой, встала возле компрессора — и чувствует, что никуда ей

уходить не хочется, что здесь — ее дом, надежный дом, где она никогда не пропадет и не останется одна...

Здесь — все ясно. Центральная компрессорная — нерв всей угледобычи двух больших шахт. Замри ЦКС — и замрут пневматические молоты и угольные комбайны, остановится труд полутора тысяч людей... Но ЦКС замереть не может, все продумано и создано так, что перебой исключается, один компрессор страхует другой, а сотни точных приборов проверяют, защищают, предупреждают, регулируют... Тысячи людей придумали и сработали всю эту сложную систему машин, труб, приборов. Их труд конкретен: сделал — и видишь дело своих рук. Почему я не пошла в технический вуз? Я бы видела дело рук своих, как вижу сейчас, — стою, как часовой, на страже бесперебойной работы, даю сжатый воздух молотам и комбайнам, и идет, идет уголь — мой уголь. Во всей сумятице моей жизни — простое, ясное, ощутимое действие.

А труд педагога? Год за годом будешь учить всяких сорванцов арифметике, алгебре и геометрии, а они будут норовить провести тебя за нос, списать задачу, заглянуть в шпаргалку, — мы тоже так делали! Они будут приходить и уходить от тебя, вымотав тебе нервы шалостями и хитростями... Как учесть, что сделала я? Что от меня запало в их головы?..

— А ведь я трушу!

Она произнесла эти слова громко, благо никто не мог услышать. Трушу! Захотела более легкого, простого? Без риска?..

Разве в том только моя задача, чтобы научить их арифметике, алгебре и геометрии? Взрослого переделать трудно. Сделать злого, желчного, эгоистичного — добрым, отзывчивым, широким... я-то знаю, как это трудно! А может, и невозможно? Человек создается с детства. И нет профессии выше. И тяжелей. Сейчас слишком много насущных дел. Строится самый дом. А кто в нем будет жить? Какие люди? Пройдут годы, и Учитель станет самым уважаемым работником. Тот, кто закладывает основы знаний, характера, отношения к людям, к труду, к будущему...

А я — струсила? Струсилла потому, что была безрассудна, обожглась... а теперь хватаюсь за привычное, надежное?.. Так она думала, и это не мешало ей внимательно следить за работой машины и чувствовать —

именно чувствовать всем существом — малейшее изменение звука, колебание стрелки, вспышку сигнальной лампочки...

...Всего на две недели уезжала, а приехала — и все видится ярче. Открыла калитку, увидела бегущую навстречу Светланку и вдруг застыла в удивлении — навстречу бежит уже большая, длинноногая девочка с Вовниным лицом... Ведь знала, что похожа, но только теперь увидела — лицо Вовнино, с тем же милым взглядом изпод приспущенных ресниц, с тем же Вовниным неповторимым движением губ...

И когда прибежал Степа Сверчков — прямо в глаза бросилось и его радостное смущение, и наблюдающий взгляд мамы, и доброжелательные лица соседок... На всех написано — ну, слава богу! А суть в том, что все знают — у этих двух случились в жизни аварии, вот их и прибило друг к другу, вместе доживать легче...

А я? Разве я сама иногда не думала — легче?

Наблюдала, как он возится со Светланкой, как он стал своим в доме, и думала — ну что ж... может быть...

Да, нас прибило друг к другу горем. Когда мне было плохо, ему было еще хуже. И я его понимала — не то что все эти жалельщики! Сама прошла через такое, вот и понимала, что за месяцы болезни и мрака он нашел силу преодолеть боль, а потом, когда к нему вернулся свет солнца, научился радоваться тому, что есть. А его окружили ватой, ему начали лгать — Палька и Клаша больше всех...

В день, когда эти двое уехали, я должна была пойти к нему — и я пошла. И сказала ему первую и последнюю ложь: Степа, мне хуже, чем тебе, пойдем походим и поговорим, я не могу одна...

Кто кого утешал? Не поймешь. Но обоим стало легче. А потом так и повелось. Милый Степка Сверчок, приятель детства, вместе коз пасли, вместе взрослыми стали и вместе бедуем... А любви-то нет. Я за него горой, он за меня горой, — а любви нет...

Почему я не замечала, что все окружающие, даже старики Кузьменки, толкают, толкают нас к самому нелепому — поженитесь, горемыки, вместе доживать легче.

А я не хочу!

Не хочу — доживать.

Жить хочу. Счастливой хочу быть.

Все сначала. Рискуя ошибиться, сломать голову, обжечься еще больней...

Мама стряпала на летней кухне, Матвейка и Танька крутились во дворе, отец со стариком Сверчковым играл под яблонькой в шахматы — с тех пор как он вышел на пенсию, это — его главное занятие.

Все было обычным, но положение Кузьки в доме ощущимо переменялось. Это была его первая суббота рабочего человека, и он сказал отцовским неспешным голосом:

— Пожалуй, схожу в баню. Собери мне белье, мама.

Мама стрельнула смеющимся взглядом, но белье собрала. А Лелька собрала белье Никите. И двое работников вместе пошли в баню, надраивали друг другу спины, ухали от удовольствия — Кузька ухал совсем как Никита, любовался сильным, ладным телом Никиты и сам себя представлял таким же.

Вернувшись, Кузька в ожидании обеда степенно подсел к старикам, и Дмитрий Васильевич уважительно спросил, сколько получает лаборант и какая в лаборатории перспектива жизни. Кузька твердо решил поработать на разных участках опытной станции, а с осени поступить на вечернее отделение института, но болтать об этом не имело смысла; он солидно рассказал о своих обязанностях и зарплатке, а про перспективу скромно сказал, что она зависит от человека.

Сели обедать, и Кузька почувствовал, что ему теперь и за столом почет другой: и борща погуще, и мяса побольше, и добавку предлагают, не дожидаясь, чтоб он протянул тарелку.

После обеда Никита с Лелькой начали собираться на выпускной вечер — Никита кончил техникум. Лелька щипцами закручивала локоны, громко топала по дому на высоких каблучищах, шелковое платье на ней потрескивало, так ее развезло после рождения Таньки.

— И как же сегодня, Лелечка, один вам диплом дадут или два? — спросил Кузьма Иванович и закашлялся от смеха. — Я бы... кхе-кхе... будь моя власть... раньше Никитки тебе выдал!

Что верно, то верно: все эти годы Лелька донимала Никиту — учись! Кузька через стенку слышал, как она требовала, чтоб он все уроки отвечал ей назубок. Никита сердился: ведь не понимаешь, какой ты проверяль-

щик, я ж тебе что угодно наговорю! Лелька отвечала: совести не хватит, но, если у тебя такая совесть, я нюхом почую, что врешь. А в последний год перед сессиями Лелька заставляла его брать отпуск за свой счет, сама на сверхурочных оставалась, стирку брала, какую-то контору нанималась мыть, — а Никитку вытянула. Другая бы хвасталась или попрекала мужа, а Лелька только улыбалась да обнимала его.

Кузьма присматривался — любовь! Никиту разглядывал будто ее, женскими глазами: вот он стоит у зеркала, в синем костюме, в белой рубашке с синим в полоску галстуком, стоит и расчесывает мокрой щеткой чуб, чтоб лежал волной. И подмигивает Лельке озорным глазом. Во всем поселке нету парня лучше Никиты.

Когда они ушли, Кузька тоже стал собираться — куда, и сам не решил, но не сидеть же в субботний вечер дома. Костюма у него не было, и галстука не было, но мама перелицевала ему отцовский пиджак и вышила крестиком рубашку — тоже неплохо. Оделся, намочил щетку и подошел к зеркалу. Хотелось увидеть себя хоть немного похожим на Никиту, а увидел тощего, непомерно вытянувшегося паренька с белесыми вихрами, которые никакой щеткой не заставишь лежать волной. Попробовал вскинуть бровь, как Никита, не получилось, да и брови выгорели, еле видны. Попробовал озорно подмигнуть — не вышло.

И все-таки...

Одно воспоминание жило в нем и тревожило. Он еще сдавал экзамены, сидел зубрил, и вдруг раздался знакомый свист за окном. На улице, опираясь на велосипед, стояла Галинка Русаковская. Он выглянул, она крикнула: «Здорово! Поехали на ставок купаться!» За год, что не виделись, она выросла и стала какая-то другая — уже не девчонка, и еще не девушка, а повадка прежняя, мальчишеская. Кузька сторонился девчонок и презирал их, но Галинка была не как все. Он выскочил в окно, встал перед нею и оказался на голову выше ее, и вдруг смутился, и она покраснела, это было заметно несмотря на то, что была она коричневая от загара. Они поехали на ставок, и он учил ее плавать под водой. Она была молодец, каталась на мужском велосипеде, прыгала с мостков в воду. Но на этот раз что-то мешало им, прежнего приятельства не было. И когда прощались, она опять покраснела... Почему она покраснела?..

Он прошелся по улицам поселка, походил возле техникума, заглядывая в окна,— там усердно танцевали, промелькнул и Никита с какой-то черномазой девицей. Поехал в «Пятилетку» — знакомые ребята толпились возле танцплощадки, завидуя танцующим и не решаясь подойти к девушкам. Стояли гурьбой, подбадривая себя шутками и слишком громким смехом. Кузьке хотелось спать, с непривычки он уставал на работе, но возвращаться домой так рано было стыдно, и он вернулся, как полагается взрослому парню,— далеко за полночь.

Только он уселся, пришли Никита с Лелькой. Они ходили на цыпочках и шипели друг на друга: она шипела сердито, он виновато. Поднялись к себе, но и оттуда доносился Лелькин злой шепот. Потом вдруг отчетливо раздался два энергичных шлепка. И все стихло.

Поссорились? Из-за той черномазой?

Он был прав — из-за черномазой. Но мог ли он себе представить, до чего независимо вела себя Лелька весь этот нескончаемый вечер, словно и не видела, как липнет черномазая к Никите и как он исчезает с нею то на улицу, то на черную лестницу! Она ушла одна, пройдя в нескольких шагах от этой парочки, стоящей в палисаднике. Никита догнал ее уже на проспекте, у трамвая. Она молчала всю дорогу, будто его и не было.

— Ну, Лель! Ну чего ты? — бубнил Никита, шагая рядом.

— Иду домой.

— Ну что я такого сделал? Ведь ничего особенного.

— Ничего, так и не кайся.

— Ну, Лель!.. Не сердись, а, Лель!..

Так он бубнил и дома, ходя за нею по пятам. Она сорвала с себя слишком узкое платье, отшвырнула туфли на невыносимых каблучищах и босиком стала у двери на балкон, только бы не ложиться рядом с ним.

Он подошел, пощекотал ей затылок. Лелька неуступчиво дернула плечом. Он попытался обнять ее. И тогда Лелька повернулась и быстрой-быстрой скороговоркой высказала ему все. Все, что накипало целый вечер. Припомнила и прошлогоднюю дуреху Муську, и позапрещенную уродину Фроську, и все вечера, когда она его ждала, а он где-то путался. С нее довольно! Возьмет детей и уедет, пусть приводит в дом хоть эту цыганку, то-то все обрадуются!

— Да ну, Лелик, чего наговорила,— с затаенной

улыбкой протянул Никита. — Все пересчитала, чего было и не было. Да на что мне сдалась эта цыганка? И всего-то чуть-чуть потискал ее...

— Ах, потискал? — выкрикнула Лелька и со всей силой ударила его по щекам — по одной и по другой, не жалея ладоней.

— Ну и ну! — сказал Никита и смешливо прищурился. — Хватит? Или еще будешь?

И тогда Лелька кинулась к нему на шею, больно дернула за чуб, ущипнула тугое плечо.

— Все! — сказала она. — Забыли!

И они легли рядом, и обнялись, и действительно забыли.

Катенин давно не встречался с Ароном запросто, подружески — что-то треснуло в их отношениях, смущал пронизательный, пронзческий взгляд Арона, будто вопрошавший: ну и как же ты, молчишь? Ему легко осуждать, думал Катенин, он в стороне, он не вмешивается, а я — что я могу?

Но в этот день, как только распространилась волнующая новость — Алымов снят, снят по настоянию ученых, — любопытство пересилило, и Всеволод Сергеевич помчался к Арому.

— Мне только что сообщили — об Алымове... Ты уже знаешь?

— Знаю ли я? — усмехнулся Арон. — Снимай пальто, заходи, садись. Зачем обсуждать стоя то, что можно обсудить сидя?

Он был очень доволен, Арон! И, конечно, оказалось, что он принимал деятельное участие в отстранении Алымова.

— Вперед мы выдвинули таранную силу — академика! — рассказывал он. — Представь себе, старичина поехал в ЦК и заявил, что, по его наблюдениям, у партии хватает квалифицированных людей, так что незачем держать во главе новой отрасли техники невежду. А когда его спросили, какие еще недостатки он замечает у Алымова, он сказал... нет, ты послушай! — он сказал так: недостаток это или беда его, но Алымов любит слишком громко говорить о том, что недостаточно хорошо знает. И чем хуже знает, тем громче говорит!

К удивлению Катенина, и профессор Граб на этот раз не отстранился, он написал нарком, что терпеть грубость Алымова не намерен, а потому посещать заседа-

ння, руководимые Алымовым, отказывается. Сам Арон тоже обращался к наркому и ходил в ЦК.

— Я долгое время думал, что за энергию ему многое можно простить. Но в истории с газовой турбиной... да он же вспышккопускатель! Ему же не дело дорого, а собственный успех в деле!

Катенин сидел в кресле понурясь. Да, этот ненавистный горлопан и из такого сложного эксперимента пытался извлечь быструю славу, всех загонял, затормошил во вред делу — лишь бы поскорее рапортовать и прогреметь в газетах!.. А может, и заткнуть рот недовольным, которых становилось с каждым днем больше?.. Все это так. Но история с газовой турбиной совсем по-иному затрагивала и самого Катенина: харьковский профессор, создавший турбину для работы на подземном газе, был ему знаком и через него связался с Углегазом. Почему же он, Катенин, отстранился от опытов, не придал им должного значения? Казалось бы, ухватись, помоги, вложи свое... Нет! Когда маленькую газовую турбину — первую советскую газовую турбину — привезли в Донецк, туда помчались Арон и Мордвинов, им принадлежали слова — *энергетическое направление* подземной газификации, они поняли: связать подземный генератор непосредственно с электростанцией, на месте перерабатывать газ в электроэнергию удобно и выгодно. Почему же я не увидел будущие возможности этого начинания? Почему я — в который раз! — остался в стороне?..

И вот теперь — с Алымовым. Кто больше меня ненавидел этого человека? Не чью-нибудь — мою родную дочь он держит при себе куклой для забавы, сам не разводится с первой женой и ее не торопит развестись, — зачем ему, у него не последняя!.. Кто, как не я, мог сказать ему в лицо, что он — мерзавец?.. Ходят слухи, что однажды Мордвинов дал Алымову пощечину — за Катерину Светову. Катерина ему чужая. А у меня — единственная дочь...

— Как ты относишься к назначению Мордвинова? — спросил он, предчувствуя ответ и сквозь горечь понимая, что и сам не нашел бы более подходящего руководителя.

— Полностью — за! — воскликнул Арон. — Кстати, его кандидатуру предложил Лахтин. Одно из двух, говорит: или назначайте его начальником, или отдайте обратно мне.

Зазвонил телефон.

— Тебя, Всеволод. По-моему, дочка.

Голос Людв звучал приглушенно:

— Наконец-то разыскала! Папа, что случилось и как это понимать?

— Так, как оно есть,— ответил Катенин, злясь оттого, что Люда месяцами не вспоминала о нем, а в беде сразу вспомнила. — Одного сняли, другого назначили. Ничего больше.

— Ох, папка, перестань дуться, когда у меня такое несчастье! — Она еще приглушила голос, он еле разбирал слова. — Костя в неистовстве, ругается — стены дрожат. Пишет жалобы, опять ругается, опять пишет... Я совершенно извелась! Еле уговорила принять ванну — для успокоения. Он сейчас в ванне. Скажи правду, папа, он натворил чего-нибудь? За что его?

Катенин пытался объяснить ей. Люда начала всхлипывать.

— Тебе хорошо! А каково мне! Вот уже четыре часа он орет как бешеный... Верно, что это Мордвинов подсел его? Что они свалили его, потому что он не хотел плясать под их дудку?

Катенин не выносил, когда Люда плачет, он зримо представлял себе, как она, заплаканная, прикрывает трубку рукой и с испугом прислушивается, не выскочили ли Алымов из ванны. Но, боже мой, какие подлые домыслы она повторяет?!

— Глупости! — прикрикнул он. — Если хочешь знать, нам всем давно невтерпёж! А Мордвинов, говорят, еще пожалел его и предложил ему поехать директором на большую новостройку в Сибирь.

— В Сибирь?!

— Ах да, я совсем забыл, что ты не согласна — в отъезд! — совсем уж раздраженно сказал Катенин.

Люда вдруг охнула, протяжно всхлипнула и торопливо дала отбой, — наверно, Алымов выскочил-таки из ванны.

— Нашел когда сердиться, — сказал Арон. — Раньше надо было, а сейчас девочке и так не сладко.

Саша Мордвинов с трудом втиснулся в троллейбус. Это был на редкость веселый троллейбус, — видимо, все тут ехали за город, предвкушали разные удовольствия и готовились к ним: стиснутые так, что не повернуться, люди вздымали над головами чемоданчики, волейбольные мячи, теннисные ракетки, сумки с позвякивающими бутылками... В такой тесноте неизбежно возникают или

перебранки, или веселость; в этом троллейбусе смех перекатывался из конца в конец.

Среди празднично настроенных людей Саша чувствовал себя самым серьезным, но и самым довольным человеком. Он долгое время делал меньше, чем мог, и ему часто мешали делать то, что было необходимо. И вот — простор и свобода! Все в моих руках! Это громадная ответственность. И тяжелейший труд. Этот труд потребует больше таланта и умения, чем у меня есть. Но разве руководители рождаются умелыми? Надо хотеть — учиться и советоваться. У нас есть превосходные люди. Сейчас все зависит от нас самих!..

Только на лестнице он вспомнил — Люба! Я не позвонил ей...

Он ворвался в квартиру, увидел ее радостно обращенное к нему лицо — и вдруг по-мальчишески вытянулся перед нею:

— Признайся абсолютно честно — похож я на ответственного руководителя?

Люба, улыбаясь, оглядела его и качнула головой:

— Нет, не похож.

Она не сразу поверила, что он действительно назначен вместо Алымова. А когда поверила — испугалась.

— Ну вот, теперь ты совсем забудешь меня. Ты уже сегодня забыл позвонить... и пропал до вечера...

Ему стало стыдно — в ее положении, когда в любой момент может начаться...

— Любушка, я буду звонить каждые два часа, я тебе обещаю! Ты не хлопочи, я сам...

— Сам, сам! У меня все готово, только подогреть.

Она ходила в кухню и обратно, осторожно ступая. За последние дни она отяжелела, исчезла подвижность, которая сохранялась у нее все месяцы беременности. Он очень любил ее сейчас, и очень боялся за нее, и не понимал, почему она, такая трусиха, не боится родов. Она говорит: это естественно, ведь все рожают... Но как она бледна!

— Любушка, ты здорова? Ты сегодня такая бледненькая.

— Мне нужно на воздух. Мы пойдем?

Так у них было заведено — каждый вечер гулять. Они и маршрут выработали — по тихим улицам и бульварам, туда и обратно — два часа. Шли медленно, рука в руке, и говорили обо всем, что их занимало. Люба чувствовала, когда ему необходимо уяснить самому себе новую мысль

и найти ее точное выражение, и в таких случаях слушала молча. Они очень дорожили этими двумя часами.

Сегодня Саша думал вслух:

— ...Газовая турбина уже дает три тысячи двести оборотов. Надо довести до трех пятисот. Энергетика на газе вместо угля — вот перспектива! Ни дыма, ни копоти, ни подземного труда. Одолеем такое дело. — это уже техника коммунизма!..

— ...Настала пора платить долги. Затрачено немало сил и средств — тратили на опыты, на науку. Это правильно. Но пора начать серьезную отдачу в народное хозяйство. Новая Сибирская — вот где мы развернем свои возможности! По проекту она в сорок раз больше Подмосковной. Тут придется побороться как следует, чтоб утвердили. Но иначе получается заколдованный круг: боимся больших предприятий, потому что пока нет выгодной экономики, а выгодной экономики нет, потому что на малом предприятии ее быть не может...

Люба попросила — посидим.

— Тебе нехорошо?

— Устала немного. Ты говори, говори. Мне интересно.

Бульвар был темен и почти пуст. Сквозь густую листву свет уличных фонарей проникал мелкими пятнами, неподвижно лежавшими на аллее, на скамье, на коленях Любы. Лицо ее было в тени, но и в тени было заметно, как она бледна.

— Может, лучше вернуться домой? Любушка, ты не храбрись.

— Нет, нет, мне уже хорошо. Ты продолжай. — Она заглянула ему в глаза. — Ты очень доволен, да?

— Доволен, да. Но что было сегодня тяжело, так это — Алымов. Ты бы видела! Руки прыгают, глаза как ножи...

— А я понимаю, почему он оставил Катерину, — сказала Люба.

Саша, как и все, считал, что они с Катериной слишком долго жили вресь, а дочка Катенина проявила настойчивость.

— Нет, не в этом суть. Он ведь любил Катерину. Насколько такой эгоист может любить — любил. Но перед Катериной он с самого первого дня встал на цыпочки.

— На цыпочки?

— Хотел казаться лучше, чем си есть. Все время притворялся лучшим. А долго притворяться нельзя.

— Любушка, ты умница.

— Пойдем походим.

Она почему-то свернула с их привычного маршрута — для разнообразия, так она сказала. Повела его боковыми улочками, где он никогда и не был.

— Ты говори, говори!

— Главное — не дергать людей. В технике есть понятие — коэффициент полезного действия. Так вот, нужно заботиться, чтобы у людей был максимальный коэффициент полезного действия, чтобы силы не тратились впустую. При Алымове все нервничали, а работать надо в хорошем настроении. У нас и так хватает борьбы и препятствий. Я постараюсь принять все, что возможно, на себя, чтобы остальные спокойно занимались делом.

— Все неприятности — на себя?

— Знаешь, Любушка, есть такая штука — громоотвод. Хороший руководитель должен быть, наверно, и громоотводом. Ты что?

Она остановилась, тяжело опираясь на его руку.

— Ничего. Почувствовала себя женой громоотвода.

— Глупышка, ты что вообразила? Сейчас будет намного легче, хотя бы потому, что нет истерик Алымова. А борьба и была, и будет. Никакого прогресса без этого не достигнешь. Где есть мысль, там и столкновение мнений, борьба взглядов. Так будет и при коммунизме, ведь коммунизм — не рай, где все неподвижно и все достигнуто. Коммунизм — движение, развитие. Может, тогда-то и начнется самый размах творческой борьбы. Но без дрызготни, без посторонних помех... Ты что, Любушка?

— Посидим... вот тут...

Она опустилась на узкую дворницкую скамеечку у чужих ворот.

На лбу ее выступили капельки пота, поблескивая на свету.

— Любушка... началось?

Она молчала, навалившись на его плечо.

— Трубы... трубы...

— Что, Любушка?..

— Это я слышала по радио... уже давно... музыку... Такие трубы — та-та-та-там! та-та-та-там!.. Когда ты говоришь, я слышу, как они трубят... У меня уже с утра что-то... только редко, а теперь часто. Я переволновалась, что тебя долго не было.

— Любушка, поедем в больницу. Я сбегая за такси.

— Какое такси? Больница за углом. Я немного посижу, и пойдем.

— Люба! Ты знала... шла к больнице... и скрывала? А я говорил черт знает о чем!..

— Я думала, это еще не то... Ой, Сашенька! Ой! Я боюсь, боюсь. Ты не уходи. Я боюсь!

Когда он довел ее и сдал дежурному врачу, он сам боялся гораздо больше, чем Люба: в больнице она сразу успокоилась.

Потом он ходил взад и вперед возле страшного подъезда.

Начало светать, он пытался проникнуть в больницу: старуха в белом чепце пожалела его и позвонила в родилку и сказала: все хорошо, рожает. Что — хорошо? Столько часов...

Он сидел на ступенях, отупев от страха. А старуха вдруг сама позвала:

— Ты тут, парень? С сыночком тебя! Девять фунтов!

Он не сразу понял. Уже? Какие девять фунтов?

— Девять фунтов весу в твоём сыночке. Все хорошо. Иди спи, не майся.

Он не пошел домой. Он бродил по безлюдным улицам и бульварам, где они ежедневно гуляли с Любой. Чудо произошло. Сын! Не было, не было — и вот родился новый человек. Его сын, Возка...

Уже совсем рассвело, когда он снова очутился в больнице. В приемной мыли полы, пахло хлором. Старуха пила чай. Он написал записку и попросил переслать, чтобы Люба, проснувшись, сразу прочитала.

Затем он как-то неожиданно оказался дома и в открытое окно увидел город, окрашенный теплым светом встающего солнца. Начинался первый день жизни его сына. Он подошел к календарю и, еще ничего не зная, красным карандашом торжественно обвел этот день — 22 июня.

Была уже ночь, и хотелось уснуть, но за стеной шумели и смеялись гости, и Галинка все прислушивалась, улавливая среди других голосов папин звучный и веселый голос, и думала о том, что лето складывается чудесно, папа обращается с нею как с большой, они вдвоем заплывают далеко от берега и там отдыхают, лежа на спине, — в прошлом году она боялась заплывать, а теперь со-

всем не боится, хотя глубины тут прямо невероятные. Вот поглядел бы Кузька, как она научилась плавать под водой — иногда с папой, а иногда и сама. Кузька доставал со дна ставка блестящую пряжку, она тогда не умела и завидовала, а вчера бросила десять белых пуговиц и подобрала все, кроме одной... И на скорость научилась, не хуже мальчишек. Выпросить бы у папиного «корабеля» часы-хронометр!.. Завтра утром, когда пойдем купаться, — даст он или не даст? Наверно, даст. Вот хорошо бы!..

Блестящие часы с отпрыгивающей на место стрелкой возникли и помаячили перед глазами... папин звучный, веселый голос подал команду... Она прижмурилась, готовясь к прыжку, и с ощущением воли, и счастья, и здоровой силы оттолкнулась... и упала прямо в крепкий, блаженный сон.

Сон оборвался разом.

Галинка подскочила на кровати и села, бессознательно натягивая на теплые, сразу озябшие плечи простыню. Еще не рассвело, но комната странно озарялась каким-то прерывистым летучим светом, и звонкий, тоже прерывистый грохот заполнял комнату, небо за окном и весь мир. Человечий неистовый крик не испугал, а даже обрадовал Галинку своей непонятностью — где-то рядом человек, и ему тоже страшно. Ей хотелось закричать, чтобы тот человек услышал, но голоса не было.

Она не поняла, что это война, но ощутила, что перевернулось и отступило куда-то все, чем она жила. И, будто в подтверждение, в том пространстве неба, какое ей было видно за окном, наискось пронеслась черная тень большого самолета, окруженная вспышками огня. Затем ухнуло так, что качнулась кровать и задребезжали, запрыгали стекла, будто кто-то снаружи тряс раму.

— Мам! — беззвучно крикнула Галинка, до подборка натягивая простыню.

И мама появилась — с совершенно незнакомым, суровым лицом, с очень родными, сильными, охраняющими руками.

— Ничего, — каким-то незнакомым голосом сказала она. — Ничего, ничего.

И Галинка припала к матери всем телом, продолжая глядеть в грохочущее небо, полное недоброго летучего света.

**ЗДРАВСТВУЙ,
МОЛОДОСТЬ!**

Поздний рассвет выбивается из тумана, будто расталкивая его локтями. И туман, только что застилавший все вокруг, нехотя отползает, съеживается, припадая к болотистой равнине, по которой идет поезд, — должно быть, и поезд, торопясь, разрезает и отталкивает его влажную толщу. Солнца еще нет, но все полно приближением дня — в сером небе с каждой минутой нарастает жемчужное свечение, такое же дивное свечение пробегает по качающейся поверхности тумана, и он все плотнее прижимается к земле, так что из-под него постепенно выпростываются низкорослые березки, взметнувшиеся на взгорках среди болот, потом голые ветви кустарников, а кое-где и кочки, поросшие голубицей. Жесткие листочки голубики, рыжий мох, уцелевшие на ветвях сухие листья — все сейчас жемчужно светится.

— Брр, какая безотрадная картина, — глянув в окно, говорит сосед по купе и, кинув полотенце на плечо, выходит.

Вот тебе и раз! Значит, он не увидел этого дивного свечения?..

Еще в мурманской библиотеке, читая Метерлинка, я переписала в заветную тетрадку: «Серые дни бывают только в нас самих». Сколько раз убеждалась — верно! Но тогда тем более в нас самих — свет радости, вопреки всем бедам и сложностям рождающий способность удивляться многоцветью жизни и впитывать ее прелесть?..

Из коридора доносятся последние известия, передаваемые поездной трансляцией. Беспокойный мир! — то одно, то другое, то далеко, то близко — тревоги, тревоги, тревоги... «Легкой жизни нам не обещают телеграммы утренних газет» — так писала Маргарита Алигер. Так оно и есть.

А за окном — поселки, мосты, владуки и снова болотистые низинки со скудными кустарничками, уже последние перед городом. Вот-вот начнут двинуться, тронуться, разбежаться пути, вот-вот возникнут привезимые, с глухими стенами здания складов и мастерских, водокачки,

служебные домики, пустые составы на запасных путях — предвестники большой станции. Все сотни раз видано-перевидано в такой же ранний утренний час, и все же тянешься взглядом к знакомым предвестникам, и маршевая музыка, запущенная оптимистичным поездным радиостом, звучит в лад настроению, и солнышко выплыло наконец из-за мгlistого горизонта, подсветив жемчуг розовым и золотым. И вдруг взгляд выхватил еще далекие, неожиданные силуэты зданий — много-много силуэтов, изменивших знакомую окраину. Одинаковые по форме, обращенные то шириной фасадов, то узкой торцовой стеной к приневской равнине, подсвеченные солнцем и охваченные понизу мутной полоской тумана, они кажутся сейчас не всамделишными, не надоедливо-стандартными, а прекрасными, почти сказочными. Стоят сами по себе, а вокруг — ничего, низменность, безлюдье. Когда же они успели вырасти тут, обозначив новую границу города?

Маршевая музыка оборвалась. Щелчок — и торжественный голос:

— Граждане пассажиры, поезд прибывает в город-герой, четырежды орденоносный Ленинград!

Тоже знакомо, привычно, а каждый раз щекоток горделивого волнения. *Мой город.*

Вот ведь как — мой! Не в нем я родилась, не здесь начала самостоятельную жизнь, первые трудовые усилия приложила тоже не тут. Приеду в Севастополь — и такой он родной даже в своем новом облике, восставший из руин совсем иными, непохожими зданиями, разве что чертеж улиц, белый ракушечник стен да синий блеск моря, врезающегося в город просторными бухтами, — они то не изменились, томят поисками сходства и отлечий и постоянно присутствующей болью заочно пережитой трагедии... Приеду в Мурманск, под его белесое небо, в почти неузнаваемый многоэтажный город среди лиловеющих сопок, — дома! Побываю в Петрозаводске, глотну холодка разбежавшегося на вольной всле онежского ветра, похожу по наклонным, скользящим к озеру улицам — еще один дом родной. И все же... Спросят меня: откуда? — говорю: ленинградка! — и сама себя ловлю на хвастливой интонации.

Да разве я одна? Пожалуй, любой из моих сограждан гордится званием ленинградца, даже если не в этом городе родился, если только *причастен*...

Как оно проникает в душу, чувство причастности городу? Да у каждого по-своему, и не всегда разберешься, что и когда возникло...

Вспоминаю: первой студенческой весной, в пору экзаменов, мы вылезали из мансарды общежития на плоскую, разогретую солнцем крышу. Мальчишки из соседних комнат как по команде вылезали тоже, считалось — усиленно зубрим, но стоило кому-нибудь сказать смешное — захохочем все, легко оторвавшись от физики или сопромата, и пошлб, и пошлб!.. В такой веселый час, когда меня переполняла беспечная радость существования, я вдруг сама не знаю почему оторвалась от болтовни товарищей, оглядела все, что открывалось с нашего поднебесья, и внутренне ахнула, впервые увидев то, на что глядела ежедневно. Увидев *город*. Глаза отметили безукоризненную перспективу Литейного и плавный взлет моста, перекинутого через Неву на Выборгскую сторону, тускло-золотой шпиль Петропавловской крепости — он, как указующий перст, был нацелен на застывшее в небе белое-белое облако, — старый деревянный мост через Большую Невку (какие там шатучие, трухлявые доски!) и краешек Петроградской стороны с купами деревьев ликующе-зеленого цвета, какой бывает только весной, адмиралтейскую иглу с корабликом («...и светла адмиралтейская игла»), массивный даже издали купол Исаакия («врезан Исаакий в вышине») — и крыши, крыши, крыши... Еще я увидела то, что скрыто от глаз, — Невский, такой строгий днем и пугающе зазывный в ночных огнях, и Медного всадника, который «рукой железной Россию вздернул на дыбы», и широко распахнувшую город Неву с ее «державным теченьем», и каменный спуск со львами — под прикрытием одного из львов мы целовались с Палькой недавним пронзительно ветренным вечером, и Летний сад, куда водили гулять Евгения Онегина, и перехваченную аркой, задумчивую Зимнюю канавку, где погибла пушкинская Лиза, и сине-золотую Мариинку, где я успела приобщиться к оперному пиршеству голосов, и университет с длинющим коридором, по которому запросто ходило столько великих людей, и Ростральные колонны (вот что такое, оказывается, ростры!), и «безлюдность низких островов»... Все слилось воедино — виденное, узнанное, пережитое и угаданное, строки любимых стихов и восторг юности. Потрясение было внезапно и коротко. Пусть через несколько минут я снова болтала и

смеялась как ни в чем не бывало — в ту минуту потрясения я полюбила *город* сильно и навсегда.

Но поняла я это гораздо позже. Зародившееся чувство как бы поднималось по ступенькам, и с каждой ступенькой ширилось восприятие, обретало новые оттенки.

Демонстрации. Они еще не стали привычными, они несли в себе энергичнейший заряд действия — время было напряженное донельзя, гражданская война окончилась, но шла ожесточеннейшая борьба экономическая и политическая, *кто кого*, так определил эту борьбу Ленин; еще только восстанавливалось после страшной разрухи хозяйство, а нужно было соревноваться с новой, набирающей силу нэповской буржуазией, вытеснить ее — работой вновь пущенных заводов, советским твердым рублем, первыми советскими машинами, мыслью и энергией «красных директоров» и первых специалистов советской выучки... Все это отражалось в самодельных лозунгах и плакатах. Институты рапортовали, сколько инженеров, врачей, агрономов, библиотекарей они подготовили, учителя и комсомольцы — сколько неграмотных научили грамоте, на разукрашенных грузовиках разыгрывались целые сценки — рабочий бил молотом нэпмана в котелке, толстопузого кулака и попа-пройдоху. Каждая рабочая колонна рапортовала цифрами выпущенных изделий и поднимала высоко над головами эти изделия или макеты — огромную электрическую лампочку, макет станка, макеты дизеля, паровоза, трамвая, веер цветастых тканей, гигантскую книгу и не менее гигантский моток пряжи... Когда во главе краснопутиловской колонны прошел, чадая, первый советский трактор, сколько было радости! На сегодняшний взгляд маленький, слабосильный, даже смешной, в те дни он был общим любимцем, этот чадающий колесный тракторок «Фордзон-Путиловец»!.. А когда над потоком демонстрантов проплыл во много раз увеличенный советский червонец, люди отбивали ладони, аплодируя ему, твердому, деятельному добру молодцу, пришедшему на смену обесцененным миллионам и триллионам, чтобы навести порядок в нашем очень молодом государстве. Мы, молодежь, любили демонстрации, пели так, что садился голос, и поровили, торжественно пройдя мимо трибуны, застрять где-либо поближе к ней, чтобы все увидеть, ничего не пропустить. Осознавали мы это или нет, но личное «я» растворялось в праздничном и трудовом многолюдстве, возникало «мы», то счастливое

«мы», которое я впервые ощутила на мурманских субботниках, только теперь это «мы» стало громадным. И как же приятно было, что и ты так или иначе входишь в эту громадину — какая ни есть, девчонка, неумеца, а тоже входишь!..

Припоминаю — наравне с этими большими впечатлениями задал в душу один разговор с Андрей Андреевичем... Работала я тогда на шпагатной фабрике. Рядом с нашим отделом, где верещали прядильные автоматы и работающие на них девушки, помещался почти кустарный отдел полуавтоматов — прядильщик сучил пеньковую ленту вручную, станок только скручивал шпагат и наматывал его на катушку. Работали там одни мужчины, в основном пришедшие из деревни. Мы их боялись — от деревни отошли, в городе набрались озорства. Исключением был Андрей Андреевич — он работал на фабрике давно, старые работницы рассказывали, что раньше он умел только расписаться да подсчитать выработку, зато в ликбезе учился охотней всех, быстро пристрастился к чтению и в библиотеке уже много лет числился лучшим читателем. К нам, девчонкам, он относился добродушно-покровительственно, рукам и языку воли не давал и товарищей своих удерживал. Я любила поговорить с Андрей Андреевичем, если выдавались свободные минуты, всегда — в дверях, «на границе» между нашими отделами. Однажды пожаловалась: проклятая пенька, пыль забивается и в нос, и в рот, и даже под косынку. Андрей Андреевич согласился: «Верно, пыльца», но, поразмыслив, добавил:

— Хорошего в ней мало, конечно, так ведь на свете много таких работ, когда пыль, или жара, или сквозняк, есть и опасные работы, но кто-то же должен их делать? А без шпагата, между прочим, не обойтись. Не знаю, сколько ты успела поработать, а моим шпагатом можно весь земной шар опоясать.

— Ну уж...

— Грамотная? Сосчитай. И свою выработку прикинь.

С подсчетами у меня не вышло — делила, множила, складывала, пока не запуталась совсем... Да и что моп пустяковые километры шпагата в сравнении с длиной экватора! И зачем мне опоясывать земной шар? Все равно на пеньковой веревочке никуда его не потащишь. Все же с тех пор я время от времени прикидывала, сколько еще намотала шпагата, ближе ли к заданным сорочка

с гаком тысячам километров. Именно там, на пыльной шпатажной, пришло ко мне ощущение причастности к общему труду: пусть мы не выпускаем турбины, как ребята с Металлического, или текстильные машины, как ребята с завода Карла Маркса, или электрические лампочки, как светлановские девчата, — без нашего шпатага тоже не обойдешься!

Несколькими годами позже начались поездки по стране... Ах эти журналистские скитания налегке, когда ежедневно возникают новые приманки и новые проблемы, и чем больше удастся увидеть и узнать, тем тебе ясней, что видела мало и ничего толком не знаешь!.. На самых завлекательных маршрутах, как правило, не бывает экспрессов, гостиниц и асфальтовых шоссе. Мечта журналиста — попутный грузовичок, который и по проселку проедет, и по жердевке прогремит, и из непролазной грязи выкарабкается. Наголодаешься и намерзнешься, не раз промокнешь до нитки, стопчешь до дыр подметки, до боли натрудишь мускулы, толкая застрявшую машину, а ходишь довольная, усталости не даешь ходу, до всего тебе дело и повсюду ты — своя. В таких поездках срок командировки всегда короче чем нужно, денег в общелк, в домах для приезжающих нет ни одной свободной койки, а в столовую прибегаешь, когда в меню остались одни биточки — вездесущий вариант хлебобулочных изделий. Все это не беда, выручка неизменно находится: вчерашние незнакомцы уже друзья, и ночлег устроят, и обсушат, и накормят, и подвезут куда нужно, а уж порасскажут — только научись отделять байки от правды.

В таких вот скитаниях по далеким краям я и ощутила по-новому Ленинград. Попадешь к геологам, после начального знакомства обязательно услышишь вопрос: «Ну как там у нас?» — экспедиция-то, оказывается, ленинградская! Побываешь у корабелов — тут, само собой, ленинградцев полно, морской город! Залюбуешься на стройке мощными кранами — а они с нашего завода имени Кирова; заберешься на верхотуру к монтажникам — ленинградские, кочующие с одной стройки на другую, неуывающие парни... Знакомишься с проектом гидростанции — в Ленгидэпе разработан; рассматриваешь макет будущего города — ленинградские архитекторы... Даже в нанайских и гилацких стойбищах встречаешь земляков и землячек — врачуют и учительствуют, а местные организаторы чаще всего учились в Ленинграде

на факультете народов Севера... Это теперь, когда (не без ленинградской помощи) выросли во всех областях страны тысячи новых заводов и десятки вузов, творческая роль нашего города не так бросается в глаза, а в годы первых пятилеток куда ни приедешь — повсюду видишь воплощение знакомых слов: Ленинград — кузница новой техники, кузница кадров. Ну и гордишься и радуешься.

В 1941 черном году все оказалось под угрозой.

Город наш, как обостренно воспринимали мы тебя в дни нараставших бедствий, как глубоко осознали все, связанное с твоим великим именем! Ведь в первых же фашистских листовках, сыпавшихся вместе с бомбами с недоброго неба, наш город именовался Петербургом. Самую память о Ленине, об Октябре, о революционной и созидательной роли Ленинграда хотел Гитлер стереть с лица земли. О, он знал, на что замахнулся! Но и мы знали, что защищаем. И думали — легче умереть, но не сдать и не отдать. Я говорю — «мы», иначе и не сказать, в тех противоестественных для человека, невысказанных условиях только «мы» и существовало. Отдельные люди падали замертво — от бомб, от снарядов, от голода. Мы все вместе — боролись и выстояли. Так было... Но как сказать об этом невысказанными словами? Как передать правду тогдашних чувств в их неистовом накале, в их простой, солдатской самоотрешенности... и чтоб сегодня — даже самой! — не показалось выспренным, или сентиментальным, или плакатным?.. И если мои читатели — те, что не пережили девятисотдневную осаду, а может, еще и не жили на свете, — если они захотят поверить мне, ну, хотя бы из уважения, то смогут ли умом и сердцем понять, что мы бывали тогда и счастливыми? Среди тысячи бед, без хлеба, без тепла, без воды и света — счастливыми ощущением полной самоотдачи, предельного использования всех своих способностей и сил?! «Я могу!» А ведь до смерти не было и четырех шагов, достаточно было остановиться, опустить руки, сказать себе: больше не могу...

Однажды, сидя с Ольгой Берггольц у топящейся времянки, со вздохом разрывая книги и подкидывая в нестойкий огонь их глянцевиные листы, я сказала, стыдясь неуместного слова, что иногда вопреки всему чувствую себя счастливой.

— И ты тоже! — воскликнула Ольга и тихо засмеялась. — А ведь если кому-нибудь сказать, решат, что мы с голодухи сошли с ума.

Но она все-таки сказала об этом в стихах — «такими мы счастливыми бывали...», «о да, мы счастье страшное открыли...». Ее негромкий голос был голосом осажденных ленинградцев, и *мы* — стиснувшие зубы, чтоб выдержать испытание до конца, — *мы* узнавали себя в ее простых словах: «Ведь это мы, крещенные блокадой! Нас вместе называют — Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом».

Но в том далеком году, когда я приехала в этот город учиться, я и подозревать не могла, чем он станет в моей судьбе. Протопав через гулкие замусоренные вокзальные переходы и залы, я вышла на ту же самую площадь Восстания, куда выхожу и теперь, подкинула на плече чемодан и портплед, стянутые ремешком, и остановилась, чтобы осмотреться и отдышаться. Тогда еще не было ни раскинувшейся на квартал «Октябрьской» гостиницы напротив вокзала, ни круглого здания метро — площадь замыкали старые, довольно-таки обшарпанные дома. Вдоль тротуаров в ряд стояли извозчичьи пролетки, толстые извозчики, перепоясанные красными кушаками, назойливо зазывали седоков и переругивались между собой, у некоторых из них на головах было нечто вроде цилиндров. Посреди площади возвышался памятник царю Александру III — грузная фигура с короткой шеей и лицом тупого жандарма восседала на не менее грузном битюге (эта конная статуя работы Трубецкого обладала таким обличительным, сатирическим смыслом, что было удивительно, как его не уловили царские сановники; сделанная Демьяном Бедным после революции надпись на постаменте: «...торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья» — не меняла, а только подчеркивала заложенную в скульптуре идею). Огибая с двух сторон Пугало, со звоном и скрежетом проходили трамваи — с Невского на старо-Невский и обратно, некоторые были так переполнены, что люди висели на подножках, а позади вагонов катили мальчишки, пристроившись на «колбасе». Тяжело цокая копытами по камням мостовой, тянули нагруженные телеги и платформы здоровенные ломовые коняги, похожие на своего

чугунного собрата. По всем направлениям сновали торопливые прохожие, уворачиваясь от столкновения с приездами, с их корзинами и узлами. Тут же крутились беспризорники, поглядывая, где что плохо лежит и кто, на свою беду, зазевался...

Дождя не было, но воздух был сырой, я подставила ему разгоряченное лицо, и он мигом смыл с него вагонную одуры. Коротко взглянула налево — там уходила вдаль двухкилометровая перспектива Невского: хорош! — но это успеется, еще исхожу его из конца в конец. Пока что нужно добраться до общежития Карельского студенческого землячества, на угол Литейного и Кировской, для чего сесть в трамвай № 19. А он как раз и вывернул из-за углового дома и остановился по ту сторону Пугала. Ой, поспеть бы! Я припустила напрямик через площадь, чуть не попала под ломовика, проскочила перед носом трамвая — испуганный вагоновожатый оглушил меня трезвоном и бросил вслед крепкое словцо. Опмнившись под защитой Пугала, я увидела, что мой № 19 трогается, в два прыжка догнала его и сумела вскочить на подножку задней площадки. Вскочить-то вскочила, но, как оказалось, с недозволенной стороны, путь преграждала железная решетка. Я вцепилась в решетку, с ужасом чувствуя, что трамвай набирает скорость, скорость норовит столкнуть меня вместе с оттягивающим назад портиледом и эта сила сильнее моих немеющих рук, а внизу — колеса...

— Из деревни, что ли? Тетеря!

— Вот уж дура так дура, жить ей надоело!

— Понаехало провинциалов, трамвая не видали!

Под такие обидные рассуждения какне-то доброхоты ухватили меня за шиворот, пока один из них возился с затвором решетки, затем меня втянули на площадку и приставили к стенке вагона. Отходя от пережитого ужаса и стараясь унять мелкую дрожь в коленях, я виновато улыбалась и говорила спасибо, ничуть не обижаясь на брань, смешанную с правоучениями. Проехали совсем недолго, а меня уже подталкивали к выходу: «Проедешь, растяпа, вот твой Литейный, угол Кировской!» — затем меня обругали входящие в трамвай: «Куда прешь, дай людям войти, де-рез-ня!» — и наконец я на Литейном, у дома № 16...

Вхожу во двор, поднимаюсь по крутой лестнице на самый-самый верх, долго звоню у заветной двери, но

звонка не слышу — наверное, он испорчен, начинаю стучать — сперва робко, потом что есть силы, но и на стук никто не откликается. Отчаявшись, дергаю дверную ручку — дверь не заперта, за нею пустая передняя с венником в углу и длинный коридор..

Бочком протискиваю в дверной проем свою поклажу и решительно переступаю порог — прямо в неведомую студенческую жизнь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОРА СТУДЕНЧЕСКАЯ

Она была коротка, моя студенческая жизнь, гораздо короче, чем полагается. Перебираю свои «рассыпушки» о той поре, серьезные и забавные, — да, тут действительно все врассыпную, связанного повествования из них не сложишь. Да и нужно ли? Ведь и в моей душевной жизни это была пора некоторого разброда, метаний, невнятицы. Пусть же остается клочковатым и мой рассказ. Так же, как в первой книге; здесь все правда, никаких выдумок, только кое-что дописываю да изменяю некоторые имена, поскольку не знаю, где сейчас тот или иной человек, и если жив-здоров, не рассердится ли, что пишу о нем без разрешения, да еще о делах молодости, ведь может случиться, что он теперь солидный профессор, требующий от студентов посещения-успеваемости, а студенты прочитают и скажут: «А сами-то, профессор, вместо лекций с девушкой сирень воровали» — или никакой не профессор, просто уважаемый человек пенсионного возраста, склонный поучать внуков, а внуки прочитают и посмеются: «Дед, а дед, а ты-то, оказывается, был шалопаи из шалопаев, а на нас ворчишь...».

С такими поправками — вот они, мои «рассыпушки», студенческие.

Внешкольный институт

Студентка я была липовая — меня приняли на подготовительное отделение как «лицо, не имеющее среднего образования». Если говорить откровенно, у меня не было и низшего, четырехклассного, так вышло, что севастопольский экзамен экстерном за «старший подготовительный» оказался единственным школьным экзаменом в моей жизни.

В те годы начального советского строительства при высших учебных заведениях появились своеобразные, революцией рожденные факультеты — рабфаки. Факульт-

теты для подготовки в вуз рабочих, крестьян, красноармейцев. Такова была неотложная потребность страны — как можно скорей подготовить *своих*, преданных революции специалистов. И такова была насущная потребность победившего народа — открыть быстрейший доступ к высшему образованию своей молодежи, отвоевавшейся, нарабатывавшейся, наголодавшей, выросшей в лишениях, но жаждущей знаний и мечтающей применить их для созидания новой жизни. Этим молодым людям предстояло в три-четыре года изучить то, что школьники изучают десять лет, а потом еще четыре, а то и пять лет проучиться в институте... Трудно? Очень трудно. Далеко не все это напряжение выдерживали. Но иного решения не было.

Наше подготовительное отделение отличалось от рабфака тем, что программу средней школы надо было пройти и сдать за год, предполагалось, что сюда будут поступать практики культурно-просветительной работы — библиотекари, избачи, клубные активисты, организаторы самодеятельности, то есть люди, во всяком случае, грамотные, окончившие если не все девять, то хотя бы семь классов школы.

Внешкольный институт был, вероятно, самым молодым вузом страны, его задачи определялись довольно расплывчато — подготовка культпросветработников. Ни опыта, ни традиций, ни установившихся программ в институте не было и быть не могло. Шли поиски, нащупывались методы, и все, конечно, проверялось на студентах (учебные эксперименты не проведешь на мышах и кроликах!); удача или неудача — все отражалось на будущем специалисте. Плохо он подготовлен или хорошо, хвалят ли его или ругают — он подопытный кролик и на его опыте шлифуется программа и методика институтского обучения ради новых поколений студентов. Когда сегодня я прохожу мимо Института культуры имени Крупской, расположенного в здании, выходящем на Марсово поле и на набережную Невы возле Кировского моста, и вижу толпы студентов, входящих в него и выходящих, я мысленно кланяюсь почтенному институту, выросшему из нашего Внешкольного, где я недолго пробывала в качестве подопытной зверюшки.

Поначалу институт помещался на Надеждинской (ныне улица Маяковского), в доме, принадлежавшем до революции спортивному обществу «Сокол»; дом был для

института тесен, а спортивный зал на зиму закрывался — не протопить. Подготовительное отделение не было ничем отделено от основных курсов, аудитории менялись — приходя в институт, нужно было поглядеть на доску объявлений, где твоя группа сегодня зашмается. И никто не мешал пойти не в свою группу, а пробиться в самую большую аудиторию, где читает литературу для старших курсов профессор Конский: он владел даром слова, рассказывал много интересного, к тому же был красив — студенток набивалось столько, что сидели по двое на одном стуле.

Поступали мы с Палькой Соколовым одновременно, по путевкам комсомола. Палька поступил на рабфак (если не ошибаюсь, Технологического института), — я на подготовительное Внешкольного. Поступив, ненадолго возвращались домой в Петрозаводск вместе, почти всю ночь простояли на площадке вагона, целовались, решали пожениться в год окончания институтов и мечтали, мечтали... Как мне рисовалось ближайшее будущее? Вхожу в свой институт, в светлый Храм Науки, — и самые светлые, необычайно интересные и важные знания так и сыплются в мою шестнадцатилетнюю голову, а в другом институте так же насыщается знаниями Палькина умная, но упрямая голова; все остальное время мы — вместе, и весь Питер — наш, для нас, и мы не устаем познавать его улицы, его музеи, его театры... Все время — вместе? Ну, не совсем, я знала, что Палька будет жить не в общежитии, как я, а с мамой и сестренкой где-то на Разъезжей, возле Пяти углов. Но не так уж это далеко, говорил Палька, да и что значит расстояние, если двое людей хотят видеть друг друга?!

Все вышло по-иному. И прежде всего не было Храма Науки. На подготовительном нужно было зубрить те же школьные начала физики, математики, химии и биологии, даже, несмотря на нашу взрослость, по тем же школьным учебникам! Учитель математики Дерябкин задавал нам на дом из задачника Малинина и Буренина, памятного мне по детским годам, те же унылые задачи про бассейны с трубами, про поезда и пешеходов, вышедших в разное время навстречу друг другу, и даже про купца, отмерявшего покупателям сукно... Своих лабораторий во Внешкольном не было, поэтому иногда мы занимались в Герценовском педагогическом; мне очень нравились занятия по биологии — мы резали и рассмат-

ривали под микроскопом капли лягушки или наблюдали, как мельтешат бактерии в капле воды. Интересны были и физические опыты (те, что неизменно не получались у мамы, когда она бралась учить нас!), но опытов бывало немного, Герценовский тоже не мог постоянно нас пускать.

На мое счастье, я с детства обладала хорошей грамотностью, видимо естественно усвоенной в процессе чтения. Художественную литературу я знала в гораздо большем объеме, чем того требовала программа, и любила ее, хотя вряд ли сумела бы написать сочинение на тему «Женские образы Тургенева» или «Черты героя нашего времени по Лермонтову». Историю я знала бессистемно, по романам и отдельным, попавшим под руку научным книжкам, но программа подготовительного отделения давала исторические знания в таком ничтожном объеме, что восполнить пробелы не составляло никакого труда, так что по истории, так же как по литературе и «письменному русскому», занятия можно было пропускать. Впрочем, старательность новичка я утратила довольно быстро, усвоив, что пропускать можно и другие занятия, кроме лабораторных (потому что они интересны), — ведь за нами никто не следил, от нас, как и от студентов настоящих, никто не требовал посещения лекций. Студенты рассуждали так, как искони рассуждают все студенты: зачем гнущься весь год, подойдет сессия — вот тогда навалимся! Поскольку я жила в общежитии землячества, где соседствовали студенты самых разных вузов, примеры были у меня перед глазами: политехники и путейцы иногда по нескольку дней не ездили в свои институты и даже за высшую математику хватались под конец семестра, когда экзамен был уже на носу. Это я наблюдала, а вот качества их торопливо схваченных знаний проверить не могла, да и не задумывалась над подобными проблемами; все студенты были старше меня, а потому казались и умней, и образованней.

Храм Науки, снявший издали, оказался обыкновенной школой, к тому же плохо организованной. Состав «подготовпшек», как нас прозвали студенты, был весьма пестрый и разновозрастный, моих ровесников или ребят такого же комсомольского опыта не нашлось; подружилась я только с казачкой Любой, хотя и она была старше меня. А началась дружба вот с чего. Надо сказать, что институтские парни — и наши, и студенты основных курсов —

довольно настойчиво приставали к девушкам и нередко прибегали к «идейным» попрекам:

— Мещанство! Ждешь, пока маменька замуж просватает? А еще комсомолка!

Ничего подобного я не встречала ни в Мурманске, ни в Петрозаводске, меня это озадачивало и сердило. К Любе приставали особенно назойливо: красивая, статная, чернобровая, с ярким румянцем на смуглых щеках — настоящая казачка из песни! Люба не сердилась, когда к ней приставали, а лениво отмахивалась:

— Давай отваливай! У меня знаешь какой муж? Комиссаром был, чуть что — за пистолет хватается.

Однажды Люба спросила, нельзя ли ей переночевать у меня, «а то в общежитии удивляются, почему я никогда у мужа не почую».

— А что, в академии нельзя?

Ее муж, курсант военной академии, иногда заходил в наш институт и окидывал Любиных поклонников таким жгучим взглядом, что их будто ветром сдувало.

— Да никакой он не муж, — с улыбкой призналась Люба, — наш станичный парень. Зову, чтоб ребят попугать.

— А кто же твой муж?

— Да нема его, — рассмеялась Люба, — придумала, чтоб не лезли. А тебя как-то встречал такой быстроглазый, это кто?

Краснея, я сказала, что товарищ... друг... кончим институты — поженимся. Люба присвистнула.

— Когда кончите? Ну-ну... — И посоветовала: — А нашим скажи — муж. И очень ревнивый.

Я сказала. Помогло.

С Любой мы сидели рядом на занятиях, вместе убежали на лекции профессора Конского или прочь из института побродить по городу. Но Люба жила в институтском общежитии, в комнате с тремя такими же «подготовничками», одна из них была нашей старостой и требовала, чтобы «вся комната» исправно готовила уроки. Меня подтягивать было некому.

Скажу сразу — испытание самостоятельностью я не выдержала. К весне, когда подошли выпускные экзамены, у меня образовался, как говорят студенты, «сплошной завал», пришлось зубрить ночи напролет, и все равно не успеть было, так как выяснилось, что даже по литературе и истории без подготовки идти на экзамен нельзя —

кое-что нужно повторить, а историческую хронологию учить заново, она вылетела из головы начисто. На «русский письменный» я пошла спокойно и без ошибок написала довольно заковыристый диктант, но потом меня начали спрашивать правила, чего я не ожидала, правил я не знала совсем и с трудом избежала «неуда». Биологию я готовила охотно, хотя помогал мне готовиться очень симпатичный студент с университетского биофака, изрядно меня отвлекавший. Все же сдала на «отлично» и добрую память о генах и передаче наследственных признаков пронесла незамутненной через годы, когда генетику отрицали и изгоняли.

Впереди оставались наиболее страшные экзамены — физика, химия и математика. Их нужно было учить всерьез, решая множество задач, не сделанных в году. И в это же время в разных институтах начались весенние балы, меня приглашали... ну как пропустить такое удовольствие?! И в это же время в нашем общежитии открылась запись на билеты: предполагалось коллективно взять все дешевые места на пароход, идущий по маршруту Нева — Ладога — Свирь — Онежское озеро — Петрозаводск! Три дня на воде, да еще в компании друзей — как отказаться?!

Я принимала приглашения на балы и условно записалась на пароход, а пока зубрила химию. Было известно, что «подготовишкам» разрешается оставить на осень два экзамена, но не больше, тогда переведут на первый курс, выплатят стипендию за каникулы, а осенью за сентябрь, если в течение этого месяца сдашь хвосты. Великолепно! Я оставлю только один хвост — математику. Физку и химию надо успеть...

Как ни странно, я учила химию по толстому университетскому курсу Реформатского. Почему? Во-первых, мне не удалось ухватить в библиотеке тонкую школьную книжицу Григорьева, а во-вторых — из пижонства перед студентами-химиками. Они удивлялись:

— Однако требования у вас!

— А вы думали? Конечно!

До сих пор не понимаю, как я сумела за несколько дней уложить в голове все эти формулы и реакции, но когда я шла на экзамен, я — честное слово! — отлично знала весь том Реформатского (впрочем, такую нервную, психологическую и интеллектуальную загадку представляют многие тысячи студентов, сдающие огромный мате-

риал без запинки, а назавтра забывающие его так же, как забыла я, — во всяком случае, мой младший сын, химик, не без оснований считает меня абсолютной невеждой по части химии).

Экзамен мы сдавали всей группой, по очереди. Я вызвалась одной из первых и очень хотела понравиться экзаменатору, потому что наш преподаватель физики заболел и химик по совместительству принимал и физику. Не помню, сложны ли были вопросы или мне повезло на легкие, но отвечала я бойко, пространней, чем требовалось (ведь не по Григорьеву учила!). Химик кивал, довольный.

— Прекрасно, — сказал он, — вы вообще так хорошо учитесь или только по химии?

И тут вся группа, подыгрывая мне, зашумела:

— О-о, она вообще! Она у нас! Она всегда!

Записывая в мою зачетку жирное «отлично», химик пресмотрел остальные отметки:

— А почему не сдали физику?

— Физику я приду сдавать вам во вторник, — твердо сказала я, хотя до того рассчитывала сдавать не через три дня, а через неделю.

— Физикой вы занимаетесь так же успешно, как химией?

И снова подыграли мне товарищи:

— О-о! Она у нас! Физику особенно!

— Ну что ж, — сказал химик и не менее жирно записал «отлично» в соседней клеточке, — чтоб вам не трудиться ходить еще раз... Желаю вам хорошо отдохнуть на каникулах.

— И вам тоже! — вскакивая, воскликнула я и помчалась домой брать билет на пароход, потому что теперь-то я успевала наверняка. Никаких угрызений совести я не чувствовала.

На следующее утро в самом радужном настроении я пришла в институт оформлять документы и получать стипендию. И вдруг...

Свеженькое объявление на стене гласило, что закончившие подготовительное отделение переводятся на первый курс и получают стипендию за время каникул только в том случае, если сдали экзамены по всем *основным* предметам; для ясности основные предметы были перечислены, математика, конечно, в этот список входила, а вот химия нет...

Все мои попытки договориться с начальством ни к чему не привели. Меня похвалили за то, что я сдала все экзамены, кроме одного, и сообщили, что преподаватель математики Дерябкин приедет из отпуска через десять дней, чтобы принять экзамены от опоздавших, «как раз успеете подготовиться и будете отдыхать со спокойной душой».

А пароход, на котором уплывает почти все наше землячество через три дня? А то, что за десять дней в одиночку мне никак не осилить арифметику с ее бассейнами и поездами, алгебру и геометрию, которых я почти совсем не знаю?!

Не помню, как я сумела узнать дачный адрес Дерябкина, но я его узнала. Дерябкин жил в Лесном, за парком Лесного института. На что я надеялась? Сама точно не зная на что, я отправилась в Лесное. Было у меня всего пятнадцать копеек, так как я твердо рассчитывала получить сегодня стипендию и вчера мы с Лелей, моей подружкой, малость кутнули, купив на ужин полфунта колбасы. Чтобы проехать главную часть длинного пути на трамвае, нужно было идти пешком на Выборгскую сторону, к Финляндскому вокзалу, — оттуда начиналась семикопеечная «станция», кончавшаяся на 2-м Муринском, а там при удаче можно было не покупать билет на следующую «станцию», а проехать зайцем еще одну, две, а то и три остановки, пока кондукторша не заметит твоих уловок. Были кондукторши, которые жалели студентов и делали вид, что не замечают зайцев, но были и такие крокодилы, что заранее приглядывались, у кого куплены билеты до 2-го Муринского, и стоило трамваю тронуться в дальнейший путь, поднимали скандал, останавливали вагон и высаживали зайцев, да еще с криком вдогонку. Мне попалась такая крокодилшца, что я еле унесла ноги.

От 2-го Муринского долго шла пешком, в Лесном долго искала малоизвестную окраинную улочку, а на ней дачку, где жил Дерябкин. Полуденное июньское солнце, безветрие, зной...

— На рыбалку ушел, — сказала пожилая женщина, выглянув в окно дачки.

На моем истомленном лице выразилось, наверно, такое огорчение, что женщина подобрела:

— Из города пришли? Посидите в саду, он должен скоро вернуться.

Я села на ступеньку веранды, блаженно вытянула усталые ноги, оперлась спиной о столбики перил... и проснулась, когда надо мною раздался веселый голос:

— А это что за спящая нимфа?

Не могу сказать, чтобы я хорошо знала в лицо преподавателя математики, у которого должна была заниматься весь учебный год по три раза в неделю... но это был несомненно, он, только посвежевший, как бы разглаженный, в холстинковых штанах, в белой панамке набекрень и с ведерком, где плескалось несколько пескарей, а может, и не пескарей, а каких-то иных рыбешек. Рядом с ним стоял мальчишка лет двенадцати с удочками на плече — сын или внук?

Представилась я не очень вразумительно, так как сама неявно понимала, зачем пришла.

— Так-с. Вовремя не сдали, а ждать недосуг, — моему понял меня Дерябкин, — ну, посидите немного, я переоденусь.

Он был в благодушном настроении, до меня доносилась его болтовня о рыбалке, видимо с женой, из комнаты в кухню. Вероятно, он экзаменовал бы предельно снисходительно. Но я не могла соответствовать и наиболее снисходительным требованиям!

И вот страшная минута наступила. Дерябкин вышел на веранду уже без панамки, в пиджачке, но в тех же холстинковых штанах и сандалиях на босу ногу. Сел, позвал меня и сказал:

— Ну-с, что будем предпринимать?

Запинаясь, краснея, сама пугаясь того, что говорю, я призналась, что ничего не знаю, что новое объявление застигло меня врасплох, что у меня на руках билет, а денег восемь копеек, что я буду заниматься математикой все лето, и если он мне поверит и поставит зачет, я даю честное слово, что осенью...

— А не обманете? — не удивившись моей просьбе, спросил он и начал разглядывать мою зачетку.

Я поплылась, что не обману. Осенью, сразу после начала занятий, сама разыщу его и сдам экзамен.

— Ну смотрите! Записываю вашу фамилию.

Я была искренно убеждена, что буду все лето заниматься математикой и осенью честно сдам ее. Если бы кто-то заподозрил меня в том, что я злоупотребляю доверчивостью милого Дерябкина, я бы возмутилась. И в то же время какой-то второй, паршивый человечек внутри

меня с недоброй наблюдательностью проследил, что фамилия записана на обложке школьной тетради, валявшейся на столе веранды... что тетрадка снова легла на стол... а в зачетке появилась спокойная оценка «хорошо» и подпись с росчерком...

Когда я легкими ногами бежала на 2-й Муринский, чтобы там сесть в трамвай, паршивый человечек молчал (он вообще замолчал надолго). Я строила планы: уеду к Илье и Тамаре, они из идейных соображений учительствуют в глухой деревне, там, вдали от соблазнов, буду ежедневно заниматься и в сентябре поражу Дерябкина превосходными знаниями. Да и на самом деле математика нужна, знать математику необходимо, для самой себя учить буду — так я себе внушала.

Когда я приехала спустя две недели в село Тивдию к молодым супругам, я застала их в такой ссоре, что три дня выясняла их отношения. Илька оказался сумасшедше ревнивым человеком и сходил с ума каждый раз, когда Тамара с кем-либо из тивдийских мужчин беседовала, хотя бы и по школьным делам. Ильку я кое-как усовестила, мы отпраздновали примирение, а на следующее утро я попробовала заговорить о том, что мне нужно заниматься, нельзя ли попросить школьного учителя математики... Тамара сделала страшные глаза и толкнула меня коленом под столом, я смолкла на полуслове. На мою беду, из-за учителя математики ссора и разразилась! Просить его о чем бы то ни было? — нет, ради бога, бормотала сестра, Илька решит, что это предлог, и все начнется сначала!..

Вопрос о занятиях повис в воздухе, зато выяснилось, что в Тивдии нет комсомольской организации, я не могла с этим примириться, обегала всю молодежь — и организацию мы создали, а потом затеяли вечер с инсценировкой и концертом, потом еще что-то... И тут совсем неожиданно приехал Палька Соколов...

Я и не заметила, как подошел срок возвращения в институт.

Не буду скрывать — я подло бегала от Дерябкина, если видела его в институтском коридоре или на лестнице. И где-то в глубине души радовалась, что он наверняка забыл меня и, уж во всяком случае, забыл мою фамилию, а та тетрадка давно потеряна...

Спустя года четыре я твердо решила восполнить недопустимый пробел в моем образовании. Друзья нашли сту-

дента-математика, который согласился со мною заниматься. Думая, что я готовлюсь поступать в институт, он учил меня умело и требовательно. Но когда я призналась, что никуда не поступаю, а просто *хочу знать*, он восхитился и оставшуюся часть урока посвятил восхвалениям, что доставило мне удовольствие. Во время следующего урока он снова восхищался больше, чем учил, что стало однообразным, а затем стал восхищаться так много и часто, что пришлось прекратить занятия. На второй заход моей решимости уже не хватило.

Больше полувека прошло — и какого! — а мне до сих пор мучительно стыдно, стоит вспомнить милого Дерябкина в панамке набекрень, школьную тетрадку с моей фамилией на обложке и мои искренние обещания...

Литейный, 16

Нет местожительства более затягивающего, чем студенческое общежитие, тут создается обособленный круг интересов и отношений со своим кодексом чести, своими бытовыми устоями и требованиями и, конечно, складывается стиль учебный, иногда трудолюбивый, и тогда он подтягивает даже лентяев, иногда «не очень», и тогда с неустойчивыми душами происходит то, что произошло на первом году со мною, хотя были и совсем иные предпосылки.

Меня подсадили к студентке-медичке старшего курса. В темном платье, с гладко зачесанными и стянутыми в узел темными волосами, неулыбчивая, с негромким голосом, она меня немного испугала — тургеневская девушка? монашка?.. Будущий врач — это ей подходило (она и в самом деле всю жизнь врачевала детей, когда я о ней слышала спустя много лет, она руководила детской больницей). С юности очень серьезная, Люда приняла мое вселение с нескрываемой досадой.

— Ты же обещал! — упрекнула она старосту, который меня привел.

— Обещал, а что делать? В мужских комнатах еще есть места, а в девичьих ни одного. Куда ж мне девать ее?

— Может, переселить ко мне кого-либо из старшекурсниц? — сказала Люда, оглядев меня. — Сам видишь...

— Так ведь все утряслись уже!

Тогда Люда впервые обратилась ко мне:

— Ну, будем знакомиться. Вы не обижайтесь. Я кончаю институт, очень много занимаюсь, хотела дожить тут одна. Как вас зовут? Вера? Что ж, Верочка, постараемся не мешать друг другу.

Люда оказалась очень славным человеком, но дружбы между нами, конечно, быть не могло — уж очень мы отличались и по возрасту, и по развитию. Люда так усидчиво изучала свои толстые мудреные книги, распухшие от закладок, что я старалась поменьше торчать в комнате, боялась дотронуться до книг и только в отсутствие Люды позволяла себе осторожно полистать анатомический атлас.

Наша комнатка выходила единственным низким окошком на крышу дворового флигеля. Потолок у нас был скошен, в дымоход выведена труба от железной печки-буржуйки, которую и отапливалась комната, — кафельная печь поглощала слишком много дров. По утрам Люда вставала рано, растапливала печурку, ставила чайник и еще успевала позаниматься до торопливого завтрака и ухода в институт. Я же потягивалась в постели и вставала уже после ее ухода, так как до Внешкольного добегала минут за пять. Зато вечером к приходу Люды печку протапливала я, я же готовила чай, и мы чаевничали вместе, понемногу узнавая друг друга в неспешных вечерних беседах. Раз в неделю устраивали «баню» — нагревали в кухне воду и затем у себя в комнате над тазом мылись с головы до ног, натирая друг друга мочалкой.

Обычно же я видела Люду в одной и той же позиции — спиной ко мне, лицом к окну за нашим единственным столом; рука подпирает щеку, на столе раскрытая книга и вокруг книги, книги, книги, все медицинские. От пользования столом я отказалась сразу, мои немудрящие учебники помещались на тумбочке у кровати, но я предпочитала не заниматься у себя, а шла в одну из девичьих комнат, а то и к мальчикам и почти всегда находила там дело более интересное, чем собственное ученье. Так уж создана студенческая душа — привлекательно не то, что нужно сделать самому, а то, что нужно другому.

Студенты технических вузов постоянно стонали: «Заваливаюсь с чертежами!», «С черчением труба!» А мне чертить нравилось. У политехников и технологов чертежи были непонятные и сложные — какие-то детали машин, сечения, разрезы... Но зачем мне понимать их? Автор чертежа все рассчитает и разметит в карандаше, а я веду

по карандашу тушью, потом подчищаю резинкой и бритвой. Мальчишки хвалили меня за аккуратность, хотя главным, конечно, было то, что при добровольной помощнице чертить не так скучно. Сколько я их вычертила тушью, этих чертежей! Но особенно я любила помогать лесникам. План местности — почти поэма! Нежнейшей голубой акварелью заливаешь ленту реки со всеми ее поворотами, расширениями и сужениями, желтой краской обозначаешь пески, густо-зеленой — леса и совсем темной кончиком почти сухой кисточки наносишь по всей площади леса елочки — такие, как рисуют дети. Для лугов шел зеленый посветлей, для болот к зеленой краске добавлялась синяя, в смеси получалась размытая голубовато-зеленая плоскость и по ней синие штришки. Делаешь, а сама чуть ли не видишь эту местность с рекой, песчаными излучинами, заречным лесом и болотцем в низинке, чуть ли не слышишь, как там птицы щебечут!.. Привлекали меня и сами лесники — Шурка и Лис.

Длиннорукий и длинноногий Лис был человеком добрейшим и обстоятельным, именно он поддерживал чистоту в их комнате, кое-как сводил концы с концами в общем хозяйстве и умудрялся быть гостеприимным — угостит чаем, да еще и вытащит из какого-то тайника леденец или кусочек сахара. Он же заботился об учебе — своей и Шуркиной. На Лиса достаточно было поглядеть, чтобы раз и навсегда понять — симпатичнейший парень, положительная личность, чего никак нельзя было сказать про его товарища, явного шалопаю и бездельника, главного сердцееда нашего землячества. Хотя Шурка не был красавцем, но он как-то умел подать себя — игрой глаз, улыбочками, многозначительными полубъяснениями, отработанной повадкой. Студенческая зеленая тужурка красила его и придавала изящество его невысокой и несколько тщедушной фигурке. Учился он без охоты, «сидеть в лесу» после окончания института не собирался, но диплом специалиста получить хотел, — как говорили, прочные семейные связи заранее обеспечивали ему хорошее место в лесном ведомстве... Карьера? Мы презирали это понятие, но в данном случае оно всплывало в памяти, так как о работе Шурка явно не мечтал, а из наук интересовался лишь одной — «наукой страсти нежной». Да и то чтобы весело, без душевных потрясений.

Что меня прельстило в этом новом для меня и не вызывающем уважения шалопае — сама новизна типа? Или

прорвалось сквозь слишком раннюю серьезность собственное легкомыслие? Или душа требовала передышки, отвлечения от того смутного, что у меня происходило с Палькой Соколовым? Как бы там ни было, я была довольна, что Шурка сразу начал за мною ухаживать, как за герцогиней (о жизни герцогинь и рыцарей мы имели довольно четкое представление по романам Дюма), писал и подбрасывал под мою дверь витиеватые записки вроде такой: «Покорный Вашему, но не своему желанию, поехал в институт учить геодезию» — и подписывался «Ваш друг, раб, рыцарь и защитник», что мне по молодости лет нравилось. Зато у Люды случайно прочитанная записка подобного рода вызвала брезгливую гримасу и сдержанное замечание в мой адрес: «Я бы такому «рыцарю» поворот от ворот!» Смешно вспоминать — мне стало обидно, я заподозрила, что чересчур серьезная Люда мне завидует!.. Впрочем, когда в середине зимы Люда от нас уехала и со мною поселилась добрая, смешливая Леля Цехановская, Шуркины шансы понизились круто, потому что золотая моя подружка прямо-таки возненавидела «этого вергопраха, шаромыжника, провинциального донжуана, прощелыгу несчастного!», и если раньше Шурка решался посвистывать за дверью, подавая мне сигналы, то при Леле он избегал даже проходить по нашему концу коридора. Видно, сам понял, что хорош. Раньше, чем поняла я.

Наше общежитие, занимавшее две мансардные квартиры комнат на десять — двенадцать на Литейном и еще несколько квартир на Кировной, отличалось от обычных студенческих общежитий тем, что тут жили карельские студенты разных вузов, причем в некоторых комнатах жились однокурсники, в других — друзья детства, в третьих — уроженцы одной местности, скажем олончане, лодейнопольцы, петрозаводчане... Конечно, они были очень разными и по возрасту, и по социальному признаку, и по культурному развитию и, конечно же, очень разными по своим профессиональным устремлениям и интересам, но именно поэтому жители нашего общежития были как бы срезом, частичкой всего студенчества того времени. А оно, это студенчество первых послереволюционных лет, было весьма пестрым.

Среди старшекурсников попадались достаточно взрослые люди, которые начали учиться еще до революции, пересидели дома трудное время, а теперь приехали доучи-

ваться; были комсомольцы и коммунисты (из таких я запомнила Александра Иванова и его однофамильца Мишу Иванова), которые в свое время кончили гимназию, потом с головой ушли в революционную работу, успели повоевать, стать в Карелии заметными общественными деятелями — и вот потянулись за знаниями; другие бывшие гимназисты, дети обеспеченных, иногда и буржуазных родителей, были сугубо беспартийными людьми; некоторые из них надеялись на то, что с нэпом начинается постепенная реставрация, недоброжелательно сторонились комсомольцев и, строго говоря, только формально могли называться беспартийными. На младших курсах можно было встретить юношей и девушек из рабочих и бедняцких деревенских семей, которым только революция открыла путь к образованию, их было еще немного, но все же они были — счастливые, жаждущие знаний...

Наблюдались различия и между институтами. Так, «аристократами» считались путейцы и горняки, затем шли политехники и технологи. Конечно, и там революция многое перешерстила, но комсомольцы в этих институтах были в меньшинстве и порой чувствовали себя неудобно.

В нашем Внешкольном институте, поскольку он был создан после революции, социальное и политическое размежевание было куда меньше, чем в старых вузах, но и у нас оно существовало, проявляясь по второстепенному, но заметному признаку: одни студенты обращались друг к другу (конечно, если были мало знакомы) со словом «товарищ», другие демонстративно откликались только на обращение «коллега». Студенческую форму — фуражки и тужурки — носили многие, но чаще, конечно, те, кто предпочитал обращение «коллега», причем некоторые из них даже в то время шиковали белой шелковой подкладкой; их и до революции называли белоподкладочниками, а в годы, о которых пишу я, слово «белоподкладочник» относили ко всем политическим чужакам.

В нашем обществе люди разных взглядов и разного социального, политического облика уживались довольно мирно, поскольку злостных чужаков я у нас не помню, но дискуссии о материализме и идеализме, о буржуазной или пролетарской демократии, о роли интеллигенции в обществе шли часто, и порою весьма бурно. Кстати, это было полезно для нас, комсомольцев, — в поисках доводов мы не ленились читать Ленина, Энгельса, Плеханова, в

поисках примеров ворошили книги по истории. А где же лучше оттачиваются убеждения, как не в полемике!

Для такой мелюзги, как я, общение со студентами разных институтов и разных возрастов было само по себе полезным даже без дискуссий: расширяло кругозор, намечало «выходы» в разные слои общества, в незнакомые миры неведомых профессий — врача, горняка, путейца, лесника, механика... Только расспрашивай, только слушай!.. Но и существенный недостаток земляческой жизни тоже был (как я понимаю теперь): общежитие быстро стало центром моих интересов, дружб, увлечений, да и попросту всего нелегкого быта, поэтому связь со своим институтом была слабее, чем у тех, кто живет в институтском общежитии или в семье; взаимоконтроля в землячестве не было совсем, хочешь — ходи на лекции, не хочешь — хоть неделю там не показывайся, никто не упрекнет, потому что никто и не знает, где ты бегаешь.

А где я бегала?

Бегать я не бегала, а ходила много, не жалея ног и не очень щадя подметок, хотя и вздыхала над ними. Каждый день выбирала новый маршрут, всегда длинный, часа на три. Иной раз ходила с казачкой Любой, иногда с Лелей Цехановской или с кем-либо из мальчишек, но чаще одна, так как в одиночестве больше видишь, лучше замечаешь, сосредоточенней думаешь. Выйдешь из дому к Неве и по набережной идешь, идешь до самого ее устья, наглядись на все, чем тебя одаривает левый берег, перейдешь по последнему мосту на другой и правобережными набережными — назад, через Васильевский остров и Петроградскую сторону вплоть до Выборгской, откуда уже еле-еле дотягиваешь ноги до родного Литейного. В другой раз доберешься до Васильевского острова и давай утюжить его ногами — от Биржи и до самого взморья, по проспектам, по «линиям», удивляющим новичка тем, что на каждой улице две «линии», четная и нечетная, как бы две улицы на одной (впервые попав туда, я и понять не могла, как это так: смотрю на табличку — 6-я линия, прошла до соседней улицы, уверенная, что там будет 7-я, а там уже 8-я). Так же я изучила — не торопясь, в несколько походов — Петроградскую сторону, потом сделала вылазку по Фонтанке из конца в конец, потом по другим каналам — Екатерининскому (ныне Грибоедова) и Мойке. Если были деньги, трамваем доезжала до кольца, обычно расположенного на са-

мой окраине, поброжу там, разберусь, куда попала, и пешком обратно, по пути позволяя себе свернуть в сторону, если померещится что-либо привлекательное. За два студенческих года я узнала город лучше, чем за всю последующую жизнь, когда для таких долгих прогулок уже не хватало времени.

Случались у меня (нет, в данном случае надо сказать — у нас) и другие прогулки. Честно говоря, воровские. За дровами. Дров тогда не хватало, на общежитие по ордерам давали совсем немного, а на рынке можно было купить и вязанку, и воз великолепных, березовых или сосновых, пиленых и колотых, сухих до звона, но за такую цену, что студенты и подступиться не могли.

Для обычных прогулок мы сворачивали от Литейного моста налево — там открывались самые красивые петербургские места, самый широкий разлив Невы. Для воровских дел нужно было свернуть направо — вдоль всей набережной Робеспьера штабелями лежали дрова, завезенные на баржах летом и осенью. К нашему благу, дрова были метровые, а охранял их старик сторож с ружьем на веревке. Так как схватить в темноте осину никому не хотелось, мы еще днем производили разведку — прогулочным шагом идешь мимо длинных штабелей и высматриваешь, где береза, а где дрова похуже; математики и другие представители точных наук даже высчитывали шагами расстояние от угла Литейного до березовых поленьев, я и подобные мне гуманитарии прикидывали на глаз и тоже не ошибались, тем более что березовую кору и на ощупь отличишь от любой другой. Вечером, когда набережная погружалась во мрак, мы начинали спектакль: идем парочками, тесно прижимаясь друг к другу, проходя мимо сторожа, воркуем, как влюбленные, иногда останавливаемся у штабеля и даем сторожу понять, что мы целуемся и пялить на нас глаза незачем. Сторож и не пялил, к тому же он был в тяжелом дворничьем тулупе, с опущенными и завязанными под подбородком ушами меховой шапки, чаще всего он и не слышал, что мы тут ходим. Техника умыкания была такая: тихонько снимаем метровое полено потолще и посуше (по весу сразу чувствуется, сухое ли), затем твой спутник прижимает его к себе, если удастся — под пальто, ты прижимаешься к полену и к спутнику, сплетенными руками вы оба стараетесь придерживать тяжелое полено, не давая ему выскольз-

путь... Нужно было дойти до Литейного и завернуть за угол, а там уж можно было вскинуть свое приобретение на плечо и шагать до дому не таясь. В иной вечер мы совершали по три-четыре таких вылазки.

В малопочтенном дровяном предприятии участвовали старшекурсники наравне с подготовишками, партийные и беспартийные, выходцы из социально чуждых классов наравне с ребятами самого что ни на есть пролетарского происхождения. Понятие о социалистической собственности еще не привилось, покупать дрова на рынке могли только эпманы, а штабеля на набережной от наших набегов как будто и не уменьшались.

Мы же получали от этих набегов-спектаклей чисто детское удовольствие. Да и не так уж далеко ушли мы от детского возраста. Осенью и весной, стоило пойти дождю, по коридору общежития кто-нибудь пробегал, стучал в двери комнат и выкрикивал:

— Ребята, давай плешей!

«Плеши» — это профессора и преподаватели с лысыми. В каждом институте находилось несколько «плешей», их заносили в список, нужно было записать сорок фамилий, тогда листок с фамилиями бросали в окно — считалось, что сорок «плешей» прекратят дождь и снова засияет, подобно лысине, солнышко. Не знаю уж почему, но даже по ряду институтов нам удавалось баскрести тридцать восемь или тридцать девять «плешей», а вот сороковую никак не находили, бежали куда-то еще, скажем во вторую мансардную квартиру, через лестницу, там тоже было общежитие, или коллективно ждали, когда вернется из Политехнического аккуратный Алексей, не пропускающий лекций, или университетский химик Ленечка с лабораторных занятий, и, завидев одного из них, хором кричали:

— Скорее давай плешь!

«Плеши» требовались без обмана, не с проплешиной, а с настоящей лысиной, иначе, говорили, не подействует.

Жили мы, конечно, впроголодь и не огорчались — считалось, что все студенты живут впроголодь, на то они и студенты. В пайке нам выдавали пшено, подмороженный картофель и мясо, которое часто бывало «с душком», так что Лелька его долго отмывала и вымачивала в растворе марганцовки. Затем мы варили похлебки — по очереди пшенно-картофельную или картофельно-пшенную, разни-

ца была в дозировке. А ели пополам с болтовней и смехом, тогда «лучше проходит».

Недалеко от нас на Литейном процветали нэпманские рестораны, туда ходила нарядная публика, из дверей сочился на улицу упоительный запах жареного мяса, или лука, или рыбы. Мы с Лелей относились к этим запахам стойчески: это все для нэпманов, ну их к черту, мы же нэпманами быть не хотим, проси не проси — не согласимся, значит, и принимаемся к их жратве незачем. Но вот кондитерская в нашем доме... Ее витрина сверкала прямо перед глазами — выходим ли мы из-под дворовой арки, идем ли домой, никак не миновать эту витрину с румяными булочками, с присыпанными орехом кренделями, с пирожными, облитыми шоколадом или смазанными кремом... Зажмуришься, а глаза и в щелочку видят такое великолепие.

Хуже всего, что нам приходилось бывать и в самой кондитерской, мы покупали там *ситный* — на редкость вкусный хлеб, который теперь почему-то почти не встречается. Уже с порога нас обволакивал душистый запах сдобы, пряностей, хорошего кофе. После получения стипендий мы с Лелькой позволяли себе не зажмуриваясь рассмотреть все прелести, выставленные напоказ — захотим, так купим! — но покупали только два фунта сахара — не рафинада, он был слишком дорог, и не песка, он невыгоден, нужно пить «внакладку», — нет, мы покупали цветочный сахар, он стоил гораздо дешевле, хотя некоторые его куски настораживали своим неестественно ярким, ядовитым цветом, особенно зеленые и розовые. Я бы предпочла булку с маком, но Лелька была сладкоежкой и о цветочном сахаре начинали мечтать дня за три до стипендии.

Насколько я помню, гастрономические мечты обуревали студентов главным образом перед стипендией, в другое время их пресекали как беспочвенные. Самый тихий из наших студентов, Ленечка, однажды размечтался не в меру:

— Если б можно было потратить всю стипендию сразу, а потом не помереть с голоду, я бы съел сразу двадцать пирожных!

Тут же разгорелся спор — можно ли съесть в один присест двадцать пирожных. Ленечка набивался в подопытные:

— Ну, со стипендии попробуйте! В складчину! Держу пари — съем. Двадцать пирожных!

Ленечка был, что называется, милягой, его любили, хотя и посмеивались над ним, да и как не смеяться, если Ленечка все делал нелепо, с наивным простодушием. Влюбившись в одну из наших девушек, он довел ее до иступления, подкарауливая в коридоре, так что бедняжка и в уборную не могла пройти без сопровождения. Коллективным воздействием Ленечку заставили отказаться от такого способа ухаживания, и тогда Ленечка вдруг заявил, что не будет ни мыться, ни бриться, пока она не полюбит его. Мыться его все же принудили товарищи по комнате, пригрозив, что иначе выселят вон. Но брить насильно не стали, и Ленечка начал быстро и бессистемно обрастать рыжеватым волосом — оно висело у щек и на затылке длинными, свалывшимися и зажиревшими космами, как у нынешних хиппи, а вокруг рта и на подбородке пробивалось пучками, как у тотентотов. Виновница этого превращения пугливо вздрагивала, увидав Ленечку, и придумывала всякие уловки, чтоб избежать встреч лицом к лицу.

Этот самый Ленечка и взялся съесть на пари двадцать пирожных.

В день, когда по институтам выдавали стипендию, наше общежитие возбужденно и не без некоторой зависти сколачивало нужный капитал. Двадцать вкладчиков толпой ввалились в кондитерскую, заказали двадцать пирожных и даже из человеколюбия разрешили Ленечке выбрать, какие он хочет. Хозяин кондитерской, покачивая головой, усадил Ленечку за столик, поставил перед ним блюдо пирожных и стакан воды, а мы встали полукругом и жадно смотрели, как пирожные, при одном виде которых у нас начиналось слюнотечение, быстро исчезают во рту товарища. Третье, пятое, шестое... Подумаешь, почему не съесть такую прелесть?! Седьмое... Теперь Ленечка ел медленно, все чаще запивая водой, на лбу у него выступила испарина, мы слышали его затрудненное дыхание... Не помню уж, сколько он их вдавил в себя, этих пирожных, на блюде оставалось меньше половины, когда Ленечке стало плохо и он, закричав жалобным заячьим криком, повалился со стула на пол...

В больнице Ленечку еле-еле спасли. Говорили, что у него произошел заворот кишок или что-то вроде. И еще говорили, что перед тем Ленечка два дня ничего не ел.

— Дубина стоеросовая, — ругнулась Лелька. — Да и мы идиоты! На эти деньги съел бы каждый по пирожному — какой бы был счастливый день!

На остатки наших денег она купила фунт цветочного сахара — на два фунта уже не хватило.

Обсудив происшествие и насладившись чаем вприкуску, мы легли спать, и я, как всегда, заснула безмятежным сном. Разбудил меня отчаянный плач. Было рано, только-только рассветало. Лелька в ночной рубашке стояла у окна и плакала в голос. От сахара, который был положен на подоконник, остался изгрызенный пустой кулек да кое-где на полу цветные крошки. Обследовав пол и плинтусы, мы нашли еще кусок сахара — зеленый, обкусанный и наполовину втянутый в мышинный лаз.

С этого злополучного утра Леля объявила войну мышам. Война с мышами быстро переросла в школярское развлечение... Но началось все гуманно. Покупная мышеловка была отвергнута Лелькой: соскакивающая с крюка железка прямо-таки перерубала мышиную шею.

— Фу, какая мерзость, — сказала Лелька, — не мышеловка, а гильотина.

Миша Иванов, готовый сделать для Лельки все что угодно, к тому же инженер-механик четвертого курса, сконструировал «гуманную» мышеловку и привлек приятелей, так что организовалось массовое производство. Через день-два Мишины мышеловки стояли во всех комнатах и во всех углах. Покупные стояли тоже (раз уж потратили деньги, не выбрасывать же их), но мыши оказались умными, обходили гильотины и попадались исключительно в «гуманные» ловушки, где и метались живые-невредимые.

Итак, мыши попадались одна за другой... но что с ними делать, куда девать? Убивать их жалко, топить — не менее жестоко, выпускать — нелепо. Кто нашел оригинальный выход, не помню, но предложение всем пришлось по душе. Было это, очевидно, ранней весной, поскольку в солнечную погоду студенты уже начали выползать на крышу, а нэпманские дамы еще щеголяли в модных тогда каракулевых полупальто, называвшихся саками. Так вот, держа в руках мышеловку с перепуганной мышью, мы лежали, свесив головы, возле водосточной трубы и ждали, когда какая-нибудь нэпманская красотка в каракулевом саке и высокых, до колена, зашнурованных ботинках появится на улице, семена на гнутых

каблучках. Все у нас было рассчитано до секунды: открывалась дверца, мышь попадала в трубу и вылетала прямо под ноги красотке. Истошный визг несчастной иной раз доносился и до нашей верхотуры.

Мы готовы были распахать по мышеловкам все свои скудные запасы сахара или пайкового шпика, лишь бы длилась веселая двойная охота...

Но самыми ребячливо-озорными и — вперемешку — самыми взрослыми, отзывчивыми на чужую печаль мы бывали в те вечера, когда собирались у чьей-либо печурки петь песни.

Что это за чудо такое — песня! Только что все были разобщены, заняты своими делами и переживаниями, кто-то устал и собирался завалиться спать, кому-то к завтраму закончить чертеж, у кого-то плохие вести из дому... Но вот сумеречным вечерком собрались два-три человека с гитарой или без гитары, неважно (у нас в общежитии гитары не было), приоткрыли дверцу печурки, чтобы дать немного свету, и кто-то один, как бы пробуя голос, заводит:

Когда я на почте служил ямщиком...

Также вполголоса и будто нехотя второй подтягивает:

Любил всей душой я девчонку...

Никто не служил на почте и, наверно, никто не Видал ямщиков, но песня берет за сердце и тех, кто ее начал, и тех, кто тихо один за другим втягивается в комнату и, стараясь не мешать, пристраивается на краешке стула, на койке, на полу... Теперь уже много голосов, страдая и сочувствуя, ведут рассказ о большой любви:

Куда ни поеду, куда ни пойду,
Все к милой сверну на мину-у-ут-ку...

Лица у поющих размягченные, блики живого огня высвечивают блестящие глаза и полоски влажных зубов, и плавные движения чьих-то чутких рук, помогающих песне... Песня всех соединила — и, честное слово, все стали красивыми.

Доходит очередь до «Лучинушки». Ее щемяще-нежная и горестная мелодия погружает нас в такие глубины чувств, куда мы еще и не заглядывали, несколько минут назад мы и не поняли бы, что можно так чувствовать, и несколько минут спустя опять не поймем, но в песне воспринимаем и проживаем все:

Догорай, гори, моя лучи-на,
Догорю с то-бо-ой и я...

Как происходит переход от этой обреченности горя к безудержной веселости студенческой песни про неразумного Веверлея, не умевшего плавать? Только отзвучала «Лучинушка», еще и не заговорить, не улыбнуться, но кто-то занялся печуркой, поворошил угли, подкинул чурбачков, а еще кто-то тенорком доверительно сообщил:

Пошел купаться Веверлей...

Низкие мужские голоса тотчас подтвердили — Веверлей.

Оставив дома Доротею...

И снова низкие голоса подтвердили — Доротею.

А затем все голоса вместе, мужские и женские, повели рассказ, придавая ему драматическую, даже трагическую окраску:

На помощь пару, пару, пару пузырей-рей-рей
Берет он, плавать не умея!

Как тут хороша была Лелька с ее старательным звонким голоском и деревенской, от сердца идущей выразительностью пения, грустна ли песня или шутлива — все равно, выразительностью напитан каждый звук, каждое слово! И как оттеняли Лелькину звонкость мужские, басовито подтверждающие голоса:

Но злой судьбы коварный рок — коварный рок!

Хотел нырнуть вниз голово-ою,
Но голова —

ва! ва! —

тяжеле ног —

ног! ног!

Она осталась под водою!

Случалось, старые студенты заводили красивую студенческую песню «Гаудеамус игитур», на латыни, никто латыни не знал, даже «старики», что когда-то вызубрили текст. Но было известно, что песня призывает веселиться и радоваться жизни, пока молоды, — почему же не спеть такой приятный призыв! Впрочем, допеть никогда не удавалось — никто не помнил всех слов до конца.

Потом запевали другую студенческую песню — «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Слова в ней, в общем-

то, были грустные, почти безнадежные — «что час, то к могиле короче наш путь», «кто знает, что с нами случится впереди»... Но кто же в молодости ощущает близость могилы и думает, что случиться может плохое? И основная протяжная, даже заунывная мелодия перебивалась бойким речитативом: «Посуди, посуди, что там будет впереди!» — и песня вдребезги разлеталась на десяток озорных припевов, где были и «стаканчики граенные», и неведомый «веречун», и Сергей-поп, Сергей-дьякон, а с ними и дьячок, и многое другое...

Тут мы все превращались в ребят: целиком отдаваясь озорным словам и ритмам, мы выкрикивали припевки во весь голос, кто как сумеет громче и задорней, глаза сверкали, улыбки тоже сверкали, от уха до уха, ноги отбивали такт, руки вертелись в такт — весело было и забирало целиком, отгесняя любые огорчения и неясности жизни!..

Раз начавшись, веселье захватывало всех без удержу. Накричавшись вволю в припевках, заводили смешную, залихватскую «Там, где Крюков-канал и Фонтанка-река», в этой песне тоже было где разгуляться...

Так они и запомнились, эти вечера у печурки, как «самые-самые». Голоса у меня не было и слух не ахти, но в компании это забывалось, ценили не голос, а умение полностью отдаться песне.

Когда пели о любви (а все песни о любви, как назло, о несчастливой), я ощущала где-то рядом, недопущенными, грустные и недоуменные мысли о Пальке, потому что все у нас запуталось, я не могла не чувствовать все увеличивающееся расстояние между нами и не могла понять, почему так, когда мы оба этого не хотим... Но песня сменялась другою, веселой, и я забывала о Пальке и замечала Шуркин гипнотизирующий взгляд, насмешливо говорила себе: гипнотизирует! — но ничего не имела против: игра увлекала новизной, а было мне без малого семнадцать лет.

Палька Соколов

Однажды в Москве, поднимаясь по лестнице нашего литературского дома, я остановилась перед мраморной доской с именами писателей, погибших на фронтах Отечественной войны, и содрогнулась, увидев такое родное имя — Соколов Павел Илларионович. Страшно. От тепло-

го, живого, ни на кого не похожего — лишь строка позолоченных букв на холодном камне.

То, что он пробовал силы в карельской литературе и какое-то время был секретарем писательской организации в Петрозаводске, это как-то прошло мимо меня, а вот о гибели его мне сообщили: он был комиссаром одного из партизанских отрядов в Брянских лесах и погиб в последнем бою, перед встречей отряда с наступающими частями Советской Армии. Было Соколову тогда чуть больше сорока лет.

Если пройти по канве его короткой жизни, обозначится прямой и достойный путь человека, смолоду ставшего коммунистом: четырнадцатилетний комиссар в Олонецком уезде, потом комсомольский активист, солдат и политработник на войне с белофиннами, снова комсомольский активист, журналист и редактор, затем руководитель ТРАМа — Театра рабочей молодежи — сперва в Ленинграде, потом в Москве... Мобилизованный партией на работу в деревню — начальник политотдела МТС где-то в Сибири... Опять журналист, литератор... А с первого дня войны — фронт, бой в окружении, партизанский отряд, снова бой... и смерть в бою.

Такова главная линия. Четкая, прочная. Но по канве извилистыми, своевольными узорами разбросаны этапы трудной, порой мучительной душевной жизни очень самобытного человека — с вечными поисками, ошибками, странностями, сомнениями и откровениями. Одной из странностей этой жизни было то, что она все же не выхлестывала за пределы канвы, не отступала от крепко простеганной главной линии, — в конечном счете Павел умел подчинять страсти сознанию и выполнял свой долг, не балуя себя побрякками.

Из людей, встреченных мною в жизни и хорошо известных, Павел Соколов был, пожалуй, самым причудливым. Не знаю, обладал ли он литературным талантом, но человек он был бесспорно талантливый, только его талантливость и своеобычность сочетались с капризностью и неспособностью к длительному усилию, а недюжинную энергию иногда гасили приступы непонятного ему самому тоскливого безволия, когда ему хотелось все забросить, все «пустить под откос»... Было ли в этом некоторое позерство? Несомненно. Однако искренность его была тоже несомненна, он страдал от своей неуравновешенности, осуждал себя и в такие минуты говорил, что нужно

расстаться, потому что он принесет мне мученья, а не счастье.

— Ты умеешь радоваться жизни, а я нет, — так он сказал мне еще в первые годы нашего знакомства, — может, все дело в том, что я с детства изломанный человек.

Какие события искорежили его детство? Что за человек был Илларион Соколов, слонецкий крестьянин, лесосплащик и контрабандист, от которого однажды ночью убежала жена с двумя малыми ребятами? Впрочем, ночью — так представало в моем воображении: зима, метель, в темноту выскальзывает из дома женщина, до глаз укутанная теплым платком, под платком у груди — младенец, глазастый мальчуган — у подола... Возможно, это произошло днем и не зимой, а летом, но какая лютая беда погнала из родного дома, из родной деревни молодую женщину с детьми в неизвестность далекого Питера, в нищету и унижения? И какой лютейшей беды нахлебалась она в чужом, равнодушном городе?..

Когда я попыталась осторожно расспросить, Палька оборвал вопросы и так помрачнел, что я зареклась любопытствовать. Лишь однажды, в пору, когда мы с Палькой жили вместе и были как будто незамутненно счастливы, он по какому-то случайному поводу впал в неистовое возбуждение.

— А что ты знаешь о мерзости жизни?! — закричал он, бледнея. — Что ты видела?! Может, видела, как девочек продают богатым мерзавцам на потеху и какие они потом, эти девочки пятнадцати лет?! А когда совсем старый, истасканный, весь прогнивший от дурных болезней миллионер требует шесть девиц — не одну, а шесть! — чтоб растеребили, раздразили его похоть... видела такое?! Нет?! А я в замочную скважину смотрел, пока мама не оттащила, не отхлестала по щегам, не заперла на ключ... Вот мое детство — эти вонючие коридоры, эти...

Он разом смолк, выбежал из комнаты, вернулся уже притихшим, обнял меня.

— Я дурак! Забудь, детка, тебе и не нужно это знать, забудь!..

Когда мы приехали в Питер учиться, Палька поселился с матерью и сестренкой на Разъезжей улице, неподалеку от Пяти Углов. Мать работала на фабрике, если не ошибаюсь — имени Анисимова, сестренка училась в четвертом классе. Среди студентов считалось, что жизнь «дома» — благодать, как бы мало ни зарабатывали в

семье, какой-никакой обед всегда найдется, это не на стипендию жить в одиночку! В конце месяца мы все ходили голодные. У Пальки голода не было ни в начале месяца, ни в конце, но свою скудную стипендию он отдавал маме, сам же обычно ходил без гроша. А кругом лезла в глаза скороспелая роскошь нэпманских магазинов и ресторанов, впервые за годы нашей юности можно было и приодеться, и поесть вкусных вещей, и даже поехать к цыганам — *можно было бы...* Так ли уж хотелось этого? Палька чувствовал себя униженным и обделенным — не потому, что так уж хотел, а потому что *не мог*.

От недоедания или по другой причине у него начался фурункулез, большие лиловые фурункулы выскакивали то на шее, то на щеке, он их заклеивал пластырем и раздражался, если кто-либо пытался давать лечебные советы, — страдал он не столько от боли, сколько от уродства этих болячек.

Как он учился на рабфаке? Он не любил говорить об учебе, об экзаменах и зачетах, иногда мне казалось, что само положение рядового студента он воспринимает как унижение. Самолюбивый, он должен был переламывать себя, смирать гордыню... и не очень-то это получалось, и я тут была не помощью, а помехой, именно передо мною Пальке было противно чувствовать себя ничем не выделяющимся.

Когда ему случалось подзаработать, он преображался. Приходил аккуратненький, в белой рубашке, с галстуком, без стеснения стучал в нашу дверь, не робея перед Людой, а ко мне обращался на вы и называл Леди Солнышко.

— Собирайтесь, Леди Солнышко, приглашаю вас в очень вкусное местечко.

В лучшем кафе на Невском он долго выбирал наилучший столик и усаживал меня так, чтобы я могла глазеть на проспект и проходящую публику, заказывал пирожные и кофе со взбитыми сливками и с наслаждением смотрел, как я все это поглощаю. В такие минуты он бывал ласковым, внимательным, веселым.

Однажды вечером он властно оторвал меня от учебника и без объяснений увлек в сторону Невского.

— Ну скажи — куда и зачем?

— Ты мне не доверяешь?

Перешли Невский, вышли на угол Троицкой. Теперь эту улицу называют именем Рубинштейна, на углу —

стоянка такси. В то время там же была другая стоянка: под коворовыми попонами стояли великолепные рысаки, впряженные в узкие щегольские санки, на облучках сидели хозяева лихачей в толстенных шубах, перепоясанных широкими кушаками, в бобровых высоких шапках. Катанье на лихачах стоило дорого, никто из нас и не мечтал о таком удовольствии, но мы любили постоять в сторонке и полюбоваться красавцами конями, а иногда и поглазеть на расфуфыренных дам в модных каракулевых, беличьих или кротсовых шубах, которых подсаживали под локоток явные нэпманы — кто еще может себе позволить такое?

Именно сюда привел меня Палька:

— Выбирай коня, какой тебе нравится.

Все были хороши, но я выбрала красавца золотистой масти (быть может, вспомнив золотисто-рыжую Пульку моего детства?). И вдруг Палька подвел меня к санкам, шикарным движением откинул медвежью полость:

— Садитесь, Леди! — И каким-то гусарским тоном бросил вознице: — На острова!

Первый на стоянке лихач попытался вмешаться — дескать, его очередь, но Палька все тем же не своим, гусарским голосом возразил:

— *А моя дама* выбрала этого! — И совсем уж ухарски крикнул нашему вознице: — Па-а-шел!

По всем комсомольским представлениям, это был предел буржуазного перерождения, прямо-таки капитуляция перед нэповской стихией... но я была так поражена случившимся и так обрадована задорным, счастливым настроением Пальки, что и думать об этом забыла. Золотистый с места взял рысью и легко вынес сани на Невский, только полозья взвизгнули на повороте, на раскатанном снегу. В свете сменяющихся огней витрин, реклам и фонарей полого летели навстречу мохнатые снежинки, летели и таяли на щеках, на губах, залепляли ресницы. Палька крепко держал меня, то и дело как бы случайно прикасаясь щекой к моей щеке. Где мы? Я потеряла представление, кто мы, где и куда мчимся. Сладкое чувство греховности подчинило меня целиком — и оказалось таким блаженным! Сани влетели в непрочную темноту неосвещенных улиц и снова вылетели на свет, навстречу полого летящим мохнатым снежинкам, мелькали перед глазами и оставались позади ряды домов с разноцветно светящимися окнами, припорошенный снегом гранит нев-

ской набережной, изгиб какого-то моста, потом другого моста, снова чередование непрочного мрака и пляшущего света. И вот — аллея среди темных, только с одной стороны побеленных стволов, высокие отвалы снега по краям аллеи, — это я или уже не я? Куда мы мчимся — и когда?.. «Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня!» (ну да, были, промелькнули рядом колонны, и мост, и два огня), «и хруст песка, и храп коня» (да, хрустел песок и всхрапывал золотистый, все это было, было!), и мой собственный шепот, и смех от полноты радости, и поцелуй на лету, на ветру, и темнота неба, и белизна снега, и кругом ни души, «безлюдность низких островов»... А может, все это было давно и только вспомнилось, и не я, а Наташа Ростова с ряжеными мчится на святках в гости, и сейчас будет дядюшка — «чистое дело марш!» — и русская пляска, какой никто не ждал от барышни, с детской воспитанной на французском... а может, вокруг вообще неведомая степь в наметах пухлого снега, а не острова на взморье и не гладь замерзшего, в торосах Финского залива?.. Может, все это причудилось и только русская птица-тройка несется во всю прыть в неведомое?..

Ничего уже я не понимала — где мы и кто, и что за длинный мост вдруг возник перед нами, и что за плавно изгибающаяся набережная, по которой мы мчимся и мчимся, так что снег из-под звонких копыт золотистого взлетает двумя облачками и смыкается за спиной возницы, занося нас белой пылью... И что за проспект, уходящий вдаль рядами фонарей, и почему мы вдруг развернулись поперек проспекта и круто остановились у какого-то дома...

— Приехали, — сказал Палька, мигом оказавшийся уже с другой стороны, на тротуаре, чтобы помочь мне выбраться из-под тяжелой меховой полости.

Как ни странно, над аркой ворот читалось — «Литейный пр.» и светилась на фонаре цифра «16».

Палька вынул из кармана новенький хрустящий червонец (они уже ходили наряду с тысячами и очень ценились), царственным жестом подал его вознице и сказал небрежным гусарским голосом:

— Сдачи не надо.

Чуть позже, в общежитии, опомнившись от пережитого упоения, я призналась, что зверски голодна, а Палька совсем просто сказал, что и он тоже, но у него ни

копейки. Мы пошли к ребятам и пили жидкий чай, заедая его черными сухарями, для вкуса присыпанными крупной синеватой солью. Ребята сколачивали группу для ночной работы на товарной станции, в случае удачи там можно заработать по червонцу на трюх... Мы переглянулись с Палькой и улыбнулись друг другу. «Сдачи не надо!» — вспомнила я. Ох, будет теперь целую ночь выгружать вагоны! Надо было поругать его, но ни ругать, ни выдавать его ребятам не хотелось.

Он заторопился домой — переодеться. Я вышла с ним на лестничную площадку, там было темно и тихо, мы стояли долго, прощались и не могли распрощаться, и счастье стояло рядом с нами, светло мерцало и сулило, сулило впереди одну только радость...

Палька не пришел ни завтра, ни послезавтра. Минула неделя — ни слуху ни духу.

Я поехала на Разъезжую. Очень страшно было — постучать, войти... Если его мама дома, что сказать? Как назваться? «Я его друг»?..

Тогдашняя Разъезжая была мрачной торговой, складской улицей. Нагруженные ящиками и бочками ломовики наперебой громыхали по булыжникам. У складов и контор толклись грузчики и безработные в надежде на случайный заработок.

Грязно-серый, облезлый — таким был дом, где жил Палька. Дверь с ободранной обивкой, узкая лестница с исхоженными ступенями и давно не мытыми окнами, сквозь которые из двора-колодца еле сочился тусклый свет. В таких домах жили герои Достоевского, по такой лестнице Раскольников шел убивать процентщицу... Соклозы жили на первом этаже. Я постояла у двери, прислушалась — за дверью ни звука. Дернула старинный звонок-колокольчик. Шаги... женские шаги! Вся подобралась, заранее обмирая...

Она открыла дверь и, ни о чем не спрашивая, впустила меня. Лицо было моложе, чем мне представлялось, — спокойное лицо северянки, высокий лоб под зачесанными назад русыми волосами, глаза без улыбки, без любопытства — бестревожные глаза.

— Паля, к тебе, — сказала она, приоткрывая первую от входа дверь, и сразу ушла.

Как я готовилась к пристальному и пристрастному материнскому разглядыванию! — а она, кажется, и не поглядела. И в этот вечер больше не появилась и в другие

дни, когда я приходила заниматься с Нинкой, никакого интереса ко мне не проявляла. Иногда предлагала чаю и вручала Пальке поднос с двумя чашками, с хлебом или домашним пирогом. Иногда через дверь сообщала сыну, что уходит на работу, и поручала проследить, чтоб Нинка вовремя легла. Только однажды, когда Пальки не оказалось дома, она привела меня в свою тесную комнатку, где не было ничего лишнего — ни салфеточек, ни безделушек, — и немного поговорила со мною о чем-то постороннем, не имеющем отношения к Пальке, а когда я высказала свою тревогу по поводу скверного душевного состояния ее сына, она чуть улыбнулась:

— Перемелется.

И тему не поддержала.

Слабые успехи дочки в школе она воспринимала с тою же невозмутимостью:

— Силой учиться не заставишь. Поумнеет — сама захочет.

Не представляла я ее себе ни в деревне под пятой злого мужа, ни в том жутком доме, где она, видимо, служила и ютилась с детьми... А может, думаю я теперь, именно пережитое выработало у нее этот философский взгляд на тревожения жизни, это чувство собственного достоинства? Ни в те дни, ни позже она не вмешивалась в нашу жизнь и даже явно отстранялась от нее. А мне всегда хотелось склонить перед нею голову, только повода не находилось.

...Но что же случилось с Палькой за неделю, почему он пропал? Ничего не случилось! Я его застала лежащим на диванчике (такие диванчики с одной боковой спинкой прежде называли «козетками»), он раздраженно диктовал какой-то текст сестренке, которая при моем появлении хлюпнула носом и обратила к нежданной избавительнице покрасневшие, заплаканные глаза. Через минуту ее и след простыл, а Палька, неуклюже поднявшись и усаживая меня, начал пространно объяснять, что Нинка нахватала «неудов» по русскому и арифметике, она лентяйка и дура, если ее не заставлять и не наказывать...

— Почему ты не приходил?

— Настроение было плохое, что ж тебя донимать им.

— Почему плохое, Пальчик?

— Что в моей жизни хорошего?

Голос злой, взгляд в сторону, губы надуты, будто и не с ним мы мчались сквозь рой мохнатых снежинок на

ликих санках, не с ним пили чай с присоленными сухарями, переглядываясь украдкой, не с ним стояли на лестничной площадке и никак не могли расстаться и наше счастье, спокойное, стояло рядышком... Мне хотелось спросить: «Ничего хорошего? А я?» — и поссориться, но вместо этого я позвала обратно Нинку и закончила с нею диктовку, ахнула, увидев множество ошибок, и взялась через день заниматься с нею, чтобы до зимних каникул исправить отметки. Так началось новое мученье — накануне я целый вечер готовилась, решала Нинкины задачи и учила разные правила, чтоб не оскандалиться на уроке, а во время урока сдерживалась изо всех сил, чтоб не закричать и не ударить ее, потому что Нинка зевала, глядела по сторонам, грызла ручку и ничегошеньки не понимала или притворялась, что не понимает. Это милосливное, ленивое и вполне сообразительное существо отлично знало, что я прихожу ради ее брата, что брат, полулежа на диване, вовсе не читает, а смотрит на меня и ждет не дождется, когда я не выдержу и отправлю ученицу прочь. Тем обычно и кончалось, хотя каким-то чудом Нинка все же исправила отметки (пожалуй, своими силами, чтоб не лишиться каникулярных удовольствий). Выгнав Нинку, мы сидели в разных концах комнаты и разговаривали, или шли бродить по улицам, пока не зачинеем вконец в своих продувных одеждах, или Палька провожал меня до дому и мы опять долго стояли на лестничной площадке — одно из немногих мест, где можно было побыть вдвоем и где приближение непрошенных свидетелей прослушивалось загодя, так как лестничный проем любой звук гулко усиливал, а главное, никто не мог неожиданно открыть дверь, окинуть нас любопытным взглядом и невинно спросить, как пишется «колесо», через «а» или через «о», что любила делать Палькина бесценная сестричка.

Занятия с Нинкой давали нам повод чаще встречаться, Палька уже не мог пропадать когда вздумается. Что он радовался моему приходу, я ощущала всей своей женской сутью, но именно тогда, когда я, уверившись в этом, выглядела то ли слишком счастливой, то ли успокоившейся, Палька начинал выкидывать свои штучки: встает в дверях при галстукке, свежесбривший и даже наодеконенный, кликнет сестренку и при ней, отсекая всякую возможность объяснения, небрежно бросит: «Ну,

занимайтесь, а я пойду, условились встретиться с одной нашей студенткой» — и был таков... С какой ненавпстыю я заставляла себя довести урок до конца, молча наблюдая, как Нинка путается в подсчетах, сколько воды вытекает в какой-то дурацкий бассейн и сколько воды вытекает из него; ну кому это нужно знать? — думала я, как наверняка думала про себя и моя нерадивая ученица. При следующей встрече я пробовала говорить с Палькой холодно, так он же еще и сердился:

— Неужели ты не почувствовала, что нет никакой студентки? А уверяла, что понимаешь меня!

Бывало и так: выйдем после урока вместе, он останавливается возле трамвайной остановки:

— Вот идет твой девятый, садись.

Уверенная, что он проводит, я говорю, что лучше пройтись пешком. Палька не спорит: «Что ж, иди» — и поворачивает к дому, помахав на прощанье рукой. Иду, глотая подступающие слезы. Трамваи нагоняют и обгоняют меня один за другим, но я упрямо шагаю пешком. А у моего дома откуда ни возьмись уже стоит, посмеивается Палька, берет под руку и заворачивает обратно:

— Пошли, у меня билеты в кино. На восьмичасовой.

Кино, провожанье, долгое прощанье на лестнице — все чудесно. Прихожу на следующий урок — Пальки нет дома. Тяну, тяну время, делаю внеочередную диктовку, Нинка скулит... А его нет. Через день он говорит:

— Знаешь, я забыл, что ты придешь, заболтался с товарищами.

Так он меня «осаживал». Чтоб не возомнила о себе?..

Недавно, разыскивая нужную фотографию, я наткнулась на пакет, обернутый толстой бумагой. Развернула — Палькины письма. Я и не знала, что они сохранились, — столько лет прошло, столько было событий, переездов, да и в блокаду множество писем и документов сгорело в ненасытной буржуйке! Видимо, на этот пакет рука не поднялась?..

Странно было читать одно за другим эти давние письма — будто в чужую, малознакомую жизнь заглядываю тайком, будто в чужие, малопонятные души... Да так оно и есть. Человек меняется, хотя часто думает, что он все такой же. Меняясь, забывает себя прежнего, а пережитое преобразуется временем и капризами памяти. Вероятно, и у меня происходит то же самое, хотя я стараюсь

быть предельно точной. Но вот — письма. Палькины. А среди них, оказывается, и часть моих. Когда же мы успели так много написать друг другу?

Раскладываю письма по датам. Тоненькая пачка — письма с карельского фронта и на фронт. Неудержимо частые, затаенно-нежные письма пятнадцатилетней девочки и редкие короткие ответы, где равнодушные к старательной корреспондентке соединяется с интересом к петрозаводским новостям, которые она сообщает, не жалея чернил и бумаги. Еще одна тонкая пачка — письма тех лет, когда мы были вместе и лишь на короткое время разлучались: то я уехала в Севастополь на отдых, то его призвали на военный сбор... Самая толстая пачка — письма с Литейного на Разъезжую и обратно, переданные из рук в руки, оставленные на столе, засунутые в возвращаемый учебник, письма тех двух лет, когда мы жили в четырех трамвайных остановках друг от друга. Отношения были запутанны и трудны, мы ссорились и мирились, теряли друг друга навсегда и заново обретали.

Наверно, не нужно перечитывать старые письма — того и гляди заново отощавшая боль или, еще хуже, начнешь усмехаться, оценивая юношеские страсти с высоты своего жизненного опыта, хоть насмешка тут — кощунство. Еще труднее ссылаться на эти письма, делать их хотя бы в кратких извлечениях достоянием сторонних людей... Но моя повесть была бы фальшива, если б я не рассказала откровенно и честно о незаурядном человеке, с которым связано шесть лет моей юности. Смерть отняла его у близких, но смерть и вернула его — эпохе. Ведь только о тех, кто ушел от нас, мы умеем судить так, как они того стоят, и только тех, кто ушел, мы видим и понимаем во взаимосвязи с эпохой, а Павел Соколов был целиком созданием своего времени, времени крутой ломки старых и начального утверждения новых устоев, представлений, идеалов.

Забудем же о том, что в данном случае мешает. Есть Он и Она — дети первых лет революции, комсомольцы первого поколения, юные влюбленные, которые были максималистски требовательны друг к другу — и все время ходили по острию разрыва. Сегодня нас интересует Он. Еще с фронта, откликаясь на дружескую критику своей корреспондентки, он пишет: «Мое личное Я переплывает массу нового. Обрабатываюсь, исправляюсь». И еще: «Интересно, знаешь, оторваться от своей работы

и окунуться в другую, совершенно незнакомую, особенно в военной обстановке... освежающе действует... Своей натуре удивляешься, какой ей нужен простор!» И рядом, несколькими строчками ниже: «В то же время как-то странно чувствую себя нездоровым. Отчего? А и сам не знаю».

Такое ощущение не единственное, не промелькнувшее. Читаю письма, написанные уже на Разъезжей, вчитываюсь в страницы, вырванные из дневника и однажды отосланные мне вместе со всеми моими письмами и даже случайными записочками в знак полного разрыва...

Запись от сентября 1922 года, в как будто безоблачный период первой любви и первых студенческих впечатлений:

«Больно, тоскливо. Боль тупая, непонятная... почему она так невежливо привязалась ко мне?»

И снова, в мае 1923-го:

«Сейчас ночь. Электрическая лампочка над воротами слабо освещает двор с бегающими крысами. Я их не вижу, но знаю, что они бегают... Сегодня не первая и не последняя ночь без сна. Мысль не способна работать над книгами, формулами, законами и т. п. Она занята чем-то напряженным, неясным...»

Откуда такое у здорового юноши, отнюдь не слюнтяя, а человека энергичного, волевого, умеющего и любящего работать, бороться, действовать в полную силу? Любовные терзания? Нет. Иногда они наслаивались на другое, но не они были главной болью, да и была ли у него в тот год такая любовь, что могла жечь душу?

В горькие дни полного разрыва он записал в своем дневнике:

«Она изверилась. Ее глаза — море мук. У нее это первая любовь, первое большое чувство, а у меня оно не появлялось, его... не было. Я проспал свое счастье, оно было близко-близко, но я... не знал, что это именно мое счастье».

Однажды после очередного примирения он написал ей в письме, где любовь и тоска смешивались воедино:

«...не хотел я сперва омрачать твою радость, но ты и в этом должна понять меня: я чувствую, что не осуществится оно, наше счастье... Я чувствую ясно приближение смерти. Тоска охватывает меня. Мне больно. Больно мне! Но *это* неумолимо... Не одну ночь я борюсь с этим неумолимым... Можешь ли ты вырвать меня из этих цепких объятий? Нет. И ты бессильна перед ним».

Она ответила немедленно:

«У тебя не должно быть никаких предчувствий, кроме предчувствия счастья. Я так хочу, я хочу вдохнуть в тебя свою веру в наше будущее. Неужели я недостаточно сильна?! Я чувствую себя сильнее всего темного, что может грозить... Мы будем жить. Мы будем счастливы».

Она бы бросилась в огонь — спасти его. Но его внутренних, духовных страданий понять не могла, не умела...

В наши дни, семидесятые годы бурного XX века, говорили о *стрессе*, то есть о перенапряжении человека из-за чересчур стремительного потока информации, воздействия и впечатлений, и об *акселерации* молодежи. Этих понятий нет в совсем недавних изданиях энциклопедий, во всяком случае применительно к живым организмам, там можно найти только технические понятия акселерации применительно к машинам, к убыстряющимся режимам работы самолетных и автомобильных двигателей... Теперь приходится говорить о перенапряженном режиме роста и развития человека!

В те послереволюционные годы никто об этом не задумывался. Революция естественно и неудержимо притягивала к военной, организаторской, пропагандистской деятельности совсем юных людей, зачастую подростков четырнадцати — шестнадцати лет, — попробовал бы кто отстранить их от захватывающих событий! Детство сжималось и отлетало прочь. Подростки чувствовали себя и как будто даже становились *взрослыми*, во всяком случае несли совершенно взрослую нагрузку и ответственность. Были ли они, могли ли быть готовы к такому напряжению физически и духовно?..

Павел Соколов был одним из подростков, слишком рано и быстро повзрослевших. В те месяцы, к которым относятся записи в дневнике и наша мучительная переписка, за его плечами числилось шесть лет революционной, во-

енной и организаторской деятельности. И ему еще не было двадцати... Пожалуй, на нем особенно ярко отразились противоречия времени, скрестились разные влияния. Его сознание, покоренное коммунистическими идеалами, его грубоватая воля юноши, с детства хватившего лиха, вели его по крепко прошитой главной линии — служения революции, но вся напряженность этого служения и крутой ломки всей жизни, от общенародной до семейной, распирала его душу и прорывалась наружу необузданностью поступков, недоброй требовательностью к себе и к другим, мальчишеским властолюбием, а иногда приступами тоски и неудовлетворенности всем и вся.

Природный ум и организаторский талант рано выделили его из общего ряда сверстников, он привык главенствовать, а в Питере, в положении нищего студента с перспективой оставаться в таком же положении еще шесть или семь лет, до окончания института, он потерялся, утратил уверенность в себе... нет, точнее сказать иначе — временами на него находила неуверенность, пусть и не осознанная до конца. Его уязвляло собственное невежество, когда он путался у доски на глазах всего класса в склонениях-спряжениях или не мог решить элементарную алгебраическую задачу. И дело было не только в слабости школьных знаний, а в неравномерности его развития — ведь он свободно разбирался в вопросах политики, экономики, международных делах, о которых понятия не имеют школяры, он давно привык передавать эти знания другим и с трибуны говорил ярко, умно, его любили слушать.

Вот одна из дневниковых записей тех месяцев:

«Человек. Богданов говорит о нем как о целом мире опыта, о мире развертывающемся, не ограниченном никакими безусловными пределами. Так. А вот штрихи: часа два назад не ты ли, человек, говорил о положении целого мира, о миллионах подобных людей. Спокойно и бесстрастно делал выводы и убеждал в целой системе взглядов на разные вопросы. Ты был уверен в себе, в своем деле, чувствовал свою силу, был горд. А сейчас... Ты презираешь себя. Собою недовольный, ты чувствуешь, что ты слаб, безволен, утомлен, болен...»

На него тягостно действовала обстановка нэпа, торгашеский, спекулятивный разгул, особо заметный в

большом городе. Как и многие другие люди, очарованные огромностью революционных задач и идеалов, он с трудом удержался на крутом повороте политики, когда оказалось, что предстоит терпеливое, кропотливое, постепенное продвижение — после отступления! — и революционным борцам нужно перестраиваться на новый лад, «учиться и учиться», и, мало того, еще и «учиться торговать»!.. В то время многие вылетали на повороте, уходили из партии сами или их исключали. Сознанием Павел воспринял мудрость и неизбежность нэпа сразу, без колебаний, но душой принять не мог, внутренне топорщился, страдал от соприкосновения с наглой и шустрой, торопливо наживающейся новой буржуазией и всем тем *старым*, как будто навсегда похороненным, что выбилось на поверхность нэпманской накипию.

Он уговаривал меня пойти с ним в игорный дом, снова открывшийся на Владимирском проспекте (теперь там Театр имени Ленсовета). Я побоялась, а он пошел и проболтался в его залах до рассвета, переходя от стола к столу. Потом рассказывал подавленно:

— Как будто революции и не было. Толстосумы с набитыми бумажниками, дамы в браслетах и кольцах, руки у всех жадные, трясутся, когда ставят ставки, трясутся, подгребая выигрыши... И тут же выются шулера, работают прямо на глазах, и проститутки караулят удачников, вцепляются... ну, как раньше!

Он был черен от обиды и отвращения — видимо, ожили недетские впечатления его детства.

И Он, и Она были — во всяком случае, хотели быть *новыми* людьми. Разгул нэповской стихии не притуплял, а обострял их требовательность: не поддадимся, будем строги к себе, чисты перед революцией и друг перед другом. Вся их переписка об этом. Любовные признания, ссоры, примирения, мечты о своем будущем — все так или иначе об этом или вокруг этого главного — какими *быть*.

Он упорно ломал свой необузданный характер.

«Нужна вся сила любви, чтобы решиться написать такое письмо, — писал он после очередной размолвки. — Что страшного? Да ничего. Просто нужно *сознаться*, что я виноват. У меня было скверное настроение... Во мне проснулся прежний Палька. Когда ты уходила, я злобно подумал о тебе — «черт с ней!». Да, да. И вся сила воли

понадобилась, чтобы пойти к тебе навстречу *первому*. Понимаешь ли ты меня, Вера? Как ни исковеркало меня прошлое, я силой любви многое могу сделать с собой. Что там многое! — все. И когда я говорил тебе — мне безразлично, а ты делала вид, что веришь, я чувствовал, как все это глупо, ломано, неправдиво, и все-таки повторял. Чувство раскаяния было несвойственно мне, а появилось...»

В дневнике спустя месяцы после разрыва:

«Я вел себя так, как будто мне все безразлично. Сила воли. А мне далеко не безразлично. Эх, если б таким, как теперь, я был семь месяцев назад! Как глупо устроена жизнь! Где мы, ее «цари»?! Тяжело нам с неустановившимися взглядами, неустойчивой психологией жить на свете!»

Ей было проще — полудетский возраст одаривал ее беззаботностью и неиссякающей веселостью, проявления упрямства и властности в решающие минуты еще только намекали на то, каким ее характер сложится. Он был старше и еще в детстве повидал такое, что и взрослому лучше не видеть. Натуре его была свойственна размашистость, даже разухабистость — гулять так гулять, грешить так грешить! То, что клубилось вокруг — ночная жизнь улицы, пивных, игорных домов, ресторанов с цыганами и шантаньными певичками, — не только возмущало его, но и завлекало. Двадцатилетний парень, он успел привыкнуть к случайным, ни к чему не обязывающим связям, легко завязывал их и так же легко разрывал, не задумываясь, хорошо это или плохо. Теперь, полюбив, он сопротивляется новым соблазнам, теперь это было бы изменой прямоте и чистоте человеческой, предательством идеалов.

Он со злостью ломал свой характер и привычки, ни в чем не лгал, не приукрашивал себя, не скрывал того, что иные люди с такой бездумностью не стыдятся скрывают от любимых.

Была ли Она достойна его борьбы, его усилий к самосовершенствованию? Вероятно, нет. Настрадавшись за годы своей безрадостной любви к нему, она хотела теперь реванша, хотела царить и радоваться... Будь она старше,

она помогла бы ему вернее, — впрочем, так она и поступила спустя два года.

Ее девчоночья наивность и притягивала его, и злила. Злило и то, что она росла в благополучной семье и в детстве видела только ласку и внимание, чем он был так горько обделен. В трудные дни их отношений он гневно упрекал ее:

«Тебе не нужен (и теперь и раньше) человек, мучимый той или другой борьбой, требующий нежности, ласки, заботы. Тебе нужен (и теперь и раньше) человек, полный обожания к тебе, забот о тебе, поклонения перед тобой... Я такую роль выполнял из рук вон плохо».

«Ты не можешь измениться, ибо ты выросла в соответствующих твоему типу условиях. Я тоже. Это влечет вывод ужасный. Забыв странного человека, отпавшего у тебя невольно несколько страниц жизни, ты сможешь обрести свое счастье с другим. Прости и прощай».

А затем они встречались — то на пароходе, которым оба плыли в Петрозаводск, то в коридоре общежития, куда он пришел навестить земляка... Их бросало друг к другу, счастливых, забывших все упреки и распри, и все — в который раз! — начиналось сызнова.

Перечитывая давние письма Павла Соколова, я с удивлением и грустью чувствую, что только теперь попастоящему поняла этого человека, хотя в течение шести лет всеми силами старалась понять его и намучалась оттого, что не понимаю, и он намучался, потому что не умел раскрыть себя. Или таков жестокий закон жизни — понимание приходит через много лет после того, как оно было необходимо?..

Еще не раз в этом повествовании я вернусь к Пальке Соколову, но, как мне кажется, именно здесь нужно сказать о нем то, что дорисует его нравственный облик. Мы с ним прожили всего два года, но после разрыва не сумели стать чужими друг другу, наоборот — встречались редко, но всегда радостно и заинтересованно, стали проще, естественней, научились делиться прожитым и продуманным и воспринимать то, что пережил и продумал каждый из нас. Может, потому, что *повзрослели?*..

Трудным человеком Павел остался — наверно, и на фронте, и в партизанском отряде он был непросто для окружающих. Но и в тридцать, и в сорок лет в нем жила

напряженнейшая жажда самосовершенствования, жил недремлющий внутренний контролер, помогавший ему обуздывать себя. Не одолев учебу и уйдя на практическую работу, он так и прожил практиком, самоучкой, но учился и хватал знания всегда и везде, куда бы ни забросила судьба. Он изучал индийскую поэзию, привлекавшую его образной философичностью и тонкостью чувств, читал древних философов и тянулся к современным, не всегда понятным ему талантам. Художники, режиссеры, актеры, бывалые люди неожиданных профессий были для него хлебом духовным, неизменным прикормом. Его записные книжки пестрели такой многообразием, такими разными и порой противоположными мыслями, выписками, сведениями, что, попадись они в чужие руки, читающий стал бы в тупик: кто владелец книжек, какой он профессии? То ли интеллигент высшей пробы, то ли студент-первогодок?

В жизни Соколова был период, о котором я и теперь думаю с удивлением. Поработав год или два директором ленинградского, первого в стране Театра рабочей молодежи (ТРАМа), Павел перебрался в Москву, энергичнейшими мерами разыскал по заводам и фабрикам одаренную молодежь и с помощью ЦК ВЛКСМ создал московский ТРАМ, где стал художественным руководителем и режиссером-постановщиком. Палька Соколов — режиссером? Без подготовки, без учебы или хотя бы стажировки возле талантливой мастера?!

К его чести, Павел стремился привлечь знающих и талантливых людей: пригласил руководить учебной частью ТРАМа очень известного в те годы, а главное, умного и образованного актера Ф. М. Никитина, а музыкальной частью — композитора И. Дунаевского, преподавать биомеханику — Ирму Мейерхольд, танцы и пластику — Наталью Глан; он перетянул в Москву художником театра Евгения Кибрика, который быстро оброс одаренной молодежью, что привело к созданию ИзоРАМа — студии молодых художников. Появлялись в театре Бабанова, Судаков и многие другие талантливые актеры и режиссеры, помогавшие трамвцам постигать азы актерского мастерства. Нашлись и свои авторы, некоторые из них — в первую очередь Федор Кнорре — навсегда связали свою жизнь с литературой.

В те годы я частенько бывала в Москве, и Соколов обязательно показывал мне новые постановки ТРАМа —

«Зови фабком!», «Дай пять!», «Дружную горку», «Тревогу»... Спектакли были живыми, волнующими сегодняшней молодежной проблематикой, они имели шумный успех у зрителей, до отказа заполнявших неказистое, самими трамовцами оборудованное помещение. Играли ребята самозабвенно, с захватывающей искренностью, между ними и залом сразу возникал и до конца спектакля удерживался контакт, полный взаимопонимания. Особенно запомнился мне невысокий вихрастый парнишка — Коля Крючков. Стоило ему появиться на сцене, по залу перекатывались волны оживления и смеха. Актерской выучки у него было не больше, чем у других ребят, но все у него получалось естественно, как бы само собой, каждое движение и слово дышали достоверностью.

Сегодня мы знаем довольно крепкие любительские драмстудии, даже народные театры. Можно ли назвать ТРАМЫ их предтечами, можно ли сказать, что их спектакли были на уровне хорошей самодеятельности? В какой-то мере да, но ответ будет лишь приблизительно верным. Трамовцы вызывают в памяти более поздние (и более крепкие, более профессиональные) молодые театральные коллективы, такие, как «Современник» первых лет или Театр на Таганке, сплоченностью и убежденностью, поисками своего собственного репертуара, обращенного к своим собственным зрителям-единомышленникам, наконец — моральной атмосферой, готовностью отдать все силы и все время ради общего дела, поступаясь личной славой или выгодой.

Раздумывая об удивительном превращении Пальки Соколова в художественного руководителя и режиссера (казалось бы, никаких предпосылок не было!), я решила расспросить об этом людей, работавших с ним в московском ТРАМе.

Евгений Кибрик поморщился и сказал, что никаким режиссером Соколов, конечно же, не был, но поднабрался кое-каких режиссерских приемов еще в ленинградском ТРАМе, у Михаила Соколовского. А главное, был хорошим организатором и умел влиять на ребят, хотя и не без позерства.

— Сидит на репетиции, загадочно смотрит, посасывая трубку, и чаще всего останавливает актера коротким замечанием: «Не верю».

Я простила Кибрику несколько раздраженный тон. Большой мастер и труженик, он органически не вы-

носит отсутствия профессионализма и настоящих знаний.

Федор Никитин ответил по-иному:

— Соколов был талантливым человеком вообще и был очень увлечен созданием театра, увлечены были и молодые ребята, пришедшие в театр. Вот эта увлеченность помогла Соколову создать несколько хороших спектаклей. Надо сказать, что и советоваться он умел, извлекать пользу из каждого опытного актера и из работ лучших режиссеров тех дней.

Сам Никитин работал в ТРАМЕ недолго, так как, отснявшись в одном фильме, сразу начинал готовиться к следующему.

— Гораздо больше и лучше вам расскажет Николай Крючков, он же с первого дня был в ТРАМе, там и определился как актер, оттуда Барнет позвал его сниматься в одном из первых звуковых фильмов, в «Окраине».

Странно, мне как-то не приходило в голову, что популярный и заслуженный актер Николай Крючков — это и есть тот самый Колька, вихрастый трамовский парнишка!

Созвониться с Крючковым удалось далеко не сразу: «Николая Афанасьевича нет в Москве», «Приедет через неделю», «Еще не приехал». Наконец застала, пришла в один из тихих арбатских переулков, где особняком стоит многоэтажный новый дом, поднялась наверх, в прощанную солнцем квартирку, и почувствовала, что я тут помеха. Да и как же не помеха, если человек только-только вернулся с юга, с утомительных киносъемок под палящим солнцем, а в Москве тоже жарница, и на днях снова уезжать на съемки... Балконная дверь настежь, человек лежит на диване в самом что ни на есть домашнем одеянии, отдыхает с книгой в руках, изредка поглядывая на мелькающие кадры телепередачи, пока приглушенной до немоты, но скоро футбол — и тогда ящик заговорит, взорвется криками и гомоном болельщиков, телеглаз будет метаться по полю, попевая за всеми перипетиями игры, — и это тоже будет отдых. А тут — писатель, да еще женщина, надо спускать ноги с дивана, извиняться за домашний вид... Мне было стыдно, но дело есть дело.

Передо мною терпеливо сидел усталый пожилой человек с очень знакомым лицом — знакомым по десяткам

фильмов, а не по давнему знакомству. От того трамвостого парнишки ничего не осталось, вместо вихров седины да залысинки, покрупневшее лицо с волевыми складками — для ролей старого рабочего, или моряка, или бывалого солдата. И вся повадка простецкая, не актерская.

Я люблю такие встречи — без гостеванья и парадности, без обязательств на дальнейшее знакомство; можно задать свои вопросы, выслушать ответы и распрощаться; но можно и разговориться, если человек тебе любопытен и сам он не прочь поговорить; слово за слово — и вот уже возникают точки соприкосновения, постепенно проступают свойства личности, а иной раз вдруг приоткрывается и душевная глубина, куда не всякому дается доступ.

Точки соприкосновения возникли сразу, с первого моего вопроса о ТРАМе будто смыло усталость с лица, занеслись глаза, посвежел, прочистился голос. И повадка, примеченная в начале встречи, и манера говорить определились как очень знакомые, навсегда близкие — нестираемая печать комсомольского поколения двадцатых годов?.. А потом, слушая, как и что он вспоминает с таким явным удовольствием, перескакивая к сегодняшним своим делам-заботам и снова возвращаясь к прошлому, я неожиданно попяла, что в глубине-то души он и сейчас тот самый краснопресненский парнишка из рабочего барака, где он рос в одной комнатенке с матерью и семью младшими братишками и сестренками, где мать, оглядев теснящуюся вокруг стола ораву ребят, иной раз и вскрикнет — кормить-то нечем... Как старший мужчина в доме, пошел парнишка вслед за матерью на родную Трехгорку, получил профессию накатчика-гравера и не унывал, был так же весел, как цветастые ткани, которые выпускал, а вечером шел в фабричный клуб и делал там все, что нужно, — и споет, и спляшет, и в «живой газете» сыграет, и на гармошке, и плакат напишет... Стоило пройти слуху, что создается в Москве Театр рабочей молодежи, он одним из первых прибежал туда, где театр должен был возникнуть, но где пока ничего не было, кроме убогого помещения, похожего на сарай, нескольких ребят и Павла Соколова. Как начинали? Пилили, строгали, сколачивали, потом репетировали, потом снова строгали, сколачивали, драили полы, зачастую до ночи, и тут же валились спать, а чуть свет вскакива-

ли и мчались на свои фабрики и заводы на работу...

Вот этот неунывающий парнишка и остался жить в глубине души большого актера солидных лет и званий.

— Соколов? Он всё и создал, и нас в актеры вывел. Очень был азартен и с первого дня заразил нас своим азартом. Весь день он проводил с нами, и спал тут же, при театре, кое-как, и работал паравне со всеми. Не чинился, но и с нас, правда, требовал работы на всю катушку... Как он режиссировал? По тому времени справлялся. Мизансцены придумывал интересно, от нас требовал достоверности, правды поведения, остроты. Мы как-то вместе всё продумывали и придумывали на репетициях — автор пьесы, Соколов, художник, актеры. Все мы были *увлеченные*, потому и получалось. А на спектаклях и публика вдохновляла — мы ее понимали, и она понимала нас. Когда нас решили профессионализировать, влить в другие театры, все это распалось. Часть ребят вообще ушла, а меня позвали в кино, так и стал киноактером.

Меня интересовало, какие отношения сложились у Павла с ребятами, что думает Крючков о его характере.

— Ну, как сказать... Вы, наверно, знаете, он любил иногда позировать, выделяться. Порой его как бы заносило...

— Капризничал?

— Вот-вот. Но работа шла горячая, так что капризы быстро перемалывались в деле. Резок бывал, это верно. Но и разобраться умел, где провинность, а где... — Крючков улыбнулся воспоминанию. — Случилась со мною история. В одной пьесе по ходу действия я поворачиваюсь спиной к залу, скидываю брюки и бросаюсь на кровать. И вот на спектакле только я стянул брюки, такой раздался хохот! Оказывается, я как-то прихватил резинку и вместе с брюками стащил трусы. Накинулись на меня ребята, думали — я нарочно. Проработывать хотели. Соколов меня позвал, расспросил, как было. Поверил мне и проработки не допустил. Да и заботился он о нас, знал, что нам трудно, ведь ничего не получали, прямо с производства в театр... Подкармливал как мог, иногда денег сунет — в долг без отдачи. Выхлопотал несколько ставок, я одну из первых получил, ног под собой не чуял от радости. И Соколов понимал это, тоже радовался. Но вообще-то он держался сурово, был требо-

вателен, даже жестко требователен. Спуску не давал.

Уже после работы в ТРАМЕ, когда партийная мобилизация забросила Павла в Сибирь начальником политотдела МТС, он заново открыл для себя... людей.

Приехал он в Ленинград зимой, во время отпуска. Пришел. Сидели на ковре у топящейся печки, он помещивал кочергой жаркие угли, алые отсветы играли на его повзрослевшем лице. И вдруг он искоса метнул на меня взгляд своих быстрых, своих зеленых:

— Знаешь, что я открыл в Сибири? Людей. Как ни дико, я впервые научился заглядывать в человека, кто он и что, чем дышит, что ему нужно. Думаешь, искал подход? Может, поначалу искал, но тут — глубже. Полюбил я это занятие — вникать в человека и полюбил помогать людям. Случалось, нужна была конкретная помощь — жилье, деньги... Но я не о том, это и раньше бывало. Помогать людям жить, понимаешь? Осознавать себя, свою душу, свою силу. Я вдруг увидел, что люди лучше, чем я о них думал. И не надо приказывать и требовать — уж это я умел, даже чересчур! — а гораздо лучше все выходит, если подойдешь с душой, если поощришь словом, доверием, вниманием... Верить, впервые в жизни — все чего мне удалось достигнуть, на что удалось поднять людей, все без приказа, добром, по охоте. Странно, правда? В тридцать лет людей открыл.

Может, кто-то найдет его открытие наивным? Но пусть тогда вдумается, многие ли поднаторевшие в руководящих трудах работники душевно постигли то, что с такой искренностью высказал Павел как свое позднее открытие? И разве так уж редко попадают нам деятели, даже не пытающиеся разглядеть в человеке человека?..

Позолоченные буквы на холодном камне. Павел Илларионович Соколов...

Кем бы он стал для людей, если б не отдал родине и людям всего себя в короткий миг последнего боя?..

Первые часы

Студенту часы необходимы — хотя бы для того, чтобы опаздывать со смыслом и толком: если проспал первую лекцию и не успеешь на вторую, есть смысл появиться перед началом третьей и войти в аудиторию вместе со

всеми; если же идти на третью по твоему разумению не стоит, тогда важно знать, который час, чтоб заняться без промедления чем-либо более интересным.

В наши дни всеобщей радиофикации и телевидения, когда узнать точное время проще простого, часы есть почти у всех, а если у кого и нет, он охает, что вот остановились, отдал в починку или «отказали, надо купить новые»... В середине двадцатых годов не только телевидения, но и радиотрансляции не было, приходилось спрашивать «который час?» у счастливых обладателей часов, а во всем нашем общежитии часы имелись только у первой моей соседки по комнате Люды, да еще солидный дедушкин будильник стоял на тумбочке у лесников, но Шурка нарочно «забывал» завести звонок, чтобы вволю поспать, а если его заводил Лис, утром Шурка прихлопывал звонок раньше, чем тот успеет разтрезвониться, так что сладко похрапывающий Лис не слышал, как будильник робко звякал, прочищая голос... Пока аккуратная Люда не выехала из общежития, я знала: если Люда уходит в институт — значит, четверть девятого, можно встать, умыться, съесть кусок хлеба с солью или с пайковым шпиком, запить полуостывшим чаем и поспеть в свой институт к девяти. Вскоре вместо Люды со мною поселилась Леля Цехановская, студентка Педагогического института, милая, веселая и очень старательная Лелька, и мы обе намучались без часов. Правда, Лелю будил отблеск из окна напротив, где кто-то зажигал свет ровно в семь, но вставать в семь было рано, она решала полчаса понежиться в постели и нередко засыпала снова, особенно если вечером допоздна гуляла со своим Мишей. Меня же и отблеск не будил, и утренняя беготня по коридору мимо наших дверей тоже, а когда я все же вскакивала, устыдившись Лельки, которая в страшной суете кое-как собиралась и, не успев поесть, убегала, кто мог сказать мне, сколько сейчас — около девяти, или уже десятый, или и того больше?

Пришлось откладывать деньги на крупную внебюджетную покупку. Магазины тогда были частные, нэпманские, цены — не подступись, меньше чем за тридцать тысяч самые простенькие часы не купишь, а откуда их взять, тридцать тысяч? Зато на толкучке, как говорили, можно купить приличные часы тысяч за пятнадцать — двадцать (такие тогда были деньги, хотя начал утверждаться и советский червонец, который можно было

получить в обмен на старые тысячи по скользящему, все время меняющемуся курсу). Стипендию я получала двадцать тысяч в месяц. Если путем жесточайшей экономии на питании откладывать по тысяче или по две да приналець на всяческие заработки... Короче говоря, постепенно я накопила восемнадцать тысяч и в воскресный день, позвав с собой для храбрости табунок студентов, отправилась на толкучку попытать счастье.

Ох, что это было, толкучка времен непа! Прямо на подстилках, на венских стульях, на лотках, на раскладушках — тесными рядами — выкладывала свои товары «частная торговля»: старые барыни в кружевных митенках и шляпах с перьями, пожилые мужчины гвардейской выправки в выцветших френчах со следами погон, наглые молодки в цветастых платках и высоких ботинках, черноусые красавцы зверского вида, монашки без малейших проявлений благочиния, розовощекие дяди в картузах с лакированными козырьками и застенчивые интеллигенты в пенсне, с бородкой клинышком... Продавалось все — статуэтки и люстры, цейсовские бинокли, фарфоровые ночные горшки с вензелями, бисерные сумочки, некомплектные сервизы, пуговицы и корсеты, фотоаппараты «кодак», седла и гвозди, швейные машины фирмы «Зингер», страусовые перья, комплекты «Нивы» конца прошлого века, французские духи и брюссельские кружева, старинные гобелены, погнутые детские коляски, бальные платья, расшитые стеклярусом по расплзающемуся от ветхости шелку, длинные трубки из тех, что для господ раскуривали казачки, самовары, тончайший хрусталь, поношенные ботинки, домашнего изготовления пирожные, комнатные растения в кадках, лайковые, до локтя перчатки, ведра и кастрюли, картины в золоченых рамах, примусы, фраки и даже цилиндры... Толпа завивалась воробьями, проходя вдоль рядов и сквозь ряды (под визг и брань торгующих). Какие-то невзрачные личности крутились в самой гуще людской, размахивая перед носом покупателей отрезами сукна, заграничными ажурными чулками, веерами порнографических открыток... Кричали зазывалы: «А вот кому!..» Подозрительные субъекты с поднятыми воротниками, держа руку за бортом пальто, почти беззвучно, но внятно сообщали: «Есть валюта. Валюта!» Высоченный старик в меховом не по сезону треухе вскидывал над толпой связку коро-

вых ботал и звенел ими, сам получая удовольствие от их бойкого перезвона.

Тут же среди адского шума и толчеи инвалиды и безработные пели осипшими от перенапряжения голосами, подыгрывая себе на гармошке или на балалайке, и вокруг них как-то умудрились собраться в кружок слушатели: подручные певцов продавали желающим тексты песен, напечатанные подслеповатым шрифтом на узких полосках папирсной бумаги.

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить —

с завываниями и ужимками выводил молодой еще человек в броском галстуке и лоснящемся от старости пиджаке.

В нескольких шагах от него инвалид, кособочась оттого, что припадал на костыль, так и сыпал в толпу забористые частушки; мимоходом я уловила:

...не зевай!
Нынче девушка без мужа — что без номера трамвай!

— Не зевай! — повторяли мои спутники, но имели в виду совсем другое: в толпе сновали опытные карманники и беспризорные мальчишки, выглядывая зазевавшихся простаков.

Где-то поблизости плакала женщина:

— Украли, проды!

В другой стороне истошно кричали:

— Держи его! Держи!

Двигаясь кучно, чтоб не потеряться и чтоб не вытащили деньги, мы искали часы. Увидели часы-луковицу громадных размеров, увидели на колченогой этажерке массивные каминные часы с бронзовыми амурами... Наручных не было. Мы уже отчаялись и устали от шума и давки, когда перед нами возник симпатичнейший дядька с часами, покачивающимися на его согнутом пальце. Часы были небольшие, фирмы «Сима», на узком кожаном ремешке. Мы по очереди разглядывали их, прикладывали к уху — часы призывно тикали.

— Студенты? — ласково спросил дядька. — Повезло вам. Тороплюсь на вокзал, уступлю за двадцать тысяч.

Отказаться от такой удачи было немислимо, но у меня было всего восемнадцать. Мои спутники начали торговаться. Дядька скинул тысячу, я упрашивала

скинуть еще. И вдруг подошли два новых покупателя — из тех, с поднятыми воротниками, — они тоже прикладывали часы к уху и расхваливали их:

— Швейцарские! Чудесная фирма!

Я чуть не плакала — перехватят!

Пошарив по карманам, мои друзья кое-как наскребли около пятисот рублей, и тогда те двое отступили, дядька сам надел мне часы на руку, застегнул ремешок и сказал, что уступил только ради милой барышни...

Все общежитие сбегалось любоваться покупкой. Слушали, как часы тикают, хвалили фирму, и блестящий циферблат, и стрелки, и ремешок. Когда счастливое событие было прочувствовано до конца, все разошлись по комнатам заниматься, пора была зачетная. Я тоже уселась готовиться к завтрашнему зачету, но то и дело подносила к уху часы. Тик-так, тик-так... До чего ж они славно тикали!

И вдруг в ухо ударила тишина. Часы молчали.

Я потрясла рукой — молчат.

Дуреха, чего испугалась? Просто кончился завод!

Осторожно завела часы, послушала — молчат.

Сняла с руки, потрясла посильней — молчат.

Напротив нашего общежития, на Литейном, помещалась часовая мастерская. Туда я и помчалась с утра, забыв про зачет и про все на свете.

Пожилой мастер со стеклышком на глазу копошился в разобранных часах, орудуя пинцетом. На меня поль внимания. Я видела лишь пугающее стеклышко и блестящую лысину.

— Простите, пожалуйста. Не можете ли вы посмотреть мои часы?

— Угу (или — могу), — пробормотал мастер, продолжая копошиться.

— Они почему-то остановились. И не заводятся.

Не глядя он протянул руку за часами, открыл одну крышку, потом вторую, посвистел немного, снял с глаза стеклышко, оглядел меня и спросил, чего я хочу и откуда взяла часы. Я ответила немного обиженно:

— Как откуда? Купила!

— И сколько же вы заплатили?

Я сказала.

— И как же вы покупаете на толкучке часы, не проверив, ходят ли они?

— Я проверяла! Они ходили.

— Они — ходили? И сколько же они у вас ходили? Минуту? Две?

— Нет, они до вечера тикали.

Он всунул в глазницу стеклышко, снова, посвистывая, рассмотрел внутренность часов и закричал через плечо в приоткрытую дверь:

— Аро-он! Шле-ма! Ми-ша! Идите сюда! Вы только посмотрите этих артистов!

Из задней комнаты прибежали еще три мастера со стеклышками. И все начали рассматривать часы, выхватывая их друг у друга, и чем-то восторгаться, и причмокивать губами, и качать головами, и хихикать.

— Д-да, это мастера!

— Вот арапы!

— Это ж надо уметь!

Повимая, что случилось нечто ужасное, я робко напомнила о себе:

— Вы можете починить?

И тут все четверо развеселились окончательно:

— Починить! Нет, вы слышите — починить! Так ведь там внутри ничего нет, девочка! Прямо-таки половины деталей нет! Это ж потрясающий штукарь делал, если они у вас тикали! Там же *нечему* тикать!

Какое-то время, забыв обо мне, они обсуждали, что именно сделал тот потрясающий штукарь. Потом им стало меня жаль, и они вчетвером популярно объяснили мне, что чем беднее человек, а тем более студентка в наше трудное время, тем дороже вещи он, то есть она должна покупать, потому что у нее нет лишних денег — кидаться ими, а дорогая вещь — это действительно *вещь*, купил — и будешь носить на здоровье, но кто же покупает па толкучке?! В магазине вы гарантированы от подобных артистов, которые ловят дурочек!..

Потом первый, с блестящей лысиной, показал мне изящные дамские часики:

— Вот, продаются по случаю, двадцать восемь тысяч, но это же часы!

Я тихонько ушла, унося свою покупку. Во дворе нашего дома размахнулась и швырнула ее за штабель дров.

Вторые часы я купила года через полтора в магазине. Они протикали у меня три десятка лет и сегодня еще лежат в ящике стола — сработались, милые, а выбросить совестно.

Такие были годы

Наше полуголодное существование скрашивалось легкомыслием и гордым пренебрежением к сытости — чем меньше было еды, тем больше смеха и песен. Труднее переносилась нехватка одежек и обуви. Как ни крепишься, зимою в рваных ботинках плохо, разогреваешься бегом, но на бегу в дыры забивается снег, в помещении снег тает, сидишь с мокрыми ногами, коченеющими от холода, да еще и стыдишься — на полу под ногами лужа... С сентября до мая носила я пальтишко, полученное по ордеру еще в Мурманске, на зиму под него приметывалась ватная стеганка, неумело сооруженная мамой, отчего пальто оттопыривалось на боках, а со временем стало застегиваться с натягом — девчонка подросла! В обиходе у меня была одна юбочка и две фланелевые блузки — по очереди стираешь, отглаживаешь и надеваешь в институт и на вечеринку, дома и в театр; на каникулах мама спила мне из своего старого платья черную бархатную блузочку с короткими рукавами (длинные не вышли), в черном бархате я чувствовала себя прямо-таки королевой.

Насколько помню, почти у всех наших студенток и студентов с одеждой было плохо. Мальчишки особенно страдали из-за штанов — протирались, проклятые, на самых заметных местах, так что девочки более умелые, чем я, постоянно штопали их и ставили заплатки, но вокруг на диво прочных заплаток и штопок материя почему-то расплзлась еще быстрее.

Мы хохотали, вздыхали, выкраивали из чего придется новые заплатки, искали хотя бы грошовых заработков, но не жаловались и не злились. Нам не требовался учебник политграмоты, чтобы понять, откуда взялись разруха и нищета, — война, развал царской России, страшный натиск белогвардейщины и иностранных интервентов, пытавшихся задушить, задавить, стереть с лица земли новорожденную Советскую республику... все прошло на наших глазах, заполнило наше детство и юность. Мы чувствовали себя победителями — нищими, голодными, но победителями.

Все усилия советского народа измерялись тогда одной меркой — довоенным уровнем. Достичь довоенного уровня! Сообщения о каждой маленькой победе на подъеме к этому уровню печатались в газетах, под аплодисменты оглашались на собраниях — 43 процента довоенного

уровня, 52 процента, 71 процент... Знали, конечно, что унаследовали от царизма страну дико отсталую, зависимую от иностранного капитала, но после семи лет потрясений даже убогий довоенный уровень выглядел желанным рубежом.

Сегодня давняя беда так основательно забылась, что и нам, видевшим ее своими глазами, уже не верится. А она была. Была! Просматриваешь статистические данные тех лет и замираешь над цифрами... Вот они, некоторые из многих, — вразброс, без особого отбора:

в 1921 году национальный доход страны составил всего 38 процентов довоенного;

в стране было около 7 миллионов беспризорных детей;

в 1923 году в руках нэповской буржуазии было до 4 тысяч мелких и средних предприятий, три четверти розничной торговли;

в деревне молодые совхозы и колхозы составляли всего 1,5 процента (полтора процента!) среди массы мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, а рядом быстро возрождались и жирели, наживаясь на беде народной, кулаки;

неграмотных насчитывалось 76 процентов всего населения, а на прежних национальных окраинах и того больше: в Казахстане 98 процентов, в Киргизии до 99 процентов;

рабочие руки были нужны везде, но не хватало ни средств, ни сырья для восстановления промышленности — и даже в 1923 году еще числилось около миллиона безработных.

В те дни мы не знали многих цифр, но и без них видели — сытых, добротнo одетых кулаков и кулачих, продающих на рынке парное мясо, молоко и масло по немислимым ценам; замурзанных, невымытых, в жалких отрепьях беспризорных ребят — мы и жалели их, и побаивались: уж очень они наловчились залезать в чужие карманы; Биржу труда на Петроградской, напротив сада Народного дома, большое здание с башенкой, — и днем и ночью толпились там безработные, боялись уйти (вдруг подвернется хотя бы временная работа), сидели прямо на тротуарах, а то и спали, привалясь к стене... Много, очень много заводских труб мертво глядело в небо над молчаливыми заводскими корпусами с выбитыми стеклами...

Но с каждой неделей что-то улучшалось, налаживалось, вот и червонец крепнет, и заводы начинают работать — то один, то другой, тут еще одна труба задымила, а там пока не дымит, но на закопченных стенах мелькают солнечные зайчики — стекла вставляют. Это — *восстановление*. Мы не сомневались — все будет восстановлено, а там пойдет и новое строительство, лишь бы угомонились наши враги, лишь бы не война! Что оно еще замышляет, готовит исподтишка — капиталистическое окружение?..

Так оно называлось тогда — капиталистическое окружение. Наша страна была одинока, послевоенный, расстроенный, раздираемый спорами, напуганный революцией капиталистический мир обступал ее со всех сторон и мечтал ее сокрушить — не удалось войной, так голодом, блокадой, кабальными требованиями. Наглые выходки и провокации следовали одна за другой. Мы, дети молодого мира, взирали на них с самоуверенным спокойствием — если войной не одолели, так уж теперь тем более не одолеют! Международные дела воспринимались нами почти интимно, как наши собственные дела, Чичерина восторженно любили, хотя никогда не видели его, наслаждались тем, как наши дипломаты отбивают одну атаку за другой, используя противоречия между разными капиталистическими государствами. Генуя. Рапалло. И вот уже в Рапалло пробита первая брешь — подписан договор и установлены дипломатические отношения с Германией. И еще бреши — торговые договоры с Англией и рядом других стран: как бы ни ярлись против революционной страны наиглавнейшие акулы империализма — Чемберлен, Керзон, Пуанкаре, сами капиталисты хотят торговать с загадочной Советской страной, даже торопятся, боясь, что их опередят другие.

Уркарт. Лесли Уркарт, крупный английский капиталист, один из самых яростных организаторов интервенции, советник лорда Керзона! Двадцать лет хозяйничал в Сибири — медь, цинк, серебро золото, уголь... И вот добывается у Советского правительства концессии на разработку природных богатств Сибири!.. Между прочим, там же, где были его дореволюционные владения. На что надеется? На реставрацию или только на прибыли? Во всяком случае, торгуется всюю, выдвигает кабальные условия... А Ленин говорит: «Извините, то, что мы завоевали, мы не отдадим назад. Россия наша так велика, эко-

номических возможностей у нас так много, и мы считаем себя вправе от вашего любезного предложения не отказываться, но мы обсудим его, как хладнокровные, деловые люди».

Очень нас занимала история с этим антисоветчиком Уркартом.

Но тут в Англии возобладали самые оголтелые реакционеры во главе с лордом Керзоном, начавшиеся было торговые отношения лопнули, Керзон прислал Советскому правительству наглейший ультиматум.

Как помнится тот майский день! От края до края заполненный народом Невский, гневные выкрики демонстрантов, гневные лозунги на самодельных плакатах — кумачовых или картонных, кто как сумел. Мы тоже идем всем институтом, размахивая самодельными плакатами, мы скандируем: «Лорду — в морду! Лорду — в морду!» — и почему-то уверены, что наши слова до Керзона дойдут. Что ж, вероятно, и дошли.

И еще помнится другая демонстрация протеста — было ли это в день, когда пришла весть об убийстве Воровского в Швейцарии? или несколькими годами позднее, когда в Варшаве на вокзале был в упор застрелен белогвардейцем советский дипломат Петр Войков? или чуть раньше, когда провокационный налет на нашу торговую организацию в Лондоне привел к новому разрыву англо-советских отношений? или еще по какому-то поводу? — в те годы провокаций хватало...

Вечерело, с пасмурного неба сыпал редкий, ленивый то ли дождик, то ли мокрый снежок, Дворцовую площадь, заполненную демонстрантами, пронизывали беглые лучи прожекторов, все окрашивая в призрачную голубизну, мы шли комсомольской колонной прямо навстречу голубым лучам, и выкрикивали сокрушительные лозунги, и пели «Варшавянку», и дружно скандировали слова, заимствованные у Блока (или Блок заимствовал их у революции?):

Мы на го-ре всем бур-жуям
Ми-ро-вой по-жар раз-дуем!

Затем насмешливой скороговоркой, с очень звучным окончанием:

Мяровой пожар горит
Буржу-а-зия ддррожит —
А-а-пчхи!!

В задорном «а-а-пчхи» не было веселости, а было презрение к организаторам провокаций и убийств. Какие бы новые опасности ни нависали над нами, мы чувствовали свою силу, силу своей революционной страны, и шумными колоннами выходили на улицы, чтобы дать отпор лордам, панам-пилсудчикам и всякой антисоветской нечисти, и собирали деньги — копейка к копейке, рубль к рублю — на строительство самолетов «Наш ответ Чемберлену!». В капиталистическом окружении мы все же не чувствовали себя окруженными — разве рабочий класс в Англии, во Франции, в Германии не с нами? Разве всякие черчилли и чемберлены не вынуждены считаться с мощным движением народов «Руки прочь от России!»? Разве не возникают партии коммунистов и молодежные коммунистические организации во всех странах, на всех континентах?

В первый год моей учебы, осенью 1922 года, нас взбудоражила весть о том, что конгресс Коминтерна откроется в Петрограде и несколько дней будет заседать тут, а уж потом переедет в Москву. Конгресс Коминтерна! Я бы себе не простила, если б не попыталась попасть туда хоть ненадолго, если б не сумела увидеть делегатов конгресса, людей, которые добровольно и осознанно обрекли себя на жизнь тревожную и опасную, на тюрьмы и пытки, на преследования и казни... И среди них будет Ленин, может, удастся услышать его — где и когда еще представится случай услышать или хотя бы увидеть Ленина!

— Надо пробраться!

— Надо, но как?

Вызвалась рискнуть со мною Лелька. Мы жили еще врозь, но уже выделили друг друга из общей студенческой компании; был тот неясный, трепетный период зарождения дружбы, когда два человека предчувствуют нарастающее сближение, но еще не сблизились, не узнали как следует друг друга и вот приглядываются, вслушиваются, нащупывают точки соприкосновения, доброжелательно обходят камни преткновения, день за днем бессознательно проверяют друг друга — что ты можешь и как понимаешь то, что меня волнует, хорошо ли нам вместе, возникает ли тот безмолвный контакт, без которого ни дела, ни шалости не получится. С Лелькой у нас получалось все.

— Пойдем к вечеру, днем не пробраться, — рассудила Лелька.

Конгресс заседал на Петроградской, в здании Народного дома. В ранних ноябрьских сумерках мы бесечно устремились к нему, но уже на дальних подступах оказались в густой толпе. Крепко сцепив пальцы, чтоб не потеряться, мы ввинчивались в толпу, боком проскальзывали между людьми или, согнувшись дугой, пробирались под их локтями. Где-то впереди был проход, по которому шли на конгресс делегаты и счастливицы, получившие гостевые билеты, но мы не могли туда пробиться, только видели, что люди тянут головы, становясь на цыпочки, и слышали голоса:

— Смотрите, негр!

— А вон индусы идут! Индусы! Индусы!

— Смотрите, старуха!

— Какая старуха? Это же Клара Цеткин!

— Где? Где?

— Да совсем не она, что, фотографий не видели?

— А вот французы, конечно французы, слышите, говорят!

— Да не французы, итальянцы!

В отчаянии от того, что пропускаем самое интересное, мы продирались вперед, но передние ряды сами держали строй и дисциплину, на нас несколько раз цыкнули:

— Куда лезете? А ну, девчонки, марш отсюда!

Мы подались в сторону и оказались зажатыми в кольце толпы, сдерживаемой сплошным заслоном конной милиции, а может, и не милиции, а красноармейцев-кавалеристов, мы не очень-то разбирались в формах. Сумерки тут, в стороне от входа, были гуще, но это нас и прельщало. Толпа напирала, всадники крутились на своих нервных конях и страдающими голосами уговаривали напирающих:

— Ну куда? Куда? Товарищи, поимейте сознательность! Ну куда вы под копыта? То-ва-ри-щи, осадите, похорошему прошу! Сто-ой, говорю!

Мы прибились к группе людей, особенно рьяно пытавшихся преодолеть кавалерийский заслон, и тут Лелька дернула меня за руку — не сговариваясь мы нырнули прямо под брюхо коня, в страшноватый промежуток между двумя парами нервно пританцовывающих ног с такими внушительными копытами: ушибет — тут тебе и крышка! На миг пахнуло конским потом, кожей, сапожной

ваксой от сапога, на который мы чуть не напоролпсь,— и мы уже на той стороне и нужно бежать, бежать, пока нас не заметили...

Бежали мы не одни, то тут, то там мелькали такие же, как мы, «прорвавшиеся». Но у главного входа шла проверка пропусков, и Лелька рванула меня прочь — в обход, где-то должны же быть еще двери!

Еще дверь мы нашли, там стоял рабочий парень с повязкой на рукаве, он преградил нам путь и довольно добродушно сказал, что без пропуска нельзя, идите домой, девчата.

— Протри глаза,— сердито сказала Лелька,— стенографистки мы, нас ждут!

— По телефону вызвали, французов стенографировать,— добавила я и, мобилизовав все свои знания, произнесла по-французски довольно длинную, хотя и бессмысленную фразу.

— Так вам же должны были пропуска...— растерянно сопротивлялся парень.

— Ты лучше покажи, где секретариат,— совсем сердито сказала Лелька,— ведь опаздываем, нас ожидают, можешь ты понять? Французы!

Парень не знал, где секретариат.

— Должен знать, раз поставлен тут,— сказала Лелька, и мы прошли мимо сконфуженного парня и поторопились как можно скорее затеряться среди людей, сновавших по коридору.

В зал мы попали как-то неожиданно. Прижались к стене и постарались впечататься в нее, чтоб не привлечь внимания. Большой зал был полон, но мы видели только затылки сидящих — много-много затылков — и лишь иногда чей-то профиль, склонившийся к соседу. Очень далеко от нас, на сцене, за длинным красным столом сидело много людей — президиум. Мы напрягали зрение, стараясь хоть кого-либо разглядеть. Увидели седую женщину — может, это и есть Клара Цеткин, бесстрашная немецкая коммунистка?.. Искали знакомую фигуру Ленина, его подвижное лицо с высоким лбом, но, как ни старались, не нашли. На трибуне кто-то говорил по-испански, говорил негромко, до нас доносились только звуки голоса, да и не понимали мы по-испански. Когда он наконец закончил речь, вышел переводчик и начал переводить на английский, а может, это был уже следующий оратор, англичанин, мы не знали. Скучно было стоять и

слушать незнакомую речь. Мы усиленно разглядывали сидящих в зале делегатов, где-то далеко увидели двух темнолицых людей, возможно негров, еще увидели — издалека не разглядеть — голову в тюрбане, какие посят на Востоке, но, в общем, сидели в зале самые обычные люди, ничем не отличающиеся от наших, слушали ораторов, некоторые что-то запесывали, некоторые переговаривались, трое поднялись и тихо прошли мимо нас, доставшая папиросы, но папиросные коробки оказались советские, «Ява».

Ленина не было.

Рядом с нами у стены стояли еще люди — может, прорвавшиеся так же, как мы, может быть, гости или служащие? Хотелось спросить их, где Ленин, но страшно было, что они, в свою очередь, спросят, кто мы такие.

Уже говорил третий или четвертый оратор, когда в зал вошли и, не желая проходить вперед во время речи, остановились совсем близко от нас два явных иностранца — лица как лица, могли быть и русскими, но самые обычные, отнюдь не новые костюмы были все же не наши и галстуки не такие, как у нас.

Решившись, я придвинулась к одному из них и отчетливо, хотя и шепотом произнесла короткую французскую фразу:

— Камарад, у э Ленин? (Товарищ, где Ленин?)

Иностранец моего французского не понял, но уловил — Ленин. Заулыбался, зажестиковал и ответил английской фразой, из которой я поняла только «ну» (нет) и еще «Москау» (Москва). Ленин в Москве. Они увидят и услышат Ленина в Москве. А я не увижу и не услышу...

Мы ушли разочарованными, но в общежитии оказались героинями дня: подумать только, пробралась на конгресс Коминтерна!

— А Ленина видели?

— Он же в Москве, будет выступать, когда конгресс переедет в Москву, — отвечала я так, будто это было давно известно.

— А кого видели?

— Всех видели! И Клару Цеткин, в президиуме.

— Кажется, это была она, — сказала Лелька. И кинула на меня такой пронзительный взгляд, что я остереглась хвастать дальше. Это она умела, Лелька, — одним взглядом поставить на место.

Замечательным человечком была она, золотая подружка моих недолгих студенческих лет! Маленькая, русоволосая, с большими серыми, с голубым отливом глазами, с кротким, но порой и непререкаемо-твердым голоском, Лелька обладала редкой и неиссякаемой добротой. В общежитии она была всем и по всяким поводам нужна, в нашу дверь постоянно стучали:

— Леленька, хоть чего-нибудь до стипендии!

Лелька притворно ворчала: «Беспутная голова, никогда у тебя не хватает!» — и обязательно чем-нибудь вырочала — хлеба отрежет или отсыплет пшена.

— Лелечка, ты не дашь свои чулки на вечер? Я острожно...

— Свои пробегала? Каждый вечер свиданки, разве напасешься!

Но девчонка, бегавшая каждый вечер на свидания, тут же натягивала Лелины паутинки — единственные.

— Лелик, можно тебя на минуту?

Парень выглядел несчастным, я уже догадывалась: его ветреная невеста, которая жила в общежитии на Кирочной, ушла с кем-то гулять, а то и вообще не ночевала дома.

— Горюшко ты луковое, — говорила Лелька и шла с ним в переднюю, где возле окна обычно происходили секретные разговоры.

Вернувшись после долгого объяснения, она тихонько ворчала себе под нос:

— Растяпа чертов, накрутил бы ей хвост, а то ходит-вздыхает, вот она и выкамаривается, гулена, знает, что он никуда не денется, я ему так и сказала: не ходи, пока сама не прибежит.

Поворчав, Лелька все же выполняла просьбу влюбленного — отправлялась на Кирочную и «накручивала хвост» гулене.

Миша сердился, что все кому ни вздумается эксплуатируют Лельку, но, думаю, сам очень ценил ее безотказную доброту и всегдашнее благорасположение к людям. Поклонников у Лельки не было, возле нее слишком твердо стоял Миша. Лелька была из тех девушек, которых нельзя не приметить, но если первой мыслью было: «Какая милая девушка!» — то вторая мысль наверняка возникала серьезная: «Хорошо иметь такую жену!» Она была создана для того, чтобы вить прочное гнездо, затеять с нею летучий роман вряд ли кому-нибудь приходило в голову.

Лелька выросла в небольшом горьдке Лодейное Поле, в учительской семье, и с детства вобрала в себя чудесные черты, отличавшие лучших представителей русской провинциальной интеллигенции,— трудолюбие и совесть, тягу к культуре, которой так не хватало вокруг, и самоотверженную готовность служить людям. Вероятно, из нее получился бы прекрасный педагог, но жизнь судила иначе: еще студенткой Леля вышла замуж за Мишу («Понимаешь, я бы подождала до окончания института, но Мише трудно!»), затем родила ребенка, через год — двойняшек («Миша в восторге — интересно наблюдать, как они растут вместе, копируют каждое движение друг друга, он говорит: а если тройняшки, еще занятней, наверно! А я говорю: спасибо, только рожай и выхаживай сам!»)... Когда я навестила их уже после войны, Леленька и Миша были густо окружены своим подростком потомством, и так мило выглядела моя давняя подруга в роли матери семейства — кругленькая, седеющая, бесконечно добрая, всеми своими нежно любимая и всеми своими как бы незаметно, ласково, но и твердо руководящая.

Надо сказать, что при всей кротости своего белокуро-сероглазого облика, при всей нежности звонкого голоса и мягкости характера Лелька отнюдь не была безответной тихоней, она охотно откликнулась на любую озорную затею, любила посмеяться и напроказить, а язычок ее был остер и, когда нужно, беспощаден. Упорства у нее хватало — ведь именно она без колебаний потянула меня под брюхо коня, раз уж решили пробиваться!.. К моим поклонникам она относилась с насмешливой терпимостью, к Пальке Соколову благоволила, так как видела — парень любит всерьез, а уж что я влюблена без памяти, тут и догадливости не требовалось; приглядываясь к Пальке, она понимала его трудную душевную жизнь, пожалуй, лучше, чем я, сочувствовала ему, но иногда и мне: «Ох, Верушка, намучаешься с ним!» Зато мой летучий флирт с лесником Шуркой приводил ее в ярость, Шурка это понимал, трусливо избегал ее и пуще всего боялся ее насмешек. Случилось так, что к нам в общежитие кто-то привел черноглазую девушку с гитарой, она пела цыганские романсы и переглядывалась с Шуркой, а когда спела: «Я — цыганка, моя любовь страстью дышит, волнует кровь...» — Шурка прирос к ней и потом пошел провожать и недели две бегал за ней, начисто за-

быв обо мне. Мое самолюбие было уязвлено, хотя, в общем-то, Шурка был мне совсем не нужен. Лелька видела это (она всегда и все примечала), посмеивалась и на правах старшей (года на четыре!) поучала меня:

— Переметнулся — и слава богу! А завтра другая споет: «Дышала ночь восторгом сладострастья» — он за нею начнет ухлестывать. Шаромыжник!

Забегая вперед, расскажу историю, случившуюся несколько позже, когда я поселилась с мамой, переехавшей в Питер, а Лелька с Мишей жили в общежитии на Кирочной, где им выделили комнату. В то время мы встречались реже, Лелька ждала ребенка и была погружена в семейные заботы, совершенно чуждые моему девичьему легкомыслию. Но время от времени я к молодым супругам забегала. Однажды Лелька и Миша предупредили меня, что «шаромыжник» Шурка хвастается, якобы одержал надо мною «полную победу», а потом отошел, «чтобы не быть вынужденным жениться». Мише об этом рассказали его товарищи. Лелька предлагала — пойду к нему вдвоем с Мишей и отругаю! Но ведь Шурка может отпереться или намекнуть, что Леся не знает, что было, а чего не было.

— Не нужно, я сама.

Шурка время от времени появлялся на моем горизонте и не раз напрашивался в гости. Вот я и попросила Лельку передать, что приглашаю Лису и Шурку к себе, и назначила час, когда мама уходила давать уроки, потому что мама была бы единственным свидетелем, который лишний.

Решение было скоропалительным. Если б дала себе время подумать, не посмела бы. Шурка — опытный, хитрый, оба парня старше меня лет на шесть, да и тема... ох, какая трудная тема...

Ну и волновалась же я перед назначенным часом!

Приятели пришли торжественные, при галстуках. Нужно было «брать быка за рога», стоит расслабиться — пропадешь. Я их усадила на диван, села перед ними на стул и, обращаясь больше к Лису, чем к Шурке, без вступления жестко повторила все, что мне стало известно, и точно определила качество подобного хвастовства. Пока говорила, смотрела в стенку, чтобы не сбиться, а тут глянула на Шурку... Господи! Посерел, глаза бегают, куда весь апломб подевался, мозгляк мозгляком! И как он мог нравиться мне?! Как я могла жалеть, что Палька

не умеет так красиво ухаживать?! Ведь все — фальшь. Для дур вроде меня!

Мне стала противна собственная глупость, захотелось поскорее кончить трудный разговор, и я обратилась уже к Лису:

— Ты знаешь, Лис, что ничего похожего не было. Я уверена, тебе стыдно за Шурку. Поэтому скажи ему сам все что надо и скажи ребятам в общежитии, что Шурка наврал и нахвастался. Вот и все.

Затем я встала, как королева, закончившая аудиенцию. Отмела попытки Шурки объясниться и проводила их до выхода, подав руку только Лису. А когда закрыла за ними дверь, почувствовала страшную усталость, словно подняла непосильную тяжесть, и сделала то лучшее, что получается только в юности: прикорнула на диване и немедленно заснула. Вернувшись с уроков мама была крайне удивлена, увидев меня крепко спящей, и еле добудилась, чтобы спросить:

— Заболела?

— Ой нет, как раз наоборот! — ответила я таким счастливым голосом, что мама весь вечер подозрительно на меня посматривала и как бы невзначай выясняла, не заходил ли сегодня Палька Соколов.

Лелька пришла в восторг от моей королевской «аудиенции» и не преминула сказать Шурке при немалом количестве свидетелей:

— Ну что, шаромыжник, получил пощечину? Поделом, не ври, а то и мы с Мишей добавим.

— Последняя сцена последнего акта, — смеялась она потом.

Мы с Лелькой жили в кругу представлений, навеянных театром.

К театру мы приобщились в первый же год начавшейся дружбы, когда никаких средств для этого у нас не было, кроме ловкости и смелости. Путь во все театральные залы нам подсказала удача с проникновением на конгресс Коминтерна — уж если и туда попали!.. Принцип был ясен — без билетов. Постепенно мы превратили наши вылазки в своеобразный спорт: зайцем на трамвае до театра, зайцем в театр и зайцем же на трамвае домой. Мы так втянулись в этот вид спорта, что однажды в Марининке, проникнув в ложу бенуара, где очень милые молодые люди не только усадили нас впереди, на лучшие места, но и набивались потом в провожатые, мы

категорически отказались от симпатичных провожатых, боясь, что они захотят заплатить за трамвайные билеты.

В театры мы попадали так: проскочив в гардероб и сдав пальто, бежали на галерку, там контроль был куда снисходительней, чем у дверей в партер, которые неотлучно охраняли уцелевшие еще от времени старого, императорского театра (может, так нам представлялось?), солидные капелддинеры в ливреях с позуменгами, по Лелькиному — «пантеры»; с галерки, перевесившись через борт, мы пристрастно изучали публику в ложах бенуара и бельэтажа — психологическая задача заключалась в том, чтобы не нарваться на нэпманов или на чопорных мешчан, а угадать людей веселых, без гонора, любящих искусство; выбрав подходящую ложу и определив, под каким номером ее искать, мы шли вниз и чинно прогуливались по коридорчику вдоль лож, приучая «пантеру» к виду двух мирно беседующих девушек, беспорно обеспеченных билетами; гуляя, мы дожидались минуты, когда «пантера» отвернется, проскальзывали в нужную ложу и скромненько просили разрешения постоять у стенки, никого не беспокоя, так как с наших мест на галерке ничего не видно. Психологическим чутьем природа нас не обделила, я не помню случая, чтобы нас прогнали.

Начали мы с Мариинского театра — ныне это Академический театр оперы и балета имени Кирова. Сперва нас повела туда любознательность, потом я по-новому полюбила музыку, открыв для себя прелесть вокального искусства, то пиршество голосов, какое дает опера, когда выделяются, спорят, сливаются воедино и вновь вырываются на простор великолепные, заполняющие весь зал мужские и женские голоса, а затем вступает хор с его чудесным многоголосьем, таким выразительным, что за несколькими десятками поющих людей ощущаешь толпу, народ с его многоликостью и единством, и все это объединяется оркестром, именно он ведет и организует всю сложность музыкальной жизни — жизни, полной действия, любви и страданий, борьбы и решений, которая разворачивалась на сцене и через такую необычную, захватывающую форму выражения доходила до твоего стесненного волнением сердца. «Риголетто», «Аида», «Чио-Чио-Сан», «Лоэнгрин», «Риенци», «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Травата», «Зигфрид», «Кармен», «Дон-Жуан», «Тангейзер»... Вагнер, Чайковский, Моцарт, Пуччини, Бизе, Рахманинов, Верди...

Хрустальная колоратура Горской и глубокое меццо-сопрано молодой Максаковой, сочный баритон Сливинского, мощный бас Рейзена и безукоризненное искусство стареющего Ершова... Ершов уже расставался с оперной сценой и в «Лоэнгрине» (своем знаменитом «Лоэнгрине»!) прощался с публикой, которой он доставил столько радости и которая так благодарно, со слезами, с цветами провожала его... А через год он все же выступил еще раз, не устояло сердце большого артиста, и снова был «Лоэнгрин»... Мы и второй раз проникли на прощальное выступление Ершова, в публике говорили, что у него иногда срывается голос, «дает петуха» на верхних нотах, и я с таким тревожным сочувствием слушала его и так волновалась, когда его уже ослабевший голос брал верхние ноты, что у меня от напряжения заболело горло, но никаких «петухов» не было, осталась радость от встречи с чарующим талантом.

Как ни странно, ни я, ни Лелька не тянулись к балету, может, не научились понимать его язык. Балет ассоциировался у нас с императорской сценой, с придворными балетоманами в первых рядах партера, с услаждающим зрелищем для пресыщенных людей. Хорошо это или плохо, но так было. И по-настоящему я «открыла» для себя балет только несколько лет спустя, когда появился могучий Вахтанг Чабукиани и гениальная Уланова, «обыкновенная богиня», как ее называли. Впервые я увидела ее в «Жизели» — в первом акте она жила так естественно, что я даже не заметила, танцует ли она, а во втором, на кладбище, после скольжения и кружения балерин — «девичьих душ», казавшихся бесплотными, вылетела на сцену Уланова, будто и не касаясь пола, и все другие танцовщицы показались тяжелыми... Но это было уже в начале тридцатых годов.

А в первой половине двадцатых, бегая по очереди то в один, то в другой оперный театр, так что за два года прослушали весь их репертуар, мы с Лелей озирались и прислушивались, где и что возникает интересное, новое. В новизне революционных лет очень хотелось и новизны в театрах, а она еще только зарождалась, — сейчас странно вспоминать, что еще не заявили о себе новые, советские композиторы и драматурги, еще учился в школе Шостакович, не появилось ни одной советской оперы... Правда, была попытка использовать музыку Пуччини и по повому либретто переделать «Тоску» в

оперу о парижских коммунарах, но сама идея была порочной, «Борьба за коммуны» сошла со сцены.

Мы скоро разобрались в том, что новые веяния и поиски сосредоточились не в Мариинке, а в молодом коллективе бывшего Михайловского театра, ныне Малого театра оперы и балета. До революции это был императорский французский театр, в дни революции французская труппа уехала на родину, а в помещении театра шли спектакли разных жанров — оперы, оперетты и даже драматические спектакли. Уже приобретало известность имя дирижера Самосуда, сделавшего для нового оперного коллектива и для создания нового репертуара так много, что театр стали называть «лабораторией советской оперы». В первой половине двадцатых годов его усилия еще не выявились, мы просто чувствовали, что в Михайловском как-то свежее, интересней, и бегали на все спектакли подряд, на «Майскую ночь» и на «Фауста», на «Корневицкие колокола» и «Сказки Гофмана», на «Золотого петушка» и «Похищение из сераля»...

Именно в этом здании я пережила одно из самых сильных театральных впечатлений той поры.

«Эуген несчастный» Э. Толлера. Мы понятия не имели, кто такой Толлер, и пробрались на спектакль, даже не зная, что это не опера, а драма немецкого драматурга, исполняемая актерами Александринки во главе с Вивьеном и Рашевской. Поднялся занавес — и перед нами предстала жизнь, подлинная жизнь не каких-то там прошлых веков, а современная, сегодняшняя, послевоенная, с трагедией солдата, тяжело раненного в пах и вернувшегося домой к любимой и любящей молоденькой жене... Мы были потрясены страданиями этих двух несчастных, потрясены игрой Вивьена—Эугена, потрясены и самой постановкой и декорациями — тогда это было неожиданно: домик в разрезе со спальней супругов на втором этаже и уходящие в глубину тесные улочки со светящимися окнами...

После «Эугена» мы кинулись в драматические театры, не оставляя оперу, так что пришлось «театралить» чуть ли не каждый вечер. Сперва мы повадились в Александринку (ныне Театр имени Пушкина), чтобы увидеть в других ролях Вивьена. Таких потрясающих душу современных пьес больше не встретили, но влюбились в актрису Тиме и ради нее ходили не только на все спектакли Александринки, в которых она играла, но и в

Театр оперетты (жанр, с юности мною отвергаемый): она умудрялась, совмещая работу в двух театрах, выступать в «Сильве» и «Веселой вдове», да так, что я забывала о своем неприятии жанра. Когда Тиме была на сцене, я смотрела только на нее, бывает же такое, думала я, в одной женщине — все: красива, неотразимо обаятельна, пластична, чудесно поет, непринужденно танцует и при этом талантливая актриса!

И еще одну актрису мы полюбили так, что бегали смотреть на нее в самых посредственных салонных пьесах, в основном французских, которые шли в театре Сабурова или «Пассаже» (там, где теперь Театр имени Комиссаржевской). Вот некоторые названия тех пьес: «Заза», «Женщина без упрека», «Так пробуждалась любовь», «Нежность», «Школа богинь», «Наряды и женщины», «Женщина в 40 лет»... и еще «Ревность» Арцыбашева. Во всех этих пьесах главные роли играла Елена Мавриковна Грановская. Было ей в то время далеко за сорок, она была несколько полна для ролей молоденьких женщин, тогдашняя мода на короткие юбки еще подчеркивала полноту. Девчонкам нашего возраста, склонным считать тридцатилетних старыми и насмешничать над «толстухами», Грановская в первые минуты показалась именно «старухой и толстухой», но такова была сила ее необыкновенного и своеобразного таланта, что через несколько минут первое впечатление отлетело, чтобы никогда не возвращаться, мы видели Грановскую такой, какой она хотела быть, и если она играла юную влюбленную — мы видели юную влюбленную, если она играла актрису варьете в расцвете очарования и успеха — мы видели ее именно такой... Особо чаровал ее голос — звучный, глубокий, чуткий ко всем оттенкам чувств.

К нашей чести, мы с Лелькой были восприимчивы к истинному таланту, но никогда не вливались в толпу истерических поклонниц модных теноров и героев-любовников. А при всем восхищении талантами все же умели заметить посредственность многих пьес, в которых — или вопреки которым — эти таланты покоряли зрителей. Как и большинству молодых людей первого революционного поколения, нам хотелось *своего* искусства, спектаклей если не о нас самих (до этого было еще далеко, несколько лет!), то хотя бы откликающихся на проблемы времени, на чувства сегодняшние, а не позапозавчерашние. Мы бегали в Большой драматический, новый

театр, основанный Луначарским, Горьким и Александром Блоком, и восторженно рукоплескали шиллеровским «Разбойникам» и шекспировскому «Юлию Цезарю», потому что они были насыщены бунтарским духом.

Еще одно сильное театральное впечатление тех лет — спектакль «Самое главное» в небольшом, недавно возникшем театре, называвшемся не то Театром революционной сатиры, не то «Вольной комедией». Пьеса была написана одним из популярных в те дни театральных деятелей, Евреиновым, поставил ее тоже популярный и очень работоспособный, энергичный и талантливый режиссер Николай Петров, успевавший ставить спектакль за спектаклем в двух театрах. Всего содержания этой пьесы не помню, но была там тема искренности и естественности, действующие лица уславливались, что каждый будет вести себя так, как ему хочется, без притворств и вранья. И начались неожиданные поступки, серьезные и смешные, — помню, кто-то из героев немедленно снял тесные ботинки... После «Самого главного» у нас в общезжитии бытовала игра (или испытание?) — чего ты сейчас хочешь? что бы ты сейчас сделал?..

Когда возникло диковинное театральное предприятие, объявившее себя Фабрикой эксцентрического актера, мы были готовы хоть на животе вползти в заветный зал, но на первую их постановку не попали, знали только, что она называлась «трюком в трех актах „Женитьба“» и что там гоголевская комедия сочетается с клоунадой, пантомимой и еще «черт-те с чем». На вторую постановку фэкссов мы попасть сумели. Называлась она «Внешторг на Эйфелевой башне», вместо режиссеров было обозначено: «Машинисты спектакля Григорий Козинцев и Леонид Трауберг»; в чем там было дело, за давностью лет забыла, но был острый треп и всяческая эксцентрика вокруг важной темы, все это казалось ново и захватывающе интересно. Но ФЭКС как театр не удержался, а «машинисты» ушли делать советский кинематограф — и вскоре появился их приключенческий фильм «Похождения Октябрины», затем еще фильмы, а затем знаменитая, до сих пор известная и любимая зрителями трилогия о Максиме...

В то беспокойное послереволюционное время по-ленински мудро и твердо осуществлялась партийная политика в искусстве: бережно сохранялась классика и все лучшее, созданное дореволюционным искусством, под-

держивались старые театры и актеры старой школы, и в то же время давался широкий простор для поисков и опытов — возникали десятки театров и театриков, студий и школ, режиссерская молодежь вместе с молодежью актерской задумывала и ставила пьесы, инсценировки, «агитдействия», перелицовывала на новый лад классику, что-то ниспровергала и высмеивала, что-то утверждала... Многие такие театры и направления (обычно начинавшие с пышного манифеста) существовали всего год-два, а то и несколько месяцев... Беды в этом не было: беспочвенное, надуманное смывалось волной жизни, а жизненное утверждалось и крепло, манифесты забывались, а талантливые находки звали к дальнейшему поиску. Во всем этом кипении была революция, строительство нового мира. «Мы наш, мы новый мир построим!» Были ошибки? Были! А где их не было? Эти были не из худших.

1923 год врезался в мою духовную жизнь двумя крупнейшими и счастливыми открытиями — я открыла для себя Мейерхольда и Маяковского.

В тот год в Москве развернулась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промысловая выставка — скромная предтеча нынешней ВДНХ. Внешкольный институт организовал студенческую экскурсию на выставку, и я впервые попала в Москву. Сама выставка помещалась там, где сейчас ЦПКО — Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, — по нынешним критериям она была довольно бедна, но тогда выглядела внушительно и поражала разнообразием: от племенных быков и первых сельскохозяйственных машин до художественных изделий из дерева и кости, до глиняной посуды и цветастых игрушек. Ночевали мы в каком-то общежитии и рано утром веселой стайкой спешили на выставку, все дотошно осматривали, попутно катались на «колесе» и на качелях, где-то там же по талонам кормились, а когда ноги отказывали, садились в круговой трамвай к открытому окну, на ветерок, вытягивали занемевшие ноги и совершали часовую поездку по всему кругу, возвращаясь к воротам выставки, благо экскурсантам представлялся бесплатный проезд в трамваях. В один из вечеров рядом с выставкой, в Нескучном саду, мы и увидели мейерхольдовскую «Землю дыбом».

Спектакль давали на открытом воздухе, в парке. Были ли там скамьи или зрители стояли — это не имело для меня значения, я согласилась бы стоять на одной ноге

или висеть на суку, лишь бы увидеть то, что происходило на странной деревянной конструкции, похожей на две площадки между фермами моста, — действие шло на обеих площадках, актеры влезали на верхнюю по лесенке, напоминающей корабельный трап или обычную стремянку, а спускались на нижнюю как акробаты. Это был спектакль о революции, поставленный революционно и яростно, с выдумкой, с юмором броским, грубым, рассчитанным на большие массы людей на больших площадях, насыщенный пафосом недавней гражданской войны — и горем, затрагивающим тоже большие массы людей. Зрители валились от хохота, когда император в расшитом мундире садился на горшок, после чего денщик, зажав нос, бегом уносил горшок с эмблемами императорской власти на боку; они бурно аплодировали, когда императора засовывали в мешок, и замирали, когда белое офицерье развязывало мешок и, опознав его величество, оказывало ему полагающиеся почести; и тут же снова раздавался неудержимый хохот, потому что выбегал повар с живым петухом под мышкой — для императорского обеда, — а петух вырывался, начинал метаться по площадке, и повар (его играл Эраст Гарин!) носился за ним, пытаясь поймать и каждый раз по-новому уморительно упуская петуха. И та же масса зрителей горестно замолкала, когда прямо на сцену — на площадку — выезжал настоящий грузовик с красным гробом и под скорбную музыку не только актеры — массы зрителей вздыхали, вытирали глаза, то тут, то там раздавались рыдания... Кто из тогдашних зрителей не терял близких и друзей в недавних боях! В герою революционных боев, лежавшем в красном гробу на грузовике, почти каждый видел кого-то своего, и горе сдавливало сердце, и слезы и рыдания рвались наружу...

Медленно уходили мы из Нескучного сада, слишком потрясенные, чтобы делиться впечатлениями. С этого часа я знала, что революционный театр уже есть, настоящее *наше* искусство уже есть, и каждый новый спектакль Мейерхольда был — *для меня*, и я вырывалась в Москву, пролезала сквозь кордоны милиции, когда мейерхольдовцы приезжали на гастроли, и вместе с толпами молодежи сминала контроль у входа, но ни одного спектакля не пропустила.

Никак не припомню, где я впервые увидела Маяковского — тогда ли в Москве, или в Питере, в Капелле, где потом не раз слушала его, или еще где-то. В памяти остался

темный занавес в глубине какой-то сцены, на фоне этого занавеса быстро входит Маяковский, смотрит в зал строго и придирчиво — кто, мол, такие и для чего столько вас набежало? Поглядев, снял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула — и начал читать стихи. «Мир огромишь мощью голоса, иду красивый, двадцатидвухлетний»... Нет, он тогда не читал «Облако в штанах», просто он был всем обликом и повадкой похож на эти строки и на другие оттуда же: «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется...»

Я знала, конечно, стихи Маяковского и некоторые из них любила — о лошади, упавшей на Кузнецком, о скрипке, о маме и испорченном немцами вечере, ну и, конечно, «Облако в штанах». Кое-что даже помнила наизусть. Но только с того вечера, когда я услышала самого Маяковского, я поняла, как надо его читать, почувствовала строй и дух его поэзии. Маяковский знал, что читателю трудно воспринимать его стихи, рожденные для неповторимой манеры чтения и мощного голоса самого поэта, знал — и выступал много, читал щедро: *приучал* к себе.

В том году вышла новая поэма Маяковского — «Про это». Мне повезло купить ее, тонкую книжку формата тетради, с женским большеглазым лицом на обложке и с несколькими листами фотомонтажей внутри; фотомонтажи были выразительны, необыкновенны, почти в каждом повторялась та же большеглазая женщина и фигура самого Маяковского. А поэма была про любовь. Что может быть привлекательней для семнадцатилетней? Я читала вслух и про себя, товарищам и наедине... О, эта любовь была велика, как сам Маяковский, и ревность и страдание были велики, как он сам, эта любовь противостояла мещанскому быту, пошлости и душевной тупости, она вырывалась из костности быта к каким-то вселенским масштабам...

Мы еще не успели освоить поэму, когда на поэта набросились со всех сторон, и справа, и слева. На него всегда ярились, но тут нападки были особо жестоки, собственные слова Маяковского «в этой теме и личной, и мелкой» обернули против него самого. В нападках ощущалась злоба, далекая от интересов поэзии. И была у критиков странная глухота: ведь даже нам, неискушенным юнцам, было очевидно, что вся поэма — рывок от мелкого и личного к большому и всеобщему!

Маяковского, по существу, обвиняли в том, что он *заметил* расцветшее, расплзающееся при нэпе самодовольное мещанство! А кто же его может не заметить, кроме самих мещан, думала я, и как можно победить мещанство, если делать вид, что его нет? Почему они не понимают, критики, что поэт, если он настоящий поэт революции, должен и замечать, и страдать оттого, что мещанство снова расплодилось и хочет сожрать все революционное, все чистое и большое?! Он же борется с ним ради того, «чтоб всей вселенной шла любовь»!

Соблазны

Какой ясной мне представлялась жизнь еще год-два назад! Подобно солдату у Джона Рида, я знала — «есть два класса — буржуазия и пролетариат...».

Все оказалось сложней. Запутанней. Мы презирали нэповскую накипь, лихорадочный разгул торгашества и спекуляции, но они обступали наши вольные студенческие острова — общежитие и институт, вынуждали нас соприкасаться с ними, проникали к нам соблазнами. Случалось, засасывали. А люди вокруг нас — и среди нас — были совсем не однозначны.

Институтская подружка зазвала меня к своей тетке — помочь выбрать шляпу.

— Шля-пу?!

— А что такого? Не век в платке бегать.

По дороге подружка объяснила: тетка всю жизнь работала мастерицей у мадам Софи, владелицы одного из самых шикарных шляпных магазинов. И сейчас работает там же на ту же дореволюционную хозяйку. Мадам — жуткая эксплуататорша, платит за шляпу гроши, а продает втридорога и все в свой карман. Если много заказов, тетка на вечер берет работу домой, ну и мастерит иной раз из остатков материала шляпы для племянниц, а то и продает втихаря.

Тетка была худенькая, седенькая, усталая — сразу видно, эксплуатируемое существо. Племяннице она обрадовалась, заодно и меня приветила, усадила пить чай со сдобными сухариками. Я уже готовила агитационный монолог о том, что надо бороться с эксплуатацией; если все мастерицы, работающие на мадам Софи, объединятся и... Но тетка меня опередила — начала рассказывать, что хо-

зьянка до революции ездила в Париж изучать последние модели и сама придумывала такие фасоны, что ее дамы и в Париже с успехом щеголяли перед французами. И сейчас, уверяла она, лучших шляп, чем у Софи, не найти, но кто их носит?! — она презрительно поморщилась — разве сейчас есть такие дамы, как прежде?!

— Самые знатные и красивые женщины Петербурга были нашими клиентками, — захлебываясь, продолжала она, — конечно, фасон мы никогда не повторяли, это уж само собой. Но однажды случился грех. Мадам придумала исключительную модель, вроде маленькой треуголки, как раз я и выполняла ее из сиреневого велюра. Для очень шикарной дамы. Правда, из полусвета, но красавица из красавиц и денег не считала — содержал ее миллионер, немец или швед, для Люси ничего не жалел. Одних шляп заказывала! — каждую неделю новую. Но сиреневую треуголку полюбила, уж очень к лицу была. Ну, прошел месяц, и мадам Софи не выдержала — повторила фасон для генеральши, да не простой генеральши — какая-то родственница царской фамилии. Дама совсем из другого круга, думали — пройдет. Конечно, и цвет, и материал другой, и отделка. И надо же было Люси поехать кататься — у нее собственный выезд был, — надела треуголку, а навстречу генеральша катит, и тоже в треуголке! Люси велит заворачивать, врывается в магазин, срывает шляпу и этой шляпой! — мадам Софи! — по щекам, по щекам, по щекам! «Ноги моей больше у вас не будет!» И верно, с месяц не приезжала, мадам ездила прощенья просить...

В рассказе эксплуатируемой тетки всего удивительней было то, что она считала расправу миллионеровой содержанки естественной и говорила о ней с восхищением, что она благоговела перед Люси, перед царской родственницей и другими прежними «настоящими» дамами.

Свой классово выдержанный монолог я оставила при себе. Но шляпами заинтересовалась — подружка перемерила все, какие были в работе у тетки. Одну, из черного бархата, и я примерила, не стерпела, но надела как-то не так; мастерица подошла, взъерошила мои волосы, повернула шляпу, чуть перекосила, чуть приспустила на одну бровь — и подтолкнула меня к зеркалу. В зеркале отразилось почти красивое, взрослое, совершенно незнакомое лицо. Я торопливо вернула себе обычное лицо — пусть менее красивое, но мое. Подружка осталась у тетки,

а я убежала. И все вспоминала упоенный теткин рассказ: «По щекам, по щекам, по щекам!»

Водопроводчик нашего дома — по моим понятиям, элемент пролетарский — весьма неохотно поднимался в общежитие, если засорилась раковина или потекла труба, он мог все разворотить и на два дня исчезнуть, оставив нас без воды. Пробовали усовестить его — разозлился и обозвал нас голытьбой. Зато как он лебезил перед толстопузым господином, занимавшим большую квартиру в бельэтаже! А дворники? Тоже ведь не буржуи! Но если прибежишь домой после полуночи и приходится звонить в дворницкую, дежурный дворник поглядит в окошко, увидит, что студенты, и заставит помаяться у запертых ворот — знает, от нас прибыли не будет. Однажды ночью, чтоб не слышать его воркотни, я решила перелезть через ворота и уже вскарабкалась на самый верх, уже занесла ногу через чугунные прутья, когда дворник возник под аркой ворот, без стеснений обругал меня, согнал назад, на улицу, и довел до слез, прежде чем впустил. А когда звонили жильцы состоятельные, дворники бежали к воротам рысью и, ловко подхватив чаевые, кланялись и желали спокойной ночи... Буржуйские прихвостни!

Голытьбой мы, конечно, и были, но голытьбой веселой. Впрочем, и в нашей неунывающей среде случались срывы.

В общежитие часто заходила студентка Ася, доводившаяся двоюродной сестрой одному из наших мальчишек. Более чем скромно одетую, тихонькую Асю окружал романтический ореол — не только потому, что хороша собой, с глазницами редкостного зеленого цвета, но и потому, что ее отец «начинал Волховстрой», проводя изыскания под проект, был хорошо знаком с Графтино (имя этого крупнейшего гидростроителя уже становилось легендарным), вел изыскания под строительство еще одной гидростанции — на Свири... но, заразившись тифом, умер год назад. Под влиянием отца Ася поступила в Электротехнический институт, о плане ГОЭЛРО говорила как о своем личном деле, да он и был ее личным делом, ее судьбой. Мы завидовали этой судьбе и были немного влюблены в Асю, наделяли ее самыми героическими чертами — строительница нового мира на самом нужном, наиглавнейшем участке работ! Зато ее брат называл нашу героиню Аськой, скептически пожимал плечами и как-то об-

ронил с горечью, что, дескать, разговоры разговорами, а после смерти дяди все в доме «пошло наперекосяк», теперь он туда «не ходок», какие-то они неприспособленные, Аська — тоже, вот погодите, побывает она на практике! Ася проходила практику на Волховстрое и вернулась оттуда растерянная, на расспросы отвечала нехотя — бараки... земляные работы... сезонники из деревни... стройке конца не видно... без сапог увязнешь в грязи...

Не прошло и двух недель, как она забежала к нам необычно бойкая, взвнчленная и беспечно-громким голосом сообщила, что выходит замуж.

— Асенька, поздравляем! Кто «он»?

Ася начала тем же беспечно-громким голосом: о-о, солидный человек, делец, ворочает крупными торговыми операциями... давно ухаживает, добивается... — и вдруг расплакалась.

— Ваш сосед? С пузом, с лысиной?! — охнул ее брат. — С ума сошла, Аська! Он же нэпман!

Мы обступили Асю, испуганные и удрученные, — неужели Ася действительно выйдет замуж за нэпмана?.. А она всхлипывала — и с неожиданной злобностью, с истеричной резкостью выворачивала перед нами руки, показывая заплаты на локтях, вскидывала свои маленькие ноги в прохудившихся туфлях:

— Вот! Вот! Штопка на штопке! И это еще лучшее! А туфли?! Могу я в таких ходить?! Устала! Не могу! Что хотите, не могу! Жить на одну стипендию! Мама ревет, все продала, трю-у-мо вчера вынесли! Какая учеба в голоду полезет?! Пусть что угодно, пусть старик, пусть нэпман, сам черт и дьявол, лишь бы... лишь бы...

Мы не поверили ей. Может, она с голоду? Собрали по комнатам все, что нашлось, накормили Асю, а пока она ела все подряд и запивала сладким чаем (даже сахару напши!), мы ее неторопливо угваривали — всего два курса ей осталось, два года можно перетерпеть, а губить жизнь из-за тряпок, из-за какого-то трюмо... Ася бормотала:

— Не знаю... не знаю... конечно, малодушие... я еще подумаю...

Виновато улыбалась нам. И ушла как ускользнула.

— Это все мамаша! — неистовствовал ее брат. — Всю жизнь за дядей благоденствовала, теперь за дочкой хочет!.. Все распродает, а прислугу держит, не может без прислуги, где уж барыне посуду мыть!

Ася больше не приходила. И брата не звала. Даже на свадьбу не позвала. Брат навел справки — институт она бросила. План ГОЭЛРО уже не был ее судьбой. Как мы ее презирали, отступницу!..

Той же зимой мы с Лелькой увидели Асю на Невском. В беличьей шубке и в треуголке ярко-зеленого, под цвет ее глаз, бархата (от мадам Софи?), в щегольских белых ботинках, она вышла из Елисеевского магазина, выставив перед собою руки в замшевых перчатках с расширенными крагами и растопырив пальцы, так как почти на каждом пальце висел пакет. Мы невольно остановились, нас отделяло от Аси всего несколько шагов. Ася заметила нас, споткнулась, мгновенно отвела взгляд, низко склонилась голову и почти бегом прошла мимо — вскочила в поджидавшие ее извозчичьи сани... Сани покатали прочь.

— Ох, несчастливый у нее вид, а, Леся?

— Да какое уж счастье, — сказала Лелька.

Не помню, в том ли году или в следующем вышла новая поэма Асеева «Лирическое отступление». Мы читали:

За эту вот площадь жплую,
За этот унылый уют
И мучат тебя, и целуют,
И шагу ступить не дают.

Ася, Ася, что ж ты с собой сделала?

Почти никто из студентов нашего общежития не получал существенной помощи из дому. Изредка с попутчиками прибывали посылки — немного крупы или муки, баночка топленого масла, иногда кулек сахара, чаще коробочка сахарина. Если кому-либо присылали новые брюки, или платье, или ботинки, смотреть и щупать покупку сбегались все, заставляли тут же надевать обновку, безжалостно щипали ее счастливого обладателя. А продовольственные дары съедали в тот же вечер все вместе — варили кашу или пекли лепешки, всласть чаевничали. Пировать в одиночку — кусок застрял бы в горле.

Две квартиры-мансарды нашего землячества разделяла лестничная площадка. Так вот во второй квартире жил студент, у которого водились деньги. Звали его Николай, Лелька прозвала его Сороковая Плешь, потому что его неизменно вспоминали, когда к списку тридцати девяти лысин нужна была последняя, решающая; педанты отво-

дили лысину Николая за неполноценность, но все же под негустыми волосами у него просвечивала изрядная плешина. Николай был старшекурсником, да и по возрасту выделялся среди других ребят, первые два курса закончил до революции. Я не помню случая, чтобы он принял участие в вечерних сборищах у камелька или в нехитрых прршествах по случаю чьей-либо посылки. Ни денег, ни посылок из дому он не получал, ребята говорили, что он в ссоре с матерью из-за отчима. Выгружать вагоны со студенческой артелью он тоже не ходил, но деньги у него бывали, одевался он добротнo, а когда временами исчезал из общежития до утра, надевал настоящий костюм-тройку, накрахмаленную рубашку и пестрый галстук.

Случалось, он заходил в нашу квартиру к однокурснику — взять или отдать учебник. Нам с Лелькой улыбался, вскользь бросал шутливые комплименты, иногда угощал конфетами. Но в глаза не смотрел. Вроде бы и смотрит на нас, а взгляд скользит мимо, или вбок, или вниз.

— Ты заметила, Лелька, он в глаза не смотрит!

— Интересно все же, откуда у него деньги? — задумчиво сказала Лелька.

Постепенно появление денег у Сороковой Плеша как-то связалось у нас с посещениями странной старухи в потертом плюшевом салопе. Старуха никогда не приходила с парадного хода, хотя во вторую квартиру был вход и с парадной; она шла двором, по черной лестнице и через нашу квартиру. Если в комнате находился кто-то из его сожителей, Николай выходил со старухой на лестницу и коротко с нею переговаривался, иногда спорил и горячился. Но чаще всего старуха приходила днем, когда он был один.

В смежной комнате (соединяющая их дверь была закрыта и даже заклеена) жили наши приятели, но беспечно растерявшие все ключи, а потому не запиравшие свою комнату совсем. Однажды вышло так, что они ушли в кино, а сразу после их ухода появилась старуха. Пропаркала мимо нас и удалилась во вторую квартиру. Распираемые любопытством, мы побежали туда же и забрались в комнату приятелей, прищкнув к заклеенной двери.

Слышно было плохо, но мы уловили, что Сороковая Плешь сердится и от чего-то отказывается. Старуха уговаривала его шепотом, тоже сердитым.

— А коньяк вы не считаете? — вдруг вскрикнула она.

И опять ничего не удавалось разобрать. Затем мужской голос перебил бормотанье старухи:

— Нет! Нет! Уж очень она... Не могу.

Отчетливо прозвучал ответ:

— Хорошо. Прибавим червонец. Хотя и так немало.

Мы ничего не поняли, но чувствовали, что происходит нечто мерзкое. Такое мерзкое, что потом не смотрят людям в глаза.

Когда пришел Лелькин Миша, мы ему все пересказали, требуя объяснений. Что стало с Мишей! Он побагровел от смущения и гнева, обозвал нас глупыми девчонками, сплетницами и даже шпионками, заявил, что «после этого» разговаривать с нами не хочет.

— Мишенька,— ласково прервала его ничуть не смущенная Лелька,— мы больше не будем. Но ты все-таки объясни.

— А я откуда знаю! — закричал Миша.

Но он знал или догадывался, это было видно. И так как понимал, что мы не отвяжемся, буркнул с явной досадой:

— Экие вы! Ну... что такое проституция, знаете? Так это мужская проституция. Присылает за ним какая-то... Да откуда я знаю! Болтают ребята, а мне наплевать! Слушать не хочу! Паскудство! И как вам не стыдно? Девочки, а интересуются черт знает чем. Пристали, как...

В следующий раз, когда Сороковая Плешь попробовал угостить нас конфетами, мы отказались и убежали. Не нужны нам его конфеты.

Ребятам удавалось подзаработать на товарной станции или в порту. Нам было хуже, в грузчики мы не годились. Где-то возле порта нанимали женщин на переборку и починку мешков, работа была грязная, а платили гроши. Лелька сразу отвергла ее:

— Пыли наглотаешься и последние одежки загубишь. Овчинка не стоит выделки.

Прошел слух, что в «Вечерней Красной газете» и просто на стенах и трубах бывают частные объявления — ищут репетиторов, преподавателей языков, сиделку к больному... Мы подкарауливали мальчишек-газетчиков и ходили по улицам зигзагами, от одного белого листка к другому, но ничего подходящего не попадалось.

Поевзело Сашеньке.

— Ой, ребята! — кричала она, влетая в общежитие. — Вы только послушайте! «Пожилой даме нужна чтица и компаньонка, часы вечерние, оплата по соглашению!» Как вы думаете, что такое компаньонка?

Сашенька была первокурсницей, приехала из маленького городка на севере Онежского озера, Повенца, где после смерти родителей жила с двумя немощными тетками. Она по-провинциальному жеманничала, за что ее высмеивали, всерьез боялась машин и трамваев, так что при переходе проспекта ее вели за руку как маленькую, была остроженно-наивна, но при этом не боялась никакой черной работы и обладала достаточным запасом практического смысла. Простенькие полотняные блузки она отстирывала, крахмалила и отглаживала так, что они выглядели нарядными и своей ослепительной белизной подчеркивали деревенскую, озерную свежесть ее миловидного лица с румянцем во всю щеку.

— Объявление только-только прилепили, еще клей не просох, — говорила она, показывая разорванный листок, — я его сцарапала с трубы, может, никто и не успел занисать адрес.

Все равно, рассудили мы, идти надо немедленно, чтобы никто не перехватил такую легкую и выгодную работу. В вечерние часы! — значит, можно ходить в институт, нормально учиться...

Сашенька надела самую ослепительную блузку и побежала на Морскую, где жила пожилая дама. А мы остались ждать ее и гадали, для чего компаньонка, куда будет с нею ходить (или ездить?) пожилая дама — на прогулку? в театры? в кино?

Сашенька пришла часа через три, ошеломленная счастьем. Дама без долгих разговоров наняла ее на работу и тут же заставила читать вслух. Сашенька очень старалась читать вятно и выразительно, дама одобрила. А книжка попала такая интересная! «Женщина, которая изобрела любовь». Какого-то иностранного писателя, кажется испанца. И все про любовь, про любовь... Читали час, потом дама расспрашивала Сашеньку, кто она и откуда приехала, есть ли родители, вернется ли к тетушкам, и даже... даже спросила, есть ли у нее молодой человек. Нет? Почему? Разве девушке одной не скучно?..

— Ну а дама, кто она? — строго спросила Лелька.

Сашенька фыркнула и тут же виновато сдержала смех.

— Она немного смешная. И зовут ее как-то дико — Эмилия Леонардовна. Вроде и старая, но в ушах серьги, платье модное, короткое, даже чулки блестящие, фильдекос. Комнаты богатые, мебели полно, зеркала и везде ее портреты — в платьях до полу, и с перьями на голове, и с такой прической, как башня. Говорит, была певицей, но влюбилась в гусарского офицера, он из-за нее вышел в отставку, и они убежали за границу и там прокутили ее бриллианты.

— А потом?

— Ну, я же не могла спрашивать, — сказала Сашенька, — в первый-то день! Может, как-нибудь и расскажет.

— А платить сколько будет?

Несмотря на свою наивность, в этом Сашенька проявила практическую сметку и твердо обусловила, что оплачивать ее будут по часам, от прихода до ухода, и платить раз в неделю. Сговорились — три часа в день, с шести до девяти вечера, а если пойдут в театр или в кафе, тогда и подольше. У дамы больные ноги и что-то со зрением, ее надо вести под руку и потом провожать до дверей квартиры.

Не помню, во сколько был оценен Сашенькин час, но мы углубились в подсчеты, прикинули несколько удлинненных вечеров на театры (!) и на кафе (!!) — вышло примерно полторы стипендии. Вот уж повезло так повезло!

Возвращаясь от своей дамы, Сашенька пересказывала нам очередные главы романа про женщину, которая избрела любовь. Чтение шло медленно, потому что Эмилия Леонардовна любила поболтать и неизменно рассказывала Сашеньке свои собственные романы — то это было в дореволюционном Петербурге, то в Париже, то в Монте-Карло, где она со своим другом, крупным помещиком, ночи напролет играла в рулетку.

— Это когда же? После гусара? — старались мы уточнить.

— Не знаю. Наверно, после.

— Бывалая дама, — определила Лелька, — ты уши-то не больно развешивай, все это буржуйский быт, понимаешь?

— Я не развешиваю, — обиделась Сашенька, — но ведь интересно!

— А когда она рассказывает, за это тоже плата идет?

— Конечно. От прихода до ухода, я и часы записываю.

— Видно, денег ей девать некуда, твоей Леонардовне.

Как бы там ни было, мы радовались Сашиной удаче и слегка завидовали ей — надо же, полторы стипендии за чтение и слушание любовных романов!

Через несколько дней Сашенька пришла взволнованная — Леонардовна велела завтра придеться, потому что они проведут вечер в кафе «Двенадцать» с ее старыми друзьями.

Собирали Сашеньку всем миром — Лелька дала свои чудом уцелевшие паутинки, кто-то дал туфли, я — свою бархатную блузку, еще кто-то — черную юбочку. Хотели надеть на Сашеньку пальто получше, но Сашенька наотрез отказалась — пальто сдают на вешалку, не все ли равно, старое или новое.

Ушла она на этот раз к восьми, а прибежала часов в десять в пальто параспашку, зареванная до того, что и глаз не было видно, только на нижних веках и на щеках потеки черной краски. От нее пахло вином и потом — опрометью бежала всю дорогу. Когда Сашенька скинула пальто, вместо моей блузки на ней оказалась длинная, ниже бедер, золотистая парчовая блуза с искусственной хризантемой на плече. Забыв, что в комнату набилось полно студентов, Сашенька с отвращением сорвала с себя парчовую блузу и повалилась на кровать, по-деревенски причитая и бранясь такими словами, каких никто от нее не слышал и даже не предполагал услышать. Лелька накапала валерьянки, прикрикнула на Сашеньку, заставила выпить, накинула на ее голые плечи одеяло.

— Ну а теперь рассказывай!

Из путаного, пополам со слезами и бранью рассказа выяснилось, что Леонардовна осудила мою блузку («Милая, это не модно!») и заставила надеть парчовую, якобы ее собственную («Видишь, какая я была тоненькая!»). Красить губы Сашенька отказалась, но подчеркнуть ресницы позволила: она всегда сокрушалась по поводу своих белесых ресниц, и ей было интересно посмотреть, пойдут ли ей черные. Еще как пошли! В кафе было шикарно, играла музыка, подали икру, семгу и какой-то «жульен» в маленьких кастрюлечках, а пирожных поставили целую вазу на ножке. И вина две бутылки. Старые друзья были действительно старые, лет под пятьдесят, двое уже седые, а один очень черный, с черными глазами, на жирной руке какое-то ожерелье или цепка, он сказал, что это четки. Сидел рядом с Сашенькой и перебирал четки, накла-

дывал ей икру и все остальное и наливал вина, уверяя, что оно совсем слабое, дамское, сладкое. И правда сладкое, но от него все перед глазами поплыло и на Сашеньку «напал смех» — что ни скажут, она смеется. Но тут вдруг черный опустил руку под стол и начал гладить ее колено, она отодвинулась и сказала: «Пожалуйста, уберите руку». Он убрал, а потом опять полез, очень нахально, она вско-чила, а Леонардовна сказала, что нечего разыгрывать не-дотрогу, это ее друг, очень добрый и богатый человек, и надо быть покладистой, когда ее так щедро угощают. Она сразу протрезвела и заявила, что хочет уйти, все стали ее стыдить, а Леонардовна сказала, что номерок у нее, и никуда Саша уйти не может, и вообще для голодранки у нее слишком много гонору, поломалась — и хватит наби-вать себе цену. Тут официант принес какое-то блюдо и начал раскладывать по тарелкам, а Сашенька побежала к выходу и стала просить ради бога скорей свсе пальто, гардеробщик не давал без номерка, она разревелась, и тог-да он дал ей пальто и сказал: «Беги, девонька. И чего же ты пошла с этой старой сводней!» Она побежала и всю дорогу редела в голос, так что все оборачивались, и даже проспект перебегала, не глядя ни вправо, ни влево...

На следующий день трое самых решительных студен-тов, завернув в газету парчовое чудо, пошли на Морскую к старой сводне и сказали ей все, что они о ней думают, забрали мою бархатную блузку и потребовали плату за проработанные Сашенькой часы. А что же Леонардовна? Она дрожащими пальцами отсчитала деньги и плаксиво уверяла, «что девочка дура, не поняла самых невинных шуток» и подвела ее, «поставила в немолокое положение перед друзьями и гардеробщиком».

На полученные деньги Сашенька купила блестящие чулки и... баночку туши для ресниц. Вечерами, когда по-сторонних не было, она подкрашивала свои белесые рес-нички и сидела перед зеркалом — любовалась собой. Но когда она влюбилась в самого решительного из троих ре-бят, ходивших к Леонардовне, тот убедил ее, что в свет-лых ресничках ее глаза гораздо милей, и вышвырнул тушь в форточку.

В том же году случилась беда с двумя нашими девуш-ками.

Женя и Лида были сестрами, обе пытались поступить в Театральный институт, но провалились. Женя устрои-лась в наш Внешкольный, а Лида в Педагогический.

Очень похожие одна на другую, высокие, светловолосые и светлоглазые, они были красивы и привлекали особой покойностью и плавностью движений, сдержанной неторопливостью речи. Тем страшнее было то, что с ними случилось.

Объявление гласило, что в меховой магазин на Невском приглашаются молодые девушки для работы продавщицами. Обеих сестер приняли. Хозяин магазина предупредил их, что покупателей бывает немного, но каждого надо принять как можно любезней и постараться что-либо продать, для этого он учил новых продавщиц накидывать на плечи меха, кутаться в палантины, примерять на себе любой самый дешевый воротник так, чтобы он выглядел изысканно. Кроме того, в обязанность продавщиц входило быть милыми хозяйками в задних комнатах магазина, куда приходят поставщики и другие деловые люди, — сервировать чай, заваривать кофе, делать бутерброды, угощать коньяком или винами. Оплата была по тому времени довольно высокая, а работа нетяжелая, за прилавком разрешалось сидеть и даже читать, но при входе покупателя нужно было немедленно встать и встретить его приветливой улыбкой.

Работать на эшмана? Было в этом что-то царапающее самолюбие, но когда вокруг столько безработных, выбирать не приходилось.

Я рассказала об удаче сестер Пальке Ссколову, он страшно посмотрел на меня и промолчал, но спустя какое-то время вдруг сказал:

— Если ты посмеешь пойти по такому объявлению...

Он не закончил, но тон был угрожающий.

Мы с Лелькой сбегали поглядеть — магазин роскошный, в витрине на плечах манекена соболиный палантин. В магазине было пусто, за прилавком сидела младшая из сестер, Лида, она вскочила и заученно улыбнулась навстречу, узнала нас и почему-то, густо покраснев, вынула из-под стекла и надела на себя меховой воротник.

— Я понимаю, вам нужно что-нибудь недорогое, — громко сказала она и добавила быстрым шепотом: — Ко мне приходить нельзя, не разрешается. — И снова громко: — Могу предложить белку или крота, они сейчас модны.

За нею в дверях появился пожилой мужчина в черном костюме, он приглядывался к покупательницам и к работе своей продавщицы.

— Я понимаю, вы зашли прицениться, — продолжала Лида, накидывая на себя то один воротник, то другой и

называя цены,— не стесняйтесь, я всегда подберу вам то, что вас устроит.

— Мы зайдем на днях, когда получим деньги,— сказала Лелька и потянула меня к выходу.

Ох, несладок нэнманский хлеб, говорили мы, шагая прочь.

Он оказался горше, чем мы думали. Вскоре сестры выехали из общежития, ни с кем толком не простясь. Свои институты они оставили еще раньше.

— Так и не поняла? — сказал Палька, когда я с удивлением сообщила ему об исчезновении сестер. — Ширма! меховой магазин — а позади нечто вроде публичного дома для избранной публики. Я уж подсказал кому надо, так ведь не подкопаешься, все шито-крыто, и сами девушки все отрицают, даже оскорбляются.

Куда делась младшая из сестер, мы так и не узнали, а Женя однажды вечером сама зашла в общежитие — «поглядеть, как вы тут живете». Она сидела, закинув ногу на ногу, чтобы разглядели ее замшевые высокие сапожки на тугой шнуровке (очень дорогие, самые дорогие сапожки!), она то скидывала с плеч, то снова накидывала черную лису с хищно оскаленной мордочкой и спокойно хвастала тем, что занимает отдельную двухкомнатную квартиру с балконом и ванной, что у нее приходящая прислуга, что летом она поедет отдыхать в Ялту.

— Ты что же... замуж вышла? — спросила наивная Сашенька.

Женя так же спокойно, с наглою усмешкой ответила, что нет, не вышла, но в нее сильно влюбился один меховщик, очень богатый коммерсант (она это слово произнесла с гордостью, — «коммерсант!»), он снял ей квартиру и создал все условия, у него семья, поэтому он приходит к ней раза три в неделю на два-три часа, к тому же часто уезжает закупать меха, так что это совсем не обременительно, если учесть все, что он для нее сделал, да и человек он довольно приятный.

— А жить вот так... — Она окинула взглядом и нас и скудное убранство комнаты. — Судите как хотите, но это не для меня.

— А что с Лидой? — жестко спросила Лелька.

По лицу Жени тенью прошла боль, а может, досада. Прошла — и растаяла.

— Пока в магазине.

Поворот разговора ей не понравился. Она встала и начала натягивать новые, еще тугие перчатки. Оглядела наши хмурые лица и невесело улыбнулась:

— Конечно, если б мы попали в Театральный, все повернулось бы иначе. А так... Пока молода, надо жить. И ушла.

В течение нескольких вечеров в общежитии бурлили споры: что значит «жить», и в чем смысл жизни вообще, и для чего нам дана молодость, и есть ли разница между Асей и Женей — обе продались, а мужу или не мужу, имеет это значение или нет? Как часто бывает в юношеских спорах, кричали все разом и во весь голос, но до конечной истины так и не доспорились, хотя, в общем-то, все осуждали и Женю, и Асю.

Лежа в постелях, мы с Лелькой вполголоса уточняли свою позицию и с тревогой вспоминали Лиду. Ну, Женя пробагоденствует с ванной и балконом, пока коммерсант не бросит ее или сам не вылетит в трубу. А Лида-то пропадет! Пойти к ней? Вмешаться? Убедить? Но как это сделать, если «все шито-крыто, и девушки все отрицают»?!

Когда Лелька засыпала, я еще некоторое время переживала и продумывала то новое, что мне открылось в эти месяцы питерской жизни. «Мы наш, мы новый мир построим!» — еще недавно представлялось, что построим быстро, в едином порыве. Оказалось — слишком, медленно и, кроме единого порыва сознательных, деятельных людей, есть всякие-разные люди, предпочитающие цепляться за старое, приспосабливаться к нэповской буржуазии, пусть она не очень-то прочна и уверена в себе, но урвать возле нее хоть что-то, урвать для себя лично, урвать на сегодня, а там будь что будет...

Меня озадачило появление Жени — недавняя студентка, землячка, она пришла к нам, к своим бывшим товарищам, покрасоваться нарядами и похвастать тем, что продается *дорого!* Было удивительно — такая перемена за каких-нибудь пять месяцев!.. Она уже не казалась красивой. Почему? Наряды оттеняли все, что следовало оттенить, ее природная красота должна была от этого выиграть. В чьих-то глазах, вероятно, и выигрывала. А в наших — потускнела. Значит, красота — понятие относительное и восприятие красоты одухотворяется или стирается нашим отношением к человеку в целом?.. Значит, без ощущения гармонии нет настоящей красоты?..

К нам с Лелькой соблазн проник завлекательным ритмом нового, входившего в моду танца — танго (в то время ударение делали на последнем слоге, так пелось в самом распространенном танго «Под знойным небом Аргентины», где «Джо влюбился в Кло» и «она плясала с ним в таверне для дикой и разгульной черни дразнящее танго»). Пришел этот танец на смену уже надоевшим уанстепу и тустепу и потряс наше воображение своей неистовостью. Нынешнее смирное танго не имеет ничего общего с тем, что тогда танцевалось. Кавалер перегибал свою даму пополам, раскручивал ее, как волчок, перекидывал через руку и бросал на пол, — кто видел прелестный старый фильм «Петер», тот помнит танго Франчески Гааль. На студенческих вечеринках танцевать новый танец не решались, да и попросту не умели. Зато на кухне общезнания!.. Бывало, готовим с Лелькой обед — пшеничную похлебку с картошкой или картофельную похлебку с пшеном. Лелька запекает звонким голосом «Аргентину», я вторю плохим контральто, подхватываю Лельку — и начинается! Ради полноты воплощения друг друга не щадили, случались и синяки, а случалось — подгорала похлебка и мы, забыв испанские страсти, кидались ее спасать.

Однажды пришел дворник:

— Опять на вас жалуются, что дрова в кухне швыряете.

Мы отрицались, показывали, что и дров-то у нас — всего ничего, кидать нечего. Не могли же мы признаться, что швыряем на пол друг друга!

Дворники относились к студентам как к напасти, свалившейся на их добронормальный дом, особенно после того, как из-за нас начали терять заработки.

Накануне рождественских праздников мы с Лелькой застigli у водосточной трубы интеллигентного старичка в пенсне, который пытался хлебным мякишем приклеить объявление. Прочитав через его плечо, что требуется уборщица для генеральной уборки квартиры, мы тут же вызвались произвести уборку быстро и чисто.

Квартира оказалась большая, загроможденная мебелью и книгами, старичок жил вдвоем с женой, которая каталась по комнатам в кресле-каталке и очень стеснялась своей болезни. Славные, приветливые люди. Мы старались зовсю и в два дня прямо-таки вылизали им квартиру. Наше старание было вознаграждено — старичок, видимо, похвалил нас соседке, и соседка, а за нею многие

другие хозяйки звали нас для предпраздничной уборки. Платили хорошо, иногда еще и кормили, но таких славных людей, как старичок с женой, больше не попадалось. Почти все хозяйки были нэпманши или похожие на нэпманш дородные дамы в очень коротких платьях и в блестящих светлых чулках на ногах-тумбах. Они ходили за нами из комнаты в комнату, чтобы мы ничего не украли, и тыкали туда-сюда толстыми пальцами в кольцах:

— Здесь вымойте получше, моя милая. А тут вы протерли?

Кроткая Лелька вздыхала: что ты хочешь, буржуи! Меня душил гнев: к черту такой заработок!

Но это все же была наша удача — получить столько работы сразу.

Заказы на уборку иссякали, когда нам снова подфартило: одному из нижних жильцов привезли воз дров, он еще не успел подрядить дворников, когда мы предложили свои услуги — распилить, расколоть и снести дрова на второй этаж (в то время дрова сразу несли домой, в кухню или в кладовку, боясь, что из подвала украдут). Чтобы нам не отказали, взяли мы дешево, меньше, чем брали дворники, — законы конкуренции! После этого нас начали нанимать и другие жильцы нижних этажей, мы здорово уставали, особенно от переноски дров по лестницам, но работа была приятной — на воздухе, без указующего перста, без общения с нэпманами и нэпманшами.

Теперь я понимаю, что в нижних этажах жили самые разные люди, многие, вероятно, заслуживали уважения, некоторые наверняка нанимали нас из сочувствия голодным студенткам... но тогда все сплошь казались нам буржуями, мы их презирали и даже с молодежью из этих роскошных квартир ни в какие отношения не вступали. А соблазн был...

В одной из комнат третьего этажа, глядевшей во двор, обнаружили два студента. Оба были привлекательны — один лучше другого. Весной мы слышали, как они поют в два голоса знакомые нам песни — «Шумит ночной Марсель, в притоне „Трех бродяг“», «Там, где Кржков канал» и «Быстры, как волны». Пели хорошо. По вечерам можно было наблюдать — они сидят под рыжим абажуром над учебниками, или склоняются над чертежами, или пьют из стаканов чай — а может быть, вино? Почему-то мы сразу определили, что они белоподкладочники. Правда, тужурок

они не носили, но, во-первых, снимали частную комнату, во-вторых, ходили в галстуках, что считалось у нас почти что буржуазным перерождением, в-третьих, иногда запевали по-латыни «Гаудеамус игитур» (в своем комсомольском максимализме мы почему-то забывали, что тоже иногда запеваем ее, и не замечали, что студенты, так же как мы, знают только первую строфу).

С началом весны парни превесело поглядывали на нас из открытого окна, когда мы появлялись на крыше, и пытались с нами заговаривать. Мы тоже поглядывали на них, но заигрывания решили «игнорировать». Очень-то нужно — буржуйские сынки!

Брешь была пробита кокетливой Тасей. Она умудрилась как-то познакомиться с «белоподкладочниками», и они пригласили ее в воскресенье на острова. Возник спор — соглашаться или нет? Тася уверяла:

— Простые, веселые ребята, очень даже вежливые.

Видно было, что ей страшно хочется попробовать шикарной жизни.

— Ну и пусть едет,— решила Лелька,— не съедят же они ее.

Подстегнутое воспоминанием, мое воображение разыгралось — «безлюдность низких островов», лихач, может быть, даже автомобиль...

Я так и не проболталась о нашей с Палькой упоительной поездке. Но всех девушек взволновало: на чем «белоподкладочники» повезут Тасю? А потом, после прогулки, в какое кафе или ресторан пригласят? И соглашаться ли Тасе, если в ресторан? Все та же Лелька пожалела оробевшую Тасю и решила, что днем можно. Только вина не пить и держать парней в строгости.

— Главное, номерок от пальто возьми себе,— посоветовала Сашенька,— а будут уверять, что вино сладкое, дамское, все равно не пей!

И опять мы всем общежитием собирали подругу, недели на нее все лучшее, что у кого было, только туфли Тася надела свои — недавно купленные лодочки на высоких тонких каблучках.

«Белоподкладочники» ждали ее во дворе. Украдкой, свесив головы с крыши, мы наблюдали, как они встретились с Тасей и, с двух сторон взяв ее под локотки, скрылись под аркой ворот. Не то чтобы мы завидовали Тасе — мы томилась за нее тем же сладчайшим ощущением греховности...

Вернулась Тася под вечер — голодная и злая. Сломался каблук, последнюю часть пути она ковыляла, как мы говорили — «рупь с полтиной, рупь с полтиной»... Поехали они на острова трамваем, там долго гуляли и болтали, ребята всеми силами старались развлечь и рассмешить ее, но Тасе не было весело, потому что дорожки были грязные после вчерашнего дождя, Тася трепетала, не погибнут ли новые туфли, а от хождения на высоких каблуках ноги прямо-таки горели. Ни о кафе, ни о ресторане речи не было, у одного из парней нашлась круглая коробочка ландрина, они посидели на скамейке и пососали леденцы. Обрато «белоподкладочники» предложили идти пешком, чтобы оценить красоту города. А когда у Таси на половине пути сломался каблук, выяснилось, что у ребят нет денег даже на трамвай.

— Ну и что? По крайней мере не буржуи! — сказала Лелька.

Следующими жертвами «бывших белоподкладочников» оказались мы с Лелькой.

Нам предстояло распилить, наколоть и снести на четвертый этаж целую сажень дров. Дрова были сучковатые и сырые, с такими намаешься!

Только мы взялись за пилу, как появились те двое парней:

— Давайте мы все сделаем, а вы за это выручите нас — вымойте нашу комнату. Плата за дрова будет ваша.

Так сказал один из них, а второй добавил:

— Знаете, мы не очень умеем мыть-убирать.

Сделка состоялась, хотя совесть нас мучала — слишком неравноценные работы! Готовя тряпки и ведра, мы шептались с Лелькой:

— Так не годится. Когда будем рассчитываться, отдадим им половину денег...

Парни вручили нам ключ от квартиры: первая дверь направо, да вы и сами увидите!

И мы увидели... Пол был покрыт слоем вязкой грязи, подоконники, загроможденные невытой посудой, были черны и сальны — на них без подставок ставили кастрюли и сквороду. К столу, прикрытому пожелтевшими газетами, было противно прикоснуться. Под кроватями валялись какие-то лохмотья. Полотенца казались сшитыми из темно-серой жесткой дерюги.

А во дворе бойко и насмешливо посвистывала пила.

Растерянно оглядывая комнату — не начать ли с потолка? — мы увидели в углах черную паутину, а над застиженной мухами лампочкой тот самый рыжий абажур с налетом давней пыли на былом шелковом великолесье.

— Свины в галстуках! — выругалась Лелька.

— Может, пошлем к черту?

— Так ведь взялись... Да и пропадут мальчишки в этой заразе!

Было по-полуденному солнечно, когда заблестели промытые стекла и обнаружилось, что подоконники все же белые. Начало смеркаться, когда мы установили, что полотенца сшиты из мягкой белой ткани с голубыми прожилками, шелк на абажуре — нежно-лимонного цвета, а стол сработан из светлого дерева и когда-то был полирован. При свете электричества мы несколько раз голыми руками драли пол, постепенно добираясь до первоначальной фактуры — узорного паркета.

Во дворе давно не слышалось ни посвиста пилы, ни туканья топора.

— Носят, гады! — сказала Лелька. — Ну пусть только заявятся, я их мокрой тряпкой по поросычьим мордам!.. Верушка, давай еще раз промоем пол. Начисто.

Промыли начисто. Комната сияла в ожидании хозяев, но хозяева упорно не шли. Я высунулась в окно — во дворе пусто, дрова давно перегасканы и даже опилки выметены.

— Скрываются, прощелыги!

— А ты еще хотела часть денег отдать! Тут приплачивать надо.

Когда мы вышли шаткой походкой вконец измученных людей, прощелыг нигде не было. И денег не было — унесли. Лелька призывала на их шалопутные головы все кары земные и небесные. Лелькин Миша сказал, что завтра же набьет им морды. Мы долго отмывались, потом напились горячего чая с бубликами, принесенными Мишей, а после чая Лелька все же пошла с Мишей погулять — чего не сделаешь ради любимого человека! Я же повалялась на кровать с учебником, убедив себя, что буду заниматься до возвращения Лельки... и тут же заснула. Разбудило меня громкое шуршание — кто-то проныхивал под дверь конверт, а конверт застревал. Я последила взглядом за тем, как уголок конверта, будто живой, мечется взад-вперед, высккивая щель пошире, поднялась

поглядеть, что за поклонник там старается, и услышала топот убегающих ног.

В конверт были вложены деньги и записка: «Спасибо! Не сердитесь, девушки!»

Ударты гонга

Очередная невеста из-за чего возникшая ссора с Палькой кончилась полным разрывом. Палька отослал по почте все мои письма и записочки, вырвал из дневника и вложил в пакет все страницы, мне посвященные. «Прости и прощай!»

Окружающий мир застлала сумерки.

Трудно восстановить в памяти, что со мною происходило в те дни, слишком много иных чувств и ударов прошло через душу за прожитые годы, а последующий опыт и более близкие по времени, более зрелые по силе переживания так сместили масштабы, что подстергает опасность неправды — снисходительной усмешки, иронической легкости рассказа о давнем горе семнадцатилетней девчонки. А было у нее — отчаяние.

Я снова как бы со стороны, издали, вглядываюсь в эту знакомую мне девчонку и вижу, что она собирала все силы и всю гордость, чтобы скрыть лютое горе под видимостью обычной жизни с лекциями и зачетами, театральными вылазками, прогулками по городу и студенческими вечеринками, где нужно танцевать и веселиться, — нельзя же показывать всем и каждому, что хочется укрыться от чужих глаз и нарветься до изнеможения! У нее не было ни опыта, ни умения анализировать, она безусловно верила веселости Пальки Соколова, когда он приходил в общежитие навестить земляков. Припав к двери, сквозь громоподобный стук собственного сердца она вслушивалась в интонации его голоса — в коридоре неподалеку от ее двери Палька болтал с приятелем о всяких пустяках... А может, он все же постучит к ней? Может, захочет увидеть, спросить: «Как живешь?»... Но Палька говорил:

- Ну, я пошел.
- Да посиди у нас, сейчас ребята соберутся.
- Не могу, и так опаздываю.
- Свидание?
- Ну, свидание. Будь жив!

И он уходил. На свидание. Ах так! И она старалась делать то, что делают все девушки мира: доказывала себе и другим, что ей не менее весело, что она прекрасно может жить без заносчивого, капризного Пальки с его выкрутасами, что есть сколько угодно гораздо более внимательных и симпатичных ребят. Она целовалась в коридоре с лесником Шуркой, назначала другому свидание на Кирочной, а третьему у Литейного моста и шла с четвертым, украдкой, «проверять караулы». Оставаясь одна, писала стихи, где прорывалась ее боль, но оставалась наедине с собой все реже. В те недели душевного разброда ее не интересовали ни учеба, ни книги, ни институтские комсомольские дела. Шли недели. Молодость брала свое, временами ей и впрямь нравилась ее легкомысленная, суматошная жизнь — если б только неразлучная подружка не собиралась выходить замуж за своего доброго, верного Мишу и если б не повадился неведомо зачем Палька Соколов навещать приятелей в общежитии!..

Весною произошло три события как будто бы и не крупных, но разве только эпохальные события играют роль в нашей душевной жизни! Те три случая я ощущаю до сих пор как поворотные.

За мною начал ухаживать одноглазый анархист. Вышел он из солидной профессорской семьи, учился на последнем курсе Технологического института и носил студенческую тужурку на белой шелковой подкладке. Отсутствующий глаз прикрывала черная повязка. Впервые он появился у кого-то из наших технологов вечером, с гитарой, подпевал томным баритоном, когда мы пели, а потом, бешено сверкая единственным глазом, спел анархистский гимн «Черное знамя», где бушевало пламя пожаров, и кровавая борьба, и гудел набат призывной трубы. Он давал понять, что был завсегдаем дачи Дурново на Выборгской стороне, где в 1917 году обосновались анархисты, и что он не только из песни знает пламя пожаров и кровавую борьбу. Затем он подсел ко мне, дергая струны так, что, казалось, они вот-вот лопнут, и пригласил меня на традиционный бал в Техноложку. Прощаясь, сказал, что заранее просит у меня «последнюю мазурку».

Лелька нашла, что он фанфарон. Я же была захвачена новыми впечатлениями: одноглазый анархист! черное знамя и набат призывной трубы! традиционный бал и последняя мазурка!

Но как мне быть, если я не умею танцевать мазурку?

Никто из наших мальчишек не брался научить меня — может, не умели, а может, не хотели, зная, ради чего я хлопочу. А вечер бала приближался...

На Литейном давно примелькалась броская вывеска «Уроки бальных танцев». Урок стоил пять рублей новыми деньгами, что по нашему бюджету было громадной суммой. Признаться Лельке я не посмела, вынула пятерку из денег, откладываемых на внебюджетную погушку, и, зажав ее в кулаке, побежала к учителю танцев.

Впустила меня горничная — настоящая, старорежимная, в кружевной наkolке. В пустом зале роскошной квартиры мне пришлось ждать — учитель обедал. С каждой минутой ожидания все неудержимей хотелось убежать. Но тут появился невысокий чернявый человек во фраке, небрежно спросил, что мне нужно, и крикнул в приоткрытую дверь:

— Зося, мазурку!

Вышла немолодая дама с потами, села к роялю и немедля забарабанила мазурку. Учитель схватил мою руку и, покрикивая на меня, повлек за собою вокруг зала, покружил, снова повлек за собой... Я еще только начала понимать, что должны делать мои ноги и руки и как держаться, когда черпявый отпустил мою руку — он уже закончил урок:

— Вот и все. Барышне тут и уметь нечего, слушать ритм и подчиняться кавалеру. Желаю успеха.

Я не посмела сказать, что в объявлении говорится о часовом уроке, а прошло от силы десять минут. Пятерка уже скользнула в его карман. Заметив мое разочарование, он оценивающе оглядел меня с головы до ног и сказал, что для закрепления я могу прийти в субботу, по субботам у него собираются ученики «на маленькие домашние балы» — совершенствоваться в танцах. В моей памяти промелькнуло воспоминание о прелестных ученических балах Наташи Ростовской у учителя танцев Йогеля, но в это время чернявый склонился ко мне и многозначительно сказал:

— Приходите. Если повезет, заведете недурные, а может, и выгодные знакомства. — И крикнул горничной: — Паша, проводи барышню!

Никогда еще я не чувствовала себя такой униженной. Со мною обращались как с душой, а я позволила, я не сумела и слова вымолвить на его гнусные посулы, и пя-

терку — так трудно заработанную пятерку! — этот наглец отобрал, даже не моргнув...

На бал в Технологжку я пошла в дурном настроении, с ощущением расущего недовольства собой. В потертой бархатной блузке я выглядела жалко в толпе нарядных девушек, среди которых терялось небольшое количество таких же бедных студенток, как я. Никто меня не пригласил, и я не расставалась со своим одноглазым анархистом, а он танцевал с развязной лихостью, подпевая оркестру и прижимая меня к себе. В перерыве он повел меня в какие-то странные комнаты, увешанные коврами, с низкими светильниками, прикрытыми цветастыми платками, так что в комнатах было полутемно. Тут и там на кушетках миловались парочки.

— Что это за комнаты? — удивилась я.

— Это наши аудитории, а ковры и прочее мы привозим из дому, чтобы создать уют.

Он усадил меня на свободную кушетку, тискал мою руку и болтал о любви с первого взгляда и тяготении душ, а когда я отобрала руку и отодвинулась, начал развивать анархистскую теорию свободной любви свободных, не сдерживаемых никакими условностями людей. Я еле дождалась последней мазурки, но с мазуркой у меня ничего не получилось, все вокруг танцевали не так, как учил наглец во фраке, взяв за это пятерку. Я сбивалась с ноги и терялась, когда одноглазый отпускал меня, а когда он упал на одно колено, сверкая бешеным глазом, я кружилась вокруг него, глупо подпрыгивая и уже понимая, что выгляжу смешно и танцую отвратительно.

Провожая меня домой, одноглазый в темноте под аркой ворот грубо схватил меня за плечи и попробовал силой поцеловать, я оттолкнула его и ударила наотмашь — метила по щеке, но удар пришелся по уху.

Взбежав по лестнице на самый верх, я присела на подоконник и долго приводила в порядок нервы и мысли. Вывод был горек — со мною не только обошлись как с душой, я и есть дура: и пятерку профукала по-дурацки, и этот пошляк со своими теориями вел себя развязно именно потому, что встретил круглую дуру!

Таков был первый удар гонга, призвавшего задуматься: что же дальше?

Если б я знала, что дальше!

Пока я лишь понемногу осознавала, чего не хочу. Со всем не привлекала профессия культурработника, которую

мне предстояло получить во Внешкольном институте, в этой профессии было что-то расплывчатое — завклубом? организатор самодеятельности (когда сама не умею ни петь, ни плясать, ни играть на рояле и даже на гармошке)? или, того хуже, какой-нибудь инструктор культотдела? Был у нас еще библиотечный факультет, но мне претила перспектива четырех стен и множества прекрасных книг. Люблю книги и читаю запоем, но разве для этого нужно работать в библиотеке? Я знала нескольких библиотечкарей, очень преданных своему делу, и тянулась к их знаниям, наблюдала, как они терпеливо и заинтересованно воспитывают вкус читателей, уважала их добрый труд... но чувствовала, что это «не мое», так же как давно, в детстве, «не моей» оказалась выбранная мною астрономия. Соприкасаясь с различными профессиями, к которым готовились студенты нашего землячества, я поочередно мечтала стать геологом, путейцем, строителем, гидротехником, даже юристом, но вскоре догадывалась, что меня тянет не существо профессии, а возможность ездить по стране, набираться новых впечатлений, встречаться с разными людьми... Где же оно *мое* дело?..

Лелька и Миша ждали обещанной комнаты в общежитии и дружно готовились к совместной жизни. Я радовалась за них и, как умела, помогала Лельке в ее хлопотах, но в глубине души отталкивалась от подобной милой домовитости — нет, это не для меня! Даже с Палькой? Даже! Позови он меня на край света, на Камчатку или в кольскую тундру — помчусь без оглядки, но *так* жить гнездо... и не сумею и не хочу. Сашенька, притихшая после истории с Леонардовной, мечтала кончить институт и вернуться в Повенец учительницей, *самостоятельным* человеком. Я больше всего ценила самостоятельность, но в устах Сашеньки слово приобретало ограниченный, обывательский смысл, против которого моя душа топорщилась. Не меньше, чем против слова *карьера*, стоявшего за жизненными планами Шурки.

— Столоначальники, коллежские ассессоры, просто тайные и действительные тайные советники... кем именно вы хотите быть, Шура? — посмеивалась я.

— По-моему, каждый человек хочет устроиться по-лучше,— сердился Шурка.

Устроиться? Меня воротило от этого чиновничьего понятия.

Через отрицание неинтересного и чуждого рождалось предчувствие близящегося поворота от сегодняшней невнятицы к *своей* судьбе, пока еще не угаданной. Если б в те годы уже объявлялись комсомольские призывы на дальние стройки, или на целину, или в авиацию, или на баррикады классовых битв, я бы ринулась на любой призыв, торопя судьбу. Но еще не намечались пятилетки, еще не началось массовое развитие советской авиации, баррикадных боев тоже не было. А был — нэп. И тем юным людям, кто не ограничивал свой мирок личным жизнеустройством, определиться было нелегко.

Не находя своего места в сложно развивающейся жизни, затанув боль от нелепого разрыва с Палькой, я продолжала жить суетливо и бестолково в ожидании чего-то — бог весть чего...

Вскоре после злополучной истории с одноглазым анархистом политехник Алексей пригласил меня в свой институт на концерт симфонического оркестра, после которого предстоял традиционный весенний бал. Внимание Алексея мне льстило, он был очень серьезным, хорошо воспитанным молодым человеком и уже кончал институт, следовательно, думала я, мог найти девушку постарше и поумней меня. В общезнании все мои подруги держали сторону Алексея, сердились, если я убегала от него с Шуркой или с кем-либо еще, а Сашенька в таких случаях выговаривала:

— С букетом пришел, а тебя нет, нехорошо. Это не Шурка, у него, сразу видно, серьезные намерения!

Ох, как мало занимали меня чьи бы то ни было серьезные намерения!

Когда мы добрались трамваем до Политехнического, его прекрасный актовый зал с высоченными окнами был уже полон, все первые ряды занимали преподаватели и профессора с женами, но сразу за ними были наши места. Алексей свободно здоровался с самыми почтенными профессорами, приветствовал по имени и отчеству их жен, ему отвечали как хорошо знакомому — и все с улыбкой оглядывали меня, пусть деликатно, мельком, но от этих взглядов я багрово краснела. Стараясь подавить смущение, я сказала довольно громким шепотом:

— Сколько тут плешей! А вы никогда не вспоминали больше одной-двух!

Алексей улыбнулся мне как маленькой и шепнул:

— Обязательно всех перепишем. Вместе, хорошо?

И тут же предупреждающе дотронулся до моей руки — на сцену выходили музыканты. Были среди них совсем пожилые люди и совсем молодые, все в белых рубашках и строгих черных костюмах. Они должны были исполнить Девятую симфонию Бетховена. В программке значилось — оркестр под управлением... хор под управлением... Хотелось спросить — почему хор? Разве в симфониях участвует хор, как в опере? Я еще не приобщилась к симфонической музыке, хотя с детства привыкла к роялю и знала на слух много прекрасных фортепьянных произведений. В том числе и сонаты Бетховена — Лунную и Аппассионату, мама играла их и дома для себя, и на концертах. Но симфонию... Признаюсь, в опере, когда оркестр исполнял увертюру, я всегда с нетерпением ждала, чтобы поднялся занавес и вступили певцы, начинающая действие. Не скучно ли — один оркестр? И почему нет хора, хотя он объявлен в программке? Спросить Алексея — или стыдно?.. Стыдно.

Я наблюдала за тем, как расслаживаются и настраивают инструменты скрипачи, виолончелисты и другие музыканты, чьи инструменты я знала нетвердо. В оперном театре мне всегда хотелось заглянуть в оркестровую яму и разобраться, какие звуки извлекаются из того или иного инструмента, как эти инструменты вступают, сливая свои партии в единое целое, и как умудряется дирижер управлять ими всеми, да еще и певцами и хором. Теперь, когда оркестр был весь на виду, я готовилась за всем этим проследить.

— Вы знаете, — шепнул Алексей, наклоняясь ко мне, — тема симфонии — через страдания к радости.

Я кивнула — знаю. Ребяческая спесь! — ничего я не знала.

Дирижер поднял руки и проткнул воздух палочкой. Как в детстве, когда я вся напрягалась, чтобы не пропустить первых созвучий, возникающих из прикосновений маминных пальцев к клавишам рояля и рождающих чудо музыки, я напрягалась в наивном стремлении сейчас, здесь, еще не освоившись с большим и сложным организмом оркестра, уловить это рождение и понять взаимодействие всех его голосов! Но первые же звуки заставили меня вздрогнуть от неожиданности, так они были завораживающе выразительны и сильны, все мои приготовления разом забылись, отлетели ребячество, самонадеянность, любопытство, — над всем привычным бушевала буря,

вторгаясь и в мою душу, музыка забрала меня целиком, подчинила и повела в незнакомый взрослый мир человеческого страдания, надежд, борьбы, отчаяния и просветлений, желаний и крушений...

Так уж подстроила жизнь — впервые знакомиться с симфонической музыкой, слушая Девятую! Я попала в положение несведущего новичка, без всякой подготовки взнесенного на высочайшую из вершин, куда не каждый опытный альпинист сумеет совершить восхождение. И мне, как в разреженном воздухе вершин, сдавило дыхание.

Я отчетливо помню тот вечер, и безостаточную полноту восприятия, и свое ошеломление неистовостью чувств, которые несла музыка Бетховена на своих богатырских, на своих размахистых крылах. Сколько раз потом я слушала Девятую в исполнении лучших дирижеров мира, каждый раз по-новому ее постигая и переживая! С каким интересом читала все, что помогало глубже понять ее, и какой отклик в моей душе находило то, что писал о Бетховене и его Девятой симфонии Ромен Роллан, соединивший тонкий анализ музыковеда с непосредственностью восприятия страстного художника! Теперь я стараюсь все это забыть. Я ставлю на проигрыватель пластинку и слушаю симфонию *памятью*, словно впервые в жизни, — слухом, сердцем, всей тогдашней душевной сутью девочки, за один час открывшей для себя целый океан человеческих страстей.

При всей своей неискренности я ощутила в симфонии две параллельно развивающиеся и борющиеся темы, две силы — душу человека и грозную, бурную судьбу, обрушивающую на него удар за ударом, несущую страдания и утраты. Я старалась уловить в музыке, такой могучей и такой прекрасной, всплески боли, отчаяния, быть может — усталости и покорности судьбе, но сильнее всего я ощущала могучесть духа, здорового и веселого духа, все преодолевающего, способного вырваться из страданий к новой надежде, к радости жизни. Не переставая слушать, я задумалась о человеке, написавшем эту необычайную музыку, — я знала только, что он жил сто лет назад и что он с молодых лет начал терять слух, и в последние десять лет жизни не слышал совсем. Глухота — у композитора! Значит, эту последнюю симфонию он создал в своем гениальном воображении, всю ее — от первой ноты до последней — написал мысленно, напряже-

нием слуховой памяти, не имея возможности сесть к роялю и проверить звучание им создаваемого чуда... Может ли быть судьба трагичней?!

Но музыка сама сказала мне, что она — шире, крупнее личной трагедии, что тут — вся жизнь человеческая, что можно вынести, преодолеть и более грозные удары... Что бы ни было, он, Человек, снова и снова оживает, радуется свету, солнцу, небу, предельности полей и леса, он ищет любви и верит в будущее. Иначе как бы родилась жизнерадостная, танцевальная мелодия, вырывающаяся как бы из-под обломков крушения?.. Иначе откуда бы этот свет, пронизывающий самую печальную третью часть симфонии, хотя в ней и боль, и жалобы, и сомнения, и сожаления... и все же свет! — И никакой покорности.

Я несколько раз прослушиваю начало последней, четвертой части, чтобы восстановить то, прежнее восприятие и найти место, где я непроизвольно сказала вслух:

— Жив курилка!

Алексей удивленно покосился на меня и легонько сжал мою руку. Может быть, не расслышал или подумал, что я ничего не понимаю в симфонии и скучаю. А для меня это было *открытие* — курилка не курилка, но самый земной, кряжистый, даже мужиковатый человек с такой силой неувядающего духа, что его не согнуть и не сломить, он идет навстречу буре и после самых тяжелых ударов судьбы становится еще сильнее.

— И я хочу так!

Оглушенная собственным странным желанием и в этот миг прозрения убежденная в том, что меня ждет судьба трудная, необычная, насыщенная страданием и борьбой, что спокойствия не будет — да я и не хочу спокойствия! — я как-то забыла о том, что в короткой паузе перед последней частью симфонии на сцену тихо проследовал и выстроился за оркестром хор и вышли вперед с нотами в руках объявленные в программке солисты. Забыла ждать их вступления — и потому так потряс меня раскат низкого мужского голоса, в полной тишине воззвавшего: «О-о-о, братья, довольно печали!.. Будем гимны петь безбрежному веселью и светлой, светлой радости!» Хор подержал: «Радость! Радость!» — и это было только начало...

До тех пор я не слыхала ничего подобного. В опере самые чудесные хоры сопровождались действием, событиями, это отвлекало от чистого звучания множества го-

лосов в их сложном переплетении. Но в финальном хоре Девятой меня поразили тогда не только мощь, красота, страстность этого гимна победившего духа, ворвавшегося в симфонию, чтобы до конца утвердить ее глубинный смысл. Меня поразила современность гимна, будто не сто лет назад, а сегодня кто-то молодой и революционный напомнил страждущим людям: «Все мы друзья и братья!» — звал их на бой за братство и свободу: «Встанем вместе, миллионы!..»

Вероятно, кому-нибудь покажется преувеличением, но когда все кончилось и надо было встать и выйти, чтобы зал освободили от стульев, я поднялась, чувствуя себя старше на опыт целой человеческой жизни. И мне было трудно вернуться издалека, из взрослого мучительного и прекрасного мира, в простую реальность, где я была девочкой в ветшающей бархатной блузке и неказистых туфельках, которые мы с Лелькой усердно покрыли черным лаком ради бала, и рядом со мною был поклонник, старательно знакомивший меня со своими приятелями и учителями, и нужно было улыбаться и что-то отвечать на нелепые вопросы «как вам понравилось?», как будто об услышанном можно было говорить обыденными словами!

Один из профессоров, уже седенький, вдруг пригласил меня на первый вальс и заговорщицки сказал Алексею:

— Умыкаю вашу невесту. Потерпите, один тур — и я исчезну.

Алексей почему-то порозовел от удовольствия и позволил умыкнуть меня, я же пропустила мимо неожиданное слово «невеста» — старичок, вот и говорит ветхозаветным языком. Старичок провальсировал со мною один круг, успел сказать, что Алеша — весьма достойный молодой человек, старомодно раскланялся и передал меня Алексею. Постепенно я вернулась в простую реальность, с увлечением танцевала все танцы подряд, даже мазурка у меня как-то сама собою получилась, и была не прочь пококотничать со студентами, приглашавшими меня, и подшучивала над Алексеем, который держался почему-то торжественно и в перерывах между танцами вел меня под руку, как принцессу. Для последнего вальса потушили свет — в высоченные окна бессонными очами заглядывала белая ночь, пары медленно кружились в ее туманном свете, Алексей молчал и сверху вниз смотрел мне в лицо вопросительно и нежно.

Трамваи уже — или еще — не ходили. Мы вышли в долгий-долгий путь пешком. За заборами деревянных домишек, которых было тогда множество, всюду цвела сирень, ее пряный запах сопровождал нас, то слабей, то усиливаясь. Мне захотелось нарвать сирени, особенно пышно, прямо-таки огнем пылавшей за одним из заборов. Алексей подсадил меня на плечо, я без зазрения совести наломала лучших веток и скомандовала спуск. Алексей опустил меня на землю и повернул к себе, крепко удерживая меня за локти, так как мои руки были заняты охапкой сирени. Зачинающаяся утренняя заря освещала его красное лицо с появившимся выражением торжественной решимости. И слова он произнес также торжественные, что от удивления я их не сразу поняла:

— Я хочу просить вас быть моей женой.

Год назад мы с Палькой решали, что поженимся через шесть лет, когда кончим учиться, но это решение возникло естественно — из нашей любви, из совместного обдумывания жизненных планов. То, что сказал сейчас Алексей, было самым настоящим и первым в моей жизни «предложением» — ну точно как в романах прошлого века. Я была взволнована и испугана. Что отвечают в подобных случаях, чтобы не обидеть и не согласиться? Проще всего убежать, но как убежишь, когда он держит тебя за локти и когда до дому километров шесть, а трамваи не ходят!

— Ну какая из меня жена, — ответила я и осторожно высвободила локти. — Лис говорит, что я еще мелюзга. И учиться мне еще пять лет!

Считая, что ответ дан, я укрылась сиренью — как она пахла и какие лучистые капельки росы удерживались на ее листьях! — и первую зашагала дальше. Алексей догнал меня, взял под локоть и все тем же торжественным тоном сказал, что будет ждать, пока мне исполнится восемнадцать, а что он старше — это хорошо, он сумеет создать для меня все условия, любое мое желание сможет удовлетворить, я никогда не узнаю нужды, трудностей и огорчений...

Боже мой, «все условия»! Никаких «трудностей и огорчений»!

Самые грозные аккорды загудели, застонали в моей памяти. Вырываясь из них — нет, из-под них, как из-под обломков крушения, — возникла та будоражащая, неистребимо жизнерадостная мелодия... и снова сверкнул — как не вполне понятное мне самой предчувствие — миг

осознания своей судьбы. С почти недоступной горной высоты Алексей заманивал меня на тихий, уютно обставленный пятачок... Если б я умела высказать ему, чем стал для меня концерт, на который он сам меня привел, что открыла мне музыка Бетховена — в жизни и в себе самой! Но сегодняшнее откровение жило лишь в ощущениях, не выраженное словами, да и не могла я осознать его и выразить ни по возрасту, ни по разумению, оно трепетало в самой глубине души, а слова подвергались обыденные, девчоночьи, и только при помощи обыденных слов и природного лукавства я могла ответить Алексею.

Попшучивая, я говорила, что из меня получилась бы невыносимая жена, своенравная и упрямая, что такой жены и не увидишь — или сидит, уткнувшись в книгу, или бегают по всяким комсомольским делам.

Алексей не придавал значения моей болтовне, вероятно, считал ее девичьим кокетством, перед тем как ответить *да*, он слушал меня с добродушной улыбкой, а потом сказал, будто спрашивая, но, в сущности, уточняя что-то само собою разумеющееся:

— Но когда вы выйдете замуж, вы же оставите комсомол и все прочее?

Вопрос прямо-таки хлестнул меня. В милейшей форме мне предлагалось *отречение* — да, да, отречение! — и не под угрозой смерти, не под пытками, как комсомолке Айно из карельского села Тихтозеро, замученной белобандитами за отказ отречься от своих убеждений... нет, ради «всех условий», ради мещанского благополучия без трудностей и огорчений!..

— Никогда. Понимаете, ни-ког-да! И замуж за вас не выйду! — Увидев его несчастное лицо, поспешно добавила: — И вообще замуж не выйду! Ни за кого!

Мне было жаль Алексея, он не был ни в чем виноват, он просто не понимал, я злилась на себя и только на себя: что же я за человек и как живу, если можно надеяться, что я *отрекусь!*

Так на полпути между Политехническим институтом и Литейным мостом раздался второй удар гонга.

А третий был связан с сущим пустяком — с прозрачной соломкой для шляп.

У меня не было особых притязаний по части нарядов, но одно суетное желание удерживалось еще с Пет-

розаводска, с той весны, когда моя воображаемая соперница Аня появилась в широкополой шляпе из прозрачной соломки, — мне казалось, что шляпа делает ее неотразимой и если я обзаведусь такою, стану неотразима тоже. Прозрачная, поблескивающая соломка была, как я вспоминаю, и не соломка вовсе, а тесьма шириною с палец, но так уж ее называли. Девушки мастерили из нее шляпы — поля искачивались и просвечивали, отбрасывая на лицо таинственные блики.

На мою беду, и в Питере я увидела девушек в таких же шляпах, а в одном из магазинов Гостиного двора — рулон прозрачной серебристой соломки. Стояла она не так уж дорого, но у меня и того не было. Пришлось откладывать деньги тайком от Лельки, потому что Лелька осудила бы и высмеяла мое желание. Скопив нужную сумму, я побежала в Гостиный двор.

Построенный два века назад, Гостиный двор известен теперь ленинградцам и приезжим как один из главных торговых центров города. Глядит он фасадами на четыре улицы, с любой из них попадаешь в анфиладу торговых залов и можешь, переходя из одного в другой, сделать полный оборот длиною в километр, вернувшись к исходной точке; поднимаешься по одной из пологих лестниц на второй этаж — и снова анфилады залов, откуда можно выйти на крытую галерею — отдышаться от магазинной сутолоки. Таким Гостиный стал после блокады, после бомб и пожара — восстанавливая, его переустроили на современный лад. А в двадцатые годы весь Гостиный был разбит на отдельные клетки частных магазинов и магазинчиков; некоторые из хозяев использовали свой второй этаж под склад товаров, иные торговали и наверху, но подниматься на второй этаж нужно было по узкой винтовой лесенке, гремывающей под каблуками. Конечно, наверху держали товары попроще, а цены у каждого эппмана назначались свои — пока ищешь какую-нибудь мелочь вроде пуговиц, стараясь купить подешевле, снуешь из двери в дверь, вверх-вниз — намаешься!

Соломку я давно присмотрела на Невской линии, где находились самые шикарные магазины, но теперь заветного серебристого рулона там не оказалось. Я мялась у прилавка, не решаясь обратиться к солидному продавцу, пока он сам не спросил: «Что прикажете?» — а потом

виновато сообщил, что, к сожалению, соломка распорвана:

— Зайдите на той неделе, получим обязательно.

Но я не хотела ждать неделю и отправилась по другим магазинам — из двери в дверь, вверх-вниз... И вот в одном из магазинчиков по Садовой линии — рулон соломки, да еще золотистого оттенка. Я робко и восторженно потрогала ее скользкую под кончиками пальцев поверхность. Заплатила. Продавец отмерил сколько нужно и подал мне узкий невесомый пакетик.

Подпрыгивая от радости, я перебежала Садовую, лавируя между извозчиками, трамваями и автомобилями, обошла Публичную библиотеку и, увидав молодую зелень садика перед Александринским театром, поняла, что не только устала от беготни по крутым лестницам, но и зверски голодна. У лотчицы купила на полученную сдачу румяную булочку с маком, уселась на скамье, вытянула для отдыха ноги и, уплетая булочку, предалась мечтам. Вот прихожу домой и показываю Лельке свою покупку, Лелька поворчит, а потом мы вместе с нею начнем мастерить шляпу, а когда шляпа будет готова, выйду в ней из дому и, быть может, встречу Пальку и он остановится, пораженный тем, как мне идет эта шляпа и какие золотистые блики падают сквозь соломку на мое лицо... Я долго придумывала, что он скажет и что я отвечу.

Затем начала сочинять стихи: «Твое лицо сквозь солнечные блики...» К бликам не находилось никакой рифмы, кроме «великий» и «клик», но событие было недостаточно важным для подобных рифм, что я с усмешкой и отметила. Память подсказала, что мое начало навеяно строками Блока: «...твое лицо в простой оправе передо мной сияет на столе»; но у Блока сказано хорошо и точно, а у меня ерунда: «Лицо сквозь... блики»... при чем тут сквозь?..

А день был весенний, солнечный — счастливый.

Возле меня сидела молоденькая девушка, почти девочка, в белом платке, повязанном по-деревенски, и что-то зубрила по учебнику, шевеля губами. Я искоса глянула в учебник — кровеносные сосуды? Медичка? Или готовится поступать в медицинский? Но уж очень молодая, ей же не больше шестнадцати...

Девочка вдруг сорвалась с места и подбежала к упавшему на дорожке мальчугану, подняла, успокоила, вы-

терла ему глаза и нос, отряхнула его матросский костюмчик. Сынишка? Не может быть. Братик? Но мальчуган явно городской. Няня?

Когда девочка, заняв мальчугана игрой с другими малышами, снова уселась рядом со мной, я спросила, для чего она учит анатомию, и девочка ответила с охотой:

— Учусь на медсестру. Вот к ним поступила няней, а они меня устроили учиться.

Мимо нас проплыла высокая плетеная коляска с младенцем в розовом капоре. Коляску катил мужчина средних лет в расстегнутой у ворота вельветовой блузе, с гордым и оскорбленным видом, катил и пел, вызывающе поглядывая вокруг, хорошо поставленным баритоном:

Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой...

По ту сторону громоздкого памятника Екатерине Второй две нарядно одетые, но препротивные девчужки лет пяти и семи нудно капризничали, а над ними кудахтала маленькая, сморщенная, словно раз и навсегда прибитая женщина, и по всему чувствовалось, что она этих девчушек обожает и готова распластаться перед ними, если им того захочется. Кто она им? Бабушка? Тетка?..

Мимо нас, но в обратном направлении, снова проплыла плетеная коляска, папа в блузе пел теперь арию князя Игоря:

Ты одна-а, голубка лада...

Я рассмеялась, зажала пакетик под мышкой и отправилась домой самым приятным путем — через Манежную площадь и мимо цирка, чтобы пройти по моей любимой Инженерной аллее.

...Этот баритональный папа-певец, он мечтал об опере, о громкой славе, но в оперу не попал, не хватило таланта и голоса, теперь выступает с джазом в кинотеатрах перед началом сеанса. В «Колизее» или в «Паризиане». Жена моложе его и способней, кончила Театральный, и ее взяли в труппу Александринки, пока крупных ролей не давали, но она дьявольски работала и надеялась... Сегодня ей повезло — неожиданно заболела премьерша и ее вызвали репетировать, вечером «Бесприданница», надо выручать театр! А ей и нетрудно, она сама подготовила

роль Ларисы и сегодня блеснет так, что все-все будут рукоплескать новой премьерше...

Но идет ли в Александринке «Бесприданница»?..

...А девочку зовут Тоней — она Антонина или Антонина, как в «Иване Сусанине». Дома, в тверской или псковской деревне, братишек и сестреночек мал мала меньше, папа погиб на гражданской, пришлось Тоне ехать в город на заработки. Но тут безработица, Бприжа труда с длинными очередями... Поступила в домработницы — ради крыши над головой, ради куска хлеба. А люди оказались сознательные, хозяйка — врач, она первая сказала: «Молодая ты и толковая, учиться надо. Живи у нас, Тоня, смотри за мальчуганом, а вечером ходи на курсы, станешь медсестрой — к себе в больницу устрою». Вот и учится, а хозяйка проверяет, диктанты диктует, а уж по анатомии и другим медицинским наукам и спрашивает, и объясняет. Тоня пишет домой. «Мамочка, такой она человек, что век благодарна буду...»

...А та, сморщенная, нескладная, она капризулям родная тетка; замуж выйти не удалось, куда уж такой некрасивой, нелепой... Профессии тоже нет, только шить умеет, вот и прижилась у сестры, всех обшивает, с пеленок нянчила племянниц и так полюбила их, что и недостатков их не замечает, какое там! — нет для нее па свете лучших детей, чем эти... А они ее в грош не ставят. Как они ее называли? Матрешка или Мирошка? Хлебнет она с ними горя горького на старости лет, а девчушек будет перед всеми выгораживать, еще и себя обвинит: «Старая дура, надоедаю им, путаюсь под ногами!»

Вот так примерно я складывала жизненные истории случайных встречных, и уже казалось, что по-иному и быть не может, скажи мне — никакой он не певец джаза, а Матреша или Мироша никакая не тетка капризулям, не поверила бы, они уже зажили своей, сложившейся в моем воображении жизнью...

После шумной площади у цирка, где припекало полетному, Инженерная аллея окутывала мягкой прохладой и тишиной. Прикрытая как навесом ветвями старых лип, она была тениста и в этот послеполуденный час; только кое-где покачивались желтые пятна от пробившихся сквозь молодую листву лучей, а дома напротив, на той стороне Фонтанки, и вода в канале были ярко освещены солнцем, и от стекол, от колебаний воды в аллею залетали зыбкие отсветы, наполняя ее мерцаю-

щим светом. Все было — или казалось — удивительным. Неподалеку приткнулась к каменному спуску барка, нагруженная гончарными изделиями — большими и маленькими кувшинами, горшками толстобокими и горшками высокими, суживающимися кверху, которые в детстве, у бабушки, назывались глечками. Одни были простыми, цвета обожженной глины, другие облиты цветной глазурью и расписаны веселыми узорами. А на корме раскинулся среди горшков и сладко спал гончар (или кормщик?), подставив солнцу коричневое от загара лицо, обрамленное совершенно золотой бородой, — ну точно былинный богатырь! Да и сама барка с цветастой посудой казалась выплывшей из русской сказки.

Удивительным был и старик с собакой, трудно шагавший по аллее. Он вышел ко мне из другого века — высокий, через силу прямой, на негнущихся ногах, с величавой головой, в котелке, каких давно не носят, человек иной жизни, иной веры, иных устоев. Его собака, когда-то породистая и красивая, была тоже стара, шерсть ее поредела, ноги разъезжались и плохо гнулись... Почему-то я знала, что он бывший «действительный тайный советник». И вот доживает, чуждый всему новому, один со своей одряхлевшей собакой, только с нею и ладит, идут гулять — потихоньку, ей нужно остановиться — и он стоит, величественно, как памятник, а настает вечер — он, кряхтя, ложится в постель, а собака рядом, на подстилку, и оба постанывают во сне...

Они прошли, а меня — от сопоставления, что ли? — прямо-таки захлестнуло упоительное ощущение своей молодости, здоровья и ждущих применения сил, своей причастности новому веку и всем возможностям только-только начавшейся жизни. И от полноты этого ощущения я впервые поняла, что все время — на ходу, в институте и где бы я ни была — я додумываю, дописываю, сочиняю людей и события, и не сочинять не могу, и это не просто так, не ерунда, как мои стихи, это и есть — мое дело, мое будущее, то, чем я не могу не заниматься, может быть, то, ради чего я родилась на свет.

Я шла по Инженерной аллее, охьяненная своим открытием, и представляла себе: я писатель, у меня выходит книга (даже обложка примерещилась) и вот Палька видит на прилавке книгу... И тут я увидела двоих —

мужчину и женщину, они стояли под деревом, держась за руки и сцепив пальцы, стояли и молчали, глядя друг на друга глаза в глаза. Проходя совсем близко от них, я поразилась выражению их лиц — была ли то беззаветность любви? отрешенность от всего существующего вне их двух жизней? отчаянность свиданья — вопреки всему, что мешает?..

По этому выражению, одинаковому у обоих, я сразу узнала их. Да, я их видела вот тут же, на аллее. Было это еще до ссоры с Палькой, значит, в марте или в самом конце февраля. Днем победно трезвонила капель, а вечером было по-зимнему холодно и ветрено, нам некуда было деваться, и мы бродили по улицам, но люди нам мешали, вот мы и забрели сюда, на пустынную темную аллею, где и ветра поменьше. Мы стояли у перил обнявшись, и вдруг Палька отвел руку и отодвинулся, потому что к нам приближались двое — мужчина и женщина, оба уже немолодые (если б молодые, Палька не застеснялся бы). Шли они странно — не под руку, а за руку, сцепив пальцы. На другом берегу канала с набережной на мост свернул автомобиль, ударил в их лица лучами фар, и я увидела то самое выражение счастливой или отчаянной отрешенности... Мы для них не существовали, они остановились совсем неподалеку от нас, плечо к плечу, женщина засмеялась (очень славный, ласкающий был у нее смех!) и сказала: «Не спорь! Я ее тебе дарю на вечные времена. Аллея — твоя!» Мужчина ответил счастливым голосом: «А что мне делать с нею? И как другие узнают, что она моя?» Женщина заговорила быстро и горячо, я разобрала только несколько слов: «...даже когда меня не будет... с другой... все равно вспомнишь...» Мне показалось, что в ее голосе — слезы. Захваченная непонятностью отношений этих двух людей, я готова была без стыда прислушиваться к их разговору, но Пальке до них не было дела, он заговорил о своем, а те двое медленно пошли вперед и затерялись в темноте.

И вот они опять здесь. Стоят, сцепив пальцы, будто прощаются и никак не могут расстаться. На Инженерной аллее, которую она ему подарила, чтобы он вспоминал³ о ней, даже когда ее не будет. На этот раз заметно, что он моложе ее. Я хорошо вижу ее лицо, уже тронутое морщинами, стараюсь взглянуть на нее глазами ее спутника, и мне удается увидеть, что в ее немолодом и как будто обыкновенном лице есть, странная притягатель-

ность, очарование внутреннего света, о котором так поэтично писал Толстой,— света ясной души, ума, нежности... Нет, определения не давались, то, что происходило с этими двумя, было вне моего опыта, только смутно ощущалась трагедия любви, недоступная моему пониманию...

Я уже прошла мимо, когда женщина оторвалась от своего любимого, обогнала меня и вот — почти бегом — уходила, уходила от него... и от самой себя?.. Я не удержалась и оглянулась — он стоял на том же месте и смотрел ей вслед. Хотела бы я, чтобы Палька когда-нибудь вот так смотрел мне вслед!..

Долго простояла я в тот день у перил набережной. Ни пересказать, ни вспомнить всего, о чем я там раздумывала, не могу — да и нужно ли? Человеком, осознавшим свое призвание, я вступала в загадочный мир человеческих отношений и чувств, в котором понимала гораздо меньше, чем наивно думала еще вчера, но я верила, что познаю его, и будущее сияло мне, как этот день, удивительное.

Когда я собралась наконец домой, где давно ждет Лелька, я вдруг вспомнила о своей покупке. Ее не было.

Я кинулась назад, всматриваясь, не лежит ли на выщербленных плитках тротуара узкий пакетик. Ведь столько месяцев копил! Так мечтала! Как же это?..

— Чего потеряла? Деньги? — спросила нянька, гулявшая с ребенком.

— Да нет, пустяки, — сказала я и пошла обратно вдоль аллеи и не горевала, а улыбалась солнышку, перистым облачкам в небе, искрящейся воде канала и собственным мыслям. Соломка и в самом деле пустяки, а будущая жизнь огромна и нельзя растерять это сегодняшнее настроение, этот свет и предчувствие, — и на что мне нужна какая-то дурацкая прозрачная шляпа?!

Подходя к дому, я увидела Пальку Соколова — он соскочил с подножки трамвая и явно направлялся в общежитие. Он тоже заметил меня. Радость была короче вспышки магния. Палька мгновенно погасил ее, посуровел и отвел глаза. Но таков был этот день открытий, что я поверила только первому, естественному проявлению, и впервые поняла, почему Палька зачастил в общежитие

и подолгу болтает с приятелями в коридоре, и вся эта игра показалась мне ничтожной перед силой любви.

Откинув недостойное притворство, я улыбнулась и пошла ему навстречу.

Узловая станция

Не получалось ни-че-го.

Как наяву виделась темная Инженерная аллея и тускло-черный чугун решетки, ограждающей набережную, и два желтых луча врзлет, предваряющих бегущий по той стороне канала автомобиль: лучи будто переломились, когда автомобиль повернул на Пантелеймоновский мост, полоснул светом по глухой черноте деревьев и на миг высветил два лица — два немолодых лица со странным выражением отрешенности. Я угадывала поздно пришедшую любовь и препятствия, вставшие на ее пути, искала для нее выход — счастливый выход! — и находила его. Нет, не сразу, тут ничего нельзя облегчать, но разве любовь не может все преодолеть?!

Дождавшись вечера, когда Лелька с Мишей ушли, я с наслаждением вставила в ручку новое мягкое перышко, раскрыла на первой странице тетрадь, вывела название: «Инженерная аллея». Начало мне было ясно — темная аллея, два луча, переломившиеся при въезде на мост, лица влюбленных... Попробовала это написать — и сразу все потускнело, слова лезли неточные, лучи не переламывались, лица были обыкновенны, даже банальны, их описание можно было отнести к любым другим. Может быть, начать с разговора влюбленных? Я видела — говорят, слышала взволнованные голоса, но не улавливала ничего, кроме все тех же подслушанных слов... Прозрение, посетившее меня в недавний день на аллее, не заменяло истинного знания. Вечер за вечером я писала, то и дело выдергивая страницы или с яростью вымарывая бездушные красоты, но тогда ложились под перо слова заемные, из книг. Что я знала о любви и страданиях взрослых людей, кроме вычитанного из романов!..

С досадой сунув тетрадку под тюфяк, я убежала из общежития — тихонько, чтоб никто не привязался, — и бродила одна по улицам, по набережной Фонтанки, подолгу стояла на Инженерной аллее, надеясь, что здесь додумаю, довоображу, пойму, что же у них происходило,

у моих героев, и как они говорят, и что думают, и чем должно копчиться... Нет, мысль и фантазия создавали нечто расплывчатое, детали ускользали, их не было. И не хватало ума понять, что задуманное — вне моего опыта. Но однажды вспомнила, как пыталась рассказать Пальке об этих немолодых влюбленных, а он махнул рукой: «Все-то ты выдумываешь!» — вспомнила и рассмеялась про себя, потому что до той встречи на Инженерной аллее сама, так же как Палька, не поверила бы: им же лет под сорок, какая тут может быть любовь!..

Бросив в печку начало падающего рассказа, я задумалась — с чего же начать? Давно, еще в Карелии, меня томил тема, возникшая в поезде на пути в Олопец: артель плотников во главе с патриархальным старшим, си-вобородым дядечкой, нанималась на сезонные работы по селам, по станциям, по работы попадалось мало, и вот решили по письму земляка податься на Волховстрой, на громаднейшее строительство, где набирают рабочих — сколько бы ни приехало, всех берут, и заработки хорошие, да еще дают жилье и пайки... Всем своим комсомольским существом я понимала — не удержится в артели патриархальный уклад, будет в жизни парней крутая ломка... Но что я знаю о Волховстрое? Что я знаю об этих парнях? Тема интереснейшая, но ради нее надо побывать на большом строительстве, а значит, выскочить из своего проклятого возраста, и доучиться, и определиться...

Взялась за тему простую, доступную — история Мироши, увиденной в садике у Александринки. Чем больше я раздумывала об этой нескладной, затюканной женщине, тем трогательней и человечней виделся рассказ о ее тоске по материнству, нашедшей выход в безрассудной любви к чужим капризным детям, и о горечи одиночества, наступившего, когда дети перестали нуждаться в ней... Писала увлеченно, каждый свободный час, даже с Палькой откладывала встречи. Но, перечитав написанные страницы, ужаснулась — это не рассказ, не история одного сердца, а бледная информация о переживаниях, которые я не сумела передать!

Еще одна тетрадь полетела в печку.

Конечно, я вскоре забыла свою несчастливую Мирошу. Но восемнадцать лет спустя в осажденном Ленинграде, когда сутки за сутками, днем и ночью одинаково страшными, сама жизнь диктовала мне судьбу моей

героини Марии Смолиной, рядом с нею проступил облик невзрачной, суетливой, самоотреченно-доброй женщины, всем сердцем потянувшейся к маленькому Андрюшке, а вместе с этим обликом выплыло имя — Мироша. Никакое иное имя к ней не прирастало — Мироша и Мироша! Только много поздней я вспомнила, откуда оно взялось... А «Инженерную аллею» я написала еще позже, когда смогла до конца понять драму, угаданную в юности, обогатив давнее впечатление опытом собственной жизни, знанием всей цепкости взрослых обязательств, пониманием неповторимых особенностей каждой большой любви, неотвратимости течения лет и неотвратимости разлук...

Неудачи первых юношеских попыток меня не расхоладили, как-никак впереди была вся жизнь, казавшаяся необозримо длинной. Только лихорадило от нетерпения: нет опыта и знаний, не умею писать и вообще ничего не умею — тем более нельзя терять годы зря, нужно немедленно определить, что делать, чему и как учиться. А кто подскажет? Советоваться было не с кем, да и глупо прозвучит в устах семнадцатилетней студентки: «Хочу быть писателем». Любой человек скажет: «Сперва доучись». А чему меня научит наш Внешкольный? Тому ли, что понадобится в литературном труде? И много ли жизненного опыта я наберу в институте и в общежитии? Тот ли опыт, которого мне не хватает?

Студенческая жизнь злила меня пассивностью — слушай лекции, учи, сдавай зачеты и опять слушай. Хотелось активности, действий, институт воспринимался как перевал на пути — но тот ли, нужный ли мне перевал?

Совсем недавно я ссорилась с Палькой из-за того, что он бросил рабфак. Теперь я ему завидовала — Палька руководил комсомольской организацией на заводе «Электрик», он прибегал веселый, оживленный, переполненный интересными планами, он *действовал*. А я чего-то ждала и неведомо зачем изучала педагогические системы Платона и Аристотеля — на кой мне черт почтенные старцы?!

Мой насмешливый друг Борис Акентьев, с которым мы славно дружили до конца его дней, однажды сказал, посмеиваясь:

— Знаешь, ты как узловая станция — поезда со всех сторон приходят и по всем направлениям отправляются. С минутными интервалами.

Это было сказано года три спустя, но именно в те дни — и надолго — началось состояние «узловой станции». Мои глаза разбегались, я хваталась то за одно, то за другое, упоенно впитывала все впечатления и мысли, решала и перерешала, что делать с собой.

Осенью, когда я начала учиться на первом курсе института, Палька предложил мне познакомиться с заводом.

Все производство «Электрика» помещалось тогда в одном краснокирпичном здании, оно и ныне стоит среди вновь построенных корпусов, но теперь выглядит небольшим, а в то время казалось внушительным. Я оробела, переступив его порог и восприняв то, что прежде всего воспринимает ноздрок, — ритмичный гул машин и приводов, ритмичное дрожание воздуха, и стен, и пола под ногами. Это был первый в моей жизни завод. Правда, в Петрозаводске я не раз бывала на Онежском заводе, но ни разу толком не прошла по цехам — видимо, тогда не было заинтересованности, меня гораздо больше занимали злокозненные мастера и начальники, уклоняющиеся от приема на работу подростков.

На «Электрике» я впервые вглядывалась в настоящий производственный труд, в процесс *делания*. Завод произвел на меня впечатление таинственного и могучего организма, где люди и машины действуют слитно. Управляя своими жужжащими, ухающими, скрежещущими или звенящими станками, сотни людей занимались чудесным превращением грубых тусклых кусков металла в гладкие сверкающие детали, чье назначение было мне неизвестно, а им понятно и привычно. От того, что каждый рабочий трудился как будто сам по себе, иногда останавливал станок и отходил от него перемолвиться с кем-либо словом, а то и вообще куда-то уходил, ощущение слитности и взаимосвязанности всех со всеми в общем процессе не уменьшалось, а даже усиливалось — каждый *знает*, что и когда можно, а что и когда нельзя, чтобы не нарушить общего ритма. А ритм ухватывался и глазом, и особенно слухом. Теперь уже не встретишь цехов с трансмиссиями и приводами, а тогда каждый станок приводился в движение приводным ремнем, ремни вращались с монотонным шипением, пощелкивая заплатами. И в каждом цехе был шорник, который менял износившиеся ремни или латал те, которые еще могли послушать.

Из ребяческого самолюбия я стеснялась расширяться, что и для чего, а Палька, рисуясь перед рабочими, говорил со мною снисходительно и вел себя петухом. Кроме того, половина его объяснений пропадала из-за шума. Рабочие поглядывали на меня с улыбочками, они, видимо, не сомневались, что комсомольский секретарь привел на завод «своею девчонку», и пошучивали на мой счет.

К счастью, нам встретился один из комсомольских активистов, длинющий электромонтер в синей рубашке, очень ладно облежавшей его крупную широкоплечую фигуру. У него было не то чтобы красивое, но очень интересное, запоминающееся лицо, умные светлые глаза, четкая речь. И говорить в шуме цеха он умел так, что каждое слово до тебя доходит. Палька называл его Жоржем и даже Жорой, но сам он представился строже:

— Георгий.

Мне это понравилось и сам Георгий понравился.

Кончилось тем, что Георгий повел меня дальше, а Пальку я отправила обратно в комитет. Георгий и производство знал лучше, и вел себя по-товарищески, не петушась.

Мне было интересно, но ушла я из цехов с тревожащим ощущением, что я тут экскурсант, посторонняя; вот ведь комсомолка, борец за дело рабочего класса, «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а рабочих не знаю и побаиваюсь, и они меня не приняли всерьез — так, девчушка пришла по приглашению хахаля подивиться на их труд...

Палька ждал нас в комитете. Были там и еще ребята. Палька меня со всеми познакомил, сказал мне и Георгию: «Садитесь» — и тут же заявил:

— Так вот, есть предложение дать тебе один политкружок. Согласна?

Я не успела и рта раскрыть, как Палька обратился ко всем присутствующим:

— Я оставил для нее кружок самый молодой по составу. В списке двадцать восемь ребят.

— Но послушай... — начал Георгий возмущенным тоном.

— Вера справится, — перебил Палька, — так вот, Вера, в четверг первое занятие. Сейчас дам тебе программу...

Коварство его замысла (Палька споза — в который уж раз! — испытывал меня «на прочность») я поняла в ближайший четверг, стоило мне войти в отведенный для занятий класс. Орава мальчишек прыгала через скамьи, толкалась, кричала, свистела. Меня они встретили издевательским «тю-ю-ю!» и смехом, мой вид явно не внушал почтения. Решив не сдаваться, я заняла свое место и постучала по столу, требуя тишины, но это их только раззадорило.

Дверь распахнулась толчком. На пороге остановился Палька Соколов.

— Ну вот что, — медленно произнес Палька, — вы уже второй год отлыниваете от учебы. Больше этого не будет. Если хотите работать на заводе. Дурачки заводу не пужны. Хулиганы тоже. Мы дали вам лучшего руководителя политкружка. Студентку. Старого комсомольского работника.

Кто-то громко прыснул, кто-то хихикнул — на старого работника я не походила. Но Палька дзиннул рукой — смех прекратился. Он аттестовал меня как отчаянно храбрую комсомолку, которая и кулаков не боялась, «а уж с вами справится»...

Когда он вышел, в относительной тишине я сделала переключку — из двадцати восьми озорников, которых Палька «под метелку» собрал из всех цехов, пришло около двадцати. Про отсутствующих, про всех до единого, хором сообщали, что такой-то сидит у большой тети, у больного дяди, у больной бабушки и даже «у больного ребенка, своего!». Особенно озорно, паясничая и стараясь вывести меня из себя, отвечал рослый круглолицый паренек лет пятнадцати, его коротко подстриженные рыжие волосы стояли торчком, а сам он все время ерзал на месте, дергался, крутил руками, видимо, сидеть тихо не умел. Фамилия была соответствующая — Шипуля. Именно Шипуля, жалостно вздыхая, сообщил мне про какого-то Ваю шестнадцати лет, что он не отходит от своего больного ребенка.

Проклиная в душе коварство Пальки, я готова была разразиться гневной речью, но в последний миг меня осенило — надо принять игру!

— Очевидно, на заводе началась эпидемия, — сказала я, — придется всем вам сделать прививки, я об этом сообщу в медпункт. А пока давайте выберем старосту.

Несколько минут шумно выясняли, для чего староста и каковы его обязанности. Затем стали выкрикивать фамилии друг друга — наверно, выкрикнули фамилии всех, кто присутствовал. Но я все же была «старым комсомольским работником» и вспомнила одну из комсомольских хитростей: если в клуб ходит ватага хулиганов, их председателя надо назначить ответственным дежурным. Здесь случай похожий.

— А я предлагаю выбрать старостой товарища Шипулю.

Как ни странно, Шипуля покраснел, растерялся, начал отказываться, но я добила его вопросом:

— Или у тебя нет авторитета? Боишься, что ребята не будут слушаться?

— То есть как — не будут?!

И Шипуля стал старостой.

Занятие я провела с грехом пополам, из всего подготовленного (а готовилась я целый вечер) выбрала только самое яркое, впечатляющее. Казалось, ребятам понравилось. Но на следующее занятие пришло всего девять человек.

Так началось мое единоборство с озорной мальчишеской вольницей, шло оно с переменным успехом и оказалось захватывающе увлекательным — кто кого? Платон с Аристотелем тут помочь не могли, надо было думать и пробовать самой то так, то этак. И обязательно справиться, не запросить у Пальки пощады. Пришлось перебрать уйму книг, выискивая увлекательные подробности про перевозку нелегальной литературы, тайные маевки, борьбу с провокаторами и сыщиками, побег из тюрем... Слушали с явным вниманием — а потом не приходили на очередное занятие. Почему? За неделю забывали, что было интересно? Отвлекались иными интересами? Цеплялись за привычное «не хочу учиться — и не буду»?..

Справиться с мальчишками помог Шипуля.

— Что ж это получается? — сказала я своему старосте. — Может, у тебя действительно нет авторитета, что ребята не слушаются?

— Послушаются, — покраснев так, что его рыжая голова загорелась закатным солнышком, грозно пообещал Шипуля.

На следующем занятии было двадцать три человека — рекорд!

— А эти где? — спросила я, ставя прочерки у фамилий отсутствующих. — Заболели? Прививки им не сделали?

— Сделаю, — сказал Шипуля.

Постепенно я познакомилась со всеми своими подопечными. Только один парень упорно не появлялся, так что я даже не знала, как он выглядит, Иннокентий Петров, про которого ребята говорили: «Кешка? Ну, этот не придет».

— Не считается он с тобой, что ли? — вскользь бросила я.

— Ничего, посчитается, — сказал Шипуля.

На следующее занятие пришел новый слушатель, но в каком виде! Под глазом багровел синяк, на скуле расплывался второй, сел он как-то боком, морщась от боли. Кешка!

— Что с тобой, Петров?

В настороженной тишине, покосившись на Шипулю, Кешка буркнул:

— Упал. На лестнице.

Вскоре наш кружок вышел на первое место по дисциплине и посещаемости. Палька говорил:

— Я же знал, что справишься!

На заседании комитета хвалили Шипулю — образцовый староста! Шипуля сидел у всех на виду розовым ангелом. Георгий поглядывал на меня смеющимися глазами: Шипуля ходил у него в учениках и Георгий кое о чем догадывался. А я помалкивала. Конечно, у Шипули методы не очень педагогичные... Хотя кто знает? У мальчишек свои законы.

Меня тоже хвалили, и это было приятно, но похвала похвалой, а чувство удовлетворения было куда глубже. Единоборство с мальчишечьей вольницей, оказывается, доставляло мне не только волнения (на каждое занятие я шла со страхом — что-то будет?), но и наслаждение, когда удавалось создать на занятии заинтересованную тишину, когда я видела в глазах мальчишек — пусть не всегда, но хоть изредка — внимание и доверие.

А Кешка оказался занятным пареньком. На его живом и умном лице с постепенно бледнеющими синяками отражалось все, что я рассказывала. Если я читала какой-нибудь отрывок из книги, он потом непременно подходил посмотреть, что за книга, иногда записывал название, а то и просил «почитать до следующего четверга». Первый раз дала с опасением — книга библиотечная,

вдруг замотает? Но он возвращал книги аккуратно и всегда обернутыми газетой, чтоб не запачкать. «Наконец-то я *делаю* что-то стоящее, — думала я, — может, это и есть то, что нужно? Что поважней Платона и Аристотеля?»

Оно и вправду оказалось нужным не только из-за той маленькой пользы, которую я приносила ребятам, но и потому, что я их здорово узнала за два года, этих озорников, и знанье отложилось в писательскую копилку — впоследствии в моих книгах появился и Шипуля (роман «Рост»), и Кешка («Дни нашей жизни»), да и всякий раз, когда мне нужно было написать мальчишку, так или иначе вставали в памяти те давние, с «Электрика»...

Приближались Октябрьские праздники, и заводской комитет комсомола включил меня в штаб по проведению молодежного вечера. Палька даже не спросил заранее, могу ли и хочу ли я, он безапелляционно заявил на первом заседании штаба:

— Значит, так. Вера напишет инсценировку. Вере и Жоржу поручим ее поставить.

И перешел к другим пунктам плана.

До праздника оставалось две недели.

И все же я ее написала, инсценировку, и мы успели ее поставить! Что это было? Халтура? Нет. Дерзость от невежества? Ближе к истине, но все же нет. Их тогда много писали и много разыгрывали своими силами, не мучаясь сомнениями, и зрители принимали их, эти скороспелые инсценировки, с открытой душой. Вспоминая увлеченность, с какою их играли и смотрели, я думаю, что успех многочисленных самодеятельных постановок определялся созвучностью, слитностью настроения авторов, актеров и зрителей. Темы были неотделимы от того, что мы переживали, от того, что происходило в мире — да, во всем мире, масштабы у нас были планетарные, мы не умели иначе воспринимать жизнь и говорили о ней языком революции и борьбы, горячо, как мобилизующая листовка, и обобщенно, как плакат.

О чем была моя инсценировка к шестой годовщине Октябрьской революции? Память почти ничего не сохранила, но я знаю, о чем она была, потому что та осень была осенью гамбургского восстания и его разгрома, мы жили драматическими событиями в Германии — как же я могла не отразить их? Каких-нибудь полтора года

назад я не умела объяснить видлицким лесосплавщикам новое слово *фашизм*, но вот уже год длилось кровавое господство чернорубашечников Муссолини в Италии, совсем недавно, летом, произошел фашистский переворот в Болгарии, в сентябре — в Испании... Ко всему, что происходило в мире, примешивалось ощущение нарастающей фашистской опасности. Еще ничего не зная о будущем тяжелейшем и длительнейшем бое с фашизмом, где многие погибнут, мы уже чувствовали ответственность за судьбы всего трудового человечества и хорошо понимали, что наша первая страна социализма — опора и надежда для рабочих всего мира. Об этом и говорила инсценировка, иною она просто не могла быть.

Играли заводские комсомольцы, а мы с Георгием были постановщиками, декораторами и костюмерами; Георгий готовил еще и осветительные эффекты, которые мы не успели отрепетировать, так как у «Электрика» своего клуба не было, вечер проходил в чужом клубном зале, куда Георгия с помощниками допустили только перед спектаклем. Как всегда, хуже всего обстояло дело с исполнительницами женских ролей — бойкие заводские девчата теряли бойкость при одной мысли о том, чтобы выйти на сцену, да еще в «чужом» клубе! Накануне спектакля одна из главных исполнительниц расплакалась и отказалась, так что пришлось играть мне, что я и сделала — решительно, но плохо. Сама слышала неестественность своего голоса и замечала, что все время размахиваю руками, но изменить ничего не могла. К тому же Георгий увлекся эффектами и заливал сцену то зеленым, то красным, то лиловым светом, меня особенно злил лиловый, так как я считала, что он мне «не к лицу», да и зрители отвлекались, следя за игрою света («Ну и Жорка! Во дает!»). Я злилась на Георгия, но изо всех силенок вытягивала свою роль — героическую роль, которую стыдно провалить. Удалась мне только концовка, да и то случайно: мне предстояло погибнуть на баррикаде, я падала, сраженная пулей, а мой товарищ должен был одной рукой подхватить меня, а другой — падающее из моих рук знамя. Оступившись на сложенном наспех, шатающемся сооружении, он успел схватить древко, а меня не успел, так что я весьма натурально грохнулась навзничь, больно ударившись о выступы столов, досок и железного лома. В зале аплодировали и моей невольной

самоотверженности, и снова взвившемуся красному знамени.

Вечер продолжался, а я полулежала за кулисами в старом, трухлявом кресле, у меня остро болел затылок и ныла ушибленная спина, хотелось плакать и еще больше хотелось, чтобы пришел Палька, чтобы я ощутила его тревогу и нежность.

И вот он появился, Павел Соколов. Я слышала, как он ругает моего партнера, затем он зашел в закут, где меня пристроили, как-то небрежно спросил меня: «Ушиблась здорово?» — и, не дожидаясь ответа, сказал равнодушно и властно:

— Поезжай домой. Сейчас найду какого-нибудь провожатого, он тебя отвезет на извозчике.

И ушел, так и не обронив ни одного ласкового слова.

Пока он искал провожатого, прибежал за кулисы встревоженный Боря Котельников, один из моих новых заводских приятелей. С дружеской заботливостью предложил проводить меня, помог встать, взял под руку...

— До извозчика дойдешь? Или сбегать привести?

— Пойдем, пойдем.

Я заторопилась — пусть Палька поищет, куда я делаюсь.

Вышли на затихшую к ночи улицу. Дождя вроде и не было, а воздух был насыщен влагой. Серая пелена скрыла звезды и луну, но слой облаков был тонок, сквозь него сочился размытый свет. После волнений и трудов длинного дня все было отрадно — и влажный воздух, и наш неторопливый шаг по пустынным улицам, и поддерживающая рука Бориса.

— Вон извозчик. Давай отвезу?

— Не надо. Пройдемся.

И в самом деле — пешком было куда лучше, боль в затылке отпускала, дышалось все легче. Приятно было слушать похвалы Бориса, высказываемые задумчиво, будто он взвешивал каждое слово.

Так же, как Георгий, он был рабочим высокой квалификации, его на заводе ценили. Милый, застенчивый, легко краснеющий и робеющий перед девушками (чего нельзя было сказать про Георгия, порядком ими избалованного), Борис был интеллигентен не столько по образованию, сколько по душевной сути, не всегда совпадающей с количеством знаний, но неизмеримо более важ-

ной в человеческом смысле. И Георгий, и Борис были новы для меня и привлекали больше, чем знакомые студенты, у обоих чувствовалась жизненная устойчивость, серьезность, определенность, чего так не хватало мне самой.

В тот вечер я была неплохого мнения о своих способностях — аплодисменты еще звучали в ушах! — и приняла без возражений похвалу моей инсценировке («Так быстро и хорошо сочинила!») и даже моей актерской работе («Когда ты появилась на баррикаде в красном луче — ну будто на самом деле!»). На миг экспресс мечты уже понес меня в Театральный институт — может, это мое?.. Но Борис продолжал, думая вслух:

— Наверно, это и есть то, что должно быть у студента Внешкольного института? Уменье организовать, написать, сыграть, увлечь других?

Такой поворот мысли был неожидан. И очень характерен для жизненной позиции Борнса: человек учится избранной профессии — значит, важно, есть ли у него необходимые данные. Вот он и взвесил — есть. Конечно, он и представить себе не мог, что идущая рядом девушка приехала в институт по путевке комсомола, толком не зная, кого тут готовят, и что маячащая впереди работа не привлекает.

На миг профессия осветилась новым, ярким светом и очередной экспресс понес меня в будущее — в клуб, а то и во Дворец культуры, где сотни людей спешат в драмстудии, в оркестры, в хоры, в танцевальные ансамбли... Стоп! Свет отключился.

— Понимаешь, Боря, меня тянет другое.

На пустой улице, в потемках, с этим милым малознакомым парнем оказалось совсем не стыдно говорить о том, что я до тех пор не решалась высказать никому. Борис не только понял меня, но и оценил мое стремление с конкретностью, какую я сама искала и не находила. Мои неудачи его не удивили:

— Ты пока мало знаешь людей изнутри, а ведь тут нужна вся душа человека, верно?

Он расспрашивал, есть ли такой институт, где можно подготовиться к писательству, и сам же решил, что научиться этому нельзя, «это же не болты-гайки и посложней самой тонкой аппаратуры». Спросил, много ли я читаю и кого из писателей люблю. О Толстом он сказал:

— Ну, этот знает души до доньшка.

Эмилия Золя он не читал совсем. Повторил вслух:

— Эмиль Золя, Эмиль Золя. Прочитаю. — А потом опять подумал вслух: — Даже очень большим писателям подражать все же нельзя. Но, наверно, многому можно научиться, если выкинуть, как они пишут?

Выкинуть.

Мы шагали в ногу и необременительно молчали, и десятки коротких поездов устремлялись к «Войне и миру», к «Очарованному страннику», к «Мартину Идену», к «Его превосходительству Эжену Ругону», к «Спартаку», к «Пармской обители», к «Оводу» — к книгам, которые меня по-разному впечатляли и в которые надо было *выкинуть*.

Посидели в сквере возле памятника «Стерегущему». Теперь я расспрашивала Бориса, чего он хочет в жизни. Борис отвечал застенчиво, но планы у него были определенные, он знал, чему именно хочет учиться и какую точно техническую специальность хочет получить.

— Только я пойду в вечерний. Матери помогать надо.

У моего дома еще постояли, хотя порядком заочене-ли. Борис взял мои руки и осторожно растирал пальцы, согревая. Если бы он захотел меня поцеловать, я бы не оттолкнула его, в эти минуты я верила, что нашла наконец-то самого лучшего, близкого, все понимающего друга, не то что...

— Как голова, болит?

— Нет, прошло.

— Я так испугался, когда ты полетела... А Соколов — тот даже вскрикнул и вскочил с места.

Вот как!

Я взбежала по лестнице, повторяя про себя: «Вскрикнул и вскочил!» А потом... притворщик!

С подоконника на верхней площадке поднялся Палька. Встрепанный, бледный до синевы. Похоже, он даже не мог пойти мне навстречу, стоял и ждал, вглядываясь в мое лицо бешеными глазами.

— Где ты была?! — почти шепотом выкрикнул он. — Всю квартиру переполошил, торчу здесь битый час! Мне уж бог знает что мерещилось! Хотел бежать по больницам!.. Где ты шаталась половину ночи?!

Каким оно разным бывает — счастье.

А потом начались неприятности.

Целыми днями пропадая на «Электрике», я совсем забыла об институте, да и некогда было: репетиции, декорации, костюмы, подготовка к занятиям с мальчишками, заседания штаба и просто болтовня с новыми друзьями... где уж тут ходить на лекции! В институте это заметили. Если б я жила по-прежнему в земляческом общежитии, все обошлось бы. Но осенью в Питер перебралась мама, мы сняли две комнаты у хозяек огромной квартиры на Кировой, 19, мама взяла напрокат рояль и начала давать уроки музыки, одновременно стараясь найти работу в музыкальной школе. Маму я не боялась и не очень-то слушалась, но мамина эмоциональность мне нередко досаждала: придешь поздно — мама еле жива от волнения, не поела вовремя — расстраивается, Палька засиделся — мама ни за что не ляжет, пока он не уйдет, да еще внезапно открывает дверь из своей комнаты и заглядывает, приготовив липовый предлог. Чтоб избежать лишних разговоров, я не посвящала ее в свои дела, поэтому она была ошеломлена, когда две студентки зашли выяснить, не больна ли я и почему не бываю в институте. Припомнив, как недавно Палька среди ночи меня разыскивал, она вообразила черт те что и не только не попыталась меня выручить, но еще и поделилась своими страхами — с утра уходит, если не на лекции, то куда же?.. В общем, подвела меня кругом.

Вызов в деканат пришел суровый, с угрозой исключения.

Когда я прибежала в институт и осторожно приоткрыла дверь к декану, у него сидел кто-то посторонний, я отпрянула, но декан заметил меня и позвал. Был он нестарым и отнюдь не грозным, а вот незнакомец меня напугал: крупный, осанистый, с сильной проседью, с темными зоркими глазами, он так разглядывал меня, что, казалось, сразу приметит мое легкомыслие. Запнаясь, я кое-как выпалила приготовленные слова о том, что прошу меня не исключать, что зачеты я сдам вовремя.

— Хочу верить, — сказал декан. — А теперь давай на чистоту. Где пропадала?

Почему-то мне тогда представлялось, что мое увлечение заводскими делами будет осуждено — дескать, переметнулась из своей организации в чужую, кому нужны такие студентки! Я молчала, не зная, как выпутаться.

— Может, влюбилась? — улыбаясь, спросил тот, посторонний.

Согласиться было бы стыдно, а соврать этим зорким глазам невозможно. И я рассказала правду, постепенно распаяясь, так что влетело и Платону с Аристотелем, которые ничем не могут помочь в единоборстве с хулиганистыми мальчишками. Само собою вышло, что говорила я не декану, а незнакомцу со всевидящими глазами. И повел разговор именно он.

— Значит, Платона и Аристотеля побоку? А вот у Ленина и задач, и дел было побольше, чем у вас, однако он блестяще изучил философию начиная с древней. Сумма знаний не всегда помогает непосредственно, она приучает мыслить интересней и глубже...

Он развернул передо мной целую картину — от древности идет как бы эстафета идей, зернышко, брошенное одним ученым, прорастает у другого, разные идеи, сталкиваясь и обогащая одна другую, двигают прогресс. В какой-то связи он произнес запомнившиеся мне слова «думающее человечество». Я чувствовала себя ничтожеством, никак не причастным к думающему человечеству, но преисполнилась желанием немедленно, сегодня же, начать изучать всех философов всех времен, даже, будь они неладны, Платона с Аристотелем... Со стыдом вспомнила, как из кокетства ходила с «Критикой чистого разума» Канта под мышкой и как сладко заснула на раскрытом томе Гегеля...

И тут меня настиг вопрос:

— А вы читали статьи Ленина о реорганизации Рабкрина?

Мне смутно припомнилось, что весной в «Правде» были напечатаны две статьи Ленина, мы все радовались — значит, Ильич поправляется после болезни, вот и статьи написал. Но прочитать я не удосужилась, первая статья была посвящена, как мне показалось, сугубо ведомственному вопросу, что-то насчет Рабоче-крестьянской инспекции, вторая привлекла своим названием — «Лучше меньше, да лучше», — я начала читать, но что-то отвлекло, ну и не дочитала. Ленина — не дочитала! Комсомолка! Руководитель политкружка!

— Эти статьи выходят далеко за рамки частной темы, — так или примерно так сказал мой собеседник, и строгое лицо его стало еще суровей и даже горестней.

То, что он сказал дальше, изгнало остатки легкомыслия, с которыми я прибежала в деканат, чтобы отвертеться от наказания. Он сказал, что у Ленина идет речь о будущем всего Советского государства, об условиях, без которых не построить социализм, и что эти статьи, по существу, завещание нам, молодым, следующим поколениям революционеров.

— Между прочим, он пишет, что у нас не хватает культуры, не хватает *цивилизovanности*... Так что пренебрегать знаниями не стоит. — Затем он повернулся к декану и сказал другим, добродушным тоном: — Студентка первого курса занимается с заводскими подростками, пишет и ставит инсценировку... это, по-моему, хорошо. Простим ее?

Прощенная и вроде даже похваленная, я ушла, так и не узнав, кто меня пристыдил, а потом выручил. Вернулась в широкий коридор первого этажа, где всегда кучились студенты, увидела комсомольского секретаря Петю Шалимова и разбежалась к нему с вопросом, не знает ли он... Но Петя сурово приказал мне прийти на заседание комитета:

— Дашь объяснения по поводу своей недисциплинированности.

Я сказала: «Ну и дам!» — и все же докончила вопрос по поводу человека, встреченного у декана, но Петя ответил язвительно:

— Вот и видно, что ты с начала учебного года не была ни на одном институтском собрании.

Шла я на заседание комитета получать нахлобучку, но ребята, вместо того чтобы ругать меня, пораспрашивали, что за инсценировку я написала и поставила, а потом поручили срочно в порядке комсомольского задания написать пьесу для институтского драмкружка и даже оговорили количество мужских и женских ролей — по количеству участников. Само задание меня не испугало, а вот то, что руководит кружком настоящий режиссер... из настоящего театра...

Пьеса, ко благу, не сохранилась, думаю, что она чести автору не делала, так как была неким сплавом приемов, пленивших меня в постановках Мейерхольда и в «Принцессе Турандот» у Вахтангова, да еще плакатных приемов «живых газет». Только в двух сценах, где объяснялись мои молодые герои, я забыла о подражании и дала волю желанию раскрыть психологию и чувства

героев. Я не осознавала, но смутно чувствовала, что именно в этих двух сценах осталась сама собою.

Режиссер был уже немолодым (так мне виделось, хотя теперь я думаю, что ему было лет тридцать или чуть больше), говорил темпераментно и отрывисто, заглатывая слова и обрывая фразы на полуслове, а когда глядел на тебя, казалось, что горящим взглядом он пронизывает тебя насквозь и уже где-то за тобою видит нечто гораздо более значительное. Пьеса ему понравилась — «как раз то, что...». Меня он расхвалил — «молодое дарование!» Ее обязательно нужно рас...». Перед драмкружковцами широко раскинул сильные руки, будто что-то держал в ухватистых пальцах, — «сыграем! Острейший рисунок! Каждое движение, каждое слово гротесково уси...». Затем он размашистым карандашом вымарал две сцены, которыми я дорожила («Ерунда! Мхатовщина! Никому не...»), и запретил мне ходить на репетиции («Лишнее! Помешаешь! Нужен полет фантазии, сотворчество, каждый актер должен быть...»), и категорическим жестом отправил меня за дверь. (Мне бы воспринять это все как первый предупреждающий сигнал об опасности профессии, к которой тянулась моя неискушенная душа, да где там!)

Нечто, слегка напоминающее сочиненную мною пьесу, я увидела уже на спектакле. Робко заимствованные мною приемы были усилены и расцвечены акробатикой; мой герой во время предельно лаконичного объяснения с героиней прошелся вокруг нее колесом, а затем они оба (взаимная любовь!) синхронно укатили таким же манером за кулису; кто-то выбежал из глубины зала, промчался по проходу, расталкивая студентов, которым не хватило мест, и могучим прыжком взлетел на сцену, а сверху опустился на тросах большой треугольник, оклеенный цветной бумагой, с дырой посередине, в которую по очереди просовывали головы действующие лица, выкрикивая свои реплики... Я начисто забыла все остальное и даже о чем была пьеса, но эти несколько штрихов постановки до сих пор стоят перед глазами.

В зале веселились, иногда рукоплескали (в том числе и способу, каким влюбленные покинули сцену), во время сложных акробатических трюков студентки взвизгивали, а потом кричали: «Молодец, Леша!» Профессора и преподаватели, сидевшие в первых рядах, смущенно улыбались, но тоже хлопали — кончиками пальцев по ладоням. После спектакля оваций не было, да я и не знала, что

в случае большого успеха кричат «автора! автора!»,— мне еще не довелось бывать на премьерах. Сидя в углу зала, куда я поначалу забилась со страху, я развлекалась вместе со всеми, иногда удивлялась («Неужели это получилось из моей пьесы?»), а в общем-то немного гордилась — какой кавардак породила!

Публика уже покидала зал, и я вместе со всеми, но режиссер вдруг вспомнил, что «вначале было слово», вытребовал меня в комнату, где разгримировывались актеры и толпились институтские руководители, при всех шумно объявил, что вот оно, молодое дарование, «которое обязательно нужно разви...», и приказал мне послезавтра вечером прийти в студию Самодетельного театра на Стремянную, 10, где в «среде, причастной к самому передово...», я получу то, «без чего дарование не...».

Узловая станция почти прекратила движение. Единственный скорый поезд был нацелен на Стремянную, 10, в студию Самодете...

Студия Самодетельного театра была одною из студий, которых так много возникло в те годы. В атмосфере смелых исканий, неухающих споров и свободного, порою дерзкого соревнования направлений молодые и даже совсем не молодые режиссеры со своими единомышленниками — актерами или тянущимися к театру любителями — объединялись, чтобы создать лучший на свете театр, всеми правдами и неправдами отвоевывали какое-нибудь помещение, провозглашали новейшую программу и начинали репетировать облюбованную пьесу, еще не имея ни денег, ни костюмов, ни оборудования сцены, ни заинтересованных зрителей, но веря, что всего добьются. Иногда такая студия закреплялась и превращалась в театр, иногда, поставив два-три спектакля, распадалась, но и ее исчезновение с афиш не было бесследным — даже недолгая жизнь такой творческой ячейки выявляла хоть один, два, а то и больше талантов — актерских или режиссерских. А это уже немало. В общем развитии молодого послереволюционного искусства сами неудачи были плодотворны, потому что от неудач и ошибок отгалкиваются, чтобы их не повторить, а без кипения мыслей и страстей, без столкновения точек зрения не рождаются и крупные удачи.

Уже в наши дни, работая над этими страницами, я попыталась разыскать в Театральном музее хоть какие-то следы Самодеятельного театра. Но в музее почти не оказалось материалов, уточняющих беспокойные театральные события двадцатых годов, сохранившиеся газеты и журналы того времени ничего не сообщили мне о студии, которая меня интересовала, разве что намеки на студию Шимановского, а может быть, Морозова на Стремянной, но тремя годами позже. Они не запечатлели и спектакля, оставившего у меня сильное и яркое воспоминание, спектакля, называвшегося «Квадрат 36». Действие пьесы происходило во время войны и внутри подводной лодки, поврежденной взрывом и затонувшей; всплыть лодка не может, команда обречена, но если открыть кингстон, силою рванувшегося наружу воздуха одного или двух человек может выбросить на поверхность моря. Вероятно, была и какая-то возможность исправить повреждение, если на работы хватит сил и времени, пока есть чем дышать. Подробности забылись, но в памяти осталась борьба матросов возле кингстона, острейшая психологическая коллизия, ошеломившая меня настолько, что много ночей подряд она мне снилась и я просыпалась в ледяном поту еженощно в одну и ту же минуту — когда, подавив желание спастись за счет товарищей, начинала хрипеть от удушья...

Чья это была пьеса? Чья постановка? Кто были актеры, так сильно ее сыгравшие?

Так же как на «Эугене несчастном» Толлера, захватывала и сама близость «Квадрата 36» к недавним событиям, пусть не пережитым, но понятным моему поколению. Казалось, в студии я научусь чему-то важному и потом смогу сама написать пьесу о наших днях, нужную людям, волнующую их не меньше, чем взволновали меня два часа, как бы прожитые на дне морском в душной коробке затонувшей лодки. Однако литературных занятий в студии не было и с драматургией на репетициях обращались так вольно, что в пору было вообще отказаться от надежды приобщиться к ней. Впрочем, увлекала возможность приходить вечерами в небольшой, бедно обставленный зал, приглядываться к людям, которые были тут *своими* и держались непринужденно, наблюдать репетиции, совсем не похожие на те поспешные («Ты вбегаешь отсюда, а ты стоишь вот тут»), которые мне доводилось вести; два-три актера, а иногда всего один актер,

отрабатывали какой-то крохотный эпизод, по многу раз повторяя его с малозаметными изменениями, а кто-либо из режиссеров сидел в зале и морщился, кричал: «Не то!» — иногда сам поднимался на сцену и показывал движение или произносил те же реплики — вроде бы так же, да не так, а неуловимо лучше.

Мой режиссер был здесь отнюдь не главным, но, пожалуй, самым шумным, бросающимся в глаза. Когда я впервые со страхом переступила порог зала, он меня встретил победным возгласом, схватил за плечи и повел знакомиться со множеством людей, называя всех так быстро и громко, что я никого не запомнила, да и меня вряд ли запомнили. Пожав мне руку, все продолжали заниматься своими делами, разговорами, шутками, а то и явным ничегонеделанием: сидит человек в ряду стульев, и смотрит в потолок, и о чем-то своем размышляет, а может, и не размышляет, а просто так, захотел посидеть — и сидит...

Однажды мне сказали, что на Литейном, 49 будет читка новой пьесы о Карле Марксе и я могу туда пойти, а захочу — принять участие в обсуждении. Вот оно, думала я, конечно, обсуждать я не решусь, но сколько полезного услышу!

Скучный оказался вечер. Маленький толстый драматург с седеющими волосиками вразлет вокруг обширной лысины читал тихо и монотонно, к тому же очень долго, время от времени он отрывался от рукописи, чтобы глотнуть воды, и оглядывал слушателей беспомощным близоруким взглядом. Я сидела у двери и почти ничего не понимала, так как не умела воспринимать пьесы на слух, не улавливала, кто что говорит и что происходит. В небольшой комнате было тесно, потом становилось все свободней, мне тоже захотелось уйти, но удерживало предстоящее обсуждение. Когда оно наконец началось, стало еще скучней — люди выступали нехотя и говорили так туманно и красиво, как говорят только в тех случаях, когда говорить правду неудобно или незачем. Я с удовольствием убежала домой, хотя и жалела маленького толстяка, которого постеснялись обидеть, но разве дипломатическое пустословие не более обидно, чем жесткая правда?

А у меня начала шевелиться в голове пьеса, где героиней была моя институтская подруга, казачка Люба. Обмолвилась она однажды, что поехала учиться против

воли родителей, они собирались выдать ее замуж в соседнюю станицу. Ничего больше Люба не рассказала, но воображение у меня заработало, и постепенно сложилась целая история с резкими объяснениями, бегством и даже попыткой убийства из ревности — жених из соседней станицы хотел убить курсанта, которого Люба выдавала за своего мужа, «чтобы парни не липли». Как обычно со мною бывало, я вскоре сама запуталась, где правда, а где выдумка.

На мою беду, один из институтских драмкружковцев, студент старшего курса, вдруг проявил внимание к моей особе, расспросил, как живу, как учусь, не нужно ли мне помочь и с кем я дружу, а потом начал подробно выспрашивать, кто такая Люба, откуда и прочее. Конечно, я догадалась, что Люба ему нравится, и не пожалела добрых слов для ее характеристики, а затем, радуясь внимательному слушателю, красочно пересказала историю, постепенно сложившуюся в моем воображении. Как он с Любой познакомился, не знаю, но их стали часто видеть вместе. Прошел, наверно, месяц, и вдруг Люба налетела на меня, гневно сверкая черными глазами и не выбирая выражений — я оказалась гнусной сплетницей, лгуньей и даже интриганкой, пытавшейся рассорить ее с «одним человеком»... Слушать мои объяснения она не хотела, да и мне было трудно объяснить ей, как все получилось. Вскоре она вышла замуж за своего «одного человека», так что мои выдумки, к счастью, их не рассорили.

В те дни, когда я горько переживала вину перед Любой, кончилась для меня и студия. Пришла я туда вечером, надеясь рассказать моему режиссеру о замысле пьесы, а может, и о том, как подвело меня воображение. Но «моего» режиссера не было, репетиции на сцене тоже не было, хотя в полутемном зале все же собралось человек сорок студийцев и завсегдатаев. Сидели маленькими группками, переговаривались и смеялись чему-то, за моей спиной две девицы декламировали иступленными голосами: «Зацелуйте меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикарю!» — и томно поглядывали вокруг (в поисках дикарей?); несколько студийцев вполголоса, но слаженно пели модное танго «Под знойным небом Аргентины», а высокий парень и маленькая девушка в черных чулках и слишком короткой юбочке не то танцевали в проходе, не то выполняли акробатический но-

мер, перед которым не только наше с Лелькой танго на кухне, но и танго Франчески Гааль выглядело бы пресным. Я терпеливо ждала своего режиссера, но он так и не появился, зато ко мне подошел другой, пугающе кудлатый, сказал, что давно заметил меня, сжал мой локоть огромной ручищей и пригласил через полчаса, когда он освободится, пойти в ресторан «поужинать и поговорить об искусстве». Я не посмела отказаться — под каким предлогом откажешься, если зовут поговорить об искусстве?.. Но как только кто-то позвал его и он пошел на сцену, многозначительно шепнув мне: «Через полчаса удираем», я опрометью бросилась в раздевалку, схватила свое пальто и успокоилась только в трамвае. Больше я в студию не ходила, боясь кудлатого.

Впрочем, и без того все замерло на станции. Начались зачеты.

Одна неделя

Она началась предвкушением праздника.

С тех пор как Лелька вышла замуж, театральные набегу зайцем кончились; с Палькой ходить было сложно, он и тут любил шикнуть — билеты в первые ряды партера, туда и обратно на извозчике, да еще в театре норовил затянуть в буфет. Зато мама, переехав в Питер, отмахнула все старые привычки и с удовольствием ходила на самые дешевые места, на галерку так на галерку! Питались мы кое-как, но от театров не отказывались. В тот день у нас были билеты на премьеру «Черной пантеры» — не знаю, чья это пьеса и о чем, не помню, чтобы она позднее где-нибудь шла, а если бы и шла, никогда бы меня не потянуло на нее...

Морозы держались жуткие, ни одной такой лютой зимы потом не было до первой блокадной, когда осажденный Ленинград коченел от тридцатиградусных морозов, длившихся и длившихся без передышки. Та давняя зима началась мягко — то морозец, то оттепель, — набирала силу исподволь, а в январе ударила — тридцать градусов, тридцать пять, ночами и под сорок.

В тот вечер мела метель, мама прибежала с урока облешенная снегом, но, как всегда, неунывающая, заторопила меня — скорей одевайся, опоздаем! Теплых пальто у нас не водилось, но не лишаться же театра из-за такой малости!

Мы вышли на улицу — а улицы будто и не было, в белой крутящейся мгле пропали дома и тротуары, только изредка тускло светящимися призраками проплывали битком набитые трамваи да на повороте с Кировной на улицу Восстания чуть просверкивали высекаемые бугелем искры. Во время снегопада мороз обычно слабеет, но в тот вечер он, кажется, еще усилился, каждая снежинка, ударяя в лицо, обжигала кожу, ледяной ветер не давал дышать. Мерзнуть на остановке в ожидании трамвая с риском не пробиться в него? Идти пешком?..

— Эх, кутить так кутить! — залихватски крикнула мама и рванула меня к темному силуэту, надвигавшемуся из снежной круговерти. — Извозчик! — перекрывая свист ветра, кричала она. — Извозчик!

Теперь и я разглядела добела обындевевшую лошадку, нахсхлившегося возницу и пухлый сугроб на месте, где должны быть сани.

Возница оживился, слез с облучка и кое-как сбил снег с саней, протряхнул старенькую медвежью полость, заправил ее над нашими коленями и, взгромоздившись на свое сиденье, прицокнул на лошадку. Бедняга так закоченела, что рванула с места и затрусила быстрее, чем позволяли ее годы.

Жмурясь и грея руки под мышками, открытые до пояса лютованию ветра и снега, мы все же радовались — едем! А там все будет прекрасно: тепло, сиянье люстр, множество принарядившихся людей — и праздник, праздник общения с искусством.

Глух и безлюден был подъезд театра. Неужели опоздал?

Одинокий фонарь, закрытая дверь, белый лист с черной каймой и черными буквами, уже припорошенными снегом:

«Сегодня в 6 часов 50 минут... скончался... Владимир Ильич Ленин...»

Скончался...

Ничего не было вокруг, только завывал ветер, швыряя в лицо колючий снег.

Извозчик уже уехал, мы молча пошли обратно, то и дело застревая в наметах снега. Иногда останавливались совсем, потому что не понять было, где мы и куда нужно идти. Иногда забредали в неведомую парадную на неведомой улице, чтобы отдышаться. Где-то у Невского нам удалось втиснуться в трамвай, как всегда переполненный,

но до ужаса молчаливый — ни всегдашних перебранок, ни шуток, даже толкотня необычная: нужно человеку выходить, он скользит боком и тихо приговаривает: «Пропустите, товарищи» — и люди поджимаются без слов, пропуская. Знают. Вгляделась — лица строгие, замкнутые. Первые часы, когда каждый переживает про себя ошеломляющую весть и думает, думает...

У нашего дома возились со стремянкой дворники. Один из них полез наверх, в его руке вдруг размоталось и рванулось по ветру красное полотнище с черной каймой.

Долго поднимались на свой шестой этаж. Мама неуверенно сказала:

— Что же делать, Верушка, он так болел.

Невозможно было говорить об этом. Да, болел, все знали — тяжело болел. На любом собрании из зала летели записки с одним и тем же вопросом: как здоровье Владимира Ильича? Некоторые докладчики отвечали озабоченно, другие бодро — живет в Горках, поправляется, понемногу читает, начал заниматься делами. Хотелось верить самым бодрым. Основным чувством сквозь тревогу была надежда... Что это такое — надежда? Признак слабости или признак силы? Наверно, и то и другое. Но как может жить даже очень сильный человек, если откажется от надежд?.. Какой невыносимо сухой и скучной будет душа, изгнавшая надежды?!

Когда мы вошли в квартиру, в переднюю выглянула одна из хозяек.

Две сестры, две бывшие барыни, издавна владели этой большой шестикомнатной квартирой, но теперь были вынуждены сдавать смежные комнаты, «пока никого не вселили». Одна из сестер, дородная, с гордой осанкой, когда-то, видимо, красавица, хозяйничала на кухне в лайковых перчатках до локтей, оттопыривала мизинец, когда чистила картошку, обо всем говорила раздраженно и вообще была явно оскорблена самим фактом революции; ее сын, то ли кончавший, то ли уже окончивший институт, был так же красив и весьма самоуверен, меня старался не замечать, а если мы сталкивались в коридоре, здоровался пренебрежительно, еле разжимая губы: сдали комнаты интеллигентной даме, музыкантше, кто мог подумать, что ее дочь окажется комсомолкой! — еще одно оскорбление, нанесенное их дому революцией. Старшая из сестер, занимавшая в семье несколько подчиненное

положение, была симпатичней, любила поговорить и с мамой, и со мной, запросто мыла полы и с кошелкой у локтя ходила в магазины и на рынок за продуктами — она смирилась с фактом революции и старалась приспособиться к непривычным условиям жизни.

Так вот, встретила нас Оскорбленная.

— Что это вы вернулись? Из-за погоды?

Мама сказала:

— Умер Ленин.

— Слава тебе господи! — воскликнула Оскорбленная. — Но неужели из-за этого отменили спектакли?

Гнев застал мне глаза, сквозь яростную темноту проступило вскинувшееся навстречу, наглое и все же испуганное лицо. Ничего, кроме него, я не видела и прямо в это лицо прокричала все слова, какие рвались наружу.

У себя в комнате я разревелась от обиды, что кто-то может, кто-то смеет!.. Еще не знала, что смерть как бы провела резкую черту между миллионами людей, охваченных скорбью, и теми, у кого она вызывает злорадство и мечты о крушении революционного государства, созданного Лениным.

Ночью, поплотней укрывшись от студеного дыхания, струившегося в оконные щели, я думала о Ленине, которого так и не увидела и уже не увижу. Необходимый как никто другой, он прожил всего пятьдесят три года. Почему?! Вспоминалось все, что я знала о его целеустремленной жизни. С детского возраста, со дня казни брата Саши, — неутомимая, непрекращающаяся работа мысли и неумная энергия *действия* на избранном пути. Я физически чувствовала напряжение его мозга, его нервов, его энергии, и как он совсем не щадил себя, и как он день за днем в условиях трехлетней войны и первоначального революционного строительства должен был как можно быстрее находить десятки решений в вопросах, которые никогда и никем еще не решались, потому что все, чем он руководил, было *впервые*. Я чувствовала его усталость и как он эту усталость преодолевал, потому что отдыхать не было времени, и, кажется, чувствовала, как подкрадывается к нему болезнь, мстя за перенапряжение всех сил организма... и умирала вместе с ним — до реальности ясно. Позднее мне не раз случалось силой воображения вызывать у себя такое состояние — иначе не напишешь. Но в ту ночь ощущение смерти пришло само, впервые и так меня напугало, что я зажгла свет и долго

сидела, завернувшись в одеяло, стараясь понять, что же это такое — вот это физическое ощущение угасания, истощения жизненных сил.

Утром я спозаранок побежала в институт — на люди. И на улицах, и в институте было тихо. В одной из аудиторий сидел тот самый седеющий человек, с которым я недавно повстречалась у декана. Вокруг него тесно сбились студенты, подходили все новые и новые, я тоже кое-как примостилась поближе; это не было ни собранием, ни лекцией, людям нужно было услышать душевное слово, и человек, который мог его сказать, говорил и говорил, обращаясь заново к тем, кто только что вошел, и, наверно, для них повторяя уже сказанное. Он не произносил никаких призывных слов, но из всего, что он говорил негромким глуховатым голосом, возникало в наших молодых душах чувство взрослой ответственности за то, как будем жить дальше.

Я по-прежнему не знала, кто он, и не до расспросов было, но рассказывал он о Ленине очень попросту: как Ленин слушал других, мгновенно откликаясь на верное суждение и азартно вскидываясь, если суждение было неверным, как Ленин выступал, вовсе не заботясь о своем престиже вождя, думая только о деле, о том, чтобы его поняли, чтобы приняли нужное решение, избегали ошибки... Так мог рассказывать человек, который не раз видел, слышал, наблюдал Ленина в работе, на съездах. И любил его, и потому сейчас при всем умении владеть собой темен от горя.

— Ленин будет жить, пока мы с вами будем продолжать и беречь созданное им.

Эти слова намечали выход из растерянности, из неправимости беды. Если б он еще подсказал, что именно делать нам, мне не вообще, не когда-то потом, когда доучимся, а вот сегодня, сейчас!

Дома было пусто, мама пошла по урокам. На моем рабочем столике стояла давняя фотография Ленина — лобастая голова, умные, слегка прищуренные глаза, сильные и добрые губы. Мысль и энергия. Мысль и воля... «Ленин будет жить, пока мы...» Само собой начало складываться стихотворение. Может, это и есть то, что я могу сделать сегодня, сейчас?.. Писала, перечеркивала, искала слова, рифмы... Потом тщательно переписала и побежала в «Ленинградскую правду». В редакции было много народу, но, как и везде в этот день, стояла тишина,

нарушаемая только деловыми вопросами и ответами. Люди сдавали отклики, резолюции траурных собраний, стихи. Я тоже без лишних слов отдала свое стихотворение, вышла на улицу и, чуть не задохнувшись от колкого мороза, все же побрела по городу, по скованному молчаньем городу, по его стылмым, заснеженным проспектам в красных с черной каймою флагах и вглядывалась в каждого встречного человека: ну как ты, как *мы* теперь будем? — и встречала тот же безмолвный вопрос, устремленный навстречу — не мне, всем.

Да, было тревожное раздумье — как оно пойдет без Ленина, и было горе, простое человеческое горе. Не такое отчаянное, вздох, до одури, как при личной утрате очень близкого человека, когда кажется — легче самому в могилу. Нет, это было другое горе, оно вошло в души с чувством всеобщности, оно не замыкало в себе, а вздымало души до высот вселенских, потому что потеряли человека, который бесстрашно руководил самым крутым поворотом человеческой истории и сочетал в себе острый ум мыслителя с революционным вдохновением и организаторским трудолюбием. Русский интеллигент в самом лучшем, высоком смысле слова, он был отчаянно, до конца смел в анализе и выводах, размахист в деяниях, он верил в людей и любил их, у него было удивительное умение видеть и большие массы людей с их бедами, нуждами и стремлениями и в массе — отдельного человека; выделив способного человека, раскрыть в нем его силы и доверить ему то, что другой доверить не решился бы. Вокруг него быстро росли и набирались самостоятельности самые рядовые люди. Он был активно добр, но бывал и беспощаден — к врагам, не от жестокости характера, а потому что знал — иначе нельзя, враги пока что намного сильнее, прояви мягкость — и они задушат революцию, потопят ее в крови. Он ничего не искал для себя и сил своих не щадил совершенно, лишь бы утвердить на земном шаре первое социалистическое государство. Он мечтал об этом с юности, он с юности был готов ради воплощения этой мечты отдать свою жизнь. И отдал.

За десятилетия, прошедшие с тех январских дней, я пережила немало горя и немало радости и не хочу сравнивать — каждое горе, как и каждая радость, неповторимо, — но хочу сказать, что накрепко узнала, каким смягчающим теплом насыщено самое горькое личное пе-

реживанье, когда оно же — частица всеобщего, всенародного, тут твоя боль слита с ощущением родины и истории, и с общей заботой, и с общим напряжением, и плечо стоящего рядом не чужое, дружеское плечо, и нет чужих лиц, и нет чужих глаз. Чувство разделенное, пережитое вместе со множеством людей, — всегда ступенька духовного возмужания.

Разве забудется такое: черный круг уличного репродуктора и сдержанно-молчаливая толпа вокруг него — ожидание, ожидание, ожидание... и наконец низкий голос Левитана: «После многодневных тяжелых боев... наши войска оставили...» Смоленск. Киев. Одесса. Севастополь (Севастополь!). Ростов... Что еще? «Отражая непрерывные атаки превосходящих сил противника...» Стоишь, обмирая, и прерывистое дыхание незнакомых людей, стоящих рядом перед тобой и сзади, оно и твое дыхание... Если душа может обрести крепость металла, то именно в такие минуты.

До крепости металла прокалывались души, когда хоронили Ленина.

В тот студеный день 27 января не только в Москве — по всем городам и селениям выходили на улицы, преклоняя траурные знамена, миллионы людей. Ледышками скатывались по щекам слезы, смерзались ресницы, и дыхание каждого соединялось с дыханием других в плотное облако пара, клубившееся над колоннами. А в минуты, когда саркофаг с телом Ленина устанавливали на помосте в специально построенном деревянном мавзолее на Красной площади, не только в Москве — по всей огромной стране все замерло, остановились машины, поезда, корабли и люди и только гудели, протяжно и горестно гудели гудки — казалось, над всем земным шаром будто из миллионов грудей рвался долгий стон.

Один человек может отдаться горю, на какое-то время, оцепенев, выключиться из жизни. Страна — не может. Руководящая партия — не имеет права.

На траурном заседании II Всесоюзного съезда Советов прозвучала Клятва Ленину, произнесенная от имени партии и народа И. В. Сталиным. Отточенная, четко определившая главные задачи времени, эта речь бодрила, как глоток воды — пересохшее горло. Это был возврат к жизни, к труду, к борьбе, к надежде. Именно эти слова

были необходимы миллионам труженников и у нас, и за рубежами страны — и они были сказаны.

Вспоминаешь те дни и многие другие дни и годы — и думаешь, думаешь... Куда денешься от раздумий, если ты не баюкался в тихой заводи, но плыл по стремнине жизни, а на стремнине были и первые пятилетки, и война, и разгром фашизма. И утраты, утраты — священные, в боях, и те, другие, которые ничем нельзя оправдать и бесовестно забывать. Что было, то было. И великое, и трагическое, и страшное.

Но я забегаю вперед, все то было потом, потом... А в те шесть дней расставания с Лениным мы, юные, сразу повзрослели, тяжесть Клятвы ложилась и на наши плечи.

Передо мною на стене прямо над портретом Ленина была приколотая как лозунг полоска бумаги со словами Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!» (уж не знаю, в старом ли переводе вместо «готов» было «идет», или я так записала по памяти, потому что «идет» звучало активней). И вот я смотрела то в умнющие, слегка прищуренные глаза Ленина, то на этот лозунг, выбранный мною еще в Мурманске для себя, — как же мне идти на бой? куда? где нужны мои силы — сегодня, сейчас?

Скажут — учиться. Да, это и Ленин сказал молодежи — учиться, учиться и учиться. Хорошо, буду учиться как черт, никаких поблажек! Засяду за Ленина, за Маркса, начну изучать историю — не по институтской программе, а подробней, обстоятельней, ведь ничего толком не знаю, одни жалкие разрозненные обрывки!.. И буду много читать и перечитывать самые любимые книги, *вникая*, как они написаны, чем достигает писатель такой силы воздействия... Но что же все-таки *делать*? Идти на бой — куда, как?!

В Клятве Ленину, которую я мысленно приняла вместе с сотнями тысяч, а может быть и миллионами советских людей, меня особенно волновала последняя часть о международной солидарности трудящихся в борьбе с угнетателями и в защите нашей республики Советов. Так оно и было — пока Красная Армия и народ яростно бились вкруговую, в Англии, во Франции, в Америке все решительней звучало: «Руки прочь от революционной России!» — и грузинки отказывались грузить боевое снаряжение для интервентов и белых армий, моряки отка-

зывались его перевозить, солдаты не хотели воевать... и интервентам пришлось уйти. Это я видела на Мурмане — как они поспешно грузились и отплывали прочь от нашего берега. Да, рабочие многих стран помогли нам встать. Но и мы, еще нищие, полуголодные, мы тоже помогаем им и всем угнетенным, где бы они ни были. Самим фактом своего существования — без буржуев и помещиков. Мы для них опора и надежда, маяк, указывающий путь к освобождению. А если нужно будет помочь в их борьбе, разве мы не ринемся на помощь? Разве есть у нас цель выше и прекраснее этой — освобождение всех эксплуатируемых, угнетенных, обездоленных не в одной стране, а на всем земном шаре?!

Первое послереволюционное поколение, мы с этой мечтой росли, она была такой желанной, что бросало в дрожь, — начать бы! Принять участие в разворачивающейся борьбе в подполье, на баррикадах — где понадобится! Мы родились слишком поздно для борьбы с царизмом, для революции, мы опоздали на фронты против беляков и интервентов, но этот-то бой — наш?! И если придется отдать жизнь — разве пожалеем?!

Собственное тело было таким несомненно живым, здоровым, неотъемлемым, что сердце замирало, — его не будет? Совсем? Пробитое пулей, или порубанное шашкой, или разорванное снарядом — перестанет существовать?.. И всего, чего ждешь от жизни — любви, труда, дружбы, — уже не будет?.. Не будет. И все-таки, если придется...

Говорить об этом между собой не говорили, подучилось бы выпендренно и даже нескромно, друзья вмиг разыграли бы, высмеяли: скажи пожалуйста, «отдает жизнь»! Твоя жизнь — и мировая революция, несоизмерно, дорогой товарищ!

Не говорили вслух, но тем жарче мечталось наедине с собой. До зримости ясно виделся земной шар, который надо освободить и привести в разумный вид, этот несчастный земной шар, где столько нищеты и горя, несправедливости, войн, хищной эксплуатации и беспросветного подневольного труда. Все, что я вычитала у писателей разных стран, промелькнувшие в газетах факты и даже сухие, но леденящие цифры («...средняя продолжительность жизни — 31 год», «...три четверти детей умирает до пяти лет», «...два с половиной миллиона безработных»), все оживало в воображении и заполняло эту

шарообразную географическую карту отчетливыми картинками. Изможденные докеры вереницей сбегают по шатучим мосткам, согнувшись под увесистыми тюками, их качает, груз вот-вот придавит, столкнет в воду... Озверевшая толпа здоровущих молодых избивает негра, он силится прикрыть руками глаза на разбитом в кровь лице... Китайка носит и носит на коромысле плоские корзины с землей, а к спине прибинтован совсем маленький ребенок (наверно, искривляется позвоночник?)... Рикша, натужно дыша, изо всех сил тянет коляску с седоком, а седок погоняет стеком — быстрее, быстрее!.. Соляные припски — почти ни у кого из рабочих нет сапог, босые ноги скользят по белым пластам, соль разъедает кожу, каждая ссадинка — как рана... Рисовые плантации залиты водой, бредут по колено в воде люди-скелеты в широкополых шляпах, с рассвета до темноты в воде, мучительно сводит ноги, и ноют кости, и кашель разрывает грудь... Картина за картиной, картина за картиной — что ж это происходит на тебе, земной шар?! Как сделать жизнь на тебе счастливой для всех? Как дать свободу, кров, пищу всем обделенным? Как вывести на солнце, к достойной человеческой жизни всех, кто задыхается в вонючих трущобах? Как сокрушить навсегда нищие норы и смрадные углы, где угасают на глазах матерей мертвенно-бледные — ни кровиночки! — дети?..

Меня с детства жгло и мучало одно воспоминание — мучало много лет, пока я, работая над «Мужеством», не отдала его, перевернув, моей героине Тоне.

Мы жили тогда в Петербурге — значит, перед мировой войной, так что мне было лет шесть или чуть больше. Мама повезла нас в какой-то большой парк, день был холодный, но солнечный, мы долго гуляли, бегали взапуски, прыгали со скакалкой, и наконец нам понадобилось где-нибудь уединиться. Мама предложила — за кустики, мы отказались — стыдно, не маленькие. Нашли уборную «для дам». Низкое беленое здание возвещало о себе стойким запахом. Мама брезгливо повторяла: «Осторожно, ни к чему не прикасайтесь, тут кругом зараза!» По одной стене, разделенные перегородками, стояли в ряд стульчаки, по другой возле входа столик с тарелкой, в которой лежало несколько медных монет, и невысокая печурка, какая-то женщина как раз снимала с углей котелок с нечищенной картошкой, но, увидев нас, сунула котелок обратно и метнулась от нас к окош-

ку, замазанному известкой, а там, под окошком... под окошком стояла широкая кровать, а на кровати сидели с ногами две девочки моих лет — чахленькие девочки с призрачно-серыми лицами; был с ними и мальчик постарше, но мальчика я не разглядела, он сразу нырнул лицом в подушку, а женщина торопливо прикрыла его с головой лоскутным одеялом. «Вы не беспокойтесь, он не смотрит», — пробормотала она маме.

Мы уже уходили, мама уже положила в тарелку с медяками еще один, а я все смотрела на серолицых девочек и на сжавшегося под одеялом мальчика: они — здесь — живут? Спят? Едят?..

Вечером, укладываясь в белую кроватку, я расплакалась и никак не могла объяснить маме почему.

Это жгучее воспоминание ожило и меркнувшим пятнышком проплыло за другими видениями по шарообразной географической карте. Конечно, революция вывела на солнце, на чистый воздух тех трех ребят, если они дожили... Но сколько еще на свете таких же смрадных углов и невысказанных судеб?

В моем воображении медленно проворачивался земной шар, весь в черных пятнах человеческих страданий. Нет, не весь! — пусть у нас пока и голодно, и трудно, но уже строится новая жизнь — не для кучки богачей, *для всех*. Вот она, Страна Советов, размахнулась почти на целое полушарие, от Тихого океана до Балтики. Шестая часть мира. Это все-таки очень здорово — шестая часть мира! И на ней — красная мерцающая точка, город, где все началось, где Ленин сплывал первые группки революционных рабочих, где он руководил Октябрьским вооруженным восстанием, где по ленинскому плану *народ* взял власть в свои руки. Ленин-град.

Новое имя города хотелось повторять и повторять. Ленин-град!

Сорок пять минут на решение

Юность, юность, возвращаясь к тебе, в трепетный мир ожиданий, я вновь подпадаю под власть твоего беспокойного духа, самого животворного из всего, чем ты богата. Я сатанею от нетерпения, хохочу, отчаиваюсь, злюсь на себя, с замиранием сердца предвкушаю... предвкушаю то, что давно осуществилось или не осуществилось, но

С годами перестало волновать. Я разматываю нить времени среди написанных вразброс страниц и наплывающих подсказок памяти, заново проживая ту давнюю пору, — ведь не только болеешь и умираешь вместе со своим героем, но и радуешься с ним, когда ему хорошо (пусть в это же время тебе живется невесело), обманываешься, когда он обманулся, и счастлив бываешь до полного самозабвения, когда герой счастлив... Такова подоснова профессии. Если у начинающего писать нет способности переключаться и проживать чужие жизни до осязаемости, до самозабвения — значит, не его это профессия и где-то рядом есть другая, пока не опознанная, в которой он найдет самого себя. Литературный труд — жестокий труд, человек этого труда сгорает десятки раз в десятках чужих судеб и восстает снова, чтобы, переведав дух, погрузиться в водоворот других судеб и событий.

Теперь мне и легче, и трудней. Легче потому, что рассказ вроде бы о своей жизни и эту мятущуюся девчонку я неплохо знаю. Трудно — потому что хочется через нее рассказать о времени и людях той поры, рассказать правдиво, без прикрас, а пора окутана романтической дымкой юности — двух юностей, ведь и революция была очень молода. Трудно и потому, что форма повествования все же близка к роману, это наиболее мне свойственно, а герои не созданы мною (в итоге сложного процесса наблюдений, обобщения и типизации, как в романе), они реально существовали, и нужно сдерживать воображение, которое так и норовит вмешаться, все завернуть поинтересней, покруче сгустить события и домыслить в характерах и судьбах то, что девчонка знать не могла и понять не сумела бы. Конечно, мудрый змий нажитого опыта никуда деваться не может, но давать ему волю опасно, он лишь присутствует на втором плане да иногда, отстранив девчонку с ее метаниями и обольщениями, позволяет себе поразмышлять не торопясь. Ну хотя бы о том, что же она такое — юность, и что ей нужно, и чем она счастлива или несчастлива.

Сколько человеческих поколений борется, страдает, не щадит себя ради счастья своих детей! Ну а что это такое, счастье детей?

Иногда думают, что материальный достаток, обилие одежды, пищи и развлечений, оно и есть то, «за что боролись», — достигнутое счастье детей. А дети, подрастая, ничего этого не ценят, хотя привычно принимают. Они

мечутся, грубят старшим, связываются с дурными компаниями, у них нет света в глазах — и гаснет свет в глазах матерей. Их упрашивают учиться — они это делают кое-как, лишь бы отвязались. Поступить на работу? Они ищут «непыльную» и чтоб досуга побольше. Досуга много, а занять его нечем. Ну и глушат его чем придется, иногда до потери себя. Я преувеличиваю? Нет. Есть и совсем другие? Да, их много, я ненавижу стариковское брюзжание — дескать, молодежь нынче не та, вот в наше время... Вздор! И в «наше время» молодежь была всякая, отнюдь не только передовая (кстати, отрицаю сам термин «наше время» — для меня и сейчас время мое, наше). Суть проблемы в том, что найти себя, найти свое счастье для очень юного человека не просто.

Попробуем приглядеться к совсем маленьким детям. Они обаятельно открыты для улыбки и радости, они доброжелательно-доверчивы и тянутся к каждому человеку, если он *добр* (а доброту и любовь к ним дети чувствуют безошибочней взрослых!). Но и в грош они не ставят тех, кто с ними *только* добр, то есть безгранично потакает им. Малыш любит заведенный порядок: оставшись на вечер с таким маленьким педантом, попробуйте повести его умываться до того, как он снял костюмчик, если он привык мыться раздетым, попробуйте разрешить то, что мама и папа строжайше запрещают, — он воспользуется вашим попустительством, но поглядите на его мордашку: ему *неудобно*, что он не удержался от соблазна, он сконфужен и в глубине души вас осуждает. В детском саду, если там мало-мальски хорошие воспитательницы, малыш легко подчиняется дисциплине и порядку, он склонен хвастаться — «а у нас...», он мирно спит положенное время, хотя дома бунтует против дневного сна. Человек — существо общественное; даже очень домашний ребенок быстро приучается жить сообща с группой сверстников и не менее быстро познает, что тут иные законы, чем дома, что тут он не пуп земли, не единственный на свете. Это ему полезно, но лишь до тех пор, пока он не ощутит давления на свою индивидуальность (не менее яркую оттого, что он еще мал!), пока он не столкнется с произволом неумного или раздраженного руководителя. Взгляните в глаза малышу, если с ним несправедливы, — какой изумленно-растерянный, остановившийся, почти взрослый взгляд!

Жизнь, конечно, учит, но разве не ясно, что с годами

восприятие тех же самых отношений и давлений не приглушается, а становится острее?

Приглядимся к тому, что делает малыш, предоставленный самому себе. Раскидав дорогие игрушки и властной рукой уложив спать всех кукол подряд (чтоб не мешались в дело), малыш с упоением творца мастерит нечто понятное ему одному из кубиков, старых крышек и невесту откуда попавших к нему железяк; он потрошит любимую матерчатую собаку (она и после останется любимой), допытываясь, что и почему пищит у нее внутри; он долго и упрямо выковыривает механизм из заводной игрушки, а потом пытается запихнуть этот механизм в дырявого целлулоидного попугая или приладить его к обшарпанному грузовичку. Он полон инициативы и активности, малыш, он хочет делать *сам* и то, что *сам* придумал. Не мешайте ему в эти драгоценные минуты — они дороже любых уроков.

Насколько же мощней и томительней жажда самостоятельности и самоутверждения у юноши, чувствующего, что он уже на пороге взрослой жизни; шаг, еще шаг, порою резкий, через препятствие, — и он сам по себе, без поводырей и опеки. «Но что я *сам по себе*? Из многих путей какой путь *мой*? Что я могу? Где приложить все, что во мне заложено?»

Без этой беспокойной жажды познания самого себя и применения всего, на что ты, именно ты способен, без внутренней энергии самопроявления личности не было бы прогресса, не было бы открытий научных, географических, художественных — да никаких вообще! — не было бы музыки, и поэзии, и любви тоже не было бы — не животной, а человеческой, ищущей духовной близости и духовного взаимообогащения, открывающей мир во всем его очаровании.

Беспокойная жажда самопроявления ведет человека через всю жизнь, но в юности, когда духовные и физические силы особенно свежи и деятельны, а сам себя еще не понял и свои возможности не определил, она наиболее остра и тревожна.

Где бы и в чем бы ни искал человек счастья, находит он его именно в возможности полностью осуществить свои способности, в ощущении своей нужности людям; и она тем глубже и радостней, чем больше преодолено препятствий. Я в этом убеждалась много раз и убеждаюсь снова и снова, встречая молодых людей, нашедших

себя в трудных и значительных делах, будь то участие в новостройке или научное исследование, внедрение новой технической идеи или работа над большой, требующей огромного мастерства актерской ролью.

Найти себя и свое место в жизни — вот главная задача юности, сознает ее юноша или не сознает, хочет быть полезным обществу или беспечно проживает день за днем. Хорошо, если он, пробуя силы, то тут, то там, не натворит неисправимых ошибок, если легкомыслие или слабохарактерность не затянёт поиск надолго, — ведь годы не вернешь и свежие силы без применения вянут. Но как бы ни сложилось, юность — пора метаний и душевного покоя.

Так было и со мною в тот год, остро захотелось что-то *делать* — немедленно, реально. Весной мне стукнуло восемнадцать. Восемнадцатилетие казалось катастрофой — до такого возраста дожила, а кто я? Где мое место в жизни?.. Порой побеждало легкомыслие, и я жила как живется, не отягощая голову самоанализом и самокритикой. Веселилась, делала глупости. Спыхватывалась, ругала себя — и снова металась в поисках самоопределения. Наваливалась на учебу, досрочно сдавала экзамены и контрольные работы, конспектировала Ленина и Маркса, запоем читала Толстого, Золя и Стендаля — и вдруг бросала книги недочитанными, бумажные закладки постепенно желтели, зажатые между страницами. Пыталась писать рассказы — и рвала исписанные тетрадки: плохо! *Приблизительно!* Что я знаю?

Перед каникулами поругалась в деканате, где меня как ленинградку хотели на все лето запрячь в работу по организации учебных кабинетов, соврала, что уезжаю в Карелию, а сама ушла на комсомольскую работу в Петроградский райком подменять отпускников и встала на временный комсомольский учет не на «Электрике» (очень-то нужно, чтобы Палька мною командовал!), а на пивоваренном заводе «Красная Бавария» — новое производство, новые впечатления! Лето проработала с увлечением, была счастлива, думала — уже не оторвусь, к черту институт, останусь на Петроградской стороне, благо райкомовцы зовут. Но мама уж очень расстроилась, приехала из Тивдии Тамара, отругала: «Недоучкой останешься, кому ты будешь нужна?» И Палька говорил, что со второго курса уходить глупо, а Георгий, который сам готовился поступать в вуз, рассердился: «Неужели вы не

понимаете, что через несколько лет работник без образования будет чем-то вроде ихтиозавра?» Через силу вернулась в институт и как-то сразу охладела ко всему, что увлекало, даже к кружку башибузуков на «Электрике», но и к учебе не пристрастилась, а начала писать стихи, просиживая над ними ночи напролет, пока незаработала острое воспаление глаз, так что пришлось неделю лежать в темноте.

Лежа в темноте, я думала с той неторопливостью, которую в наш век дает только болезнь — вынужденная остановка. Думала о том, что меня манит литературный труд и ничто другое, но есть ли у меня способности — кто скажет? Еще меня интересуют люди, самые разные, всякие — умные и ограниченные, добрые и злые, прекрасные и дурные, но всегда при встрече с новым человеком возникает вопрос: почему? Почему он такой, как он рос, как сложился его внутренний мир, что с ним будет дальше? И почти всегда хочется об этом новом человеке написать — значит, любопытство к людям входит в самую суть литераторского призвания... Еще я думала о Пальке — вот ведь любим друг друга, но все складывается трудно, непонятно и с каждым месяцем все больше запутывается... почему?.. И о Георгии думала — с интересом и потайной девичьей радостью. Приятельские отношения с этим своеобразным, совсем взрослым парнем, начавшиеся с первого дня знакомства на «Электрике», переросли в дружбу, слегка окрашенную нежностью, именно слегка, мне такие отношения очень нравились, они волновали и не требовали каких бы то ни было решений, а Георгий с высоты своего огромного роста и своих двадцати пяти лет смотрел на меня как на малышку. Однажды я прочитала ему свое дурацкое стихотворение (тогда оно казалось мне оригинальным), каждая строфа его кончалась рефреном: «Кровь! Кровь! Кровь!» Георгий выслушал и сказал:

— Кровавый карапуз.

Я обиделась до слез.

Отбросив всякую нежность, Георгий начал разбирать строку за строкой и доказал мне, что за многозначительным набором слов нет подлинного смысла, «вы пугаете, а мне не страшно», «вам хочется быть взрослой и свирепой?». Под конец я посмеивалась вместе с ним и без сожалений разорвала злосчастный листок, но «карапуз» еще долго саднил душу. Утешалась я тем, что многие

другие мои стихи Георгий одобрял и даже прочил мне «будущее». Он и сам писал стихи, одно из них посвятил мне, там были слова «мне нравится в вас детскость», я не знала, огорчаться или удовлетвориться тем, что дальше говорилось о женственности... Но главное — он любил поэзию, и мы часто читали вслух настоящих поэтов, многих из них я впервые для себя открывала — и мир поэзии, мир настоящего искусства распахивался передо мною все шире. Читал Георгий гораздо больше, чем я, и судил о литературе самостоятельной и строже, он не выносил суесловия и красноречия; «литература — это дело такое же, как другие, только более важное» — так он утверждал и требовал от новых стихов и романов, чтобы они были о самом жизненном, главном, а не пережевывали пустяки. В том, что он говорил, я узнавала свои мысли, только я не умела их так четко и даже беспощадно высказать. Вероятно, мы оба грешили некоторым рационализмом и слишком непосредственно связывали задачи искусства с задачами дня, но мы были детьми своего времени, вне революции и борьбы мыслить не умели. Впрочем, это не мешало нам ощущать глубинную красоту поэзии, только нам хотелось, чтобы она поднималась до бетховенских высот. Надо ли говорить, что прикосновение к настоящей поэзии заставило меня устыдиться собственного стихотворства?..

Приближалась новая весна, вместе с нею мое девятнадцатилетие. А я все еще ничего не решила! И вот однажды...

— Ольга Леонидовна, честно предупреждаю: скоро я вашу дочку уведу!

В последние недели Палька зачастил ко мне, был непривычно уступчив, охотно философствовал и шутил с мамой. Предупреждение было высказано тоже шуточно, а быстрые зеленые метнулись в мою сторону подобно солнечному зайчику.

Я выскочила из комнаты, чтобы не показать своей растерянности, и восторга, и страха. Выскочив, остановилась за дверью и услышала мамин вопрос:

— А Верушка согласна, чтобы ее увели?

И Палькин ответ:

— Не захочет — силой уведу. В бурку с головой да через седло!

Вот в такой дурашливой форме Палька предложил мне стать его женой — не когда-то через годы, по

окончании учебы, а совсем скоро?.. Сердце стучало так громко, что казалось, и мама, и Палька могли бы услышать, если б не продолжали болтать, как ни странно, о чем-то другом. Или мама не поняла, что Палькины слова не шутка? Или Палька действительно шутил?

Когда я решила вернуться, солнечные зайчики то и дело слепили мне глаза, но разговоры шли самые обыкновенные, пили чай, потом мама демонстративно посмотрела на часы, и Палька собрался уходить. Обычно мы долго прощались в передней, а то и за дверью на холодной лестничной площадке, без непрошенных свидетелей, но сегодня мама тоже вышла в переднюю провожать Пальку и расставанье вышло коротким. Я уже гремела запорами, обильно оснащавшими дверь квартиры, когда Палька что есть силы закричал с лестницы: — Ве-ра-а!

И лестница присоединилась к его зову — ...ра-а-а! Все задвижки отлетели в сторону. Палька стоял этажом ниже, изогнувшись над перилами, и высматривал меня в узкий лестничный проем.

— Я не шутил! — крикнул он с победоносной улыбкой и побежал вниз вприпрыжку и даже посвистывая. Лестница гулко вторила его прыжкам и свисту, потом раскатисто продублировала хлопок парадной двери.

Эх, Палька-Пальчик, тебе бы сразу с лестницы «в бурку с головой да через седло»!

После первых часов упоения и надежд напознали сомнения. День ото дня тревожней. Это и есть решение? Кто же я — человек со своим призванием или девчонка, ошалевшая от радости, что ее берут замуж?.. Как в романах прошлого века — томленья, идеалы, отстаиванье своей личности, а потом — хлоп! — замужество, героиня превратилась в преданную жену и мать, дальше писать не о чем. Точка.

Да, но ведь то было в XIX веке, при чем же здесь мы? Неужели мы, новые, свободные люди, не сумеем жить по-иному, помогая друг другу, а не мешая?!

Воображение рисовало картины дружной и независимой жизни двух равноправных людей — идеальные картины, где хоть какую-то конкретность обретала любовь, а все остальное выглядело таким отвлеченно-прекрасным, что туда никак не вписывался Палька с его трудным характером, да и я тоже, и некуда было пристроить паши постоянные — иной раз и не разберешь из-за че-

го! — затяжные ссоры. Вероятно, я сама была хорошей перек, но винила Пальку — вечно он устраивает сомной какие-то эксперименты. Вот и с кружком заводских башибузуков... А с Георгием! Понимал же, что Георгий — парень на редкость привлекательный, все девушки обмирают, и нарочно сводил нас, поручения давал общие, а на праздничной вечеринке актива (сперва не хотел и звать на нее!) сам уселся во главе стола, две девчонки по бокам, а меня посадил рядом с Георгием на другом конце... Тоже испытывал на прочность? Зато теперь, застав у меня Георгия, неделю дуется.

А что получится, если мы будем вместе? Я совсем не влюблена в Георгия, но он мне нравится и я не хочу терять дружбу с ним, и разговоры о стихах, и открывание чудесных поэтов... А смогу я сохранить эту дружбу, когда Палька стихов не любит и по поводу наших чтений вслух только фыркает?.. Смогу я идти туда, куда вздумается, встречаться с самыми разными людьми, которые мне почему-либо интересны?.. А писать ночами, когда хочется писать, смогу?.. А просто бродить одной по городу и думать, о чем думается, смогу?.. А если не смогу — значит, действительно конец всему, точка?! И никакого писателя из меня не выйдет, все мои планы — девичьи бредни, птичье оперение?..

Горькие мысли прокручивались и прокручивались как заводные, и от них было тошно, потому что сквозь все сомнения и доводы пробивалось чувство, которому нет дела до рассуждений: хочу быть с ним, не могу отказать от него, жду, жду, жду...

Настал день — третий или четвертый день ожидания Пальки, исчезнувшего для загадочности, — когда я отбросила все рассуждения и полностью доверилась любви. Почему-то он виделся таким, каким стоял на лестнице, изогнувшись над перилами, и высматривал меня в узкий лестничный проем. Озорной, желанный, ни на кого не похожий. С этими его солнечными зайчиками, с этой его улыбкой... Стоп! Победоносная у него была улыбка. *Победоносная!* Даже не сомневался, что я согласна. Очастливил — и поскакал, посвистывая! А теперь медлит — пусть помается.

Когда он наконец пришел, я начала читать ему стихи — одно за другим, из разных книжек. Видела, что он злится, и читала дальше. Пока он не прихлопнул ладонью очередной томик.

— Так что ты думаешь по поводу того, что я говорил?

— А что ты говорил?

— Ну, прошлый раз... при маме...

— Я, наверно, не расслышала. Что именно?

Минутное молчание — и беспечно:

— Да пустяки. Ничего серьезного.

Вот такой вышел разговор.

Я пишу эти строки в своей дачной рабочей комнате — типичнейший уголок на земле. За окном провисшие под навалами снега многопалые лапы сосен, белые разводы и сплетения обындивевших кленовых ветвей и тончайшая вязь березовых. После долгих оттепелей как-то вдруг настали крепкие январские морозы. Паровое не справляется с ними — на моей верхотуре зябко. И, может быть, от холода, приходят сдерживающие, холодные мысли: что это я расписалась о любви и ее капризных благоглупостях? Какое же тут «о времени и людях»? Все я да я, я да он!..

Откладываю рукопись и выхожу скидывать снег с балкона. Балконная дверь с трудом открывается, тесня приваливший сугроб. Ох и воздух же сегодня! Как родниковая вода — чистый и леденящий зубы. Снегу полно, поверху он легкий, пушистый, обильно насыпанный за ночь, понизу тяжелый, слежавшийся, много сразу и не подцепишь лопатой (так мне и надо, лентяйке, вовремя не сбросила!). Под валенками скрип-скрип. И слышно, как потрескивают окоченевшие доски балконного настила. А в лесу за забором изредка как хлопок выстрела — трещит от мороза дерево.

Так что же — занесло меня в личное, в частное? Может быть, никому, кроме меня, не интересное? Вымарать? Это проще всего.

От равномерных взмахов лопатой становится жарко. И очень хорошо.

Прилетела синичка, присела поодаль на перила, поглядела на меня дружелюбным глазом и упорхнула, испугавшись взмаха лопаты. Нас она не боится, мы всю зиму подкармливаем целую стайку синиц, они дружно слетаются к кормушке под дровяным навесом и одна за другой пикируют на кусочек сала, подвешенный на проволоке. В очередь за ними, но, кажется, без драк, при-

летают подзаправиться два дятла, обрабатывающих столбы электросети. Белкам мы подсыпаем корму отдельно, их две зимуют на участке, с осени они приспособили скворечник для зимних запасов и даже подгрызли летку, чтобы свободней было залезать туда и обратно. Что-то скажут скворцы, когда прилетят по весне?..

Какое все-таки чудо — жизнь! Вечная и неустанно обновляющаяся, пьешь ее — не напьешься. Все-то в ней сплетено, взаимосвязано, в мельчайшем частном явлении отражается общее, и нет общего без дробной россыпи частного, личного. И ничто не повторяется, даже как будто неизменное. Вечна любовь, но все же в каждом поколении — своя особенность, неповторимая отметина времени.

Вот я пишу о той давней девчонке почти как о чужой (так издали вглядываюсь в нее!) и ясно вижу отметинку. Не она одна, многие тысячи комсомолок тех лет яростно отстаивали свою самостоятельность и равноправие, отмечая все, что было до них (старый режим, домострой!), мечтали о новой жизни, где все должно быть иным — любовь, отношения, быт. Откинуть такую приметку времени? Искажится правда. Да и как обойдешь любовь, когда пишешь о юности? Как обойдешь любовь, когда пишешь о человеческой жизни?..

Снова повалил снег — густой, каждая снежинка с монету, только монеты мгновенно тают на разгоряченной коже. Вали, вали, милый, укрой землю плотным покрывалом, чтобы согреть и напоить ее для нового щедрого расцвета.

Ну и ледоходы бывали на Неве! Красивые и сильные до жути. Остановишься поглядеть — и не уйти, все дела побоку. Ладожский лед пошел!

Кое-кто из читателей, наверно, усмехнется — почему «бывали»? Не стариковское ли это брюзжание «раньше было лучше»? А между тем все правильно — уже нет на Неве прежних могучих ледоходов, хотя и сейчас они приманивают глаз. В войну, когда Ладога с ее Дорогой жизни была под смертоносным огнем, весной лед взрывали, чтобы ненароком не занесло в город, не трахнуло об устой мостов какую-либо вмерзшую в лед мину или перазорвавшуюся бомбу. И после войны продолжали взрывать, оберегая невские мосты.

В довоенные годы весна хозяйничала без помощников. Сперва вскрывалась река и к Финскому заливу про-

плывал невский истонченный, подтаявший лед. Нева очищалась, только у берегов кое-где оставались ледяные кромки. День ото дня теплело, солнышко пригревало все ощутимей, ветви деревьев, блестящие от влаги, казалось, вот-вот брызнут зеленью лопающихся почек. Но раннее тепло обманчиво: студеной ветер налетал с севера, вздыбливал Ладогу, разгонял по ней тяжелые волны, они крушили и подталкивали ледяные поля — и вот, треща и ухая, в горло Невы вползали толстенные озерные льды. Обгоняемые ледяным крошевом, крутятся на речных поворотах, плыли громадные льдины, с разгона ударялись о предместные быки, становились дыбом, раскалывались надвое, и две все еще грузные льдины устремлялись в пролеты, чтобы удариться о быки следующего моста. Стоишь у перил, и кажется — мост содрогается от ударов. Жутко — и все же не оторвать глаз от наплывающих льдин.

В такой весенний день я честно отправилась на семинар, но на улице услышала, что пошел ладожский лед, и, забыв об институте, побежала на набережную. Чем ближе к Неве, тем ожесточенней дул навстречу ветер, прямо с ног сбивал. Но как пропустить такое зрелище?! А смотреть лучше всего с Литейного моста. Я домчалась до моста, на самой его середине протолкалась к перилам и, жмурясь от порывов ветра, огляделась. Слева вдоль реки, почти вплоты — корпус к корпусу, — тянулись до еле видимой Охты прославленные заводы Выборгской стороны, мною почти не искоженной, незнакомой. Один из самых революционных рабочих районов Ленинграда! Сколько видел глаз, сотни труб утыкались в низкое небо, сотни темных дымов сбивались в глухую пелену, которую сейчас трепало, прибывало к крышам и разрывало ветром. Справа вдоль самого парапета на добрый километр навалены штабеля дров (откуда мы ночами таскали поленья в общежитие), за ними — барские особняки и обшарпанные доходные дома, дальше за верхушками деревьев сияли маковки Смольнинского монастыря и угадывался Смольный; огибая Смольный, река круто поворачивала напрямую, где я стояла, и несла на своей упористой хребтине целые ледяные поля, отбрасывая на излучине ледяной лом — ропаки стояли у берега как стражи.

На одной из льдин что-то темнело! Лыжа! Одинокая сломанная лыжа плыла неведомо зачем и куда... Что случилось? Брошена ли она с досадой незадачливым

лыжником, вздумавшим пробежаться по ладожскому простору? Или произошла трагедия?.. Спустя годы я не раз видела на ладожских льдинах обломки грузовиков и самолетов, видела и примерзшие ко льду буторки, очертаниями напоминающие тела, и хорошо знала, каких трагедий это останки. А тогда одинокая лыжа тягостно поразила воображение. Написать бы рассказ о совсем молодом человеке, отличном спортсмене (как тот, в Учкюевке моего детства, что утонул на моих глазах), о веселом и счастливом человеке, споро бежавшем на лыжах по озерному приволью и не сразу понявшему, что его догоняет гул и треск взламываемого ветром льда. Поняв, он припустил вовсю, еще уверенный, что успеет. «И вдруг под ногами разверзлась трещина...» Нет, лыжа лежала на гладком ледяном поле. «И вдруг...» Но как узнать, что там произошло?

А льдины наплывали и наплывали — те, которые выбились на главное течение, гордо и свободно неслись на стремнине, другие, откиннутые в стороны, крутились и тыркались одна о другую, обдирая бока. Мощь движения завораживала. Так и в жизни? — подумала я и тут же со злостью определила, что я-то ни на какой не на стремнине, а бултыхаюсь в сторонке и только тешу себя мечтами. Все мои неумелые попытки упираются в незнание, вот как с брошенной лыжей. И то, что я начала на днях писать, тоже. Сама себя обманываю. Начало еще может получиться, а дальше?..

Что я знаю о дальнейшей судьбе безработной девочки Натки, казалось бы навсегда оробевшей от раннего сиротства, тщетных поисков работы и ругани злой тетки, попрекавшей ее куском хлеба? Существовал при Петроградском райкоме комсомольский коллектив безработных, вскоре обособление безработных признали ошибочным, но при мне коллектив еще был и его члены с утра околачивались в райкоме, охотно выполняя любые поручения — сбегать куда-либо, написать объявление, передать телефонограммы... И Натка приходила — тихонькая, слова от нее не услышишь, не заметишь, тут она или нет. Когда ей наконец дали направление ученицей на фабрику, она расплакалась от радости, порозовела, улыбнулась сквозь слезы, и стало заметно, что она, оказывается, миловидна, глаза ярко-голубые и улыбка такая открытая, что будет из Натки человек веселый, отзывчивый на доброе, ей бы только распрямиться, почувство-

вать уверенность!.. Вот об этом я и задумала написать — как придавленный нуждой и безработицей юный человек распрямляется, смелеет, становится полноправным членом большого рабочего коллектива. Начало шло легко, потом застопорило. Да и что может получиться, когда ни черта не знаю, не представляю себе...

Надо что-то решать. Решать!

Как ни странно, помогла мама, человек, на чьи советы я меньше всего рассчитывала, наоборот — она уже давно сама советовалась с нами, и слушала нас, и почти никогда не вмешивалась в наши дела.

Когда я прибежала домой, промерзнув насквозь, нагладившись и надышавшись вволю, мамы не было, она пошла по урокам, но на столе лежала записка: «Приходи студент Леша, два дня тщательно искал тебя в институте». Без обращения и без обычной справки, когда ее ждать. Так. Значит, рассердилась.

Мама пришла поздно, и поужинали мы почти молча. Я вымыла посуду и вернулась в свою комнату, надеясь, что объяснение не состоится, но мама пришла ко мне и, не садясь, произнесла маленькую речь, что я непозволительно разболталась, что пьесы и стихи, завод и кружок, Палька и Георгий, и «еще разные юноши», инсценировки и постановки — все это хорошо, если не забывается главное, ну и так далее, все вперемешку, а суть была проста: надо посещать лекции и семинары, а не бегать бог знает куда вместо института.

— А мне совершенно не нужно то, что там читают!

— То есть как — не нужно? — сбиваясь с назидательного тона, удивилась мама.

— А на кой мне черт педагогические системы Платона и Аристотеля?! Два года талдычат — зачем? А культпросветработу читают — зеленая скука и никакого отношения к практике! А дальтонплан — ты сама попробуй учиться по дальтонплану бригадным методом! Лешка, который приходил, за всю бригаду сдал историю, а я за всех писала контрольные — культпросветработа в избечитальне, в армии, в красном уголке, на лесозаготовках, на заводе и даже в больнице. Десять контрольных написала, Лешке не успела, оттого и прибежал. Кому это нужно?

Мамино решительное, заранее подготовленное воздействие на взбалмошную дочку провалилось. Она никогда не училась по дальтонплану бригадным методом.

— Может, это действительно не нужно, — пробормотала она, — но ты хоть поняла, что тебе нужно и что тебя интересует?

— Поняла. Литература.

Бедная моя мама, она не без восторга относилась к моим стихам, и пьесам, и к прошлогоднему отзыву режиссера («Молодое дарование»), и к моим постановочно-актерским опытам (благо не видела их), но попутно, а не вместо образования. В моем ответе запальчивости было куда больше, чем серьезности, и она это почувяла — уж что-что, а своим музыкальным слухом она улавливала интонации безошибочно.

Я ждала вопросов или нового правоучения, но мама так энергично свела к переносице свои черные брови, что лоб перечеркнула глубокая складка; поразглядывала меня, повернулась и ушла к себе.

Тихо стало.

Вот она прошла по комнате. Остановилась. Скрипнул крутящийся табурет — села к роялю? Негромкий аккорд... и еще... и еще! Играет!

Вечерами после уроков и домашних хлопот мама часто играла для отдыха, и я по-прежнему любила слушать ее. Но в этот вечер она играла необычно и, вероятно, только свое, тут же возникающее: сильные, похожие на стоны созвучия сменялись еле шелестящей, еле пропускающей мелодией, и снова почти крики, и вслед затем какая-то грустная примиренность... Мама думала музыкой.

— Веру-у! Поди-ка сюда.

Мама сидела у рояля, положив руку на клавиши, иногда чуть прижимала пальцем одну из черных клавиш и вызывала смутный звук, который долго висел в воздухе.

— Садись. Я хочу тебе кое-что рассказать.

Поперечной морщины уже не было, мамино лицо освещала застенчивая улыбка.

— У меня был музыкальный талант, — тихо сказала она, — сам Скрябин считал, что я могу стать композитором. «Первой русской женщиной-композитором!» — говорил он. А из меня не вышло ничего. Так, дилетант-любитель.

На мой протестующий жест она только махнула рукой — не сбивай!

— В консерваторию я готовилась у профессора Кипна, мечтала попасть в его класс. На экзамене, только я

начала играть, кто-то вошел, и все заволновались, я поглядела — высокий лоб, волосы откинuty назад, усы, бородка, блуза с раскрытым воротом. Ну, кто бы ни был, продолжаю играть. И сама чувствую, играю блестяще. И вдруг этот человек спрашивает меня: «А что вы сами сочиняете? Сыграйте!» Я не поняла, откуда он узнал. Сыграла как под гипнозом. Он говорит: «А еще что?» Я еще сыграла. И тогда он сказал: «Это талант, я ее возьму к себе». Меня стали поздравлять, Скрябин в то время был уже знаменит, много разъезжал с концертами, учеников не брал. А я, глупая, разревелась, хочу к Киппу. Кипп даже прикрикнул на меня: «Вы не понимаете, какое счастье вам выпало — учиться у самого Скрябина!» И правда, это было такое счастье!..

Она замолкла, только пальцы вызывали из глубин рояля протяжные звуки с большими интервалами, отчего казалось, что каждый звук падает и новый может возникнуть не раньше чем этот упадет и отзвучит.

— Он занимался со мной вне курса, я должна была закончить консерваторию в два года. Как пианистка и композитор. Начала писать оперу «Разбойники» по Шиллеру. Скрябин говорил, что у меня мужская сила и очень жаль, что я родилась девицей, да к тому же... — Мама усмехнулась: — Да к тому же красивой. А я не понимала — почему жаль? Что мы понимаем в юности!.. Во время каникул я ездила домой. И в Севастополе познакомилась с папой. Мы полюбили друг друга. Очень полюбили. Он сделал предложение, мы обручились.

— И ты бросила консерваторию?!

— Не перебивай. Нет, не бросила. Папа знал, что для меня музыка. И уроки Скрябина. Нет, мы условились пожениться, когда я кончу консерваторию. Его мама — ваша закопанская бабушка — хотела познакомиться со мною, папа не мог отлучиться надолго с корабля, ему разрешили только отвезти меня в Закопане. Он отвез и через несколько дней уехал, а я осталась на месяц. Ты помнишь Закопане? Чистейший воздух... горы... вечные снега... горные ручьи с водопадами... И музыка, музыка без конца!..

Она смолкла, мечтательно глядя перед собою — в собственную юность. Я не решалась перебивать вопросы ее воспоминания. А мама вдруг глянула на меня виновато, даже испуганно и покраснела, как девочка.

— Меня познакомили там с композитором... — Она назвала довольно известное имя. — Он любил отдыхать

и работать в Закопане. Мы встречались ежедневно, часами музицировали. Ходили в горы и слушали, как звучит водопад, а потом сочиняли каждый по-своему: музыка водопада. Условливались: сегодня пишем — ветер в ущелье... вечные снега... горная деревушка... Недели через две он пригласил меня на свой концерт в Краков, и вот на обратном пути... — Она снова покраснела, как девочка. — Ты не думай, я любила папу и никогда ему не изменила бы. Но тогда, на обратном пути, он предложил мне стать его женой, он говорил, что мы созданы друг для друга и для музыки, что «музыкантше с головы до пят» выходить замуж за офицера нелепо. Я ничего не ответила ему, не отказала и не обещала. Проплакала всю ночь. Понимаешь, я не им увлекалась, а вот этим миром музыки, музыки без края и конца... Утром я во всем призналась бабушке. Она поняла. И я уехала раньше, чем предполагала.

Она опять надолго замолчала, и я не торопила ее.

— В Москве все улеглось, даже странно было, почему я плакала в ту ночь. У меня была консерватория, Скрябин, опера, концерты... Папа писал ежедневно, иногда приезжал, иногда я ненадолго ездила в Севастополь. Это было такое чудесное время!... А потом... К лету я должна была закончить консерваторию. И в течение года своих «Разбойников». И вдруг в начале весны приезжает папа: в Америке строится для нашего флота броненосец «Ретвизан» и его посылают на два года вместе с группой офицеров на приемку артиллерийских систем. Он уже записал: с женой. Мы провели неделю, обсуждая, споря, колеблясь... Я снимала комнатку с круглой печкой в углу. Я все стояла, опираясь спиной на теплую печку, а папа шагал и шагал взад и вперед. Просил, умолял, говорил, что не может расстаться со мной на два года...

— Но ты же могла приехать к нему позже! — воскликнула я. Мне казалось, что они оба глупо путались в простых, легкоразрешимых вопросах.

— Ты забываешь время и среду, — печально сказала мама. — Девушка, избравшая самостоятельную профессию, — этого никто не понимал, не признавал. Расстаться сразу после свадьбы, а потом пуститься одной в такое путешествие — об этом и заикнуться нельзя было. Пойти всем наперекор?.. Были и тогда героини — Софья Ковалевская, женщина-математик, но и то ей пришлось, как говорили фиктивно выйти замуж. А я не была героиней. И очень любила папу. В общем, к концу недели я сда-

лась. Назначили день свадьбы. Когда я сказала Скрябину, он закричал: «Так я и знал, что вас уведут!» Он был вне себя. А я еще надеялась, что ничто не кончено. Папа всегда и везде первым делом заботился, чтоб у меня был рояль. В Америке я брала уроки у хороших музыкантов. Пыталась продолжать оперу. Но понимаешь, это нельзя делать «между прочим», в свободное время. И очень не хватало Скрябина — как он слушал, одобрял или морщился. С ним у меня была уверенность, а без него... Потом «Ретвизан» ушел в Порт-Артур, и я переехала туда. Потом началась война. Потом родилась Гуля. Потом ты...

— Мама, ты жалеешь?

— Нет.

«Нет» прозвучало резко. Руки ее взлетели над клавиатурой и взяли несколько глухих аккордов, пальцы пробежали от басов до самых звонких верхних клавиш, яростно позвенели этими клавишами, снова перекинулись на басы и загремели такими отчаянными, перекликающимися и спорящими аккордами, что у меня дух захватило. Я не решалась взглянуть в ее лицо. А руки ее разом оторвались от клавиш, она встала передо мною и сказала голосом решительным и полнозвучным:

— Я была так счастлива с папой до последнего дня, как только может быть счастлива женщина. Но если ты хочешь посвятить себя литературе, выбирай сразу и на всю жизнь. Любовь, семья, материнство берут много сил и много души. Можно ли совместить их с творчеством, не знаю. Но подчинить их творчеству, поставить творчество на первое место, от многого отказаться, наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие, на домашние заботы — надо! Не сумеешь — будет женское рукоделие, лучше не браться.

Наверно, в моем лице читалось сомнение, мне действительно представлялось, что мама судит по старинке, сейчас все проще — равенство женщин, комсомол, новый быт...

— Я часто думала, — снова заговорила мама, — могло ли быть, что талант давался природой только мужчине? Но за всю историю можно назвать всего нескольких женщин, развивших свой талант. Остальные не сумели, или жизнь задавила. Вот и подумай. Тебе скоро девятнадцать, почти взрослая. А понимаешь ли ты, каким образованным человеком должен быть писатель? Как глубоко должен знать то, о чем пишет? Как он должен развивать, шли-

фовать ежедневной работой то, что в нем заложено? Думай и решай. Сама.

— Решу, — сказала я, — сегодня же!

— Ну-ну, — сказала мама и поцеловала меня. — А теперь спать. Уже двенадцатый час.

Придя к себе, я привычно раскрыла постель, взбила подушку и услышала через стену мелодичный бой хозяйских часов — дон-н! Так часы отбивают четверть. Четверть двенадцатого.

Но я же сказала — сегодня?!

И решу! Еще сорок пять минут? Достаточно.

Не раздеваясь я потушила свет, забралась с ногами на кровать и начала думать. Сорок пять минут на решение... Мысли мчались наперегонки, но все в одну точку. Чтобы решить сразу — и на всю жизнь.

А есть он у меня, талант? «Молодое дарование» — чепуха, в пьесе все было нахватано с бору по сосенке, при постановке ее всю переиначили. Стихи тоже ерунда, подражание то Ахматовой, то Маяковскому, то Блоку — диапазончик! Рассказы, повесть — вот к чему меня тянет, вот к чему я прикладываю все, что вижу, слышу, думаю. И чтоб о нашей жизни, о нас самих, комсомольцах, — ведь ни одной книжки! Напишу — тогда и будет видно, есть он или нет, иначе как определить? Только работой. Ничто другое не притягивает, значит — к этой работе и готовиться.

Творчество... Так назвала мама. Можно ли совместить творчество с любовью? Мама уверяет — трудно. Трудного я не боюсь, а вот «от многого отказываться...». От чего? От любви? От Пальки? Ерунда! Не женщина и не мужчина; писатель среднего рода?! А в литературе разве можно обойти любовь? Что ж, у моей Натки не будет любви? Но как напишешь любовь, если сама любви чураться?.. Все сумею совместить. Все! Только сперва надо определиться. Надо, чтобы Палька понял и захотел не мешать. А не поймет... Нет, не может быть. Поймет.

Дили-дон-н-н!

Половина двенадцатого. Осталось тридцать минут.

Злось — дальтонплан, бригадный метод, Платон и Аристотель... Наш институт молодой, программы и методы не устоялись. У политехников и горняков такого бедлама нет и в университете нет, там знают, чему учить и как

учить. И все же дело не в Платоне и Аристотеле, эти почтенные предки с их педагогическими системами тоже кому-то нужны. А мне не нужны. «Понимаешь ли ты, каким образованным человеком должен быть писатель?» Да, понимаю. Но то, что мне нужно, институт не дает. Разве что лекции Конского, остальное не то. Написала я кипу контрольных по культурпросветработе; писала легко потому что помню Мурманск, Петрозаводск, Кондологу, Олонец, Видлицу... Все что наворотила в контрольных, оттуда, а не из курса лекций нашего многоуважаемого ректора, который читает так академично, что жизни не узнаешь и в жизни не приложишь. А мои башибузуки? Разве институт помог с ними справиться? Помог прежний комсомольский опыт. Вот только с беседой о Ленине... Как это было неожиданно и хорошо! На второй или третий день после смерти Ленина, еще до похорон, поехала на «Электрик» из добросовестности, хотя была уверена — в эти дни не до занятий. А в классе мальчишек полно, притихшие, «расскажите о Ленине»; горло сдавило, слезы жгут глаза, два часа рассказывала все, что вспомнилось, и повторила то, что говорил нам, студентам, товарищ Парижер, старый большевик. Но ведь он партприкрепленный к институту, сам институт ни при чем. И тот же товарищ Парижер помог обуздать нашего секретаря Петю Шалимова, когда Петя решил, что студенты, живущие в семьях, «попадают под тлетворное влияние нэпа будто и не комсомольцы — галстуки, туфли на каблуках, шляпки»; ради нашего спасения Петя надумал (и убедил комсомольский комитет), что нужно всех переселить в общежитие... К счастью, на комсомольское собрание пришел товарищ Парижер, я и задала вопрос: «Правильно ли нас переселять в общежитие в порядке комсомольской дисциплины? И почему комсомолке нельзя ходить на каблуках, когда все женщины ходят? И почему комсомольцу нельзя надеть галстук? Вы же в галстуке». Товарищ Парижер пожимал плечами и с усмешкой косился на Петю. Он сказал, что переселять нелепо, тем более что в общежитии и без того тесно и вряд ли оно безупречно с точки зрения коммунистической морали, а также санитарии; надо понять, сказал он, что время серьезное, мы стались без Ленина, впереди много работы и борьбы, к этому и нужно себя готовить, а каблуки и галстуки преследовать — «не обижайся, товарищ Шалимов, глуповато». Через несколько дней он столкнулся со мною у выхода из инсти-

туда и сказал: «Пойдемте, проводите меня немного» — и начал расспрашивать, продолжаю ли я бывать на заводе и вести кружок, это очень важно, вы комсомолка и, наверно, будете членом партии? — так вот, наша партия — партия рабочего класса, ведущего класса эпохи, вы присматривайтесь, рабочие вынесли на своих плечах основную тяжесть революционных боев, гражданской войны и восстановления, они несли и несут большие жертвы, вы должны узнать рабочий класс, если хотите быть настоящим коммунистом.

А я — не знаю. Хожу по цехам робеющим экскурсантом. И о Натке ничего путного не напишу — с лету, со стороны разве поймешь жизнь рабочего коллектива!

В «Листке рабкора» напечатали мое стихотворение на смерть Ленина, я радовалась и гордилась, хотя нужно было краснеть от стыда! «В огне рокочущем вагранок...» А видала я вагранки? Рокочут они или нет? Понятия не имею! Все приблизительно. Все легкомыслие.

Мама будто угадала — «наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие». Ну, женской слабости я не чувствую, но легкомыслие!.. С мальчишками полбеда, не в них дело. Куда серьезней. Два случая прямо-таки обжигают, стоит вспомнить...

На «Красную Баварию» меня затащила Зина Амосова, комсомольский секретарь, славная, деловая девушка:

— Приходи, у нас девчат много, а доклад или беседу провести некому.

Использовала она меня всюду, но я и не отнекивалась — укрощая башибузуков, вошла во вкус. В то время шел ленинский призыв в партию. Еще на «Электрике» я побывала на таком собрании, звали и комсомольцев, и беспартийных, зал переполнен, вступали в партию рабочие с большим стажем, участники революции и гражданской войны, серьезные, бывалые люди. А на «Баварии» под осень комсомольское собрание должно было рекомендовать в партию лучших комсомольцев. И вот перед собранием Зина говорит:

— Мы тебя тоже рекомендуем.

Я растерялась — уж очень неожиданно, мне только что стукнуло восемнадцать...

— Но ты же политически подкованная, активистка, пропагандист!

Ну ладно... А на собрании встал Ося Ф., работник райкома комсомола из агитпропотдела, и сказал, что это не-

правильно, «Вера у вас на временном учете, ей надо вступить у себя в институте». У Зины с Осей был роман, она смутилась, а я разозлилась: мы с Оськой недавно поцапались в райкоме, я его назвала формалистом, вот он и отомстил. Отомстил? Но в данном случае он же совершенно прав! И мое согласие было сплошным легкомыслием, я не готовилась, еще никак не определилась, саму себя толком не поняла — куда же мне в партию?!

И еще случай — после той праздничной вечеринки. Да и на самой вечеринке!.. Устроили ее на частной квартире возле завода. Я думала, будет чай с печеньем и сладостями, а на столе разные закуски, винегрет и бутылки. Из самолюбия постаралась скрыть, что для меня это вновь. Палька сперва не хотел пускать меня сюда, а потом... решил снова испытать «на прочность»? Сам уселся между двумя девицами, а меня посадил на другой конец стола рядом с Георгием. Ну ладно. Чего бы мне ни предложили налить, я говорила:

— Конечно.

Белое и красное, горькое и сладкое. После нескольких рюмок все завертелось и поплыло перед глазами, а возле Пальки сидели уже не две девицы, а четыре. Только не показывать, что опьянела! Только не показывать! Уцепилась руками за края стула и жму, жму до боли — и вдруг все встало на свои места, Палька издали поглядывал на меня, а девиц было две. Потом осталась одна, вторая исчезла, и Палька тоже. И вообще за столом опустело, парочки разбредались по квартире, в соседней комнате очень слаженно пели под гитару, а я сидела как прикованная к стулу: отпущу его края — вдруг опять все поплывет?.. Георгий заглянул мне в лицо, решительно оторвал от стула, увел в темную переднюю и устроил на большом сундуке.

— Когда вы начали пить все подряд, я удивился: на вид совсем девочка, а какая дошлая девица! — сказал он, присев у меня в ногах. — А вы, оказывается, просто глупышка, вам надо сказки рассказывать, а не водкой пить. Лежите, а я расскажу.

И он начал медленно-премедленно рассказывать, что в тридевятом царстве... Когда я проснулась, уже светало. И дуло от двери — гости расходились. Пальки не было. Георгий подал мне пальто:

— Пойдемте провожу.

Вышли небольшой группой и остановились — видно, всю ночь лил дождь, на улице потоки воды, ступить некуда. А мы, три девушки, в легких туфельках. Георгий позвал одного из парней, они сцепили руки — «садитесь, поехали». За нами так же понесли другую, а третью ее парень попросту взял на руки. Я смеялась и болтала ногами, хмель еще не выветрился. И вдруг увидела идущих навстречу людей. Много людей. Рабочие шли на завод. На «Электрик». Я ловила их взгляды — насмешливые, презрительные. Соскочила прямо в воду и пошла, шлепая по лужам. Люди на работу, а мы... Если среди них был кто-нибудь из моих башибузуков, что он обо мне подумал?.. Борец за дело рабочего класса!..

Дон-н-н!

Без четверти двенадцать. Осталось пятнадцать минут.

А зачем мне еще пятнадцать минут? Все ясно. С институтом конец. Ухожу на завод или на фабрику, чтобы узнать, понять, разобраться, испытать! Но... Пальку-то я осуждала, когда он бросил рабфак и ушел на завод? Нет, тут совсем другое, Палька не выдержал. А мне — нужно. И пойду я не так, как Палька, он хвастается: «Мой завод, мой завод!» — а когда водил меня, сам был вроде экскурсанта, ничего толком не мог объяснить, то ли дело Георгий! Сидя в комсомольском комитете, видишь жизнь со стороны и сверху. Я пойду по-настоящему, к станку, сама испытаю, что такое производственный труд. Узнаю ведущий класс эпохи не налетом, а изнутри, какой он есть, со всем хорошим и плохим. Прочувствую как моя Натка впервые вошла в цех, как уставала от непривычной работы, как ее приняли работницы... Ре-ше-но!

А кто меня возьмет, когда есть безработица? На «Электрик» взяли бы охотно и на «Баварию» тоже, конечно, если совмещать с комсомольской работой. Ну и буду совмещать. Но оба завода на Петроградской стороне, а Пальку прочат в секретари райкома. Подчиняться Пальке? Нет, не дождется. И не такой уж он рабочий район, Петроградский! Вот бы на Выборгскую сторону!.. Если пойти в губкомол и попросить, может, и направят? Пойду. Завтра же.

Вот так — примерно так — я размышляла в эти сорок пять минут и такое приняла решение, и все было бы прекрасно, если б за всеми этими мыслями не свербила

одна, на которую не было ответа: а если я и там ничего не сумею написать, если выяснится, что никакого таланта нет?..

Дон-н-н! Дон-н-н! До-н-н!.. Часы били двенадцать.

Уже отзвучал последний удар, и я уже юркнула под одеяло, предвкушая сон, когда вопреки смелым решениям на меня навалился страх. Что же это я надумала? Крутая перемена жизни впервые стала зримой: в седьмом часу утра, выбившись из битком набитого трамвая, в рабочей одежде и косынке, укрывающей волосы от пыли, я иду в густой толпе рабочих и работниц... опускаю рабочий номер в кружку возле турникета проходной... вхожу в сумеречный цех, запускаю неведомый станок... И потом — час за часом, час за часом полчаса на обед и снова — час за часом восемь часов. День за днем, день за днем. В субботу не восемь, а шесть часов, в воскресенье отдохнуть и, главное, выспаться... Выдержу ли? Хватит ли времени и сил писать? Учиться? Читать? Встречаться с Палькой, с друзьями? Сходить в кино, в театр?..

Как бы там ни было — решено!

Подавив страх, я пресладко заснула, чтобы с утра немедленно, ни с кем не советуясь и не оставляя лазеек для оттяжек и колебаний, действовать!

Решение, принятое в те сорок пять минут, определило всю дальнейшую жизнь. Было ли оно правильно? Для меня — да.

Ну а что же выяснилось с талантом, с этим неуловимым свойством личности, которое не определишь ни расчетом, ни измерительным инструментом, ни рентгеном? И что это такое, литературный талант? Неодолимая потребность делать именно эту работу, а не какую-либо другую? Непрерывное душевное усилие и способность целиком отдаться работе, радуясь ей и не отступаясь от нее ни ради чего иного? Власть над образами, теснящимися в воображении, или умение подчиниться им и пойти за ними туда, куда они манят? Жар, съедающий душу, как шагреневую кожу, или сама шагреневая кожа — нет, совсем другая, порою иссякающая, но при соприкосновении с жизнью способная восстанавливаться снова и снова?.. Чем бы он ни был за долгую литературную жизнь я так и не уверилась, что он есть. Когда работается хорошо, со счастливым азартом и все, что хочешь написать,

легко воплощается на бумаге — вроде здесь он, со мною. Но когда заколодит, слова упираются, мысль ускользает, образы тускнеют — какой, к черту талант, хоть бы профессионального навыка побольше!.. Впрочем, может быть, только балаболки неколебимо убеждены в своей талантливости? Работать нужно. Работать. А судить — читателям.

Но вот что оказалось бесспорным: быть женщиной и не поступаться избранным делом трудно. Очень трудно. Иногда больно до отчаяния. Случаются утраты, которых могло бы не быть, а временами находит — среди людей — горчайшее одиночество.

Наработала ли я столько доброго, чтобы это оправдалось? Не знаю.

Жалею ли я? Нет.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ПРОФЕССИИ

Может быть, я забегая вперед? И если уж позволять себе такое вольное путешествие, не лучше ли совершить его позднее?..

Я долго прикидывала так и этак, не написав ни строчки. Помимо всего прочего, наша работа требует полной ясности — что, где и когда, о чем и почему: пока не разберешься в наплывах мыслей и образов, не увидишь мысленно новую тему в целом и частностях (пусть потом все перешерстишь по-иному), пока не ощутишь построение главы и не услышишь ее интонацию — лист бумаги останется чистым. Торопить себя бесполезно, все равно ничего стоящего не выжмешь. Лучше пойти высаживать рассаду, слушать музыку или смотреть хоккей, на худой конец решать кроссворды. Мысль будет работать даже тогда, когда первая пятерка ЦСКА ведет атаку на ворота ленинградцев. Решение может открыться в те минуты, когда ты умиленно приветствуешь первые ликующе-зеленые ростки, пробившиеся из-под рыжей гривы прошлогодней травы. Творческая мысль работает подспудно, как ручеек под сугробом, и выбивается наружу сама, когда наберет силы.

Вот и сегодня, высматривая в окно, не обосновалась ли наконец в своем дощатом домике парочка молодых и,

видимо; беспечных скворцов, я как-то сразу увидела всю главу, сложившуюся за недели мучений, и осознала *почему*... Почему здесь, а не позднее. Ведь я сегодняшняя так или иначе все время присутствую в этой книге, мало похожей на добропорядочные мемуары, а мои раздумья о профессии не привязаны к нынешнему времени или ко вчерашнему, они возникали и уточнялись всю жизнь в процессе накопления и осознания опыта. Пусть девчонка, о которой я пишу, сделала только самый первый шаг к желанной профессии — что ж, тем лучше, перед дальнейшим повествованием определится точка зрения автора и ракурс, в котором автор рассматривает особенности литературного пути.

Итак, профессия...

Профессия — без высшего образования, без диплома?

Не один читатель, вероятно, отметил про себя: в юности мало ли делают глупостей, но и сегодняшний автор, достигший почтенного возраста, как будто бы одобряет юношеский поступок, даже утверждает — правильно!

Правильно ли?

Оговорюсь сразу — мне часто мешала в работе нехватка знаний в области точных наук, много времени и сил я тратила на изучение турбостроения, когда работала над романом «Дни нашей жизни», и проблем газификации угля, когда писала «Иначе жить не стоит» (кстати, тут мне ни в чем не помогло то, что в институте я на «отлично» сдала химию по университетскому учебнику!). Но так же точно я изучала проблемы строительства и планирования, когда писала «Мужество», и накопила целую библиотеку военных и военно-исторических трудов в годы войны, и прочитала кучу историко-революционных исследований для последней книги... Как правило, такое изучение остается потом за пределами произведения, но автор должен *знать*. Знать для того, чтобы обрести творческую свободу.

Всезнайкой быть невозможно, но писателю необходимо *чувство ориентации*, позволяющее понимать, чего он не знает, что нужно изучить и как это сделать наиболее разумно (чувство ориентации в громаде накопленной человечеством культуры — это, кстати, один из главных признаков интеллигентности). Сколько сил и времени тратится зря, если нет навыков познания и освоения нового материала! Иногда такие навыки вырабатываются еще в годы учебы, если студент действительно ищет знаний,

но автоматически их не дает никакой институт, даже отличные отметки не гарантируют образованности и умения самостоятельно работать.

Литераторская профессия трудна, в частности, и потому, что нет в ней очерченного круга необходимых сведений, заранее не учесть, что понадобится завтра, на какой странице вдруг споткнешься. Обходят незнаемое только халтурщики — впрочем, некоторые из них прут напролом, даже не осознавая своего невежества.

Порой с завистью думаешь об энциклопедистах. Двести, даже сто лет назад еще можно было охватить основные направления науки, ее важнейшие успехи и проблемы. Но процесс познания с каждым новым успехом расширялся и убыстрялся, и если в конце XIX века его скоростью и радиусом исследований можно было сравнить со скоростью и радиусом действия паровоза или первых летательных аппаратов, то теперь уместней сравнить с реактивным самолетом и даже с космической ракетой — и по стремительности развития науки и техники, и по широте исследовательского кругозора. Таков XX век, прекрасный и проклятый одновременно, интересный и губительный, небывалый по сложности и напряжению век!.. Охватить все одним, пусть самым жадным и неутомимым умом?.. Такая попытка может привести лишь к тому, что человек прокорчит всю жизнь над книгами и если не сойдет с ума, то унесет свои знания в могилу, не успев использовать их. А ведь писателю нужно еще без усталости читать великую книгу живой, окружающей его жизни! И все же... Все же писатель, даже при таланте, попросту не осуществится, если не станет передовым интеллигентом своего времени, то есть не научится *понимать* свой век в его движении, в его главной проблематике, в его социальной, научной, психологической особенности. Этого не извлечешь из книг. Это дается всей жизнью в целом, жизнью — соучастием в делах и заботах века.

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать...

Эдуард Багрицкий обратил этот призыв к самому себе и к каждому из нас. К каждому, кто способен услышать.

Так при чем же тут дипломы?!

Школьно-вузовские знания — всего лишь фундамент, говоря языком строителей, нулевой цикл, опора будущего

здания. Для литератора — начальная база, на которой разовьется (или не разовьется) интеллигентность. В наши дни в литературу чаще всего приходят люди с высшим образованием, уже владеющие другой специальностью — инженеры, моряки, врачи, геологи... Многим писателям моего поколения приходилось наверстывать основы самостоятельно, без парт и лабораторий, часто бессистемно, делая мучительные усилия там, где нынешние молодые спокойно восходят со ступеньки на ступеньку. Зато жизнь смолodu одаривала нас многим другим, в том числе и упорством в самообразовании — без уготованных ступенек.

Взвешивать, что лучше, вряд ли стоит. Все мы знаем случаи, когда человек с несомненным дарованием, но без достаточной культуры попросту не сумел или поленился самостоятельно добирать знания, а в итоге растерял и то, что у него было. Знаем и другие случаи, когда талантливый человек, что называется, сам всего достиг, встретишь такого самоучку, широкообразованного, глубоко и тонко мыслящего, — и не верится: неужели все сам?! Законов тут нет, но...

Рискуя рассердить многих товарищей, которых сердить не следовало бы, я все же выскажу свое глубочайшее убеждение: для человека с тяготением к писательской профессии наименее плодотворно полученное смолodu специальное литературное образование, оно не облегчает, а затрудняет путь в литературу. А ведь сейчас в Литературный институт рвутся — а порой и поступают — прямо со школьной скамьи, еще не ведая ни жизни, ни себя самих!

Некоторая замкнутость в круге литературных понятий и сложившихся мнений мешает самопроявлению таланта, особенно в первые годы труда, когда так важна неповторимость голоса и самостоятельность виденья жизни. Литература тем и прекрасна, что вбирает в себя таланты из всех слоев общества и самых разных профессий, из разных краев страны, из больших городов и дальних-дальних сел, и каждый талант, иногда еще угловатый неотшлифованный, приносит с собой кусочек своего мира и своей среды с ее психологией, трудом, бытом, отношениями и проблемами, так что в целом литература создает многокрасочную, многолюдную и многопредметную картину народной жизни. Писателю нужна почва, на которой он чувствует себя упористо, и вольный воздух, какой

бывает на раздолье; когда тебя овевают все ветры — ветры жизни. Нужна своя среда — широкая среда, развивающаяся вне литературы, но ее питающая, ее пронизывающая. От нее — темы и образы, язык и стиль. От нее — своеобразие. Чем вернее, глубже и ярче воспроизводит и осмысливает писатель то, что впитал глазами, слухом, сердцем и умом, тем шире и глубже воздействие его произведений на читателей, то есть на ту же среду. Одностороннее впитывание сменяется взаимопроникновением.

Конечно, истинный талант пробьется к познанию жизненного материала и со скамьи Литинститута, да и откуда угодно! Но все же ничто не заменит живости и непосредственности восприятия, свойственных молодости, ее распахнутым глазам и открытому сердцу. С годами вжиться в интересующую тебя среду, освоиться там становится трудней. И тогда подстерегает опасность — сложившиеся на лекциях и семинарах литературные представления и вкусы окрасят творчество налетом головного восприятия людей и проблем, вместо подлинной оригинальности породят оригинальничанье, изыск. Ну, а если после литературного вуза, диплома, попыток и надежд выяснится, что дарование, мягко говоря, очень малое? Лихорадочные поиски темы, могущей принести успех или хотя бы публикацию в журнале... горечь разочарований, уязвленное самолюбие, растущая мнительность, обиды на редакторов, на рецензентов, на более удачливых друзей...

За такого вот несчастливца усиленно ратовали его друзья по институту, добиваясь, чтобы «хоть что-нибудь напечатали». Одного из друзей, одаренного писателя, я как-то спросила в разговоре с глазу на глаз:

— Ну скажите откровенно, вы же любите и понимаете литературу... Вы действительно считаете вашего друга талантливым или хоть подающим какие-то надежды?

— Нет,— честно ответил он,— но человек он литературно грамотный и уже «отравлен» литературой; наконец, ему уже перевалило за тридцать, куда он теперь денется? Все равно он будет существовать где-то около литературы. Да и парень хороший...

А за что такая горькая судьба хорошему парню, которому теперь уже никто, наверно, не решится сказать правду?..

Цыплят можно выращивать в инкубаторах, писателей — нельзя.

Вскоре после Отечественной войны во время одной из наших нечастых встреч Александр Фадеев, вдруг загоревшись, поманил меня к письменному столу: идите сюда, покажу кое-что интересное!

На расчерченном листе бумаги — диаграмма.

— Вот, подсчитал по пятилетиям, включая два предреволюционных, сколько появилось новых писательских имен. Ну, не всяких имен, конечно, а писателей, которые остались в литературе.

Простить себе не могу, что не записала тогда подсчет, сделанный Фадеевым! После революции от пятилетия к пятилетию шел рост, кривая неуклонно тянулась вверх. Как всегда, когда что-либо волновало и радовало его, Фадеев густо порозовел, помолодел, голос приобрел звонкость.

— Видите! — восклицал он. — Первое пятилетие после революции: фронты, голод, разруха, народ малограмотен, а то и вовсе неграмотен, да и не до литературы... И все же потянулись! Потянулись не ради славы — чтобы рассказать о революции, о небывалом народном опыте... А потом растет грамотность, миллионы людей приобщаются к культуре, к переустройству жизни, и пошли выявляться таланты — новые таланты! — из самой гущи, до революции многие из них не пробились бы, захирели. Видите, какой рост!

Но вот победная линия дошла до пятилетия 1940—1945... и будто сорвалась в пропасть. Фадеев осторожно провел пальцем по образовавшемуся провалу:

— А этих всех убили...

Он низко склонил голову, и стало заметно, что он почти совсем сед.

Когда он распрямился, лицо его казалось старым. Оживало оно постепенно: что-то проблеснуло в глазах, разгладился лоб, улыбка чуть тронула губы.

— Готовим сейчас всесоюзное совещание молодых. Какие люди приходят! Один к одному — войны. Обстрелянные, опаленные, глаза взрослые, умудренные какие-то... а заглянешь в анкеты — мальчишки, со школьной скамьи да на фронт, по три-четыре года в пекле... В ближайшие годы они заговорят, по-настоящему заговорят!

Карандашом пунктиром он продолжил на диаграмме линию подъема круто вверх. И не ошибся. Из самого пекла жесточайшей войны пришло в литературу большое и ценное пополнение. И опять не ради славы потянулись люди к перу — пережитое распирало их, кровь и пепел.

стучали в их сердца: рассказать! Рассказать всем сегодняшним и будущим людям, как оно было, продлить жизнь погибших товарищей, донести до всех, какой ценой была удержана или отвоевана каждая пядь родной земли, каждая безвестная деревушка, и что люди думали, и чем жили на войне, и что надо помнить, помнить! — и не растерять в дни мира... Бесценный опыт всенародной борьбы был их *личным* опытом, и эта слиянность личного и всенародного насыщала страницы книг жгучей правдой, которую не заменишь ни усилиями воображения, ни дошным изучением.

· Вот такие были дипломы...

А потом им, вышедшим из пекла, предоставили все — встречи с опытными писателями на всесоюзных семинарах и литературных объединениях, учебу в Литературном институте и на Высших литературных курсах. Одаренный человек, знающий, что он хочет и *должен* сказать людям, будет жадно впитывать знания и вникать в опыт мастеров, но пойдет своим путем. Он мог бы «до всего дойти» и в одиночку, но медленней.

Война — крайний случай, и не она как таковая породила большую литературу, выдвинув молодые таланты и захватив многих уже известных писателей, именно в эти годы достигших творческих вершин. Захватывающе высокой была цель — отстоять от фашизма свою родину и саму жизнь на земле. Борьба шла всенародная, судьбы писателей были неотрывны от судьбы всего народа. У фашистов хватало умелых воинов и фанатичной веры в Гитлера, Гитлер и его идеологи всеми силами поощряли возникновение произведений искусства, проникнутых идеями фашизма, однако мы знаем, что фашистского искусства так и не возникло. Человечеконенавистничество и жестокость не питают таланты, а глушат и выхолащивают их.

«...поэзия существует потому лишь, что находит свою вечную правду в прекраснейших побуждениях человеческого сердца».

Эти слова Ференца Листа мне кажутся точными. Для музыки, для стихов, для искусства вообще.

Проработав в литературе больше сорока лет, я и до сих пор бываю совсем не уверена в своих силах, не знаю, владею ли волшебной палочкой, чье легкое прикосновение неведомо как превращает труд в искусство, и что это

такое — настоящий писатель, и в чем чудо воздействия его созданий на читателя, и почему приходит успех к одной книге и минует другую, быть может лучшую...

Помню, на одном редакционном совещании принимали к изданию первые книги двух новых авторов — назовем их С. и Н. Одаренность первого не вызывала сомнений, и книга прошла без сучка без задоринки, вторую книгу встретили холодно. Отстаивая ее, я сказала, что С. и Н. мне кажутся наиболее талантливыми и интересными из появившихся за последнее время молодых писателей, — и сразу вспыхнул ожесточенный спор, как всегда бывает, когда говорят люди заинтересованные, пристрастные к своему делу. Голоса повысились, глаза засверкали.

— Как вы можете сравнивать! — кричали одни. — С. талантлив от бога, посмотрите, какие у него детали, как точен стиль! А ваш Н. угловат, неуклюж, никакой он не писатель, разве что темы современные!

— Да, неопытен, не блещет стилем, — возражали другие, — но характеры-то интересные, новые, проблемы свои, из жизни взятые, нет ничего заемного, ни шаблонных мыслей, ни готовых ситуаций!

— А что, что у него так уж ново и нешаблонно?!

Начали разбирать произведения бедняги Н., от них ключья летели, при этом было высказано немало справедливых упреков. Но вот что выяснилось в этом запальчивом споре: самые яростные противники Н. запомнили прочитанное, хотя читали полгода или год назад, запомнили и людей, и ситуации, в которых герои действовали. С плохими вещами так не бывает, прочитаешь — и назавтра уже не помнишь. Про С. в пылу спора забыли — потому ли, что никто не отказывал ему в умении писать, или потому, что за написанным не вставала личность, вызывающая интерес?..

Прошли годы. И С., и Н. закрепились в литературе, у обоих уже немало книг, но более известен и близок читателям все же Н. Есть такой безошибочный показатель: взяв в руки новую книжку журнала и найдя в оглавлении знакомого автора, читатель начинает чтение именно с его вещи, зная, что наверняка будет интересно, в чем-то неожиданно, потому что автор вовлечет его в мир значительных чувств и насущных проблем, а потом — понравится вещь или нет — будет о чем подумать, к чему вернуться воображением... Так вот, я много раз убеждалась: встретив в оглавлении имя Н., читатели раскрывают жур-

нал на его вещи и вовлекаются в мир чувств и мыслей, куда ведет их незаурядная личность автора. Так было и с первыми, угловатыми произведениями Н. С тех пор его дарование окрепло, выработался у него свой стиль и еще что-то самое главное, без чего нет литературы. Безупречен ли его стиль? Далеко не всегда. Но...

Я не считаю Н. великим писателем, думаю, что и Флобер с некоторым преувеличением написал то, что мне сейчас вспомнилось:

«Великие люди часто пишут весьма плохо, и тем лучше для них. Не у них следует искать искусство формы, а у второстепенных авторов».

И еще одна мысль Флобера:

«Сила произведения достигается, грубо говоря, напористостью, то есть неослабевающей, проявляемой от начала до конца энергией».

А вот что записал однажды в дневнике Лев Николаевич Толстой:

«Утонченность и сила искусства почти всегда диаметрально противоположны».

В моем письменном столе хранится потрепанный конверт с надписью «Умные выписки». Я не занималась специально их собиранием, но, читая в разное время книги талантливых людей, их письма и дневники, иногда выписывала на карточки мысли, созвучные моим или требующие размышлений. Недавно просмотрела их — большинство выписок все на ту же тему: что же оно такое, писательство и творчество вообще? Крупные таланты потому и крупные, что неповторимы и несут людям свой законченный и все же текучий, переливающийся светом, обособленный мир, вникни — и вдруг поймешь, что это мир общий, но глубже и вернее понятый, щедро раскрытый тебе и всем, кто способен воспринять. Как это делается?

«Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1 000 000, ужасно трудно. И этим я занят».

Так писал Толстой Фету во время работы над «Войной и миром».

Любой писатель знает, как это «ужасно трудно», хотя и увлекательно, — среди множества множеств возможных, приблизительно верных поступков, движений, слов найти единственно верные поступок, жест, слово для каждого из людей, о которых он пишет. Гений — тот, кто их находит всегда и для каждого, даже третьестепенного персонажа.

Почему тоскующая в деревне Наташа Ростова, слушающая чужие скучные разговоры, а потом спускаясь по лестнице верхом на брате, произносит: «Остров Мадагаскар. Ма-да-гас-кар»?.. Мы не знаем сложной цепи ассоциаций, подсказавших автору именно это вынырнувшее из ученических времен название, но мы знаем — тут жизненная правда, искра высокого искусства, высветлившая для нас внутреннее состояние Наташи точнее, чем любое описание. Как он возник у писателя, этот остров Мадагаскар? Из внезапного озарения? Или как итог долгих поисков, меняющихся вариантов? Не знаю, отражено ли в черновиках «Войны и мира» рождение этих нескольких строк, и не хочу заниматься розысками и уточнениями, они не имеют для меня значения, потому что счастливые озарения, какими бы они ни казались внезапными, не возникают из пустоты, а вспыхивают на пиках творческого напряжения. Труд, труд, труд. «Ужасно трудно...»

При всей разности взглядов, интересов и характеров отношение к своему труду роднит всех творческих людей, в какой бы области искусства или науки они ни работали.

Менделеев: «В науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя».

Чайковский: «Вдохновение — это гостья, которая не любит посещать ленивых».

Репин: «Вдохновение — это награда за каторжный труд».

А вот несколько парадоксальное высказывание, извлеченное из дневника Жюль Ренара:

«Талант — вопрос количества. Талант — это не значит написать одну страницу, это значит

написать триста. Нет такого романа, которого не мог бы задумать ординарный ум, нет такой красивой фразы, которую не мог бы составить начинающий писатель. Остается только поднять перо, правильно положить лист бумаги и терпеливо его исписать. Сильные делают это без колебаний. Они садятся за стол, они будут потеть. Они дойдут до конца. Они изведут все чернила, они испишут всю бумагу. Только это — отличие талантливых людей от трусов, которые никогда не начнут. В литературе надо быть волом. Самые выносливые волы — это гении, те, что трудятся по 18 часов без усталости. Слава — это постоянное усилие».

Тут есть о чем поспорить, но утверждения Ренара таит в себе плодотворное зерно, и начинающему творческий путь человеку стоит позаботиться, чтобы оно дало в его душе крепкий росток. За мою достаточно долгую жизнь я встречала немало людей талантливых — вернее, потенциально талантливых, — из которых ровным счетом ничего не вышло.

В памяти возникает юноша, которому я, двадцатилетний начинающий автор, невольно завидовала. Два его первых рассказа были уже напечатаны и расхвалены, а он посмеивался:

— Это ж только проба пера, заявка, чтоб звали!

И его звали — журналы, газеты, литературные объединения... Он прямо-таки лучился одаренностью, с блеском, походя, будто ему ничего не стоит, разбрасывал занятные сюжеты и образы. Иногда мне казалось, что он не совсем естествен, а все время будто играет на сцене. Если его спрашивали, пишет ли он то, о чем вскользь рассказывает, он небрежно отвечал:

— Это все чепуха, вот немного освобожусь, тогда засяду за нечто та-а-кое!..

К тому времени он уже выступал на литературных вечерах и ездил в творческие командировки, подписывал договоры на повести и на киносценарии, в одной из газет в рубрике «Говорят молодые писатели» было даже его интервью... Я стараюсь припомнить его дальнейший путь, потому что в разные годы встречала его в самых разных местах — в редакциях, в коридорах киностудий, на театральных премьерах, в издательствах, и везде он был как-то

слишком заметен, будто на сцене, казался своим и был запанибрата с массой людей; он давно утратил свежесть юности, облысел и односторонне, с пауза, располнел, но лучился бодренькой неутомимостью, был подвижен и, кажется, все время куда-то спешил: «Вот, повестушку при-страиваю... Проталкиваю один сценарийшко на актуальнейшую тему... Немного прошвырнусь по заграницам, а уж потом засяду...» Стараюсь вспомнить, не попадалась ли в печати или в титрах его фамилия, но ничего, кроме его лучшей внешней и быстрых наигранно-легкомысленных сообщений о себе, так и не припоминаю...

Что же случилось? Не сумел человек распорядиться тем, что ему отпущено «от бога»? Ведь были же те первые рассказы, были!..

А на его ускользящее лицо наслаивается другое — лицо человека мрачноватого, молчаливого, приносившего свои рукописи свернутыми в трубку и совавшего их в руки редактора как бы из-под полы, чтоб никто не увидел. Мне он с первого появления в редакции понравился, этот молчун, взяли рукопись — ох, какое крепкое начало! Как здорово увидено!

— Товарищи, послушайте, ведь хорошо!

Слушали, кивали — да, хорошо, да, берет быка за рога.

Но что это? Как-то вдруг все стало рассыпаться, мельчать, уже ни быка, ни рогов — невнятица с проблесками летучих находок. И так раз от разу. В его рукописях чувствовался несомненный талант, но талант увязал в зыбкой неорганизованности, в незавершенности мысли и формы. Автор охотно слушал добрые советы и замечания, соглашался с ними, искренно увлекаясь, фантазировал, что и как допишет, доделает... Он никогда не доделывал. Исчезал надолго, снова приносил как бы тайком свернутую в трубочку новую рукопись... Опять слушал, увлекался, фантазировал — и ничего не осуществлял. На *постоянное усилие* его не хватало.

Знала я и человека, которого можно назвать противоположностью двум первым. Кажется, вся его жизнь была сплошным усилием, он работал сосредоточенно и страстно, отделявая каждую строку, мучаясь над каждым словом; он гордился тем, что не позволяет себе написать больше одной страницы в сутки. Когда он однажды согласился показать написанное, меня охватила тоска: все вылизано языком, но за этой гладкостью исчез и недюжинный за-

мысел, и сама жизнь... Вышивание на пальцах и литература — вещи разные.

Пожалуй, стоит рассказать и еще об одном начинающем писателе, в чьем потенциальном таланте я до сих пор не сомневаюсь. Человек уже бывалый, он выступил с повестью, которая была замечена и даже вызвала дискуссию, что само по себе успех. Мне довелось много раз беседовать с этим автором, он был умен, образован, интересно рассуждал о литературе, о недостатках современной прозы, о пренебрежении к сюжету и к развитию образа; он готовился к работе над новыми произведениями и охотно делился своими планами... И что же? Проходил год за годом, а он по-прежнему интересно рассуждал о литературе и делился планами, но рассуждения оставались рассуждениями, а планы планами...

Тоже — не хватило человека на постоянное усилие?

Или все же в этих печальных случаях речь должна идти о личности — об интеллектуальном богатстве и душевной глубине, о властном духовном стимуле: передать другим людям то, что ты увидел, пережил, продумал, чтоб они полюбили то, что полюбил ты сам, и возненавидели то, что ты ненавидишь, и передать не умозрительно, не утверждениями и призывами, а вводя их в круг образов, отношений и событий таких реальных, оживших под твоим пером, чтобы и читатели их восприняли своими, близкими... Без этой потребности *передать* нет писателя. Волом (по Ренару) быть необязательно и даже нежелательно, а вот целеустремленность и потребность довести до других то, что волнует тебя самого, необходимы, эти качества личности не заменишь ни вспышками фантазии, ни блестящими остроумия, ни изощренностью сюжета.

Такой тонкий стилист, как Флобер, писал своему другу Пуизе Колле о «безумствах стиля»:

«С каким жаром я подбирал жемчужины для своего ожерелья! Одно лишь забыл я — нить».

Ну-ка, сумеет ли кто-нибудь еще дать такое простое и образное определение формализма?..

В беседах со своим другом и помощником Эккерманом Гете высказал много мыслей, связанных с писательским трудом и с личностью писателя. Вот некоторые из них:

«Тот, кто не надеется иметь миллион читателей, не должен писать ни одной строки».

«Стиль писателя — верный отпечаток его внутренней жизни; если кто-либо хочет обладать ясным стилем, то он должен сначала добиться ясности в своей душе; кто хочет писать величественным стилем, у того в душе должно быть величие».

«Манера — это нечто такое, что всегда стремится дать готовый результат; тут нет наслаждения процессом работы. Но настоящий, истинно великий талант всегда находит свое высшее счастье в осуществлении...

...Художников с меньшим талантом искусство как таковое не удовлетворяет; они при исполнении работы всегда думают лишь о барыше, который им даст готовое произведение. Но при таких суетных целях и настроениях нельзя создать ничего великого».

Барыш... Вот оно, слово! Не знаю ничего более ядовитого, разъедающего талант, чем стремление к извлечению из него барыша. Тут, само собой, не о гонорах речь, без денег не проживешь, жизнь есть жизнь, писатель так же, как любой труженик, должен получать по труду и квалификации, иначе он не сможет работать сосредоточенно, без отвлечения на побочные заработки, ездить куда ему нужно и обеспечивать месяцы кажущегося простоя, когда вроде бы полный отдых, и лень напала, и к столу не тянет, а на самом деле уже зреет, зреет новый замысел... Нет, не об этом речь. Страшно, когда деньги становятся самоцелью и душу саднит зуд приобретательства, когда изучение жизни подменяется изучением «спроса», а творческий поиск — обкатыванием модных тем и героев в предвидении легкого успеха (для чего даже существует гнусное определение «верняк»!)... Иногда утешают себя: «Я только временно, чтоб создать себе условия», но стоит шагнуть по пути спекуляции своим дарованием — и незаметно утекает, утекает из души то, что ее питало...

Не о том ли прелестное стихотворение поэта Самуила Галкина, которое с юности запомнилось мне в переводе Михоэлса:

«Вот перед тобою стекло — оно прозрачно и светло, ты видишь сквозь него весь мир, всех лю-

дей — кто радуется, кто смеется, кто плачет. Но стоит тебе взять на грош серебра и посеребрить одну сторону стекла — стекло превращается в зеркало, весь мир из этого стекла исчезает, и как бы ни было прозрачно это зеркало и светло, в нем отныне ты видишь только самого себя».

Всякой настоящей работе противны мелкие цели и выгоды. Творчеству тем более.

Однажды мне довелось беседовать с начинающим автором по рукописи его первой повести. Автор, молодой инженер, хорошо знал среду заводской молодежи, о которой написал. Но рядом со страницами живыми, подлинными в повести было немало безвкусицы и штампов, автору предстояло хорошо поработать и над рукописью, и над своим литературным развитием, о чем я и сказала как можно дружелюбней. Меня удивило, что он безропотно принимал все постраничные замечания и старался тут же, если удастся — под диктовку, вносить исправления или вычеркивать неудачные места, но с нарастающим ожесточением возражал во всех случаях, когда нужно было засесть за работу, продумать и написать какие-то страницы заново. С таким отношением к своему первому детищу я встретила впервые, мне хотелось понять, в чем тут дело; он не стал отнекиваться и запальчиво объяснил, что мои советы потребуют нескольких месяцев работы, а он надеется напечатать повесть в сборнике о рабочем классе, который уже готовится; пока он не напечатается, он не может подать заявление о приеме в Союз писателей, так что речь может идти только о мелких поправках...

— Скажите честно, чего вы больше всего хотите — стать настоящим писателем или членом Союза писателей?

Он помолчал и ответил без обиняков:

— Стать членом Союза. Потому что ради повести я ушел с завода, а моя теща не верит...

Похоже на анекдот, но, к сожалению, так оно и было. И ведь парень добился своего — повесть, почистив и подштопав руками сердобольных редакторов, напечатали, а через какое-то время автор уел тещу и желанным членским билетом. Но писатель так и не состоялся. Да и не мог состояться — при таком-то подходе к делу!..

Вот к месту еще одна мысль Гете:

«Искать славу нельзя, и всякая погоня за нею тщетна. Правда, умным поведением и всякими уловками человеку иногда удается приобрести некоторое имя. Но если он при этом не обладает внутренним сокровищем, то его успех непрочен и его слава не переживет текущего дня».

Как это верно! В творческом труде внутреннее сокровище открывается для всех и как бы переливается в чужие умы и сердца, ведь в произведении подлинного искусства, будь то роман, поэма или симфония, сплетаются жизненный опыт художника, вся гамма его чувств и устремлений, его мироощущение, его самые пламенные надежды, самые любимые, выстраданные мысли. А если вместо внутреннего сокровища одна мельтешня суетных желаний и побуждений, что же перельется в другие умы и сердца?..

Вынимаю из кучки выписок еще одну, которая мне особенно мила. Совсем просто сказал великий композитор Гендель о том, о чем не может не мечтать каждый творческий человек:

«Мне было бы досадно, если б я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше».

Наивно было бы думать, что какой-либо художник прямо ставит себе подобную задачу, начиная писать ораторию, рассказ или картину. Его томит еще не выраженный, не выстроенный мир наплывающих образов, звуков, мыслей, поиск точного их воплощения для него важнее всего на свете, даже последующего успеха. Конечно, он надеется, что созданное им дойдет до людей, затронет их души, но эта надежда живет в глубинной основе его личности; ведь по своей природе искусство не только чуткий выразитель духовной жизни общества — оно и строит ее, и проповедует ее нравственные начала. Это высшая функция искусства. Хочу подчеркнуть, что ей противопоказаны назидательность и конструирование «идеальных» образов; если они иногда прорываются в каком-то произведении, это слабость таланта, а не сила.

Вот написала я эти строки и горько задумалась, потому что знаю — случилось и мне проявлять такую слабость, и точности воплощения я далеко не всегда добивалась, и много всяких огрехов знаю за собой, больше, чем

насчитывают за мною другие. Самокритика необходима, но она и опасна, можно оказаться в положении сороконожки, которую спросили, с какой ноги она начинает ходить... Что поделаться! Когда собственным многолетним опытом познаешь беспощадность писательского неотпускающего труда, да еще и начнешь соразмерять сделанное с самыми высокими достижениями и задачами искусства, конечно, берет оторопь. Но тогда я утешаюсь такими вот словами Антона Павловича Чехова:

«Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять и лаять тем голосом, какой господь бог дал».

Один издатель однажды самоуверенно сказал мне, что решил отныне издавать только отличные книги.

— А от чего они будут отличаться? — спросила я. — Само слово *отличные* предполагает, что они должны выделяться из общей массы книг! Литература — процесс, в котором участвуют сотни больших и малых писателей. Искусственно сузив процесс, вы же его обедните! И где гарантия, что, не разобравшись в первом произведении незнакомого автора, вы не загубите в самом начале пути и будущего гения?..

Опыт показывает: новое дарование редко полностью раскрывается в первой книге, оно, подобно всему живому, растет и созревает постепенно. Но все мы не раз наблюдали, как шумный успех первой книги, вознесший автора в ряды наиболее популярных писателей, кончался тем, что первая книга оставалась единственной, и не потому, что автор зазнался или не хотел работать, нет, он старался новыми вещами удержаться на достигнутой высоте, но не смог. То ли в первой книге уже высказал все главное, что хотел сказать людям, то ли растерялся от славы, то ли творческий заряд оказался слабым. Причины бывают разные, но в любом случае он мучается своей неспособностью продолжить ярко начатый путь, и не стоит досаждать ему упреками или нескромными расспросами, ведь его книга уже вошла в литературу и дала какой-то толчок общему процессу. Как редко мы думаем об этом и как мало щадим друг друга!

Литературный процесс подобен потоку, то плавно текущему на просторе, то скачущему через валуны. Гремят

над ним грозы, врываются в его неторопливое течение стремительные притоки, мутят его сточные воды, иногда перед ним встают горы и нужно размывать, долбить, пробивать неведомую породу... Как всякое сравнение, и это несовершенно, но ведь у литературы действительно есть периоды тихие и бурные, и свои притоки, и выбросы низкопробной литературы, и случаются над нею грозы, и настают времена глубочайших потрясений, когда отлетает все, что занимало вчера, и нужно вгрызаться в совершенно новый материал и под огнем, по опаленной земле ярким и точным словом пробиваться к растревоженным сердцам... У каждого писателя бывают периоды, когда он может работать с полной сосредоточенностью, и такие, когда он должен все уметь и все перенести как солдат, и периоды жадного накопления наблюдений и знаний, когда все накопленное, еще не перебродив и не отлившись в замысел, не дает ни спать, ни есть, и еще — периоды тревог и сомнений, когда чья-то нашумевшая книга или задорно-громкий приток нового литературного поколения создает новую моду, новые вкусы, и кажется, что ты устарел, появляется соблазн погнаться за новой модой, и так трудно устоять, остаться самим собой, а ведь стоит утратить самого себя, свой стиль, свою тему — и писатель пропал...

Если б все начинающие догадывались, какую мучительную судьбу они себе избирают! Но смолоду никто не задумывается о предстоящих мучениях, да и литературные пути не автомобильные, там нет предупредительных знаков — «осторожно, листопад!» или «гололед!». И молодой смело пускается в путь, ему хочется так или иначе «поразить мир» своими произведениями, его лихорадит от предвкушения удивительно интересной жизни, известности, может быть и славы. Он еще не понимает всей меры предстоящего труда и не знает, что жизнь писателя удивительно интересна только в том случае, если он неутомимо жаждет до новых впечатлений и встреч, если он не ленив и подвижен, и готов отрывать от дома, от любимых людей, от уюта благоустроенного житья, и скитаться без всяких удобств — куда повлекла любознательность, и экономить последние рубли, чтобы увидеть побольше, и, как бы ни устал, не засыпать допоздна, потому что в голове теснятся впечатления и нужно записать, «утрасти» их, пока они свежи... То есть опять же — труд. Неотпускающий труд.

Что скрывать, и мне случалось лениться, и мне не всегда удавалось укрыться от суеты и изгнать беса тщеславия, который больно колет обидными пустяками — там-то тебя не упомянули в докладе, тут обошли, еще где-то недоброе про тебя написали. Иногда кажется, что оно важно, что оно что-то определяет... И только постепенно начинаешь понимать, что сие есть тлен и суета, что истинную ценность имеет только самый труд и жизнь сделанного тобою — жизнь книги среди читателей.

К счастью для меня, я рано полюбила самый процесс литературной работы, так что мне никогда не было ни скучно, ни утомительно делать ее. Стоит сесть за рабочий стол — и все постороннее отлетает. Иногда не сразу — случается, набегают сторонние мысли, а то попросту нет настроения (его можно назвать и вдохновением), воображение как бы дремлет, слова упираются... Тогда, не насилая себя, лучше взяться перечитывать и править написанное накануне, просматривать черновики и планы. Так постепенно зтягииваешься в работу, начинаешь ощущать ее вкус и ритм, увлекаешься... и вот она неслышно входит, та самая гостья, которая не любит посещать ленивых, она кладет свои невесомые руки тебе на плечи, она склоняет над начатой страницей свое светящееся лицо с такими понятливыми, такими жаркими глазами — и вот работа пошла, пошла, пошла! Стрекочет машинка, техники письма уже не замечаешь, пальцы сами находят клавиши, поспевая за твоей мыслью, слова приходят самые нужные и точные. Не знаю большего наслаждения, чем такая работа.

Что перед этим наслаждением деньги или слава!

Смолоду слава, конечно, прельщает, ты видишь ее блеск и не догадываешься, какое это коварное создание, живущее во власти текущего дня! Как она умеет обворовать и упорхнуть к другому! Как она беспечно отворачивается от ею же расхваленного романа ради захватывающего детектива, от модного певца ради удачливого футболиста!

Нет, оставим славу, пусть порхает как ей вздумается, поговорим о том, что определяется более скромным и надежным словом *известность*. Имя каждого серьезно работающего писателя становится известным; временами, при успехе новой книги, она становится как бы более громкой, иногда затихает, но, в общем, с годами известность становится прочной: кто по книгам, кто понаслышке —

знают. Приятно? Да, приятно. Но в молодости, когда твое только что появившееся имя еще не запомнили, понятия не имеешь о том, что приятная для самолюбия известность прежде всего несет все возрастающее чувство ответственности, что ты перестаешь принадлежать себе и *обязан*, хочешь не хочешь, откликаться на желания и даже требования множества людей.

Письма... Им радуешься, и эта радость с годами не ослабевает. Письма читателей — как бы извещения из самых разных мест, от самых разных людей: книга живет. Бывают письма восторженные и критические, с исповедями и нелегкими вопросами. Стараешься ответить на каждое. Но горка писем на столе нарастает, приходится выделять специальный рабочий день для ответов, и все равно не справляешься, отвечаешь только на самые важные, уже кто-то на тебя обижается — «вы мне не ответили!», кто-то сердится — «зазналась?».

Труднее всего с письмами-исповедями, требующими совета — как жить дальше, как поступить? Авторы таких писем верят, что писатель *знает*, что его совет будет верен. И тут, отвечая, принимаешь ответственность за ход жизни человека, которого никогда не видел...

Года за два до войны мне написала семнадцатилетняя девочка из Сочи. Письмо было слезливое: где-то идет настоящая жизнь, как у героев «Мужества», а я ставлю штемпеля на конверты и живу без всякой перспективы; мечтала поехать учиться в Институт растениеводства, стать садоводом, но мои родители болеют, помогать мне во время учебы не могут, вот и пришлось поступить на почту. Я написала ей, что ради своей мечты люди преодолевают куда большие трудности, стыдно кивать на родителей, можно, учась в институте, зарабатывать, скажем, в институтском же хозяйстве, тогда и сама прокормишься, и родителей сможешь поддержать. Письмо получилось сердитое, я даже поколебалась, перед тем как опустила его в почтовый ящик. Ответа не было. Но через полгода я получила письмо, полное благодарности «за то, что отругали», девочка сообщала, что поступила в институт, работает в оранжерее подсобницей и двадцать рублей в месяц посылает родителям; долго не писала, потому что хотела дождаться первой сессии, и вот теперь может отчитаться передо мною: отметки хорошие и отличные. Я сразу же поздравила мою корреспондентку. После каждой сессии она присылала мне полный отчет. А потом началась вой-

на... Я не помню фамилии той девочки, все ее письма пропали во время блокады, но я почти дословно помню содержание письмеца, сложенного солдатским треугольничком, со штампом полевой почты. Оно пришло из только что освобожденного Ростова. Молоденькая медсестра увидела в какой-то газете мою статью из осажденного Ленинграда, обрадовалась, что нашла меня, и решила отчитаться: «Когда началась война, я подумала, что бы вы мне сказали, и сама поняла что, и пошла на курсы медсестер, и вот уже второй год на фронте». Я ей сразу же написала, но письмо кануло в пустоту. Ростов был снова захвачен фашистами в кровопролитных боях... Знаю одно — если бы девочка осталась жива, написала бы. Раненная, искалеченная — написала бы. Значит — погибла.

Вот уже тридцать лет прошло. Я ни в чем не виновата и не могла бы посоветовать ей ничего другого, как не сказала бы ничего другого и родным детям, но душу жжет и жжет воспоминание о той девочке из Сочи...

Мне не за что обижаться на моих читателей, они согревали и бодрили меня в самые тяжкие дни. Но я не люблю заискивания перед ними, фетишизации самого понятия «читатель», потому что читатели бывают всякие, хорошие и плохие, вдумчивые и злобно-придиричвые, люди, самостоятельно мыслящие, и люди, впитавшие из плохих лекций и статей самые примитивные представления о задачах литературы,— последние требуют от нас идеальных героев и охотно употребляют такие страшные слова, как «клевета на нашу действительность», «неоправданное сгущение красок» и т. п. А придиры, найдя в романе какую-нибудь мелкую ошибку, уже не видят в нем ничего другого и с непонятной радостью пишут гневные письма. Когда в одном романе я допустила мелкую неточность, упоминая время восхода молодой луны (в чем я, конечно, виновата, обязана была проверить!), один придира так меня расчихвостил, будто от этой неточности изменится вращение Луны, да и всех небесных светил. На обсуждении другой моей книги под конец взяла слово пожилая домохозяйка и сказала, что она книгу читала и ничего не поняла; в заключительном слове я выразила сожаление, что она попусту потратила время, и сказала, что эта книга, видимо, вне ее интересов и опыта, нет книг, равно близких всем группам читателей. Ох, какого джинна

я выпустила из бутылки! В течение двух месяцев в наш ленинградский союз из самых наивторитетнейших инстанций пересылали письма этой дамы, размноженные под копирку: «В то время как партия и правительство требуют, чтобы писатели писали понятно для всех, Кетлинская отстаивает вредную идею о книгах для избранных» — и далее в том же духе. Наш милейший оргсекретарь Гриша Сергеев со стоном восклицал:

— Еще одно! Шестое! Ну чего ты с нею связалась? Всего писем пришло восемь.

К счастью, как мне кажется, подобных читателей в наши дни заметно поубавилось. И от непосредственных встреч с читателями обычно остается радость и нередко польза, потому что восприятие твоей книги, мысли и чувства, ею вызванные, многому учат. Конечно, если обсуждение не зарегулировано, если на встрече создана атмосфера искренности и взаимного доверия, если слишком старательные организаторы не готовили заранее выступающих, распределив между ними темы, как в школе («Женские образы в романе...», «Труд в романе...» и т. п.), и если пришли на встречу те, кто читает, а не те, кто хочет поглядеть на «живого писателя». К сожалению, не все понимают, что двух-трехчасовое собеседование с читателями — это *работа*, и работа выматывающая.

Отказываться от встреч грешно, в конце концов это пропаганда дела, которому отдана жизнь. Однако, так же как с письмами, настает время, когда отказываться все же приходится, иначе некогда будет писать. В Ленинграде, в Москве, где писателей много, это проходит незаметно, зато на выезде... Чем дальше от больших центров, тем ты нужнее людям и тем невозможней уклониться от встреч с читателями. Устал ты или занят, не имеет значения — ты *обязан*.

Чтобы пояснить, как оно получается, позволю себе рассказать две небольшие истории.

Побывав в Дивногорске на перекрытии Енисея и изрядно там поработав для своих газет, мы поехали группой писателей в Шушенское, в ленинские места, надеясь от туда добраться выше по Енисею на Карлов створ, где группа геологов вела изыскания под строительство будущей Саянской гидроэлектростанции. В Шушенском нам сказали, что ледовая дорога на Карлов створ вчера закрыта, а другой дороги нет. Вся группа уехала, я же решила попытаться счастья, уж очень хотелось увидеть в первозданном

виде место, где вырастет гигант гидроэнергетики. Ко мне примкнул фотокорреспондент «Правды» Тимофей Мельник:

— Или вместе утонем, или увидим Карлов створ.

На «Волге» мы без помех добрались до базы экспедиции, находящейся в селе Майна, километрах в тридцати ниже Карлова створа. Пересекли Енисей — лед как лед, наша машина тут не единственная. Но в Майне весьма суровый начальник экспедиции сказал, что дальше лед трещит, есть приказ о закрытии дороги, так что о поездке не может быть и речи. Но ведь если вчера еще ходили грузовики, легковая машина наверняка пройдет! Мы спорили долго, не отступая. Через три часа мрачный начальник криво улыбнулся и сказал, что чувствует себя в роли генерал-губернатора перед женой декабриста, и разрешил нам ехать, только не на «Волге», а на его «козлике» и с его шофером. Когда мы выехали, уже вечерело. Сперва мы долго переваливались с ухаба на ухаб по ужасающей дороге, которую только изыскатели могут называть дорогой. Трясло так, что вот-вот души вытряхнет. Буксовали в крутых колеях, подолгу вытягивали из них нашего «козлика». Уже стемнело, когда машина сползла на лед, и почти сразу мы услышали зловеший треск. Мы обещали ехать с открытыми дверцами, чтобы в случае беды сразу выскочить, но навстречу дул такой ледяной ветер, что мы только держались за дверные ручки. А под нами трещало и трещало, колеса то справа, то слева противно оседали, неподалеку темнели крутые скалы — если повезет до них добраться, все равно не влезть!

Было уже около полуночи, когда на другом берегу забрезжили огоньки.

— Карлов створ, — сказал шофер.

И по тому, как начали передвигаться огоньки, а ветер задувать во все щели сбоку, мы поняли, что едем поперек Енисея к другому берегу. Признаюсь, мы еще крепче вцепились в дверные ручки, невольно вспоминая, какое на Енисее стремительное течение и какие глубины... Когда лед под нами снова затрещал, оседая под колесами, берег был совсем близко и мы увидели, что кто-то бежит к нам навстречу; скользаясь на спуске...

Палаточный лагерь геологов уже спал, но дежурный подвел машину к столовой и мы оказались в блаженном тепле, кто-то уже грел для нас еду и чай... После много-много трудного дня, выматывающей поездки и пережитого

страха хотелось поскорее поесть горячего, улечься на любую скамейку и спать, немедленно спать... Но тут над нами захрипел репродуктор и молодой голос весело провозгласил:

— Ребята, ребята, просыпайтесь! К нам до завтра приехала писательница Кетлинская с фотокорреспондентом «Правды» Мельником. Кто хочет с ними встретиться — бегите в столовую.

Да что он, с ума сошел? Ведь язык не ворочается!..

А столовая уже заполнялась молодежью в лыжных костюмах, полушубках, свитерах. Мельник сделал несколько снимков и незаметно отвалил спать. А от меня и усталость отлетела. Я оказалась первым представителем советской литературы, посетившим экспедицию, и вопросы были обо всем на свете: от обычных «что вы теперь пишете?» и «почему вы не поженили Клаву с Андреем Кругловым?» и до вопросов, как я отношусь к Евтушенко и что думаю о «звездных мальчишках» Аксенова.

Чуть светало, когда нас повели на створ будущей плотины и мы увидели нетронутую красоту стиснутого скалами ущелья и, закинув головы, находили на почти отвесных лесистых склонах отметины, обозначающие гребень будущей плотины. Мельник торопливо фотографировал, а я еще более торопливо расспрашивала обо всем, что меня интересовало, потому что за нами неотступно ходил насупленный шофер «козлика», которому было строжайше приказано не позже десяти утра выехать обратно. Когда мы выехали, при дневном свете дорога казалась надежнее, чем ночью, а треск льда я уже не слышала, так как спала и на льду, и на ухабах. А теперь мучительная поездка и ночная встреча с читателями вспоминаются как радость, подаренная жизнью.

Вторая история произошла у подножия Эльбруса. Тут не было никакой командировки, я приехала туда во время отдыха с друзьями — маленькая частная экскурсия. Мои спутники были учеными-геологами и рассчитывали на гостеприимство научной экспедиции, базировавшейся в Терсколе. Комендант был молод, бронзов от загара и длинноволос, что тогда было в диковинку, он явно «работал под Тарзана», но все же потребовал у нас паспорта, после чего отвел нам места в палатке и дал талоны на ужин и на завтрак. Рано утром нам предстоял подъем на Кругозор. Вечером мы пошли прогуляться вверх по горной до-

роге, не ставя себе никаких целей, — сколько захочется, столько и пройдем. Небо было ясно, полная луна светила так ярко, что каждый камешек на дороге отбрасывал тень, а снежные вершины сияли голубым серебром. Чем выше мы поднимались, тем прекрасней и шире была панорама окружающих гор, хотелось подниматься еще и еще. Когда мы спохватились, мы были уже очень далеко от Терскола, ноги горели от усталости, сердце билось в разреженном воздухе. И тут мы заметили два огонечка, крутившихся на бог знает какой высоте, — сверху, с Эльбруса, возвращалась машина, которая забрасывала зимовщикам продукты. Нам бы тихо идти вниз, но наши мужчины решили ждать машину. Мы прижались к скале, нависавшей над узкой дорогой. Машина мчалась по серпантину с невероятной для такого спуска скоростью. Увидев нас, шофер осадил машину, как скакуна, махнул нам — лезьте в кузов, — и только мы успели перевалиться через борт, как он уже рванул вперед. Сесть в кузове было некуда, зато по дну его свободно катался железный бочонок, который так и норовил ударить по ногам. Да что там бочонок! Шофер вытворял нечто невообразимое. В ярком свете луны он мчал нас прямо в пропасть, в последний миг резко тормозил, разворачивал машину елочкой, нависая задними колесами над пропастью, снова мчался вперед, снова тормозил, снова мчался... Клянусь, на этом сумасшедшем спуске я пережила такой ужас, какого не испытывала под бомбежками и обстрелами в Ленинграде: ведь в мирное время, на отдыхе, среди такой красоты — и вдруг бессмысленно, ни с того ни с сего... Когда еле живые мы оказались наконец внизу, выяснилось, что наш безусый лихач совершенно пьян.

Ну ладно, постепенно пришли в себя, поужинали и уже собрались спать (до подъема осталось всего пять часов), когда ко мне подошел длинноволосый Тарзан:

— А вам придется пройти в клуб, наши товарищи узнали, что вы приехали, и хотят с вами встретиться.

Вот что значит паспортная система!..

И как теперь откажешься, если люди долгими месяцами работают в горах и вот собрались на ночь глядя, чтобы узнать литературные новости и поговорить с заезжим писателем... Сказать, что я хочу спать, что я тоже имею право на законный отдых и не обязана?.. А точно ли — не обязана?

— Спокойной ночи, — сказала я моим спутникам. — Обязательно растолкайте меня в пять.

Как я припоминаю, за всю мою жизнь был всего один случай, когда известность — нет, здесь хочется употребить более пышное определение: *слава!* — когда слава принесла мне чистейшее удовольствие без малейших примесей обя-зательств.

Работая над романом «Иначе жить не стоит», я целый месяц колесила по Донбассу, вживаясь в его суровые пейзажи, в неповторимые черты его городов и шахтерских поселков. Одним из моих помощников был «Зоркий» — я много фотографировала людей, пейзажи, а также технические и бытовые детали, чтобы потом, если понадобится, легче было восстановить их в памяти. Вторым и очень оперативным помощником была недавно приобретенная мною «Волга», ведомая временным шофером дядей Степой. Дядя Степа вплоть до выхода на пенсию водил милицейскую машину, именуемую в просторечии «черным вороном». Дорожными правилами он пренебрегал, машину мыть не любил, а протереть ветровое стекло порвил только со своей стороны, считая, что я машину не веду, поэтому глядеть вперед мне незачем. Вот с этим дядей Степой мы и попали в беду.

На пути в Горловку я заметила канал, по которому самотеком шла вода из Северского Донца в маловодный Донбасс. Прозрачайшая голубая вода и пологие откосы канала, выложенные белыми плитами, выглядели особенно привлекательно в этом краю, где самый воздух пропитан угольной пылью. Хотелось сфотографировать канал, но мы шли в сплошном потоке грузовых машин — не остано-вишься. Зато обратно возвращались в воскресенье, когда машин на шоссе мало. В поселках на солнышке грелись старики шахтеры. Ветерок разгонял зной и вздувал серую пыль, но на пыль тут не обращают внимания, посреди дороги три милиционера зубоскалили с девушками. Объезжаем их. Впереди канал. Как было условлено, мы проехали мост и дядя Степа тут же свернул на обочину, а я побежала на середину моста, выбирая лучшую точку для съемки. Краем глаза увидела, что один из милиционеров поспешает ко мне, и на всякий случай побыстрее отсняла два кадра. Суровая рука блюстителя закона ухватила ремень фотоаппарата:

— Так вот, гражданка, я заберу ваш аппарат, засвечу пленку и отберу у шофера права.

Дело оборачивалось серьезно: и аппарат жалко, и пленку, хранящую штук тридцать очень нужных снимков, и совсем уж трагично, если у дяди Степы отберут права, — попробуй-ка получи их назад в незнакомом месте и в воскресный день!

Двумя руками прижимая к себе аппарат, в то время как милиционер тянул за ремень, я пробовала объяснить:

— Мы не знали, что здесь нельзя останавливаться и снимать...

— Неграмотные? — с издевкой спросил милиционер и показал рукой на громадный щит, который возвышался прямо напротив машины, перед носом дяди Степы: «САНИТАРНАЯ ЗОНА, останавливаться КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ».

— Мы же на минуту, — оправдывалась я, — шофер не виноват, это я велела остановиться. Я же не для себя снимаю, хочу показать людям все лучшее, что есть в Донбассе, а этот ваш замечательный канал...

Говорила я убедительно и не без подхалимства, авось милиционер — донбассовский патриот. Но страж закона был неумолим:

— Где разрешение на съемки? Если вы корреспондент, у вас должно быть разрешение на фотографирование объекта.

Ох уж эти объекты!

— Знаете, товарищ, я писатель и во многих краях побывала, о многих писала, везде фотографировала, и никогда с меня не требовали бумажек.

Мы все еще держались цепко — я за аппарат, он за ремешок. А к мосту поспешили еще два милицейских чина, видно на подмогу. Шаг за шагом подвигаясь к машине, я старалась смягчить милиционера, а он старался не смягчиться и спросил весьма подозрительно.

— Писатель, значит? Ну и как ваша фамилия?

Я ненавижу представляться, потому что все же неприятно, когда, скажем, администратор кинотеатра, которому ты называешь себя с просьбой оставить два билета, резко говорит: «Кто? Не знаю такой. Станьте в очередь и купите, не могу я всем оставлять».

Но тут ради спасения пленки и дяди Степных шоферских прав я произнесла свои имя и фамилию с торжественной многозначительностью. Признаться, я рассчитывала больше на апломб, чем на литературную осведомленность милиционера, все еще не отпущавшего ремешок.

Его подмога была уже близко, а мне надеяться на поддержку дяди Степы не приходилось — он сжался за баранкой, втянув голову в плечи, и не подавал голоса. И вдруг произошло чудо. Спасительное чудо!

— Кетлинская?! — воскликнул милиционер. — Вера?

— Вера, — дрогнувшим голосом подтвердила я.

— Та самая? — Милиционер выпустил ремешок фотоаппарата. — Это вы написали «Мужество» и «Дни нашей жизни»?

— И «В осаде», — неожиданно пробасил дядя Степа, высовываясь из окошка машины.

Подкрепление подошло, готовое действовать по всей строгости.

— Товарищи, знаете, кто это? — обратился к ним мой милиционер, — писатель Вера Кетлинская, которая написала книги «Мужество» и «Дни нашей жизни»!

— И «В осаде», — снова подал голос дядя Степа.

А затем нам разрешили продолжать путь. Не скрою, двум другим милиционерам ни мое имя, ни названия книг ничего не напомнили. Но все трое взяли под козырек и пожелали мне счастливого пути и новых творческих успехов.

— Скажи пожалуйста, милиция знает, — бормотал дядя Степа, когда мы отъехали, и долго еще улыбался и поглядывал на меня с уважением. Вот она, прелесть славы!

Ну а если говорить без шуток, то всякая известность ласкает самолюбие, но, в общем-то, затрудняет и усложняет жизнь. А если ты еще и женщина!..

Я долго раздумывала, как рассказать об одной из сторон жизни женщины, посвятившей себя творческому труду. Напрашивался афоризм: чем известней женщина, тем труднее ей быть счастливой. Но тут сталкиваешься с областью интимных отношений и можешь вот-вот выболтать что-нибудь такое, что бросит тень на другую половину человеческого рода, а зачем же мне сердить весьма весомую часть читателей!

Наудачу, мне недавно попалась публикация, в которой пересказываются суждения арабского ученого и мудреца Сиди Ахмэда бен-Ардуна. Он жил в XIV веке нашей эры, был судьей, любил читать и размышлять в уединении и в результате написал книгу, которую назвал

«Руководство к супружескому счастью». Вот я и хочу сослаться на мнение арабского мудреца, который утверждал, что женщина должна быть ниже мужчины в четырех отношениях: по происхождению, росту, состоянию и возрасту. Чтобы несколько осовременить его утверждение, мы можем заменить происхождение общественным положением, а состояние заработком, и тогда Ахмэд бен-Ардун поможет нам понять, что и ныне писателю не так легко быть женщиной.

Прикрывшись мнением мудреца, к тому же мужчины, я ускользнула от наиболее интимных проблем личной жизни. Но, кроме этих проблем, есть еще и внутренний психологический барьер, через который перешагнуть ой как нелегко! Самой природой и многовековыми традициями установлено: вьет домашнее гнездо женщина, растит детей женщина, создает уют, кормит и поит семью, приветствует гостей опять-таки женщина. И даже если ее муж настолько хорош, что у него на лопатках прорезываются ангельские крылышки, он в чем-то поможет, какие-то дела возьмет на себя, но поделить все заботы поровну с женой не сумеет, да и женщина сама их не передаст. А если женщине так исключительно повезет, что она найдет няню или помощницу по хозяйству (что намного трудней, чем найти директора предприятия), все равно любые вопросы, тревоги, домашние беды будут стекаться к ней — десятки дел, возникающих ежедневно и занимающих не только время — голову.

Если мужчина — писатель, ученый, художник — работает дома, он закрывает дверь кабинета и никто к нему не сунется. Это тоже освящено традициями. Если он услышит детский плач, или звонки у входной двери, или посторонние голоса, он знает: жена помчится на плач, и откроет дверь, и примет пришедшего водопроводчика или контролера электросети. А как быть женщине — писателю, композитору, ученой? У нее нет жены!

Во времена, когда мои сыновья были маленькими, а детьми и домом управляла тетя Лина, у нас было шутливое правило:

— Если возникнет пожар маленький — тушить самим, большой — вызывать пожарную команду, а маме не мешать!

Пожаров, к счастью, не было. Но мне никто не врывался. Но стоило выйти из кабинета, как на меня

обрушивались непредвиденные дела — испортился водогрей, кончились деньги — и детские провинности: у одного парня двойка в дневнике, у другого, любящего «химичить», на кухне взорвалась какая-то мерзость и по квартире ползет вонючий дым... Тут двери не закроешь, ты — мать, хозяйка дома, главнокомандующий и верховный судья...

Сколько раз я вспоминала мамины слова, которыми она напутствовала меня семнадцатилетнюю: «Любовь, семья, материнство берут много сил и много души. Можно ли совместить их с творчеством — не знаю. Но подчинить их творчеству, поставить творчество на первое место, от многого отказаться, наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие, на домашние заботы — надо!»

Что ж, так и было. Подчиняла, ставила работу на первое место, отказывалась, наступала...

В тяжелые дни мои друзья-товарищи утешали меня однообразно: ничего, ты сильная. А мне иногда кричать хотелось — к черту! сколько можно! Это, наверно, такое блаженство — дать волю женской слабости...

Но когда я думаю о судьбе некоторых хорошо мне известных женщин, которые год за годом разменивали свое призвание на сотни женских забот и слабостей, когда я вспоминаю, как постепенно, незаметно для них самих угасал их творческий дар... Нет, все правильно. Надо быть сильной — а там пусть разрывается сердце.

На этом можно покончить с внутренними психологическими трудностями, тем более что в самом творческом труде писателя и других предостаточно. Не за рабочим столом, тут все равны, были бы способности и трудолюбие, а вот в процессе повседневного накопления впечатлений и знаний, во встречах с нужными работниками, в деловых поездках, когда так важно быстро нащупывать контакты с самыми разными людьми, вызывать их на открытость, а еще важнее наблюдать их в повседневном быту и привычном труде, когда они не думают о том, что их наблюдают, и каждый таков, какой он есть.

Везде, где общение возникает естественно, без официального знакомства — в комнатах общежития, в поезде, в местах, отведенных для курения, — там, где мужчине все просто, женщине все сложно, с ее появлением обычно исчезает непринужденность, а то и затухает разговор, и нужно немало опыта и такта, чтобы переступить «рубеж отчуждения».

А какие иногда возникают печальные или смешные неожиданности!

После войны, работая над романом «Дни нашей жизни», я около трех лет состояла в партийной организации турбинного цеха Кировского завода. Поначалу было трудно войти в жизнь цеха, но постепенно ко мне привыкли, перестали замечать, уже не думали, что любой человек, с которым я разговариваю, «войдет в роман». Бывала я везде, где хотела, но всяческих заседаний, конечно, избегала, разве что решалось что-либо спорное, из-за чего в цехе бурлили страсти. Однако меня все чаще спрашивали: а на утренних планерках вы были? Стала выяснять, в чем дело, говорят — много потеряли, начальник цеха ведет эти планерки с юмором и блеском, получается прямо-таки спектакль, народу набивается — сесть негде. Ну как я могла упустить такую сочную деталь цеховой жизни? Приезжаю раненько утром на завод, за три минуты до начала планерки вхожу в кабинет начальника, а там и шагу ступить нельзя, полным-полно народу. Вижу, что приткнуться негде, но все же прошу разрешения присутствовать. У начальника цеха вытягивается лицо, он кисло разрешает. Кто-то высвобождает табурет, и его передают из рук в руки над головами сидящих. И вот начинается планерка... скучнейшая из всех, на каких мне когда-либо приходилось присутствовать. Начальник жует резину, никакого спектакля, на лицах ни одной улыбки. Потихоньку зеваю, но досиживаю до конца. Скука беспросветная. Спрашиваю одного из тех, кто уговаривал прийти: где же юмор, где спектакль?

— Виноват, не сообразил. Понимаете, у нас одни мужчины, так что начальник обильно сдабривает свои реплики солевыми словами, иногда такое завернет, что все за животы держатся. А когда вы появились, он испугался, как бы при вас не сорвалось лишнее, ну и стал сам на себя не похож.

Бывало и хуже. Когда тот же роман был написан и условно принят в одном из журналов, мне пришлось основательно поработать, добавляя производственные описания и сцены (этого требовали все рецензенты, такая была мода). Я смутно ощущала, что роман грузнеет и скучнеет, но общее мнение как-то действовало и на меня, во всяком случае я старалась написать новые страницы как можно лучше и точнее, без развесистой клюквы. Моим добрым советчиком стал опытный инженер с другого

завода, хорошо знающий производство наиболее крупных современных турбин. Худенький, болезненный, со следами тяжелых ранений, он казался очень славным человеком, заинтересовался моей работой и дотошно проверял каждую строчку. На заводе приткнуться было негде, поэтому я приглашала его после работы к себе домой, а тетя Лина кормила нас вкусным обедом, ну и водочку, конечно, ставила на стол. Один раз совместили работу с обедом, второй раз... На третий жду я своего консультанта, а его нет и нет. Тетя Лина ворчит — пельмени сохнут, она их налепила целый лист. Наконец звонок. Открываю — передо мною стоит высокая жгуче-черная женщина с пронзительно горящими глазами, и эти глаза без стеснений окидывают меня подозрительным взглядом с головы до ног и с ног до головы. А за ее плечом раздается смущенный голос:

— Вот, жена захотела прийти со мной... Если не возражаете... Познакомьтесь, пожалуйста...

Тетя Лина, уловив ситуацию, застыла в дверях кухни со скалкой в руке. Кое-как знакомимся, я предельно любезна, черная женщина злобно отводит мою любезность:

— Пришла поглядеть, какие такие консультации, что приходит домой — от него водкой пахнет.

Объясняю как могу, тетя Лина от себя добавляет — мол, вы сами хозяйка, вам пришли бы помогать, неужели не угостили бы?.. Не верит. Обедать отказывается. Кое-как уговариваю ее сесть за стол. Пельменей берет три штучки и ковыряет их вилкой, рюмку брезгливо отстраняет:

— Я эту гадость не потребляю!

С трудом доведя обед до конца, прошу у моей черной гостьи извинения — нам нужно работать.

— Ну-ну, — цедит она сквозь зубы и усаживается на диван.

Даю ей журналы, она их отбрасывает и не сводит с нас мрачного взгляда. Читаю страницы, нуждающиеся в проверке. Мой консультант сегодня особенно придирчив, дотошен, рисует мне детали турбины и схемы технологических процессов, требует, чтобы я записывала все уточнения. Читаем дальше — то же самое. Краем глаза вижу, что моя гостья начала перелистывать «Огонек». Читаю по второму разу страницы, выверенные в прошлый раз, — снова придирки, объяснения, чертежи... На прощанье гостья даже извинилась за вторжение, но в даль-

нейшем я предпочитала советоваться с ее мужем на заводе.

Во время писательских кочевий приходится сталкиваться с представлениями о том, что женщине нельзя разрешить то, что разрешается мужчине, а иногда и с ветхозаветными предрассудками.

Совсем еще молодым литератором впервые приехав на Дальний Восток, я, естественно, старалась увидеть как можно больше и ничего интересного не упустить: пройти с бывшим партизаном по партизанским тропам, спуститься в угольную шахту, выйти в море на подводной лодке, побывать на морском дне с водолазами и многое другое. С подводной лодкой все сорвалось за полчаса до выхода в море, увидеть дно бухты Золотой Рог через стекло скафандра мне удалось только благодаря начальнику ЭПРОНа Бауману, веселому и лихому человеку, с которым мы сразу нашли общий язык (и как этот водолазный эпизод мне пригодился, когда я писала водолаза Епифанова в «Мужестве»!). Было еще одно место, где побывать хотелось непременно, — Миллионка. Но как туда попасть?

Даже нынешние владивостокские жители, наверно, не все знают, что это было, Миллионка тридцатых годов!

На тогдашней окраине города обширный квартал был огорожен, подобно крепостному сооружению, сплошными линиями домов, а вернее — одним чудовищным домом; согнутым на углах и образующим замкнутый четырехугольник. Все этажи были обнесены узкими металлическими галерейками, сообщавшимися между собою наружными лесенками, на галерейки выходили все двери и окна, так что из любой квартиры в одну минуту можно было убежать и вверх, и вниз. Это было «дно» портового города, густо и беспорядочно заселенное; тут укрывались налетчики и воры, проститутки и скупщики краденого, мошенники и спекулянты, крепко связанные с контрабандистами, переправлявшими через границы наркотики, и потайно содержавшие притоны опиумокурильщиков и морфинистов; сюда стекались выпить и погулять матросы всех национальностей, здесь навсегда оставались люди опустившиеся, спившиеся, обезумевшие от наркотиков... Мне говорили, что имелось два решения о ликвидации Миллионки.

— Миллионку снесут с лица земли, иначе ее не прикроешь, — сказал мой новый приятель Ваня Демчук,

секретарь владивостокского комсомола. — Конечно, стоит взглянуть ее, пока она еще есть. Я тебе достану мужскую одежду, и пойдем.

Когда я надела брюки клеш, тельняшку и куртку, а волосы забрала под сдвинутую набок кепку, в зеркале появился озорной мальчишка, юнга или рыбак, которому вполне подходило моряцкой походкой вразвалочку побродить по загадочной Миллионке. Тут была доля авантюризма? Допускаю. Но писателю такая «доля» необходима не только смолоду, но и на склоне лет, если он хочет все видеть и все познать. Ведь не знаешь, когда что пригодится. О доживающей свой век Миллионке я ничего не написала, но когда в «Мужестве» писала притон Пака и самого Пака, я хорошо знала, откуда взялся этот юркий коварный кореец и почему он так люто ненавидит всех, кто несет Дальнему Востоку новую жизнь.

Итак, я была готова к походу на Миллионку. Но об этом как-то узнало начальство и подняло шум: писательницу?! Женщину?! Переодетой?! А если ее разоблачат и побьют, а то и убьют — кто ответит?! И, запретив мое переодевание, придали нам спутника — переодетого в штатское начальника отделения милиции... того самого района, где находилась Миллионка и где, конечно, и стар и мал знали его в лицо!..

Перед нами шагах в десяти три парня рыбацкого вида спокойно прошли в ворота той самой походочкой вразвалку. Но стоило нам приблизиться к воротам, как сидевший во дворе древний старец, не меняя позы и почти не двигая губами, издал какой-то гортанный крик вроде «э-эй-о-а!», и этот крик стал повторяться как эхо и во дворах, и на галереях. Какие-то люди заскользили по лестникам и галерейкам, какие-то двери захлопали — и все стихло. Правда, нам все же удалось увидеть один притон морфинистов (страшное зрелище! — больше десятка полуголых мужчин, густо покрытых черными точками от укулов, с оупелыми лицами и мутными глазами, лежали как трупы на циновках); зазевавшийся хозяин успел припрятать только самый морфий и шприц, он низко кланялся и ломаным языком уверял, что тут его друзья отдыхают после обеда. В другой комнатке, похожей на щель, мы застали двух женщин — одна лежала на кровати и курила опиум, другая, хозяйка, ринулась спасать трубку, но начальник опередил ее и подарил трубку мне (эта диковинная трубка черного дерева, с медными коль-

цами долго хранилась у меня в Ленинграде как трофей). Курильщица плакала, хватая начальника за руки, и убеждала его, что больна и лечится опиумом... Остальные значные места как сквозь землю провалились, начальник милиции рассказывал, что почти каждый раз застаёт перемены — где была квартира из трех комнат, осталась одна комната, а две исчезли и следа дверей не найдешь, где был кабак — ютится многодетная семья, детишки ползают, а куда кабак перебрался — поди найди! Под конец мне в утешение начальник арестовал хозяйчика «исчезнувшего» притона и пошел с ним вдоль галереи, а нам велел не спускать с него глаз, а то проморгаем самое интересное; я смотрела во все глаза, но арестованный вдруг метнулся к стене, ударился об нее и будто растворился в воздухе. Мы с Ваней щупали каменную кладку стены, ударялись боком в том же месте — никакого намека на потайную дверь... В общем, кое-что занятное я все же увидела и узнала, но как раздражали гортанные выкрики по ходу нашего передвижения! И кто знает, сколько интересного я не увидела!..

Во время той же поездки я вылетела из Хабаровска на Сахалин на гидросамолете, который вел тогда еще молодой и популярный лишь на Дальнем Востоке, а впоследствии широко известный полярный летчик Мазурук. И этот милый парень поставил как бы последнюю точку по поводу того, что женщина все же существо низшее. Мы попали в густой туман и совершили вынужденную посадку, как думал летчик, на озеро Большое Кизи, а на самом деле на Малое Кизи, такое мелководное, что гондолы нашего самолета проскрежетали по песчаному дну. Рейс был грузовой, и пришлось потратить часа три на то, чтобы вытащить из самолета в надувную лодку все грузы, а затем отправить их через протоку на Большое Кизи. Я отказалась плыть в лодке, предпочитая рискнуть вместе с летчиком, так как безгранично верила в авиацию и в мастерство авиаторов, но именно мне Мазурук сказал:

— Э-эх, знал же я: если берешь в самолет женщину, надо в противовес обязательно взять кошку!

В 1942 году Ольга Берггольц, Вера Инбер и я выехали в Кронштадт для выступлений перед моряками и летчиками на кораблях и на базах. Нас окрестили «женским литературным десантом» и принимали с исключительной сердечностью. Меня особенно тянуло к подводникам и

в отряд «морских охотников», и на то была особая причина. Крупные корабли были заперты в Кронштадте и на Неве, они могли только поддерживать осажденный Ленинград огнем своих могучих батарей. Балтику простреливали с берегов и бомбили с воздуха, ее плотно начинили минными полями и плавучими минами. Каждый поход был смертельно опасен, но наши подводные лодки одна за другой выходили в море, топили немецкие транспорты и боевые корабли иногда ценою собственной гибели... В то время, когда мы выступали в Кронштадте, из двухмесячного автономного плавания должна была вернуться подводная лодка Л-3 под командованием Петра Денисовича Грищенко. В походе участвовал мой муж, морской писатель Александр Зонин. Если... да, так мне и говорили — если Л-3 удастся преодолеть минные поля, она послезавтра выйдет к острову Лавансаари, где ее встретят «морские охотники», чтобы сопровождать до Кронштадта.

— А нельзя ли мне пойти на одном из катеров?

Катерники отвечали, что в принципе можно, если разрешит высокое начальство. Мне удалось получить разрешение от самого командующего флотом адмирала В. Ф. Трибуца, после чего мне дали койку на базе и познакомили с командиром «охотника», с которым мне предстояло на рассвете идти на Лавансаари. Условились, что в пять ноль-ноль за мною зайдет офицер.

С половины пятого я сидела у окна, высматривая, не идет ли офицер. Пять ноль-ноль... Четверть шестого... Половина шестого... Да, случилось самое худшее — Л-3 подорвалась на минном поле, встречать некого...

Пробегая мимо стоянки катеров в штаб, я заметила, что нескольких «охотников» нет. Ушли на Лавансаари? Забыли про меня? Но как могли забыть, когда есть приказ командующего флотом?!

Командир отряда ответил со смущенной улыбкой:

— Понимаю, нехорошо вышло, но вы на нас не сердитесь, Вера Казимировна. Мы, конечно, не такой уж суеверный народ, но все же... Поход опасный, а есть такая примета, что женщина на борту...

Вот так!..

Роман «В осаде» я писала в осажденном Ленинграде, что определило и некоторые достоинства, и недостатки романа. Если бы я начала эту работу после войны, я бы,

вероятно, не задавалась целью охватить и город, и фронт, и флот, я бы сумела понять, что во всем, что связано с жизнью и борьбой ленинградских горожан, я сильна знанием, а во фронтовых главах буду слаба, потому что подчинена полученному материалу, скована отсутствием непосредственных впечатлений. Но шла война, блокада продолжалась, и мне казалось, что охватить все стороны нашей обороны необходимо, наши судьбы не отделишь от армии и флота: корабли вон они, на Неве, приросли к стенкам набережных и затейливо закамуфлированы, а фронт на городской окраине, пешком дойти можно... Я и бывала — то пешком, а чаще на попутках — на многих участках фронта, беседовала со множеством фронтовиков, десятки офицеров и солдат охотно помогали мне «изучить материал». Только годы спустя, когда начали выходить книги Бондарева, Бакланова, Василя Быкова и других писателей, пришедших из самого пекла боев, я ощутила полностью, что значит подлинное знание, власть пережитого и хотя бы недолгая отстраненность от военных событий, позволяющая охватить целое и отобрать главное — главное, чем живет человек на войне. А в те давние дни я добросовестно старалась все охватить, то есть как можно больше видеть, как можно тщательней изучать.

С флотом было проще, я больше знала о флотской жизни, дружила со многими моряками, а «звездные налеты» немецкой авиации не только видела — я сама жила «в зоне» этих налетов; артиллеристы «Октябрьской революции» рассказали мне, какие новинки они удачно применили при отражении этих волн бомбардировщиков, налетавших со всех сторон, а потом позвали меня на учение и «проиграли» весь бой; еще до того я знала, как погибали во время налетов моряки, один из них был моим приятелем, и у меня в руках был дневник молодого офицера, который стал дневником одного из моих героев.

Труднее всего давались танкисты. Еще до войны я бывала у конструкторов и в цехах, где создавались наши мощные танки, а в войну не раз видела, какими они возвращались на завод из боя, часто бывала в темных, промерзших цехах и писала очерки о том, как старики и мальчишки слабеющими руками все-таки ремонтировали разбитые танки, чтобы снова отправить в бой... Но вот

сам бой?.. Я зачастила во 2-ю танковую бригаду, стоящую на городской околице, в Благодатном переулке, и танкисты рассказывали мне и о первых неравных боях, и о последующих танковых засадах, очень характерных для нашего фронта. Я уже выбрала боевую ситуацию для двух моих героев, когда в бригаде произошло волнующее, прямо-таки ошеломляющее событие — мощный танк КВ благодаря исключительно удачному стечению обстоятельств разгромил из засады колонну из сорока двух немецких танков. Командиру дали звание Героя Советского Союза, об этой победе много писали в газетах, естественно, что в самой бригаде об этом только и разговору было, а уж мне советовали все:

— Вот о ком надо писать!

Я радовалась вместе со всеми, нам в то время так нужны были хотя бы частные победы... и написала все как было (за исключением того, чего человек, не побывавший в танковом бою, почувствовать не может). Но эта глава все же выпирала из романа, потому что у искусства свои законы отбора и обобщения. Впоследствии при каждом переиздании я смягчала и упрощала этот бой, снимая исключительность, а в процессе работы смутно ощущала неудовлетворение, сокращала подробности, перенесла центр тяжести на внутреннюю, психологическую тему: два закадычных друга; у одного громкая победа и Золотая Звезда на грудь, у другого был длительный неравный бой, но он *всего лишь* не пропустил немцев — это будни, он со своими товарищами в тени...

В общем, мне нужна была *обычная* танковая засада. И мне необходимо было хоть что-то испытать самой, побывать в танке и проделать в его душном чреве обычный переход на позицию, почувствовать, что такое засада, пережить долгие часы настороженного ожидания, а может быть... а может быть... Танкисты, с которыми я успела подружиться, предлагали: попроситесь на сутки в засаду, мы вам все покажем и расскажем.

Командир и комиссар бригады вопреки моим опасениям отнеслись к моему желанию одобрительно, приказали подобрать для меня обмундирование по росту, а мне велели во всем подчиняться командиру танка. В назначенный час, когда могучий КВ должен был выходить на позицию, я переоделась и, счастливая, поскрипывая новыми сапожками, побежала к танку. Командир помог

мне взобраться на свою махину, а затем влезть внутрь машины через люк; что оказалось не очень удобно; веселый радист, посмеиваясь, предупредил — не крутитесь, враз шишки набьете! Но я даже не успела оглядеться, как наверху что-то случилось; командир, пригнувшись, сказал: «Вас требуют»; я сунулась к люку и услышала зычный голос, повторявший:

— Писателя немедленно в штаб! Писателя немедленно в штаб!

— Давайте вылезайте, — сказал командир, протягивая руку. — Выясните, в чем дело, только поскорей.

Ох-ох-ох, нетрудно было догадаться, в чем дело. В последнюю минуту командир и комиссар заволновались, не попадет ли им; комиссар позвонил начальнику политуправления Ленфронта К. П. Кулику, а Кулик наорал на него: вы что, с ума сошли?! Известную писательницу, женщину — в танковую засаду?! А если будет бой, если она погибнет — кто будет отвечать?!

На следующий день я вдрызг разругалась с Куликом, но в танковую засаду так и не попала.

Плохо ли, хорошо ли быть и женщиной, и писателем, но могу повторить — ни о чем не жалею и свою профессию не променяла бы ни на какую другую. А препятствия постепенно научаешься обходить, сама работа учит некоторым приемам, ее облегчающим, особенно в общении с малознакомыми людьми и в так называемом изучении материала. Я не люблю этот холодноватый термин; неосведомленные читатели, слыша, как писателей призывают «изучать жизнь», предполагают, что процесс творчества в том и состоит: пришел или приехал, изучил, написал. А процесс куда сложнее.

Писатели часто получают наивные письма от очень юных людей, убежденных, что у них есть литературные способности, так как они писали сочинения на пятерки и печатали стишки в школьной стенгазете; вопрос всегда один и тот же: «Что нужно, чтобы стать писателем?»

Я отвечаю: *жить!*

Это не отписка, это правда. Жить как можно активной, горячей, общительней — таков, в общем-то, главный метод нашей работы. Ведь люди, о которых пишешь, не возникают во время «изучения материала»; они как бы выходят из копилки наблюдений тогда, когда окажутся нужными, или тогда, когда сами настойчиво постучатся

в твою душу — напиши! Нас любят спрашивать о прототипах героев, иной раз читатели и особенно читательницы просят даже сообщить «настоящую фамилию и адрес, чтобы завязать переписку». А у меня таких прототипов раз-два — и обчелся, да и те, конечно, послужили лишь толчком, отправной точкой для создания образа. Как он создается, рассказать трудно, знаю только, что из множества людей постепенно выделяются чем-то наиболее интересные, к ним присматриваешься, к ним день ото дня приближаешься, улавливаешь и их особость, и типичность, и настает время, когда из десяти реальных людей одного склада, одного типа рождается одиннадцатый, сложившийся в твоём воображении, и начинает жить своей собственной жизнью... Чтобы рожденные воображением были живыми, знакомств и наблюдений должно быть много. И еще чрезвычайно важна протяженность наблюдений — чем дольше, тем надежней.

Произошла со мною история, многому меня научившая. Перед войной я заинтересовалась борьбой нескольких молодых инженеров-химиков за новый метод подземной газификации угля. Борьба была драматична, противники были сильны. На последнем этапе этой борьбы на их сторону вдруг перешел один из противников — перешел и с огромной энергией поддержал их в роковую минуту, когда казалось — все гибнет. Авторы метода прямо-таки влюбились в него, я тоже. В начале перед войной романе неожиданный друг — я его назвала Алымовым — был самым расположительным героем... К счастью, война прервала эту работу, а когда через несколько лет после войны я возобновила встречи с подземгазовцами, выяснилось, что и они, и я страшно опшиблись, друг оказался расчетливым карьеристом, понявшим, что нужно вовремя «поставить на другую лошадь», он и поставил ставку на молодежь, учувяв их правоту, а потом, в новой ситуации, с тою же ловкостью подлеца изменил им, да еще и навредил как мог...

Кстати, наша профессия — одна из немногих, если не единственная, у которой нет скучных объектов познания. Писателю интересен и подлец, и дурак, и демагог, и мещанин — надо же их рассмотреть, вдруг понадобятся в работе! Был случай, на одной из строк ко мне привязался несомненный дурак — кажется, хотел «попасть в роман», но, понятно, в качестве умного. Товарищи меня жале-

ли — зачем вы на него время тратите, неужели не можете шугануть его? Я только посмеивалась, не решаясь признаться, в чем тут дело.

Главный материал, из которого возникают и образы, и темы, и книги, — жизнь самого писателя, то есть среда, в которой он постоянно вращается, круг его интересов, раздумий и мечтаний, все то, чем живет его душа. Если восприимчивость и наблюдательность называть «изучением», что ж, тогда писатель изучает жизнь круглосуточно, без передышки. Изучает других и себя самого, даже в лютот горе где-то рядом живет неотступный наблюдатель: «Вот как оно бывает...»

Но в нашем труде существует и более простое, деловое «изучение материала» со своей технологией, с выработанными приемами. Обычно это работа вторичная, дополнительная, когда уже ясны контуры будущей книги, уже дышат и просятся на бумагу люди, которые эту книгу населят, но не хватает реальной обстановки и подробностей их труда и быта, когда все это нужно добирать — и добирать с запасом, не жалея времени и сил. Когда-то я даже установила цифровое обозначение этой работы: чтобы написать одну страницу, нужно быть в состоянии написать о том же тридцать страниц. Чрезмерная дотошность? Нет, желание творческой свободы. Нужно хорошо *знать*, чтобы воображению было просторно и слова приходили не вымученные, а самые нужные.

В процессе такого изучения очень важно, чтобы люди, которые тебя окружают, забыли, что ты писатель, и, уж во всяком случае, не думали: «Пишет о нас роман». Если так думают, начинается вольное или невольное прихорашиванье, подгонка живых фактов под «то, что надо для печати», и мало кто способен быть вполне откровенным.

Чаще всего я прибегаю к приему, который для себя называю — сторонний повод. Возник он во время поездки на Дальний Восток совершенно произвольно: я уже писала некое произведение о молодежи, которое потом переросло в роман «Мужество», в связи с этой работой мне и захотелось побывать в Комсомольске-на-Амуре, но денег на поездку не было, поэтому я взяла в «Комсомольской правде» командировку «с целью написания серии очерков о молодежи, осваивающей Дальний Восток». Вот эта серия и стала моим сторонним поводом: в какие-то

дни и часы я беседовала с нужными людьми, собирала цифры и факты для очерков, в остальное время просто жила среди прототипов своих будущих героев, дружила и спорила с ними, ходила к ним в бараки и землянки, танцевала, когда они танцуют, купалась в Амуре, или шла на прогулку в тайгу, когда они купались или гуляли.

На заводе я применяла этот метод уже сознательно. В ударном квартале, очень напряженном по выпуску трехлопастных тракторов и турбин, я предложила заводской газете «Кировец» открыть рубрику «Время не ждет»; вместе с группой рабкоров мы прослеживали путь дефицитных деталей, искали узкие места и виновников того или иного срыва... Так выявлялись качества разных людей, ответственных и неответственных, во время наших рейдов! Одни выкручивались, валили на поставщиков или на соседа, другие честно говорили — я виноват! Находились и очковтиратели, и любители радужных обещаний — мол, завтра все исправим, только не пропечатывайте!.. Тут уж никто не думал о будущем романе, думали о следующем номере многотиражки...

Много разных сторонних поводов применила я на заводе и каждый приносил пользу, а главное — я стала в цехе своей, меня уже не стеснялись. А когда по инициативе кировцев меня выбрали депутатом Ленинградского Совета от большого жилмассива на Турбинной улице, неподалеку от завода, столько прихлынуло ко мне бытовых, и семейных, и трудовых историй, конфликтов, паболевших вопросов! Решение некоторых из них требовало длительных усилий, отнимало массу времени и выматывало душу, но зато сколько было радости, когда удавалось добиться решения и я видела, как светлеют лица намаявшихся людей!..

Быть *соучастником*, а не наблюдателем жизни — вот самое ценное, что можно посоветовать любому пишущему. В дни войны и в дни мира. Ценой усталости и траты драгоценного времени — окупится сторицей! Пока есть силы, не щадить себя — сил прибавится.

В свои восемнадцать лет я обо всем этом понятия не имела и вовсе не думала, что решение, принятое за сорок пять минут, переламывает мою собственную судьбу. В се-

дьмом часу утра, подходя к фабричной проходной в толпе по-утреннему хмурых, молчаливых или грубовато-шумных работниц и рабочих, я представляла себе, что вот так же робко переступит порог фабрики моя Натка, и ее бережно подхватит рабочий коллектив, и направит, и распрямит, и, конечно, тут она встретит славного парня, похожего на Борю Котельникова с «Электрика». Могла ли я предвидеть, что мой наивный замысел полетит вверх тормашками, что жизнь далека от идиллии и все повернет по-своему!

СОДЕРЖАНИЕ

ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТОИТ. <i>Роман</i>	5
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Накануне	7
ДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ	290
ЗДРАВСТВУЙ, МОЛОДОСТЬ! <i>Роман</i>	315

Кетлинская В.

К 37 Собрание сочинений: В 4-х т. / Оформ. худож.
Н. Васильева. — Л.: Худож. лит., 1978—1980.

Т. 4. Иначе жить не стоит: Роман (ч. 3—4);
Здравствуй, молодость!: Роман. 1980.—536 с.

В четвертый том вошли продолжение романа «Иначе жить не стоит» (ч. 3—4) и автобиографический роман «Здравствуй, молодость!» о молодежи 1920-х годов.

К $\frac{70302-061}{028(01)-80}$ подписное

Р2

**ВЕРА КАЗИМИРОВНА
КЕТЛИНСКАЯ**

*Собрание сочинений
в четырех томах*

т. 4

Редактор *Г. Антонова*
Художественный редактор
Р. Чумаков
Технический редактор
М. Шафрова
Корректор
Л. Никульшина

ИБ № 1625

Сдано в набор 08.08.79. Подписано в печать 09.04.80. М 14182.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая, 28,14 усл. печ. л.
30.030 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 810. Цена
2 р. 20 к. Издательство «Художественная литература», Ле-
нинградское отделение, 191186. Ленинград, Д-186, Нев-
ский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградское производственно-техническое объе-
динение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзпо-
лиграфпрома» при Государственном комитете СССР по де-
лам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136.
Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.